

И. Кеттле

ГЛУБИНА

Scan Kreyder - 17.03.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

ИЛЬЯ КАШАФУТДИНОВ

ГЛУБИНА

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

"ИЗВЕСТИЯ"

МОСКВА • 1984

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"**

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

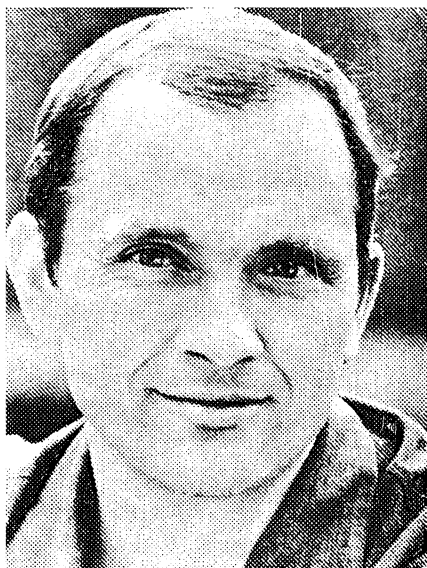
Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Ч л е н ы с о в е т а :

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калешук, Алим Кешоков,
Юрий Киршин, Вадим Ковский,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

Художник И. СУСЛОВ

К 4702010200—076 — 69 — 84 подписное
074 (02)—84



H. K. Amundson



ВЫСОКАЯ КРОВЬ

1

Утром того дня в устоявшийся распорядок института внесли сумятицу две телеграммы, каждая с грифом "срочная". Обе были отбиты Сосенковским конезаводом, который требовал назад призовую лошадь.

Сам конь, еще не подозревая о новой вспышке застарелой тяжбы, третий день тосковал по своему жокею. На двери денника, места здешнего его постоя, висела единственная в институтской конюшне табличка:

*ФАВОРИТ, бел. жер.
от Франта и Тальянки
класс — элита*

Меж тем институтские, получив телеграмму, преисполненную административной жесткости, стали звонить в больницу, где лежал жокей Толкунов: жив, не жив. Но пока телефонистка долго и без толку, будто с того света, вызывала хоть кого-нибудь, надобность в разговоре отпала: кому-то в голову пришла мысль запросить коннозаводское начальство, — верно ли, что Фаворит требуется для неотложного дела.

Ни по первой, ни по второй телеграмме, хотя вторая была послана жокею Толкунову, нельзя было угадать причину спешки.

Давняя болезнь бралась за жокея каждую весну, едва начинало пригревать солнце. В этот раз она, словно решив испытать человека, долго не покушалась на него, потом жадно принялась за свою разрушительную работу.

С неделю Толкунов перемогал ее и до того усох и истончился, что на последней выездке пошвырял в траву набор свинчатки, которым доводил вес до нормы, — его уже все равно не хватило бы.

Прежде, по молодости, от болезни была даже выгода: Толкунов, выдерживая вес, что в жокейском деле почти первейшая забота, обходился без финских и прочих бань, где другие каждодневно сгоняли лишек.

Теперь от болезни не стало даже этой малой радости — жокей сгорал: толку ни от лекарств, ни от хорошей еды-питья не было, пока не выходил срок.

Фаворит обычно чувствовал приближение этой не своей, но, казалось, и не чужой болезни. Оба — жокей и конь — в пору обострения недуга становились тихими, задумчивыми, как бы уходили в прожитую вместе жизнь, неизбежность разлуки одинаково печалила и того и другого.

Фаворит, перемаявшись двое суток без сна, сейчас ожидал конюха, чтобы узнать, хорошо ли, плохо ли жокее. Когда скрипнула дверь конюшни, Фаворит налег длинной шеей на окно денника, скосил глаза на конюха. И как только разглядел на лице старика, идущего нарочито бодрой походкой, невнятную, вымученную улыбку, резко откинул туловище назад, уткнулся в угол: значит, худо жокее.

Пока конюх обхаживал лошадей в соседних денниках, Фаворит стоял в отрешенной забывчивости, но, заслышав шаркающие шаги за своей дверью, отстранился от угла, обрадовался корде в руках старика — ничем другим не мог бы он так подноровить ему, как этим длинным шнуром для манежной разминки. Манеж, пускай даже заброшенный — из старых слежавшихся опилок уже вытянулись бледные побеги овса, — отманивал тоску.

Фаворит, выйдя на круг, словно сбрасывал половину веса, и с пугающей старика беспечностью затевал с ним игру. Да это ничего, что конюх водил его, Фаворита, на корде, а не под седлом, как Толкунов, — со стариком легче справиться, если хочется пошалить.

Фаворит и в этот раз, несмотря на осторожность конюха, основательно порезвился, взял с места наметом, перешел на рысь, потом на шаг, встал "свечкой". Старик терпеливо, без надрыва обрезал его, этаким особым манером натянул корду, что невозможно было его послушаться.

Власть человека над конем становилась все сильнее, но власть эта не была Фавориту в тягость. С каждым кругом он с чуткой готовностью отвечал на команды стариковских рук.

А старик был непрост: и у него были свои звездные часы — в свое время состоял помощником при классном жокее. Незабывтое чувство лошади, возвращаясь, молодило его, кровь горячо кидалась в голову. Не подвело его, слава богу, и сердце — не разучилось радоваться чужой силе и красоте.

То неслышно, как тень, то глыбисто, бухая копытами, неслась по кругу лошадь, так что конюх едва поспевал глазами за ее белым мельканием. Живо, трепетно дрожала между ним и лошадью натянутая корда.

И вот старик до сладкой и отрадной ясности осознал иную между ними связь — ту, что отогревает и вышагает душу.

Солнце светило уже по-дневному, широко и радостно. Достало лучами до зашторенного окна больничной палаты, где жокей Толкунов встречал третье утро. Он лежал на узкой, истерзанной в ночных метаниях койке, медленно засыпал. И желтый свет дня дошел до него как мучительное напоминание о последней зорьке, когда его и Фаворита острая печаль разлуки погнала в красные сумерки. Долго летели они по ветреному раздолью, по гулкой замле... Этой ночью жокей в громком бреду звал лошадь, и лишь под утро успокоила его мысль: Фаворит слышит, ждет. Ни о чем не догадываясь, он заснул. Институтского курьера с телеграммой в палату не пустили.

Тогда сам собой решился вопрос, везти Фаворита сразу или подождать, когда поправится жокей. Институтские уже ссорились из-за него, Фаворита, с коннозаводчиками. Поэтому и в отделах стали гадать: отпустят жеребца или задержат, а если оставят, чем это кончится? Фаворита не все видели в глаза, но кличка его приятно разгоняла утреннюю оцепенелость воображения. Знаком и доступен был другой Фаворит — как бы разъятый на части, в рисунках кардиограмм, в телеметрических записях. За всем этим угадывался отделившийся от самого коня образ спортивной звезды, ипподромного бойца высшего класса.

И вот, хотя до конца исследований с участием Фаворита было еще недели две, появился приказ: доставить жеребца домой.

Тем же приказом Фаворита сняли с довольствия.

Бумага, быстро пройдя все ступеньки сверху донизу, застряла в руках растерянного заведующего гаражом. Грузить Фаворита было не на что. Спецфургон, о котором было доложено, что он в ходу, стоял наполовину разобранный. Но все решилось само собой, когда появился, чтобы отправиться куда-то, Леха Шавров, шофер самосвала. Взглянули на машину — вполне подходила, с нестандартным кузовом, с наращенными бортами. Отсюда до конезавода, от ворот до ворот, —

сплошной асфальт. Комары еще не народились, теплынь...

— Шавров, — сказал заведующий, подойдя к Лехе, который поливал голову из моечного шланга. — Ты ведь лошадей возил...

— Ну, — откликнулся Леха. Слышно было в голосе: гулял вчера. — На бойню отвозил, а что?

— Тут не дальше... При строжайшем соблюдении.

— Да я ж отпросился! — вскрикнул Леха. — У меня ж дело, вчера еще обмыли.

— Вижу... Но тут пожарный случай, понял?

— Кх-хак! У меня ж тоже горит, едрена... Заводские же сами фургон присылали.

— Отгул потом дам... Так что подгоняй, — и заведующий добавил: — Выедешь в южные ворота.

Солнце набирало силу, сгоняло с неба живые утренние краски. Странной, шаркающей походкой шел от конюшни к административному корпусу конюх Молчанов, последним узнавший, что Фаворита увозят. Не поверив, шел к заведующему хозяйственной частью, давнему сослуживцу, уточнить. Не застал его, увидел за столом двух новеньких девушек, и почему-то стало ему неуютно перед ними, милыми и опрятными. Не спросив, верно ли, что Фаворита отправляют, как бы уклоняясь от прямого удара, старик сказал что-то о дополнительном пайке для жеребца. И с такой старомодной деликатностью сказал, что девушки даже приснули, уткнулись в свои амбарные книги. Выяснилось потом, что старик зашел зря: Фаворит среди конского поголовья уже не числился.

Старик вернулся в конюшню. Перед тем как снова вывести Фаворита на проминку, долго скреб совком в своем углу. Набралось овса полмешка — Фавориту в дорогу.

Самосвал Лехи Шаврова на скорую руку приспособили под живой груз. Леха подогнал машину к помосту, обижаясь неизвестно на кого. Он лег грудью на баранку и задумался. Прикидывал, сколько времени займет дорога туда и обратно, если нигде не останавливаться и ехать быстро, — до Сосенок было километров сто сорок. Выходило, что успеет вернуться еще засветло.

Подошел к машине, попросился в кабину Василий Грахов, научный сотрудник; его, видно было, тоже кто-то обидел, но он даже не хлопнул дверью, тихо, будто спросонья, поздоровался и вздохнул. Складно сложившийся в уме день, надо же, не обещал теперь ни-



чего хорошего. Почему-то именно ему, Грахову, велено сопровождать лошадь.

Леха сощурился на солнце, на свои часы, спрыгнул на землю и направился к конюшне: пора грузить лошадь.

Фаворит проминался, бежал по кругу манежа. Он скакал укороченным галопом, быстро выбрасывая и подбирая тонкие, сухие ноги. Старик напряженно следил за его полетом, ловил глазами легкие, ускользающие линии бегущей лошади. Руки его еще не совсем по-

теряли чуткость. Фаворит охотно слушался, без сбоев менял аллюр, переходя с галопа на рысь, с рыси на галоп. Казалось старику: скакать и скакать будет лошадь и ничто уже не остановит ее.

Леха Шавров с ходу, едва увидев эту картину, крикнул:

— Ты бы дочку свою вот так каждое утро! Чтобы ночью меньше бегала!

Сразу остыл, похоже, смутился. Почему-то уважал и боялся он старика Молчанова, как никого даже из начальства. Было в старике что-то далекое, непонятное для Лехи, а что, не угадать. Будто старик знал о Лехе все, больше того, наперед знал, как он поступит. Сейчас старик словно бы и не слышал его, медленно поворачивался в центре манежа, что-то шептал белой лошади, сам тоже белый — в полотняной куртке, седой.

Но слышали Леху оба — старик и лошадь. Фаворит засбоил от громкого крика, собрался перейти на шаг, но корда дрогнула, поддержала его; приняв властный посыл, Фаворит стриганул ушами, снова понесся по кругу.

— Грузить пора! — сбавив голос, крикнул Леха.

В железный кузов самосвала была встроена стоечка из обтесанных жердей. Дно устлали подгнившей рогожей, двумя кусками брезента — чтобы не скользили копыта. Обмерить Фаворита не успели — стойка получилась и длинной и широкой.

— Не съезжай с асфальта, особо прошу, — сказал Леха конюх Молчанов, — не газуй больше тридцати. — Ссутулившись, заторопился к конюшне еще за брезентом: если завести его под брюхо лошади, подоткнуть сена — надежнее.

Грахов уже томился и скучал в кабине. Только раз, когда лошадь, проходя стороной, скользнула по нему терпеливо-печальным взглядом, Грахов пережил что-то похожее на душевную смуту. Не спрашивая себя, отчего бы это, отмахнулся.

К нему, задремавшему, шумно втиснулся Леха, завел машину и нацелился в ворота. Грахов спросонья отметил, как движется со стороны конюшни охалка сена, белеет низ халата, трудно вышагивают сапоги. Покосился на Леху: видит ли старика?

Так, не дождавшись конюха, поехали: сначала тихо и ровно катили вниз.

— Не больше тридцати, — передразнивая старика, проговорил Леха. — А меньше не хошь? Да я с людьми в кузове...

— Нельзя его трясти. Конь призовой, — сонно откликнулся Грахов.

— Лошадь, значит, жалко, — окончательно расстроился Леха. — Вот меня бы кто пожалел!..

И ступней, лежащей на педали акселератора, он как бы подстегнул машину.

2

Фаворита сдернуло и отбросило на заднюю поперечину, она сухо треснула, но удержала его. Тугой ветер ударил в глаза, выдавил слезы. Хорошо хоть Фаворит не успел испугаться. Низко нагнув голову, он укрылся от ветра.

Фаворита, по-видимому, удивило, почему машину рвануло так резко — кругом было ровно. Никто не гнался, не толкнул ее сзади. Теперь она не дергалась, но скорость была большая, и Фаворита будто припаяло к перекладине, ехал он полусидя. Ноги у него занемели. И стала неметь холка — сначала ей сделалось холодно до мурашек, потом жарко, и в том плотном жару выделялись тонкие жгучие иголки; и вот все: холка занемела. На случай, если упадет, Фаворит косил глазом под ноги.

Он еще не знал, что скоро будет поворот. Что он куда опаснее поворота на ипподроме, где дорожка в закруглении наклонена для удобства под углом в двенадцать градусов — не занесет даже на полных махах.

Постепенно расшатывалась, скрипела и скользила к заднему борту стойка. Фавориту повезло: сзади засигналила машина. Не дорогу просила уступить, а предупредила того, кто в кабине. Самосвал сбавил ход. Фаворит подался вперед, выпрямил затекшие задние ноги, отдышался. Ветер нес спереди запахи леса, молодого цветочного меда и молока; запахи были слабые, дальние и могли просто почудиться Фавориту.

Блеклая голубоватая дорога бежала по вспаханному полю, и только за холмом, в раскаленной золотистой дали, угадывались зеленые пятна.

Фаворит успокоился и ехал навстречу вольному простору, теплему ветру. И снова мерещились ему, хмелили голову запахи трав, отогретых солнцем.

Казалось, долго так будет катить машина и до конца дороги будет Фаворита обмывать упругий и светлый воздух. И будет он стоять, чутко напрягаясь ногами, стоять и обмирать сердцем от манящих далее раскованной земли, совсем не томясь тряской ездой, — когда

еще ему выпадет ехать вот так, на виду у всего белого света? Фаворит уже позабыл недавние боли: скоро за каким-то из этих холмов засветит красными кирпичными конюшнями родной завод. Фаворит обрел дорожный покой, окончательно доверился машине.

Но за подъемом, когда в глаза плеснул облегчающий прохладный свет леса, самосвал резко свернул на проселок. И хотя скорость была не та, что прежняя, Фаворита швырнуло к борту.

Услышав шум в кузове, Грахов проснулся, коротко стукнул по Лехиной руке. Леха нажал на тормоза.

— Ничего не понимаю. Зачем сюда? — сказал Грахов.

— По привычке, — ответил Леха, спрыгивая на землю. Взглянул на Фаворита, только что вставшего на ноги, сказал: — Все в норме. Правда с носа у него капает...

— Безобразие, — сказал Грахов, тоже выходя на обочину. — Я вздремнул, поскольку не предполагал...

— Ну, завел панихиду... — оборвал его Леха. — Люди вон бьются на дороге, и то ничего.

Фаворит стоял и понимал, что говорят эти двое о нем. Кровь из рассеченной губы тяжелыми каплями шлепалась на дно кузова.

Грахов увидел, что лошадь смотрит на него, отвернулся и затащил узелок галстука.

— Тише надо ехать, Шавров, — сказал он. — Вернемся на асфальт.

— В пятницу грузовая на мотоцикл налетела, — говорил Леха. — Муж с женой ехал. Сам видел.

— Ну и что? — сказал Грахов.

— Жену насмерть. А этот всю жисть на лекарство будет работать.

— Кто же виноват? — уже заинтересованно спросил Грахов. — Пьяный вел грузовик? Или как?

— Трезвый был... — не сразу ответил Леха. — Нечего все на пьянку валить. А ехать лучше по этой дороге, тут ближе.

— Мне бы пораньше вернуться, — сказал Грахов.

— Об чем и речь идет, — повысил голос Леха, глянул на проселок, вздохнул: — Тоска, конечно. Но дальше, за селом, гравий пойдет.

— Вы уверены, что срежем?

— Ежели научно тебе объяснять, по гипотенузе поедем, ясно?

Фаворит следил за ними, знал, что о нем уже забыли; боялся прозевать момент, когда машина тронется.

Стоял он теперь на голом железе. Пока вставал, цепляясь подковами за мягкое, подстилка скатилась, уползла из-под ног. Чутьем догадываясь, что ни один из двоих не подойдет к нему, он ни одним движением не выдал своего беспокойства, а только смотрел.

— Ишь, как zenки таращит, — сказал Леха, заметив напряженный, выжидающий взгляд лошади. И мягче, скорее для Грахова, добавил: — Не нарочно ж я. Ну, каюсь...

— Раньше надо было думать, Шавров, — упрекнул его Грахов. — Вы же опытный водитель...

— Маюсь я, — тихо и вяло сказал Леха. — Башка трещит, руки-ноги трясутся. Перебрал вчера...

Грахов опустил голову, поскреб носком ботинка засохшую, выдернутую грейдером дернину; то ли смутило его, то ли позабавило Лехино откровение, не поймешь. Самому Лехе показалось, что он все-таки разжалобил Грахова, чего еще надо?

Постояли еще, глядя в дымчато окаймленную лесом даль, в добела выцветшее небо. Потом Леха, словно боясь разнежиться, передернул плечами, нахмурился и шагнул к машине.

Сели, поехали. Самосвал запрыгал по ухабам, сразу поднялась пыль, — высоко, густо. Повалила по ветру, обогнала машину, и Леха поднажал — и так нечем дышать. До Починок, где жил кореш, еще с прошлой зимы задолжавший пятерку, порожняком полчаса езды. Учитывая груз, Леха накинул десять минут, потом ему показалось: много, хватит пяти. Как бы не закрыли — сев не кончился! — магазин. Еще одно беспокоило его: застанет ли дома кореша?

Солнце било сбоку, припекало плечо, тупо ныл затылок. Временами, когда передние колеса срывались в выбоины, острая боль как бы простреливала голову, подгоняла Леху.

Опять забился в угол, по-детски слабо вздрагивал во сне Грахов.

Фаворит путешествовал не первый раз. Он давно привык к железнодорожным вагонам, в которых его возили на конские испытания, как только начинался новый сезон. Чаще всего ездил Фаворит в лошадиных фургонах. Отправляясь в путь, далекий или близкий, он терпеливо сносил мелкие дорожные неудобства, зная, что потом, когда сойдет на землю, набегается и надышится властью.

Сейчас в памяти его, хорошо отличавшей одну поездку от другой, все прежние дороги вытянулись в одну, длинную, светлую. Она-то и виделась ему сейчас, загораживая дорогу теперешнюю. И память, чтобы поддержать его еще и еще, занялась прошлым — то была весна годом раньше. Такая же солнечная, зеленая, как эта.

В вагоне они ехали двое, Фаворит и Толкунов. Жокей кормил его овсом и сеном, расчесывал гриву. Фаворит помнил его руки, мягкие, угадывающие, где боль, теплые.

Перед станциями, когда Фаворит настораживался, ожидая лязга буферов, жокей рассказывал ему какую-нибудь историю. Может быть, сказку. Подступал близко, обнимал и нашептывал на ухо что-то смешное или страшное; и Фаворит, хотя понимал не все, кивал головой, слушал, не замечая, как поезд останавливается. Бывало, Толкунов, устав ходить рядом в своих неслышных жокейских сапогах, ложился на сено, брал книгу и читал вслух, и голос его угасал постепенно — он засыпал. Замирал и Фаворит, и боязно было ему в те минуты невольным всхрапом потревожить жокея.

Так они ехали день, еще день, потом после недолгой езды в фургоне Толкунов вывел Фаворита в прохладные сумерки. Фаворит увидел ипподром, цветные флаги на высоких шестах, тревожно запереступал. Откуда-то появились дети, шумно окружили, называя его по имени, протягивая к нему тонкие ручонки — угощали сахаром, конфетами.

Утром был пробный забег. Беря второй старт, Фаворит понял, что ждет его настоящая скачка — полевая, — с препятствиями. Первый его Большой стипль-чез.

Фаворит бежал, запоминал дистанцию, отмечая каждую неровность. Увлёкся и не сразу почувствовал, как слабеет тело жокея, недавно перенесшего болезнь. Фаворит испугался за него, сбавил ход, свернул. Постояли в стороне, следили за лошадьми, которые, предчувствуя завтрашнюю трудную работу, тоскливо всхрапывали, ржали. Вдруг Толкунов спешился, разбежался и прыгнул, перевернулся в воздухе, показал сальто. Он всегда так делал, если Фаворит сомневался, смогут ли они скакать в полную силу.

И все-таки ночью к Фавориту, запертому в деннике под трибунами, долго не шел сон. Раза два он поднимался на ноги, тыкался горячими ноздрями в решетку, снова ложился. К утру у него разболелась голова. По

спине пробегала короткая дрожь, от избытка крови зашумело в висках. И только в загоне, где конюх передал поводья Толкунову, уже бодрому и веселому, с Фаворита снялось напряжение, дышалось легко, свободно.

На параде, за час до скачки, Фаворит, как показалось ему, окончательно успокоился, но вот наступили мгновения, которые всякий раз хмелят голову, — предстартовые. Над полем Большого стипль-чеза празднично озарилось небо; все заиграло, зазвенело кругом, и кони ворохнулись, горячася, выстраивались на линии старта. Фаворит не разжигал себя, но и не сдерживал, пританцовывал на месте, пробуя ногами упругую почву. Будто жглась она под копытами, гнала прочь, в раздолье, но глаза уже вымеривали поле сражения — оно дыбилось препятствиями, дразнило.

После сигнала стартера Фаворит взял с места так резво, что на какое-то время забылся; затем, очнувшись, удивился жестко натянутым поводьям. Он ощутил силу жокейских рук, теперь властных, помогавших ему, Фавориту: слушаясь их, он выровнял бег, точно выбрал точку прыжка под плетнем. Он еще слышал, как гудит под ногами других лошадей земля, как пошвистывают хлысты, рассекающие воздух, но скоро звуки пропали, и слух его ловил лишь стук собственного сердца. Жокей пустил его — дал шенкеля, покачал поводьями. Пора! Фаворит, одолев канаву с водой, взял голову скачки.

Расседывали его в загоне для победителей, покрыли попоной, повели по ипподромной дорожке. В шуме, слетавшем с трибун, Фаворит различал детские голоса, и к горлу его подкатило радостное ржанье, но он удержался, зная, что полагается вышагивать чинно, горделиво. Он перевел взгляд с трибун на жокея, идущего рядом. На пыльную, худую шею, на подшлемник, потемневший от пота. Ему показалось, что жокей пошатывается, слабеет. Круг уже заканчивался, у входа в загон, у весовой, густо толпились люди, ждали. Фаворит подался к жокею в самый раз — рука Толкунова искала опоры.

3

То ли надоело Лехе трястись, то ли побоялся почему-то въезжать в деревню — рывком крутанул баранку, свернул за околицу. В молодой лебеде остановил самосвал, хмуро оглядел четко обозначенные в ясном, тихом воздухе крыши, нашел знакомую, подбадривая

себя, зашагал. Опасался он не зря: в избе была одна хозяйка. Ни о каком долге она не слыхала. У Лехи подломились ноги, сел на порог, застонал. Не напрасно — хозяйка дала ему займы два рубля. С ними Леха и вернулся к Грахову.

Растолкал, дал время опомниться, сказал:

— Будь другом, добавь рупь шестьдесят две.

— На водку, что ли? — недовольно, грубовато спросил Грахов.

— Хотя бы, — проговорил Леха. — Понимаешь, нет у меня сейчас. Этого мусора я долго в кармане не держу.

— Вы же за рулем, — напомнил Грахов.

— Значит, ты меня не знаешь, — обиделся Леха. — Понятно, молодой еще...

Сверху он казался Грахову приплюснутым, вросшим в густую лебеду — с места не сдвинешь, пока не будет денег. Как же иначе?

Леха смотрел спокойно и прямо.

— На троих, — сострил он, глянув на кузов, где Фаворита совсем не было слышно. — Эх, дороги, пыль да туман... — пропел Леха и сплюнул. — Горло хоть прочистим. Быстрее доедем.

Грахов достал кошелек и отсчитал деньги. Подал Лехе и отвернулся. Когда стихли шаги, Грахов вышел из кабины, чтобы размять ноги, и что-то поразило его при виде замершей в кузове лошади. Не сразу догадался, почему не узнал ее: недавно белая, она стала серой от пыли. Дремала или задумалась — последнее Грахов тут же отбросил, — но стояла она в скорбной, почти человеческой позе. Грахов раза два обогнул машину, желая прилечь где-нибудь в тени, но не успел. Возвращался Леха. Пиджак его оттопыривался. Коротким жестом позвал Грахова лезть в кабину; проезжая задом к речке, прищурился на песчаный плес, на блеск воды.

— Так-то лучше, — сказал он, когда колеса, прошуршав по песку, замерли. — Куда торопиться? — доставая сверток, ведро, подмигнул: — Ну, пошли в тенечек.

— Я подожду, — сказал Грахов. — Только, пожалуйста, побыстрее. Не понимаю... В такую жару.

— Я ить забыл, что ты ученый, — весело улыбнулся Леха. — Она ж вонючая, водка-то. Хотя... На том свете не дадут.

Выдавливая в песке глубокие следы, напевая, Леха направился под вербу; звенел ведром, черпал воду, покрывая, стягивал рубаху, сапоги. И будто провалился — тихо стало. Грахов догадался: пьет. Сам он мало

пил водку, от случая к случаю, и хватало ему двух-трех наперстков. Не шла.

И сейчас, подумав о себе чисто, отгородившись от Лехи, Грахов ткнулся лбом в приборную доску.

Но снова, как в институтском дворе, накатило смятение, и Грахов откинулся, открыл глаза. Увидел речку, узенькую, гладкую, затянутую в петли дымчатые островки краснотала. Истома лежала на всем — на листьях, на песке. Легче не стало, и тишина, и светлая благодать тоже давили сердце. Грахов понял отчего: не смог поехать к Марине в Тарабаново, где ждала она его давно, и не потому, что держала его при себе Светлана, сегодня самое время было махнуть к Марине, если бы не этот рейс.

До слуха его долетел Лехин голос, потеплевший, ласковый. Грахов удивился внезапно появившейся в нем злости, которая почему-то пропала, как только он прыгнул на песок. Духотища... Жмурясь от горячего света, разжигая себя, Грахов двинулся к вербе, где лежал и кричал Леха. Пока шел, отметил, что тот закусывает, на газете розовое аппетитное сало, хлеб, соленые огурцы.

— Ну сколько ждать можно? — лениво тянул Леха, не видя Грахова, может быть, вовсе не желая, чтобы тот отозвался, а так, от скуки. — Спишь, что ли, ученый?

— Иду, — сказал Грахов. — Иду, чтобы сказать...

— Потом скажешь, — прервал его Леха, поднимаясь и берясь сразу за бутылку.

— Пить я не буду, — проговорил Грахов, боязливо следя, как из темной бутылки льется в стакан, булькает водка. — Я уже говорил, что надо вернуться как можно быстрее.

— Ишь ты какой шустрый, — одобрительно сказал Леха. — А я думал, ты только спать умеешь...

— Кроме шуток...

— Бутылку все равно допью, — сказал Леха. — Не здесь, так в дороге. Оставишь, она выдохнется. А мне много. Я ж кричу, надрываюсь: помогите!..

Он жаловался, и не Грахову, а кому-то третьему, кто, будь он рядом, помог бы. Выручил бы. Грахов видел, что Леха уже пьян. Или не столько пьян, сколько уязвлен тем, что Грахов отказался поддержать компанию. Грахову теперь боязно было и пить и не пить. Как перед этим, когда ждал денег на бутылку, Леха говорил всем своим видом: не уговоришь ехать, пока не будет выпита водка. Грахов шагнул в тень — на

спину яростно навалился зной. Мельком скользнув взглядом по машине, он с трудом различил склоненную голову лошади, присел.

Фаворита донимала жара. Самосвал стоял на песчаном скате набок. Ни пошевелиться, ни сменить ног на косом гладком дне кузова; Фаворит застыл, и пыль на нем притягивала солнечный свет: чем не грязный сугроб? Из-за пыли в глазах Фаворит и видел плохо. Но людей слышал: говорили не о нем. Один, давно подавший голос с берега, уговаривал другого, тот отнекивался, но, как отмечал Фаворит, все слабее и слабее. Потом люди замолчали.

Грахов взял стакан, а Леха медленно съезжал по песку к воде, чтобы не мешать тому справиться с водкой. Уже в воде, как бы собираясь окунуться, Леха одним глазом сторожил Грахова: вдруг захочет выплеснуть. Грахов тоже сторожил Леху, но потом, смутившись, плеснул водку в напряженно открытый рот и проглотил.

Леха шумно окунулся.

Вода заплескалась, протяжно и сладко стонал человек. Фаворит вздрогнул и поскользнулся. Он долго перебирал ногами, ставя их и так и эдак, но лучшего положения не нашел. Горячая спина его подергивалась, будто жила и задыхалась она отдельно и сильнее, чем сам Фаворит, просилась в тень, к воде. Поморгав, Фаворит ненадолго прочистил глаза, разглядел зеленую воду, плывущего в ней человека, огромную густую тень от вербы...

Грахов как стоял спиной к машине, так и двинулся к воде и сел там на песок. Он приготовился ругать себя за то, что выпил, чтобы, пораздумав, себя же и оправдать: выпил потому, что иначе могли здесь из-за Лехи застрять. Рука его кончила гладить песок, нащупав под жарким его слоем что-то прохладное и нежное. Грахов удивился цветку, который, еще не пробившись в свет, успел набраться его: нераскрытый чашелистик был зелен. Грахову было приятно, что он заметил цветок в песке, что он узнал его, способного к фотосинтезу даже под слоем почвы.

Когда Леха, выйдя из воды, подсел к нему и тоже посмотрел на ямку, Грахов умиленно произнес латинское название цветка, добавил:

— Какая жадность к жизни...

— Это точно, — поддакнул Леха, ничего не поняв.

Грахов ощутил приятную мягкую глухоту. И как ни напрашивался Леха на задушевную беседу, Грахов

не отзывался. Он глядел в воду, на дно, где ясно отличались камушек от камушка, смотрел долго, находя в воде, с виду простой, ему лишь ведомую сложность.

Леха уже не приставал к нему, лежал на песке, ни о чем не думая.

Луговой свежестью тянуло с того берега. Раздольная ширь, отгороженная от людей густой листвой, зеленым шумом, хорошо известными запахами, тревожила Фаворита. Сгоняя соринки с глаз, он выгибал, сколько позволяла привязь, онемевшую шею, видел луг. Там, казалось ему, все было иное: солнце, небо. Гулял там вольный ветер, гнал по ровной глади короткие серебристые поблески.

Еще недавно жокей Толкунов выводил Фаворита в прохладу раннего сизого утра. Не спеша добирались до поля, где небо раздвигалось, далеко оттесняя край земли. И к нему, недоступному, размытому дымом, скакал Фаворит. И будто бежал навстречу, вырастал лес, еще хранящий ночную мглу. По лесной дороге, по обнаженным корням летели до светлой поляны. Здесь жокей спешивался, бросал поводья. Кружили медленно, слушая птиц. Глядя на него, поставив уши зайчиком, слушал и Фаворит... В уставших глазах Фаворита струилось и струилось золотистое жаркое небо. Потом оно застыло, оранжево запеклось, и на мгновение Фавориту почудилось: падает оно на него, опрокидывается. Он расслабил шею. В ушах стоял звон. Фаворит снова вскинул голову, еще раз долго смотрел на луг, на полоски бегущего света, и потянуло его туда так сильно, что он, потеряв гордость, длинно заржал.

Леха и Грахов допивали бутылку. Стаканом, где еще оставалось полглотка водки, Грахов черпнул из ведра воды, запил и откашлялся. Грахов услышал, как заржала лошадь, но не обернулся, следил за собой: что делается в нем внутри? Слушал себя и думал: лучше было бы не пить по второму разу.

Подождав, справившись с собой, вспомнил: Фаворит подал голос.

— Все-таки она умница, — сказал он, оживляясь. — Классная лошадь. Ты ее зря.

— Верно, зря, — легко согласился Леха. — Характер тяжелый. С похмелья я своих дома гоняю. Дурь прет.

— Их на войне семь миллионов полегло. Которые уцелели — на колбасу.

— Верно, нет лошадей, — отозвался Леха, доливая себе остаток из бутылки. — Техника пошла. Сложная, автоматы. Век такой. Возьми самолет...

— Кстати, насчет самолета, — вспомнив, прервал его Грахов. — Та же корова, как сказал один кибернетик, сложнее ТУ-104.

— Да ну? Псих, наверно, был. Как же это?

— Надо полагать... — Грахов помедлил, довольный, что озадачил Леху. — Молоко она дает, буренка. Вот в чем сложность...

— Ишь ты, загнул, — изумился Леха. — Хитро... Хотя, взять мою машину, она тоже молоко дает, — подмигнув Грахову, сказал он. — Ты-то ведь понимаешь. Ваш брат, скажем, труды создает, а меж собой, слышал, вроде шутит: детишкам на молочишко. А?

Тоже довольный, прямо посмотрел на Грахова, засмеялся.

— Лошадь хорошая, — повторил Грахов. — И зарабатывает куда больше нас.

— Иди ты!

— Не знал, что ли? Тысяч сто золотой валютой в год.

— Бреешь, — отмахнулся Леха. — Ученый, вот и вешаешь мне лапшу на уши. — Помолчав, расслабленно, ласково сказал: — Но ты парень ничего. Я думал, морду воротит, брезгает.

— Ну зачем, — растрогался Грахов. — Я сам не люблю, когда наш брат чванится. Искупаюсь я.

Он разделся, боязливо вошел в воду. Нырнул в середину течения, поплыл, размашисто, как попало бил руками по воде, лег на спину. Следом плюхнулся в воду короткий, круглый Леха, коротко и кругло похотывал, пускал пузыри. Расшалившись, стал доставать со дна камни, кидал, пробуя силу руки. Купались до гусиной кожи.

— Как же столько зарабатывает? — спросил вдруг Леха, подойдя к Грахову. — Как?

— Кто? — не понял тот, забыл уже.

— Лошадь.

Грахов сощурился на него, весело потирая мокрую грудь, сказал:

— Пробежит на приз — клади на бочку. — Вдохновился, хвастливо, будто говорил о себе, добавил: — Ты еще услышишь о ней. Она еще покажет всем.

— За что же ей столько отваливают? — замирая в воде, недоверчиво щурился Леха. Метнул короткий уважительный взгляд в сторону самосвала. — Чудеса!

— На ипподроме был хоть раз? — спросил Грахов.

— На танкодроме был, — нашелся Леха. — Щебенъ возил по найму. Во где техники. Представь танк... — Он набычился, изобразил. — Новехонький. Так он и прет

прямо по столбам бетонным, крошит их, как я, скажем, сахар зубами. Силич-ча! Вот где гробят технику почему зря... Во где нервы нужны. Глядишь, а тебя аж до кишок пробирает.

— Страсти-мордасти... На ипподроме, там зрелище что надо.

— Прыг-скок... Видел раз по телевизору. Все в кучу — кони, люди. Я, правда, тогда глаза залил, темнота.

— Темнота... — вздохнул Грахов, погружаясь в воду по шею. — Хорошо-то как... Слово "ипподром" еще от римлян идет, — не слушая Леху, будто сам себе сказал Грахов. — Потом уже появились велодромы, танкодромы, космодромы.

— Ну, завелся, — заскучав, протянул Леха.

Он отвалился на спину, отплевываясь, крикнул из воды, из радужных брызг:

— Водичка-то!.. Ха-х!

Легче стало Лехе: день не пропадет зря. Он быстро прикинул, наметил что-то и не стал упрямяться, когда Грахов, вылезая на берег, напомнил: пора сматываться. Показывая, что ловит каждое слово Грахова, ест его глазами, слушается, Леха прытко выбежал на берег.

— Прикажете не одеваться, — обратился он к Грахову. — Не кабина там, душегубка. — И вдруг распорядился: — Воду вылей, ведро захвати.

Повелительный тон вроде смутил Грахова. Он отвел глаза от Лехи и посмотрел на самосвал.

— Есть идея, лошадь попоить, — сказал Грахов. — Она ржала. Не железная.

— Моя, наверно, тоже просит, — сказал Леха. — Останется, дольем в радиатор.

Фаворит не шевельнулся, не совсем еще веря, что о нем вспомнили. Позади, забираясь в кузов, громко дышал человек, плескаясь, проливалась вода.

Человек срывался, подтягивался, наконец протиснулся вперед. Подтолкнув ведро к Фавориту, взобрался на крышу кабины, смотрел оттуда. Пить Фавориту хотелось давно, он коснулся губами воды. Осторожно, приготавливая себя к тому, чтобы выпить немного, помня, как его однажды опоили. Так сильно, что ноги подломились, упал. Спас его большой шприц — всадили в губу, пустили кровь. Помня это, Фаворит попробовал воду, но пить не смог. Резко подняв голову, раздул тонкие ноздри. На воде плавали радужные пятна, но не от них отшатнулся Фаворит. Ударил в нос, удалив память, запах водки: перед глазами встал маленький, узкий жокей с папироской во рту, с хлыстом в руке.

Им на время заменили жокея Толкунова. Никогда не забыть Фавориту лицо того жокея, острое и опасное, как топор. И запаха, каким веяло от него, когда он приближался, поигрывая хлыстом, в том вагоне, в котором Фаворита везли на испытание, — не забыть. Резкие, жгучие удары — тоже. Будто злобу и лютость хотел он привить Фавориту. До того перестарался, что пользы не было никакой ни ему, ни лошади. В момент, когда Фаворит брал препятствие, жокей потерял стремя, оба упали.

Отходчивое сердце Фаворита простило его, случайного человека, а память — нет.

Сначала Грахов, следивший за лошадью с кроткой, жалостливой улыбкой, замер. Завороженно уставился на лошадь, на глаза с запекшейся по краям черной грязью, отчего они казались подрисованными, как у женщины. На какое-то мгновение у Грахова возникло ощущение гнетущей вины, оно было болезненно, но не страшно. Другое было страшно: сознание, что вина эта копилась долго и долго, изо дня в день откладывалась для ответа, и вот живым упреком и судом за неискупленную перед кем-то вину стала лошадь. И ему вдруг показалось, что лошадь, как только он, Грахов, шевельнется, укусит его. Он почти сквозь слезы пьяно крикнул.

— Укусит она меня!

— Видал! — откликнулся Леха. — Норов свой показывает. — Глянув на застывшую плоскую спину Грахова, достал заводную ручку, протянул: — Держи на всякий случай...

При виде кривой тяжелой палки — Грахов держал ее, не решаясь занести, — Фавориту показалось, что его заставят пить воду силой. Чуть отпрянув назад, он ударом копыта опрокинул ведро.

Грахов выронил заводную ручку, быстро сполз по скосу кабины на капот, не удержавшись, упал вниз, на песок.

— Озверела, что ли? — спросил Леха.

— Оставь меня в покое, — еще не оправившись от страха, простонал Грахов, потирая ушибленный бок.

— Норов свой показывает, — сказал Леха.

Оба подходили к кабине опасно, будто в кузове затаился человек. Взяв с места рывком, самосвал содрогнулся до самых ржавых креплений, и в шуме не слышно было, устояла лошадь на ногах или нет. С разгона самосвал поднялся на дорогу — на дорогу, которая дыбилась кончиками и до дымчатой, дальней дали не обещала ни одной живой души.

Судьба заботилась, чтобы он сделался фаворитом, давно — с темного начала. Ходил слух, что его подменили новорожденного, и ходил другой: никакой подмены, в нем возродилась порода.

Родился он в праздничную ночь, и только к утру, когда мать облизала его и высушила своим теплом, поставила на тоненькие гнущиеся ножонки, уже на расвете увидел его конюх. В ту же ночь родился другой с виду такой же: беленький, с круглыми и темными, как сливы, глазами. Пока искали дежурного ветврача, оба попали в родильную, ничем сразу не помеченные. Когда конюх, заметив, что оба белой масти, одной кости, спохватился, было уже поздно. Конюх вспоминал, какая из кобыл родила первой: Прелесть или Тальянка, какого жеребенка вынес вначале, — и путал, запутался; боясь за себя, пометил новорожденных на глазок.

Стригунком Фаворит носил кличку Рапид. Был он, как считали, сыном Раската и Прелести — хороших, классных родителей. Но головы кружила другая надежда: ожидаемое потомство Франта и Тальянки — кровь сильного рекордиста в соединении с кровью резвой, гордой ипподромной звезды. Уже в самой кличке, доставшейся их сыну, звучала смутная угроза — Фантом, что значит — призрак.

В том, может быть, повезло Рапиду, что до своего часа он оставался как бы в тени. Ни в групповой выезде, ни потом в тренинге его работали не так, как Фантома. Как наследника, Фантома торопили к черте, предназначенной давно, едва сошлись его родители, — к славе. Рапид отворачивался, когда видел Фантома после выездов: глаза с мольбой, с безуминкой смотрят в окно денника. Да, слишком жестки шпоры, нетерпеливы руки его жокея. Рапид не то чтобы не любил Фантома, но терпеть не мог, когда еще на гладких скачках тот шел рядом, ноздря в ноздю, как отражение. Вел скачки Рапид — на силе, ровно, но как его ни посылал жокей, перед столбом он отставал, пропуская Фантома вперед. И всего-то на голову, на две.

Рапид не сразу понял, чего хотят от него люди. Ни шпоры, ни хлыст не пробудили в нем того, что пришло потом. Внезапно, тревожно озарила догадка: хотят, чтобы он побеждал. Он понял, почему люди, сначала тихие на трибунах, меняются, когда скачут лошади. Это красиво, сильно — захватывает дух. Люди смотрят:

пролетают над препятствиями, сбиваются в быструю, ускользящую лавину кони; взметываются, мелькают копыта, гудит земля, чиркают, чиркают по воздуху цветные камзолы жокеев, хлысты. Вытягиваясь, уходят к повороту, и на неясном фоне возбужденных трибун слышны всхляпы, вздохи, короткое, сразу оборвавшееся ржание упавшей лошади. И вот они двое в голове скачки — Фантом и Рапид. На последней прямой срывается с трибун, как шквал, зыбится, накатывается, как волна, плотный людской шум. Спереди, сбоку летят, горяча, страстные голоса: одни хотят Фантома; другие — послабее, потише — Рапида. Позади в побитом поле еще бегут, стелются лошади, но их не слышно — ни на дорожке, ни на трибунах.

Но однажды на мгновение все смолкло — трибуны, громкоговорители, даже сама земля. Перед финишем Рапид в неуловимо плавном движении оторвался от Фантома, и неся за его длинным телом, за хвостом белый призрачный след.

Но еще раньше Фаворит, не ведавший посторонней заинтересованности в его победах, почувствовал, что кровь, хотя она и не застаивалась и в будни, только перед неминуемой принародной скачке до предела полно бодрит тело. Только в те минуты, когда от напора крови знобко ноет шея, когда тягуче-сладостное желание оторваться от наседающих лошадей забирается под самое сердце и в ошалелой устремленности к столбу густо темнеет в глазах, — только тогда скачка перестает быть тяжким трудом, превращается в праздник.

На первой же барьерной скачке Рапид, будто решив, что хватит уступать Фантому, легко ушел от него на пять-шесть корпусов.

Люди решили иначе: была случайность.

Рапид уже значился в списке молодняка для продажи с аукциона.

И был день, была выводка перед аукционом. В комиссии двое новеньких: глава комиссии, тонкий, сухощавый старик с усами и осанкой кавалериста, со взглядом служителя ломбарда; второй — жокей Филипп Толкунов.

Комиссия, сначала полуразбросанная, говорившая вполголоса, постепенно собралась, выжидательно, грустно смолкла — не на празднике... Молодыняк был на подбор — кони чистых кровей, классные. Одного за другим выводили под уздцы. Вороные, золотисто-гнедые, пегие, караковые, начищенные до блеска жеребцы и кобылы, будто чуя неладное, пугались, напружинива-

лись. Заслышав имена — свои, родительские, громко произносимые распорядителем выводки, — замирали, наострив уши, ждали, что будет дальше.

Но пока ничего особенного не было.

Приезжий старик говорил что-то негромко, вроде даже не смотрел на очередного коня. Но все знали: он схватывает каждую линию, постав каждой ноги, а последним скользящим взглядом — весь экстерьер. Он советовался, не нуждаясь в советах, с хозяевами; эти знали, чье потомство отдают и почему, старик же полагался на свой опыт и глаз.

Вывели Рапида. Старик по-прежнему, как бы невзначай прищурился на него, сказал что-то. Потом медленно, будто пробуждаясь от тяжелого сна, выпрямил спину, долго смотрел на коня. Холодная, чуточку напускная отчужденность сошла с его лица, оно стало ясным, как если бы от коня легла на него яркая трепетная полоска света. Старик оглядел стоявших рядом. Глаза его остановились на Толкунове. Надо быть самому хоть немного лошадью, чтобы так понимать ее, как понял Рапида старик.

Жокея, как и его соседа, старого лошадника, поразило скрытное внутреннее движение, едва угадываемое в чеканно застывшем коне. Конь, казалось, приготовился что-то сказать, но молчал, надеясь на людское понимание. Он, видно было, не хотел смириться с уготованной ему участью — быть проданным с молотка и увезенным в неведомые чужие края.

Но что больше всего смутило и на какое-то мгновение даже напугало Толкунова — так это сознание, что конь дошел до этих взбунтовавших его догадок своим умом.

Жокей пристальнее всмотрелся в лошадь, желая постигнуть тайну ее, — надо же, минуту назад он не подозревал о ее существовании.

Всех охватило беспокойство. — казалось, белый жеребец вдруг скажет о глядящих на него людях такое, чего бы они не хотели знать. Взгляд умен, затаенно дерзок, даже насмешлив. Под тонкой, в яблоках шерстью угадывалась знойная сила, горячий свет струился по гладкому крупу, упругой спине, длинной шее, голубовато плескался в черных шарах глаз. Конь замер, как на картинке, но даже в этой обманчивой покорности чувствовалось: жил страстно, готовясь вот-вот кинуться в полет.

Послышался короткий, разом снявший тревогу вздох — старик вычеркнул Рапида из списка. Когда жо-

кей Толкунов попросил директора завода дать ему жеребца в езду, никто не удивился. На другой день утром жокей попробовал коня на резвость. Перед проминкой украдчиво присматривались друг к другу. Жокей угощал коня сахаром, похлопывал нежно, седлал. Только раз, уже в круге, жеребец хитро засбоил, поддал снизу крупом: крепок ли жокей в седле? Тот усидел, не наказал — хлыста у него не было, — повел дальше. На прямой дал шенкеля, покачал поводьями. Приняв посыл, жеребец полетел, весь распластавшись, неуловимо быстро выбрасывая и подбирая ноги, радуясь звону ветра, свету. С воробышка величиной фигура человека в конце дорожки прояснилась, казалось, тоже летела навстречу. Знакомый зоотехник, увлекшись, не следил за секундомером — смотрел на ослепительного в беге коня. Еще круг, и засекли время. Спрыгнув на траву, жокей будто задохнулся, не сразу спросил: как? Услышав ответ, ухватился руками за гриву, ткнулся лицом в нее, терпкую, парную. За двадцать лет жокейской карьеры первый раз заплакал. Он не стыдился лошади, которую так долго искал и ждал. Пришло первое и, может быть, последнее вознаграждение.

Вот и начали тогда спрашивать, как получилось, что коня чуть не проморгали. Вспомнили и пытали конюха, он отпирался, путался, как и в ту ночь, наедине; и потом уже, чтобы облегчить другим разгадку, заявил: ночь была темная, мог бес попутать. Может, и подмел. Может, нет.

Подобное признание и вовсе сгустило темноту. Темника пристала к коню, неразбериха переиначилась в тайну происхождения. Тайна шла впереди коня. А сам он, благородный, с виду хрупкий, будто из снега, источенного ветрами, появляясь следом, ненадолго рассеивал слухи. Ненадолго — до первого старта. Только лошади и самые опытные наездники не обманывались, видя его впервые: вот он, верняк.

Но потом все это было. Пока, как только решили, что Франт и Тальянка его настоящие родители, надо было сменить прежнюю кличку. Жокей Толкунов помнил давнюю традицию: в кличке должны быть заглавные буквы имен родителей. То, что пришедшее на ум слово среди лошадиников ходячее, не остановило жокея. Оно пришло мгновенно и прочно: Фаворит.

Фаворит ехал и не справлялся уже со своим занемевшим телом. Упал он сразу, как только машина яростно взяла с места. Передняя поперечина вдавилась в горло. Он попробовал запрокинуть голову, за-

валиться, но коротко привязанный сыромятный повод вернул его в прежнюю позу. Машина притормаживала на выбоинах, и Фаворит раза два начинал скрести подковами, пытаясь попутными движениями встать на ноги. Напрасно, его сдергивало, когда машина проваливалась в ухабину.

На глаза накатила чернота, рассеялась, снова затмила свет; Фавориту почудилось, будто из густой душной тучи сеется на него мутная горячая влага, сочится по лбу, по глазам, кроваво пузырится на ноздрях. Туча обволакивала, мяла его, ласково приняв на себя боль, усыпляла. Сквозь густой туман промелькивал, падая сверху, солнечный свет, обжигающий, рассыпчатый — будто бросали пригоршнями раскаленные зерна овса. Все тяжелея, наливаясь немотой, Фаворит догадался: так, дразнясь яркими вспышками, уходит жизнь. Не давая угаснуть сознанию, он еще и еще раз дернулся, подмял под себя ведро. Оно легло на брюхо, зато мягче давило шею.

А дорога все стучала снизу, тыкалась кочками в колеса, словно этим могла замедлить скорость самосвала.

Фавориту казалось, дороге этой нет конца и будет он ехать, не слыша весны, не видя ее солнца и неба, пока не набьются рот и ноздри смоченной пылью, которая запечется в лепешки и удушит. И он не сразу поверил: машина остановилась, заглохла. Отчаянно-радостным усилием выбросив тело, Фаворит поднялся. Стояли в поле, показалось оно Фавориту кроваво-красным. И солнце, набравшее полуденную высоту, тоже было красным, подернулось багровой мглой и тихо звенело, хотя зной в небе убавился. Долго смотреть на сияние Фаворит не мог — пыль заскребла глаза, набежали слезы.

Первым из кабины выскочил Грахов, застенчиво побрел за кювет. Леха постоял тут же, у колеса, тут же прилег: плотный, на траве еще белее, чем на речном песке, голова темная. Возвращаясь, Грахов еще издалека начал смеяться от нелепой, забавной мысли, что Лехино тело и голова долго жили врозь.

— Растрясло меня, — сказал Грахов. — Долго еще по этим колдобинам?

— Кишка тонкая, — охотно отозвался Леха. — Одного вашего, который в коттедже живет, я на своем "Запорожце" на рыбалку возил. Так он у каждого столба вылезал. Потешный мужик. Мозги набекрень.

Берет торчком, плащ копеечный, в нем на рыбалку и на работу.

— Лисокомский, что ли? Доктор наук?

— Ну и что, что доктор? — сказал Леха. — Зимой в шапке из кролика. Срам. Мою возьми — каракуль настоящий, за семьдесят целковых. Вот тебе и доктор. Водку тоже не пьет.

— Нельзя же всех мерить на свой аршин, на бутылку.

— Бутылка бы не помешала сейчас, — оживился Леха. — Поедем в поселок, сообразим, а? От недопоя мне хуже, глаза бегают.

— Ну нет, — сказал Грахов. — Иначе я сажусь на автобус и домой.

— А лошадка?

Разговор напомнил Грахову что-то другое, и он, кажется, хотел о том сказать вслух, но раздумал. Ему стало скучно, он обвел холодным взглядом Леху, самосвал, недоумевая, почему он здесь — не там, куда его тянуло.

— Ну, скажи, скажи, — поддразнил вдруг Леха, от которого не ускользнуло смятение Грахова. — Что у тебя дома — пожар?

— Человек меня ждет, — вздохнув, сказал Грахов. — Три дня ждет.

— Четвертый подождет.

— Будет уже поздно.

— Кушнова, что ли, Светлана? Что темнишь-то?

— Нет.

— Баба все-таки.

— Не баба, а девушка.

— В Тарабанове ждет, верно?

— А ты откуда знаешь?

— Леха все знает, сколько ни темни. Да ты не бойся. Я не продам. Я еще зимой вас видел, у кафе "Пчелка" стояли. Плохо ты знаешь Леху.

Поднимаясь с травы, Леха легонько хлопнул ладонью по плечу Грахова, как бы снял мимолетным подкупающим жестом остатки волнения. Оба повеселели, быстро влезли в кабину и поехали. Впереди, за широким холмом, обозначилось задымленное небо: там был поселок, бывший районный центр.

Теперь, уломав Грахова, Леха весело сощурился на бойкое место, словно взял его на мушку.

— Видел я вас, — повторил Леха. — Девочка ничего. Игрушка. Поиграться можно. Или для чего другого ты ее держишь?

— Не совсем ясно, что ты имеешь в виду? — сказал Грахов.

— Для баловства или для пользы. Зачем она тебе?

— Это вопрос сложный, — проговорил Грахов. — Нельзя так утилитарно рассуждать.

— А ты не прячься за слова, — сказал Леха. — Ничего тут сложного нет. Я понимаю, вот Светка Кушнова — она для пользы. У нее под ногами земля горит. С такой бабой жить проще. Не особо смазливая, цену себе знает. Бегать не будет, за мужика будет держаться. Если он не тряпка, конечно. А то сразу под каблук. Знаю я ихнее семейство. Как сыр в масле будешь. А с этой игрушкой еще неизвестно, до чего доиграешься. Она ж красивая, верно?

— Красивая, — подтвердил Грахов, становясь рассеянным, нежно расслабленным, как если бы увидел ее сейчас. — Прекрасная.

— Вот и будет она своей красотой жить, — сказал Леха. — Где красота, там не жизнь, а сплошная канитель. Пользы никакой. Говоришь вот: лошадка красивая и талант от природы, а какая нам польза? Хотя вру. Ты-то от нее пользу имеешь. Она тебя кормит.

— Косвенно, да, — согласился Грахов, участвуя в разговоре вполсилы.

— Диссертацию про них пишешь?

Знакомое слово будто толкнуло Грахова, он выпрямился, говоря глазами и всем своим видом, что Леха полез не туда, но что-то помешало ему отдалиться от Лехи. Потом он понял, что причина тому — голые ноги, голый живот, что, как ни смешно, без одежды он не может возвыситься над шофером, который полез в святая святых. Он произнес с издевочкой:

— Пишу сказку про белого бычка. Хочешь знать, как она называется? "Газоэнергетический обмен и метаболизм в пищеварительной системе кобылиц при разных температурах". Не понятно?

— А чего мне понимать, — без удивления сказал Леха. — Я другое понимаю — надо. Не черту лысому, тебе надо. Дураку понятно. И ты понимаешь, что я тоже не одним окладом живу. Кому-то, может, и не нравится. Такой как собака на сене: ни себе, ни другому. Или как моя Татьянка, по дурости продаст. Дочь у меня, в шестом учится. Задали им сочинение: кто, мол, ваш отец? Что она пишет? Отец продал ворованные доски, напился пьяный, спьяну купил мне пальто. Мне до этого пальто три года расти, не по росту, значит. Прибегает учительница, сует мне сочинение. Что, мол, это значит?

Кое-как выкрутился. Хорошо еще, трезвый сидел. Ну, а Татьянке-то я потом всыпал на три года вперед, чтоб знала!

— Так нельзя, — сказал Грахов. — Не тот метод.

— А я так, как учил меня отец язык за зубами держать. Сначала рюмку водки выдаст, потом ремень снимет. И весело, и больно.

Подъем кончился, распахнулась ширь, на ней дымно и тускло тянулся поселок.

— Посмотреть надо, как там лошадь, — сказал Грахов. — И одеться непременно.

— Не бойся, — успокоил Леха. — Я знаю, как проехать. Не первый раз.

— Лошадей возил?

— Кирпич подвозил. Какая разница, тут гаишников днем с огнем не сыщешь. Вы постоите в проулке, а я в чайную сбегая.

— За бутылкой?

Но Леха уже свернул с дороги, проехал мимо забора, мимо крайнего яблоневого сада, завел самосвал на пустырь. Пока Грахов искал сложенную у ног одежду, Леха, натянув штаны и рубаху, успел убежать.

5

Вернулся Леха не один. Человек, кативший за ним на велосипеде, отстал у обочины. Леха сел за руль и, разворачивая машину, следил за человеком, тот, медленно вращая педали, поехал впереди. Грахова удивила важность, с какой Леха и незнакомец двигались неизвестно куда. Леха молчал, пока не въехали во двор. Каменный дом, веранда, сарай.

— Лошадь больная, что ли? — спросил хозяин, поставив велосипед в тень. — А то мою скотину заразит.

— Сосенковская, — ответил Леха. — Дорога-то какая. Технику гробишь, себя тоже.

Хозяин с виду казался нездешним, с желтовато-смуглым лицом, но что-то в нем было обтертое, круглое, какая-то особая мягкая неприметность, которая делала его не лишним нигде. Он скользнул взглядом по Грахову так быстро, что тот потом долго не мог избавиться от ощущения, будто его взвесили. Будто стрелка весов, незаметно для него показав на деление, чего он стоит, снова замерла на нуле. Казалось, Леха с хозяином знаком давно, и отсюда приятельская обходительность, отсюда понимание с полуслова. И когда Леха сказал, что лошадь сосенковская, хозяин что-то отме-

тил про себя, успокоился; когда Леха добавил насчет дороги, которая гробит технику, он тоже что-то сообразил.

— Доски у тебя есть? — спросил Леха, не найдя их своими глазами.

— Дверь старая, — сказал хозяин.

— Годится.

Хозяин отправился в сарай.

— Обедать, кажется, заехали, — предположил Грахов, глядя на Леху, чтобы тот подтвердил.

— Угадал, — обрадовался Леха. — Лошадь пока сгрозим, поставим в сараюшке, напоим, накормим. Ей-то тоже отдохнуть малость надо. — Подождав, пока доходило до Грахова сказанное, улеглось, он тихо закончил: — А мы тут съездим недалеко.

— Вот это уж мне не нравится, — сказал Грахов, прохаживаясь по двору. — Вы просто дурака из меня делаете. Что вы надумали?

Голос не сердитый, даже не твердый. Говорил он, как человек, который только готовит себя к окончательному решению.

От Лехи это не ускользнуло.

— Ну и правильно, — сказал он, обрубив разом, а хозяину — он появился с длинной подгнившей дверью в руках — сделал знак, чтобы бросил.

Грахов говорил так невнятно еще потому, что болела голова. Легкий, веселый туман, до этого бодривший, теперь вспухал, давя изнутри. Грахов сел на бревна возле сарая, но голова с пугающей тяжестью клонилась вниз, хоть прямо на навоз.

Леха и хозяин пошептались, ушли в дом, но Леха скоро появился на крыльце, позвал Грахова:

— Иди. Кваску попей.

Пить Грахову хотелось, и он, помедлив для приличия, поднялся с бревен, пошел следом за Лехой. Перешагнув через порог, невольно одернул пиджак, пригладил волосы, словно по ошибке попал не туда, куда звали. Он увидел черное, блестящее лаком пианино, ноты с красивой шелковой закладкой, круглый стульчик. Блестел пол, блестели зеркала, стекла в золоченых багетовых рамах, а вот что было в рамах, рассмотреть не удалось — пригласили к столу. Грахов сел, но его все еще тянуло оглянуться на пианино, спросить, кто играет. Хозяин сновал из угла в угол, нежно звенела посуда, и от стола шли нежные запахи моченых яблок, молодой редиски. На запотевшую бутылку Грахов посмотрел равнодушно и не возразил Лехе, когда тот налил и ему.

— Понимаю, не надо, а вот угощают, никуда не денешься, — сказал Леха. — Да и вовремя: клин клином вышибают.

— Помаленьку полезно, — поддержал хозяин, тоже усаживаясь за стол. — Не пьем, а лечимся. Квас, ребята, прямо из холодильника.

Грахову налили в рюмку из голубоватого благородного стекла, себе в стаканы. И приятно, и неловко было Грахову оттого, что его выделили, и он, стараясь не морщиться, выпил. Запил холодным квасом, закусил яблоком, салом, выпил еще. Тяжесть в голове не исчезла, но прежней жестокой боли уже не было, была истома.

Хозяин подал горячую рассыпчатую картошку, нарезал еще розового, как мрамор, сало, и опять выпили. Поднимая третью рюмку, Грахов уже не ощущал запаха водки, не мутило его, как до этого после каждой рюмки. Все, к чему он прикасался, стало мягким на ощупь, щекало пальцы, мягкими и приятными стали голоса Лехи и хозяина.

— Музыку! — внезапно потребовал Грахов. — Баха!

— Бах-бах! — подхватил Леха.

Хозяин вдруг смутился, но оправился быстро, уклончиво сказал:

— Учиться даже некогда. Крутишься, вертишься.

— Да, — проговорил Леха. — Штучка-то дорогая. — Подумав, добавил: — Ну, не дороже, скажем, мотоцикла "Урал".

— Меня один хотел научить, — сказал хозяин. — Мы на сто первом километре жили. Народу темного жило там уйма. Вот... Ну, играл там один. Музыкант, валютчик. Так он, знаешь, на чем хочешь играл. Возьмет пилу — играет. До того здорово, аж собаки воют. На бутылках еще. Развесит...

— На полных? — перебил его Леха.

— На пустых.

— Это, брат, действительно... Я вот в Киеве прошлое лето был, — Леха напустил на себя важность, приосанился. — Ну, в этой самой были... в Лавре. Артисты там поют.

— Богу молятся?

— Да нет. Стоят и поют. Литургию. Ничего, не разгоняют. Плакать, правда, хочется...

— Искусство, — присоединился Грахов. — Таланты и поклонники... Вечная тема. — Не зная, что говорить дальше, желая рассеять сосредоточенность, с какой слушали его хозяин и Леха, продолжал: — Как-то Моцарт,

кажется, лежал в своей спальне, слушал, как сын играет го соседству. Играл и не закончил. Оборвал на предпоследней ноте. Ну, скажем, — и он, для ясности выбрав всем знакомое, стал напевать: — Шумел камыш, деревья гнул... Поняли? — спросил он. — Гнул... А нужно было закончить: гнулись.

— "Ись" пропустил, — авторитетно кивнув, сказал хозяин. — Получилось вроде кошки без хвоста.

— Ну и что? — качнулся в сторону хозяина Леха. — Может, надоело, бросил.

— Моцарт лежал, лежал... — продолжал Грахов. — В полночь уже встал, подошел к фортепьяно, ударил по клавише — закончил.

— На "ись" ударил, — догадался хозяин.

— Верно.

Леха насупился, спросил грозно:

— И что этим он хотел сказать? Подумаешь, "ись". Чуть какая!

Грахов хотел пояснить, но не успел, хозяин опередил его.

— А то, что и нам надо ударить.

— Вот! Это я понимаю, — повеселел Леха.

Пили, закусывали, и Грахов постепенно стал пропадать для самого себя, подхватывала его нежная неустойчивая волна, качала вниз-вверх...

— Знаете, — выговорил он вдруг распухшими, жарко пульсирующими губами. — Как ни странно... лошади иные тоже любят музыку...

Ему стало смешно, легко до одури, запомнил еще Грахов, как подходил к пианино, пробовал играть, листал альбом с фотографиями, сравнивая смуглого пионера с теперешним хозяином, опять смеялся. Потом его куда-то несли, снимали с него пиджак и ботинки, укладывали.

Тяжело сойдя с крыльца, Леха направился к самосвалу. Двухстворчатый задний борт был его собственной конструкции, открывался двумя поворотами рычага. Хозяин, подойдя сзади, следил за Лехой недоверчиво, как бы не веря в успех затеи.

— Дверь придержишь, — наставлял Леха, почти засыпая. — Я кузов приподыму. Ну, чего уставился? Ну, закосел малость, пройдет.

Хозяин шевелился вяло, еще и еще раз взвешивая маленькими быстрыми глазами Фаворита. Дверь была прислонена к задней кромке кузова, наклон крутой, но искать иного способа сгрузить лошадь уже некогда. Опять сильно сомневаясь, хозяин хотел возразить Лехе, но тот уже сел в кабину, пустил подъемник.

Кузов дрогнул, Фаворит, сжавшись от толчка и жужжащего звука, подался вперед, заскреб копытами по железу. Смятое плоское ведро, слетев, напугало хозяина. Следом упали на землю заводная ручка, холщовый мешочек, из которого, когда он шмякнулся, брызнул на траву влажный желтый овес.

Кузов все поднимался, и, как ни старался Фаворит удержаться на месте, его медленно сносило вниз.

Опасаясь не столько за лошадь, сколько за себя — как бы не придавило, — хозяин едва придерживал дверь. Он не сразу заметил, что лошадь повисает на поводе. Последним усилием задних ног лошадь пыталась удержаться в кузове. Дверь отлетела, ноги лошади сорвались, сама она вытянулась в судорогах, захрипела. Хозяин, отпрыгнув на заранее примеченное место, оглянулся сперва на ворота, затем подбежал к кабине. Молча сунул кулак в окно, попал не то в плечо, не то в шею, отчего Леха изумленно и бешено крикнул:

— За что, гад?!

— Висит она, — сказал хозяин придушенным голосом. — Удавится сейчас!

Леха метнулся к лошади, на мгновение отрезвел. Мгновенья хватило, чтобы понять, что ему, Лехе, грозит.

Лошадь билась на вздыбленном кузове, как огромная длинная рыба. Что-то охало в ней, собирались в комок, перекатывались мускулы. Она почти доставала землю задними копытами. Голубовато сверкали, стригли траву подковы.

Обратный ход подъемника был холостой, кузов опускался под собственной тяжестью, быстрее — под грузом, если бы он давил на переднюю часть. Леха, сделавшись вдруг тугим и красным, полез под ноги лошади, чтобы, видимо, хоть немного приподнять ее, но от первой же натуги его замутило. Он отполз и прохрипел:

— Не стой, дурак! Косу давай!

Хозяин кинулся в сарай. Пока носился туда-сюда, Леха поднялся. Вырвал у хозяина косу, насадил лезвие на крепкий сыромятный повод. Коса цеплялась за кожу, гнулась, не резала. Наконец, когда лошадь затихла, Леха зацепил удачно, потянул с вывертом, повод лопнул. Лошадь соскользнула мешком, упала на бок.

Свет долго просачивался в закрытые глаза Фаворита — сначала зеленый сделался красным, знойным, отчего голова разгорелась, размякла. Сухая режущая

боль разлилась по шее, кольнула холку, там остановилась, будто за ней уже не было тела. Вот так же долго Фаворит не чувствовал себя когда-то в детстве, упав на лугу. Расшалившись, слепо и радостно кинулся через ручей, слабые его ножки подломились. Мать покусывала и трепала его за уши, чтобы он поскорее очнулся.

Ожили глаза и уши... Возникли булькающие, будто из-под воды, голоса людей.

— Живая, — сказал один.

— Путаи ноги, а то еще бросится.

— Может, поедете сейчас, отложим это дело? От греха подальше.

— Кому ты говоришь? Загоним в сарай и смотаемся. Пока ученый дрыхнет.

— Я-то не за себя.

— За себя сам отвечаю. Поднимай коня, а то разлегся посреди двора. Палкой по заду!

Но Фаворит встал сам. Встал и покачнулся: что-то в нем перекаатилось с глухим звуком, горлом пошла кровь. Кровь шла недолго, скопилась во рту. Фаворит не показал ее людям.

Жокей Толкунов распутывал родословную Фаворита не час, не два.

Он не полагался, как раньше, на память, ослабленную болезнью, потому и завел тетрадь, как только была распознана высокая кровь Фаворита. Другой причиной стало неясное, пугающее временами предчувствие, что Фаворит — его последняя лошадь, данная ему не для утешения, а для последнего сильного света в жизни. Еще была причина — желание поверить в то, что найден след крови, когда-то потерянной и разбросанной. Он знал, но мало кому говорил, что по линии прапрадедушки Фаворит идет от орловско-растопчинской породы. Переписываясь со старыми лошадиниками, копаясь в доступных бумагах, он расплетал нити, связывая их, рисовал в уме судьбу этой породы перед ее исчезновением. Последние снимки, донесшие образы горделивых, сильных коней с тем скрытым пламенем во всей осанке, которое пробуждало иные души от дремучего сна, были помечены предвоенными годами. Представляли породу на сельскохозяйственной выставке. И давно обнаружилось, давно волновало не одного Толкунова: лучшую отечественную породу тайно и явно унесла война. Разметала без вести табунками молодняка, прибрала поодиночке.

Не один Толкунов искал след крови, но нашел — во что верил с каждым днем все сильнее — пока он один. Медленно и постепенно, от звена к звену, шел Фаворит — носитель высокой крови. Оставалось одно — признать его продолжателем рода.

На скачках другое было. Признали его — любили и боялись. Все чаще в призах он бежал так, как если бы сам искал победу. Казалось, он думал. Как-то после броска — Фаворит сразу навязал темп скачке — жокей придержал его, хотя понял затем: напрасно. Фаворита, опасного соперника, дружно зажали в "коробку". Плотнo обложив, скакали впереди, по бокам — нечем дышать. Фаворит до последней прямой бежал взаперти. Жокей сник было. А Фаворит даже не разглядел, а угадал между двумя передними лошадьми просвет, который, если не нырнуть в него мгновенно, мог бы сомкнуться. Фаворит узко, пружинисто вытянулся, скользнул в брешь, и жокей, доверяя лошадиному чутью, пустил ее; сам коротким призывным голосом как бы подстегнул лошадь в ее дерзком, упругом полете. Фаворит на полных махах прискакал к столбу первым.

...Бывали моменты, когда их — человека и коня — связывало особое, тайное родство, сливая в одно целое в едином согласном движении. В этом слиянии было что-то от чуда, но чуда видимого — творилось оно у всех на глазах.

Но не всем нравилось. Не все скачки выигрывали они легко, как могло показаться со стороны.

Прошлой осенью, в пору дождей, один день выдался особенно тягучий, скучный. С мутной моросью, липучими палыми листьями. Дождь, перестав, оставил после себя туман, зыбкий, серый; он растекся по ипподрому, подобрался к трибунам. Фаворит не сразу ощутил сырость, охотно ждал скачку, знал уже, она будет. По денникам разносили питье, задавали овес, и конюх говорил что-то веселое, подмигивал: не подкачай. Был он свой, заводской, приехавший вместе с Фаворитом и Толкуновым, щербатый, уютный конюх Саввич. Тихий, неброский, потому-то и в памяти Фаворита он занимал укромную, невидную ямку.

Фаворита вывели из денника в попоне. Вышел к нему из весовой Толкунов в голубом камзоле, мягких сапогах, шагал по-кошачьи легко, неслышно. Но вот, заметил Фаворит, держал он седло, шлем, скаковые очки вроде бы не так, как обычно. Чем-то был расстроен, взъерошен. Пока жокей седлал Фаворита, застегивал подпруги, поправлял потник, пальцы его в привычном

волнении касались боков, крупа, приласкивали. И все-таки Фаворит почувствовал: жокея будто подменили. Нет, не заболел — подкрадывавшуюся к человеку болезнь Фаворит всегда улавливал. Тут было иное.

Загадка проявилась, когда занимали второй фальстарт. Первый раз соседний жеребец метнулся к Фавориту вперехлест, образовалась толчея. И второй раз Фаворит увидел того жеребца рядом, понял, не случайно. Крупный рыжий жеребец нахраписто лез в соседи, горячился не в меру, караулил фиолетовым глазом Фаворита. Под стать ему наездник — рыжий, щекастый.

Поскакали. Фаворит вырвался сразу — низко, надежно вытянулся: копыта быстро, мягко кидали размякшую землю, и дорожка текла, послушно ложилась под ноги. Взяв препятствие, еще одно, уже в повороте Фаворит оглянулся. Рыжий его нагонял. Жестоким хлыст играл на его боках. Следом за ним, чуть поотстав, кучно шли остальные лошади. Фаворит оглянулся еще: как это рыжий, сырой, закормленный, побьет его?

Толкунов не посылал, словно не замечал ничего, лишь ноги дрожью выдавали волнение. Что же будет? Фаворит чуть прибил к бровке — скатертью дорога!

Рыжий поравнялся, подросли другие, но Фаворит чутко следил за ними, чтобы не дать себя запереть. Не ускользнула от него нечестная рука. Дегина крепкой этой рукой как бы невзначай качнул рыжего, целясь в грудь Фаворита. Фаворит не успел укоротить махи, и в серой пелене тумана, в недоступном судейскому глазу месте сшиблись с рыжим, скаля зубы, дыша белым паром; помялись друг об друга. Рыжий, ошалело всхрапнув, отвалил, исчез.

Фаворит скакал, ждал, когда справится с собой Толкунов. В мгновение удара Фавориту почудилось, будто жокей и он — одно тело, переплетенное одними сухожилиями, одними напряженно звенящими сосудами и по ним единственное на двоих сердце гонит одну и ту же кровь. И он сжался, прятался так, если бы берег не только себя, но и ту часть тела, которой стал для него Толкунов. Он ощутил его взмокнувшей вдруг спиной, гривой — всем, чем удерживал, не давая сломиться, упасть.

Фаворит так и не дождался посылки. Жокей не дал шенкеля, не покачал поводьями, и Фаворита внезапно осенило: жалел его Толкунов. Фаворит вмиг решил сам: вдогон! Яростный, страстный звон наполнил его,

хлестко ударил в ноги, снял тяжесть, понес его всего — ликующего, гневного — в засиневшее пространство. Фаворит разогнался в длинном, упоительно свободном броске, вторым — коротким, точно рассчитанным — настиг лошадей. Оттолкнулся далеко перед плетнем, в прыжке, на лету выиграв два-три корпуса, так же далеко за плетнем приземлился. Взяв голову скачки, он больше не оглядывался и только на последней четверти последней прямой прислушался — в ушах звенел лишь ветер.

Фаворита завели в сарай. Он слушал: стучали ворота, вкрадчиво шумела машина. Все стихло. Только за стеной, в другой половине сарая, кудахтали куры и сыто хрюкал поросенок. Фаворит успокоенно всхрапнул, утомленно закрыл глаза — потянуло в сон. Дразнил его, будто мерещился запах влажного овса. Обыскивая сумрачный уголок, Фаворит ткнулся губами в таз, поставленный на ящик. Распаренный, отдающий бензином овес давился на губах мягко, но с резучей болью застревал в глотке. Устав переваливать жвачку во рту, Фаворит с обидой отодвинулся от таза: есть хотелось, а нельзя. Он потоптался, послушал и проверил тело — сильных болей нигде не было, зато чувствовалась расслабляющая водянистая тяжесть. Заметив перед собой щель в стене, он снова замер. В желтом сиянии видны были огород, овражек, посверкивающие макушки верб, дальше — зеленый косогор, на нем белыми пятнами гуси. Выплескивались из овражка, нежно взлетали в небо детские крики, смех. Фаворит вдруг вспомнил себя — он тоже был маленьким, жил с матерью в табу-не, выведенном на летние травы.

Так же ярко, как сейчас, не щадя себя, горело солнце над просторами, цвели берега, распадки; хмелили голову летучие запахи, будоражили, поднимали на длинные, уже окрепшие ноги — сосунок рывком уносился по равнине, и казалось ему в эти беззаботные минуты, что все на свете припасено и возвращено для его радости. Он летел, чуть пугаясь своего топота, и следом за ним, поставив пушистые хвосты трубами, прижав уши, мчались, будто ловили его, сверстники.

Он подолгу стоял, провожая опечаленным взглядом угасающее солнце, до сумерек, до самой ночи, когда в тишине слышно, как падает сверху, откуда просвечивают звезды, знобкая прохлада, и слышно еще, радуясь, неизвестно чему, шуршит, поднимается будто спавшая днем трава.



Потом он лежал, греясь от бока матери, улавливая спросонья, как сочный теплый язык слизывает с остывающей шеи, со спины капли росы.

Всего одно лето — короткое мгновение. Уже в конце его он познал жестокое оголовье, двойные, усаживающие ярость и страх корды удила. Так начиналась работа.

Смутная тень, мелькнув за щелью, насторожила Фаворита. Он разглядел мальчика, который поднимался из овражка зябкой походкой. Он вышагивал, нагнув

мокрую голову, не разбирая тропинки, цедил сквозь зубы не то стон, не то плач. Фаворит подался, боднул лбом стену — обрадовался. Дождавшись, когда шаги мальчика поравняются с сараем, негромко, чтобы не отпугнуть, протянул: "Пи-и-ть..." Мальчик услышал. Подойдя к двери сарая, долго сдвигал что-то неудобное. Открыл дверь и застыл в проеме, не решаясь войти. Фаворит выгнул шею, пошевелил запекшимися губами.

Мальчик, не догадываясь, быстро прошмыгнул в глубь сарая, к поленнице. Фаворит дал ему рассмотреть себя, стоял, как на выводке: ноги в правильном поставе, уши стрелками, не шелохнуться. Мальчик тоже притих, будто и не дышал вовсе, только руки его, загораясь огнем, просились дотронуться до коня, погладить.

Мальчик прижался спиной к поленьям, робко соображая, как вести себя с конем, смотрел, смотрел. И постепенно, будто туманом отделило его от всего, что было ему знакомо в этом сарае, все исчезло, остался один конь, вычерченный стушеванными призрачными линиями. Сошел с картинки, встал перед глазами. И вот ожил, плавно двинулся, раздвоился, и вот их уже три, четыре — много. Быстрые, как вихрь, мчали тачанку, неслись в эскадронах. Летели и летели белые кони по опаленной гулкой земле, падали в пыль и пепел. И хотя мальчик опять видел лишь одинокого, замершего коня в сарае, в ушах его звенел копытный топот, скакали еще лошади на призывный далекий звук боевой трубы.

Мальчик догадывался, что конь падал. Увидев на пыльной, тусклой шерсти куриный помет, щепки, он чуть растерялся и, убедившись окончательно, что конь живой, настоящий, побежал в сенцы, принес ведро с водой, мочалку, мыло. Приблизился нерешительно. Мотнув головой, конь снова пошевелил губами, потянулся к ведру — пить. Мальчик поднес и отошел.

Фаворит жадно втянул первый глоток, подождал со вторым, как бы оценивая вкус воды. Вода была не холодная, не теплая. Боль в горле немного утихла. Тогда он отпил еще и еще. Он бы выпил всю воду, но помня, чем это кончится, взглянул на мальчика, умоляя убрать ведро. И в этот раз мальчик понял его.

Мальчик, подтащив ближе ящик, взобрался на него, мыл коня осторожно, едва касаясь спины мыльной мочалкой. Смыв пену, попятился, полюбовался на белое пятно, снова принялся мыть, теперь уже смелее.

Когда за сараем послышались шаги, мальчик спрыг-

нул с ящика, подбежал, чтобы закрыть дверь. Она скрипнула ржавой петлей, выдала.

— Андрюша?

Мальчик успокоился — это была мать.

— Здесь я, — ответил он. — Смотри, кто у нас.

— Кто? — насторожилась мать, успев разглядеть разбитую дверь, следы от машины. — Где отец?

— Смотри, кто у нас, — повторил мальчик.

Мать подошла, долго всматривалась, спросила тихо:

— Откуда такой взялся?

— Как из сказки, правда?

— Не лягается? — спросила мать и, лучше рассмотрев коня, ответила сама себе: — Нет. Добрый конь. Такой не лягается.

— Я его мою, — сказал мальчик.

Расхрабрившись, передвинул ящик, стал смачивать мыльной пеной гладкую шею коня.

— Дай, ма, гребенку, — сказал он. — Я ему гриву расчесывать буду.

— Моя не годится, — возразила мать. — Железную надо.

Сильно припекая, солнце погнало женщину в тень. Пройдя к поленнице, она села на чурак, смотрела на сына, на коня. Потом взгляд ее устремился вдаль, отыскал в ней что-то полузабытое, должно быть, свое. Женщина видела себя — тоненькую девчонку. Стояло раннее лето. Девчонка сидела за плетнем, пугливо и жалостливо глядела на фронтовика, который, поминутно давась табачным кашлем, водил за уздечку коня. Конь был красивый, черный, как вороново крыло, с сизым отливом. Вместо передней ноги, ниже колена, — деревяшка, поэтому конь спотыкался, резко, болезненно скидывал голову.

Говорили, что Тихон Подъячев, кавалерист, в последней месяц войны на каких-то альпийских лугах чуть не догнал свою смерть. На всем скаку влетел в минное поле.

Сам контуженный, не дал пристрелить коня, залечил рану, привез в деревню.

Девчонкой это запомнила женщина и теперь, еще раз насмотревшись на белого коня, на мыльные, напряженные руки сына, снова набрела глазами на свою далекую, будто подернутую дымом фигуру. Ей пошел уже семнадцатый год, когда она, пожив у бабушки в Сибири, вернулась в деревню. Может, и не вспомнила бы Тихона Подъячева с его хромым конем. Не было ни того, ни другого — конь умер на неделю раньше хозяина.

Но раз в сенокосный день, лежа на копне, поймала она слухом конский топот, гадала лениво: откуда бы?

Присела. По чисто скошенному лугу ровным наметом нес седока конь — черный, блестящий, будто выточенный из камня. Подскакал прямо к ней, закружился, раскидывая всеми четырьмя копытами сennую труху. Спрыгнул с коня, крепко ступая молодыми ногами, подошел и протянул флягу с водой парень, сын Тихона... С сыном того же хромого коня, Жиганом.

Потом бывало, едва спустится она к реке, не успеет снять с плеч коромысла, возникает вдаль знакомый уже копытный стук. И вдруг тесно делалось в груди зачистившему сердцу. Она входила по колено в воду. Полоскала белье, желая, но не смея взглянуть туда, где парень расседывал Жигана. Вздыхала и пугалась, словно тихие ее вздохи слышала вся деревня. Забываясь постепенно, смотрела, как переплывает реку Жиган, несется, черный и мокрый, по скошенному лугу с черным от загара седоком на спине. Возвращались сухие, обветренные; с полого берега на всем скаку влетали в воду, и бежала с того места кругами чистая, зеленая рябь. Проплывая мимо, парень украдчивым движением руки бросал ветку малины с перезревшими уже, докрасна настоявшимися ягодами.

Осенью забрали его в армию вместе с конем. И случилось так, что на письмо его с погранзаставы ответить она не смогла...

— Сынок, — сказала женщина. — Видела я, как коня моют. Его жгутами моют, полотенцем натирают. Тогда он блестит как орех... Я тебе воды согрею.

— Тебе он тоже нравится? — спросил сын, подойдя к матери, ласкаясь. — Где же еще я его видел?..

Белое пятно, высоко захватив шею и спину коня, клином сходилось к животу, лоснилось. Понемногу мать и сын представили, каким станет конь, если его вымыть всего. Внезапно Андрюша встрепенулся, глаза его округлились, метнули радостный свет. Он вспомнил... На экране — застывшие четкими квадратами войска, Красная площадь. Из Кремлевских ворот выезжает всадник на белом коне. Следом второй — тоже на белом. Два белых коня плавно движутся к войскам, танцующими ногами цокают по брусчатке...

— Ма, — прошептал, рванулся Андрюша. — Ма, он парадный. Юбилейный парад помнишь? Ну, прямо вылитый! На нем парад принимают. Всех родов войск.

— Как же он к нам-то попал?

Андрюша потускнел, сказал боязливо:

— Может, отец... Купить он не мог, конечно.

— Кто ему продаст такого?

— Да я так... Вырвалось. Он же кричал, помнишь:
"Я все могу купить..."

— А ты слышал, значит?

— У меня что — ушей нет?

Сильно печалась, мать привлекла к себе сына, обняла, опять посмотрела на коня, видя в нем другого, надо думать, Жигана.

— У него, кажется, губа в крови, ма...

Она не ответила. Из открытой двери сеней, из дома донесся нечеткий, приглушенный звук, будто там кто плакал.

Грахов проснулся в слезах. Еще во сне неизвестно откуда подобралась к сердцу тоска, от нее сейчас избавлялся Грахов короткими облегчающими всхлипами. Ноздри процеживали запахи сухой полыни, и тоска делалась острее, забиралась глубже. Не помнил Грахов, чтобы он когда-нибудь так вот слезливо жаловался на свою судьбу. Но и беспричинно не мог он плакать. И раньше у него бывали нелады с самим собой. Для ежедневного удобства Грахов заглушал в себе всякую тревогу, придумывая ей первую же легкую, угодливую причину.

Сейчас, глядя на пыльные, позолоченные отраженным светом стропила, он еще раз попытался отстраниться от тоски. И какую-то часть ее неожиданно взял на себя, вспомнившись, дядюшка.

Жил Грахов у дядюшки пять лет, пока учился в институте. Не особенно дружил с ним, но не избегал, с самого начала установилось между ними негласное соглашение не навязываться друг другу. С одной стороны — дядюшкина чуть наигранная ироническая откровенность, с другой — граховское снисходительное почтение. Дядюшка, вот кто любил и умел жить, как он сам говорил, не мешая жить и другим. Он охотно пояснял, как это дается: не всегда слышать то, что слышишь, и видеть, что видишь.

Порочная мудрость, облачаясь в речах дядюшки в шутовское одеяние, не настораживала, лишь забавляла. Так же, забавляя других и себя, дядя занимался науками — сразу тремя. Секрет, судя по его исповеди, был несложен. Когда двое, видя велосипед, говорили изобретателю, что перед ними перпетуум-мобиле, он присоединял свой голос, становясь третьим.

Иногда дядя неузнаваемо менялся. Подавленный, с надеждой вглядывался в Грахова; утомленный взор

его будто предостерегал и упраскивал: не повтори мой путь. Интеллигентный по всем полагающимся признакам, он вдруг заявлял, что интеллигентом не был, не будет — для этого нужно больше отдавать, чем брать.

Будто раскрывалась в нем рана, и он обнажал ее, сочащуюся перекипевшей кровью. Длилось это недолго — он снова надевал на лицо улыбку, и опять все любили его, расступались перед ним, безобидно потешным, милым и мудрым.

Почему же он не напомнил о себе, когда Грахов, уже сотрудник НИИ, колебался, взять ли ему диссертацию попроще? Или не отказываться от своей, пусть мучительно долгой, темы — ведь она была у него, была!

В глазах снова сделалось влажно и темно.

Долго еще тянулись обрывочные нити раздумий, и теперь они, горестные, связывали, связывали Грахова со Светланой, подтолкнувшей его в круг легких удач. С Мариной он бы выстоял. Вдруг утомившийся Грахов почувствовал, что ему хорошо. Будто от гнета какого освободилась грудь — сладостно, пусто в ней.

На стропилах лениво пошевеливались серые струпы из пыли. Уставясь на них, Грахов начал припоминать, как оказался здесь, в этом сумрачном углу среди старого тряпья.

Он встал, вышел на крыльцо. В ярком свете различил женщину и мальчика. Сам не зная зачем, извинился тусклым голосом, стыдливо прикрыл рукой лицо.

— Лошадь в сарае, — сказал мальчик.

— Значит, все-таки уехали, — проговорил Грахов. — Ну я ему устрою... Напоили они меня.

— А пусть себе калымят, — по-взрослому произнес мальчик, чем немного потешил Грахова. — Я коня вашего помою.

— Мне бы самому умыться, — сказал Грахов и стал снимать пиджак и стягивать рубаху.

Умылся, вошел в сарай. Увидел лошадь, ее отмытый добела бок, и защемило у него вдруг под сердцем; стараясь не прослезиться, держаться прямо, он приблизился к ней.

Фаворит узнал его и спружинился. Сухими строими глазами остановил Грахова на полпути.

— Ого, — сказал Грахов, обиженно, украдкой взглянув на мальчика — тот, удивленный, застыл в сторонке. — Сердится...

— Может, на речку его сводить? — предложил мальчик.

— Речка глубокая?

— Мелкая, — вздохнул мальчик.

— Тогда и мыть его не надо. Нам еще ехать.

Говорил Грахов скучно, не слыша себя. Стоял в ушах ровный звон. Он попросил мальчика принести квасу; выпил, почувствовал, как изнутри поднимается новая хмельная волна, звон утихает.

— Как тебя зовут? — спросил он мальчика.

— Андрюша.

— Лошадь нравится?

— Она парадная?

— Верховая, — сказал Грахов, ощущая во всем теле веселящую перемену. — И в парадах, конечно, участвует...

Грахов неожиданно согнулся, не разгибаясь, пошел к забору, где была тень, лег там.

— Вам плохо? — спросил мальчик. — Принести еще квасу?

Грахов не ответил. Муть подкатила к горлу, глаза заслезились, закрылись, завращалась зеленая тьма. Смутно Грахов отметил, как руки Андрюши расстегнули ему воротник рубахи, пиджак. Расслышал слова:

— А вы два пальца в рот. Пройдет.

Мучительно стыдно было оттого, что мальчик здесь, лучше бы ушел. Но через мгновение Грахов снова задохнулся, лег плашмя.

Услышав шум машины, он испугался, но встать не смог: земля притягивала. Муть уже схлынула, зато осталась обезволивающая боязнь, что все повторится.

Самосвал въехал во двор.

— Хорошо на свежем воздухе-то, — сказал Леха, увидев Грахова.

— А ты что тут крутишься! — напустился хозяин на Андрюшу. — Марш в избу! Хотя... Погоди. На-ка вот, сбегай.

— Мне же не дадут, — сказал Андрюша. — Не пойду.

— Я тебе не пойду! Сегодня тетя Кланта торгует, даст.

— Ну тебя!

Андрюша заплакал.

— Мать тогда позови, сопля!

— Она опять на речку пошла.

— Что ты с ним, как с неродным, — проворчал Леха. — Скажи как следует, побежит.

Грахов лежал и, слушая, не слышал. Иначе пришлось бы ему заступиться за мальчика. Он вовсе не отрекся от мальчика, который только что участливо возился рядом. Он лишь внушил себе, что, не вмеши-

ваясь, поможет Андрюше больше; ведь хозяин, отказавшись для приличия от своей затеи, выместит на сынишке потом. Так что лучше будет для Андрюши, если он послушается. И Грахов облегченно вздохнул, когда хозяин, припугнув сына ремнем, послал его за водкой.

— Давай сгружать, — сказал Леха. — Ехать мне еще сколько.

— Надумал сразу, что ли, скинуть? — спросил хозяин. — И не думай. По листу буду подавать.

— Не пори хреновину. Я тут до вечера проторчу.

— Давай хоть сена постелим. Добро же пропадает.

Носили и раскидывали сено.

Грахов догадался, привезли шифер. Листы сыпались один за другим, хозяин оттаскивал. Сенная труха, пыль летели на Грахова, набивались в нос, он, не вытерпев, чихнул.

— Доброго здоровьяца! — мимоходом проговорил хозяин. — Извините за беспокойство.

И зазевался — несколько листов грохнулись разом, раскололись. Присевшему Грахову видно было, как хозяин бежит к кабине, тресет кулаком. Когда подъемник замолк, донесся резкий голос Лехи:

— Ну и что! Склеишь осколки, продашь.

Однако выйдя из кабины, взялся помогать хозяину складывать шифер.

— Шавров, что же вы самовольничаете? — сказал Грахов, встав на ноги, на всякий случай опираясь на забор.

— Как? — неприятно изумился Леха, застыл с листом шифера в руках. — Как это самовольничаю?

— Вы же раздумали ехать.

— А вы и не помните, — посмотрев на Грахова, как на несмышленища, ласково сказал Леха. — Вы же сами разрешили. Вот свидетель.

Леха кивнул на хозяина, а тот даже не прекратил работу, не отозвался, мол, и выяснять тут нечего, так было.

Грахову стало одиноко и грустно. Он оттолкнулся от забора, прошагал мимо машины, мимо сарая, на огород. Тропинка повела вниз, на берег, заросший молодым ольшаником, вербами. Грахов не пошел туда, где радостно повизгивала детвора, с разбега влетел в густой тальник, продрался и сразу очутился по колено в воде.

Маленькая мутная речка несла птичий пух и помет. Мелкая и невзрачная, она успокаивала. Словно ее-то Грахову не хватало. Постепенно забывая обо всем, раз-

делся, кинул одежду на кусты. Лег животом на мягкое илистое дно, оставив наверху лишь голову, подпер руками подбородок, вдохнул теплую сырость, горький запах краснотала. Он наслаждался уединением. Он и раньше лечил себя бездумьем. Ни живое, ни мертвое не мешало ему усыпить себя, хотя он и бодрствовал. В такие минуты он становился вне мира, в котором жил, чтобы вернуться в него налегке, словно заново.

Коротко, стомленно заржала в сарае лошадь, в небе протянулся напряженный рокошующий шум реактивного самолета. Но звуки эти жили сами по себе, не трогая Грахова.

Вернулся Грахов в избу успокоенный, прошел к топчану, где оставил галстук, чуть посмеиваясь, слушал, о чем говорит Леха с хозяином.

— ... Да он пробежится, клади на бочку тыщи... — говорил Леха, стуча вилкой.

— Новыми?

— Долларами.

— А на кой они мне нужны, доллары эти?

— Вот и я говорю.

— Заезжать-то будешь?

— Смотря как проводишь.

— Я ж тебя не обидел. Хошь, бутылку в дорогу дам?

— Давай. И сыграй мне что-нибудь на прощанье. На этой вот штуке. Дорогая, наверно.

— Не играю я на пианино, сказал же.

— А стоит. Сын играет?

— Мал еще. Пусть стоит, чего ей не стоять. Не корова — есть не просит. Ко мне зять приезжает из города, друзья у него культурные.

— Да, культура, брат, такие деньги требует. Хоть воровать иди.

— Это верно. Держи-ка. Пей, да дело разумей.

Зазвенела посуда, и оба заговорили в один голос. Грахов вышел во двор.

В сарае тихо звякало ведро. Подойдя к двери, Грахов застал Андрюшу за работой: опять мыл коня. Почти забравшись ему под брюхо, увлекшись, старательно водил мочалкой, смывал пену. Только сейчас Грахов заметил, какая у Фаворита гладкая плотная шерсть; и как линии спины и груди, плавно сужаясь у шеи, тянутся вверх, очерчивают точеную голову, но не завершаются, будто бы требуя пространства.

Чувствуя себя лишним, Грахов направился к самосвалу, влез в кабину, нажал на кнопку sireны. Появил-

ся Леха, за ним хозяин; вышел из сарая, грустно устался на Грахова Андрюша.

— Верно, пора и честь знать, — сказал Леха. — Грузить лошадь не будем, пусть на привязи пробежится до Кислянки, речка тут недалеко есть. Там рыбы много.

— При чем тут рыба? — спросил Грахов. — И кто коня привязывает к машине?

— Доподлинно известно, — важно сказал хозяин, — привязывают лошадей, и, ничего, бегут.

— Да и грузить как? — спрашивал Леха. — Там я подгоню к обрыву, делов-то!

— Вы не бойтесь, — вкрадчиво, не глядя ни на кого, внушал хозяин. — У нас улица-то — всего три дома. Если бы из центра выезжать, другое дело. Там пролетарий живет, народ глазастый.

— Пять километров, — говорил Леха. — А то застоится.

— Кончайте базарить, — сказал Грахов. — Я согласен только в том случае, если поедем тихо.

— Как на похоронах, — заверил Леха, отойдя с хозяином в сторонку.

Будто торговались там в сторонке, топтались, кружили, тискал друг друга руки, расходились, снова сходились, лезли целоваться. Наконец Леха оторвался от хозяина, но тот, догнав его, снова обнял, напутствовал:

— На большак не сворачивай. Там сосенковские ездят. Напорешься еще на кого.

Фаворита вывели на корде, заменившей обрезанный повод. В солнечном свете Фаворит казался слепленным из двух половинок: один бок бел и чист, другой, как и был, с плотным налетом пыли.

Леха расхохотался.

— Раз я точно так побрился, — сказал он. — Одну щеку побрил, другую нет, бритва затупилась. Наградил бог волосом, прямо проволока.

Корду привязали слева.

Леха обтер рукавом зеркало заднего обзора, чтобы в пути следить за лошадью.

Выехали за ворота. Леха ехал медленно, как и обещал. Фаворит, приноравливаясь, вышагивал по густой траве, широко, чистым боком к мальчику, бежавшему по обочине. Миновали крайние дома, выбрались на дорогу — луговую, мягкую и ровную. Увидев, как понятно идет лошадь — не отстает и не спешит, — Леха на лужке прибавил скорость. Фаворит перешел на рысь, косил глазом на мальчика. Андрюша бежал, махал рукой, улыбался ему, но скоро, не успевая за машиной,

начал спотыкаться и слышно стало — заплакал, что-то кричал вслед. Фаворит заржал на прощание и потерял его из виду. Корда натянулась, рванула больно.

6

НИИ физиологии племенных животных и Сосенковский конезавод жили раньше в согласии. До того момента, пока институтские не потребовали Фаворита. Раньше все делалось по первому телефонному звонку из института — названную лошадь грузили, доставляли сами коннозаводчики. Фаворита отпустили не сразу: время неподходящее. На носу весене-летние конные испытания, запись на призы.

Надо сказать, против отправки Фаворита был жокей Толкунов. Как никогда ни в одну лошадь, жокей верил в Фаворита, ждал нового сезона. Этот сезон должен был стать для лошади триумфальным. Из фаворита — в триумфатора! Поколебать в этой вере жокея не могло бы даже предчувствие близкой кончины. Но смерть взялась бы за него — о чем будто бы в шутку говорил жокей — лишь со смертью лошади. Где-то далеко притаилась, отстала болезнь, ничем не напомнив ему о себе, не трогала вовсе.

Отпугнул ее человек.

Зимой он лечил лошадь — расправлялся с чужой болезнью, сам того не замечая, лечил и себя надеждой и верой, которые закаляли душу. Фаворит простудился, когда подули обманчиво-теплые весенние сквозняки. Напрасно скармливал ему ветврач антибиотики в толченом сахаре — Фаворит горел огнем. Жокей и конюх Саввич пошептались, смешали камфорное масло со скипидаром, растерли лошадь жгутами, обложили ватой, покрыли попоной. Старый, забытый способ помог. С жаром горячим потом выходила простуда. Медленно спадала температура. К концу второй ночи Фаворит прояснившимися глазами наткнулся на жокея, который спал калачиком на охапке сена. Радостным всхрапом разбудил его, прихватил губами поданные пригоршнями отруби.

Тогда-то в человеке светло, звонко укрепился дух, дав сердцу новое свойство: принимать как радость даже печаль. Первый звонок из института не встревожил жокея. Он предложил послать взамен Фаворита другую, тоже классную лошадь. Но институтские стояли на своем, повторили запрос уже телеграфом: только Фаворита! Завод отказал.

Расцвела весна, пробудила во всем живом соки, и будто от самой отогретой солнцем земли взошли к Фавориту упругие силы. Он тревожно и сладостно откликнулся на запахи, занесенные легким ветром с обновленных далей. Запереступал нетерпеливыми легкими ногами; пронизанный предчувствием скорой борьбы, ударил копытами по молодой траве. Он торопился к ипподромным битвам и тонко улавливал любовь и страсть людей, готовящих его к тяжелой, но желанной работе.

Их он тоже торопил. Расшались, покусывал даже кузнеца, хотя и не медлил тот, ковал сноровисто, чисто. Фаворит, похваливая его, дергал зубами за рукав, словно бы говоря: "Знаю тебя, коваль ты хороший. Не расчищай глубоко, не подтягивай чересчур гвозди, не сердись, понимаю, не мне тебя учить. Вот спасибо!..."

И сам кузнец любовался на него, когда Фаворит, чутко сбалансированный ковкой, пустился по кругу.

Так жили в ожидании часа, о котором возвестят праздничные трубы, — от тех зовущих, ликующих звуков усталость забудется, светло накатит, облегчит тело благородный восторг, с каким люди отзовутся на красоту и силу, людьми же сбереженную.

Но вдруг пришло неожиданное, черным по белому: "Командировать в НИИ... для изучения возможностей улучшения пород верховых лошадей с применением научных методов".

Строгая бумага.

Жокей Толкунов погрузил Фаворита в спецфургон.

Блеснула тогда, первой искрой ужалила болезнь.

Пока ехали лугом, Леха посматривал в зеркало заднего обзора, но видел плохо. Веки тяжелели, надвигалась темень. Хоть и вдвоем распивали последнюю бутылку, Лехе опять-таки досталось больше. Он почти спал за рулем, и глаза уже не различали дороги, улавливая лишь зеленый свет луга.

— Не гони, — дремотным, вялым голосом появлялся сбоку Грахов.

— Домой уже не хочешь?

— Хватит, Шавров, об этом.

— Мне-то что... Я о кукле твоей подумал. Гордячки пошли нынче — мансипированные. Ждать не будет долго. Ты-то хоть физиономией удался, не сразу отвернется. Грамотный, с будущим... У меня, брат, другое. Нельзя мне бабами бросаться. Я их с ходу.

— Как это? — спросил польщенный Грахов.

— Просто. Пока не очухалась. Тили-тили, трали-вали. Баюшки-баю...

— Быстрота и натиск.

— Соображаешь. Жизнь коротка, как детская сорочка. Для себя некогда пожить. Вот женишься на Светке, детишки пойдут, тогда скажешь: Леха был прав. Или ты на этой, на тарабановской надумал?

— Тогда мне из института придется уйти, — доверительно сказал Грахов. — Заново все начать.

— Что она умеет-то, тарабановская?

— Чертежница, гравер. В институт готовится. В полиграфический, художником будет.

— Цветочки, значит, срисовывать станет. Ох, наплачешься...

— Давай сменим пластинку, — начиная уставать, сказал Грахов. — Лошадь бежит?

— Куда ей деваться...

Дорога все еще ровная, беззаботно и спокойно лежала под выпцветшим небом. Машина плавно катила по ней, мерно, без напряжения, гудел мотор. Сон напал.

Сильная тряска вывела Леху из забытья. Он заметил: луг кончился, впереди серебрится молодая рожь. Выправил руль, повел машину по дороге и увидел в круглом пыльном зеркале смутные очертания бегущей лошади. Леха знал по опыту, что даже короткий сон снял бы с него тяжесть. Было время, когда он не нуждался в отдыхе вообще. И пил, и работал. Но вот уже год, как Леха, сколько бы ни пил, внезапно просыпался среди ночи. Пошло это с того дня, когда Леха, возвращаясь из Шуваловского леса с дровами, свалился с самосвалом в овраг, перевернулся два раза. Машину отправили в капиталку, сам Леха недели две задыхался и кашлял, хотя и обошлось без переломов.

Леха еще никому не говорил, что будит его страх. Будто что-то большое, мохнатое, сидя на нем, спящем, медленно сползало с него, когда он просыпался. Билось холодным негреющим стуком сердце, и долго держался в груди остаток удушья. И то неясное, что уползало, не уходило совсем, стояло во тьме. Страх накатывал на Леху, и он, тараща глаза во мрак, слушал.

Или бывало так: он летит в темный колодец, чувствуя холодеющей спиной жуткую глубину. Вверху, куда он, падая, смотрит, уменьшается и постепенно гаснет голубой свет неба.

В последнее время Леха припасал на ночь фляжку,

отпивал из нее. Это помогало, но тогда в углу начинали тихо петь песню. Судя по голосам, пели девушки, долго и приятно тянулась песня.

А ведь когда-то — Леха еще учился в ремесленном — отец удивлял его, спрашивая, хорошо ли поют ночью девки. Леха до полуночи лежал, слушая вскрики, пугливо вздрагивая от каждого шороха, дожидаясь песни, напрасно. Теперь Леха знал, что отцу чудилось. Когда отец был в силе, все строились, а он, плотник, шабашничал, где только мог. Поили и кормили там, где рубил избу. Больше поили. Приходя домой, отец добавлял, говоря, что там было для плоти, здесь — для души. Сажал Леху рядом, наливал, и пили, пока не кончится. Постепенно привилось. Гулял Леха широко и ненасытно. И вот с годами залегла в нем темная сила. Может, потому, что не хотел и боялся замечать ее, Леха пил по-прежнему много, по-прежнему шумно, помолодому держался в застольях. Как молодой — почему он и оставался для всех Лехой, хотя уж и было ему под сорок.

Сейчас, сидя за рулем, Леха пожалел себя, слезы скопились в глазах, мешая смотреть на свет. Он ненадолго отпустил руль, потер ладонями лицо. Машина резко вильнула, будто ударилась обо что-то левым бортом.

Леха затормозил. Грахова толкнуло на лобовое стекло.

— Спишь, что ли? — спросил он, морщась от боли. — Пить надо меньше.

— Полегче, — сказал ему Леха. — Ты тоже хорош, когда спишь.

Самосвал стоял во ржи. Грахов вылез из кабины, подошел к лошади. Она застыла, сторожа глазами человека, не подпуская близко, в глубине синеватых зрачков уже не было прежнего терпения. Из запекшейся ссадины на губе, пробив плотную пыльную корку, выдавилась кровь.

Грахов медленно отвязал корду, спиной загораживая лошадь, процедил:

— Езжай один.

— Ты сначала подумай, — уныло проговорил Леха.

— Я уже все обдумал, — сказал Грахов, — и тебе советую. Если найдется, чем думать.

— Вот оно что, — всем телом вздрогнул Леха, стукнул тяжелым кулаком по обшивке кабины. — Ну и топай до Сосенок, а то в кабинетах у вас воздух больно вонючий. Подыши чистым.

Самосвал выехал из ржи, запрыгал по дороге. Грахов, подавив в себе желание крикнуть вслед, неуверенно потянул корду. Лошадь пошла за ним, мягко впечатывая ноги в землю. Грахов обрадовался. И напряженно смотрел на белесое облако пыли за самосвалом, почему-то боясь, что Леха развернется за холмом, поедет навстречу. Разжигая в себе упрямство, он решил и в самом деле пройти пешком до завода.

Впервые за день он радостно и ошеломленно огляделся вокруг. От солнца струился, заливая поля, не жаркий, но сильный еще свет. Изнемогали под сонным теплом далекие одинокие деревья, малые холмы. Коротко набегая, слабый ветер вычесывал из ржи парные запахи.

Грахов глубоко задышал, выгоняя из груди бензиновый дух. Сквозь туман головокружения разглядел вдруг близко сидящую на крупном голом камне пташку. Удивился, не узнав ее, — такая пестрая, с дергающимся хвостиком попалась на глаза впервой. Может, в книгах, когда студентом был, встречалась, но забыл, теперь не вспомнить. Грахов замедлил шаги, чтобы получше рассмотреть птаху, храбро постреливающую хвостом. Лошадь нагнала его, слегка задела щекой за плечо, словно приласкалась. Грахов споткнулся от неожиданности, ухватился рукой за упругую лошадиную шею.

Фаворит давно почувствовал, как смягчилось сердце человека, и в нем тоже рассосалось жесткое напряжение. Он сразу, как только самосвал бросил их вдвоем, понял: шедший рядом человек из-за него, Фаворита, поссорился с другим, уехавшим. Этот отвязал его от железа, выручил. Фаворит шел, четко и отдельно ставя копыта на твердь, будто учился ходить. В опасном беге за самосвалом он отвык от собственных ног, и сейчас каждый шаг был ему желанен.

Так они и шли — человек и лошадь — по тихому полю. Поровну падал на них свет солнца, одинаково мягко, ласково обдувал ветер. Оба пошли быстрее и легче, когда за холмом открылась свежая зеленая пойма, блеснула, притягивая, темная вода.

Перевалив первый холм, Леха хотел вернуться назад, но раздумал. Он знал, что за вторым холмом будет вода: не сама Кислянка, а старая речка. Грахова с лошадью удобно было ждать на ней. Вода приманивала Леху. Он еще у хозяина не зря говорил о рыбе;

было у него новое средство, и вот выдался удобный момент испробовать его. В свое время Леха и сетями ловил рыбу, и глушил. Все надоело. Сейчас в жестяной баночке под сиденьем было что-то такое... Не видел он еще, как оно действует.

Поставив самосвал у небольшой заводи, он вышел, осмотрелся. Старица длинно, с поворотами уходила в кочковатый луг, заросший местами мелким кустарником. Вдоль глади водоема узкими полосками бежала светлая рябь, и там, где она тускнела, упираясь в камыш, вода тихо вздыхала. Рыба здесь, заметил Леха, водилась, но не она, тощая в эту пору, нужна была ему. Не ради рыбы, как пищи, а ради опыта приступил Леха к делу.

Достав из-под сиденья банку, он открыл крышку и задохнулся: ядовито-желтый дым прыгнул в лицо. Леха откашлялся, вынул из банки оранжевый марлевый шарик. Скатившись с ладони, шарик упал на землю. Трава вокруг него быстро желтела и увядала. Леха отступил, будто красивая ягода могла взорваться.

Он обрадовался, когда на взгорке показались Грахов и лошадь. Леха постепенно сел у заводи, потупился для приличия, но потом, искоса наблюдая за Граховым и лошадей, сообразил: напрасно суетился. Его не замечали вовсе. Леха сначала удивился, затем испугался, глядя, как идут человек и лошадь, будто думают оба, и думают об одном и том же.

— Сюда, ребята! — как на подмогу позвал Леха, вставая и идя навстречу. Когда же Грахов и Фаворит, вздрогнув, посмотрели на него, добавил, обращаясь к Грахову, который собрался расположиться поодаль: — Ладно, не дуйся. Дураков, что ли, вроде меня не видел?

При этом он не отрывал глаз от шарика, налившегося бурой краской. Испепелив под собой траву, марлевый комочек жег теперь землю. Пока Грахов привязывал корду к самосвалу, Леха приделал к шарiku хвост из ниток, подвесил гаечку. Подошел Грахов, отрешенный, прямой. На траве лежали уже три шарика с тремя хвостами разной длины. Леха колдовал над ними: на каждый выдавил по капле светлой жидкости из пипетки. Шарик шипели, вспухали, делались синими. Леха, стараясь выглядеть важно, подмигнул Грахову, который не то уже простил его, не то витал где-то не здесь. Следя за Лехой, не видел его. Он даже не засмеялся, хотя и было смешно, когда Лехины толстые пальцы скребли траву, никак не захватывая белеющие нитки. Он смотрел, как Леха размахивается, как мелькают в

воздухе гайки, плюхаются в воду. Леха, кончив метать, накачал резиновый баллон.

Потом он стоял на берегу, из-под ладони наблюдая за водой. Вдруг что-то узкое быстро вспоролو воду — зеленая длинная щука метнулась в воздух, выбросилась на мель. Суматошно, будто вода жглась, запрыгали еще две рыбы, затихли в середине круглые, белобокие. Затем сильно, разом зарябило — заплесала, хватая воздух ртами, мелкая рыбешка, подныривала, но какая-то сила выталкивала ее, клала на бок. И плеск стоял как от сильного дождя.

— Переборщил, — сказал Леха, сплюнув. — Дай ведро.

Он спихнул баллон на воду, лег на него животом, набычившись, пытался охватить взглядом всю рыбу, подсчитать.

— А говорят, рыба перевелась, — сказал он. — Уметь надо.

— Чем же это ты? — спросил Грахов.

— Не знаешь или притворяешься? — Леха заплыл на середину.

Грахов не знал и, кажется, знал; пахло чем-то знакомым, но Грахов, теряясь при каждом стуке, с которым падала рыба в ведро, не сразу признался себе, что запах этот слышал в своем институте, в химлаборатории.

— И много препарата надо? — крикнул Грахов, чтобы меньше слышать предсмертный рыбий плеск. — Доза какая?

— Вроде все вы чокнутые, ученые, — раздумчиво и охотно проговорил Леха. — Изобретаете разное, а как в деле употребить — ни бельмеса. Понятно, не для этого изобретали, паразитов этой штукой морят. Клещей всяких. — Он подкидывал на ладони рыбу, взвешивал, кидал в ведро. — А я не дремлю, кумекаю, брат. Врать не буду, не я первый пробую. Застукал прошлой осенью двоих, раскололись. А ваш брат, он сам придумывает, сам же рот разезает.

— А если нас теперь застукают, — встревоженно сказал Грахов.

— Рыбнадзор, что ли? Смеешься? Бог не выдаст, свинья не съест. Свидетелей нет, лошадь не в счет.

Оставшись один, Фаворит в трех шагах от берега тосковал по воде. Привязали его к машине с подветренной стороны, и на Фаворита несло всю вонь мотора. Походив челноком вдоль самосвала, Фаворит вытянул шею над капотом. Леха как раз швырнул рыбу в ведро,

загреб короткими руками к другой, подплыв, поднял ее из воды, решил, что мелковата, отбросил и нацелился на третью. Временами река вскипала и, будто из кипятка, выбрасывались в воздух очумелые рыбы. Затихнув, живой плеск снова возникал, разрастался, и вода шла кругами, качая молодой камыш. Фаворит слышал то, чего не могли слышать люди: рыбы голоса.

Сильнее всех кричала щука, лежавшая близко на мели. Узкий костяной лоб, обсохнув на солнце, почернел, выпуклые глаза подернулись серой пленкой, но рыба еще жила.

Грахов давно уже посматривал на нее, вид большой рыбы пробуждал в нем затаенный инстинкт — легкая добыча сама лезла в глаза. Подобрал тяжелую головешку, он мелкими осторожными шагами сошел вниз. Высоко поднимая ноги, чтобы не шуметь, подобрался к щуке сзади, ударил.

Обозначился в воздухе запах холодной крови, отпугнул Фаворита. Отойдя за машину, он посмотрел в дальний конец старицы. Там раздольно зеленел луг, гладко, как бархат, одевал пологий спад холма, упирался в дрожащую голубоватую линию леса; от него, видел Фаворит, отделились, медленно двинулись пять-шесть точек. Табунок!

Люди не заметили, как обрадовался Фаворит.

— Ого! — откликнулся Леха на удар Грахова. — Во крокодил!

Убитую рыбу Грахов вынес на берег, аккуратно положил на траву.

— Дрова тащи! — крикнул Леха. — Уха будет мировая.

Он плыл к берегу, отгребая рыбу руками, как шугу. Мелкота пугалась, билась еще, но крупная рыба уже не шевелилась, спала мертвым сном.

Грахов огляделся. Берег вдоль воды и далеко кругом не был девственным. Горючего мусора валялось много. Сначала Грахов пошел по кострищам, приносил и складывал возле машины головешки, доски от ящиков, коробки. Два раза он замечал, как смотрит на него Фаворит, кивал головой, обещая заняться им, снова уходил. Набрел на старую одинокую иву. Огромным черным ртом открылось внизу обугленное дупло. Огонь прожег ствол изнутри, вышел наверху, задев основание крепкой ветки. Красные засохшие листья, все еще держась за ветку, позванивали на ветру. Но ива, даже пустая, стояла еще прочно. Пораскидав ржавые консервные банки, Грахов приготовил для Фаворита стоянку.

Леха быстро запалил костер, сел круглой спиной к огню, перебирал рыбу. Самую крупную отбрасывал, швырял в камыш без досады, словно спал и не видел, что делают руки. Грахов прибавил шагу, ступал нарочито громко. И Леха отозвался:

— Крупная, гляди, моментально дохнет. Во какая отрава. Чтобы крупную в пищу пускать, содовой раствор надо иметь. Забыл я это дело. Три процента соды, остальное вода. Так вот и ученым сделаешься...

Грахов разделся, отвязал Фаворита и повел берегом, отыскивая удобный спуск. За обгорелой ивой Фаворит сам высмотрел хорошее место, скользнул к воде, с ходу погрузился в приятную прохладу. Грахов едва поспевал за ним.

— Слушай, — окликнул Леха с берега, — заплыви-ка туда, где травили. Покидай рыбу покрупнее в камыш! Едут сюда...

7

Две машины — "Волга" и "Москвич" — проехали за иву, остановились. Проводив каждую взглядом, Леха ждал, когда выйдут из каждой, чтобы не гадать потом, кто приехал. Леха считал — четыре молодые пары. Вся компания, пока Леха настроился угадать, опасна ли она, быстро разделась. Девушек Леха начал путать: были они почему-то на одно лицо, он смог отличить друг от друга лишь парней — по росту, еще по голосам. Даже Леху поразило, как все вместе — парни и девушки — двигались скупно, слаженно, составляя единое, заученно обживающее берег и воду.

Запел радиоприемник, затрещал, пустив первый дымок, костер, зазвенела посуда. Деловито, быстро осваивались.

Леха успокоенно улегся возле костра. Тихонько свистнул, махнул Грахову рукой: все в порядке.

Перестав понукать лошадь, Грахов ослабил намотанную на запястье корду. Фаворит облегченно отвалил от дохлой рыбы, от гиблого места, повернул и будто погнался за глотком чистого воздуха. Грахов испуганно прильнул к пыльной его, шершавой шее, почувствовал, как перекачиваются, ускользают, играют мышцы коня, сливаются с водой, тоже упруго заигравшей. Отплыв подальше, Фаворит выпустил длинный сырой вздох, сбавил ход, слушал тихие всхлипы в камышах.

С берега повалили два дыма, тяжелые, соединились

с водой, стлались, нагоняя Грахова и Фаворита. Лошадь закрутилась, снова устремилась к свежему воздуху, но Грахов, боясь упустить ее, завернул на берег. На мели отдышались, постояли, оба не желая расстаться с водой — она была теплее воздуха. Подождав, пока Леха появится из дыма, Грахов спросил:

— Мыла у нас нет?

— Нет, — сказал Леха, ныряя в дым.

Грахов набрал мягкого сочного ила, стал натирать лошади бок. Досадливо бросил — ил отваливался, сочился по шерсти, не цепляясь за нее.

Отделившись от компании, шли берегом две девушки, важно и гордо несли легкие головы. Плотные, сильно тронутые загаром ноги ступали на траву небрежно, уверенно.

Грахов с надеждой, что они-то выручат, мучительно готовился окликнуть их. Потом насторожился. Что-то в их неслышно скользящих фигурах, в тусклых, будто невидящих глазах оскорбило Грахова; вдруг он догадался, что это — холод, примораживающий сердце, подобный тому, каким охватывало и его, Грахова, сердце, когда он не замечая ничего живого рядом, везде только сам себе виделся. Девушки проходили мимо с нарочитым равнодушием, давая сколько угодно дотрагиваться до них глазами; вот они какие красивые, щедрые.

И все-таки Грахов, пересилив себя, спросил:

— Нет ли у вас, извините, мыла?

Одна остановилась, другая шагала, не взглянув, будто слышала непристойность. Та, что задержалась, была проще, но и она, брезгливо взглянув на серую, как валенок, голову лошади, сказала:

— У нас только шампунь.

— Шампунь, — вслух подумал Грахов. — Я у вас куплю. Мне надо лошадь помыть.

Для девушки это прозвучало забавно: посмотрев вслед подруге, она засмеялась, пошла вдогонку; первая уже поравнялась с самосвалом, увидела за камышом рыбу.

— Откуда столько рыбы? — заинтересовалась она. Обернулась к Грахову: — Вы не знаете, что это за рыба?

— Она заснула, — неохотно откликнулся Грахов. — От гербицидов. Тут пролетал самолет, распылил ядохимикаты.

Девушки топтались возле камыша, как возле витрины. Будто прицениваясь, напряженно соображали, и вот одна, ткнув пальцем в белеющую на воде гущу рыбы, спросила:

— Она не свежая?

— Почему же? — сказал Грахов по-прежнему бесстрастно. — Мы из нее уху варим.

— Достаньте и нам, — предложила вдруг девушка. — Мы вам шампунь дадим.

Даже Фаворит понял: надо заплывать к рыбе, чтобы получить что-то взамен. Когда Грахов толкнул его в ту сторону, Фаворит покладисто двинулся к камышу, к которому ветром и рябью прибило всю рыбу.

Грахов обнял одной рукой лошадь за шею, другой вылавливал и бросал на берег рыбу за рыбой. Не считал даже сколько. Потом ждали плату. Шампунь принес парень. Спустившись вниз, подал флакон, спросил Грахова:

— А шашки у вас больше нет? Для хохмы.

— Какой шашки? — не понял Грахов.

— Ну, какой рыбу глушат.

Грахов невольно смерил его взглядом: парень стройный, гладкий, с ясными хорошими глазами. По виду заводила, затейник, всеобщий любимец. Грахов улыбнулся.

— Мы их в костер подкладываем, дров нет, — сказал он.

Вроде пошутил, а получилась, судя по дрогнувшим ресницам парня, издевка. Грахов отвернулся, повел Фаворита вглубь.

Слышал позади: "Ишака, что ли, моет?" — голос другого парня.

Смеялись громко, обсуждали, кого Грахов моет и кто он сам — джигит или караванщик? Грахов не обернулся, и скоро о нем забыли, даже Леха, позвав раза три, замолчал.

Грахов мыл коня с неожиданной для себя охотой, у него самого тело очищалось постепенно от гнета, свободно, легко дышалось ему. Светлая грусть сеялась из угасающего неба. Со всех сторон подкрадывалась тишина предвечернего часа. Солнце потеряло прежнюю яркость, и свет его косо падал на воду, на сияющие остриями камыши.

В этом беззвучии отдельно и упоенно шумела лишь большая компания. Словно устав от безмолвия в другом месте, наверстывала здесь.

Радиоприемники двух машин ловили разную музыку, и танцующие пары сбивались, сталкивались, высоко взлетал смех.

Грахова зазнобило. Выйдя из воды, он почувствовал себя нескладным, смешным в черных прилипших

трусах. Он торопливо вывел лошадь на берег, привязал к иве, побежал к костру.

Видно было, Леха уже выпил водки, похлебал ухи. Лежа на спине, не открывая глаз, он протянул налитый, видимо, для себя стакан, сказал:

— Что же ты никак не вылезает из воды? Я ж ехать звал.

Грахов взял стакан, и его еще сильнее зазнобило от желания выплеснуть водку. Но на миг он представил, как Леха, вздрогнув белым животом, поднимается, как его красные глаза мечут упрек и обиду, и, холодея от одной мысли о скандале, поднес стакан ко рту. Пил опять неумело: поперхнулся, быстро черпнул ложкой ухи из ведра, обжег и без того обожженный горечью рот.

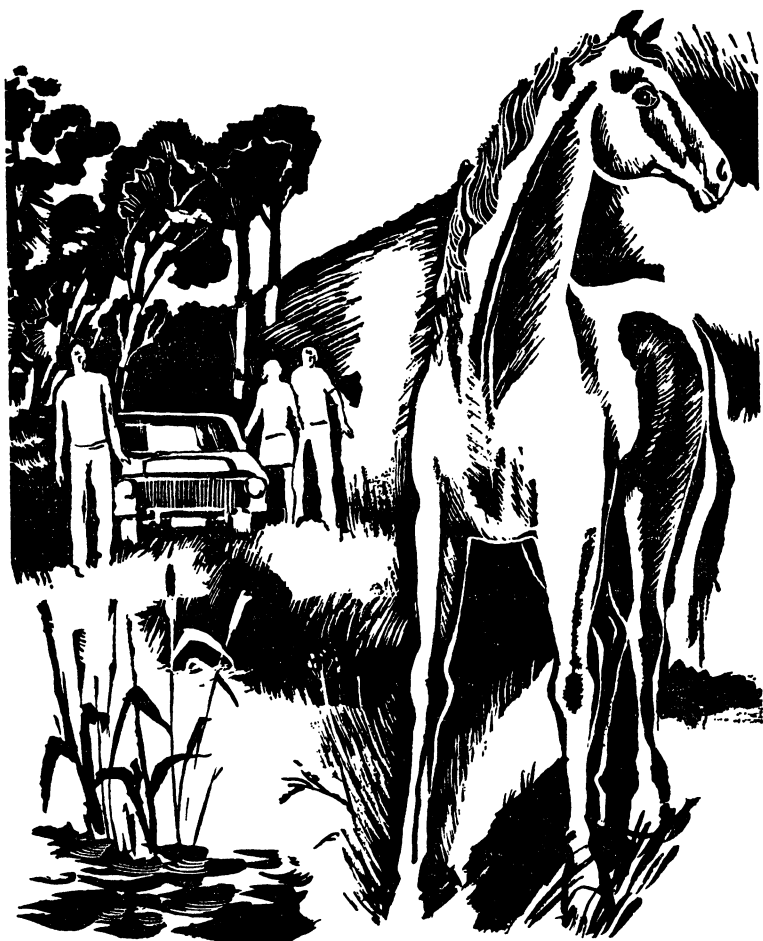
Внезапная тишина заставила Грахова оглянуться. Пьянея, он сел на теплый пепел, не сразу догадался, кого рассматривает большая компания.

Разглядывали Фаворита. Фаворит стоял под ивой, головой к воде, к золотисто-зеленому лугу за старицей, где он видел что-то ему лишь близкое, к чему тянулся всем своим длинным точеным телом. Он обсыхал и дымился. Прозрачный пар поднимался по тонким ногам вверх; легкий пар живым, трепетным светом обволакивал Фаворита, и казался он невесомым, призрачным сгустком света.

Снова чувствуя себя нескладным, ненужным здесь, влюбленно смотрел на лошадь Грахов. Она стояла по-прежнему без единого движения, наострив уши, ловила только ей доступные звуки.

Далеко на лугу Фаворит видел крохотный табун. Лошади, тускло поблескивая спинами, терялись в складках земли, появлялись, словно замирали и звали его. Он еще не слышал ни топота копыт, ни ржання, но зов слышал — кровью, которая бежала в нем быстро и сильно, как если бы он бежал навстречу табуну сам. Но если и было в этой крови немного дикого, что толкало ударить острой подковой по узлу корды, срезать его начисто, чтобы пуститься потом в безумный, яростный бег, то сама же кровь, выдержанная, чистая, обуздывала себя.

Когда-то, молодой еще, не объезженный, он убежал от людей, долго бродил по полям, набегался и повалился всласть и сам же вернулся в завод. Не было ни робости, ни смирения; привыкший к людям, к лошадям, он очень скоро затосковал, и тоска эта, перебив короткую, мимолетную тягу к одиночеству, погнала его назад.



И теперь он, помня те бродяжные опасные дни и ночи, застыл выжидательно, не смел тревожить людей ржанием, только смотрел на движущийся табун. Стриганув ушами, уловил вдруг чуткую изумленную тишину вокруг. Оставаясь в прежней позе, он по взглядам, ощупывающим его, по немому восторгу, от которого стыдливо, тайком подергивалась обсыхающая кожа, догадался — глядят на него люди. Это было знакомо ему, так бывало перед скачкой, когда, убрав попопу, прогуливали его.

В глазах Грахова сама собой сгустилась тьма, и в этих странных сумерках отпало, скрылось все лишнее — лошадь стояла одна, и чудилось, будто вглядывается она в оцепеневшие дали пустынной планеты, ждет первого человека. И виделся Грахову этот человек, идущий не один — шагала рядом, преданно держась за руку, девушка. Грахов узнал себя, но не сразу девушку... Мгла рассеялась, и все стало на место — враз заговорившая компания, машины, Леа. Отдельно он высмотрел двух девушек, у которых выторговывал шампунь. Казалось, они поблекли, в фигурах, отчетливо неуклюжих, пропала уверенность.

— Хороша, каналья, — как бы подытоживая смотрины, сказал Леа.

— Знаешь, она, оказывается, без подстилки ехала, — прошептал Грахов.

— Верно, недоглядели, — проговорил Леа, как на собрании, легко, без раскаяния. — Впредь не допустим.

— Где грузить будем? — спросил Грахов.

— На мосту. Там подъезжать удобно.

— Затянулась наша одиссея, — вздохнул Грахов. — Пора трогаться. Дорога неважная.

— Не бойся. Я уже в форму вошел.

— Я не за себя.

— Ну, не хрустальная она, не расколется.

Сильно отяжелев, Леа откинулся на спину, закрыл глаза. Грахов заскучал, прислушался: за ивой, где расселась компания, тоже говорили о лошадях.

— У Наполеона был конь Маренго, это верно. А кто скажет, как звали лошадь Александра Македонского?

— А у Дон Кихота?

— Это же анекдот. У одного студента спрашивают на экзамене: что такое Ренессанс?

— А он что?

— Отвечает: лошадь Дон Кихота.

— Значит, не знаете лошадь Македонского? Всем двойку с минусом. Запомните: Бу-це-фал.

— Ты что тут КВН устроил?

— Какая же у Санчо Пансы была лошадь, мальчики?

— У него, дорогая, был осел.

— Интересно, как этого коня зовут?

— Не зовут, а кличут.

— Ну, кличут как? Спросите у того, длинного, он, наверно, наездник.

— Не наездник, а Дон Кихот он и есть.

— А этот? Санчо на самосвале, да? Забавно.

— Они на вас ноль внимания. Конь тоже.

Фаворит следил за табунком, который шел теперь вдоль узкой задымленной ложины. Долетали оттуда, неслись сюда звуки: размеренные поскоки стреноженной лошади, отрывистые всхрипы. Весь уйдя в слух, Фаворит напрягался, как бы помогая незнакомому брату, идущему в путях. Когда табун, обходя болотистый пятачок луга, свернул в заросли, Фаворит призывно рокочуще заржал. И ждал ответа. Но луг не отозвался. Лишь в дальнем конце старицы страстно заквакали лягушки. Потом воздух, мягко и нежно перемещаясь, донес слабый запах табунка — терпкий, горький. Фаворит радостно затоптался, выгибая шею то в одну, то в другую сторону.

Тогда-то среди приглушенных голосов выделился один:

— Застоялся он. Ему бы пару кругов проскакать!

— С таким, как ты, мешком на спине?

— Интересно, седла у них нет?

— Седло не поможет.

— Без седла на нем не удержишься, это точно.

— Плохому ковбою всегда что-то мешает. Верно, девочки?

— Я бы и так проскакал. Только бы дали, — горячил себя парень, знавший клички лошадей великих завоевателей. — Я бы вам показал высш-шую школу верховой езды! Пожалуйста, пъяффе... А вот пассаж...

Парень, изображая лошадь, показывал приемы на четвереньках.

Грахов явно слышал и слова, и смех, и сам посмеивался: забавный парень. Он насторожился, увидел, как парень вдруг рванулся к Фавориту, как догнали его на полпути, закружились. Не замечая в потасовке, куда движутся, оказались возле Фаворита, и чья-то рука ухватила за корду. Фаворит отпрянул.

Грахов поднялся на ноги. Но Леха, обняв его за колени, усадил.

— Не лезь, — сказал он. — Сами разберутся.

— Они лошадь напугают, отвязать ее надо, — сказал Грахов, вырываясь. — Пусти.

— Она сама за себя постоит, не бойся, — сказал Леха.

Но Грахова он отпустил. Сам еще сидел, поджав под себя мягкие ноги, весь ватный, разомлевший. Все резкое, крупное отодвинулось от него, измельчало в глазах, и маленькая белая лошадка не казалась ему настоящей, как и люди. Он ловил крики, шум возни, но Грахова не было слышно, и Леха понял, что нет ничего

страшного. Только увидев, как смеются парни, показывая на него пальцем, Леха отметил в голове странное шуршание, отчего все чуть прояснилось. До Лехи вдруг дошел во всей сложности смысл происходящего: обижающая лошадь, кто-то обижают Леху.

Он встал и пошел, едва успевая поддерживать ногами тело, несущееся вперед.

— Во накачался, верный Санчо!..

Этот крик поддразнивал Леху. Он не помнил, а может, не знал, кто такой Санчо, но по оттенку голоса, с каким произнесли имя, определил, что человеком тот был невеликим, потешным и трогать никого не трогал. Леху явно путали с кем-то.

Леха набрел на Грахова, уже отвязавшего лошадь, почему-то проникновенно, нежно погладил его по волосам, похлопал Фаворита по крупу, сказал загадочно:

— Плыви с ней на ту сторону, плыви. Я вас догоню там, слышь. Не бойся, одежду возьми. Плыви...

Грахов не понял, для чего гонит его на тот берег Леха. Так и не спросив зачем, потянул лошадь, и она охотно бросилась в воду.

— Робя, слушай сюда! — крикнул Леха в сторону большой компании. — Даю вам полминуты, робя. Спасайся, кто может.

— ...А вы знаете, что правильный текст не "полцарства за коня", а "полкоролевства за коня", — не обращая внимания на Леху, говорил усмиренный эрудит.

— Ну, чего ты приперся, папаша, — наконец лениво спросил один. — Проспись иди. Мы ведь тоже того... Тяжело же.

— Иди, иди, за бабочками побегай!

Выждав, как обещал, полминуты, Леха сказал спокойно:

— Вы у меня узнаете, почем фунт железа!

Отойдя к костру, для наглядности поднял помятое ведро с остатками ухи, направился к самосвалу.

Грахов уже не видел и не слышал этого. Плыл, повиснув на шее лошади, и все плыло у него перед глазами. Он подтянулся, устроился удобнее, но муть столбом подкатила к горлу — Грахова повалило на бок. Он скользнул бедром по гладкой тугой спине лошади, удержался. Вода журчала, цеплялась за ноги, сталкивала. Сквозь знобкий туман проступали камыши, берег был близок. Собравшись с силами, Грахов обернулся, чтобы взглянуть на оставшийся позади берег, но не рассмотрел ничего. Слышал только: прокатывались там, смешиваясь, голоса и рев моторов.

Грахову стало почему-то смешно, весело, и от смеха он совсем обессилел. Потом мгновенно, неизвестно откуда пришел испуг, и Грахов оторвался от лошади, ухватиться за нее больше не смог. Решив достать дно, вытянул ноги, окунулся с головой, чувствуя, как глубина тянет вниз, холодом вяжет ноги. Он забарахтался.

Проглотив воду, вторым глотком подавился, и кричать уже было нечем, некуда: вода сомкнулась.

Руки еще боролись, не находя ничего, кроме воды. Сам Грахов уже задохнулся, тьма уже отняла рассудок, когда вдруг судорожно замирающая рука наткнулась на толстую жесткую шерсть. Пальцы сжались в мертвой хватке, но сам Грахов этого уже не чувствовал.

8

Лежал он долго. Его пугало, что голова была ни круглой, ни твердой, а была тьмой без осязаемых границ, и в ней тлела, согревая, горстка углей: совсем немного жизни. Постепенно он ощутил всего себя, но еще не торопился двинуть ногой или рукой.

Жизнь возвращалась к нему волнами, с теплом, которое, возникая в груди, разливалось по всему телу, покалывало. Трава под ним тоже теплела, влажно липла к животу и ногам, и Грахов благодарно вжался в нее, парную, мочалистую. Теперь не вода, а радость душила его. Потом волнение прошло и закрался страх: все ли в нем осталось тем, чем было?

Вот он наконец настоящий — из плоти, воды, и в нем мысль держится, пока плоть цела и невредима. В этот раз смерть лишь слегка задела его, занятая другими, спешила и миновала, и плоть снова живет, и пришла мысль. И надо беречься огня, воды, но прежде избегать того, что возмущает мысль, которая слепо бросает тело в опасность. Теперь, не находя силы для притворства, Грахов признался себе, что он и раньше думал так. Как бы подтвердив это, возникло ощущение уютной, чистой постели, в какой лежал бы не один, — преданно, чутко берегла бы его покой женщина, и обманывать себя он не стал: это была Светлана.

Перевернувшись на спину, он уставился в небо — холодное, глубокое. Он мог уже подняться, но почему-то боялся воды: она затаилась возле ног. Вода еще была в нем, пульсировала в горле, теплой мутью оттягивала желудок. В памяти осталась пустота — с того мгновения, когда он, утопая, не помнил себя, до первого проб-

леска. Домысливать этот провал было страшно. И только рука, вдруг судорожно вжавшись в траву, вспомнила.

Грахов настороженно притих, вслушиваясь в небо — не уловил ни всхрапа, ни дыхания лошади...

Фаворит не сразу ушел от Грахова. Он дождался того момента, когда человек схватил первый глоток воздуха, когда он, облегченный, оживший, заснул исцеляющим сном.

Чтобы не мешать ему, Фаворит пошел на запах луговой травы, ткнулся в нее, пощипывая.

Его, еще мокрого, обступала прохлада. В глубине луга, вскинув голову, он тревожно всхрапнул; разыгрывалась, чувствуя волю, кровь. Она туго, горячо ударила в ноги, легко понесла Фаворита по траве — он летел, угадывая ложину, где пасся табун. Поглупев, как попало вскидывая ноги, несясь он, и птицы едва успевали вспорхнуть из-под копыт. Кони будто ждали его. Они замерли и так, завороченно глядя на незнакомца, подпускали все ближе. Ни один не шелохнулся. Проскакав остаток расстояния правильным аллюром, Фаворит шагах в пятнадцать встал как вкопанный.

Первым мотнул головой, приветствуя его, старый гнедой мерин, расправил грудь, подобрал вислый живот. Чуть выдвинулся из-за него жеребец, видимо, молодой вожак. Драчун в детстве, Фаворит отвык от драк и сейчас, показывая, что пришел с миром, стал пощипывать траву. Он помнил: люди скоро хватятся его, кинутся искать, и было ему важно продлить недолгие минуты случайной свободы. За короткое время лошади, найденные им тоже случайно, не впустят его в табун. Не прогонят, но и не примут; он был чужим среди себе подобных. Он видел, как напряженно разгадывают кони, кто он, откуда пришел. Для них он был не от мира сего. Уцелевшие чудом трудяги, они не могли вообразить его в упряжке.

Будто сочувствуя ему, предлагая скрасить одиночество, робко двинулась к Фавориту вороная кобыла. Молодая, нежная, с гладким отливом, с неожиданной для ее масти пышной светлой гривой. Вздрагивая ноздрями, она доверчиво, ласково потянулась к Фавориту. Тронулся с места, вернул ее назад сердитый вожак. Вороная прынула в сторону, увернулась от белозубого оскала.

Фаворит следил за игрой, заметил, как жеребец, распаляя себя, преследует кобылу. И вдруг по тонким, прочным его ногам, обжигая сухие мускулы, подня-

лось пламя. Как ножом, он срезал подковой и высоко подбросил траву.

И тут ясное, стеклянно-отзывчивое небо донесло до ушей звук автомобильного мотора. Табун не обратил на него внимания. Один лишь Фаворит, тоскливо вскинув голову, смотрел туда, где люди, ненадолго забывшие о нем, трубили тревогу.

К Грахову приближался самосвал, широкий, приземистый, чем-то похожий на самого Леху. Леха забавлялся, играя сиреной — из коротких, длинных сигналов выстраивалась басовитая морзянка. Подъехав, прыгнул рядом, наклонился.

— Восемь — ноль в мою пользу, — возбужденно сказал он. — Драпанули!..

Ничего не поняв, Грахов тихо, измученно спросил:

— Лошадь на глаза не попадалась?

— Как? — почему-то развеселился Леха. — Она с тобой была? Неужели спрятал?

— Тонул я, — сказал Грахов. — Она меня, по всей вероятности, вытащила. Потом, видимо, отошла.

— Ну, братец, ты меня такими сказками не потчуй, — протянул Леха. — Лошадь его вытащила! Сбежала, факт!

— Она где-нибудь рядом, — боясь, что Леха разозлится, торопливо проговорил Грахов. — Она же хорошо воспитана.

— Чудик ты! — изумился Леха. — Говоришь так, будто она детдомовская. Верно, далеко не уйдет. Мы ж с тобой моторизованные. "И танки наши быстры..." Вставай, хватит утопленника изображать.

— Когда теперь доберемся? — Грахов присел, посмотрел на солнце. Низкое, с густым красным налетом, оно уже почти не грело.

— Давно б добрались, — быстро и сердито сказал Леха. — Мне старик этот... Молчанов все испортил. Кто его просил указывать мне, где ехать. Если бы не он, по бетонке бы катили, давно бы доехали. Знать надо Леху.

— Непростой он мужик, — сказал Грахов. — Интеллигент.

— Он-то! — Леха даже вздрогнул. — Да из самого простого народа он и есть. Всю жисть в навозе копался, лошадям хвосты чистил. А дома у него что? Рыбки да цветочки, коней повырезал из поленьев, по углам наставил — и вся тебе обстановочка.

— Нам его не понять, не доросли еще, — сказал Гра-

хов, как бы подытоживая давние раздумья. — А что касается народа, то мы все из него.

— Да, такая философия, — сказал Леха, удивленный и польщенный тем, что Грахов сказал о нем, как о равном. — Нам их не понять. Они спокойно жить не дадут. Помню, как глянет этот старикашка — хоть раскалывайся во всех грехах, хоть с повинной иди... — Поймав себя на том, что начал говорить лишнее, Леха осекся, но успокоился сразу: Грахов не слушал его.

Леха взял его за плечи, повел к кабине. Грахов пошатывался, а самого Леху крепко держал на ногах азарт. Был он похож на охотника, который, закончив гон, пускается в очередной.

Напевая, Леха нажал на стартер, мотор послушно отозвался, помчал машину вдоль старицы. Неслись, круто повторяя каждый изгиб берега, заглядывая под каждый куст.

— Денек... — протянул Леха. — Работенка.

— Ни разу столько не пил я, Шавров, — простонал Грахов.

— Пора научиться.

Леха бросил самосвал на сизые заросли тальника, подминая, привстал, издал клокочущий вскрик — увидел табун! Широкое тупое рыло машины наезжало на коней, они ворохнулись в испуге.

— А ты плачешь, лошадей нет, — сказал Леха. — Смотри.

— Музейная редкость, — откликнулся Грахов, хватаясь за что попало. — Последние аборигены.

Оба обрадовались, увидев Фаворита. Он стоял, не убегаючи от машины, спокойно наблюдая, свернет она в сторону или покатит на него. То ли зазевалась, то ли умышленно прибилась к нему вороная кобыла. Когда Леха нацелился в нее, чтобы отогнать, Фаворит осторожной рысью увел ее вперед.

— Попался, голубчик! — сказал Леха.

— Не трогай его! — зашевелился Грахов. — Его взять надо, а не гнать.

— А я не его, красотку эту, — сказал Леха. — Иначе не поймал бы его. Ишь пристала!

Фаворит понял: не его, а кобылу преследует машина. Резко, сердито тряхнув головой, покосился на нее, веля отстать. Вороная будто ослепла и оглохла, во всю прыть убегала от подстегивающего звонкого гула. Машина нагоняла их, гудела теперь сама земля под ногами. Фаворит пустился резвым галопом. Ускорила свой бег и вороная, но видел Фаворит: оглядываясь часто,

сбивает она себе дыхание, устает. Выкатив блестящие черные шары глаз, она неслась прямо, вовсе не догадываясь, что, сверни она вправо или влево, машина отстала бы. И Фаворит поскакал рядом, поддерживая ее, заботясь о ней.

Прыгало впереди, дробясь на косматые осколки, оранжевое солнце; земля, похолодевшая здесь, в низине, мягкостью своей остуживала копыта. Долго летели по ней.

Машина упрямо мчалась за лошадьми, но даже она, железная, начинала сдавать; часто замигав, подала тревогу красная лампочка на панели управления.

Леха не заметил ее. Опьянел пуще прежнего — от озорства, от избытка веселой брызжущей силы. Он видел красивую черную спину кобылы, вспыхивающую белым дымом гриву, два струящихся впереди тела...

Земля, словно желая помочь лошадям, вздыбилась вдруг округлыми мшистыми кочками. Машина колодилась об них, кашлянула искрами; запахло жженой резиной, раскаленным металлом.

Леха лишь напряжился, туго зажал коленями дрожащую колонку руля.

Поддавался азарту и Грахов. Часто моргая, следил, как медленно, гнетуще медленно сокращается расстояние между капотом и крупом кобылы. Он помнил, что Леху нужно остановить вовремя, пока забава не превратилась в игру с огнем; несколько раз слово "стоп" набухало у него на языке, и всякий раз он откладывал, считал, что еще рано. Да и не было пока ничего особенного; скачут лошади, как скакали бы без них.

Разогреваясь постепенно, Фаворит начинал находить в этом странном беге вкус, тоже входил в азарт. Он принял игру, но была еще вороная. Фаворит на полкорпуса опережал и вел ее, но вот повернуть с ней в сторону, чтобы сбить машину с ровного хода, ему не удалось.

Взглянув на вороную, Фаворит понял, что бежит она на "втором дыхании", уже легко и свободно. И в глазах уже не было прежнего ледяного блеска безумия, они были веселые, доверчивые.

Фаворит учуял запах гнили раньше, чем увидел узкий клин болота. Остерегающе всхрипнув, повел глазами на кобылу, позвал ее к себе, отвалил в сторону. Ворона запоздала. Ее, неумело повторившую маневр, развернуло, и задние ноги увязли в цепкой грязи. Она коротко заржала, будто вскричала сдавленно, по-собачьи жалобно потянулась к Фавориту. Он возвращался.

Теперь ловить будем, — сказал Леха. — Пока она выскочит, мы его и поймаем. Он забыл, что у него корда волочится. Я на эту веревочку и наеду колесом а? Во башка варит?

Фаворит вернулся к кобыле, стоял возле нее, то опуская, то вскидывая голову. Он насторожился, машина двигалась к ним вкрадчиво, метр за метром. На тужно дернулась ворона. Часто заходили ее бока.

— Может, мне выйти и позвать его? — беспокойно заерзал Грахов. — Он же не дурак, поймет.

— погоди. Думаешь, обижу я его. Он мне уже нравится. Я бы с ним в разведку пошел.

Грахов хмыкнул, собравшись сказать что-то но смолчал.

Отвлечшись, Леха забыл, что наезжает на корду. До кончика ее, темного и мокрого от росы, оставалось шагов шесть. Леха подъезжал на самых малых оборотах, делая вид, будто и не едет вовсе, а стоит на месте. Чтобы обмануть Фаворита, он даже не смотрел на него изредка бросая взгляд на корду, поправляя руль.

Фаворит, прикрывая кобылу, ходил боком. Когда он выжидательно повернулся головой к машине, корда удобно для Лехи потянулась вдоль колесного хода. Принажав на газ, Леха двинул машину быстрее.

Фаворит выжидал до последних метров. Машина все надвигалась, мертвыми белыми зрачками сторожили Фаворита ее глаза. Он не знал, видит ли она ими. Подпустив ее совсем близко, Фаворит встал на дыбы, коротко ударил копытом по правому глазу. Стекло лопнуло, брызнуло осколками на траву.

— Смотри, гад, что делает, — восхищенно сказал Леха, невольно подавая назад. — Я пасую. Твоя очередь Лови, как хочешь. Надо же... Учись!

За всем, что случилось в эти секунды, Грахов следил зачарованно, будто видел сон. Цветной, звуковой — мелькнула белая голова с приоткрытым в оскале розовым ртом, разбилось стекло. Занывшей рукой Грахов вспомнил шершавое прикосновение конской гривы.

— Совершенно справедливо, — старательно выстраивая слова, проговорил он. — Моя очередь. Я перед ним в долгу.

От быстрой езды, от жары и пропахшей бензином пыли в кабине Грахов захмелел заново. Вывалился на пружинистую бархатную почву, поднялся, посмотрел на коней.

Долгим отчаянным усилием ворона выдернула одну ногу, вторую. И пошла прочь, уводя Фаворита



— Фаворит! — позвал Грахов растерянно. — Мы же с тобой джентльмены, Фаворит! Тпру-у!

Вороная, выравнивая шаг, прибилась к Фавориту измышленной парной шерстью. Они удалялись, две лошади, обе темные в красном закатном сиянии.

За всю прожитую жизнь — четыре года и три месяца — Фаворит не знал настоящей любви. Сосунком он любил мать — с нежностью, до сих пор вспыхивающей

В нем, когда он вспоминал запахи ее кожи, молока. Но в весенние, переполненные истомой ночи накатывала на него тоска иная, огромной неистраченной силой захлестывала сердце.

Другая любовь — мимолетная, расписанная по минутам, когда он сходил с кобылой, — опустошала и пугала его. Он запоминал лишь побеленные известкой стены, стойку, нервную сухую партнершу, очередную даму крови, которая тоже пугалась. Запоминал ненадолго, забывал быстро. Где-то потом рождались сыновья, дочери. Фаворит не видел их, а если бы и увидел, не узнал бы.

С вороной у него получалось что-то иное. Сейчас он, понемногу остывая после горячего бега, поднимался по склону, поросшему дубняком, вверх — туда, на горushку, тянула кобыла. Фаворит, подчиняясь ей, легко одолевал травянистый крутик. Только когда усталая ворона толкалась к нему непроглядно черным боком, Фаворит, пронизываемый идущим от нее острым током, замедлял шаг.

Ворона одаривала Фаворита сияющим взглядом, будто понимала, с кем ее свел случай. Неизвестно чем завлекшая Фаворита, она, низенького ростика, коротышка, выглядела рядом с ним, познавшим славу, хороший обиход и догляд, робкой и терпеливой работницей.

Другой мог бы высокомерно бросить ее на произвол судьбы, а этот, хоть и недосыгаемых кровей, не бросил, и теперь ворона отвечала ему преданностью.

Фаворит, сам не зная почему, только чутьем доходя до смысла торжественного шествия, покорялся своему чувству. Ворона нравилась ему все больше и больше. Никаких неладностей в ее телосложении он не замечал, но был во власти диковатого, беззаботно-отчаянного очарования вольности, особенно тревожной и сладостной сейчас, когда ворона шла рядом.

За дубняком горбилась вершина. С нее, с клеверного пятка, виднелась широкая пойма, и дыхание ее, пронизанное запахами остывающих трав, доставало до лошадей, замерших в прощальном свете солнца. Внизу уже хозяйничал вечер, нагнал дыма и тумана в овраги, и в них уже по-другому, по-ночному перекликались птицы.

Сбегая к пойме нестройными улочками, неслышно, отдаленно жила деревня. Лишь ниже, там, где темнел узкий мост на поплавах, еще раздавались ребячьи голоса.

Уставшая на подъеме, легла на клевер вороная. Поймав ее выжидательный взгляд, прилег и Фаворит. И словно укрыла их, лежащих на открытой вершине, тишина, поразив Фаворита тем, что была она звучная. Едва уловимо шелестела трава, шуршала, будто осыпалась, почва, и сам воздух, казавшийся неподвижным, тонко звенел в незаметном движении. Земля входила в Фаворита, наливая его приятной прохладной тяжестью.

Прижавшись к нему боком, тихо вздыхала вороная, нежно тыкалась губами в шею, зализывала пораненную стеклом ногу Фаворита.

Глядя на дымчатый простор, на круглое, как оранжевый зрачок, солнце над припухлым краем земли, Фаворит вспомнил море, темные, подернутые кипящим туманом скалы, был он когда-то у большой гулко вздыхающей воды. Купался в ней, бежал по белой шипучей пене, втягивая живот от острых галечных укусов. Мчал в седле Толкунова, легкого, поджаренного таким же круглым, но очень жарким солнцем; карабкался в гору, высекая подковами искры из камней, и вдвоем они долго смотрели в голубую даль.

Вороная следила за Фаворитом, украдкой любуясь им. Ей казалось, что она может долго еще смотреть на него, долго, пока не сгустятся сумерки.

Она простодушно, счастливо не следила за временем. Не подозревала вовсе, что их время уже истекло.

Грахову повезло — встретил местного конюха, ехавшего за табуном. Узнав, что вороная кобыла увела неизвестно куда сосенковского скакуна, конюх спешился, закурил. Прикрывая длинный белый шрам на щеке коробкой "Памира", проговорил:

— Я тут последний коневод. Макарыч зовут, по прозвищу Кривой. — Он улыбнулся другой, подвижной щекой, пояснил: — Мамонтовский бандюга шашкой полоснул. Спасибо, хоть глаз не задел.

Скучая, сигналил Леха, торопил, но Грахов отмахивался. Макарыч, кажется, догадывался, где лошади.

— И чем кончилось? — спросил Грахов.

— Ну да, так я его и отпустил, — сказал Макарыч. — Дончак подо мной был, горячий, злой, как черт, вот и догнал.

— И что же?

— Силенок было маловато. Я тогда мальчиком был конюшенным. Все равно зарубил...

Видно было по нему, рад новому человеку. Но Леха не дал затянуться знакомству, стал отбивать на сирене морзянку.

Отправились искать Фаворита.

Макарыч ехал к дубняку на гнедой кобыле. Грахов шел. На подъеме конюх предложил ему ухватиться за стремя, и так поднялись на крутизну, остановились. Макарыч увидел наверху: на самом взлобке горюшки лежали, светились в угасающих лучах солнца кони. Будто дремала, уткнулась в бок жеребца вороная: задумчиво стерег ее, выгнув белую шею дугой, Фаворит.

— Ах ты, тихоня, — прошептал конюх. — Жениха-то отхватила какого. Да что же ты лежишь-то, как на перине? — и сказал Грахову: — Повадилась сюда, мечтает. Ну как не поймет, что не время мечтать! Да я бы ее на руках носил, кабы она сына или дочку нагуляла с ним. Нет, лежит...

Треснула и обломилась под Граховым сухая дубовая ветка.

— Что же вы стоите? Давайте ловить, — сказал Грахов. — Вы потом свою в Сосенки отвезете, сделают одолжение.

— Ушли уже. — задумчиво отозвался конюх. — Испугались... Чепуха это, везти в Сосенки. Будут они высокую кровь разбазаривать!

— Какую кровь? — спросил Грахов.

— Высокую, — со значением повторил Макарыч. — Я-то думал, имеете к лошади отношение какое.

— Некоторое, — смутился Грахов. — По научной части.

— Должны бы знать. Высокая, значит, по капельке, как нектар, отобранная. Чистая, как слеза. По ней и лошадь судят.

— Он меня выручил сегодня, — хвастливо сказал Грахов. — Из воды вытащил.

— Где это? На Старой речке, что ли?

— Совершенно верно.

— Этот вытащит, точно. Я вот тоже, можно сказать, жизнью обязан. Слыхали про кавкорпус Белова? Вот в нем я войну встретил. Топорок у меня был, вроде даже застенчивый. Не подумаешь. Из окружения вынес по снегу. Я ему последний сухарь отдал, сам к седлу привязался, чтобы, значит, не выпасть, скелет был фигуральный. Вынес меня и пал, кровь горлом пошла.

Конюх вывел гнедую на поляну, одним легким прыжком оказался в седле. Отвязывая на ходу аркан, сказал Грахову:

— Погуляйте тут. Мне одному сподручнее.

Поляна была маленькая, круглая. Грахов стоял в центре, опасаясь идти дальше, склоны казались отвесными. Возможно, под густой синей пеленой, в какую оделась вся пойма, угадывалась глубина, звала и притягивала, внушала Грахову, что ему нечего бояться, он сильный и смелый и есть у него крылья. Это было похоже на то ощущение, какое появлялось, когда Грахов ехал на свидание с Мариной; и не совсем похоже если он тогда ощущал это и ехал к ней, то сейчас откупался лишь обещанием поехать.

Он снова видел себя, с собой — Марину и будто смотрел со стороны, оттуда, где стоял, разглядывая лошадей. Но воображения не хватало, чтобы увидеть ее и себя парящими над ширью, взявшись за руки. Грахов горько, издеваясь над собой, засмеялся — крыльев не было.

Внизу, у подножия, быстро застучали копыта, возвращался Макарыч. По бокам его гнедой — Фаворит и вороная. Бежали они понуро, переглядывались.

Здесь, на поляне, горячо запереступали.

— Какая была бы свадьба, — вздохнул конюх — Забирай, веди его...

Передал корду неохотно, с недоверием оглядев Грахова.

— Веди, веди, — сказал Макарыч. — Суший он дьявол. Хорош! Не подпускал. Я его на коленях уговаривал.

Фаворит уперся, выпустив из ноздрей белый пар. Грахов оступился. Стал наматывать корду на запястье.

— Не шали, не надо, — сказал Макарыч. — Веди нормально. Упустишь, не беда. А то понесет, костей не соберешь. — Подумав, добавил: — Другой бы понес.

Начиная тихо печалиться, он привлек голову вороной к себе, обнял ее, прикрыв ладонями глаза, сказал

— Веди, хватит... И подождите меня там, покажу, как ехать.

Фаворит пошел, и что-то сдавливало ему горло, губы вдрагивали. И как только услышал прорезавшее воздух тоскливое ржанье, вскинул и запрокинул высоко голову — в его ответе не было грусти, в нем слышалась надежда.

6

— Ждать некогда, — отдуваясь, проговорил Леха. Не видишь?

В той стороне, откуда отъехали часа полтора назад, небо кудрявилось бедными облаками, ниже они темне-

ли, быстро набухали. Еще ниже, по самому краешку земли, бесшумно кралась клубящаяся чернота.

— Сюда не дойдет, — сказал Грахов. — Подъедем к мосту, погрузим, спокойно поедем.

— Я не против, — Леха смотрел на лошадь добродушно, даже ласково. — Но пойми, ежели дождь тут застанет, я перевал не возьму. Все колеса лысые, цепей нет. Привязывай, не тяни резину! Где удобнее, там погрузим.

Грахов оглянулся на тучу, стал привязывать Фаворита к своей стороне. Леха заметил, остановил его:

— Слева привязывай, слева. Я же его в кювет могу столкнуть.

И вот уже в который раз тронулись в путь. Через мост, к перевалу, прямо по солнцу. Оно уже не слепило, не грело, мигнув последним красным светом, утонуло. Дорога в гору шла ровная, укатанная, и серые тени ложились на нее, густели. Ударил сзади, приналег первый порыв ветра. Со всего поля легким дымом поднялась пыль, закружилась, соединилась в танцующих расшалившихся веретенах.

Свистел в кабине сквозняк. Мрачней, Леха поехал быстрее, и надвигался на стекло край перевала.

— Посмотри, бежит? — спросил Грахов.

— Бежит, бедняжка, — вздохнул Леха. — Раньше с ними сами заводники возились. Привозили, увозили сами. Фургон у них — люкс. Мне бы такой. Наш-то утиль.

— Нас бы не послали. Жокей слег.

— Знаю, видел. Доходяга. В седле, правда, как гвоздь, сидит. В чем душа только держится, не пойму. Жил бы, как все. Зарабатывает, что ли, много, жалко бросить?

— Не в этом дело. Не может иначе.

— Я вот тоже без руля не могу. Жить-то надо... фу, черт, мерещится, что ли?

Леха высунулся в окно, притормозил: досадливо глянул на Грахова.

— Вроде скачет кто-то...

— Конюх, — догадался Грахов.

— Вроде нашего Молчанова. Значит, устроит концерт.

— Кавалерист бывший.

— Рубаки они все. Ты давай поласковой с ним.

— Дипломат, — хмыкнув, Грахов поправил галстук, приосанился.

Промчался мимо всадник. Грахов узнал гнедую ко-

былу, прямую плоскую спину Макарыча. Толкнул коленом Леху, машина остановилась.

— Вы нас извините! — крикнул Грахов, высываясь из кабины. — Боялись — дождь внизу застанет. Цепей у нас нет.

Макарыч слушал, держась и гарцуя впереди. Потом сердито, резко махнул хлыстом в сторону еще светлого розового горизонта, шагом повел гнедую.

Ветер усилился, хлестко ударил по кабине, и снова сорвалась, теперь уже пепельно-плотная, пыльная завеса. И на мгновение будто застыла, озаренная отсветом молнии.

Догнали конюха, поравнялись. Не поворачивая застывшего темного лица, он ехал, обдумывая что-то, и сейчас его молчание для Грахова было в тягость. Ветер яростно, урывками кидался на выцветшую рубаху конюха, мял кепку.

— Мы боялись... — снова крикнул Грахов. — Потому что...

— Я попону ему дарю, так и скажите, если спросят откуда, — отозвался конюх. — От Топорка еще, от того еще... — оборвал себя, оглянулся. — А вы... на веревочке.

Оглянулся. Катилось, черно заливало землю, блестела зарницами гроза.

— Сворачивай! — крикнул Макарыч. — Там ямы силосные. Посадим коня...

Безмолвно расстались, молча поехали дальше, в душную, гудящую черноту. Макарыч не сразу отстал, с полверсты провожал Фаворита. То слева, то справа осматривал его. Фаворит стоял надежно на старой мешковине, обложенной прошлогодней соломой. В дареной попоне, которая вздувалась от ветра, заботливо похлопывала по спине, подзадоривала.

Небо будто раскололось, тяжело и сыро вздохнула туча; осветилась, широко и раздольно подставила себя под дождь земля. Дождь пролил сразу, не дразня первыми одинокими каплями; зашумело, потекло разом.

Согнувшись под тяжестью струи, задымился Макарыч, набежавшей следом упругой волной накрыло его.

Сразу окатило и Фаворита. Загромыхал, наполнился мелкими брызгами, паром, свежестью кузов. Смачивалась, опадала солома, попона, затвердев, тесно обтянула Фавориту бока.

Дождь лил долго и щедро. Сначала теплая, приятная влага сочилась по шее, по груди и ногам, а под

конец Фаворита охватило холодное, мокрое оцепенение. Его уже не трясло, не дергало, самосвал мягко скользил и проваливался.

Еще клубилось небо, мертвенно-бледно вспыхивала водяная пыль, косо летящая по ветру; гром ударял в землю, раскатисто обходил далекие поля.

Фаворит давно не попадал в грозу, сейчас, не пугаясь, слушал, впитывал ее загадочную, обворожительную мощь. И ему передалось из неба волнение, расшевелило влажно занемевшее тело, кровь, разыгравшись, горячо дошла до копыт. Тесно стало в кузове, в прелой соломе, и Фаворита, налившегося упругой силой, потянуло на простор, на пропитанную дождем траву.

И вот небо не шумело, не лило больше. Чистый, мягкий звон сошел сверху, радостно, благодарно отозвалась земля — всеми голосами, обновленным, умытым своим ликом.

Как никогда сильно, страстно любил эту родную землю Фаворит. Впрочем, лето он любил всегда. Еще зимой возникало в нем смутное томление — он ждал весну, которая сменится красным летом. Вот с такими быстрыми, окатными дождями, до звонкости ясными рассветами. Однако не сладким пышным пирогом оно снилось ему. Он знал его, как работу — от тренинга к тренингу, от скачки до скачки, и только между ними кажушиеся мгновением свидания с лесами, ручьями, травой. И все-таки не жаловался и ждал лета, счастливо следя за каждой весточкой о нем — вот прострелились листья, пролетели первые стаи птиц, ровно зажурчал усмирившийся после паводка ручей.

До доньшика исчерпав себя, день ушел, и, спеша захоронить содеянное им, надвигались сумерки, замерцавшие первыми слабыми звездами.

Старательно трудился самосвал, тревожа колесами зеркально застывшие лужи, вез свой груз в стынущую даль.

В тихом, по-вечернему раздумчивом согласии ехали Грахов и Леха. Предчувствие ночи начинало постепенно глушить дневное, и оба утомленно расслабились. Леха почти лежал на баранке, глаза его устало и дремотно шарили по сумеркам, разбавленным светом подфарников.

Душное тепло убаюкивало, валило на бок Грахова. Его пушисто, сладко обволакивала темень, и приснилось: скачет на белом коне, играет хлыстом, бьет по взмыленным бокам — хочет догнать быстрый, ускользающий поезд. В окошке вагона лицо, знакомое и уже отчужденное, неясное...

Он проснулся, удивляясь, заново посмотрел сон, будто прокрутил киноплёнку. И снова в зыбком печальном тумане, не прояснившись, не давая разглядеть отдельные черты, утонуло лицо. И плыла на ветровое стекло, забрызганное мертвыми бабочками, густая ночь. Она не торопила мыслей, откладывая их на завтра.

Расшевелился Леха, провел ладонью по замигавшей красной лампочке.

— Вот те на, — проговорил он. — Вода вся выкипела.

Струйка пара бежала по капоту, мохнато разлеталась легкими, призрачными клочьями.

— Ничего, залью где-нибудь, — сказал Леха. — Скоро уж конец. Бетонка скоро. Мигом доедем. Ох и спать буду!..

Долго еще ехали по галечной, бодро постреливающей дороге. Объятая сном земля, слышав шум машины, провожала ее пугливыми голосами и не успокаивалась сразу.

Фаворит ловил птичьи вскрики, шелест крыльев: пробивались сквозь близкие звуки, отчетливо различались перепелиные удары. Иногда вспыхивали, желто горели в лучах фар чьи-то застигнутые врасплох глаза. Не менялось лишь небо: каждая звезда, каждый светлый росчерк на своем месте. Только Фаворит, будто запнувшись, уронил голову, а когда поднял ее, звезды тихо снялись с насиженных мест, заскользили друг к другу, и в этом движении две-три не удержались, упали. Потом впереди, на уровне земли, внезапно выступили яркие немигающие звезды, и Фаворит догадался: это огни.

Грахов тоже увидел огни, отметил их невольным, застоявшимся в груди вздохом: там бетонка. Взбодрился, выпрямился Леха. Щелкнул по надоедливой красной лампочке.

Дорога, спадая, вела вниз к узкой галечной дамбе, которая заканчивалась деревянным мостом; мокро блестели по бокам дамбы, отбрасывали длинные шевелящиеся тени мелкие кусты.

Припав к стеклу, Леха высматривал в зарослях лазейку, ему знакомую. Остановил машину, выбрался из кабины, звякнул ведром.

Грахов заскучал, зябко передернув плечами, прижался к теплой спинке сиденья. Езда притупила усталость, загнала ее внутрь, а теперь тело спадало вниз, затяжелели ноги и руки. Сонными глазами Грахов наблюдал за Лехой, видел, как согнула, сдавила ус-

талость и его. Леха взобрался на буфер, щурился от света, разбухшими пальцами скреб заушгны, державшие капот. Слабый, рыхлый, придавленный сверху ночной тьмой, Леха разжалобил Грахова.

Потом Леха отгородился капотом, стучал еще, выкручивал что-то. Заклокотав, повалил пар, обдал стекло.

Грахов маялся — надоело сидеть в кабине, хотелось ехать, поскорее добраться до места и лечь там, если кто-нибудь устроит ночлег, в сухую свежую постель, заснуть до утра.

Ему почудилось даже, что машина, угадав его желание, покатила, поскрипывая галькой. Ткнувшись в боковое стекло лбом, взгляделся в темень: будто плыли мимо, мерцали листвой кусты. Грахов открыл дверь, напрягаясь, заглянул вперед, но из-за капота ему не было видно, стоит ли на буфере Леха. И вдруг его охватило тревожное предчувствие. Пока он справлялся с собой, машина двинулась быстрее, пар шарахнулся вбок, открыв замороженный ярким светом фар притаившийся внизу мост.

В оцепеневшей голове Грахова промелькнула мысль о двух педалях у подножия руля, о ручном тормозе. И тут машину сильно тряхнуло и все стекло заволокло густо пошедшим паром.

Грахов прыгнул. Упав на кусты, не удержался, сорвался прямо на осоку. Почти не помня себя, поднялся, побежал к мосту, где еще метался свет и слышался сухой треск перил. Слепо кинулся в темноту, и его, бегущего, бесшумно поглотила вода. Уже там, в воде, ударил по ушам тупой глохлый звук, и река на мгновение потекла вспять. И будто повторилось то, что было уже — потянуло его вглубь, вязало ноги; секунды две это длилось и кончилось тем, что, наткнувшись ногами на дно, он встал. Мелко было, по грудь... Зайдя под мост, различил в призрачном звездном свете машину. Черными кругами застыли вздыбленные колеса. В воде, под громоздкой тенью машины, словно варилось что-то, булькал и пузырился пар.

Вдоль дамбы шлепал по болоту, темно надвигался Леха. Он вошел в воду, сгорбился, не найдя сил пройти дальше.

Так они стояли, начиная торопливо, сбивчиво думать уже не о лошади и не о машине: каждый о себе. Но вот Грахов услышал... Он еще не верил, пока не припал ухом к покатоному кузову. Лошадь дышала. Шумно втягивала воздух, выдыхала.

— Дышит, — прошептал Грахов и заплакал. — Дышит, ты слышишь?

Тоже припав к кузову, Леха слышал, как дышит и ждет лошадь.

— Там деревня, — рванулся Грахов к берегу. — Я людей позову. Сколько надо? Сто, двести человек? Всех подыму!..

Он выкарабкался на дорогу, побежал. Очнувшись вдруг, сильно и упруго кинулся за ним Леха.

На взгорке, откуда до тусклых редких огней деревни было совсем близко, Грахов услышал позади себя топот, понял, что скоро Леха догонит его.

Фаворит не знал, не гадал никогда, как придет к нему смерть. Он не знал, какая она, но сейчас виделась и хотелась она ему светлой: в широком ясном просторе, на всем скаку. И чтобы была мгновенной, без этой боли в ногах. Но жить для того, чтобы принять такую смерть, какую он желал себе, Фаворит не хотел.

Мир, еще недавно рождавший в нем радостное чувство беспредельности, в котором всем — и людям, и зверям — хватит места, вдруг сузился до размера глухого, крошечного темного кузова. Боль сводила задние ноги, охватывала спину и шею, ввинчивалась в голову, и только темнота да еще никому не нужная теперь гордость не давали Фавориту забиться в судорогах.

Боль обрывалась ниже колен, жглась там, и Фаворит понял: ног ниже колен нет.

Близость людей, прежде успокаивавшая Фаворита в мгновения беды, сейчас удручала и тяготила его.

Он еще мог бы жить, ждать два, три, может быть, четыре часа. Но вот он расслабил шею, приник к воде. Было тихо в накрывшем Фаворита темном железном ящике, журчала, тихо кружила вода. Фаворит напился досыта, не боясь уже губительного опоя. Он пил воду, которая становилась все холоднее, втягивал ее, уже некусную, ртом и ноздрами.

И все пил, пил.

ЧЕРНАЯ ТРОПА

Памяти художников Алексея Тихонова и Анатолия Волкова посвящаю

1

В ту раннюю сухую весну, едва окрестности оделись кисейно-прозрачной зеленью, начались пожары. Одни, малые, полевые, с пороховой резвостью опаляли косогоры и скаты, быстро сами по себе исчезали, другие, зарождаясь где-то в дальних лесных делянах, высоко вздымались над горизонтом, день и ночь будоражили небо багрово-дымными всполохами. А в разгар лета зачастили пожары торфяные. Поначалу неприметные, дышавшие медленным удушливым куревом, они принялись обширно, многоярусно пожирать глубинные горючие пласты, и раскаленные ядра этих пластов, казалось, поднимаются, подобно вулканическому огню, из самого сердца Земли.

Можно было лишь гадать, сколько учтенного и нераспознанного огня губит все живое в холмистых и равнинных просторах, и если даже гадать только по едучей сплошной синеве, которая накрыла засмирившую землю, и то жутко. Кроме невеликой июньской тучки, окропившей дождем всего половину из ста сорока трех дворов села Прудищи, без малого два месяца не было ни единой отдушины. И опять не видно простым глазом, что там, дальше двух-трех километров, опять неизвестно, на какой срок сушь, жара, безветрие...

По селу, как при любой напасти, ходили догадки и слухи: откуда что берется, за какие грехи? Не успевали остыть уши от одной новости, появлялась свежая, часто такая же нелепая, что и прежняя, но, когда новость возвращалась к человеку, первым пустившему ее по кругу, в ней обнаруживалось столько небывалого, серьезного и даже зловещего, что хоть караул кричи.

Под конец лета в Прудищи нагрянули шабашники. Здесь давно притерпелись к наемным труженикам и

шефам, потому отнеслись к новеньким без почтения, зато потом — не прошло трех недель — только о них и был разговор. Рассказывали, будто в этот раз наладились в каменщики ученые, артисты да художники. Выходило, что этот не простой, а знатный люд научен споро, сноровисто класть кирпич, и, хотя обыкновенная, не фигурная кладка считалась делом немудрящим, люди подивились: не было еще шабашников, которые за три недели столько бы наворочали! Новый клуб ставили за березняком, середь лужайки, рядом со старым, помещавшимся в бывшем барском доме.

Кое-кто еще сомневался, но, когда бабка Полина показала "патрет", нарисованный одним из шабашников, а ребятишки называли имя известного артиста кино, на стройплощадку как бы ненароком стали забредать парнишки и девчата постарше: в кои разы поглядеть на знаменитостей за кладкой кирпича — чудеса!

Вдруг среди этого радостного изумления, как снег на голову, слух о красном волке, взбудораживший поголовно всех. Да и шутка ли: у волка, если верить молве, обнаружилась болезнь — бешенство, ну, а что это значит, объяснять не надо. И хоть почтальон Фимка уверял, что красного волка уже поймали — сам, дескать, глазами видел, когда несли того из лесу, связанного по ногам, — сначала всполошились молодухи, заперли мальцов в избах и в поле соглашались идти не иначе как табуном. Мужики посмеивались, но с очередной вестью — волк шастает на воле, кидается на людей — озаботились и они.

Слава богу, есть чем обороняться — в селе нашлось десятка полтора залежавшихся ружей, которые достались в наследство от дедов и отцов и сейчас нуждались в пристрелке, потому как ни в стародавние времена, ни в теперешние здесь не знали охотничьей корысти. Лесному зверю, не выбитому заезжими стрелками, привольно жилось в местности: единственный браконьер, занимавшийся недозволенной охотой на лосей, после отбытия тюремного срока был лишен охотничьих прав.

Верно, не то чтобы на зверя, даже на зайца не ходили прудищинские жители, а тут, хочешь не хочешь, надо пристреливать двустволку или берданку. Начали робко, в одиночку, норовя всадить картечь в старое, надежное на кол ведро или в шапку, кем-нибудь подбрасываемую. От ружейной пальбы народ повеселел, кто-то вошел в раж, стал стучать в ворота.

— Эй, ополченец! — по-армейски кричал он хозяину,

добивавшему какую-нибудь домашнюю утварь. — Марш к пруду! На дальность боя пробовать...

Собрались у пруда, неподалеку от стройки. С берега видно было, как работают шабашники, взмелькивая черными от загара руками. Такое соседство не смутило разгорячившихся стрелков, они уже потом скумекали, что выбрали не совсем подходящее место.

Не знали, что шабашкой командует Гриша Шематухин, не терпевший чужого праздного шатания на виду у работающей в поте лица бригады. И ведь не кто-нибудь, а сельские мужики, работяги, надумали пофорсить, мало того — готовились на глазах у Гриши затеять какие-то фокусы с ружьями. Не в меру горячи, вон уже повздорили из-за пустяка: не могут решить, с какого расстояния палить, какую мишень ставить — бутылку или шапку.

Шематухин питал к вооруженным людям особое почтение, но не любил вспоминать, при каких обстоятельствах оно выработалось — сосало под ложечкой, — и теперь с неприязнью глядел на собравшихся. Нельзя так, между прочим, тревожить Шематухина и так, не блюдя закона — не положено стрелять где попало! — устраивать игры. Шематухин скрипнул обшорканным плетеным креслом, найденным среди прочей клубной бутафории и поставленным в тенек для послеобеденного отдыха.

Он напустил на себя начальственный вид, хотя понял, что с той стороны, где суетились стрелки, его разглядеть трудно. Сидел он возле коробки управления подъемником и наметанным слухом караулил своих, клавших наверху кирпич. Шематухин, по его выражению, сачковал. Когда над урезом стены показывалась чья-нибудь голова, со страдальческим выражением принимался нянчить правую руку, перебинтованную выше кисти.

Стрелки тем временем перестали гомонить и топтаться. Из круга вышагнул молодой, по-городскому патлатый парнишка, старательно прицеливался, качаясь взад-вперед. Опасался, должно быть, старого ружья и так, страшась, ударил дуплетом. Картечь гахнула высоко над мишенью — шагах в тридцати на пне блестела бутылка, — тупо впечаталась в саженную липу.

— Ханурик! — нервно встрепенулся Шематухин. — Доходяга!

Он встал на кривоватые ноги, двинулся к стрелкам, те, завидев его, глядевшего с усмешкой, пристыженно опустили ружья стволами вниз.



— Ну, че, пассажир, мимо? — снисходительно улыбнулся Шематухин. — В молоко?

— Ну... — отозвался высокий, в застиранной армейской рубаше мужик. — Пшик!

— На войну, че ли, собрались? — спросил Шематухин. — Видик у вас такой... Может, хватанули лишнего?..

— Не-е... Ружья пробуем. От волка одного... детишек да жен оборонять надо.

— Хах! — прищелкнул пальцем Шематухин. — Да их

давно перебили, серых-то. Один на Россию — в "Ну, погоди!"... Хах!..

— Этот вроде красной масти... — проговорил тот же мужик. — С умом жил, да вот, говорят, сбесился. В него позапрошлый год стреляли, говорят, подранили. Оттого, может, сбесился...

— Чем заболел? — оживился Шематухин.

— Бешенством...

— Худо, пассажиры, дело! — нахмурясь, сказал Шематухин. — Худо!.. — Он с интересом посмотрел на неудачливого стрелка, тот, ни на кого не глядя, перезаряжал ружье. — Дай-ка, братан, пушку...

Парень, бледный от пережитого волнения, протянул Шематухину ружье, облизал пересохшие губы, устоял на Шематухина так, как будто тот — по мнению мальчишек, ходивших сюда, в заросли малины, согладался, — артист, должен был выкинуть небывалый номер. Казалось, Шематухин вроде бы и вправду примеривал себя к какой-то роли. Во всей его угловатой фигуре, напряженно выдвинутых вперед, как у боксера, плечах, в смуглом заостренном лице угадывалась постоянная потребность померяться с кем-нибудь силой.

Сейчас, однако, Шематухин ничем — ни словом, ни поведением — не стал досаждать присутствующим. Помня, за кого его принимают — соврал ребятам, что снимался в фильме "Белое солнце пустыни", — он с трудом подавлял в себе желание побалагурить.

Дальше тянуть с выстрелом было нельзя. Люди с двух сторон, с шашки и отсюда, с берега, сторожили его напряженными глазами.

Чтобы стоять устойчивее, Шематухин топнул сапогом, поднял ружье на уровне мишени, вдруг напрягся грудью, плечами и, красный от натуги, выстрелил.

Он отметил, как дробью разнесло бутылку, но радости не выказал, занялся ружьем. Лихо переломил его о колено, вынул из патронника еще дымящиеся гильзы и церемонно, стараясь до конца выдержать игру, вернул двустволку обалдевшему парню.

— Красный, говоришь, волк, — сплюнул он, оглядел прудищинских.

— Мы-то не видали, — ответил за всех тот же, словоохотливый. — А кто видал, говорит: красный. Чудной масти волк.

— За шкуру цена прежняя?..

— Да уж куда нам, — потупился собеседник. — Была б своя цела...

— Ну, ни пуха, ни пера!.. — насмешливо сказал Шематухин. — А я-то уж подумал — мобилизация Куда, думаю, гонят? Ну, покедова! Антракт!..

Шематухин двинулся к своим, видать, решившим закрутиться на сегодняшний день. Оставшиеся на берегу переглянулись, один, постарше, даже перекрестился; закурили, стали соображать вслух, что делать дальше — продолжать пристрелку или разойтись по избам, пока куражливый артист не удумал явиться с каким-нибудь новым номером. Промазавший парень, видно было, мучился, раздумывал, уйти ли ему побитым или попробовать еще разок пальнуть.. Но, когда тот смысленный мужик сунул в его руку бутылку и подтолкнул к пню, малый от второй попытки все же отказался — вдруг опять выйдет незадача.

День, так долго стоявший без перемен, быстро убывал, уже недалеко было до сумерек. Процеженный дымом свет солнца был голубоват, оттого на всем, что попадалось на глаза — на белом, зеленом, даже черном, — выступила густая синь. На пруд же, слабо проступавший в плотной раме деревьев, теперь легла живая лиловая краска.

Прудщинские, окончательно остыв после пережитого азарта, собрались идти домой. Они уже не прятались, а со спокойным любопытством глядели на шабашников, гадая про себя, кто из них художник, кто ученый. Потом что-то смутило их. Быстро двинулись тропой в сторону села.

Крепенький, с широкой бородой шабашник, стоя на лесах, казалось, пристально всматривался в них, возбужденно дергал головой, водил по листу бумаги не то карандашом, не то кистью, понятно, рисовал.

Шематухин, между прочим, тоже забеспокоился, увидев художника, беглые, летучие движения его рук. Показалось ему: "борода" рисует его, притом рисует нехорошо, вымещая за вчерашнее, когда Шематухин будто ненароком, а на самом деле со зла смахнул со стены банки с гуашью. Шематухин прыгнул на сходни, бежком одолел крутизну, остановился на лесах, откуда виден был рисунок. И, хотя он, сощурившись на лист, убедился, что рисунок никакого касательства к нему не имеет, причинить вреда его авторитету не может, отлегло у него не в один момент. Чтобы не выдать себя, он тихо перевел дыхание, сделал вид, будто засмотрелся на художника, Аркашу Стрижнева, как тот ловко, ровно бы играючи, подбирает цветные мелки. У Аркаши на листе получался бывший барский

дом, только почему-то желтый и — опять же непонятно, почему — с синей крышей под густым-прегустым сиреневым небом, в котором малиновел большой пят — стало быть, солнце. У Шематухина, сличившего всамделишный барский дом с нарисованным, на мгновение затеплилось какое-то неусохшее ребяческое чувство. То, что он видел на рисунке, было похоже и непохоже на правду. И все-таки именно то несхожее, по мысленному определению Шематухина, придурь и отсебятина, заставляло припомнить что-то ушедшее из жизни, а что, не сразу угадать.

Это не к добру, мелькнуло в голове, то, что приздумался. Не положено ему — ничего, что ранг невелик, но все-таки начальник над учеными людьми! — быть задумчивым и печальным. Рехнулся, скажут, бригадир, долой его! Он поднял кирпич, взвесил его на ладони, обмерил глазами — у Шематухина это был один из способов проверить, в уме ли он. Только после этого успокоился: кирпич как кирпич. Он сероватый, с раз и навсегда отмеренной тяжестью, самое главное — никаким другим предметом не кажется. Значит, радуйся — здоров.

Стоявший спиной к Шематухину Чалымов обернулся на стук оброненного кирпича.

— Все шумишь, бригадир, — не цепляя ни голосом, ни словом, а как бы только достаивая вниманием, проговорил он. — Что там за ополчение?

— На волка какого-то бочку катят, — с усилием отозвался Шематухин. — Говорят, бешеный, красный. Мужики сами — в штаны, ищут, кого бы нанять, чтоб волку тому жаканом промеж глаз. Может, рискнешь здоровьем, чемпион? Пятьдесят целковых за шкуру.

— После тебя мне делать нечего, — развел руками Чалымов. — Лихо стреляешь. Как в Техасе.

Шематухин напряженно помолчал. Почудилась ему в голосе Чалымова хорошо припрятанная издевка, но он снес ее, оставив ответ на потом.

— Ладно, замнем для ясности, — сплюнул он, сложив ладони рупором, крикнул: — Может, повкалываем, а? Еще день-два, и шабаш!

Последние слова Шематухин выкрикнул значительно, с нажимом. А то, чего доброго, забудут, что он, бригадир, учитывает объем работ, справленных каждым, а это, между прочим, в конечном итоге денежки.

Он с нахалявкой, прямо посмотрел на Чалымова, отчего тот сразу нахмурился. Вот так-то, соображать надо! Будешь знать, что с Шематухиным заигрывать не-

выгодно, лучше стоять навытяжку. Тут он один знаток строительного дела; может прибавить или убавить, потому как в первый же день уговорились не делить деньги поровну.

Теперь даже в осанке Шематухина чувствовалась власть. Он устался на угол, где только что весело болтавшие Нужненко и Лялюшкин принялись класть остаток кирпича. Раствор, заметил Шематухин, загустел, потеряв вязкость, крошился и отваливался.

— Эй, наука! — крикнул Шематухин. — Кончай халтурить! Штрафану, мать-перемать...

Нужненко побледнел, как если бы его собрались огреть кнутом, передернул черными от загара плечами и резко выплюнул окурок. Он повернулся к Шематухину, и, если бы не Лялюшкин, загородивший его собой, быть бы горячей сцене.

— День-два, и шабаш! — радостно зажмурился Лялюшкин. — А там... Гуляй, рванина, от рубля и выше!

— Колхоз барана обещал, — остывая, проговорил Шематухин. — Живого...

— Давно бы так, — улыбнулся Лялюшкин. — А то что за метод стимулирования — сапогом на горло. Непонятный ты человек, Шематухин. Мог бы пообходительнее. Последние-то денечки. Чего доброго, передеремся, разбежимся по кустам — денежки некому вручать...

— И верно, давайте помирнее жить, — с радостной озабоченностью включился Тырин, видя, что бригадир утихомирился. — Цельный месяц отбухали, дак неужто напоследок друг дружку обижать начнем... Понятно, устали.

— А ну вас! — хмуро бросил Шематухин. — Свяжешься с вами, дураками.

Который раз сказав "Непонятный ты человек, Шематухин", этот Лялюшкин сильно расстроил бригадира. Получалось странно: вместе прожив почти месяц, ребята не знали его, Шематухина. Сам он тоже толком не уяснил, с кем его свела судьба в этот раз.

Он недавно вернулся из мест заключения, где отбывал третий срок, и все за одно и то же: за угон и продажу автомашины. Вольной жизни перепало ему между отсидками с полгода, а то и меньше, и приноровиться к ней, однажды пошедшей кувырком, он не успевал. А там, в неволе, с закоренелыми, проигравшими жизнь в карты, он не якшался, не лез на рожон. Битьй, впадал в тоску и, чтобы облегчить свою тюремную долю, становился мальчиком на

побегушках. Может, потому и кличка пристала к нему незавидная — Чинарик.

Здесь, в богатом колхозе, Шематухин бывал дважды. Километрах в шести отсюда, в Каменках, когда-то обосновался троюродный его дядя, заправлял бухгалтерским хозяйством. Он-то и выручал Шематухина, ссужая на первых порах деньги. Потом, когда Шематухин, насмотревшись на людей, живущих в трудах и заботах, давал слово "завязать", дядя его, Сергей Филиппович, определял бедового родственника в шабашники. Незадолго до последнего "срыва" — Шематухин, пропив деньги в городе, угнал "Москвича", продал на юге — Сергей Филиппович подыскал ему подходящую невесту в надежде, что парень обзаведется семьей, остепенится. Но вышло, что зря старался.

Этим летом Шематухин, изнуренный отбытым сроком, исколотый ножом за попытку подмять тюремных корешков, явился к дяде с твердым обещанием зажить честно и благородно. Повалялся в чулане, отоспался, отъелся, попросился на шабаш. Но не в Каменках, где известна была его дурная слава, а в Прудницах. Сам же подсказал Сергею Филипповичу, что будет лучше, если клуб ставить возьмутся мужики из городских.

Из года в год с весны до поздней осени в этих местах шабашничал разный народишко. Обычно съезжались вразброд, не сговариваясь, мужики из дальних сел, раздобывшие у себя справки о нетрудоспособности. Они подолгу сколачивались в бригады и с роздыхами, длинными перекурами строили что-нибудь не к спеху.

Думая о шабашке, как о полезном деле в большом масштабе — сельскую местность отстраивать надо, а под силу ли такое все тем же оставшимся в деревнях мужикам, бабам да малочисленной молодежи, с которых все по повышенной норме требуют: и мясо давай, и молоко надои, и картошку вырасти, — Шематухин не брал в расчет те никчемные бригады. Выгоды от них мало, только и знают, переводят хороший материал, часами гогочут в тени, тянут табак, глядишь, к концу лета засмолятся, как пни, и так — пнями во всех смыслах — разъедутся по домам. Добро бы хоть заработали, и того нет. Такого, видно, сорта мужики — ничего ни себе, ни колхозному хозяйству.

Но и других, работавших с глухой одержимостью — эти с вечной щетиной на крепких смуглых щеках появлялись небольшими, но дружными косяками, — Шематухин чурался. Подобная шабашка, когда хоть концы отдавай, хоть на ладан дыши, а вкалывай, для Шемату-

хина становилась невыносимой трудповинностью, и он долго не выдерживал, сбегал.

Иное дело городские: у них все в меру, грамотно. У них все выходит хорошо, особенно когда костяк бригады из ИТР. Этому костяку без всяких оговорок подчиняется остальная приبلудная рабочая сила. И веселее с ними, городскими, есть с кем перемолвиться словом, и все они, что, между прочим, немаловажно деликатные, с плеча не рубят.

В Прудичи, прослышал Шематухин, вот-вот должны приехать городские. И верно, дождавшись их, он не прогадал. Как только назвался опытным строителем, его единогласно избрали бригадиром, и поначалу, в первом азарте работы с новенькими, добровольно подчинившимися ему, неладов у Шематухина не было. Но вот он повольничал, полной мерой почувствовал свободу. И ко всем, кто ни разу не терял эту свободу, стал относиться без всякого уважения.

Здесь он побаивался лишь двоих: Чалымова и Нужненко. Чалымов, тренер какой-то сборной команды, никогда не разговаривал с ним как с равным. Через глаза его, нагло-спокойные, было видно, что такого голыми руками не возьмешь и, если дойдет до драки, несдобровать. Нужненко хоть и был из ученых, внешность имел суровую и докучливого бригадира близко не подпускал, осаживая колючим, ничего хорошего не обещающим взглядом.

Отступая от этих, он при удобном случае отыгрывался на остальных. Но и тут, в отношениях со слабыми, у Шематухина были обозначены границы.

Из боязни быть осмеянным он редко трогал Лялюшкина. Тот, любивший побазарить, и на легкий наскок отвечал наскоком.

С Тыриным, мужиком из какой-то неблизкой деревни, неизвестно как прибывшимся к городским, отношения у него были непонятные. Тырин смышлен, он может даже поугодничать, когда того требует обстановка. Или, бывает, не подступись — всем видом покажет, чтоб его не донимали, он, мол, на этом свете свое уже поделал... И, когда Тырин простодушно подноравливал бригадирским прихотям, Шематухин начинал нервничать, как если бы Тырин покушался исподтишка его высмеять... Не всегда поймешь, что к чему.

Еще двое были, как называл их про себя бригадир, два духарика: Аркаша Стрижнев и Миша Францев. С первого дня Шематухин решил, что эти неспособны дня

прожить без догляда. Оба казались Шематухину одуревшими от любви к чему-то или к кому-то.

Из этих двух Шематухин выделил Мишу Еранцева. Замкнутый, только с виду простоватый, Еранцев сделался особой заботой Шематухина.

Как раз его-то и дожидался сейчас бригадир, поминутно поглядывая на заброшенную, затравеневшую дорогу в Каменки, куда Еранцев час назад уехал с поварихой Натальей. Поглядывал Шематухин и на стену, в которой щербатой выемкой зияла незавершенная доля Еранцева — после обеда тот за кладку не принимался. Хорошо зная, по какой надобности поехал Еранцев в Каменки — повез Наталью, собравшуюся пешком идти за продуктами, — Шематухин тем не менее распалял себя: погоди, друг-приятель, я тебе покажу, как добротой прикидываться да под этой маркой чужих баб охмурять.

Он сощурился в сторону Каменок, где наконец показалась долгожданная машина, сделал вид, будто сидит и думает о постороннем, однако исподтишка подозрительно наблюдал за "Жигулями", за Натальей, потащившей мешок под дощатый навес, где молодуха стряпала и подавала на стол. Была она в малиновом платье, которое, казалось, надела с особым умыслом. Хотя из-под белого халата видны были только воротник и подол, щеки Шематухина словно опалило малиновым цветом. Он тяжело перевел взгляд на Еранцева, подходившего к сходам, встал, коротко цыкнул сквозь зубы и сказал:

— Подними ломик, Еранцев!

Еранцев будто не расслышал его, он глянул на Шематухина невидяще, не различая сразу. А рассмотрев, невпопад бросил "здрасьте!" и начал подниматься по сходам.

— Оглох, что ли? — взъерился Шематухин. — Ломик, говорю, подними!

Еранцев воротился к бригадиру, желая, видимо, спросить, зачем. С лица его, обложенного месячной русой щетиной, даже после окрика не стерлось благостное выражение. Только в глазах промелькнуло недоумение. Потом он, как бы на мгновение сойдя на землю, посмотрел на Шематухина затвердевшим, до предела напряженным взглядом, который выдержать было трудно. Ненадолго потерявшийся Шематухин сам поднял правой рукой — забыл, что она у него перебинтована — ржавый ломик, протянул Еранцеву.

— Круши свою утреннюю кладку, — сказал Шемату-

хин. — Она у тебя вкривь пошла. Если я приму, проверяющий не примет, понял.

— Жаль, — проговорил Еранцев.

— Ничего, ломай! Кирпича хватит, государство у нас богатое, не обедняет.

— Если уж раскурочивать, то лучше кувалдой, — предложил Еранцев.

— Можно кувалдой, — согласился Шематухин. — Да не тни резину, пока намертво не засохло. Динамита нет.

Он отошел в сторонку, достал сигареты. Между тем Еранцев, давно приметивший, где бригадир прячет незатейливые измерительные приборы, вынул из-под пульта подъемника ватерпас и минуты две спустя, уже со стены, окликнул Шематухина:

— Кладка нормальная, бригадир...

— Опять самовольничаешь! — блеснул глазом Шематухин. — Так вот слушай! Я тебе за сегодняшний день, как кухарке, заплачу! Дошло?

Обвел всех, кого видно было снизу, прищуренным взглядом, хотя понял уже, что тужиться ни к чему. И без того никто не заступился бы за Еранцева, не посмел бы сказать слово поперек. Такая уж бесхребетная вольница: сколько ни дери перед ней рубаху, она все втихомолку замнет для ясности.

Шематухин, начиная успокаиваться, корил себя за горячность, с какой пугнул Еранцева кухаркиным заработком. А вообще лучше бы ответил ему Еранцев, да покрепче, но тот смолчал, и от этого на душе у Шематухина было тягостно. Если говорить правду, Шематухин худого Еранцеву не хотел, наоборот, хотел, чтобы тот наконец огляделся: кому делает добро? Но так уж, видно, устроен этот парень: сам делая добро, ждет от мира только добра. Шематухин наитием, выработанным в тюремной житухе, угадывал в Еранцеве почти ребячью, еще не захватанную душу, что, по тем же тюремным понятиям, считалось за дурное.

Между тем Еранцев занялся кладкой. Он хоть и не поддался бригадиру, победного чувства не испытал и на обещание урезать заработок — на пустое — не откликнулся.

Последние дни Еранцев жил, как в долгом, затянувшемся сне. Голова его потеряла ясность, наполнилась смутным предчувствием чего-то нового, что должно было ему открыться, но пока оставалось под спудом, выжидая своего часа. Кроме этого, Еранцев, сотрудник фармакологической лаборатории НИИ, был на подходе

к решению, которое определит судьбу сделанного им открытия. Поэтому все, что еще недавно имело для него значение — деньги, житейские удачи, — стало им восприниматься воплощением суеты. Силы свои он сейчас бездумно не распылял, в то же время и лени не давал поводы.

И все же кое-кто иначе расценивал его поведение. На шабашке, известно, пустого времени не бывает, здесь все в работе, все трудятся на себя. Кто-то находит время помочь другому, значит, ему плевать на деньги, стало быть, от нечего делать зашибает лишнюю.

Но некогда гадать, кто и как судит-рядит его, Еранцева. Пока не навалился зной, надо довести кладку.

Еранцев спустился вниз, сложил на железной плите подъемника пирамидку из кирпичей, повернулся к Шематухину, чтобы сказать "вира!"; и это слово так и застряло в горле. Шематухин, заслоняя собой пульт подъемника, что-то отвинчивал: это тебе, Еранцев, за строптивость, расчет на то, что Еранцев будет таскать кирпичи на себе.

Вздыхать и ждать, когда бригадир найдет "неполадку", Еранцев не стал. Пошел к машине, завел еще не остывший мотор. Скоро он ехал дорогой в Каменки, на полпути свернул влево, в лес, к речным перекатам, где обычно мыл машину. Ехал он медленно, бродил думами далеко отсюда — по городу. Запах дыма, сухой лесной мешанины возбуждал душу, не давая Еранцеву забыться. Машина, послушная колее, сама катила к развидневшемуся впереди просвету. Лишь наполовину помня себя за рулем, Еранцев держал перед глазами не дорогу, нет, видение, которое радовало и мучило его с месяц. Это была девушка, Надежда. В нее был влюблен Еранцев. Впервые за свою тридцатитрехлетнюю жизнь был влюблен по-настоящему.

Еранцев не обратил внимания на собаку, перебегающую задымленную засеку. Перед густой сумеречной чащобой собака остановилась, напряженно принялась, полыхнув красноватой шерстью, исчезла.

Ближе к перекатам воздух посвежел, сырое дыхание реки стряхнуло с Еранцева истому. В крепкой синеве обозначались развалины старой мельницы, пологий берег. Вода звонко рушилась с остатков плотины на низкие почерневшие сваи, неслась меж камней, взбрызгивая белую пену.

Окончательно очнувшись, Еранцев выбрался из машины, достал ведерко. Сюда он приезжал каждый вечер. Коротал полчаса-час, мыл, а то и вовсе не мыл ма-

шину — это место его успокаивало. Здесь мысли шли к нему тихие, светлые, и вся горечь, прикипавшая к душе за день, сходила будто смывало ее холодной ясной водой.

Как и прежде, Еранцев расслабленно присел у воды, окунул кончики пальцев в пузырчатую пену и вдруг ощутил странный короткий озноб — не от воды, а от чьего-то затаенного взгляда. Он встал, огляделся, не обнаружив никого, заставил себя снова присесть. И все же неприятное чувство, что за ним подсматривают, сделалось еще сильнее. Какое-то время Еранцев не шевелился, как бы испытывая нервы, и все-таки не выдержал, обернулся, пошарил глазами по кустам бузины. В этот раз кусты дрогнули, и Еранцев облегченно вздохнул, высмотрев уставившуюся на него рыжеватую собаку. От взгляда Еранцева она будто окаменела, и только в острых желтых глазах взмелькивал живой напряженный блеск.

Стоять неподвижно, дожидаясь, что будет дальше, у Еранцева не хватило духу, и он нащупал ногой камень, стал сгибать колени, чтобы камень тот подобрать. Собака, должно быть, поняла это. Она тяжело попятилась, двумя-тремя унырливыми прыжками скрылась в близком осиннике.

Быстро темнело. Между черными стенами леса светился синий клочок воды за мельницей, а на всем остальном лежала загустевшая тьма.

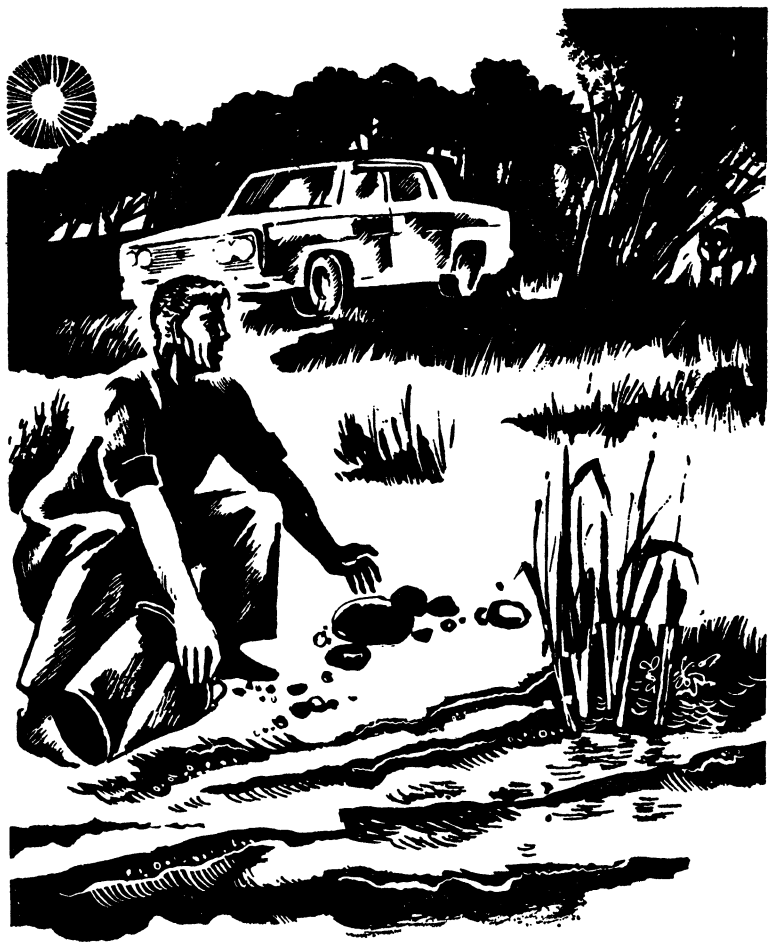
Шумно было только здесь, у перекатов, а далеко окрест чувствовалась величаво-спокойная тишина.

Тьма держалась недолго, раздвинулась, чисто вылунилось небо — взошла луна. В ее пепельно-белом свете Еранцев разглядел слоистый, зарождающийся возле ног туман.

Сырой холодок заставил Еранцева двинуться к машине. Не дойдя до нее, Еранцев замер, с приостановившимся дыханием прислушался к вою, невнятного, как из-под земли. Должно быть, выла та самая собака. С каждой секундой вой этот наливался звучной силой, жуткой, не собачьей тоской. Он нарастал, перебивался отчаянным утробным плачем — так воет одинокий зверь, потерявший надежду на отклик.

Еранцев услышал свое сердце, учащенное запоздалой догадкой: полчаса назад в пяти шагах его караулил волк.

Еранцев не испугался, нет, он видел волков, случа-



лось, даже вблизи, но те волки — из далекого детства, когда Еранцеву приходилось топать спозаранку в соседнее село в школу,— запомнились серо-тусклыми и несмелыми.

Со всех сторон черно, отчужденно обступал Еранцева разом притихший после волчьего голоса лес. Если даже заглянуть в самые его заповедные уголки, не иначе как насмотришься всякой нечисти, а к волкам — очень уж они осторожные звери — не подступишься.

Красный волк, Матерый, оборвал вой на половине, но еще долго из его судорожно напряженной груди шел хриплый, не сразу избывшийся плач. Крепко щелкнув клыками, Матерый вытянулся всем исхудавшим запаленным телом, востря уши в сторону далекого — километрах в девяти — заповедника. Туда, по его волчьему разумению, ушли двое прибылых, родившихся этой весной.

Отгорели два ясных дня, снялись с земли две темные ночи, как пропали волчата. Матерый не спал — был в розыске.

Третий раз над лесом вставала безрадостная луна, нагоняла тоску и заставляла Матерого, изнуренного нескончаемым бегом и голодом, выть и жаловаться до изнеможения.

Он лег на еловые иголки, еще хранившие дневное тепло, свернулся калачиком. Под левой лопаткой, у самого сердца, жглась давно застрявшая в том месте картечь. Ноги затяжелели, огрузнела и голова. Впадая в дремоту, Матерый сторожил себя слухом — пока ничто не тревожило его.

Черная тропа, на которой он лежал, одним концом уходила в благодатный заповедник, другим, заплутавшимся в оврагах, на логово Матерого; там, на удушливо-темном логове, ждала кормильца ослабевшая от голода волчица с тремя прибылыми-заморышами.

Привыкший этим сухим летом спать где попало, даже на открытом, Матерый, однако, в этот раз легкого сна не дождался. Собравшись с последними силами, утвердился на ногах, медленно двинулся по чернотропу в направлении заповедника. Сколько он ходил по нему туда и обратно за эти дни и ночи, не счесть.

Матерый с ходу кинулся в реку, с одышкой дотянул до мелкоты, напился холодной воды, отряхнулся.

Теперь бежать. Бежать, чтобы обсохла на ветру шерсть, а кончики лап, окоченевших от стужи, быстро обрели чуткость. Дать себя увести чернотропу до опасной просеки, на краю которой Матерый устроит короткую лежку, осмотрится, нет ли поблизости серых, когда-то выживших его из заповедника.

Может, на самом деле шел он от памирских красных волков, неизвестно какими судьбами занесенных в тихие прудищинские леса. Знаток мог бы предположить, что кто-то из его родителей — отец или мать — родом был с гор. Что в окаянную пору, когда война по-

гнала на восток и волчье племя, какая-нибудь особенно выносливая стая пронеслась по тысячеверстному кочевью до гор, а затем, найдя их непригодными для жизни, воротилась, и тогда-то увязался за ней собрат иной масти.

Так было или не так, никто утверждать не берется, но в послевоенные годы, заметили егеря, в заповеднике объявились не то крупные лисы, не то волки странного рыжего окраса — переярки с мощным унырливым бегом и, если угадывать по следам, как охотятся, где хоронятся, живущие с разбором.

В здешнем волчьем мире им не повезло. Переярки те и потомство их выделялись во вред себе.

Еще шестимесячным прибылым Матерый стал изгоем. Вся жизнь его осталась в том, чтобы не дать себя загрызть или застрелить. Ни игрищ, ни вылазок, даже став крепким переярком, Матерый не знал. Жил, менял места дневок и ночевок, охотясь, не гонялся за стадом, тайлся в долгих расчетливых засадах, чтобы одним махом настичь зазевавшуюся жертву.

Нашел себе подругу.

По земле повсю гуляла жизнь, и шла она своим чередом и у Матерого, тревожная, шальная. Он взматерел не по возрасту рано. Нагулял тело, оброс плотной красивой шерстью, и к двум годам его будто присыпало пеплом — пробилась седина. Когда вновь пришедшая осень стала сорить яркими листьями, Матерый ощутил, как в нем что-то изменилось. Уставший от одиночества и страха, он замирал среди полян, вслушиваясь в шорохи леса, и теперь в позе его все чаще угадывался вызов.

И вот однажды, уловив резкое движение в чащобе, он не кинулся прочь, а только поджал ноги, дожидаясь быстрой ныркой стаи серых, запах которой учуял. Вылетевший из-под куста вожак при виде его даже не сбавил шага. Он не раз гонялся за Матерым и сейчас, видно было, тоже наладился в погоню, но после трех-четырех прыжков напряженно остановился, начал подкрадываться. Матерый, забыв об осторожности, поначалу следил за вожаком, в чьих близко поставленных у переноса глазах застыла леденящая злоба.

К этому времени Матерый уже знал, что сила его в прыжке. Он следил за вожаком, который, видно было по обманчивым ныркам, решил перехитрить его. Выход был один — напасть первым. Иначе обложит. Волчица с переярками — всего семь голов — норовила обойти его. Взгляд вожака, пружинисто продвигавшегося к нему, был прикован к шейной артерии, и Матерый по-

чувствовал в том месте ноющую боль. Внезапно он чуть не ослеп от ударившей в голову крови, прыгнул на волка, скользнул клыками по уху. С длинным, но неглубоким порезом на боку — вожак тоже растерялся — метнулся в чащобу...

Дрался он и потом, уже с другими волками. Но ту драку, затеянную вожаком, он запомнил крепко. Среди переярков, начавших по наущению матери окружать его, он заметил молоденькую волчицу.

После, засыпая в случайной барсучьей норе, Матерый поминутно вздрагивал ухом, как если бы слышал часто повторяющийся в ночной тишине зовущий скулеж той волчицы.

Днем он тоже тосковал, шастал по оврагам и полянам, набредая на чужие следы, принюхивался к ним, искал ее запах. И чем больше искал, тем сильнее расплялось сердце Матерого, и даже внезапно завернувшие холода не могли остановить его. Матерый носился по самым отдаленным закоулкам, куда бы не отважился заглядывать, если бы не жила на свете его прекрасная волчица. До головокружения долго бегал он по белой снежной крупе, ловил вздрагивающими ноздрями ветер, томительно замирал, разгадывая смешанные в нем запахи.

Довелось ему свидеться с волчицей в несчастливом для нее, а для ее родни гибельном месте.

За неделю до того дня Матерый в короткой яростной схватке с двумя переярками, пытавшимися отнять у него добычу, получил рваную рану на шее, утаился в тесной каменной пещере. После, ощутив силу в ногах, выбрался на первый попавшийся чернотроп и сразу насторожился.

Тропа пахла человеком. Матерый рывком прыгнул в сторону, густым орешником пробрался к горюшке, на хребте которой возле толстых деревьев, поваленных бурей, темнели фигуры людей. Матерый, перебегая от ствола к стволу, выследил одного охотника, другого. Брусничного цвета флажки трепыхались на веревке, тянувшейся вдоль оврага. Далеко в глубине леса раздавался собачий лай.

Начинался гон.

Матерый отыскал маленькую отдушину в кустах, люди двинулись вперед. Пока те, кто поближе, стучали палками, в сумеречной утробе леса загрохотали выстрелы, заглушив нетерпеливо-страстный залиvistый лай собак. Вдруг оттуда, из пугающего сумрака, стреми-

тельно выкатился серый комок, мелькнул между деревьями, между двумя охотниками.

Матерый оторопело смотрел на летящего в его сторону серого волка, на мгновение различил его дымящуюся оскаленную морду, застекленевшие от страха, ничего не видящие глаза. В следующую секунду позади ударило пламя. Серый вздыбился к нему, постоял с запрокинутой головой, с разинутым безгласным ртом, рухнул, захлебнулся кровавой пеной.

Матерый вздрогнул, оглянувшись, заметил лосиную топанину, которая круто срывалась в темень оврага. Надо было бежать. Приготовился для прыжка, кинул последний взгляд на убитого волка и внезапно с жутким замиранием разглядел перед собой волчицу, мчавшуюся по следам сраженного самца. Ту, молодую.

Матерый вдруг понял, что и без того обезумевшая от страха волчица при его неожиданном появлении могла повернуть назад. И, только когда она пронеслась мимо, завидев овражную мглу, шарахнулась влево, Матерый метнулся к ней. В новом негаданном страхе волчица оскалилась и все же укусить не успела. Грохнул близкий выстрел. Вразнохлест упала к ногам срезанная дробью ветка. И тут Матерый одним отчаянным усилием столкнул волчицу в овраг. Она пыталась зацепиться за низкие кустики. Матерый бросился следом, скатился вниз, ударился спиной оземь. Очнулся на дне оврага, поднял голову, отыскивая волчицу. Увидел шагах в двадцати ее темное мелькание, пустился вдогон...

Прошла зима, со звоном, с отрадным солнцем явилась весна. На буграх, окружавших укромное логово Матерого, нарождалась молодая трава. И в эту теплую, ласковую пору волчица — после того бедового случая жили они вместе — почувствовала беспокойство. Она жалобно тянулась к Матерому, терлась о него горячей головой. У нее сильно обозначился живот, набухли сосцы, и однажды, возвращаясь утром с охоты, Матерый еще издали услышал сдавленный скулеж. Выронив добычу, возбужденно продрался сквозь кусты, заглянул в сумрачную глубь логова. Возле лежавшей в полусонном томлении волчицы копошились темненькие, тщательно облизанные существа. Забавно вздрагивая голыми тоненькими хвостами, они слепо тыкались в живот матери, падали на спинки.

Только недели через две, обретя зрение, они с недоумением уставились на Матерого, лежавшего в осотистой ямине, карауля их. Не сразу привыкли и приблизи-

лись к нему, должно быть, не веря, что громадный страшный этот зверь — их отец. Матерый выманивал их, уже выправившихся в рост, кусками свежего мяса; они набрасывались на еду, сердито, ворчливо делили ее между собой, насытившись, кидались на отца, валили на траву и с мягким кошачьим мурлыканьем кусали где попало.

Потом всему этому пришел конец. Вернувшийся из очередной ночной вылазки, Матерый не нашел на логове ни волчицы, ни прибылых. В остывшем жилье еще держались родные запахи, но к ним примешивались чужие, и Матерый понял, что выводок его увели серые. До сумерек он пролежал на логове, равнодушно следя за движением жаркого дня. К закатному часу ощутил нестерпимую жажду, прямоком подался к реке, к водопою, где с наступлением ночи появлялись серые. Ночь пришла светлая, с круглой белой луной. Матерый притаился за высокой ольхой, нетерпеливо ждал, вздрагивая звенящей головой от каждого шороха в кустах.

Сперва он высмотрел вожака — того самого, с рваным ухом. Давнего врага, отца своей подруги.

Матерый дождался, когда к воде выйдут остальные. Рваное Ухо, напившись, стал беспокойно озираться, затем успокоился, застыл возле черного камня. Вышла из кустов, неслышно ступая, большая стая.

Подругу свою и прибылых, идущих в середине, как в окружении, Матерый различил с первого взгляда. И мгновенным пружинистым махом вскинулся над трухлявым пнем впереди себя, приземлился, полетел дальше, держа в глазах узнавшую его, окаменевшую в ожидании волчицу. Стая рассыпалась, освободившаяся волчица прибилась к Матерому, скуля, звала прибылых.

Вожак метнулся к Матерому в расчетливом прыжке, но накрыть врага тяжелым, затянутым в стальные затвердения шрамов телом ему не удалось. Матерый отпрыгнул, отбежал, остановился.

Еще раз близко подпустив разгоряченного вожака, он сделал обманчивый нырок вправо, чуть вскинулся. Не разгадав уловки, Рваное Ухо изогнулся в поперечном броске — не рассчитал в горячке! — подставил спину Матерому.

Матерый встречал волков жестоких, упорных в бою и все же волка страшнее Рваного Уха еще не видел.

Матерый запрыгнул Рваному Уху на спину и в момент, когда вожак злобно, жадно запрокинул голову,

чтобы достать клыками грудь Матерого, верным заученным движением нашел гортанный хрящ

То была его мертвая хватка.

Еранцев, наконец выехавший из леса, по дороге не раз оглядывался — казалось, кто-то, крадучись, гонится за машиной; чтобы проверить, на самом ли деле волк увязался за ним, Еранцев, понятно, должен был остановиться и выйти, но на это решимости у него не хватало. Только когда показались огоньки в низине — до шабашки рукой подать! — Еранцев затормозил. Выйдя из машины, он очутился в объятom тишиной поле, растерянно оглянулся, не увидев ничего подозрительного, уставился на дальний, стусеванный дымом и лунным светом лес, удивился — дым от пожара, который уже четвертые сутки пытались унять, несмотря на безветрие почему-то стелился вправо.

Это забавное открытие отвлекло Еранцева, однако ненадолго. Он вспомнил волка, неподвижного, с безбоязненным, напряженно ищущим взглядом, словно зверь думал, сказать ли этому человеку то, что нельзя говорить каждому встречному, а человек взял и нагнул, чтобы бросить в него камень.

Когда он приехал на шабашку, там, кроме Шематухина, все поужинали и встретили Еранцева сочувственными улыбками — днем поцапался с бригадиром, значит, будет вечерний сеанс.

Шабашники укладывались спать. Аркаша Стрижнев и Тырин уже лежали на узких железных кроватях, поставленных в зрительном зале, из которого вынесли стулья. Нужненко с Лялюшкиным, еще в день приезда отказавшиеся спать в зале, где по углам чернели россыпи мышиного помета, раздевались на сцене — две их кровати стояли там.

Шематухин, еще сидевший за круглым столом на авансцене, занимал комнату за кулисами, когда-то, видать, на самом деле служившую спальней, а теперь заваленную бутафорским и прочим клубным имуществом. Комнату — с камином и пианино — имел также Чалымов. Сейчас из нее тянулась невнятная, не поймешь какая — классическая или современная — мелодия. Чалымов перед сном музицировал. Шематухин, напаялив на голову бутафорскую камилавку, видно было, скучал, ел овсяную кашу, ел, судя по скучным вздохам, по второму разу. Овсяную кашу — сокращенно ОК, особый коньяк, как пояснил однажды Шематухин, читавший меню (тоже его придумка) с потугой на

остроту, — бригадир заказывал каждый день, не посвящая в тайну своего пристрастия к ней даже Наталью.

Еранцев не сразу пошел к столу. Подойдя к своей кровати, без надобности поправил подушку и одеяло. Шематухин, понятно, неспроста сидел за столом так поздно, потому, как зыркнул глазами, нарочно засиделся, чтобы его, шалопутного Еранцева, проучить, иначе не уснет.

Еранцеву больше всего хотелось завалиться спать не здесь, а в машине. Только когда Тырин, ненадолго сдернув одеяло с голой, как яйцо, головы, участливо посмотрел, Еранцеву стало неловко. Подумает еще — смалодушничал. Он поднялся на сцену, сел напротив Шематухина с твердым намерением молчать, сколько бы тот ни испытывал нервы. Придвинул к себе миску с едой, ткнул вилкой в остывшую картошку с мясом.

Ночь заглядывала в высокие, без занавесей окна, из зрительного зала тянуло грибной сыростью, чем-то замшелым, но это были какие-то удивительно ненавязчивые, а лишь навевающие легкую грусть запахи. Из комнаты Чалымова доносился нестройный гул инструмента. Еранцев прислушался, стараясь подольше удерживать слухом звуки: может, припомнится что-нибудь знакомое.

— Шопен, чего там, — с веселым вызовом сказал Шематухин. — Ты давай, Еранцев, рубай, завтра тебя двойная норма ждет, стахановская.

— Опять, — заворчал с кровати Лялюшкин. — Почитать не дадут. Ни стыда у людей, ни совести...

— Называется, нашла коса на камень, — охотно бросил Шематухин. — Ты, Лялюшкин, дрыхни. Без тебя тошно. От книг волосы лезут, смотри, станешь а-ля Тырин. У Егора Митрофаныха они, правда, от чужих подушек повылезали. Верно, Тырин?

Заслышав свою фамилию, Егор Митрофанович шевельнулся, опять блеснул головой.

— Чево? — подыгрывая Шематухину, нарочно таращил он хитрые глаза на сцену.

— Спи, спи, раб божий, — забавляясь, простер руку в его сторону Шематухин. — Спи, агнец... Берите с него пример, — продолжал он, переводя взгляд с Лялюшкина на Еранцева. — А вы башку себе мозолите мыслями разными. О чем вот ты, Еранцев, думаешь?

— У него, может, седьмая извилина появилась, — сняв очки, близоруко сощурился на Шематухина Лялюшкин. — Вот человек и думает за тех, кому думать нечем...

— Ты давай лежи, брехло! — отмахнулся Шематухин, но мгновение спустя повернулся к нему. — Какая такая седьмая? Ты брось мне мозги пудрить!

— Меня это самого поразило, — переменяя тон, уже обращаясь к Нужненко, сказал Лялюшкин. — Согласно последним данным, у некоторых индивидуумов вследствие продолжительных умственных усилий мозг претерпевает мутации... Но, что еще более поразительно, даже высокоинтеллектуальные типы, ну, к примеру, философы или писатели, только на тридцать процентов используют возможности мозга... Печальный факт!

— Че это он балакает? — Шематухин повернулся к Еранцеву. — Вроде не по-нашенски...

Еранцев сделал вид, что не расслышал Шематухина, трсбующего к себе внимания.

— Так... — ерзнул на стуле Шематухин. — А сколько извилин должно быть по норме?

— Как правило, шесть, — вежливо отозвался Лялюшкин. — Бывает и меньше...

Лялюшкину, видать, надоело шутить, он отстранился и лег на другой бок, спиной к Шематухину.

— Подумаешь, ученый, — недовольно сказал Шематухин. — Научились всякую там белиберду выговаривать, чтоб разговорами непонятными деревню-матушку пугать, а сами-то кто? Шантрапа! Интеллигенция, которая коньяк в холодильнике держит!.. Оно, конечно, верно, я тебе не ровня...

— Перекрестись, отец Григорий, — повернулся к расходившемуся Шематухину Лялюшкин. — Сатана тебя за язык тянет...

— Хорошо, ты, допустим, умный, мудрено лопочешь... А к теории относительности имеешь отношение?

— У-у, загнул... — приподнялся на локте Лялюшкин. — Эйнштейну потребовалось тридцать лет, чтобы хоть немножко втолковать людям свою теорию. А ты хочешь, чтобы я уложился в пять минут.

— Нет, с вами кашу не сварить, — опустил голову Шематухин. — Редиска ты, Лялюшкин. Знал я одного пассажира, так тот действительно был ученый... Этот своему сокамернику, то есть мужику, с которым в одной камере срок отбывал, за минуту разъяснил, что это за штука — теория относительности.

— Это любопытно, честное слово, — сказал Лялюшкин. — Ну-ка, ну-ка...

— Ну, этот лапотник спрашивает того, стало быть, ученого: в чем, дескать, суть теории, с чем ее едят? На нарах они сидели, вот ученый и спрашивает: ты сидишь?

Тот отвечает: сижу. А теперь, говорит, встаю. Тот, значит, встал и на ученого смотрит. Что ты теперь, говорит ученый, делаешь? Стою, отвечает... Это тебе только кажется, режет правду-матку ученый. На самом деле ты все сидишь и будешь сидеть до конца срока...

Шематухин хохотнул и тут же, что-то вспомнив, посерьезнел и тяжело вздохнул. Он снова сел за стол, насупленно вспоминая что-то неприятное, посмотрел на Еранцева, все еще погруженного в думки.

— Тоска... — вздохнул Шематухин, вынул из кармана новенькую газовую зажигалку, подбросил на ладони. — Скучный вы народ. С вами волком завоюешь, это уж точно...

— А ты вой, Шематухин, легче станет, — насмешливо протянул Лялюшкин.

— Не-е... Так неинтересно, — усмехнулся Шематухин. — Мне для этой роли острограммиться надо. Во, гляди, товар ходовой, сколько за нее нальешь?

— Бога не боишься, отец Григорий, — сказал Лялюшкин. — Питье мое с плачем растворяю... Бог не фразер, он все видит...

— Целую неделю жил беспорочно, — стукнул кулаком по столу Шематухин. — Имею полное право оскорбиться... Берешь?

— Зажигалку не возьму. А вот ежели волком повоюешь, налью...

Шематухин встал, помолчал, нахмурясь. Потом хитро улыбнулся, взъерошил выцветшие кучеряшки на голове, но вдруг опять нахмурился.

— Налей сначала! — потребовал он.

— Хватит вам дурака-то валять, — недовольно захлопнул книгу Нужненко. — Спать пора.

— Будешь, нет? — испытывал Шематухина Лялюшкин. — Даю слово, налью.

— Не нальет, — сказал Нужненко. — Уверю вас, нет у него спирта...

— А мы посмотрим, — сердито наострился Шематухин. — Я ему душу выну, если брешет.

Он отошел к кулисам, помял кулаком грудь, но, раньше чем набрал воздух, Лялюшкин остановил его:

— Не пойдешь, — помотал он головой. — Где ты видел двуногого волка?

— Хочешь, чтоб я на карачках выл, падла, — проворчал Шематухин. — Тогда такса повышается: нальешь полтора ста...

— Идет, — согласился Лялюшкин. — Только мордой к залу.

— Я те покажу морду! — опять осерчал Шематухин.

— Ну, ты же волк! — поморгал невинными глазенками Лялюшкин. — Трудно тебе войти в роль? По системе Станиславского!..

Шематухин нервно засмеялся, видно, боролся с терзавшим его сомнением — надо или не надо опускаться на четвереньки. Но затея зашла уже так далеко, а мысль о возможности выпивки дразнила так сильно, что он не выдержал. Вернувшись на авансцену, он с нарочитой игривостью изобразил волка, округлил бубликом рот и завыл. Выл Шематухин истово, вкладывая в голос все запасы гнева и ярости, а закончил, уже перестав следить за собой, благим матом.

Со своей койки поднялся Тырин, заспанно поглядев на сцену, укоризненно покачал головой. Из-за кулис вылетел, на ходу натягивая спортивное трико, Чалымов. Он внимательно, с окаменевшим от негодования лицом пригляделся к переставшему выть бригадиру, не найдя, что сказать, развернулся и ушел.

Шематухин, багровый от натуги, раскланялся.

— Наливай! — подал кружку Лялюшкин.

Лялюшкин, довольный, извлек из-под матраса плоскую фляжку из нержавеющей стали. Шематухин, наклонив голову, слушал, как с невнятным бульканием лется в кружку спирт.

— Папаша, принеси воды, — вдруг устало попросил он Тырина.

Тырин босиком прошел в угол зала, где стоял бакчок с питьевой водой. Наполнив кружку, принес Шематухину и, болезненно жмурясь, ждал, когда тот выпьет.

— Неразведенный будешь пить? — поинтересовался Тырин. — Смотри, друг-приятель, дело не шутейное...

От сочувственного голоса Тырина Шематухин пришел в ярость, одним махом высосал содержимое кружки, взяв протянутую кружку с водой, запаленно запил.

— Хах! — выдохнул он в удивленной тишине.

Все стали укладываться, зная по опыту, что Шематухин, захмелев, любит покуражиться. Шематухин и сам уловил настроение остальных, разом затяжелел и сказал:

— Кина не будет.

Он отщипнул от черной буханки мякиш, пожевал, подсел к Еранцеву, задержал его, собравшегося уходить, вопросом:

— Сойду я за волка, Еранцев? За бешеного?

— Почему за бешеного? — наконец проговорил Еранцев. — За нормального сойдешь...

— Какой ты бестолковый... — крикнул Шематухин. — Дак ведь я мужиков хочу пострадать, на задах повить... Для хохмы.

— Мы тебя хоронить не будем, заруби на носу! — сказал Лялюшкин. — Пристрелят тебя, как миленького

— О каком волке речь идет? — спросил Еранцев

— О лесном, — пояснил Лялюшкин. — Тут мужики хай подняли — какой-то красный волк взбесился, людей душит. Про такое даже маленькие говорят: фуфло.

— А ты не видел, не говори, — набылчился Шематухин.

— А ты поверил...

Еранцев с ходу, не подумав, хотел сказать, что видел волка, слышал даже, как тот выл, но засомневался. Признаться в этом — только раззадорить Шематухина, тогда он точно станет выть на задах. И все же самое главное, что заставило Еранцева молчать, было в другом: он начал догадываться — волк-то никакой не бешеный. Мыслями он снова был в лесу и будто видел волка в оцепенелой позе, с ясными, встревоженно-печальными глазами. И вой зверя, зовущий, оборвавшийся на самом пределе, не казался теперь Еранцеву таким жутким, каким помнился по первому впечатлению.

Еранцев решительно встал, сказал, спускаясь со сцены:

— Вранье все... Не можете без басен

— Ишь, фраер, — хмыкнул ему вслед Шематухин.

Он осмотрелся, заметив, что больше никто не проявляет к нему интереса, надулся, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Потом поднялся, пошатываясь, ушел.

Еранцев подошел к своей кровати, пригляделся к Аркаше — спит ли? Художник спал. У изголовья его белел лист бумаги с каким-то рисунком. Еранцев тихонько подкрался, посмеялся про себя, узнав на листе Шематухина, которого Аркаша изобразил в волчьем обличье.

Он лег лицом к коробке сцены, освещенной двумя фонарями. Лялюшкин и Нужненко, видимо обрадованные, что наконец-то остались вдвоем, разговаривали о чем-то понятном обоим. Если прислушаться к обрывкам, долетавшим сюда, — о внеземных цивилизациях. Это у них, должно быть, что-то вроде отдушины. Еранцев мог лишь позавидовать им, умевшим как ни в чем не бывало переключаться с одного на другое.

К нему же приставали одни и те же думы. Последние дни думу, недавно еще крепкую, изнуряюще дол-

кую — о том, что станет с его новым способом обезболивания, — перебила другая, ставшая настоящим мучением. Он думал о Надежде. Начиная он думать о ней робко, стеснительно, как бы украдкой даже от самого себя, чтобы грубым оборотом не повредить своему же чувству. Надежда была молода, а если сказать не в угоду себе — девчонка, только закончившая среднюю школу. Что и как будет после скорой встречи с ней, Еранцев не знал и не хотел пока знать.

Еранцев ворочался с боку на бок, сон не шел. Тем временем разговор между Лялюшкиным и Нужненко, доносившийся со сцены, стал оживленнее.

Опять говорили о жизни, правда, теперь о жизни земной. О чем именно шла речь, Еранцев не разобрал, да и не интересно было слушать — хоть и поневоле, а наслушался за месяц. Только когда Нужненко что-то сказал о волках, Еранцев наострил уши.

— ...Волк, впрочем, как и крокодил, не может оглянуться назад, — неторопким, почти учительским голосом говорил Нужненко. — Так устроен у него хребет и шейные позвонки. Отсюда видимая устремленность вперед, мало того, впечатление агрессивности. "У страха глаза велики" — это уже о человеке. Отсюда, полагаю, фольклорная жестокость волка...

— Логично, метр, — радостно-насмешливо кивал Лялюшкин.

— Другой вопрос, преимущество это или недостаток?

— Так, так!.. Превосходно!

— Как ты думаешь, почему волк режет больше овец, чем ему надо для утоления голода?

— Хм...

— Он неспособен видеть то, что оставляет за собой...

— Наяву отсутствие учета...

— Узнаю программиста... Но биологический недостаток наделяет волка психологическим преимуществом...

— Что?

— Да, Лялюшкин, это действительно так. Волк не испытывает угрызений совести.

— Ибо не ведает того, что творит...

— Что же это, святая простота? Предназначение природы, веление рока?..

— Да-а, — серьезно протянул Лялюшкин. — Для того чтобы не сомневаться в собственной непогрешимости, достаточно иметь твердый хребет...

— Если лошадь на беговой дорожке часто оглядывается, ей на глаза надевают шоры — она бежит ровнее и резвее.

— Ты, Нужненко, не романтик.

— Романтик выискался, — нервно скрипнул кроватью Нужненко. — Как вот ты отнесся к сегодняшней информации о красном волке?

— Красный волк... — Лялюшкин наморщил лоб. — Хищник теплолюбивый, обособленный. В условиях европейского климата к размножению не склонен. Характер неуживчивый, в зоопарках редкость. Занесен в Красную книгу...

— Следовательно, в этих местах он не водится...

— Разумеется.

— Хорош романтик! — хмыкнул Нужненко. — "Черный ящик" — иначе не скажешь. Не поймешь, что в тебе есть, а чего нет...

— Во мне много кое-чего есть, — неожиданно серьезно проговорил Лялюшкин. — И все не мое... Даже деньги, которые я буду иметь на днях, уже не мои. Жена и теща под эти деньги заняли, купили по шубе.

— По теории вероятности, я тоже бессребреник, даже, может, жертва автомобильной катастрофы, — сказал Нужненко и поперхнулся, помолчал. — Ну, собрал деньги, куплю "Жигуленка" такого, как у этого... — Нужненко, должно быть, имел в виду Еранцева. — Ну, сяду, поеду. Так вот, если не я, так какой-нибудь идиот в меня врежется...

— Ну, если тебя пугает такая перспектива, не покупай.

— Надо, — твердо произнес Нужненко, — назло куплю. Ты замечал, как у них, владельцев машин, психика меняется? Дурак дураком, а сядет за руль — не узнать. Возьми Гурьева... Как специалист — ноль без палочки. Как мужик — два мосла и чекушка крови. А купил "Жигули" — люкс. Раньше смотреть прямо боялся, а теперь руку мне на плечо кладет...

— Человеком себя почувствовал.

— Ничего, у меня тоже на люкс наберется...

Нужненко, кряжистый, со стриженной аккуратной бородой, в постели сидел круто, и было впечатление — сжимал в правой руке, лежащей на согнутых коленях, державный посох. Лялюшкин, по обыкновению остерегаясь, как бы приятель не стал задирать его, миролюбиво поблескивал очками, но подбострастия не выказывал.

— Покурим, что ли, — предложил он. — Знобит что-то...

— Это к дождю, — вяло отозвался Нужненко. — Давай у окна покурим. А то дышать будет нечем...

Оба, закулив, набросили на себя простыни, подошли к темному, настезь распахнутому окну.

Вышедший вдруг из-за кулис Шематухин — был он в трусах и майке — осторожно и неслышно, как луна-тик, спустился со сцены, но внизу остановился, поднял заспанные глаза на Нужненко с Лялюшкиным.

— Чего не спите? — спросил с хрипотцой. — Полноправных граждан изображаете? Римских...

— Не базарь среди ночи, Шематухин, — охотно откликнулся Лялюшкин. — И не оскорбляй! Это тебе, если хочешь знать, тога будет к лицу, а нам подавай пурпурные плащи!..

— Сам ты плебей... — потеряв интерес к Лялюшкину — скажешь слово, он тебе десять, — зевнул Шематухин. Заметив разбуженного шумом Еранцева, подмигнул. — Тоже не спишь? Не бойся, не угонят твою машину. Она у тебя со "сторожем" или без?

— С электронным, — ответил Еранцев.

Шематухин побрел к двери.

Лялюшкин, немало удивленный очередной перебранкой с Шематухиным, дотронулся рукой до Нужненко, сказал:

— А он, кажется, не так уж прост, Шематухин-то... Можно подумать, римское право изучал.

— Не только... — усмехнулся Нужненко. — Льва Толстого изучает. Сам видел...

— А я ведь на филфак хотел после школы, голова еловая...

— Точно, еловая. Из тебя толстовед не получился бы... А было бы, конечно, престижно! Толстоведов мало, не то что кандидатов. Двести пятьдесят тысяч с лишним всего! Во всем мире... Это по данным ООН. Но ты профессию менять не будешь, ты не Шематухин, ему терять нечего, так что давай защищайся... Выбрось то, что трудно идет, и валяй!

— Отказаться от самого важного, ради чего диссертация затеяна?

— Ничего, не ты первый, не ты последний... Двадцать минут позора — двадцать лет безбедной жизни.

— Значит, это не шутка. Так говорят после защиты...

— Вот уж воистину святая простота!..

Вернулся Шематухин, помешал разговору. Видно было, как направился к Еранцеву, взъерошенный, смешной...

— Поднимись-ка... Там не то волк, не то собака. Под навесом.

Еранцев усмехнулся: опять волк. И все же он не

шевелинулся, глядел на Шематухина недоверчиво: слышан был о розыгрышах, которыми богата всякая шабашка. Поняв, что Шематухин не утихомирится, пока он не сходит с ним во двор, поднялся. Шематухин, крадучись, пошел впереди, легонько толкнул дверь, прильнул к образовавшейся щели.

— Ружья, холера, нет,— глубоко задышал он.— Смотри! Че он приперся?..

Еранцев занял его место. Луна, освещая лужайку сбоку, темно выделила навес, под которым в тени шевелилась еще какая-то тень. Судить по ней, кто там прячется, волк или собака, было невозможно.

— Шуруй в машину! — шепотом скомандовал Шематухин. — Включи фары.

Еранцев направился к кровати за ключом. Между тем Шематухин, трезвея, сбегал к себе в комнату, вынес древко знамени без полотнища, но зато с сохранившимся наконечником. Держа его наперевес, замер на пороге.

— Ты его ослепи, — задышливо шептал он Еранцеву. — А я уж не промажу.

Еранцев выбрался наружу, набравшись храбрости, приблизился к машине, щелкнул замком. То непонятное, что раздражило Шематухина, а теперь и Еранцева, продолжало по-прежнему шевелиться и порой казалось птицей, машущей крыльями. Чтобы высветить то место, машину надо было слегка развернуть. Еранцев завел мотор, дал задний ход, резко вращая рулевое колесо, нацелился фарами в черное, как будто бодрее затрепыхавшееся пятно. Включил дальний свет.

Под навесом было пусто. Два синих луча отыскивали под ним тряпку, свисавшую со стола. Она болталась на ветру, несильно тянувшем со стороны леса.

Еранцев с горькой, острой тоской вспомнил, как спугнул волка. Припомнился ему и камень, который он не успел поднять и швырнуть в зверя. Не обязательно быть провидцем, чтобы догадаться, что волк так просто не приблизился бы к человеку, не глядел бы такими ищущими сочувствия глазами, не захлебнулся бы голосом, как бы закатившимся внутрь, если бы жизнь его текла ладом.

Бросив взгляд на шематухинскую фигуру, еще не расковавшуюся, оттого смешную теперь, когда страхи не оправдались, Еранцев зашагал вдоль пруда. В десяти шагах от крыльца было кромешно темно и боязно ступать на землю. Еранцев двигался почти вслепую. Дойдя до глухого места, он стал шарить руками по траве, и

пальцы его натыкались на былки прошлогоднего бурьяна. Набралось на костер.

От пламени спички былки загорелись с такой устрашающей быстротой, что Еранцев невольно отшатнулся. Мрак, окружавший его, сгустился, в его немыслимо плотной черноте было что-то колдовское.

Еранцев с детства любил смотреть на огонь. Он с молчаливой сосредоточенностью глядел сейчас на белое, ровно поющее пламя, и где-то в глубине его сознания рождалось изумление перед непостижимой загадкой огня.

Неожиданно вспомнив только что услышанный разговор о внеземных цивилизациях, Еранцев запрокинул голову, но взгляд его не смог проникнуть выше темного свода, подпираемого невеликим светом костра.

Мысль о далеких галактиках показалась нелепой и ненужной, когда Еранцев, обшаривая напряженными глазами тьму в направлении леса, сейчас тоже не видного, с тревожным участием подумал о волке.

3

В лесу после чуткого предвечерья наступал час, когда все живое унималось, выжидало полного покоя, в котором можно распознать даже слабые звуки. К этому времени всякое зверье, вынужденное не спать по причине извечной потребности добывать себе пищу под покровом ночи, приготавливалось к охоте, но еще медлило с выходом, как бы не желая обеспокоить собой тишину.

Застигнутый этим часом на второй половине пути, Матерый тоже остановился. Кренделем сложил вокруг ног хвост, слушал лес, объятый беззвучием. Слышен был только шелест падающих листьев. Сквозь полуоблетевшие вершины деревьев проступало белое доньшко луны, за пределами ее света мигали бесконечными искрами звезды.

Матерый сидел на тропе, пока от долгого безмолвия не зашумело в ушах. Он утомленно закрыл заслезившиеся от дыма глаза, но тотчас, пересилив дрему, открыл их. Ждать, когда не он, а другой первым нарушит ночную тишину, Матерый не мог.

Он побежал дальше, быстро согрелся от бега и от теплого дыма, хлынувшего из-под густых еловых лап. Впереди горела земля. Огонь, поутихший после недавнего ливня, разгорался с новой силой, въедался в нутро

торфяника, и удушливо-едкий дым вытягивался сквозь сухую шерстку мха.

Матерый не сворачивал с тропы, продолжал бежать по ней, угадывая по дыму место и направление пожара. Ногами он почуял глубокий подземный жар, потом расслышал глухое скрытное потрескивание, и его охватило беспокойство. Он знал по опыту, что в таком месте через час-другой образуется провальное окно, не видимое даже вблизи. И если прибылые, доверясь тропе, будут возвращаться, наверняка один из них, ведущий, угодит в огненную яму.

Матерый прислушался к шуму огня за елками, которых еще не коснулось пламя. Земля там ровно гудела, обваливалась, а деревья, прокаленные жаром, принимались гореть мгновенной пороховой вспышкой.

Преодолев собственный запрет — никогда не быть в этом уголке, — Матерый разразился воем. Эхо растащило его зов по далеким лесным засекам, оповестив кого надо и не надо о начале еще одной гибельной ночи.

Смолкнув, Матерый ловил каждый звук, каждый шорох, которыми откликнулся на его зов настороженный лес. Сорвавшийся с отдаленного хребта, сильно истонченный и все же грозный вой матерого волка оживил память. Того, серо-серебристого, с рыжими подпалинками на брюхе вожака Матерый уже встречал, но уходил от него, не смея с ним драться. Уходил, хитря и запутывая следы, помня молодого крепкого вожака незрячим поганым. Вожак был одним из его первых сыновей, не вернувшихся на логово после памятной драки с Рваным Ухом, которого Матерый убил при луне.

Тогда ему удалось увести от стаи только волчицу.

Этот проблеск памяти заставил Матерого разогнаться в безрассудном беге. Он должен в эту ночь накормить волчицу и прибылых.

Теперь Матерый бежал вдоль тропы, хоронясь в ельнике. Если двигаться тропой, можно прежде времени столкнуться со стаей, привлеченной воем и вышедшей наперехват. Поэтому пробирался Матерый подвальной стороной, чтобы не выдать себя запахом разгоряченного тела. Голод унялся, рассосалась боль под лопаткой.

Просеку, отделявшую его от долгожданного заповедного леса, Матерый одолел несколькими пружинистыми махами. Нырнул в кусты, замедлил бег, осмотрелся. Видны были пологие светлые поляны, охваченные никем не потревоженным, сытым по-

коем. Касались боков буйные нескошенные травы, пахло старым медом.

Но лишь с виду лес казался райским уголком. Матерый сразу, как только обошел сырую болотину, набрел на свежий лисий нарыск. Двинулся следом к зарослям багульника, не дотянув до них, наткнулся на поедь — на спутанной траве валялись перья настигнутого лисой перепела. Матерый, раздраженный запахом крови, сердито поднял голову и вдруг весь сжался — за багульником послышалась возня. Матерый вздрогнул, как от тычка. С подведенными боками, напряженно прокрался к краю светлой поляны и замер.

Середь поляны медленно кружила лиса, кокетливо играя хвостом, она дразнила неуклюжего кабанчика-подсвинка, ровно бы спавшего стоя. Когда лиса, вытянув острую мордочку, начала новую петлю вокруг кабанчика, тот ворчливо дернулся сытым телом, и лиса трусливо отскочила.

Неожиданно лису будто придавило чем-то тяжелым. В следующее мгновение какая-то сила подбросила ее вверх, и она неслышной тенью скользнула прочь.

Матерый, уже примерившийся к кабанчику, понял, что лиса учуяла его, и на всякий случай приметил место, где она унорилась. Вслед за лисой встревоженно запереступали, застучали копытами и кабаны.

Медлить было нельзя. Матерый кинулся к подсвинку. Оторвал его от земли, метнулся назад. Едва удерживая неудобную, бившуюся в судорогах жертву на весу, прошел мягкой тропкой мимо болотины; перед просекой опустил кабанчика и, хотя тот уже обмяк, сторожил его лапой.

Раньше, до ранения, Матерый не трогал кабанов, не очень брезгливых в еде, бестолковых, сатанеющих не в меру даже в драках между собой. Но потом, когда Матерый стал подранком, потерял прежнюю добытчивость, отношение его к кабанам изменилось.

И все же то была не охота. Это была тягостная необходимость, не дающая того удовольствия, того полухмельного азарта, когда охота ведется по всем правилам.

В такую пору избегать надо лишь людей. Злого, пахнущего ружейным маслом и пороховой гарью человека. Матерый убедился в этом в позапрошлую глубокую осень по мертвой пороше.

Белым от инея утром он выследил семейство сохатого, шел за ним, чтобы тайком подглядеть, чем они, поразившие Матерого горделивой красотой, кормятся.

Он видел, как теленок с прямо торчащими отростками рогов, по примеру матери, которая хрустко отщипывает ветки, тянется кверху, не достает зубами до веток и начинает подбирать мочалистое крошево, сыплющееся из рта лосихи на льдистую порошу.

Заинтересовавшись, Матерый тоже откусил кончик ветки, пожевал и выплюнул горечь. Разочарованно отстал от сохатых, завернул в густую падь, на тетеревиный ток, откуда с рассветом доносилось воинственное чуфыканье. Матерый, добродушный от сытости, любил смотреть птичьи бои. Бывало, чего греха таить, подползал близко, набрасывался на тетерева, что был сильнее соперника — этого токовика, растопырившегося в победных наскоках, Матерый в неуловимо коротком броске подминал под себя, тащил на логово.

Но в тот день ему не везло. Крадучись, легкими перескоками он приблизился к подлеску, повременил и все-таки был замечен, едва собрался проскочить чапыжник, чтобы потом надолго укрыться за валежиной. Ток опустел, спрятались, умолкли тетерева. Матерый досадливо потянул головой, не зная, чем заняться, лег на снег, поджал к животу ноги — не так мерзнут — решил ждать: может, вернутся токовики.

С лежки его поднял раскатистый выстрел. Хлесткий звук стеганул слух, и скоро Матерый вздрагивающим носом поймал занесенный ветром запах жженого пороха. Продавливая порошу разгоряченными лапами, помчался в направлении логова, попетлял около него, протиснулся к волчице и долго обрадованно жался к ней.

Вышел он наружу под вечер, когда небо настало, сделалось хрупким и стало боязно шагнуть — под ногами громко поскрипывало. И все же любопытство преодолело страх. Матерый спустился со склона, двинулся по следам сохатых. Смеркалось, на снега легли плотные синие полосы. Ветер поутих, но и он, слабый в предвечерье, отчетливо доносил запах обильной крови, перешибающий другой, трудно угадываемый теперь запах — человеческий. В раздвинувшемся впереди просвете что-то ярко алело. Человека там не было, и Матерый, раздраемый недобрым предчувствием, направился туда. То, что он увидел перед собой, заставило его присесть. Возле куста лежали большие красноватые куски мяса, сверху присыпанные снегом. Голова сохатого, поставленная рядом с обрубками туши, смотрела на Матерого ничего не выражающими, успевшими затянуться ледяной пленкой глазами.

Человека, который учинил эту расправу, Матерый



учуял слишком поздно. Разглядел в момент, когда тот, показавшийся на горюшке, выстрелил из ружья навскидку. Будто горячим молотом ударило под лопатку. Матерый свалился на правый бок, перевернулся с застрявшим в глотке стоном и все же нашел силы оттолкнуться и слететь к ручью, протекавшему по дну канавы. По нему побежал вниз. Грянул второй выстрел, картечь обогнала Матерого, звонко впечаталась в ручей, выбросив на порошу темные камни — голыши.

Когда и как добрался до ельника, как очутился в

барсучьей норе, Матерый не помнил. Очнулся, опять впал в знобкое забытие от невыносимой боли под сердцем. Окончательно придя в себя, он облизал свалившуюся окровавленную шерсть на боку и снова уснул. Через три или четыре зори Матерый выкарабкался из норы, утвердился на лапах с пожелтевшими онемелыми когтями. Заплетающейся походкой от дерева к дереву одолевал две версты ночного пути до логова. Худой, никуда не годный, долго не решался явиться к волчице, но та ждала его, ожидая, извела себя, об этом можно было догадаться по бессмысленно сонным глазам ее, которыми она не сразу узнала Матерого.

До весны, до первых проталин выхаживала Матерого волчица.

Теперь настал его черед спасти ее.

Матерый потащил подсвинка через просеку, низко вдавливаясь животом в траву. Кабанчик грузно обвис. Цеплялся ногами за сухие ветки, и после каждого куста Матерый задерживал дыхание, чутко вслушивался в тишину. Наконец выбрался на свою тропу.

Покинув запретную для него землю, Матерый почувствовал, как попросторнела грудь. Однако до радости было еще далеко. Перед ним лежало лишь начало тропы, а ночная тропа с добычей — это изнурительная работа.

Матерый тронулся в путь. Он шел расчетливо, сберегая силы для всего перехода, загодя прикидывая, где нужно остановиться, передохнуть. Он не торопился, а спешить хотелось, чтобы забыться в непосильном напряжении — Матерый с трудом укрощал голод, но не смел, помня о выводке, жировать в одиночку.

Уже после двух передышек Матерому показалось, что кто-то его преследует. В задымленном воздухе носились едва уловимые чужие запахи, и вначале Матерый старался не замечать их — они могли и померещиться. И только когда посветлело впереди — близок был пожар, — Матерый понял, что ему не чудится. Справа и слева, держась шагах в пятнадцати от чернотропа, скользили меж деревьев длинные тени. Матерый не испугался. Делая вид, будто ничего не видит, продолжал двигаться к охваченному огнем ельнику.

В быстром упреждающем движении левая цепочка серых стянулась к тропе, загородила дорогу. Иного выхода, как пойти на сближение, у Матерого не оставалось. Тем временем правая цепочка примкнула к левой. Волки застыли широким изогнутым хором.

Решительность Матерого, видно было, обеспокоила

молодого вожака, стоявшего на тропе. Из глаз его брызнул свирепый огонь, не погасший даже тогда, когда Матерый, как бы милясь, выронил кабанчика на пеплом покрытую почву. Матерый пристально, но без вызова смотрел на вожака.

Так они стояли друг против друга, два волка: молодой, сильный, великолепного дымчатого окраса, подчинивший себе стаю, готовую в слепой звериной страсти учинить мгновенную расправу над любым врагом вожака, и старый, отверженный, но еще не побежденный, не отказавшийся от борьбы за продолжение своего рода. Какие-то секунды отделяли сейчас Матерого от того мгновения, когда послушная воле вожака стая петель стянется вокруг него, ни драться, ни бежать уже невозможно.

В позе вожака, игравшего стальными мышцами, угадывалась беспощадность, и Матерый, чтобы отвлечь его, лапой отодеинул от себя серебристого в отблесках огня подсвинка.

Глазами словно бы провел по шеренге волков, ожидавших от вожака сигнала.

Матерый еще раз скользнул затаенным взглядом по волчиному ряду и слева в огненных сумерках заметил слабых, еще не нагулявших тело прибылых. Они покачивались на тонких, нетвердых ногах, пугливо шевелили ушами, слушая шум недалекого пожара.

В доли секунды Матерый поскреб лапами, швырнул в сторону вожака ошметья земли и белого пепла. Пока легкий дым опадал вниз, метнулся к тем трем прибылым, с неожиданно пробудившейся яростью прыгнул через них. Пробежав по тряскому урезу горящей торфяной ямины, вырвался на твердь.

На логово он приплелся на заре, поймав по пути двух сусликов. Молча кинул их в темень логова, услышал: расшевеливаются прибылые, теребят мать, выпрашивая еду.

Матерый скоро опять бежал по лесу. Пришла к нему еще одна, теперь уже дневная забота: надо осмотреть, обнюхать окрестные поля. В нем еще жила надежда, что два его детеныша целы и невредимы. В заповеднике он их не нашел, стало быть, надо искать в другом месте.

Земля, несмотря на ранний рассвет, долго лежала в холодных сумерках, не засветилась она даже после того, как взошло солнце. В том месте, где над лесом

вспыхнуло небо, густо висел, застыл солнце, дым набравшего силу пожара. За ночь оттуда к прудам нагнало свежего дыма, оттого воздух казался бодрым, бодрее вчерашнего.

На шабашке раньше всех вставал Чалымов. Каждый день в половине седьмого поднимался, как заведенный, шел по берегу подальше от глаз и первым делом занимался упражнениями йогов.

В это утро Чалымов, выйдя на крыльцо, потянул носом воздух, помрачнел и надумал было отменить занятия. До того забористой была мешанина воздуха и дыма, что после пяти-шести вдохов стала перешибать дыхание. И все же Чалымов, помня о давней заповеди держать тело в постоянной хорошей форме, решительно двинулся к пруду. По пояс голый, в синих "олимпийских" брюках сел на сухую траву возле заводи, скрестил по-йоговски ноги. Однако сегодня почему-то особенно трудно было совладать с собой. Работой воли Чалымов отгородил себя от всего, что мешало ему впасть в нужное оцепенение. Отключил слух, остановил зрение с тем, чтобы медленным усилием сознания обратить его внутрь, в себя. Дальше надо было дожидаться состояния, когда тело охватывает забытие, но не полное, а такое, чтобы под контролем держать какой-нибудь важный орган, только его заставляя бодрствовать.

Когда на крыльце показался Шематухин, глаза у Чалымова, оставаясь открытыми, ничего уже не видели. А тут Шематухин, тоже никого перед собой не замечая, двигался к заводу. Шурясь на дым лесного пожара, он позевывал, пока не почувствовал, что на кого-то надвигается. Он знал, что Чалымов по утрам бежит на физзарядку, но в такой позе, с бессмысленным взглядом — не поймешь, жив, не жив — заставлял его впервые.

— Туды твою растуды!.. — бросился в сторону Шематухин. — Че ты тут делаешь? Добегался, кондрашку заработал?

Окаменелый Чалымов порядком напугал Шематухина, у которого и без того в голове творился ералаш — сказывался выпитый вечером спирт. В висках гулко стучали молоточки, сердце заходило, и Шематухин с опаской огляделся, заметил Наталью, тащившую на спине вязанку хвороста.

— Наталья, иди-ка, — позвал Шематухин.

— А чего я там не видела, — отмахнулась Наталья. —

Он каждый божий день так сидит. Не тут, а за тополями.

— Ну, мать...

Остальные слова Шематухин добавлять не стал, отвернулся от Чалымова, тот слегка качнулся, ожил, осмыслив взгляд, смотрел насмешливо. Шумно войдя в заводь по колено, Шематухин плеснул в лицо водой и с каким-то, видать, только что созревшим умыслом зашагал тропинкой вдоль берега.

Шематухин и на самом деле не зря шел в направлении села. За березняком стояла огражденная высоким забором высоковольтная подстанция, питавшая электричеством стройку. От лужайки до подстанции тянулся поддерживаемый на весу рогатинами трехсотметровый кабель. Его перед началом работ Шематухин сам присоединял к подстанции, а теперь, чтобы наказать хануриков — ишь, силы девать некуда, физзарядкой занимаются, на машинах разъезжают, — решил обесточить подъемник и водяной насос. Пусть на горбу таскают кирпичи, ведрами — воду. С пультом подъемника он уже продельывал разные неполадки, но без особого успеха — напрашивались пособлять, быстро находили шематухинские хитрости.

Шематухин вспомнил, как вчера за полкружки спирта его заставили выть волком, вспомнил с обидой, остановился, пережидая дурноту. Когда отпустило, он облегченно и широко улыбнулся: сегодня воздаст всем сполна.

Шематухин свернул с тропинки вправо и уже на подходе к забору на какое-то время потерял прежнюю решимость, засомневался, стоит ли затевать испытание.

Вставал еще один угарный день с каленым, красным солнцем. Вокруг ничто не обещало перелома в погоде — повсюду, куда ни бросай взгляд, земля терялась в синих дымах. Если смотреть поближе, в белесой мгле проступали размытые, будто нарисованные косогоры, две-три крайние прудищинские избы, тоже казавшиеся ненастоящими. Вдали, в задымленном распадке, медленным пятном двигалось в синюю муть горизонта стадо, и от мычания коров, изнуренных бескормицей, на душе сделалось совсем тоскливо.

Шематухин стряхнул с себя слабость, шагнул к подстанции. Сухо похрустывала под ногами трава, она, помертвевшая еще в пороховую июньскую пору, рассыпалась в крошево.

Не понять было Шематухину, отчего так часто он стал задумываться по пустякам. Все эти заботы о земле

и скоте были не для него, и все-таки каждый раз отмахиваться от мыслей, вроде бы не имеющих прямого отношения к его жизни, Шематухин не мог. Но и так просто сдаваться мыслям, настраивавшим на сочувственный лад, он тоже не мог. Чтобы взбодриться, Шематухин обругал себя: мужик он, в конце концов, или слюнявая баба.

Дверь в заборе была прикручена к столбу толстой проволокой уже после того, как тут последний раз побывал Шематухин. Прислушиваясь к ровному гудению трансформатора, Шематухин обошел забор в надежде найти место, где можно поудобнее перелезть. Такого удобства, которое бы само подзадорило, не оказалось, и Шематухин принялся неохотно раскручивать заржавевшую проволоку. Он уже понял, что пошел сюда по горячке, не прихватив с собой ни гаечного ключа, ни резиновых перчаток, и все же решил не отступать.

Дверь наконец подалась. Шематухин вошел внутрь, беглым взглядом осмотрел подстанцию, удостоверившись, что все в порядке, без тревоги шагнул ближе. Почувствовал свежий, сладковатый, как после грозы, запах озона. При таком сухом воздухе опасаться было нечего, но и лезть с голыми руками в распределительный щит не годилось. Шематухина выручила валявшаяся в почерневшей крапиве доска. Он открыл дверцы щита, тщательно примерился к клеммам и с размаху ударил по ним доской. Коротко треснула искра, запах озона сделался слаще. Вторым ударом Шематухин вышиб клемму кабеля и, довольный, привалился вспотевшей спиной к забору.

Шематухин, возвращаясь, шел по другой тропинке, она пролежала через малинник. Сначала он осматривался вокруг, выискивая кого-нибудь, кто мог увидеть его у подстанции. Не заметив ничего, что говорило бы о присутствии поблизости человека, Шематухин успокоился. Он стал заглядывать под кусты, сорвал двести ягодки, засохшие и затвердевшие, кисло-сладкие на вкус.

Шематухин шел-шел и вдруг сбавил шаг. Опять, как полчаса назад, накатила на него тоска. В этот раз Шематухин понял, что пристала она крепко и отнестись к ней надо деликатно: это не вещь, которую можно раскачать и бросить подальше. Давеча он пытался так поступить, увилянул от дум, а они тоже упрямые, вот и догнали. Раньше Шематухин, особенно в молодости, ни о себе, ни о чем-нибудь постороннем, что существо-

вало рядом с ним, не думал вообще. Не до того было. Да и нечем было думать — головой Шематухин больше пользовался как орудием, когда дрался. Чтобы позволить себе думать, нужно было взять верх хотя бы над захудалой шпаной, что не давалось без крови. Попервости Шематухин даже на нож шел весело, лишь бы потом, если останется в живых, иметь власть над другими. Ему понадобилось еще два срока, пока он дошел своим умом, что родней среди воря он не обзаведется, а возвыситься не дадут. Верховодить корешками ему не довелось, и он знал почему: вовремя не скумекал, что взять власть — не самое главное, важнее удержать ее. Без особого шума, лучше молчком. Теперь-то он разбирался, правда, задним умом, кого и как следовало прибрать к рукам, чтобы продлить и укрепить однажды добытую власть. Кого, как теленка, лаской, кого страхом, как зайца... Приведись ему начать все сызнова, он в первую очередь придумал бы для себя легенду. Жуткую, красивую. Кличку бы сменил на более основательную. Но мало кличку подобрать, ее еще надо оправдать. Угнать машину, пойматься и получить срок, хотя до этого было пито, едено всласть, способен любой придурок, и тут уж напрасно метить с ходу в тюремные "профессора".

Он бы еще позлил себя воспоминаниями о давних неудачах, но ни к чему было ходить далеко — подоспели свежие обиды. Шематухин увидел за березняком стройплощадку, несколько фигур, замерших возле навеса.

Вот и с этими, вольными, у него ничего не вышло. Казалось, чего проще было поиграть с ними в кошки-мышки, похитрить да под занавес так перехитрить, чтобы они об этом даже не догадались. Он же всего денечка два прикидывался тихим да покладистым, не утерпел — прорвало. Сколько же можно учиться править людьми, чтобы по этой части не ломать дров? Неужели мало было трех отсидок от звонка до звонка? После третьей, само собой, надо было передуреть, прийти в норму, уже потом являться к людям. А он пришел, затаив злость на вольных за то, что им выпала льгота не знать арестантского пайка...

Неожиданно Шематухин поймал себя на том, что, осторожно крадучись, движется к толстой березе. Подойдя к ней, он перевел дыхание и догадался, отчего ему стало не по себе.

Вокруг "Жигуленка" Еранцева ходил, изучающе присматриваясь, старший лейтенант милиции. Шемату-

хин узнал его, это был Пивоваров, здешний участковый. Жил он в Каменках, по служебной надобности навещался раз в неделю сюда, на стройку, должно быть, в порядке надзора. Шематухин не боялся его, но и удовольствия от встреч с ним не испытывал. В прошлую субботу участковый, между прочим, с глазу на глаз расспрашивал Шематухина о Еранцеве. Кто да откуда, как себя ведет? Он, верно, интересовался и остальными, а все же Шематухин не дурак, он только притворился дураком, понял, что Пивоваров ищет впотьмах затерянный след и Еранцева прощупывает наугад. Шематухин никогда не докатывался до пособничества милиции и тогда на вопросы участкового отвечал невразумительно, так что Пивоваров, уезжая, не скрыл своего недовольства.

Шематухин долго, минут десять, наблюдал за действиями участкового, и, когда уже наскучило смотреть, на крыльце появился сам Еранцев. С какой-то сладкой тревогой Шематухин ожидал, что произойдет дальше.

Еранцев, сойдя с крыльца, направился к Пивоварову. Видно было, внимание участкового к машине ничуть не обеспокоило его. Он заметил, что старший лейтенант что-то соскабливает с буфера, опускает в стеклянную посудину, и, остановившись рядом с участковым, вроде даже начал помогать ему.

Шематухин, напряженно вытянув шею, следил за обоими. Его ошеломило это придурковатое спокойствие Еранцева. Если парень что-нибудь натворил, держится вот так — артист он, слов нет, большой! Шематухин строил разные догадки, разжигая в себе любопытство, сердце у него вздрогнуло и нетерпеливо заныло, когда разговор между Еранцевым и участковым как-то недобро разладился. Еранцев встал, нехотя полез в машину, и скоро из нее высунулась его рука с листком бумаги. Шематухин напрягся зрением, как если бы попытался придвинуть лист близко к себе и прочитать, что на нем написано. Чуда, однако, не случилось, и все же Шематухин успел определить, что бумага — не водительские права, не техпаспорт. Пивоваров долго вертел ее в руках, разглядывал на свет, один раз даже понюхал, потом, осторожно зажав двумя пальцами, чтобы не помять часом, вернул Еранцеву. Окончательно заскучав, участковый сел на мотоцикл, покатыл по дороге в Каменки, ударами ноги подгоняя свою старую "тарактелку".

Шематухин, столько времени ожидавший чего-нибудь особенного, почувствовал обиду, словно его обма-



нули. Он вышел из-за березы, озабоченно и устало — пусть смотрят, какой он раностав — направился к навесу, собираясь огорошить людей известием об "аварии" на главной, в Каменках, подстанции. Опять проснулся в нем бес, дразнил и подсказывал, как отвести душу, но скоро перетянул его другой бес, подтолкнул в сторону Еранцева: узнай, чем дышит.

Еранцев сидел за рулем так неподвижно, с такими остановившимися в задумчивости глазами, что Шематухин раздумал его трогать. Но подойти и отойти совсем

незамеченным не в его, Шематухина, натуре. Он искал в памяти словцо, каким можно было бы расшевелить Еранцева, приготовился уже состричь насчет его постного хайла, и только в последний момент он, наклонившийся над дверцей, сделался помирней.

— Че тут потерял легавый? — спросил Шематухин. — За дело пристаёт или так, на пушку берет?

Еранцев повернул голову к Шематухину, на мгновение повеселел: вспомнил вчерашние причуды бригадира. И еще заметил он, что Шематухин радехонек даже небольшому вниманию и сейчас, стоит серьезно и доверчиво ответить на его вопрос, готов в благодарности распластаться возле ног — кто из них артист без промаха, так это он. И Еранцев правду сказать Шематухину не решился, не поверил потому что.

— Учение у них, — сказал Еранцев. — Домашнее задание готовят...

Обида ожгла Шематухину лицо, на лбу его обильно выступил пот. Он сообразил, что Еранцев не доверился ему, и ненавидяще, с захлестнутыми гневом глазами посмотрел вдаль.

— Я-то думал... Это самое... Ну, да... — покашливал Шематухин. — Вобщето от сумы да от тюрьмы, говорят, не зарекайся.

Шематухин произнес последние слова едва слышно, будто сказал сам себе, почувствовал, утишил давнее, сейчас растравленное горе.

Он торопливо отошел от Еранцева, озадаченного, не привыкшего к нему такому.

По пути к навесу, где в кучу собралась вся братва, ждущая завтрак, Шематухин искал глазами, к кому бы придрататься.

— Тырин! — крикнул он. — Не разучился коромысла гнуть?

— Если для сувенира токо, — замылся Тырин, не желая настроить против себя бригадира. — Таперя че их гнуть... Уж вон кака дыра наша деревня — и то колонки поставили. Такая жизнь пошла — с каждым днем благополучие...

— Жисть стала веселее; шея стала тоньше, но зато длиннее, — нахмурился Шематухин. — Воду будете таскать. Кирпич тоже. Вот те и сувенир, Тырин!

— Сюрприз, — поправил Лялюшкин. — Ты, Шематухин, не темни, говори яснее, что стряслось...

— Авария, граждане пассажиры, поезд дальше не пойдет, — пояснил Шематухин. — А если по секрету — в радиусе семь километров электричество в землю ушло!

— Что тут, второй Бермудский треугольник? — вяло шевельнулся Нужненко.

— Бога небось прогневали, — тихо отозвался Тырин. — Остепениться пора!..

— В этом деле надо разобраться, — колюче уставясь на Шематухина, проговорил Нужненко. — Предлагаю Лялюшкина послать на линию, пусть проверит.

— Почему меня? — недовольно спросил Лялюшкин.

— Ты же специалист по высокому напряжению.

— Нет уж... — капризно топнул ногой Лялюшкин. — К вашему сведению, всегда был оператором-программистом электронно-вычислительного центра...

— Твоя ЭВМ занимает двести двадцать квадратных метров площади, — срезал его Нужненко. — Чем она сложнее межколхозной линии электропередачи?..

Обычно сдержанный, на этот раз Нужненко завелся с полуоборота, откуда что и взялось: он еще и взглядом разил обалдевшего Лялюшкина, и уж доконал бы того окончательно, если бы не Шематухин — бригадир подзадорил ссору:

— А ну, интеллигенция, мобилизуйся! Слово за слово... по столу!

Нужненко опомнился, принялся ходить взад-вперед вдоль навеса, пытаясь остыть. Чтобы не раздражать ни его, ни себя, Лялюшкин зашагал в сторону, шевеля, как всегда после таких сцен, пальцами, подсчитывая, сколько дней еще маяться с этим народишком.

— Ладно, сам займусь проверкой линии, — подождав, сказал Шематухин. — Доеду с Еранцевым до Каменок, оттуда пехом...

— А у него работенки скоко, — напомнил Тырин. — Таперя, без машинной помощи, никакой дурак его долю доводить не возьмется...

— Тоже верно, — одарил его вниманием Шематухин. — Это дело я на себя беру. Заодно вопрос о баране ребром поставлю в правлении. Его же, агнца, денька за два до сабантуя надо взять, подкормить хлебушком. Нет худа без добра...

С тем Шематухин отключился от братвы, которая уже смирилась с положением, притихла, оберегая силы для горячей тяжелой работы.

Шематухин подкрался к Наталье, забывшейся за стряпней, он, держа руки ухватом, примерил их к подвижной бойкой талии поварихи. Наталья, спозаранку разомлевшая от костра, будто уже не воспринимала ничего, помня только свои руки, красные, налитые жаром, но, когда Шематухин полез куда не следует, На-

талья легко, как соломинку, смахнула с себя его руку, сказала спокойно:

— Добалуисся...

— Извиняюсь, пани курва, — посторонился Шематухин. — Может, дровец седня вдвоем пособираем. Подсобляет же тебе Миша Еранцев. Вот и я...

— Да отвяжись ты, — сказала Наталья. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

— Пожалеешь, как пить дать, пожалеешь, — проговорил Шематухин, потом, перестав наседать, несмело и грустно продолжил: — Я б с тобой, Наталка, на край света. Если дело только в том, что я судимость имею, плюнь. Уедем куда-нибудь, где люди нас не знают, жить начну заново. Только слово скажи...

Наталья, не оборачиваясь, молчала.

Неспешно поднимавшийся над землей день не сулил радости. Все кругом, не успев окончательно пробудиться от ночного сна, впадало в дремную истому. Солнце будто чуяло накопившуюся за ним вину — оно с утра, пока никто не спохватился вслух проклинать упорный надоевший зной, пригасило свет, но прохлады не было даже в тени. В жухлом неопрятном краснотале смолкли птицы, и только пара ласточек на удивление бодрыми и крепкими посвистами выманивала из гнезда, прилепленного к карнизу старого клуба, свой выводок.

5

Еранцев продолжал сидеть в машине, хотя все, кроме Шематухина, позавтракали и курили, разлегшись под сходнями. Бригадир варил, как всегда, свой особо густой, запашистый, чай, колдуя над прокопченной кружкой, поставленной прямо на костер. Наталья, не дождавшись Еранцева к столу, теперь сама шла к машине.

— Михал Васильич! — нарочно по-деревенски протянула она. — Дайте в зеркальце поглядеца. Рыльце у меня, чую, как у тракториста...

Еранцев молча отворил дверцу, и Наталья, перед тем как втиснуться в машину, сдернула с себя передник. Придвинулась к зеркальцу, но сперва глянула не в него, а скосила глаза на Шематухина, который с нехорошим прищуром пялился в машину.

— Чифирить счас будет, — сказала Наталья. — А вас, Михал Васильич, этот урка чем-то, гляжу, расстроил. Идемте, завтрак стынет...

— А почему ты его уркой? — спросил Еранцев,

вспомнив, что Наталья не единожды называла бригадира так.

— Форменный урка, — острожев лицом, подтвердила Наталья. — Но это я только при вас его. Посулился пришить, если кому скажу, что он тюремный блатняк...

— Ну и страсти, — спокойно, не отвлекаясь от своих мыслей, проговорил Еранцев. — Никому, значит, ни слова. А мне можно...

— Можно, — кивнула Наталья. — Вам что ни скажи, вы туточки забываете. Такой уж чудной. Книжек, наверно, начитались, мечтаете...

— Книг, верно, много прочитал, — поддерживал разговор Еранцев. — Вагон и маленькую тележку. Мечтать мечтаю. А ты не мечтаешь, что ли, Наталья?

— Ишь, чего захотели узнать, — с тихой радостью произнесла Наталья. — Мечтаю, конечно... Вот кончится шабашка, вы в город уедете, а я следом. А там...

Она не договорила, что будет там, перебила себя застоявшимся вздохом, потом окончательно смолкла от робости.

Еранцев удивленно застыл. Внезапный жар, разлившись в нем, выступил наружу, разгорячил лицо и руки. На какое-то время сознание освободилось от прежнего, помимо воли принялось отгадывать то, чего не досказала Наталья. Но Еранцев так растерялся, что стал придумывать повод выбраться из машины. И Наталья, видно, почувствовала, что с ним творится, она, как девчонка, выболтавшая свою тайну не тому, кому надо, отодвинулась к дзерце.

— Стыдно-то как, — сказала она. — Самой напрашиваться. Не по себе березку гнуть.

— Ты хорошая, Наталья, — вполуслух произнес Еранцев. — Не смей думать о себе плохо.

Лучше бы он не сказал это, а просто помолчал. Наталья, видно, сердясь на себя, нервно сдернула с головы перепачканный сажей платок, и Еранцев разглядел ее, неожиданно молодую, с вызывающе бойкой золотистой завитушкой возле уха. Одета в дорогое, не подходящее к ее нынешней работе платье, Наталья теперь, кажется, ругала сама себя.

— Дуреха! — сказала она.

Еранцев в этот раз смолчал, не пытался больше смягчить неловкость, от которой, видно было, Наталью чуть лихорадило. Чтобы как-то переждать тяжелую паузу, Еранцев стал осмысливать прожитый месяц и вспомнил день, когда Наталья могла принять его желание помочь ей за другое, чего он в голове не держал. В

тот день у него бензин оказался на нуле, и он с канистрой отправился по дороге в Каменки, чтобы через лес пробраться к бетонке, остановить какую-нибудь машину. До шоссе он тогда не дошел, увидел на развилке запаленную Наталью. Она несла из Каменок хлеб и прихватила еще ведро квашеной капусты — много ли ей надо, хоть она девка крепкая, иному мужику не спустит. Но после того дня, когда Еранцев, у которого не было машины, а были только свои руки-ноги, помог ей донести груз, в Наталье что-то изменилось.

В том, что так случилось, Еранцев не был виноват, он и до того, и после находился в глубокой глухой забывчивости, потому что не имел ни капли власти над мыслями, которые овладели им целиком и ни на шаг не отставали, доводя до изнеможения.

Сейчас у него замерло сердце: ко всему прибавилась Наталья. Он в общем-то знал, как нужно поступать в подобных случаях: сделать вид, что не понимаешь человека. Если мягче — оставить надежду на то, что поймешь, но не в этот момент, а когда-нибудь после.

Еранцев серьезно, боясь неверным обращением или жестом обидеть и без того потревоженную Наталью, искал в памяти нужные слова. Долго тянул, опоздал.

— Ну, за дело пора браться, — вздохнула Наталья. — Вон и Гришка Шематухин все глаза проглядел, сердешный...

Она по-старушечьи повязалась платком, напустив на себя грубоватый вид, рассмеялась.

— Наговорилась... Слава богу, хоть колотить перестало...

— Наталья, — так и не найдя, что говорить, нерешительно посмотрел на нее Еранцев. — Может, тебя домой сегодня отвезти?

Наталья, знал Еранцев, ночевала у прудищинской родственницы, а раз в неделю навещала свою, в пяти километрах отсюда, деревню Лысманово.

— Хватит того, что днем возите, — сказала Наталья. — А там увидят, слух по деревне пойдет: Наталья такая-сякая. Я ить замужем, Михаил Васильевич. Правда, муженек всего неделю на мотоцикле покатал, и все, завербовался.

— Не страшно одной ходить через лес?

— Я через этот лес восемь годочков ходила, пока школу не закончила.

— Волков, значит, не боишься? Что нового там слышно о волке?

— У нас тихо, Михаил Васильевич. До нашей деревни, как до верблюда, долго доходит...

Наталья оторопело взглянула на Еранцева, от которого веяло беспокойством и болью, испуганно оборвала себя.

— Чегой-то я осмелела. Утром встренуться с вами боялась... Господи!

Глаза ее влажно заблестели, она быстро, ударившись плечом о дверцу, выбралась из машины. Постояла немного и уже шутливо сказала:

— Ждем на завтрак, Михаил Васильевич!

Еранцев рассеянно смотрел на Наталью, уходящую к навесу, и вдруг в нем зашевелилась жалость к ней. Нет, нет, он отогнал это невольное чувство, и скоро вместо него пришла тревога, мучившая вот уже второй день. Второй день он боролся с искушением заглянуть вперед, он чувствовал: близко какое-то недоброе открытие, может быть, даже страшное.

Последний непокой его был связан с приездом участкового милиционера. Накануне, когда участковый ограничился беглым осмотром машины, Еранцев не удивился этому. Сегодня же, увидев участкового, с нескрываемой уверенностью взявшего на прицел заподозренную в чем-то машину, Еранцев собрался с силами, чтобы овладеть собой. Он представил, как тот начнет тянуть из него душу заранее обдуманными вопросами, а отвечать ему — только попусту тратить нервы. За полтора месяца, покуда Еранцев водил "Жигуленку", не случилось ничего такого, за что можно было бояться. Сегодня Пивоваров был молчалив. Он еще раз проверил доверенность, согласно которой машина передавалась Игорем Николаевичем Арцименевым во временное пользование Еранцеву. Проводив участкового, Еранцев пробежал отпечатанный на машинке текст доверенности, не нашел в нем ничего подозрительного, сложил лист, и вдруг его охватили досада и стыд, как если бы он, сам не желая того, залез в чужой карман и пойман за руку. То, чего не разглядели или не захотели разобрать глаза — неверную дату доверенности, — не пропустило пытливое, тревожное в те мгновения чутье.

Если это не случайная ошибка, значит, в ней есть умысел. Согласись Еранцев с указанной на доверенности датой, выходило, что машину он получил в свое распоряжение на три дня раньше, чем на самом деле. Но Еранцев пока не торопился с выводами. Все могло

быть иначе, и нечего загодя винить человека в нечестности, тем более человека не чужого — друга.

Жизнь свела Арцименева и Еранцева еще вон когда — в школьные годы. Они, правда, не сидели за одной партой: Игорь учился в девятом, Еранцев — в седьмом. Несмотря на это, Игорь — почему-то он не дружил с ребятами из своего класса — сошелся с Еранцевым. Когда настал час расставания — отец Игоря, ученый, мучительно коротавший два года в глухомани, снова пошел в гору, — обоим было очень трудно. Поначалу переписывались. Письма шли к Еранцеву из тогда еще неизвестного научного городка, где, со слов Игоря, отец его основывал новый исследовательский институт.

У Еранцева не было такого выдающегося отца, не было даже обыкновенного — убили на войне. Потому и выпало ему идти по жизни, как по канату: того гляди, оступится, свалится. Школу он закончил кое-как, ходил драный и голодный, подрабатывая где только можно, чтобы помочь часто болевшей матери. Его дважды исключали из института, где он не справлялся с учебой все по той же причине: много работал, мало ел. И все же в институте он мыкался не зря, и под конец загорелся желанием принести пользу обществу. То, что пришло ему в голову как дипломный проект — принципиальная схема установки общей анестезии, которая была бы в пять раз меньше, в десять раз дешевле существующих образцов, — стало для его души первым томящим зовом, первой тревогой, переросшей потом, когда первоначальный замысел не удовлетворял его, в долгую изнуряющую муку. Тогда-то, после выхода журнала с его статьей о преимуществах нового способа обезболивания, получил он письмо, написанное, судя по бегучему почерку, в лютой спешке. Еранцев обалдело уставился на подпись: письмо было писано Игорем Арцименевым, заведующим лабораторией того самого института, отцом которого, о чем не без хвастовства сообщалось в письме, считался старший Арцименев.

Игорь звал Еранцева к себе. Он открыто писал, что готов на все, лишь бы переманить Еранцева в первую очередь как специалиста и, само собой разумеется, как товарища и единомышленника. Мало того, Игорь как-то вскользь, небрежно предлагал ему должность старшего научного сотрудника. Впервые за много лет Еранцевым овладела веселая беззаботность. Привычный к немилостям жизни, он опешил, но быстро спра-

вился с собой, отбил Игорю телеграмму: согласен, выезжает на днях.

В конструкторском бюро НИИ неотложной хирургии — там изготавливали и испытывали, между прочим, реанимационную аппаратуру — никаких льгот у Еранцева не было. Его не затирали, нет, просто он, как любой другой после института, должен был знать свое место и до поры, прежде срока не лезть в круг заслуживших право творить. "Молодой да ранний" тут был не в ходу, всякому, особенно пробойному и нетерпеливому, здесь давали время утихомириться, остыть. Что из того, что у Еранцева на подоконнике лежала свернутая в трубочку идея, нужная, в чем он не сомневался, всем. За год работы Еранцев присмирел и поскутился, махнул было рукой на мечту немедленно приступить к осуществлению институтского, уже претерпевшего изменения проекта.

С письмом Игоря к нему пришла уверенность. Еранцев почувствовал, как неожиданно все в нем переломилось, как пошла в кровь и бродит в нем надежда, и всего один денечек понадобился ему, чтобы отметить у кого и где надо "бегунок".

Дорога до городка, где жил Игорь, складывалась легкая: после двух часов езды на поезде пересел на электричку, ехал еще два часа, сошел на желтый от палых липовых листьев перрон. Предчувствие, обещавшее радостную близну, не обмануло его. Игорь встретил, как брата, обласкал и обогрел. Он, правда, слишком суетился, слишком подчеркивал, что они с Еранцевым одного роду-племени, лучше бы не нажимал. Правда, уже наутро такое поведение Игоря Арцименева больше не смущало его. Еранцев был тогда удачливей, чем когда-либо до этого. Все шло хорошо, иногда даже делалось тревожно, что все идет гладко. Сразу, не мешкая, дали комнату в общежитии, через неделю оформили пропуск в институт. Засветилось вовсю, даже погода выдалась соответствующая — стояли лучезарные, безмятежно-мягкие осенние дни.

Еранцев еще с неделю валял дурака, знакомился с начальством, приглядывался по совету Игоря к его сотрудникам. Лаборатория у Игоря была уютная, как-то по-домашнему отлаженная и, если не считать четырех парней, состояла из молодых лаборанток, среди которых встречались очень симпатичные, будто бы набранные специально для того, чтобы на них глядеть.

Но скоро безделье стало невмоготу. Еранцев начал чувствовать то стыд, то внезапно поднимающую

ся злость, и это его состояние, должно быть, не ускользнуло от Игоря.

В срочном порядке Игорь затеял со здешними друзьями ночной преферанс. Собрались в коттедже отца, окруженном золотоствольными в свете фонарей соснами. Тишина, невнятная музыка, вино...

Еранцев никогда не играл в карты и вообще диву давался, как это люди, не жалея времени, просиживают ночи за картами. Подавленный продолжением праздной неопределенности, он угрюмо торчал на виду у вошедшей в азарт компании, по его собственному мнению, как бельмо на глазу. Когда Еранцев задумался, хорошо ли будет, если он незаметно, по-английски уйдет к себе в общагу, Игорь словно угадал его мысли. Взяв два фужера с вином, повел Еранцева в кабинет отца; там, стоя у открытого окна, вдыхая запах перестоявших маслят, они выпили до дна. В который раз Игорь вспомнил, какими худющими, зато легкими и пронырливыми были они в те далекие годочки, как, бывало, лазили на бахчу за еще не зрелыми арбузами, потому что кормиться было почти нечем. Тут он опять покривил душой: уж кому, как не Еранцеву, помнить, что с едой у Игоря обстояло намного лучше, да и никому не пришло бы в голову сравнивать его с заморенными, бескровными одногодками.

Еранцев, удивленный ложью Игоря, все же никак не выдал своего волнения, он внимательно слушал друга — Игорь, видно, после пустячного трепя готовился сказать нечто важное. И верно, Игорь заговорил о проекте Еранцева. Он ознакомился с расчетами, технической документацией и всеми законными и незаконными путями будет содействовать тому, чтобы заинтересовать новинкой сперва какой-нибудь завод-изготовитель, потом — после испытаний — высшие инстанции. Этой работы, добавил Игорь, когда она достигнет первоначальной завершенности, достаточно, чтобы защитить диссертацию на соискание сразу двух степеней: кандидатской и докторской.

Но пока — Игорь сильно нажал на слово "пока" и все же, изобразив подгулявшего мужика, погрозив пальцем, ровно бы свел предостережение к шутке — Еранцев ничего не должен давать в печать. Лучше все делать молчком. Не только по той причине, что Игорем Арцименевым уже создана и испытана подобная, хотя и не такая совершенная, как у Еранцева, установка, которую он покажет в действии завтра и будет в вечном долгу, если Еранцев подскажет, что и как можно

дотянуть до принятия опытного образца в серийное производство. Ему, Игорю Арцименеву, если говорить откровенно, надо защитить диссертацию, стать заведующим отделом, тогда им — вместе с Еранцевым — сам черт не страшен.

Вести разговоры, будь они хоть какие, сложные или простые, Еранцев не умел, людей, изводящих ближнего своего болтовней, быстро высматривал и сторонился. И тут, выслушав Игоря, только вздохнул. Некоторое время он постоял перед Игорем, не помня себя, охваченный новым интересом: что это за установка и почему до сих пор Игорь ни единым намеком не дал о ней знать? Или она неудачна, или, в том случае, если Игорь решил из скромности сказать о ней не совсем лестно, очень добрая штука. Тогда ему ничего другого не остается, как радоваться.

Остаток ночи он возбужденно бодрствовал, воображение разожглось: может, и вправду Игорь скрывал от него чудо? Тогда почему не показал раньше, а как бы даже затаился и про себя назначил срок, когда можно будет открыться?

Невыспавшийся Еранцев шел в институт, чувствуя по всему одеревенелому телу озноб нетерпения. Только после того как Игорь завел его в приборный кабинет и с торжественной медлительностью — считай, исторический момент! — расчехлил установку, Еранцев расслабленно вздохнул. Даже беглого осмотра было достаточно, чтобы понять: радоваться нечему. Техника сложная, громоздкая. Отличалась она от предыдущего поколения наркотных установок в первую очередь тем, что производила впечатление внешним видом — чистая работа. Размерами она была тоже меньше прежних, и все-таки самое существенное — принцип действия и непригодность к использованию в нестационарных условиях — осталось без изменения.

Новинка — улучшенный, даже на вид надежный, с электронным табло автомат для дозировки ингаляционной смеси. Но сама смесь, "коктейль" — в состав его входили производные барбитуровой кислоты — применялся, чтобы добиться нужного сумеречного состояния оперируемых, в сочетании с охлаждением коры мозга. Еранцев зябко передернул плечами: не любил барбитураты — для полного наркоза приходилось вводить их без малого две трети смертельной дозы.

Еранцев уже прикинул про себя, сколько денег будет стоить серийное производство установки. Но, пой-

мав настороженный, все понимающий взгляд Игоря, он промолчал.

После тех дней прошел, почитай, год. Игорь слово свое сдержал: договорился с директором какого-то завода об изготовлении опытного образца, послал туда надлежащие бумаги, техническую документацию.

К тому времени, когда в адрес отдела поступило три небольших ящика с надписью: "Осторожно, не кантовать", Игорь был в приподнятом расположении духа. Опыты, уже с людьми, а не с животными, как на первых порах, проходили один удачнее другого, близился срок защиты диссертации. Еранцев помогал ему.

Важно было, чтобы Игорь не узнал о ящиках, и так уже Еранцев у него в должниках, а тут... Нет, забрал потихоньку квитанции, в одиночку, без шумихи привез груз с железнодорожной станции.

После того как все разошлись по домам, втащил ящики в подсобное помещение. И так, на второй день опять оставшись после работы, стал напропалую, с дрожащей зеленоватой теменью в глазах собирать установку. Он спешил, сам не зная зачем. Как если бы жизнь всего человечества зависела от его расторопности, закончил сборку и, не откладывая ничего на потом, принялся соображать: кого бы взять в помощники? Одному братся испытывать установку было негже — опасно, да и не положено, случись ЧП, за-таскают Игоря.

Связываться с кем-нибудь из парней Еранцев не отважился — ввиду немногочисленности народ этот в отделе был донельзя избалован женским вниманием, расхристан и развинчен, и нечего было от него ждать серьезности и ответственности. Еранцев пересилил себя — не надо пороть горячку, надо осмотреться по сторонам, спокойно, пока занимается наладкой, обдумать, кого выбрать.

Тогда-то он и наткнулся на девушку, засидевшуюся в отделе допоздна, она что-то подсчитывала, стуча костяшками откуда-то вытасненных счетов, хотя рядом на столе стоял арифмометр. Они познакомились, звали ее Надеждой. Еранцев вспомнил ее, он, оказывается, просто забыл, что еще в начале лета, когда пришли новенькие, выделил Надежду среди остальных: сперва заметил ее глаза, чистые, доверчиво-восхищенные, потом запомнил по-школьному угловатую фигуру. В тот вечер она, застигнутая за счетами, пристыженно дрогнула, встала, и Еранцев заметил, что она держится совсем по-другому, чем тогда, сразу после прихода сюда: она

как-то быстро и незаметно выладнилась, веяло от нее спокойствием женщины, знавшей, что она не хуже, а может, лучше других.

Так они первый раз разглядели друг друга с близкого расстояния. Теперь-то Еранцев понимал, почему Надежда без особого сопротивления, безбоязненно согласилась оставаться с ним наедине, больше того, в тайне от всех проводить испытания. У нее, у Надежды, было любопытство, в ее возрасте удовлетворяемое полнее, если для этого что-то делается без спросу, в секрете. Но заговорщицкая сторона дела — это одно, у Надежды были и другие причины для того, чтобы с радостью отозваться на предложение Еранцева. Ей уже надоело довольствоваться пустячными поручениями, ведь она мечтала, собираясь идти в институт, прикоснуться к чему-то высокому, необыденному. Сам институт виделся ей загадочным храмом науки, куда глупым и низменным людям вход запрещен. Она же с первого дня занялась обыкновенным: бегала за чаем-сахаром в буфет, навещивалась в "мышинный ресторан", как именовали здесь кухню, где готовили корм для подопытных животных, собирала по рублю к очередному дню рождения.

Так что Еранцев, сам того не подозревая, спас от разрушения прежнюю веру Надежды в то, что в этом институте творят необычное. Сама Надежда, первый раз следуя за Еранцевым к таинственной, обитой железом двери, ощутила на спине два крыла — если бы не шла, полетела бы.

Она была понятлива, легко усваивала то, чему обучал ее Еранцев. Хвалить он Надежду, однако, не решался, боясь растравить ей душу, болезненно чуткую на похвалу в эту пору жизни. Что правда, то правда, о ее возрасте он помнил постоянно. Потому, может быть, он в ее присутствии бывал суров к себе и сдержан. Но и то правда, что слишком, видать, сильно старался он блюсти себя, чересчур внимательно следил за расстоянием между собой и Надеждой...

Попробовав установку вхолостую в нескольких режимах, Еранцев надумал испытать на себе новый "коктейль". "Коктейлей" было у него несколько, и раньше, до отладки собственной установки, он проверил каждый на животных. Доверяться установке, еще не готовой полностью — Еранцев не дождался блока электронного слежения за пульсом, дыханием, температурой, — означало идти на риск. И все же он решил, что лучше рискнуть, чем маяться от задержки, когда

каждый пустой час протекает, как вечность. Он хотел в случае удачи самый малотоксичный "коктейль" уступить Игорю. Чтобы эфира, хлороформа и прочих разрушительных для тела смесей употреблять самую малость. Релаксанты — дополнительное средство усыпления — действовали наподобие яда кураре.

Дозы, приготовленной для себя, должно было хватить на два часа глубокого сна. Ждала начала испытания и Надежда — со страхом. Еще накануне она замаялась от мысли, что "коктейль" будет держать во сне Еранцева дольше рассчитанного срока и придется ей вызволять его из наркоза, пускать в ход шприц со спецпрепаратом...

Наконец все было готово. Пора...

Еранцев невольно затаил дыхание — ему, сидевшему сейчас в машине, показалось, будто тело его, перестав бодрствовать, погружается в приятную немоту. Тишина сменяется полным беззвучием, и вот он уже не чувствует ни рук, ни ног, и только тяжелые веки еще осязаемы... Тут Еранцев отвлекся: к нему опять шел, разбойно усмехаясь, Шематухин. Чтобы Еранцев издали заметил его, свистнул пролетевшим высоко над головой ласточкам, потом заглянул в машину.

— Михаил Васильевич, — с игривой уважительностью сказал он. — Хорошо-то как сидеть-посиживать. А я вот чифирил маленько, хватанул кружечку — мотор аж гудит! Полетел бы, как эти вот... как их...

— Ласточки, — подсказал Еранцев. — У тебя, Шематухин, какая-то страсть к превращениям.

— Прошу пояснить, — заморгал глазами Шематухин. — Образование у меня неоконченное начальное. Не понял...

— Ну, вчера, скажем, в волка превращался, сегодня птицей захотел стать...

— Как это у них, ученых, называется? — повеселев, спросил Шематухин.

— А ты у них и спроси, — сказал Еранцев, вылезая из машины. — Отстань от меня, Шематухин.

— Один кореш по-другому говорил: оторвись на полштанины! А чего ты по-человечески не скажешь: мол, так и так, чижало мне, Григорий Саныч...

— Верно, чижало, — снова улыбнулся Еранцев. — Хуже не бывает.

— Ну так-то лучше. Дурачок ты, Еранцев, — с доверительным оттенком сказал Шематухин. — Это, так сказать, тебе мое "фэ" под занавес. Я-то понадеялся, что ты из мужиков, не то что эти глухари-умники, ко-

торые по-людски говорить разучились. Я-то, дурак, думал, мы будем друг дружки держаться, когда надо им по соплям надавать. Теперь, коли дороги наши разошлись, иди ишачить. Вспомни, что один большой пассажир сказал: труд создал человека. Че они со мной знаться не хотят, я понимаю: замараться боятся. Для истории себя берегут. А мы-то с тобой че не поделили? Мы помрем, а там поди ищи, что после нас осталось. Машину и ту на могилу не доставишь. Одна-разьединая у нас судьба.

— Зря ты скромничаешь, Шематухин, — Еранцев двинулся под навес. — У тебя жизнь куда легендарнее. Нас с тобой врозь похоронят.

— Че ты знаешь про мою жисть, — настороженно сказал Шематухин. — И че ты Наталку в черном теле держишь? Вишь, баба в пруд готова кинуться. Ежли даже кто есть у тебя, хоть разок уважь.

— Зануда же ты, Шематухин. Наталью не обижай. Прощу тебя.

— Может, я жениться на ней хочу... — насмешливо сказал Шематухин.

— Перебьешься...

Шематухин от неожиданности какое-то время таращился на Еранцева, но ничего не сказал. Пошел к стройке. Там уже закончили перекур, принялись за работу.

Еранцев сел завтракать, не заметил, как опустела миска, опять задумался. Наталья косила на него из-под свалившейся на лоб челки, но Еранцев не отвечал ей, прятал глаза. И, часто-часто отхлебывая чай из обжигающей руку кружки, тяжелел от ощущения неизъяснимой вины. Вдруг услышал, как шумит взобравшийся на стену Шематухин.

— ... Ему хоть бы хны, — выкрикивал тот. — Вон мозги пудрит чужой бабе. А мы для него ноль без палочки. Приедут принимать, скажут: пока не готово, денег вам не видать, как ушей своих. Ему гулянье, нам страданье, — Шематухину понравилось, что он, нарочно распаляя себя, заговорил складно, вроде даже стихами. — Да кто он таков, братишки? Имеем мы право, как всякий трудовой коллектив, на место его поставить?

Еранцев подавленно примерился к крутым сходням, подобрал помятое ведро, впихнул в него пяток кирпичей. Одолев первый пролет, он на дощатом пятачке перевел дыхание — было жарко, душно.

— Каков хахаль, таков и рабочий, — сдвинул набекрень кепку Шематухин.

— Займись-ка сам чем-нибудь, — одернул его Аркаша Стрижнев. — Завелся с утра пораньше.

Сейчас лицо Еранцева показалось Стрижневу притягательным как никогда. Можно было подумать, что с этого лица только что сошла темень, оно светилось усталостью, которая отличается от мускульного утомления и накапливается не иначе как в долгих раздумьях. Стрижнев поймал себя на том, что рука его шарит по карманам, отыскивая карандаш, но он усмирил себя, поглядев на Еранцева с добрым участием, схватил валявшиеся неподалеку носилки.

— Давай вместе, — предложил он.

— Давай, — улыбнулся Еранцев.

Опешивший Шематухин сплюнул по тюремной привычке сквозь зубы.

— Столковались, падлы!..

Однако он отвлекся, заведя за перелеском густую пыль, поднятую, должно быть, какой-то машиной. Сбежав вниз, кинулся к дороге, замахал руками, когда на лужайке появился грузовик с людьми. Он еще толком не понял, есть ли надобность сейчас ехать в Каменки, но надо было что-то говорить, раз остановил машину.

— Не в Каменки едете?

— Никак нет, уважаемый, — сказал один, налегая грудью на борт и выставя напоказ ствол ружья. — В лес путь держим. Тово, пожар тушить...

— А ружье зачем? — полюбопытствовал Шематухин.

— Да так, если волк сдуру налетит. Во скоко боеприпасов. — Мужик пятерней похлопал по туго набитому карману.

— Гляди, не промахнись! — усмехнулся Шематухин.

— Попадись он мне, решето сделаю, — тот стукнул себя кулаком в грудь.

— А промажешь, сразу за ширинку хватайся, — посоветовал Шематухин. — Говорят, он у мужиков воробья отрывает...

— Брехня, ребята! Это он страшает.

— Хватит, пора нам, — крикнул из кабины шофер. — Если тебе в Каменки надо, скоро молоковоз пойдет, карауль...

Машина тронулась, постепенно прибавляя ходу, окуталась пылью, но прежде Шематухин успел заметить, что у каждого второго меж колен зажато ружье. От воинственного вида мужиков Шематухин пришел в какое-то детское возбуждение.

Но потеха больше на ум не шла. Должно быть, отто-

го, что Наталья не выказала никакого отношения к нечаянно вырвавшемуся признанию насчет края света. Ни в шутку, ни всерьез, будто он, Шематухин, пеня на ровном месте. Теперь пиши пропало. Ах, все-таки баба что надо, грубое обращение для нее непривычно.

Но ведь и Шематухина надо понять — не может он, даже если клятвенно обещал самому себе навсегда завязать с прошлым, сразу повернуть на сто восемьдесят градусов. Выходит, что рубит сплеча, не держа на кого-либо сердца, а после — последние дни почему-то все чаще — начинает раскаиваться. Годы, видать, скажутся. Что ни говори, уже не тот он, Шематухин: и волос поредел, и в голосе появилась слабинка, и не вгонял он уже одним только взглядом кого хочешь в дрожь.

Одна гордость осталась, но и тут нет-нет да и перевесит обида на судьбу, отсюда громы и молнии. Может, помимо всего точит зависть? Завидует же он, ежели по совести, тому же Еранцеву — сумел парень при его годах сохранить душу.

С завистью, даже с самой черной, можно совладать, но было еще что-то — не угадать даже что! — бередящее Шематухину душу, когда он наблюдал за Еранцевым. Еранцев уже одним только видом, хотя не скажешь, что он вышел телом — хрупковат, тонкорук, остроплеч, — странным образом тревожил Шематухина. Да, бывали мгновения, ему хотелось чем-то походить на Еранцева, ему, корявому, с бычьими повадками шаромыжнику, и только потом он с едкой усмешкой на начальственных басах разносил самого себя: ишь, чего захотел, такой-растакрой, захотел, чтоб от баб не было отбоя, размечтался.

Однако самое главное, чем расстраивал его Еранцев, было в чем-то другом, что увидеть невозможно, но можно почувствовать. Гадая о работе чужой души, Шематухин, правда, понимал, что работа эта бескорыстна и черного с собой не несет. И, бывало, Шематухин тайком умилялся Еранцевым, но бывало и так, что с боязнью и невесть откуда берущейся враждебностью приглядывался к Еранцеву, пытаясь найти в нем выдающееся отличие, какое помогло бы понять, чем живет душа человека. И всякий раз злился — в Еранцеве, сколько и с какой стороны ни всмотришься в него, не обнаруживалось ничего особенного, что говорило бы: вот то, что ты отгадываешь. Только во взгляде Еранцева редко-редко, зато нестерпимо остро пробивался свет напряженной мысли, от которой Шематухин

становился помирнее и, что уж совсем плохо, начал думать о добре.

Сейчас Шематухин, поглядывая на Еранцева и Стрижневу, тащивших по сходящим носилки, досадливо сплюнул. Получилось нехорошо — два слабака, два божьих одуванчика ломают, а кто поздоровее да похитрее, те даже не охнули, не знали и знать не хотели об аварии на линии электропередачи.

Шематухин, зверея от сознания собственной оплошности, кинулся было в сторону перелеска — ошибку такую не поздно исправить.

Но над прудищинской околицей высоко, пышно встала пыль, минуту спустя на взгорье показалась машина. Шематухин, раздумав идти к подстанции, круто повернул к дороге, побежал, чтобы успеть перехватить молоковоз.

6

Бежавшему по-над распадком Матерому стало видно, как появляется со стороны деревни машина, напрягается мотором, словно хочет оторваться от черной, похожей на дым пыли. Всякая машина, показываясь на этой дороге, настораживала Матерого, при виде ее начинало частить сердце. Он догадывался, что не каждая опасна, и все-таки, будучи здесь, в придорожном поле, каждую провожал взглядом до развилки, после чего можно было либо успокоиться, либо встревожиться пуще прежнего, все зависело от того, куда повернет машина: вправо или влево. Когда влево, значит, в лес. Тогда Матерый, скользя брюхом по стерне, бежал напрямки до еще одной развилки, что находилась в лесу. Там он отставал от машины, если она брала вправо, в противном случае опять бежал, держась во фланге, покуда машина не останавливалась у крутояра, где дорога кончалась. Уже потом, определив, чем будут заниматься люди, убедившись, что они ничего страшного для его выводка не замышляют, Матерый уходил.

Эта машина, едва запахи ее достигли нюха, заставила Матерого вжаться в землю. Бензиновый дух не мог перешибить невнятного, но всегда жуткого запаха.

То был запах пороха.

Ощущая пустым задрожавшим животом жар земли, Матерый следил за машиной, видел людей, слышал их грубоватую песню и мгновенно, как только машину накрыло пылью, метнулся к лесу. Пролетев с полкило-

метра, удивленно остановился: машина, сойдя с дороги, напрямиком двигалась в направлении пожара.

Матерый расслабился, сразу словно обвис, будто из него вышел весь воздух. Он долго в полубоморочном забытии возвращался к тому месту, откуда разбежался. Он еще до этого очень хотел пить, а вода была в конце распадка в маленьком пруду.

Матерый спускался по пологому склону, грудь его часто, сухо дышала, голова совсем затяжелела, во всем усыхающем теле не нашлось никакого запаса, чтобы возместить зря потраченную силу. Почти у самой воды Матерый услышал шелест осоки, плеск воды, разглядел двух чирят, спокойно, с ленцой плавающих в мутной заводи. Вошел в теплую воду и вдруг отшатнулся — из белесого зеркала воды смотрело на него востроносое, со свалаявшейся грязной шерстью незнакомое существо. С глухим стоном Матерый ударил лапой по собственному отражению и, когда оно раздробилось на мелких волнах, принялся лакать. И, хоть от пруда тянуло тихой болотистой испариной и все живое, кроме утят да пчел, густо гудевших за осокой, было охвачено сонной дремой, Матерый у воды стал оживать. Он огляделся, в этот раз уже с интересом, радостно узнавая давно знакомую картину. Зной видимыми трепетными волнами слоисто растекался по лугам, земле, как все-му живому вокруг, дышать было трудно.

Матерый нерешительно двинулся вперед, чувствуя кончиками лап мягкое студеное дно, потом дно ускользнуло и Матерый окунулся по уши. Задрав голову, запыхавшись, он поторопился назад — из-за склона, с дороги донесся шум мотора.

Матерый попробовал стать на ноги, но дна не нащупал, ушел в воду с головой, вынырнул и отфыркнулся. Да, устал. С трудом выбрался, осел на траву. Бежать, как прежде, да еще в гору, он уже не мог, медленно лез на крутизну, нагретую солнцем так, что почва жглась под ногами. Когда Матерый наконец поднялся наверх, машина приближалась к развилке. Волноваться, гадать, куда она повернет, не пришлось: слабо прорвавшийся сквозь сухой воздух запах поскотины подсказал ему, что машина везет молоко.

Матерый перевел дух, оглянулся. Кажется, от стогов, раскиданных широко, тянуло каким-то дурманом, от которого гудела и болела голова. Матерый почувствовал, как слипшаяся на спине шерсть встала дыбом. Ему почудилось, будто в дошедшем до него хмельном духе луга улавливается родное — не запах, а только на-

мек на запах волчонка. Матерый бросился по своим следам. Легко одолев крутик и снова очутившись на открытом месте, дал работу ушам, глазам, носу, нетерпеливо отгадывая, что могла скрыть от него земля.

Шематухин ехал в кабине молоковоза, дышал ветром и пытался припомнить, какой сегодня день — четверг или пятница. Память подводила. Он перебрал прошедшие дни недели, но уверенно остановиться на пятнице не смог, решил спросить у шофера, неразговорчивого насупленного парня:

— Какой седня день?

— А хрен знает, — нехотя ответил тот.

Шематухину самому не особенно охота разговаривать, и все же он, еще раз взглянув на черный клоч дима над лесом, в направлении которого укатила первая машина, не утерпел.

— Ты вот много ездешь, — сказал он. — Не слыхал, принимают какие меры, чтобы того волка истребить? Не покусал он еще кого?

— Покуса-ал... — угрюмо протянул парень, посмотрев на заветренное до черноты лицо Шематухина. — Вроде ты мужик нормальный, а послушать... Веришь, что ли?

— Ну, ну, — втянув голову в плечи, огрызнулся Шематухин. — Сопляк еще, а интерес старшего критикуешь.

— А чего я, — шмыгнул носом парень. — Слышать много слышал. А видеть не видел... А теперь все равно, вранье это или нет, весь лес прочешут. В район, в санэпидстанцию звонили.

— Ну и што?

— А те отвечают: успокойте население, вертолет вышлем.

— Вертолет, значит, чтоб выследить, — догадался Шематухин.

— Будут выслеживать! — подскочил парень. — Из винтовок снайперских лупить будут почем зря. Заметят сверху какого подозрительного зверя — бац! Под шумок не только волков решат...

— Да-а, — не зная, что сказать, Шематухин решил помолчать. — Такое дело.

Въехали в Каменки, центральную усадьбу колхоза. Одна-разъединая улица деревни проглядывалась насквозь, на ней не было никого — и тут все попрятались от жары. Перед правлением, возле шеста с выцветшим

флагом Шематухин вылез из кабины, застегнул на груди рубаху, с ходу направился в бухгалтерию.

Если сегодня пятница, обязательно надо, кумекал Шематухин, договориться насчет понедельника. Пускай дают расчет. А работу пусть принимают хоть завтра. А вот барана, хорошо бы барана заполучить сегодня.

Подогревая себя, чтобы взять Сергея Филипповича наскоком, Шематухин решительно толкнул дверь. Сергей Филиппович, обычно сидевший на стуле, как приклеенный, рылся в книжном шкафу. Он обернулся на стук, постоял, будто припоминая, когда и где видел Шематухина, потом удивился и обрадовался родственнику так, как если бы тот появился из-под земли.

— Кого я вижу! — не совсем твердо держась на ногах, умилился Сергей Филиппович. — Вот это телепатия, так телепатия. Я ить о тебе с утра думал, послать уж хотел... Честное слово! — Он, озабоченный, посмотрел на дверь, подождал и спросил: — Ты в единственном числе, что ли? Никого с тобой нет?

— Чевой-то ты такой, — настороженно, даже недовольно сказал Шематухин, никогда не видевший Сергея Филипповича в таком расхристанном состоянии. Ну, один. Кому-то надо вкалывать.

— Ишь, какой, — надулся Сергей Филиппович. — Начальство. На, хоть побрейся...

Протянул Шематухину электробритву, показал на розетку и снова стал беспорядочно рыться в ящиках шкафа.

Шематухину это не понравилось, но и лезть на рожон он не собирался — не он тут хозяин. Он взял с электробритвы колпачок, брезгливо подул на щетки и начал бриться. Он то и дело бросал короткие взгляды на Сергея Филипповича, недоумевая, почему тот кажется ему захмелевшим — мужик, об этом знает вся деревня, непьющий.

— Телеграмму получил вчера, — словно угадав, чем мается Шематухин, сказал Сергей Филиппович. — Теща померла. Сегодня с Настасьей вылетаем. В восемнадцать ноль-ноль самолет...

— Это чего ты, Филиппыч? — сразу вернувшись к своим заботам, вопрошающе уставился на дядю Шематухин. — Обратно-то когда?

— В том-то и дело, отпуск у меня, — счастливо потер руки Сергей Филиппович. — Оттуда, чуешь, до Крыма три часа... Путевка, вот она. Два года ждал ее, миленькую...

Сергей Филиппович нежно разгладил лежавшую на

столе синенькую бумажку, улыбнулся, не желая замечать испуганного, умоляющего взгляда Шематухина.

— Да как же с нами? — не выдержал Шематухин.

— С вами? С кем это, с вами? — Сергей Филиппович изобразил на лице ужас. — С твоей шпаной?

— Полегче на поворотах, — круто сказал Шематухин. — У меня, можно сказать, академия наук работает. Я из них все соки выжал, понял? Объект экстра-класс, такого больше вам никакой дурак делать не будет. Так что деньги на бочку.

— Бачу, джое сердитый и справедливый хлопец, — сказал Сергей Филиппович. — Раз так, все будет в норме. Я ведь не зря тебя спросил, есть с тобой кто или нет. От ваших денег во как надо избавиться, они у меня третий день в сейфе лежат.

Сергей Филиппович открыл сейф, достал ведомости и амбарные книги, взял стопку денег и со всем этим хозяйством уселся за стол.

Меж тем Шематухин тихонько дотянулся до стакана, стоявшего на подоконнике, заглянул внутрь, услышал запах коньяка и испугался. Чудится, что ли?

— Я когда раз в год захочу выпить, то отравлять себя не желаю. — Сергей Филиппович видно уловил замешательство Шематухина. — Как это у вас, блатных, поется: "Пить — так коньяк, спать — так с королевой". Верно, едрена корень, сказано... А то нальются этой бормотухи, как клопы, аж смотреть тошно.

Оформив какую-то бумагу, Сергей Филиппович нагнулся, поднял откуда-то из-под стола початую бутылку коньяку. Повернулся к Шематухину.

— Давай лампадку, — сказал. — За тещу мою надо. Все на тещ жалуются, анекдоты про них травят, я ничего худого про свою не скажу.

Шематухин, соглашаясь, кивнул, с непривычки мучительно выцедил коньяк, задержал дыхание.

— Такой напиток и без закуски можно, — сказал Сергей Филиппович. — В нем все есть, что организму требуется. А теперь, — посуровел он, придвинув к Шематухину бумаги. — Теперь распишись и получай.

— На всех? — спросил Шематухин.

— А как иначе? Вас восемь человек.

— Но...

— Ну вот, если поровну, тысяча шестьсот двадцать три рубля двенадцать копеек на рыло. В целом двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре рублика с копейками. Если ты там свою бухгалтерию вел, выдавай как хошь. Только чтоб сюда, в правление, правду

искать не ходили, понял? Работа, конечно, плевая, проще не придумаешь. Основная выплата — за нулевой цикл, понял?

— Чего тут не понять.

Почувствовал, как на лбу выступила испарина — что ни говори, коньяк, — Шематухин взял протянутую авторучку и расписался в двух местах.

— Есть куда положить? — вскинул на него тоже заблестевший испариной лоб Сергей Филиппович.

Он принялся считать деньги, вернее, не деньги, а пачки, сначала зеленые — с трешками, потом синенькие — с пятерками. После этих мелких пошли покрупнее. Червонцы и четвертные, под конец опять стали взмелькивать зеленые.

Стараясь не дышать на Сергея Филипповича, Шематухин наклонился над столом, разглядел, что было в последних зеленых пачках — то были полсотенные в отличие от захватанных, крученных и с трудом разглаженных трешек почти новенькие, чистые.

— Будешь считать или так поверишь? — спросил Сергей Филиппович.

— Ты же мне доверяешь. А я тем же концом по тому же месту.

— Смотри, Гриша, — строго вращая глазами, сказал Сергей Филиппович. — Я, сам знаешь, не Макаренко, опыты с деньгами проводить не имею права. Держи вот...

Он вытащил из-за шкафа сморщенную полевую сумку, сшитую из дерматина. Шематухин обтер сумку рукавом. Ощувив лишнюю тяжесть, отошел в угол и вытряхнул на пол десятка полтора гаек.

— Чего соришь-то?

— Извини, — сказал Шематухин. — Прямо министр!

— Смотри, дооскорбляешь...

Шематухин, подойдя к столу, кинул в сумку одну пачку денег, вторую. Подумав, пристроил сумку к краешку стола так, чтобы можно было сгрести в нее все деньги одним махом.

От такой беспечности у Сергея Филипповича будто потемнело в глазах, он часто заморгал, кхекнул.

— Ну и ну! — погрозил он пальцем Шематухину. — Будто какой хлам сгребаете.

— А чего, — расхохотался охмелевший Шематухин. — Хлам и есть. Это только вы трясетесь: деньги, деньги...

— Куда уж нам... — опять кхекнул Сергей Филиппович.

— Слушай, я сейчас за бутылкой слетаю, — сказал Шематухин, — за свеженькой.

— Много будет, — помотал головой Сергей Филиппович. — В самолет не пустят.

Шематухин все еще запихивал деньги в сумку, ронял на пол пачку за пачкой и не успел очистить стол, когда вошел здешний зоотехник Фонин.

— А-а, на ловца и зверь бежит, — обрадованно крикнул Шематухин. — Ты мне барана отпустишь?

— Что за чушь он несет, Сергей Филиппович?..

— погоди, сядь, — сказал ему Сергей Филиппович. — Как ты с народом обходишься? Запомни: баран — это не чушь! Человек месяц спал и видел этого барана, а ты ему плюешь в душу. Ты, Фонин, иди выпей за благополучную сдачу объекта и оформи документ на выдачу барана товарищу Шематухину Григорию Александровичу, бригадиру наемных строителей...

— Пока не забыл, — спохватился Шематухин. — Ты, Сергей Филиппович, выдай мне соответствующую филькину грамоту, что получил за произведенную работу... ну, сумму знаешь. Чтобы ко мне подозрений не было.

Фонин после выпитого полстакана смягчился, виновато сказал:

— Вы, Григорий Александрович, извините, если что-то не так сказал.

— Ерунда, — простил ему Шематухин. — Барана приличного найдешь, я тебя на сабантуй позову.

— Найдем, — пообещал Фонин.

Шематухин старательно застегнул пряжку сумки, следуя совету Сергея Филипповича, повесил через плечо, в радостном возбуждении направился к двери.

— Одна на троих легко пойдет, — подмигнул оттуда.

Вторую бутылку пили опять без закуски, передавая из рук в руки сморщенное, обкусанное со всех сторон яблоко. Фолина развезло, Сергей Филиппович то и дело подливал ему из своего стакана, и он ходил из угла в угол, пытаясь спеть какую-то арию.

— Ну, покедова, — буркнул на прощание Шематухин. — Пойдем, Фонин.

На улице зоотехник сильно огузнул, видно было, с трудом соображал, зачем вышел из правления и куда собрался идти. Шематухин повел его под руку к магазину. Не решаясь вместе войти внутрь, Шематухин тщательно прислонил зоотехника спиной к стене, а сам, еще крепкий на ногах, пошел брать еще бутылку.

Между тем Фонин слегка очухался, осмотрелся и

разозлился, что его оставили в неподходящем месте. Он стоял на виду у всей деревни, то и дело терся спиной о стенку магазина, потому что колени его после первого хмеля стали подгибаться. Он с отвращением пытался припомнить, с кем и сколько выпил, но ничего из этого не вышло, пока не появилась подмога — живой Шематухин.

— Уведи меня отсюда,— попросил Фонин.— Что я, экспонат, что ли? Я же начальство...

— Ниче, пусть посмотрят,— засмеялся Шематухин.— Если при галстукe, значит, на тебя, гражданин Сутрапьян, не гляди, да? Ну, че таращишься?

— Какой Сутрапьян, чего ты мелешь? — Фонин попытался ожесточить расслабленный голос.— Ты, часом, не этот... случайно, не Шематухин?

— Но. Пойдем, выпьем, трезвее станешь.

— А куда это мы идем?

— Ну, работничек,— засмеялся Шематухин. — Дорогу на службу забыл.

— Верно, черт возьми! — обрадованно вспомнил Фонин. — Ладно, уважу тебе барашка.

Они шли к ферме, горбато протянувшейся вдоль вытопанного оврага, сквозь пыльное лопушье. Овчарня была старой, в соломенной крыше белели жердяные стропила.

Шематухин сумкой с деньгами заслонился от солнца, оглядел дряхлую постройку, досадуя, закашлялся.

— Тебе бы в этой развалюхе пожить с неделю, а! А еще колхоз-миллионер. Кха-х!

— Иди ты... — отмахнулся Фонин. — Много вас таких!..

Неожиданно для Шематухина он вырвался вперед, чуть не запнулся в загоне о корыто с водой, но дальше пошел твердо, почти прямо. Пока Шематухин удивлялся Фонину, тот ловко нырнул в дверной проем и исчез в глубине овчарни. Шематухин сунулся следом за ним и вдруг, вспотев, повернул обратно: изнутри шибанул в нос терпкий овечий дух. Потеряв Фонина, он испугался — никаких разговоров с зоотехником затевать не будет. Опять полез в овчарню, очутился в парном удушливом сумраке, среди горячих овечьих тел. Ладонью прикрыл рот, услышал, как под ногами захлопала грязь.

— Фонин, мать... — крикнул он.

В конце овчарни светляком мелькнул свет электрической лампочки. Кто-то, дыша с присвистом, приблизился к Шематухину, замер перед ним громоздкой жутковатой глыбой.

— Кого тебе? — спросил мужской голос.

— Фони́на, вместе сюда пришли, — невольно сжимаясь, сказал Шематухин.

— Перебрал он, — недовольно пробасил тот. — А я-то думал, с кем это он. Тебя по голосу признал: Гришка-конокрад...

— Ну, полегче... — хотел срезать Шематухин, но в голосе его не было прежней подавляющей силы. — Кто тебе набрехал-то?

— Да это понятно, — неизвестно чему обрадовался мужик. — Ныне одне машины кругом. Так, будь лошадей поболее, ты бы их воровал. Думаю, в кровях это у тебя. Тут к нам цыганский табор прибивался в свое время.

Шематухин почувствовал тугие удары под рубахой и впервые за много лет обильно вспотел от горячего стыда. Он точно не знал, правду говорит мужик или неправду, проверить это никому не удастся, и сейчас вместо злости пришло любопытство: может, на самом деле выпадет узнать о родителях, которых Шематухин никогда не видел и считал пропавшими без вести? По тому, как бойко держался мужик, трудно было угадать, чем он здесь, в бросовой овчарне, занимается.

— Ну, шпарь, шпарь, коли знаешь, кто да что я, да откуда... — весь загораясь, проговорил Шематухин. — Ты, часом, на картах брехать не мастак? Погадай-ка, а? Выпадет мне казенный дом или дальняя дорога?

Он уже свыкся с теменью и в полусвете, брезжившем в прорехи, разглядел здорового малого, который, судя по обмякшей фигуре, порядочно струсил.

— Ну, ладно, — буркнул тот. — Это я так... сдуру.

Шематухин, сразу остыв, шагнул мимо него, наткнулся на прирубленную к углу овчарни клетушку, рванул дверь. Фонин спал, навалившись на дощатый стол. Шематухин подошел к нему, постоял в долгом раздумье: будить или не будить?

Мужик, которого Шематухин так и не опознал в потемках, показался в дверях, и теперь его можно было узнать: это был Степка Парфенов, бывший кузнец, грузный, с увертливыми глазами, он, казалось, обдумывал, как поступить с Шематухиным. Он успел отдышаться, ему оставалось только успокоить глаза и корявые руки — Степка без всякой нужды хватался ими за полу изорванного халата. Наконец он, будто решаясь на что-то, сделал взгляд прицельным.

— Ты меня не бойся, — сказал Шематухин. — Меня ножами полосовали, в больнице семь швов наложили...

— Живучий ты, — с застарелой тоской проговорил Степка. — Жисть ты мне испортил, Гриша...

Степка был женат на той самой Нюрке, которую Сергей Филиппович прежде засватал для Шематухина. До свадьбы тогда не дошло, но до того, как раскрутилось новое судебное дело, Шематухин под видом жениха оставался у Нюрки ночевать, а попробуй такое утаить в деревне. От первых же слухов обо всем этом Степка, говорили, ударился в запой, грозился спалить Нюркину избу, с дружками запирался в кузнице и ковал не то мечи, не то копыя, готовя месть.

— Кхе-х! — оборвал молчание Шематухин. — Давай, Степка, жажнем по стакану! Выпьем, братан, на мировую!..

— Не-е, — глухо отозвался Степка. — Несподручно мне с тобой пить. Если с делом пришел, говори...

— Да вот барашка выписали. Шабашникам. Триста тыщ кирпича уложили. Клуб поставили в Прудницах... Этот, — Шематухин легонько потряс Фонина за плечо, — хотел на мотоцикле отвезти...

— Дохлый номер, — усмехнулся Степка. — Тут напрямки до Прудниц три километра... на веревочке отведешь.

— Ты мне доходягу не подсунь.

— Оне все на один манер, — пробормотал Степка. — Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли...

— До чего ж скотину довели, — сердито сказал Шематухин. — Чего уж мучить, под нож ее всю надо пустить.

— Без тебя уже решили, — становясь все добродушнее, сказал Степка. — Последние денечки доживают. Теперь мода на птицефермы пошла. Так что будет на чем шабашить. — Вдруг добавил круто: — А лучше бы ты зарекся сюда ходить... Жисть везде, а ты пока один. Скажешь, она сама тебя захороводила, так это все быльем поросло.

— Да ты не бойся, — резко поддернув брюки, сказал Шематухин. — Не какой-нибудь сопливый дурак с ней был, а я. Так что цени, Отелло!..

— Ателло, не Ателло, — отрезал Степка. — Но если услышу, что с Нюркой заигрывал или там другие шуры-муры... Гляди!

Шематухин вздрогнул, не поверив ушам: с кем это так разговаривает Степка — с Шематухиным или с кем другим? Он даже растерянно огляделся — нет ли кого вокруг? Никого, кроме Фонина.

Меж тем Степка, не меняя на лице хмурого и стро-

того выражения, искал при свете, падавшем из клетушки на polegшее стадо, подходящего барашка.

Шематухину уже не хотелось пить, но теперь, после пустого и неприятного разглагольствования со Степкой, надо было спасать душу. Он обошел клетушку, обнюхал все углы, но нигде не пахло едой, а помятая алюминиевая кружка, из которой предстояло пить, была прикреплена к крану бака с водой короткой цепочкой, до того короткой, что иначе как на коленях пить невозможно. Ничего другого, во что можно было налить коньяк, не обнаружилось. А пить из горлышка, да еще без закуски Шематухин даже думать боялся: от одной мысли мутило.

Так что пришлось встать на колени. Шематухин, пока он мучился от всяких неудобств, успел подбить себя выпить целую кружку — не станет же второй раз опускаться на колени. Он налил, приготовился, словно помолился, косясь на темноту овчарни, принялся выцеживать перегревшийся коньяк.

Степка, захвативший конец этого зрелища, молча толкнул в клетушку черного стриженного барана. Из-за протупавших ребер баран казался полосатым.

— Во тигру приволок! — оторопело сказал Шематухин. — Пострашнее нет?

— Нет, — в упор посмотрел на него Степка. — Не нравится, сам лови. Разрешаю.

— Ладно, — поднялся на ноги Шематухин. — На нет и суда нет. Теперь с ним на дорогу, попутную ждать.

— Не надо, — сказал Степка. — Лужком тебе ходьбы меньше часа. А в машине он от страха побьется... Три дня есть не будет...

— Лужком так лужком, — вздохнул Шематухин. — Господи, прости за все сразу... Значит, пить со мной не будешь?..

— Иди ты, иди, — устало выпроваживал его Степка. — Будь здоров, не кашляй...

И все же какое-то время помогал Шематухину вести барана, который изворачивался, норовил повернуть назад. Уже за оврагом, когда баран, видать, скумекал, что обратного хода ему не будет, Степка перестал лупить его кулаками.

Так Шематухин расстался со Степкой Парфеновым.

На ровном баран шел, стараясь не отстать от Шематухина, замученно озирался, его узкие продолговатые зрачки, казалось, ничего не воспринимали.

Луг впереди лежал сморенный дневным зноем, воздух над ним был сух, кругом все сухое, и нечем гор-

ло прополоскать, если же взять правее, там текла укрытая ольшаником небольшая речушка.

Последняя доза выпитого коньяка была забориста. Шематухин разнежился, ласково, почти не дергая веревку, потянул барана в сторону речки, решив сразу нарвать для животины пучок травы. Вспомнил, что сунул начатую бутылку в карман без затычки. Вот уж что нехорошо, то нехорошо — нести бутылку в такую жару. Водка и та выдохнется, а коньяк — напиток особый, верно сказано кем-то, солнечный: на солнце делается забористей, играет и веселится даже сам по себе, пока не отдаст градусы.

Шематухин остановился, вынул бутылку, посмотрел на нее с сочувствием, как на живую. Пошарив по карманам, открыл сумку с деньгами, не было ни клочка бумаги. Он вытащил две четвертные, скрутил затычку. Прodelав все это, Шематухин успокоенно спрятал бутылку, несмотря на соблазн немножко отхлебнуть. Он окончательно взбодрился, вышагивал легко: он не какой-нибудь несчастный алкаш, которому дай всю бутылку выпить в один присест, а там хоть конец света, скорее на боковую. Нет, Шематухин уже не тот, у него, как у всякого, кто живет и пьет с умом, своя наука по части питья.

— Да, уметь пить — это, брат, целая наука, — вслух сказал Шематухин. — А есть народ крепкий, совсем не пьют. Но в этом хорошего тоже мало. Это значит, что жизнь ты только с одной стороны, как луну, знаешь. Я вот что думаю, — Шематухин поглядел на барана внимательно. Убедившись, что тот не собирается перебивать его ни действием, ни словом, повторил: — Вот что думаю. Что мне в ней, в водке, нравится? Что она рангов не признает. А все ж таки разбирается, у кого дурная кровь, у кого нормальная. У кого дурная, она у того после водки дурнее становится. Тут уж не показывай дипломов. Начальник, не начальник — все равно, коли в тебе быдло сидит и требует залить по уши водкой или, к примеру, коньяком. Тут уж не надо рыпаться, выставлять себя трезвым, надо пить потихонечку, а то потом хуже будет. Это как с горы скатиться. Лез, лез, надорвался, глядишь, не успел охнуть, лежишь внизу. Хотя чего я с тобой... — Шематухин сорвал с надбровья барана шишку репья. — Сколько вот ты прожил? Не пил, не ел особенно... А что от тебя останется через пару дней? Как в сказке, рожки да ножки. Что жил, что нет. Вот я подумаю об этом, и такая меня печаль пробирает, тут уж спасение только в

бутылке. Но пью я, брат, ежели по секрету, не так, как раньше. Не то нутро стало. Отбили мне его, это я на пределе нервов держусь, когда надо кого отпугнуть. Мне ведь финкой в трех местах сквозь желудок саданули, у меня снимок рентгеновский есть, могу показать. Так что, бывает, резанет под лопаткой, аж в глазах темнеет. А как прижмет под брюхом, как прижмет, ну, сил нету терпеть, бежишь, пуговицы на ходу рвешь, все в тебе горит, струя идет кипятком, это особенно после какого сыр-бора...

Шематухина разморило, и на минуту-другую он был готов поддаться сладкой дреме, но для этого надо было добраться хотя бы до первых кустов. Чтобы напомнить себе, куда и с чем идет, Шематухин дергал сумку с деньгами.

День раскалился, дышал настоящим жаром. Воздух, чудилось, стал суше, дым окреп, от солнца тянулся оглушающий свет. Больше всего Шематухин боялся сейчас безразличия, когда ничего не страшно, все теряет смысл и наплевать не только на деньги, будь они свои или чужие, но даже на жизнь: пускай убивают. Такого момента Шематухин решил не допустить и с отворачиванием ударил себя в грудь.

— Че делает, падла?! — обиженно сказал он. — Я ведь все попробовал: денатурат, политуру... Вот что значит не по чину пить! Получается, что брюхо коньяк этот не принимает. Как говорил один мой кореш, отрицательный резус. У шпаны, брат, свое законное зелье должно быть, и ты ему не имеешь права изменять. Ну, ниче, ниче, посмотрим, кто кого... У, брат, как тихо здесь...

Он оглянулся, смерил взглядом раскаленный, обжигающий простор, выцветшие, сильно осевшие стога и, радуясь, что сумел выстоять, приблизился к речке. Он сразу, еще не дойдя до берега, понял невыгодность его в этом месте: берег, по краям заросший мелкой и крупной ольхой, круто обрывался, а внизу в сочной высокой крапиве темно блестела вода.

Надо было пройти еще метров триста вдоль речки и там, на пологом плесе, где ольшаник кончался, уступая берег густым камышам и лознякам, окаймлявшим запруду, основательно передохнуть. Эту запруду Шематухин знал давно — сюда он частенько приходил с Нюрой купаться.

Он, почувствовав прохладу, торопко зашагал к обозначившемуся впереди, петлей выдвинутому в луг плесу. Баран без испуга, понимая, что перешел на бег.

Добравшись до плеса, Шематухин быстро стал раздеваться, кидая одежду куда попало. Перед тем, как привязать барана к крайней ольхе, он опустился на колени, охватил правой рукой баранью шею, левой накинул на нее ремешок сумки с деньгами. Довольный своей шуткой, смеясь, укоротил ремешок.

— Вот так, — азартно сказал он. — Это я картину одну смотрел, "Золотой теленок" называется. Конечно, все это писатели сочинили. А я правду люблю. Ты у меня теперь баран не простой, а золотой... Я могу заснуть, брат, меня могут обчистить, а тебя нет...

Баран терпеливо молчал, только медленно, с вялой ленцией шевелил губами.

— Вас поняли, ваше сиятельство баран, — пятясь к воде, раскланивался Шематухин. — Извиняюсь, не допер, что надо было для полного счастья организовать баранессу. Айн момент, я сейчас организую насчет покусать...

Под ним вязко зачавкало, и он, шутливо ойкнув, остановился, вдохнул острую болотную прель и зажмурился. Во рту у него пересохло, он нагнулся, словно хотел сбросить навалившийся на голые плечи зной. Так прошел к реке, встал на четвереньки, жадно припал к воде.

Посмотрев снизу на барана, вспомнил про свое обещание, полез в лозняк, надергал травы, выкарабкался на берег и ткнул лакомством в нос барана.

— Рубай, брат, — ласково потчевал он барана. — Ты не дистрофик, но и не баран еще. Тебе бы недельку-другую на хороших харчах пожить. Хоть напоследок. Ты небось годочка два всего пожил, да и те впроголодь, с тебя, конечно, брать нечего, ты не дойная корова, шерсть вот состригли и то не дали пофорсить... А потому, брат, что ты бараном родился. Родись ты свиньей, тебе даже в такой бескормный год было бы дюже неплохо. Свинья, она все жрет. По сравнению с ней ты, конечно, благородная скотина.

Шематухин отвернулся, пятерней провел по мокрому лицу.

— Че киваешь-то? — высморкался он. — Понимаешь, значит... Ешь, ешь. А я бутылку попробую остудить, в воду поставлю. Глядишь, лучше пойдет... Ты не бойся, два дня как король будешь жить, — опять глядя на барана снизу, не говорил, а выкрикивал Шематухин. — А уж потом... извини, брат... Есть тебя будем, поминать. Тут я думал кое-кого проверить на вшивость. Кто сам

зальется, кого подпоим... Я им водки накуплю, им нарочно прислуживать буду... — Шематухин зачерпнул пригоршнями воду, поднялся к барану, нагнулся с улыбкой. — Не желаете ли попить? Прошу.

Баран с удовольствием выпил воду из пригоршней, а Шематухину показалось, поддержал игру. И он уже совсем по-родственному потрепал барану шею, прилег подле него, принялся говорить:

— Ты мне не завидуй, что я дольше тебя проживу. Скажешь еще, что я на то и человек, чтобы дольше и лучше тебя жить, но это еще надо доказать. Мне, знаешь, вот так, как с тобой, по душам поговорить не с кем. Может, конечно, сам виноват. Занозистый больно, бывает, зазря на кого бочку качу... Ну, сам подумай, какая муха меня с утра укусила: пришел, электричество отключил. Спрашивается, кому от этого больше вреда? Да тем же духарикам — Еранцеву с Аркашкой. Они там теперь пупы надрывают, а не эти падлы. Они ни хрена в жизни не смыслят. А эти... Нужненко, скажем, с Чалымовым — народ ушлый. Опасный даже, их сразу не раскусишь, но, должен заявить, уж чему-чему, а ближнего своего насквозь видеть я научен, брат. Эти из породы куркулей. Своего не упустят, от чужого не откажутся. А вот чего Еранцеву надо, попробуй пойми. Я попервости думал, что он того... мозги набекрень. Нет, вроде нормальный. Или он на принцип идет? Есть, брат, такие, что на принцип идут не на жизнь, а на смерть. Такие тоже опасные. Они будто топчут других, кто на деньгах, телевизорах и коврах, короче говоря, на богатстве помешался. Они свысока на них с удовольствием плюют. И все ж таки Еранцев к этому сорту не подходит. Значит, не принцип, а что-то еще... Вот ты скажи мне, что у него на уме?..

Шематухин встал, прохаживаясь взад-вперед, морщил вспотевший лоб. На спине и животе его тоже выступил пот, и Шематухин стал поглядывать на воду, но еще не решался купаться.

— ...Ниче, пусть надрываются, — оправдывая себя, сказал Шематухин. — Может, поумнеют. Не сейчас, так после. Они, несчастные, небось кирпич прут на себе, а эти, Нужненко с остальной шелупонью, над ними смеются. Хохма, конечно. Куркули, они чужой беде не нарадуются, а я, падла, куда смотрел? Знал же, что кирпича у них наготовлено впрок... Это выходит, я, как бог, поступил. Говорят, кого бог любит, тому на полную катушку заказывает... Ну, ниче. Я вот сей-

час приду, электричество налажу, а этим мученице похлеще устрою... Ниче, дай только очухаться.

Он пошел, перешагивая через кем-то поваленный и слежавшийся камыш, подышал пресной теплынью; прыгнул в воду он не с первого, а со второго захода, возбужденно, с громким побряхтыванием поплыл вдоль берега. Потом, войдя в азарт, решил сплавать в середку. Сперва плыть было отменно хорошо, и от восторга из шематухинской груди сама собой вырвалась песня:

Понапрасну ломал я реше-оточку,
Понапрасну бежал из тюрьмы-ы...

Достигнув середины пруда, Шематухин медленно вытянул ноги, вскинул вверх взгляд, увидел раздольное, нисколечко не жаркое небо с неподвижно повисшей левее солнца белой паутиной.

Шематухин лежал на спине, делался легче и трезвее и никак не мог понять, почему не сразу догадался лезть в воду. Боль в голове унялась. Разворачиваясь так, чтобы свет солнца не слепил глаза, он ненадолго приподнял голову, и до этого погруженных в воду и ничего не слышавших его ушей достигли неясные звуки. На берегу, казалось, что-то происходило. Как раз там, где, если верно сориентировался Шематухин, остался баран. Внутренне похолодев, Шематухин разлепил веки, но из-за яркого света ничего не увидел, только услышал хруст веток и беспорядочный переступок ног. Наконец, когда сквозь желтую, заходившую волнами пелену проступил берег, Шематухин отыскивал просвет заливычка, в котором с судорожным хрипом металось что-то темное.

Так толком рассмотреть, что это было, Шематухин не успел. Тело его охватила устрашающая слабость, он медленно, с каждым взмахом рук теряя волю от недоброго предчувствия, плыл к берегу. Сейчас важно было ни о чем не думать, дотянуть, не страшась ждущей его полной тишины, до тверди. Не думать ни капельки или, пока под ним достаточно глубоко, разом все оборвать.

И все же вышел на берег, удивился, что посмел выйти — значит, душа на что-то надеется. Он утомился и вместо того, чтобы броситься искать барана, сел на жидкую теплую грязь.

Уже потом его опять подбросило. Подлетев к ольхе, к которой был привязан баран, он нашел совершенно пустое место. Ничего не говорило о том, что случилось

с бараном, если не считать сильно вдавленные в сухую землю, глянцевито поблескивающие следы копыт и копытами оставленные рваные бороздки. Не было вокруг ни куска веревки, ни сумки. На лугу, мирно дремавшем под солнцем, не видно было ни единого живого существа. Одно было ясно: барана взяли силой.

Шематухин, приплясывая вокруг ольхи, непонятно зачем ощупал дерево и вдруг резко, с дрожью в голосе закричал:

— Эй! Лю-уди-и-и!..

Крик, не множась, без эха истлел в сухом воздухе.

Шематухин кинулся одеваться. Он на ходу натягивал майку, но в последний момент вспомнил оставленную в воде бутылку. Опять спустился вниз, вынул из горлышка служившие затычкой деньги, самую бутылку неожиданно для себя швырнул в пруд и, когда она шлепнулась и завертелась, выбрызгивая золотистые струйки, отвел душу длинным матом.

У него заныло в груди, но не от отчаяния и растерянности, которые он пережил только что, а от догадки, засветившейся где-то глубоко внутри. Он не мог бы вслух сказать, что пропажа — дело рук Степки Парфенова, однако злоба, пришедшая к нему после этой мысли, помогла ему стряхнуть с себя гибельную в таких случаях отрешенность.

Шематухин затравленно, с сумасшедшими глазами одолел кручу и все же бежать не стал, похлопав ладонями по торчмя высыхающим волосам, двинулся в сторону фермы.

Матерый все дальше и дальше уносил слишком грузную для него — обессилел — жертву. Он сразу, как только решился напасть на барана, прикинул обратный путь: сперва, не мешкая, перескочить через речку, сухим логом добраться до дороги, там подождать, осмотреться, после чего напрямик двигаться по открытому ползком или перебежками.

Человека с бараном он заметил случайно, отягощенный совсем другими заботами. Разглядел их с заросшего густой лебедой ската — два пятна за ольховником. Он быстро спустился вниз, с любопытством всмотрелся сквозь кружево ветвей в идущих по лугу. Вид барана, безропотно следовавшего за человеком, привел его в возбуждение. И будто не было беспокойной неудачной ночи. Матерый с волнением ожидал, что будет делать человек с бараном. Вообще-то он знал, что люди

режут баранов, сдирают с них шкуру, берут мясо, а то, что им не нужно, оставляют на месте. Иногда он, обнаружив приготовления к этому, проползал на брюхе на зады, близко к огородному плетню, за которым барану пускали кровь. Если Матерый видел, что возле людей толкуются крупные собаки, он тут же отправлялся назад. К мелкоте он относился без почтения. И, выждав удобный момент, когда люди уходили, молниеносно перекидывался через плетень и, взъерошенный, страшный, кидался в гущу собачьего пира. Обычно собаки, неистово скуля и взиная, разбегались.

В этот раз, не высмотрев поблизости ни одной собаки, Матерый обрадованно подкрадывался к стоянке человека и барана. Осторожно перейдя речку, он прижался телом к урезу берега, выставил над землей только глаза и нос. Ноги его затекали, гулко колотилось сердце, и все же Матерый, боясь пошевелиться, дождался, когда человек, пряча нож за спиной, подойдет к барану, начнет нарочито говорить ласковым голосом, чтобы ублажить барана, это хорошо помнил Матерый, наблюдавший, как потом человек рывком отрывает овцу от земли, валит на спину, навалиясь сверху, чиркает по вздувшемуся с хрипом дышащему горлу острым лезвием. Но в этот раз человек медлил, мало того, не собирался, кажется, сбить с ног барана. Загораживаясь от слепящего света, Матерый чуть сдвинулся и с жутким замиранием прислушался к шороху камней, прыгавших вниз к воде.

Невольно подаваясь вперед, боясь, что баран прежде времени забьет тревогу, Матерый собрался в ком. Он догадался, что обнаружен бараном, по стуку копыт и отрывистому чиху он понял еще, что все потеряно, напряжился, высунулся наполовину и тут только заметил: баран один.

Матерый ничего не мог понять, потерянно метал глазами: что делать? Он видел барана, который, осатавлено трясясь, нацеливался в него двумя закрученными рогами. В следующий миг баран бросился на него, но веревка, натянувшись, сдавила ему шею. Матерый уже собрался поспешно отступить, потому что не смог сообразить, каким образом он утащит барана, если веревка крепка. Баран продолжал с отчаянным упорством насккивать на Матерого, остолбеневшего шагах в пяти. Когда баран, загнанно вращая головой, отчаянно ударил копытами, узел не выдержал, развязался, а баран пронесся мимо Матерого, обдав его жаром и

духом распаренной шерсти. Матерый пустился вслед, нагнал его, не давая очнуться, подхватил.

Потративший в первом горячем порыве много сил, Матерый теперь задыхался и не нес и даже не тащил барана, а тяжело, с роздыхами волочил по высохшему руслу ручья, поминутно хмурясь от громкого треска заостренных, сламывающихся стеблей. Наконец, поднявшись на скат, откуда сошел час назад, Матерый обшарил глазами окрестность.

За ним никто не гнался. И все-таки тревожился — впереди лежало целое поле, его надо было перейти скрытно. Матерый, не обращая внимания на боль в изрезанных ногах, приготовился идти дальше.

На шее барана чего-то не хватало. Верно: сумка, цеплявшаяся за сучки, где-то незаметно потерялась.

7

Четыре десятка кирпичей — столько натаскал Еранцев в одиночку — лежало возле бреши в стене, и можно было заняться кладкой. Но для этого нужен был раствор, его замешивал у пруда Аркаша, похваставшийся, что он лучше Еранцева освоился с ремеслом каменщика.

Аркаша был виден Еранцеву — он, поставив бадью на скособоченную детскую коляску, вытащенную из клубного подвала, где была свалена пришедшая в негодность бутафория, сыпал в нее бетон из бумажного мешка и после каждого неосторожного движения окутывался белесой пылью.

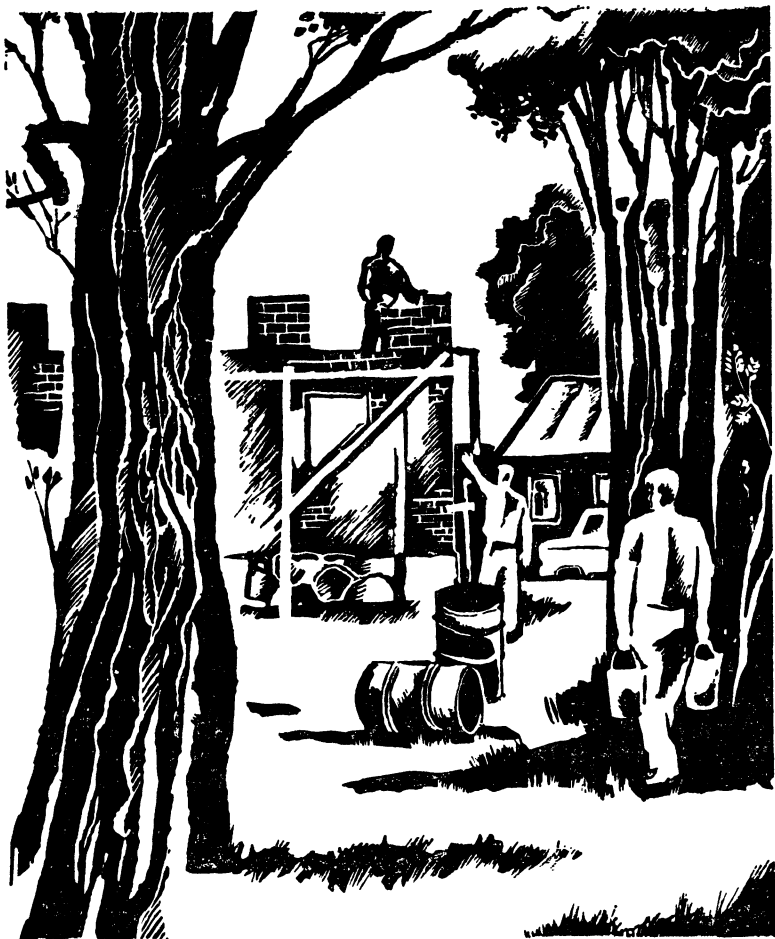
Еранцев, еще раз сходяв за кирпичами, прикидывал, с чего начать — высить угол или приниматься класть от метки Тырина.

— Ты че это, Михаил? — подойдя, добродушно блеснул глазами из-под картуза Тырин. — Или силенки поизрасходовались? Ты, главное, не думай. А то, гляжу, мыслям волю даешь, а они ведь прилипчивые. Начинай... Я свое сложу, тебе помогать буду...

— Спасибо, папаня, — смущенно сказал Еранцев. — Сейчас начну... раствор жду.

— Бери у меня, вон ведро. Чем простаивать... Отдашь, когда свой будет готов...

Еранцев перенес ведро с раствором, начал класть. Мастерок в правой руке, кирпич в левой, и пошло — наловчился за месяц с лишним. Постепенно отвлекаясь, подключился слухом к общему шуму работы и тут некстати услышал голоса спорщиков. Спорили Нужнен-



ко с Лялюшкиным, громко, не сдерживаясь, как всегда, уверенные, что смысл их спора не доходит до других по одной простой причине: все кругом, какого ни возьми, дураки.

— ...обучить ЭВМ управлять людьми, по-моему, проще простого, — говорил Нужненко, постукивая по кирпичу. — Но при этом масса, которой надо управлять, должна быть социально однородной. Машина неспособна отличать одного индивида от другого. Как ей отличить Ивана от Петра?..

— ЭВМ сможет взять на себя функции высшей власти, если в обществе устранены традиционные конфликты между властью имущими и подвластными, так?

— Если на то пошло, да! — энергично кивнул Нужненко. — Только не тут, а вне Земли.

— Если ты печешься о счастье цивилизации, состоящей из личностей-близнецов, для управления ими достаточно ЭВМ первого поколения.

— Что за мода пошла — ловить на слове? Сам толком не выскажешься...

— Я-то... — Лялюшкин напустил на лицо глубоко-мыслие. — Всякое проявление власти, жажда власти, наслаждение властью, наконец, всякий синдром злоупотребления властью имеют, дорогой метр, сугубо биологическую природу... За две тысячи лет своей осознанной истории человек, можно сказать, биологической эволюции не претерпел...

Еранцев, слушая вполуха разговор, обычно заканчивавшийся взаимными оскорблениями, невольно повернулся лицом к спорщикам, встретился глазами с Нужненко. Тот, явно тяготясь какой-то необходимостью обратиться к Еранцеву, сказал:

— Чем же кончилась вчерашняя охота на волка? Интересный психологический момент... с Шематухиным.

Такое учтивое внимание удивило Еранцева. Он запоздало угадал в голосе Нужненко праздную, с нехорошим намеком снисходительность. Но не стал из-за ерунды лезть в бутылку. А ответить как следует хотелось.

— Не связывайся с дураком! — шепнул сбоку Тынин.

Нужненко, продолжая смотреть на Еранцева вызывающе — ну, говори, говори! — неловко наступил на битый кирпич и раздраженно отвернулся. Нет, таким манером приятеля не обретишь. Да и кто он такой, этот Еранцев?

Стоп, сказал он себе, не наживай врагов, не набивайся в друзья. Здесь тебе и так хорошо!

Верно, Нужненко ни в каком человеке не нуждался, ни с кем близко не знался, а только имел дело. В деловых отношениях его тоже выручала простая механика, согласно которой он, не тратя нервы, различал угодного ему человека от неугодного. Это облегчало ему другую задачу — с кем как вести себя. Еще мать говорила ему, что трудно будет прожить среди людей с таким глухим, осторожным и расчетливым нравом, но у него пока все получалось, грех жаловаться. А если

он и жаловался, скажем, Лялюшкину, то вовсе не потому, что размяк душой, просто-напросто надо было подыграть парню, который с ним и без него будет размазней.

Редко, очень редко Нужненко припоминал слова матери: "Не пойму, чураться людей или думаешь, что один на свете живешь, больше никого нету... Смотри, как бы не вышло, что стакан воды некому будет поднести..."

Нужненко относил это к родительской привычке учить уму-разуму свое дитя и все же, изредка вспомнив, задумывался, но проходило время, и он придерживался своего: ну их, дружков, норовящих лезть в душу. Нет, осторожность, она повредить никому не может. Во всяком случае, ему, Нужненко, про доверчивость и прочую ерунду не рассказывай, не было у него и не будет в жизни первых встречных.

Здесь, на шабашке, среди всех посторонних один Еранцев вызывал в нем какое-то неосознанное смятение. Взгляд Еранцева, ставший с недавнего времени особенно отрешенным, тягуче-исповедующим, как у пророка, помимо воли запоминался и заставлял думать о чем-нибудь необычном. Нужненко стремлением к легкости, доступной здесь, где вольному воля, отстранялся от короткого наваждения.

Сейчас Еранцев, не ответив Нужненко, принялся с нетерпением ждать, когда Аркаша кончит возиться с раствором. Еранцев понял, что не сумеет объясниться с Нужненко так, как он того заслуживает. Сказать то, что запоздало сложилось из подходящих слов, значило сказать грубость, а к ней Еранцев, охваченный своими думами, не был готов. Но даже тот грубый упрек, который, по мнению Еранцева, должен был поставить на место Нужненко, был всего-навсего возвышенно-педагогическим нравоучением и вызвал бы одни лишь усмешки.

Еранцеву стало легче — никаких переживаний Нужненко не стоил. Он и раньше, невольно услышав обрывок какого-нибудь спора, чувствовал, что Нужненко затевает его для забавы, ему нравится изводить напарника, быстро перестающего разбирать, где Нужненко говорит настоящее, где ненастоящее. Ничего похожего на настоящий интерес к внеземным цивилизациям не было ни в голове, ни в словах Нужненко; больше того, в его речи слышалась затаенная издевка над предметом обсуждения. Даже со стороны было видно, не верил в существование какой-либо жизни за пределами Земли.

Есть немало людей, которые верят, что род человеческий идет не от обезьян, а от пришельцев, которые в своих бесконечных скитаниях по вселенной случайно или не случайно высадились на Земле. Сам Еранцев иногда думал о том, где и когда, каким образом утвердился первый человеческий зародыш, и не умом, а каким-то жутковатым чувством доходил до непривычной, пугающей истины, что плоть была легкой, может быть, летучей и уже потом она, занесенная на Землю космическими дуновениями, стала, как инкубаторское яйцо, воспроизводить имеющуюся где-то далеко-далеко жизнь.

Еранцев заметил, как Нужненко опять смотрит в его сторону, будто караулит. Что ж, пусть смотрит.

Но Нужненко, должно быть, решил донимать его голосом, он громко, на всю площадку сказал:

— Напрасно ты, Лялюшкин, утверждаешь, что человек мало изменился. У него кишечник стал на метр короче, чуешь? В основном у городского. А вот взять Тырина, у того кишечник по длине ближе к первобытному. В деревне, однако, пища грубее, вот почему.

— Слышишь, батя?! — крикнул Лялюшкин, целясь очками в согнутую спину Тырина. — На целый метр больше, чем у нас. Тебя возить надо, за деньги показывать, по рублю брать... А мы, дурачье, тут ищем.

— А хушь бы укоротили, — не отрываясь от работы, не давая себя втянуть в пустую болтовню, отозвался Тырин. — Ить на него, на лишний метр, скоко надо спину гнуть...

— Сколько тебе, батя, стукнуло? — спросил Лялюшкин.

— Шестьдесят пять годочков, сынок.

— Так... — быстро подсчитывал Лялюшкин, задрав голову. — Двенадцать километров шестьсот тридцать метров лишку за этот срок... Как же тебе помочь, батя?

— Да ить от бога это, — терпеливо сказал Тырин. — Нас у него много, рази он упомнит, скоко кому дадено. Не забрал обратно, значит, так надо.

— Нет, батя, отчекрыжить метр обязательно надо, — усмехнулся Лялюшкин. — Выделяешься ты среди остальных. У нас должно быть равенство...

— А ить ты брехло, парниша, — одними морщинами усмехнулся Тырин. — Деревенского люду вон сколько на земле, дак давай из всех кишки лишние вытягивать? Так, что ли? У городских, может, што другое поболе выросло, так и им тоже надо оттяпать.

— Во батя дает, — засмеялся Лялюшкин.

Еранцев, поражаясь Тырину — как это он умеет спокойно, между прочим, осаживать языкастых, — скосил на того глаза, видел его чуточку смешную, в выпущенной белой рубахе фигуру, продельвавшую скупые, экономные движения.

Наконец внизу показался, осторожно толкая впереди себя сильно осевшую детскую коляску с бадьей, Аркаша Стрижнев.

— Тяжелая, — крикнул Аркаша, показывая на бадью. — На руках не втащишь. Давай подъемник вручную крутить...

Он кинул конец веревки, привязанной к бадье, Еранцеву, чтобы страховал и помогал, сам взялся крутить ручку, вдетую в ось барабана, на который наматывался трос. Бадья медленно поднималась. Еранцев, удивляясь обретенной сноровке, ловко перехватил натянутую струной веревку, но, видно, обоим не везло сегодня. Какая-то сцепка под барабаном зловеще звякнула, трос дрогнул и ослаб. Бадья повисла на веревке. Еранцев весь сжался. Он хотел вскрикнуть — веревка, дернувшись, ожгла ладони. И все же он не подал голоса, в непосильной натуге удерживая болтающуюся без опоры бадью.

Тырин, должно быть, почувствовал, что рядом творится неладное, посмотрел на Еранцева, без слов понял, что тому нужна подмога. Он проворно, как молодой, подскочил к Еранцеву, тоже ухватился за веревку.

Тем временем Аркаша смекнул, в чем дело. Сперва он онемело, как загипнотизированный, смотрел на бадью над головой, потом сунул руку под барабан, щелкнул собачкой стопора и, не спуская глаз с бадьи, стал бешено вращать ручку. Плита подъемника коснулась бадьи.

— Отдохните, — тихо, измученно сказал Аркаша, проверив, крепко ли собачка схватила барабан. Видно было, напереживался. — На одном из чертежей Леонардо да Винчи есть проект подъемника. Разница в том, что там стопор надежнее... Проще...

Отдышались, опять принялись поднимать бадью, теперь уже спокойно, следя за каждым сантиметром.

Втащили наконец бадью на леса, приступили к кладке. Еранцев увлекся, отложив мастерок, начал черпать раствор пригоршнями, готовя место для кирпича, размазывая жижую ладонями, заодно остуживал их. Принесенные кирпичи кончились. Пришлось идти за новой партией. Использовать подъемник не рискнули, таскали, кто как мог. Аркаша и на этот раз сделал как

удобнее — носил кирпичи в мешке из-под цемента. Еранцев, радуясь сметливости художника, засмеялся.

Смех Еранцева неприятно поразил Чалымова — как можно смеяться, когда впору плакать! Чалымову достаточно было всего разок взглянуть на распухшую ладонь Еранцева, чтобы дать волю мыслям об осторожности.

Чалымов, сколько себя помнил, оберегал тело. Полнота жизни измерялась им ощущением здоровой мускульной силы, и, если маловато ее, если не радует она, значит, что-то не уберег от перегрузки. Но он не просто отмечал ошибку, а со свойственной ему дотошностью прикидывал, как избежать новой чрезмерной нагрузки. Если перетрудил руки, тщательно следил за ними, если голову — принимался нянчить ее.

Самая тяжкая ноша для головы — не дурак, знает! — думы о посторонних, или, как еще их называют, заботы о ближних.

Но даже такая ерунда, как зависть — нехорошее чувство, пережиток прошлого! — может вызвать нарушение обмена веществ, чего, как бывший спортсмен, Чалымов особенно остерегался. Зависть не красит человека, больше того, вгоняет в дурь. Завидовать, думал Чалымов, значит, признаться в том, что чем-то обделен богом.

Он, слава богу, играл на пианино, рисовал, да, рисовал много, до изнеможения старательно, и у него были свои поклонники.

Конечно, с Аркашей — только вот обидно, что парень этот такой нескладный, мужиковатый, борода лопатой — ему в живописи не сравниться, но Чалымов об этом думал с великодушием. Хватит ему спортивных лавров.

Опять пришло хорошее настроение.

Чалымов, выпрямившись, уловил вдали, за зеленой гущиной перелеска слабую вспышку какой-то звезды. В том месте да еще в дневное время никакой звезды быть не могло, значит, лампочка, освещающая подстанцию. Если лампочка, значит, электроэнергия к подстанции подается. Стало быть, Шематухин опять позлодействовал, в этот раз покрупнее. Ожила в памяти утренняя картина: Шематухин уходит, оставляя мокрыми ногами темные следы на добела выцветшей тропинке, в сторону села. В какой-то момент он заколебался: может, все-таки сказать об исправности подстанции, ни к чему ребятам понапрасну утруждать спины. Мартышкин труд не есть работа, с усмешкой

вспомнил он школьную присказку. И все же он успокоил себя: свет лампочки за перелеском, должно быть, померещился. Да и что особенного, пусть потаскают кирпичи.

Между тем Еранцев, охваченный азартом работы, стал забывать о ноющих ладонях.

— Слушай, у тебя на ладонях, если не ошибаюсь, кровешка, — мягко, чтобы не напугать Еранцева, сказал Аркаша.

— Пустяки, — сказал Еранцев. — До свадьбы заживет...

— Советую сейчас же, — тверже произнес Аркаша, — смыть кипяченой водой. Тройным одеколоном обработать... Потом перебинтуем. У меня есть резиновые перчатки, — он помолчал, сконфуженно добавил: — Они, правда, акушерские.

— Ну, нашел, чем пугать, — сказал Еранцев.

— Как вас по отчеству? — спросил Аркаша, словно смущаясь перед Еранцевым.

— Зови меня Мишей, — сказал Еранцев.

— Хорошо, — со счастливой готовностью кивнул Аркаша. — Пойдем к Наталье. Она, по-моему, все умеет. Золотая женщина.

— Уж не влюбился ли? — смеясь, спросил Еранцев.

— Ну, зачем? Не обязательно влюбляться...

— Ты же молодой, Аркадий, — разглядывая Стрижену, проговорил Еранцев. — Самая пора.

— Ладно, ты мне зубы не заговаривай, — уже безбоязненно подтолкнул Еранцева к сходням Аркаша. — Я чужих жен не ужою. Пошли лечиться...

Еранцев увидел Наталью под навесом. Отправив Аркашу за одеколоном, Наталья осталась наедине с Еранцевым, счастливо смутилась: хоть пришел-таки!

— У меня тут одна марганцовка, — засуетилась Наталья. — Ниче, я вас, Михал Васильич, вечером поврачу... Если вы, конечно, не будете надо мной смеяться. У моей бабушки трав лечебных уйма. От всех болезней.

— Значит, домой собрались? — проговорил Еранцев, неожиданно томясь ответной заботой. — Право, я в таком случае обязан вас отвезти...

— Спасибоочки! — широко раскрыла глаза Наталья и с остановившимся на лице чистым радостным выражением приблизилась к Еранцеву.

От первого ее слабого прикосновения Еранцев дернулся, съежился, потом обильно вспотел.

— Ну, как маленький, — умильно протянула Наталья, в голосе ее была та особая, нежная теплота, кото-

рую взрослые излучают, возясь с детьми. — Потерпи немножко...

Сложив ладони корытцем, Наталья черпала в тазике теплую розоватую воду, осторожно лила на растопыренные пальцы Еранцева. Боль утихала, а на душе становилось легче.

Аркаша принес флакончик одеколona, огорошенно смотрел на Наталью, похожую на гусыню, растопырившую крыла над зашибленным гусенком. Сунув ей в руку одеколон, Аркаша отступил назад и, смешной, со спутанной бородой, сморенный жарой, уставился на Еранцева с Натальей.

— Не стой, подсоби, — повелела Наталья. — Налей-ка...

Наталья еще долго врачевала Еранцева.

— Ну, спасибо! — сказал Еранцев, жмурясь и помахивая ладонями, горевшими от одеколona.

Наталья с тоской отодвинулась от него, потом, будто повинясь не своей, а посторонней мысли, в каком-то запале прошла перед Аркашей, спросила вроде бы понарошке:

— Скажи прямо, Аркаша, гожусь я для картины? — Остановившись у котла, Наталья продолжала натиск глазами, она, готовая испепелить Аркашу за промедление с ответом, даже притопнула ногой.

— Хорошая вы женщина, — выдавил тот из себя и добавил: — Будь вы моей невестой, я бы уговорил вас позировать. Я бы написал выдающуюся картину, прославился бы и спился от счастья...

— Скажи на милость! — сникая, покачала головой Наталья. — Я тебя серьезно спрашиваю, а тебе все хаханьки.

— Я уж сказал, хороша, — скосив глаза на Еранцева, сказал Аркаша. — Хороша, но не про меня.

— Дурак, — со страстной хрипотцой сказала Наталья. — Я ему про Фому, он про Ерему.

Наталья недружелюбно оглядела Аркашу, который так и не понял, о чем вообще идет речь и чем не угодил ей, схватила пустое ведро, нарочно сильно гремя им, убралась к ключу за водой.

— Пошли, — позвал Еранцев Аркашу, все еще раздумчиво, с печальным недоумением глядевшего вслед Наталье. — Не обращай внимания. Отойдет. Это называется беседа об искусстве...

— Ну, наконец дошло, — улыбнулся Аркаша. — Это ты был у нее на уме. А мне рикошетом досталось. Ух, жаркая девка!..

Натаскали кирпичей, прикинули: до обеда должно хватить. И, хотя Аркаша мог теперь заняться своей стеной, что-то не давало ему отойти от Еранцева: хорошо было вдвоем.

День уже выстоялся до той неподвижности, когда не ожидается ни малейшего заметного изменения. Зной стал ровным, дыма больше не прибавлялось, не убавлялось, а вода сделалась теплой и вялой даже на вид. Земля потускнела, и далеко окрест не было видно ни единого сочного цвета.

— Значит, это Надежда меня тогда выручила, — вспомнил Еранцев. — Если бы не она, Надежда, было бы хуже”.

Его отвлек Тырин, шумно задышав рядом.

— Табаку мне везут, — радостно сообщил он. Потом, засомневавшись, попросил нерешительно: — Погляди-ка, кто на лисипеде едет, мужик или баба?

Еранцев узнал в катившем по луговой дороге велосипедисте почтальона.

— Фимка едет...

— Верно, — сощурился Тырин, направляясь к сходням. — От сигарет, какие нонче курят, мне дых перешибает. Махорочка — вот наше первое солдатское курево...

Тырин вернулся неторопливой походкой, постоял, задумчиво скручивая сигарку, рядом с Еранцевым.

— Вижу, думать мешаю? — сказал, закуривая. — А за волка-то, выходит, серьезно взялись. Фимка говорит, авиацию вызывают, чтоб, значит, волков всех до единого стрелить.

Последнее логово Матерого располагалось под высоченной рыжествольной сосной, на каменистой горе, окруженной оврагами, — место, трудное для ружейной охоты, особенно для гоньбы. Каждый раз, возвращаясь к жилью после изнуряющей опасной дороги, Матерый радовался надежности укромного уголка. За густым сосняком взору Матерого внезапно открывалась светлая, в редколесье верхушка с золотой издали сосной, и частившее перед тем сердце освобождалось от тревоги, успокаивалось. Раньше, до оцenenия, высматривала его оттуда волчица. Ничто не мешало ему причуять волчицу, затаившуюся за камнем, от ее немого зова начинала бродить в нем кровь, и летел он по крутику все выше и выше, пружинистыми махами достигал верхо-

туры и останавливался вблизи волчицы, которая в это мгновение пугалась его, горячего...

Сейчас Матерый лежал на подстилке из сосновых иголок, затяжелевший с непривычки от сытой, обильной еды. Он сквозь туманную пелену смиренно глядел на прибылых, тоже ослабевших после еды. Прибылые один за другим взбирались к логову, царапая лапами по гладкому, как кость, дереву перед самым лазом, пытались протолкнуться дергающимися отощавшими тельцами внутрь, соскальзывали и лезли снова. С тревогой следила за ними волчица. К бараньей тушке она не притронулась, только обнюхала и облизнулась, показав сухой распухший язык. Волчица знобко подскреблась к Матерому, ткнулась запекшимся носом ему в грудь.

От ее прикосновения Матерый вздрогнул. Он почувствовал, что волчица больна, надорвалась и ей хочется не ласки, а утешения. Он поднял голову, всмотрелся в волчицу. Она, ощутив его внимание, пошевелила головой, лежавшей на передних лапах, напрягла глаза, но они, мутновато-желтые, заморенные, сами собой смеживались.

Сон слетел с Матерого, он озабоченно разглядывал волчицу, которая, продолжая мотать головой, не давала себе впасть в забытие. Она ко всему притерпелась, все вынесла и теперь, чтобы не терять из виду Матерого, поминутно тщила взглянуть на него. И все же, чувствовал Матерый, ей не хватало еще чего-то. Вдруг до него дошло: она ждала тех двух прибылых...

Матерый поднялся, лизнул задрожавшим языком сухой морщинистый оскал волчицы, приметил, как появилась в ней, особенно в прищуре глаз, живинка; в свою очередь, она догадалась, что Матерый понял ее. Она судорожно дернулась, попыталась было поднять себя на ноги, чтобы проводить Матерого на чернотропье, но у нее ничего не вышло.

Матерый теперь торопился, кинулся с крутика вниз, на ровном попридержал себя, который раз прикинув расстояние до заповедника и обратно, расчетливо перешел на средний бег.

Бежал он, почти не напрягаясь ни зрением, ни слухом, ни на что не тратя себя прежде времени. Тропа едва ощущалась ногами, знакомая до единой выбоинки, будто вела его сама.

Запах пожара, разгулявшегося вчера, был сейчас холоден, и Матерый слышал его, замедлил бег; слухом, мгновенно обретшим чуткость, поймал отдаленные

крики и гомон, стук лопат, жужжание движков бензопил.

Он не свернул с тропы, а только укорачивал махи и пошел совсем тихо, по-кошачьи, когда подушками лап ощутил подземные толчки: там, впереди, валили лес. Пора было уйти в сторону, чтобы, сделав крюк, встать на эту тропу, но Матерый хотел увидеть людей вблизи.

Дым здесь, на краю пожара, был плотным и едучим, так что Матерый перестал дышать в полную грудь и собравшимися в морщинки ноздрями процеживал воздух. Держа все тело настороже, карауля каждую тень впереди и с боков, Матерый подбирался к самому людному месту. Глаза у Матерого горячо закровенели, и все же он неторопливо продвинулся еще дальше, к старой сосне, выглядывая из-за нее, продолжал наблюдать. От вчерашнего пожара мало что осталось. Уже не было тех слепящих сгустков огня, не было раскаленных разлетающихся во все стороны головешек, способных прожечь насквозь, попади такая в брюхо.

Вдруг люди загомонили пуще прежнего, стали передвигаться вправо. Матерый тоже стронулся и скоро очутился на взгорке. То, что Матерый поначалу принял за обыкновенный взгорок, оказалось утесом. Каменистое ребро его было обращено к реке, и отсюда открывался впереди лесной массив. При первом взгляде туда, вдаль, у Матерого шерсть поднялась на загривке — везде курились дымы от пожаров. Не видно было ни высот, ни низин, ни двух деревенек, местонахождение которых Матерый в ясную погоду мог определить с любой возвышенности. И все же у сумеречно-синей припухлости, возле слияния земли с небом, Матерый в эту минуту особенно далеко зрящими глазами приметил какой-то живой зеленый клочок.

Там был заповедник. Там была его родина, там было логово, когда-то прочное и уютное, а теперь засыпанное землей, камнями, поросшее мелкими соснячками, ночью и не разглядишь, есть ли, нет ли в том месте памятной ямины. Здешний лес, всего километрах в десяти — пятнадцати от того, родного, не был для Матерого чужим, и все же время от времени, особенно в пору полнолуния, жуткая тоска сдавливала ему грудь.

Сейчас Матерый, вздымаясь над лесом, вглядывался в манящее, тревожащее зеленое пятно, которое то ли мерещилось ему, то ли на самом деле проступало сквозь дым, захотел раз-другой завывать, но вдруг почувствовал, что его снова одолевает страх.

Из медленно струившейся снизу мешанины запахов он выделил один. Незамеченный сперва, застарелый дух пороховой гари теперь словно бы разрывал ноздри, а боль от запеченной в левый бок старой картечины пронизывала все тело. Тогда Матерый принялся неистово рыть землю передними лапами. Вот обнаружился камень, об него чуть не пообломались когти. Матерый упал набок, лежал, шаря разгоряченными глазами по небу.

Как тут успокоиться, если оттуда, снизу, как назло, отчетливо остро тянуло ружейным духом, и Матерый вскочил — страхи прошли, и он готов был сейчас, утвердившись на урезе обрыва, начать громкий страстный, гибельный для себя вой. Но не за тем он покинул логово, чтобы найти легкую смерть. Ему надо было найти прибылых.

Матерый поднялся на ноги, прижался к низкой орешине, застясь ею от солнца. Склонив голову, посмотрел вниз. За работающими людьми Матерый всегда наблюдал с интересом.

Перед тем как отправиться в путь, Матерый опустил в вырытую им яму намученные ноги, почувствовал слабую облегчающую прохладу земли. Лежа на животе, он положил голову на лапы, примерился к окольным тропам, не видным, но чутко угадываемым отсюда, с высоты.

Люди постепенно удалялись, оставляя за собой перекопанную торфяную почву. Меж деревьями она чернела, как свежая пахота, над которой вилось сизое курево. Обшаривая глазами пожарище, Матерый снова увидел ружья, о существовании которых вроде бы позабыл.

8

Еранцев разогнул спину и с восторгом всмотрелся в небо, сквозь дымную наволоку пробились ласточки, чертя головокружительные линии, пронеслись над прудом. Потом птицы исчезли, Еранцев ощутил удушливо-плотный поток зноя. Он снова принялся за кладку — в работе меньше мучила жара. Снова напросились воспоминания, и Еранцев с грустной обреченностью дал им вернуть себя в институтскую кладовку, в которой он затеял провести на себе опыт.

... Что же было потом, после того, как он лег на заправленную снеговой простыней кушетку, подсоединился к аппарату, чтобы сперва только опробовать ды-

хательную систему, а уж вслед за этим довериться не столько машине, сколько Надежде — она, молоденькая, в ту минуту забывшая обо всем, чему учил ее Еранцев, кажется, думала не о каком-нибудь удачном или менее удачном исходе, а об искуплении вины, которая на нее должна свалиться.

Еранцев попытался вернуть ощущение тех минут. И скоро это пришло, хотя смутно и приблизительно. Этим ощущением была острая жалость к девушке, доверившейся ему. Он-то знал, что, если аппарат и сам он оплошают, ничего утаить будет невозможно, ее затакают. Еранцев с некоторых пор был не в ладах с законами, запрещающими проделывать то, что он готовился делать, но у него, как у всякого трезвого правонарушителя, было потворствующее проявлению злого духа оправдание: нет другого выхода. Аппарат его обречен на непризнание до тех пор, пока Игорь Арцименев не протолкнет свой. Единственная попытка склонить Игоря к идее соавторства — лишь бы дали "зеленую" дорогу! — была мягко отклонена. Игорь торопился. До защиты Игорем докторской оставалось три месяца.

Уж не смириться ли?

Нет и нет! Вседозволенность, с какой действовал Игорь Арцименев на виду у него, не то чтобы развратила, но все же на сердце повлияла — оно у Еранцева стало скрытным. Об аппарате — ни во время сборки, ни после — он Игорю не сказал ни слова.

За несколько минут до начала опыта Еранцев засомневался: верно ли поступает, не сказав Надежде всю правду? Или объяснить ей, что затеянное — вовсе не игра, а серьезный шаг, требующий готовности пострадать? И его ошеломило, что Надежда, будто угадав, как передаются ему ее беспомощность и нерешительность, взяла себя в руки.

Он тотчас попросил включить аппарат. Потом... Все было, как прежде, когда он испытывал на себе "коктейли". Постепенно немели руки-ноги, тяжелела, наливаясь теплым сном, голова, дальше невесомость, тоскливое ощущение одиночества, щемящий страх, не было сил шевельнуть губами. А пошевелить губами очень хотелось, ну, хотя бы самую малость, чтобы прошептать благодарное слово Надежде, но ничего не вышло, под ним уже обозначилась пустота...

Каким было возвращение, не помнил. И только сердце сразу, едва пролился на открытые глаза непривычно яркий свет, словно бы сдвинулось и за-

стучало по-иному — упругими, свободными толчками.

И только он узнал ее и улыбнулся, как Надежда припала к нему и разрыдалась. Он понял, что нервы у нее были на пределе, должно быть, уже рисовала в уме картину, как будут всем миром его хоронить, проще сказать, сходила с ума. В тот момент, когда он окончательно осознал, что вернулся к ней из такой безмерной глубины, которой ей не достать даже воображением, ему сдавило сердце, напомнив о жалости, с какой он покидал ее.

Он сперва робко, потом жадно потянулся к лицу Надежды, увидев на нем проступившую сквозь судорогу плача живую страстную радость...

Еранцев давно заметил, что в этом месте воспоминания его замедляют ход, даже совсем останавливаются, как бы упираясь в преграду, за которую пробраться боязно. Хорошо или плохо это — любовь тридцатитрехлетнего к восемнадцатилетней? Освободиться от этого вопроса, не попытавшись разобраться, было невозможно, и Еранцев силился уйти от ответа, ссылаясь на свое прошлое: в конце концов, он не виноват в том, что возраст, когда первая любовь считается само собой разумеющейся, обошел его любовью. Так получилось, так распорядилась судьба, а ее винить тоже нельзя, она вольна поступить с ним, как ею задумано.

Но чем же он прогневал ее, почему она решила испытать его сразу же после того, как одарила счастьем?

В тот день, когда его вызвал в свой кабинет Игорь Арцименев, он был готов уступать, отдать все, забыть обо всем, кроме Надежды. Войдя к Игорю, сразу понял, что вызвали его не по делу. Кабинет был наполнен какой-то цепенящей зловещей тишиной.

Еранцев наваждение это объяснил вчерашним наркомом. И с облегчением подумал, что, слава богу, никто ничего не знает. Надежда, стало быть, в безопасности. Лицо Игоря, всегда бледное, тогда было бледнее обычного, а руки, которыми он принялся без толку перебирать лежавшие на столе журнальчики, плохо ему повиновались. Как бы между прочим, он спросил, не вышел ли срок действия водительского удостоверения, о котором Еранцев, гордясь и хвастаясь, сказал еще в первый день встречи, когда Игорь вез его на "Жигуленке" со станции. Закончил Еранцев курсы шоферов-любителей не по своей охоте, а по принуждению, в институте, где он работал до приезда сюда. Сколачивали отряд, чтобы к осени отправить на уборку целинного хлеба. Тянули жребий, кому на комбайн, кому

на машину, вот и выпало Еранцеву учиться на шофера.

Вдруг Еранцев заметил на лице Игоря улыбку, знакомую по давнему школьному случаю. Он никогда не спрашивал Игоря, по какой причине тот нарвался на ребят из своего же класса. Игоря еще не били, кольцо вокруг него только смыкалось, но по глазам его уже растекалась мокрая пелена, готовая пролиться слезами. И эта улыбка со страхом.

Еранцев с ходу пробился в середину, встал рядом с Игорем. А в драке Еранцев, если его доводили до нее, бывал крепок и зол.

Это было там, в детстве, а тут, в кабинете, смотрел на него сидящий, издевавший всякое мужчину, и только улыбка его так сильно смахивала на ту. В этот раз Еранцев не видел, против кого ему нужно объединиться с Игорем, да и желания вызнать, что и как у него, не появилось. Из длинного сбивчивого объяснения Игоря он понял главное: надо постоять за дело. Что же, надо так надо. Еранцев с удовольствием отметил, что улыбку свою Игорь успел упрятать — за такую улыбку можно презирать даже очень близких людей. Его не смутило то обстоятельство, что общему делу может повредить какая-то женщина, как сказал Игорь, решившая из ревности напакостить человеку в канун защиты.

От Еранцева требовалось немного: тихо оформить отпуск, тихо уехать из города на машине Игоря в одно укромное село, где некоторые знакомые Игоря совмещали приятное с полезным, набирались на деревенских харчах и воздухе здоровья, зашибали приличные денежки. Игорь подкупающе дружески подмигнул, добавил, ткнув перстом в потолок, что там, в верхах, поставлен вопрос о выделении Еранцеву однокомнатной квартиры. Деньги, закончил Игорь, никому не мешают, а Еранцеву сам бог велел их заработать — на обзаведение.

Еранцев обалдело ехал в неизвестное село Прудичи. Едва ли он смог бы вразумительно ответить, зачем ему это надо.

Даже после того раза, когда участковый как бы ненароком осмотрел машину, Еранцев ничего не придумал на случай, если Пивоваров поинтересуется машиной повторно. Спроси сегодня утром участковый, что побудило его взять машину, Еранцев сказал бы, наверно, первое, что придет на ум. Но участковый, слава богу, не спросил. Уже садясь на мотоцикл, Пивоваров легонько стукнул кулаком по козырьку фуражки, отчего та смешно съехала на затылок, и спросил, пользовался ли Арцименев

машиной после указанной на доверенности даты, точнее, не садился ли за руль на третий день после того, как передал "Жигуленка" Еранцеву?

Задал Пивоваров вопрос тихо, не нажимая на какое-нибудь слово, так что невозможно было угадать, как он сам относится к тому, что хочет узнать. С ответом он не торопился, но зеленоватых, устало и грустно сощуренных глаз с Еранцева не спускал. И тогда Еранцев решительно и даже задиристо сказал, что со дня получения машины никому ее не давал.

Сказать-то сказал, но теперь, спустя какое-то время, появилось беспокойство, подступающее к нему тем ближе, чем дальше он пытался его отодвинуть. Еранцев, перебирая свои с Игорем отношения, видел, что Игорь был хозяином положения. Еранцев мог с ним не соглашаться, противиться ему или делать что-нибудь в обход, как это случилось с испытаниями, идти же на большее, скажем, затеять с Игорем тяжбу, если даже она оправдана значительностью устремлений, было бесполезно: пришлось бы искать другое место, и еще неизвестно, как сложилось бы там. В какую-то большую игру, о которой Еранцев только догадывался, Игорь его не посвящал. Может быть, не доверял или, что больше похоже на правду, приберегал, как неприкосновенный запас, на черный день.

Однако, решил Еранцев, думать обо всем этом хватит. Строить догадки можно без конца, и все же от них в голове вместо ясности кутерьма. Значит, у Игоря были какие-то свои соображения, раз он не счел возможным сказать обо всем открыто. Только от одной мысли Еранцева охватывало недоумение: а что, если Игорь пошел на обман? Нет, не должно быть, того быть не может...

Еранцев почувствовал, что работает один, и осмотрелся. Внизу Аркаша набирал в мешок кирпичи, здесь, наверху, их осталось десятка полтора. Кончились кирпичи у Тырина, мсныше стало у Чалымова, и лишь у Нужненко с Лялюшкиным кирпичей было навалом.

— Давайте сегодня все и закончим, — предложил Лялюшкин, заметив, что Еранцев прервал работу и настроился передохнуть. — Сегодня пятница. Грех бездельничать. Хором потребуем, чтобы завтра рассчитали. Обмоем, разбежимся по домам... Мне в понедельник на работу...

— Дело говоришь, — поддержал Тырин. — Кончать надо. Конец — делу венец.

— Bravo, батя, — сказал Лялюшкин. — С таким

союзником не пропадешь. — Уставился на Нужненко, убежденный, что тот тоже поддержит его. — Ваше слово, товарищ маузер!..

— Что-то неохота путь рвать, — будто назло Лялюшкину, отозвался Нужненко. — И спешить мне некуда.

— Как это некуда? — Лялюшкин сбавил голос, переводя разговор в узкий круг. — Ты в известной степени тоже зависишь от величины отпуска.

— Я за свой счет взял, — проговорил Нужненко. — Захочу, продлю...

— Вот как! — удивился Лялюшкин. — Когда же успел отгулять очередной?

— Еще в январе. Рассказывал же, как в богомазах ходил. Церковь действующую ремонтировали. Красили, белили. Иконы обновляли.

— Мирowo! — выдохнул Лялюшкин. — Художнички! Ты хоть кисть-то умеешь держать?

— Не в кисти дело. Хочешь жить, умей вертеться!

— А за свой счет легко получить отпуск?

— Тоже уметь надо. Я бы, если на то пошло, от оклада отказался. Согласен, пусть отчисляют в какой-нибудь фонд. Не жалко.

— Но ведь, надо полагать, не за спасибо.

— При сохранении трудового стажа...

— Понятно, старик, — в третий раз не удержался Лялюшкин. — Если откровенно — ничего не понятно. Ты что, филантроп?

— Можно подумать, что ты синантроп, если не смыслишь в таких делах.

— Просвети.

— Иди ты, знаешь куда... — Нужненко, сплюнув, помолчал, потом, видимо, решил-таки пояснить несмышленому человеку, о какой выгоде идет речь. — Ты вот кусок с лишним получишь за месяц.

— Какой кусок?

— Ну, тысячу рублей с лишним, темнота... А сколько у тебя зарплата?

— Чистыми, без налогов, сто тридцать два с копейками...

— Разница есть?

— Спрашиваешь.

— А если каждый месяц кусок? Ну, не каждый, хотя бы раз в два месяца?

— Иди в каменщики, — сказал Лялюшкин. — Чего проще...

— Дурак ты все-таки, а не лечишься, — натужно выговорил Нужненко. — Становись ты профессиональным

каменщиком, так тебе уже иначе будут платить. Не по трудовому соглашению, как нам сейчас, а опять же по-садку, можно сказать, на оклад.

— А вообще-то красиво, — наконец понимающе, широко улыбнулся Лялюшкин. — Каждый месяц по куску! Полгода отработал, потом лежи и плюй в потолок!

— Не каждый, конечно, умеет, — заканчивая короткий разговор, сказал Нужненко. — Да еще один существует фактор: не к каждому деньги идут. Деньги тоже с глазами.

— Я бы, старик, на твоём месте пуп не рвал. Платят тебе хорошо, сидел бы спокойно, двигал науку вперед...

— Тебе, Лялюшкин, меня не понять. Мы разного полета птицы. Знаешь, что такое "лидирующая группа населения"?

— По-моему, социологическое определение.

— Допустим. Так вот, дружок, я хочу быть в этой самой лидирующей группе. У меня всего должно быть навалом, понятно?

— Понятно... — по-мальчишески швыркнул носом Лялюшкин.

Помолчали.

— Смотри, та старушенция идет, — толкнул Лялюшкин в бок Нужненко. — Не идет, а ползет. А-а, бабка Полина, — узнал он старуху, шедшую из села. — Тырин, скажешь, умеет деньги зашибать...

— Этот, — отрицательно мотнул головой Нужненко. — Куда ему! Мелочится. Крышу старухе чинит.

— Батя, к тебе зазноба идет, — весело крикнул Лялюшкин. — Ты давай встречай да не позорь наше мужицкое звание!

— Ниче, доживешь до моих-то годов, и над тобой потешаться, — устало выпрямился Тырин. — Чего творил в молодости, то и получишь в старости.

— Да ты прямо мудрый, батя, — сказал Лялюшкин. — Прямо ходи за тобой и записывай.

— Брехло, — вздохнул Тырин, спускаясь вниз, по-временив, добавил: — У тебя еще пупок не был резан, когда я такой веселый был, как ты... Дак я тогда воевал за милу душу с фрицем, а тебя встренуть не чаял...

— Но, но, батя, — не то сердито, не то опечаленно произнес Лялюшкин. — Что у вас за привычка — сразу носом тыкать. Чуть что, война, война...

Еранцев, когда ему доводилось слушать перебранку с участием Тырина, всегда бывал на его стороне и в этот раз тоже с интересом следил, каким манером сре-

жет старик зарвавшегося Лялюшкина. Вот в голосе Тырина, задетого за живое, просквозила обида.

Еранцев вдруг разозлился. Обойдя Аркашу, тот подтаскивал кирпичи поближе, приблизился к Лялюшкину.

— Послушайте, — сказал Еранцев. — Я вам советую попросить прощения у Тырина.

— Серьезно? — выгнул бровь Лялюшкин, обернулся на Нужненко, явно рассчитывая на дружескую помощь. — Когда прикажете? Сейчас? Или потом?

— Сию минуту.

— А если я попрошу отсрочки? — храбрился Лялюшкин.

— Имейте совесть...

— А кто вы, собственно, такой, чтобы взывать к совести?! Не поп ли, случайно? — тонким голосом крикнул Лялюшкин, а тянулся к Нужненко — куда тот смотрит?

— Слушай, не базарь! — ожесточенно выкрикнул Нужненко. — Иди извинись!

Лялюшкин, медленно опустив голову, хмыкнул, двинулся к сходям.

Еранцеву видно было, как он подходит к Тырину, что-то говорит посветлевшему лицу старику.

— Ну, что, легче стало? — дождавшись его наверху, сказал Нужненко. — Хорошо, покался. Инцидент исчерпан. Ты прав, надо сегодня кончить. Я подналягу. Мне ваши рожи во как надоели! Спроси вот того хиппи, развалится он, если поднажмет? — показал он на Аркашу, согнувшегося под мешком. Отведя взгляд от художника, сказал: — Дело дохлое. Мы-то попоем, закрулимся, а из-за них потом торчи... Не-е... Давай как работали, так и будем.

— А ты, оказывается, не так прост, — резко отвернулся Лялюшкин.

Аркаша, утвердившись на лесах, в крайнем изнеможении понес мешок и хотел было скинуть, но Еранцев успел подскочить на подмогу. Они вдвоем, горячо дыша друг на друга, почти сталкиваясь головами, справились с мешком.

Нужненко, уловив эту сцену, усмехнулся в кулак. Привлек за майку Лялюшкина, украдкой показал на Еранцева и Аркашу: мол, все, готовы, выдохлись. Нет, сам он не расточителен. Глядя на ребят, набравших воздух ртами, как рыбы, он испытывал счастливое ощущение избытка прибереженной силы. Даже Лялюшкин — на что уж слабак — и тот выглядел по сравнению с теми бодрячком.

Но лучше всех держался Чалымов. У того все было отмерено, все на учете — каждое движение, каждый шаг, каждое слово, хотя с первого взгляда это заметить было трудно. Воду, между прочим, Чалымов держал при себе в бидончике, свою — вначале подумали, с какими-то особыми свойствами, а на самом деле та же ключевая, только чуть подсоленная, — и Чалымов не пил ее, как Тырин, черпая из бака пол-литровой алюминиевой кружкой, громко и часто двигая мокрым кадыком, а отпивал полглотка или глоток, после чего замирал, ровно бы сотворяя обряд.

В такой вот момент, когда всех, кроме Чалымова, порядком разморило, неожиданно и отчаянно весело крикнул Аркаша Стрижнев:

— Подстанция действует, черти полосатые!

Он мигом, откуда что взялось, спустился вниз, радостно и напряженно, как к заветной цели, приблизился к пульта подъемника. Наблюдавшему сверху Еранцеву видно было, Аркаша что-то шепчет, будто заговаривая механизм, включает рубильник.

Но ни малейшего движения не возникло в подъемнике, и Аркаша, как ребенок, скуксился и обмяк. Заглянул, открыв крышку, в коробку пульта, повел взглядом по кабелю до того места, где был перелесок, дальше глазами не достать.

— Пойду посмотрю, — сказал Аркаша Еранцеву. — Лампа горит, напряжение есть. Логично?

— Вполне, — кивнул Еранцев. — Может, корова чья забрела. Если пойдешь, перчатки возьми резиновые. В ящике под пультом...

Аркаша пошарил в ящике, вынул две перчатки, обе непонятного темного цвета, разъеденные ржавчиной, примерил одну за другой, простодушно крикнул:

— Обе дырявые...

— Возьми струмент, — со своей стороны посоветовал Тырин Аркаше. — Не выдрючивайся, руку зазря не суй — зашибет молнией.

— Ничего, живы будем, не помрем, — сказал Аркаша и все же ломик, один конец которого был замотан изолентой, взял. — Да будет свет!

Еранцев осмотрелся, каждый был занят своим делом. Тырин, и тот не терял времени даром, хоть и устроил затишье по случаю прихода бабки Полины: снял с себя треснувшую на спине рубаху, и старуха, которой было без малого лет восемьдесят, ловко орудовала иголкой. Последние дни Полина зачатила, несмотря на то, что невеликая дорога сюда-обратно ей достается с

трудом. Годы сильно согнули ее, и все же, стоило ей добраться до тенежка и приспособить что-нибудь под сиденье, она словно начисто забывала о своем возрасте. Посидев с минуту-другую, начинала томиться, искать рукам работу и, когда находила — помогала ли Наталье чистить картошку, мыла ли неторопливо посуду, — становилась спокойной и уютной, будто угревалась возле людей. А после этого она, поглядев по сторонам голубенькими смышленными глазами, приготавливалась слушать или говорить.

Первым, раньше Тырина, замечал появление старухи Аркаша Стрижнев. Едва завидев ее, черным комом тащившуюся от перелеска, он сбегал вниз, двигал в удобное место ящик или катил бревно, зная, что ей легче сидеть на низком. Когда бабка Полина, устроившись, замирала, Аркаша брался ее рисовать. Портретов ее, сделанных карандашом, мелкими и писанных маслом, у него накопилось пять-шесть, если не больше, но что-то в них Аркашу не устраивало. Сегодня Аркаша сожалел, что нет времени на рисование, поздоровался со старухой, привычно сощурился на нее, как бы отмечая упущенные до этого, не учтенные ее черты.

Аркашу Стрижнева уже давно волновали лица стариков и старух. В той ясной, несуетливой жизни, какою жила бабка Полина, видно, давно осознавшая, что каждому человеку, как бы он ни прошел по жизни — с добром ли, злом ли, — уготован один и тот же конец, только с той разницей, что первый умирает светло, а второй тяжело, виделась Стрижневу тайна человеческой победы над страхом смерти. Старость разнолика, в чем успел убедиться Стрижнев, и лишь одна старость, дающаяся людям чистым, не задавленным ни завистью, ни злобой к другим, бывает спокойной и в то же время наполненной обостренным радостным ощущением бытия. Как ее выразить, какими красками, какими мазками кисти расписать, чтобы она с плоского полотна гляделась глубоко и мудро?

Тырин сидел к Аркаше спиной, укрыв ее мешковиной, чтобы не смущать бабку Полину. Он с треском разбивал яйцо, очищал его от скорлупы, защемливая двумя черными одеревенелыми пальцами соль, сыпал ее в открытый рот, все это он проделывал с будничной хозяйской основательностью, хотя и поторапливался вернуться на свой участок стены. Старик вечерами налаживал шиферную крышу на старухиной избе, за его труд бабка Полина подкармливала и обшивала его.

— Я бы, конечно, в колхозе так не утомился, —



говорил старухе Тырин. — С другой стороны, столько б не заработал. А моей дочке взамуж ноне идти, это у меня меньшая, Маша. Она за старшими в город пода-лась, хорошо устроилась, калькулятор столовой.

— Кто, кто? — не поняла бабка Полина.

— Это там по-ихнему, — сказал Тырин. — Специаль-ность такая по питанию...

— Ну, тади ей чего не жить хорошо...

— Вот-вот... А она, вишь, в этого охламона, у кото-рого родители всю жисть в торговле, влюбилась. Или

он настырный попался, охмурил девку, не поймешь. Вот он возьми да спроси у нее, как, мол, там, в деревне, папаня твой живет, что у него за хибара, годится ли на дачу? Она возьми да Расскажи ему: не хибара, а хоромина с верандой и газовой плитой... А у меня, Полина, и взаправду хибара, куды уж мне хоромина... А она, Машенька, писульками закидала, и в каждой: где хошь найди денег, а дом, хоть щитовой, купи. У нас лесобаза продает за две тыщи... Чтоб, пишет, было культурно, современно. Иначе не будет мне жизни. Осенью корову с телком сдам, скоплю на домишко. Сама пятьсот посулила прислать.

— Отколь у нее-то такие деньги?

— Экономит, значит, — вздохнул Тырин. — Работа такая... сытая. Кругом еда одна. Из нашего села окромя Маши еще одна девка училище это кулинарное закончила. Шурочка Карнаухова. Отец у ей шофером, нет-нет да съездит, поглядит, как дочурка устроена. Уж не нарадуется. Он у нас, Василь Карнаухов, малость чуден, бывает, чарочку выпьет и давай картавить — умора. Дак он последний раз мне и рассказывает после двух лампадных: "Хойошо-то у них в стойовой! Што Шуйочка, што Машенька — обе девки не пьемах! Койбаску ежут-ежут и йаз — в йотик!"

Тырин засмеялся печальным сдвленным смехом, потом, смущаясь бабки Полины, коротко взглянул на нее, виновато сказал:

— Ты, Полина, не думай, что я людей передразнивать мастак. Это на меня нашло.

— В этом, батюшка, греха нет, — отозвалась бабка Полина. — С веселым человеком жизнь справлять легче... А хто такой сюды приходил, каился перед тобой?

— Да баламут один, Лялюшкин по фамилии, — светло запечалился Тырин. — Вот уж не скажешь, что невеселый парень. Уж куды веселей. Интересно с им позубоскалить. Но неровен. Изгаляться начинает. А сила-то его не в ем самом, а в друге-приятеле. Тот слова лишнего не скажет, он этим помыкает. А этот, Лялюшкин, рад стараться. Ветер в голове... Дак я, не думай, особливо не жалуюсь, за словом в карман не лезу. На то и жись...

Бабка Полина, внимательно слушая его, молча подкивала и одобрительно поглядывала на него, доставшего из принесенного ею узелка еще одно вареное яйцо.

— Одно слово, Полина, чисто мужицкая компания. И все разной масти. Бригадир шебутной оказался. Весело, Полина, ей-богу, весело!..

После необъявленного отдыха, когда почти все отвлеклись от работы, трудовой день стал понемногу налаживаться. До обеда оставалось часа два, поэтому все примолкли, переменяли утренний праздный лад на серьезный, чтобы за артельным столом можно было сидеть дружнее. Подкрепившийся Тырин, отведя заодно душу разговором с бабкой Полиной, азартно продолжил работу.

И Еранцев работал жарко, однако, приметив, что кирпичи убывают, стал часто разгибать спину, разглядывать белоствольную глубь перелеска, в котором исчез Аркаша Стрижнев. Неизвестно отчего тревожилось сердце.

Когда почудилось, будто его окликнул человек, который только чудом мог оказаться поблизости, Еранцев подумал, что он болен. Но вот голос послышался опять, Еранцев выпрямился. Что такое?

От белой "Волги", стоявшей возле навеса, шел Игорь Арцименев. В белых джинсах, в белой легкой рубашке.

— Вы что, живете на осадном положении? Мужика одного вез до развилки, всю дорогу про какого-то волка рассказывал. Клянется, что бешеный. Правда это? Или байка для туристов?

— Волк-то есть, — ответил Еранцев. — По-моему, последний из могикан. И никакой не бешеный. Сам его видел. Давай обнимемся, что ли!

Крепко обнялись.

— Как твои дела? — притишил голос Игорь. Заметив, что Еранцев приготовился выложить какую-то новость, поспешно проговорил: — Ну, ну! Не здесь, не здесь.

День горел по-прежнему ровно, сухой зной проник глубоко в землю, и голову Матерому пьянило от чистого пресного духа. Солнце било лучами напористо, туго, и нигде не было места, где бы еще держалась ночная прохлада. Меж деревьев, сильно облетевших в последние дни, лениво шевелился дым, и проваливался сквозь него синими столбами солнечный луч.

Матерый бросил последний взгляд на людей, работавших с меньшим шумом и весельем, соскользнул с утеса на укромную боковую тропу, которая делала крюк, но крюк желанный, захватывающий брод, самый тихий на здешнем течении реки.

Тропа изгибалась, трещала под ногами твердыми, будто закаменевшими листьями, из-за этого треска

Матерый далеко слышать не мог. Он почуял свежий след лисы, что удивило Матерого: что ей, шельме, понадобилось тут, в глуши, возле пожара, отсюда давно сбежали даже кроты и землеройки. Матерый прибавил ходу, надеясь сократить расстояние и держать лису на слуху. Лиса, заметил он, хоть ей никто не угрожал в этих опустевших чащобах, шла тропой, выворачивая лист, чтобы слабее пахли ее следы.

Но через минуту-другую лиса ныряющим трусливым бежком свернула с тропы, и Матерый ненадолго замешкался, чуть не наткнулся на лежавшую поперек пути здоровенную кабаниху. За ней в узком просвете золотисто искрилась река, и доносились оттуда, из-под бережка, плеск и хрюканье. Матерый почтительно обошел сомлевшую от жары самку, медленно приблизился к берегу. В прозрачной неторопкой воде, взвизгивая от удовольствия, барахтались пять подсвинков, похожих на того, вчерашнего.

Подсмотреть, что выделывают в реке туповатые нахальные подсвинки, Матерому не удалось — стряхнула с себя дрему самка, узловато напряглась, готовясь к нападению. Матерый, настроенный миролюбиво, повернулся налево-направо, отыскивая секача, но его поблизости не было. Потом он вспомнил, что самцы-секачи уже давно, еще в начале лета, пошли бродить по свету одинцами. Матерый не стал дожидаться, когда самка сорвется с места, кинется на него.

Обдуваемый речной свежестью, он взбодрился, метнулся в духовитые купы лознячков и галечным урезом, обжигающим лапы, побежал к заводи, к которой близко и надежно подступал одетый в фиолетовую дымку боровой лес.

Здесь в теплой хрустальной воде Матерый купался не первый раз. Но он не то чтобы забывался в беспечном купании, нет, плавая, отфыркиваясь, любясь ярким плеском воды, он не переставал озираться. Он выбрал эту заводь потому, что с нее проглядывался противоположный берег, поросший редкоствольным березняком, был виден по всей ширине и глубине бора косогор, ничем не загороженный, а только густо усыпанный рыжими слежалыми сосновыми иголками.

Несколько дней подряд Матерый, сберегая силы, не ходил сюда купаться, а сегодня, сытый, нагулявшийся на воле, смело шагнул в воду, окунулся по уши и поплыл, вдыхая прохладу. Плыл он к тому берегу, радостно ощущая упругое в середине течение, щекотливую веселую струю, видел высокое, будто остывшее

небо над собой. Выбрался на берег, побрел к деревьям, сразу отощавший, со слипшейся шерстью. Уже в березняке отряхнулся, на мгновение окутался белым дымом и двинулся дальше.

Тропа пошла вдоль оврага, на дне и на склонах которого серебристо залегла и спуталась выгоревшая осока. Пробежав с километр, Матерый почувствовал, что его тревожит какой-то знакомый запах, идущий невесть откуда — от земли или неба, но стоило ему обратить внимание на него, запах исчез, утончился до едва угадываемого намека на запах. Матерый понял, что это запах прибылых и наплывает он издалека, может быть, его совсем нет в воздухе, его подсылает память. Ему опять хотелось выть и снова звать волченят, оттого и чудился запах.

Матерый не поддался обману. Он побежал туже, резвее. Быстро согрелся от бега, прикинул, каким путем лучше добраться до водопоя. В заповеднике, в междугорье, была обмелевшая за это жаркое лето речушка, на ней запруда. Вечером тянулось к ней все зверье, там и надо дозорить.

С этой невеликой, с осклизлой мокрецей по краям запрудой связана была у Матерого последняя надежда. Если не нарвались прибылые на человека, не сгорели в пожаре, должны были они прибиться к стае, в эту пору неприкаанной, не разбирающей, где свои мальцы, где чужие.

Шуршащая листьями тропа вывела Матерого на его торную дорогу — на привычный и все же никогда не терявший загадочности чернотроп. На нем Матерый становился словно бы выше, зорче и отважнее. Даже сейчас в чернотропе, с виду засмиревшем, засоренном листьями, угадывалась бойкость. Чернотроп жил своей скрытной жизнью, он каждой веточкой, каждым листочком, грибами, ягодами рассказывал, где что изменилось, а при случае едва уловимо, так, чтобы было понятно только Матерому, предупреждал об опасности. Двигаясь по нему, Матерый ничего и никого не боялся. Он бежал по нему спокойно, почти торжественно, как хозяин. Наткнувшись на отрезок его, сильно убитый копытами, он обнюхал следы и с легким сердцем продолжал бег. Судя по запаху, на рассвете прошла чернотропом лосиная семья, но долго идти не отважилась.

По чернотропу бежалось бодро, весело. Но вот Матерый перепрыгнул через свалившееся от старости дерево, постепенно замедляя бег, тяжело осел на

землю — встречу ему полоснула светом полоса неба, протянувшаяся над просекой.

Было еще рано идти к водопою — стоя, должно быть, переживает жару в дневной лежке.

Матерый тоже решил подыскать себе лежку, лечь и постараться заснуть. Переходя от куста к кусту, он быстро нашел подходящее место — середь небольшой, сквозящей на солнце поляны перепутался ветвями островок багульника, под ним, у самых корневищ, свежие барсучьи прикопы и порои. Сделав несколько петель вокруг островка, Матерый влез в тень, лег брюхом на мягкую взрыхленную землю.

Осмотрев пространство впереди себя, Матерый убедился, что незамеченным к нему никто не подкрадется, а тыл свой он караулил слухом — уж так был устроен его костяк, что голову не повернуть. Таким — с затвердевшим хребтом — родился, как, впрочем, все волки. Он закрыл глаза, но сон к нему не шел. Земля под ним, хоть она мало чем отличалась от той, оставшейся за просекой, все же была для него чужой, ласки и надежности в ней ощущалось меньше.

Матерый еще раз попытался уснуть, но вдруг сзади — не то из-за леса, не то с неба — донесся глухой стукоток мотора.

Матерый отогнал уже приставшую к нему дрему. Стук усилился. Теперь окончательно стало ясно, откуда он: с неба. Матерый выжидательно замер, хотя память успела подсказать ему, что дело плохо. Спасти от этой грохочущей птицы можно, если только забиться в какую-нибудь щель или уйти в густой, непроглядный сверху лес.

Матерый разглядел нерасторопно летящую машину, услышал сквозь стукоток нудный железный звон и, едва перетерпев минуту, пока вертолет был над ним, выскочил из кустов.

Страх не тронул его, появилась лишь бестолковая тревога. Пока Матерый выбирал, что ему предпринять, вертолет вернулся, и тень от него проплыла всего в двух-трех шагах. Обошлось — не заметили. Когда вертолет, ненадолго пропав за лесом, снова полетел вдоль просеки к оврагам, где, видать, залегла стая, Матерый, встревожившись по-настоящему, кинулся в том же направлении.

Тропа была знакома ему каждым изгибом, и летел он по ней, да еще под горку, так стремительно, что казалось: скоро догонит вертолет. И вправду догнать его было проще простого — в сизой дымке у недалеко-

го окоема леса, на исходе овражистого распадка вертолет неподвижно завис, будто кого-то высматривал. Мотор его не торопился, стучал уверенно — в распадке не было никакого движения, будто всякая жизнь в нем вымерла. Вдруг из вертолета, который постепенно увеличивался в глазах у Матерого, вытянулась белая нитка дыма, криво пронзила озаренное над оврагами небо, и там, почти на высоте деревьев сверкнула огнем, то была ракета. За первой полетела вторая, третья. Затем продолжавший бежать Матерый увидел, как с вертолета сбрасывают маленькие черные кругляки, понял, что стаю вытравят из оврага дымовыми шашками.

Матерый умерил бег, устал после такого рывка. Да и нестись сломя голову в дым, от которого судорогой сводит грудь, а из глаз сочатся едкие слезы, знал по опыту, не было смысла.

Гадать, что будет дальше, не пришлось. Что-то происходило в растекшемся по распадку дыме, вертолет качнулся, сдвинулся с места. Матерый, остановясь, в немом оцепенении смотрел в набухающий дым, за его завесой что-то означилось, катило по земле так быстро и невнятно, не разобрать было что. Пританцовывая занывшими ногами, Матерый высунулся из куста — летела просекой стая!

Вытянулась "гусем", бешено неслась прямо на свет, вместо того чтобы юркнуть направо в бор.

Над ней уже повис вертолет, приноровился к скорости ее, и Матерый, приглядевшись к нему, увидел в темном проеме его двери две человеческие фигуры. Обе целились вниз, в стаю. Потом Матерый услышал резкие негромкие звуки выстрелов, и в тот же миг в середине стаи перекувырнулся, сброшенный какой-то силой в канаву, крупный переярочек. Следом за ним угораздило попасть под верную пулю второму переярочку, который почти поровнялся с Матерым. Пуля угодила переярочку в голову, раскроила ее, его будто подкинуло. Он круто отвалил от следа стаи в сторону Матерого и, на ходу разбрызгивая кровь, мешком бухнулся в куст.

Вертолет все тарахтел, пощелкивал, вызванивал над просекой, но шум его удалялся вместе с убегающей неизвестно куда стаей.

Матерый, подзадержавшийся в укрытии из-за внезапно навалившейся на него слабости, обрел наконец решимость, глаза его еще помнили вожака стаи, распираемого жутким страхом, с заостренными невидящим взглядом. Стая, уже отмахавшая порядком, поредела,

прикинул Матерый, на треть. Пять переярков, опора стаи, долой, очередь доходила до прибылых. Мчась меж кустов, Матерый теперь держал в поле зрения всю стаю, которая, словно подчиняясь непонятной колдовской власти, продолжала спасаться бегством под открытым небом, не ведая, что сохранила бы себя вернее, если бы разбрелась. Загадка крылась в том, что стая верила вожаку.

Матерый стал обгонять прибылых, сбивчиво, неровно бежавших за передними. У всех, еще не окрепших, с подведенными животами, с тонкими, вздувшимися от непосильного напряжения шеями, был остановившийся, устремленный на вожака взгляд.

Неожиданно Матерый растерялся: в стороне от основной группы бежали, натужно дрожа жиденькими хребтами, его мальцы. Звать их или отбивать силой от стаи сейчас было бесполезно: ими, судя по их горячечному бегу, тоже овладело безумие.

Не обращая никакого внимания на захлеставший по носу, по глазам мелкий подлесок, Матерый нагонял вожака. В мгновение, когда Матерый сделал прыжок, забирая правее, чтобы вплотную приблизиться к голове стаи, перед самым носом его в землю впечаталась пуля, коротко треснула, выбрызнув крошево су-глинка.

Вожак был еще силен. Сильны были и две матерые волчицы, они, отставая от вожака всего на полшага, слепо и преданно мчались за ним; они ударялись друг о дружку боками, сбитые с темпа, начинали тут же возбужденно наверстывать, и каждая норовила первой оказаться возле вожака.

Что до Матерого, то он, пока не поздно, решил попробовать оттеснить вожака сначала хотя бы к канаве, дальше, если получится, погнать в лес. С вертолета, словно разгадав задуманную им уловку, принялись все чаще стрелять по нему. Пули ударяли рядом, спереди и сзади, а одна, почти верная, чиркнула поперек шеи, оставив после себя запах паленой шерсти.

Матерый коротко отфыркнулся, как если бы вынырнул из воды. Напрягшись до стального звона в ушах, в два-три прыжка одолел отделявшее его от сына расстояние. Просека пошла под гору, вожак припустил резвее прежнего, должно быть, с надеждой уйти от вертолета — тот, как привязанный, летел прямо над ним.

В вожака не стреляли — сберегали его под конец, чтобы прихлопнуть последним, до этого перебив стаю,

бегущую за ним. Сначала Матерый, пробуя вожака на отзывчивость, мягко ткнулся носом тому в бок и едва успел прыгнуть в сторону — белые клыки, на мгновение сверкнув на солнце, щелкнули у самого уха.

И тогда Матерый снова нагнал вожака, с маху сшибся с ним, того отбросило с середины просеки; он зашатался, высоко закинув голову, отыскал в небе черную глыбу вертолета, недоуменно простонал, так и не догадавшись, кто нанес ему удар.

Матерый приготовился для второго удара, но вдруг заметил в оттаявших глазах вожака боль, ждал, когда он до конца справится с собой. Вожак больше не топтался, стал разворачиваться, сердито оглядывать растянувшуюся стаю. Матерый обошел его спереди, медленно отбежал к краю леса. Вожак понял, куда ему идти, он, повинувшись, свернул с просеки.

Пуля срезала его у кромки канавы, где он на секунду приостановился, чтобы бежавшие сзади не потеряли его из виду. Пуля попала ему в лопатку, успешно проделав свою страшную работу, разорвала грудь. Вожак всхрипнул от раны, как лошадь, и не упал сразу, даже сился бежать, но глаза уже начинали тускнеть.

Матерый уже ничем не мог помочь ему и только молча брел рядом, глядя на его рану, в ней, обширной, обнажавшей полость груди, все еще билось нежно-розовое, сочащееся кровью сердце.

Между тем оставшиеся в живых тоже сворачивали в лес, спешили к вожаку. Они столпились вокруг него, потерянно и беспомощно наблюдали, что с ним станет. Вожак, окинув их затухающим взглядом, опрокинулся на спину и затих. Матерый обнюхал его тело и разом, как от удара, напряжился.

Вертолет еще висел над лесом, неподалеку вжикали, втыкаясь в землю, наугад посылаемые пули.

Матерый, построжев, петлей прошелся вокруг толпящейся, жаждущей догляда стаи, вернулся к началу своего следа. Он уводил стаю в ему лишь ведомые места.

Еранцев не мог бы сам о себе сказать, отходчив он сердцем или нет. Когда Игорь Арцименев признался ему, что недалеко до беды, которая погубит все, чем он жил до сих пор, в том числе его самого, Еранцев забыл

все обиды на товарища. Когда Игорь, еще не прояснив сути дела, припомнил житейскую истину: сегодня я, завтра ты, Еранцев окончательно растерялся. Он, казнясь перед другом, поторопился очистить голову от всякой чепухи, прежде всего от кривотолков — их, пока Еранцев был в одиночестве, накопилось много. Ему не терпелось скорее узнать, что грозит Игорю, узнать и прикинуть для себя, чем и как он сможет помочь.

Но Игорь с открытым разговором почему-то медлил. Приставать к нему с расспросами Еранцев не стал, не имел такой привычки. Он еще не остыл от встречи, хотя, правда сказать, уже не ждал Игоря, не думал, что приедет он под конец: обещал Игорь быть недели через две после отъезда Еранцева и к тому сроку не явился.

Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Они долго ходили вдоль пруда, пока обоим не стало казаться, что они утаивают друг от друга что-то невероятно важное, и молчать становилось невозможным.

— Что за народ подобрался? — спросил Игорь, кивнув на шабашников. — Не жалеешь, что приехал?

— Нет, — ответил Еранцев. — А то с этими институтами чуть от работы не отвык. Но переквалифицироваться все равно не успею...

— Понятно... — улыбнулся Игорь, но улыбка получилась слабая, по ней видно было, на уме у него совсем другое.

Еранцев сбоку пригляделся к нему, удивился: Игорь ли это?

— Слушай, Миша... — начал Игорь и осекся.

Он совсем потерял сходство с самим собой прежним: лицо его безвольно расплылось, он сник; и, как ни старался Еранцев поймать его взгляд, ничего из этого не вышло — глаза у Игоря бегали.

— Слушай, Миша... — повторил Игорь.

— Слушаю, — нетерпеливо произнес Еранцев. В конце концов, они не барышни.

— Я знаю, к тебе милиция приезжала, — тон Еранцева будто успокоил Игоря. — Только вот точно не знаю — наша, городская, или местная.

— Здешний участковый, — сказал Еранцев. — Пивоваров... Я, откровенно говоря, этому значения не придал. По-моему, он от нечего делать повадился сюда ездить, заодно решил проверить, крепкие ли у меня нервы.

— Он тебя не допрашивал?

— Нет. Все вокруг да около. Утром сегодня скovyрнул с правого крыла какое-то пятнышко, увез в пробирке.

— Неужели на анализ? — проговорил Игорь, как-то сразу оправившись, посмотрел Еранцеву прямо в глаза. — Быискался комиссар Мегре.

— Тебя в чем-нибудь подозревают? — спросил Еранцев.

— Погоди, погоди, — оттягивал с ответом Игорь. — Он узнавал, чья это машина?

— Нет, нет, не спрашивал, только проверил доверенность.

— И что же?

— Пока ничего. Уехал. Правда... — Еранцев замаялся. — Я бы сам, конечно, не обратил внимания... Он спросил, верно ли указана дата на доверенности. Хотя... Не совсем так. Хотя, в сущности, все правильно... — Он, желая быть обходительным, подыскивал подходящие слова, а они, как назло, в голову не шли. — Ты именно в тот день, который указан на доверенности, передал мне машину?

— Та-ак! — угрюмо посмотрел на него Игорь. — Как ты ответил?

— Я ответил: да!

— Я, собственно, на это и рассчитывал. Хотя, если откровенно, я должен был тебя предупредить. Думай обо мне как хочешь, но я вынужден был пойти на подлог.

— Ну и ну, — протянул Еранцев. — Нашел надежную подсадную утку.

— Тихо, Миша, — сказал Игорь. — Иначе мы таких дров наломаем. Вероятность, что события примут такой оборот, была равна нулю. Понимаешь?

— Нет, не понимаю, — сказал Еранцев. — Я чувствую себя круглым дураком.

— Пожалуйста, потише... Я тебе сейчас все объясню. Только ты не горячись. Я вообще не хотел тебя втравливать в эту историю. А огляделся — кругом бестолочь... Пока ты в фаворе, они обкладывают тебя так, что дышать нечем, кроме как запахом елeя. Чуть под тобой пошатнулось кресло, их нет... — Игорь перевел дыхание и продолжал: — Я убежден, что все кончится хорошо. На меня, Миша, охотятся. Если ты интересовался социальной психологией, разновидностью общественных наук, то поймешь, почему меня начинают преследовать тихой сапой... Потому что я, согласно плебейским представлениям о благополучии, слишком

преуспеваю. В науке и в жизни... Кто-то пустил слух, будто я совершил наезд на человека и скрыл это...

Игорь оживился, лицо его раскраснелось. Он выпустил из груди застоявшийся воздух и добавил уже доверительно-приятельским тоном:

— Это мне, Мишенька, пока за папеньку. За то, что он вовремя не ушел на пенсию, кого-то недолюбливал, кого-то откровенно давил, держал в черном теле. Теперь, когда он не у дел, начинают ошипывать меня, бывшего директорского сыночка. Каких только не повешали собак: я, видите ли, узурпировал власть в лаборатории, окружил себя дружками... Да, да, — тут он заметно повысил голос. — Я потакал тебе, злоупотреблял служебным положением, единолично отпустил средства на изготовление твоего оборудования, не предусмотренного ни планом ученого совета, ни сметой. Больше того, ты, оказывается, при моем попустительстве нарушил правила техники безопасности — испытывал аппаратуру без окончательной доводки, тайком, в неурочное время. И с кем? С неграмотной, неквалифицированной дурочкой. Можешь ты называть ее ассистенткой? Нет, не можешь. А если бы ты, грубо говоря, дуба дал во время эксперимента? Отравился бы, едрена бабушка, своим "сверхчистым" коктейлем?.. Меня, сам понимаешь, под суд...

— Да, я был неправ, — согласился Еранцев. — Не имел права...

— Ну, хорошо, — снова смягчил голос Игорь. — Давай начистоту. Я понимаю, тебе не терпится. Я бы сам поступил так, как ты. Если долго ждать, можно заплесневеть. Плюнуть на все, запить, спутаться с бабами. Знаешь французскую поговорку: "Нам дарят штаны, когда их уже не на что надевать". Теперь поставь себя на мое место и попробуй принять оптимальное решение. Как мне быть с тобой? Ты знаешь, я не дурак. Я прекрасно понимаю, что твой вариант аппаратуры на порядок превосходит мой. Так. Что дальше? Если следовать современной театральной морали, да не только театральной, все ею грешат — кино, литература, — я должен отказаться от всего, что я сделал, в твою пользу.

— Ну, почему в мою? Что ты говоришь, Игорь...

— Ну, хорошо, хорошо... — Игорь не смог удержаться от улыбки. — Оговоримся — в пользу дела, в общегосударственных, мало того, в общечеловеческих интересах... Так?

— Что ты раскипятился? — Еранцеву надоело слу-

шать Игоря. В его откровениях проступало какое-то бесстыдство. Он добавил: — Не бери так высоко. А если что стряслось, давай посерьезней... То есть проще. Я хоть и дурак, но тоже кое-что смыслю в социальной психологии.

— Хорошо, давай прокатимся, — остывая, предложил Игорь. — Потом, если не возражаешь, вернемся сюда. Если, повторяю, можно, я останусь здесь ночевать.

— О чем толкуешь? — сказал Еранцев. — Койку тебе уступлю. Или, как почетному гостю, на сцене постелю.

— На какой сцене?

— На обыкновенной клубной сцене. Вон, видишь, особнячок, — Еранцев показал на барский дом. — Замечательный ложноклассический стиль. Колоннада, портики...

— Что надо, — грустно усмехнулся Игорь. — Я не шучу, я с ночевкой приехал. Дома вместо сна кошмары. Ну, поехали... Нет, на "Волге". Отец на ней мало ездит, надо ее погонять, иначе заржавеет.

— Плохо себя чувствует?

— Кто? Батя? — наморщил лоб Игорь. — Есть немного. Чуть что не так — нитроглицерин. Какую-то книгу пишет. По-моему, мемуары. Они, стариканы, все сейчас на мемуарах помешаны. Вот и мой... О чем пишет, представления не имею, прячет рукопись.

Когда уже сели в машину, Еранцев вспомнил об Аркаше и высунулся наружу: не возвращается ли? Аркаши не было видно. Зато отчетливо видны остальные шабашники, прекратившие работу и с любопытством, по-птичьи глядевшие сверху вниз.

— Мне надолго нельзя, — проговорил Еранцев. — Если хочешь просто прокатиться, давай лучше вечером. Я тут недалеко место знаю. Вчера с волком там столкнулся. Я сначала подумал — собака. Потом догадался: нет, не собака. Это когда он тягу дал в лес, не знаю, поверишь или нет, угадал, что я камень в него решил бросить. Говорят, редкостный экземпляр — красный волк. Это о нем молва идет. Будут с воздуха бить его...

— Дурачье... — неизвестно о ком сказал Игорь. — Если даже взбесился, неужели нельзя без шума обойтись? Пригласили бы моего старикана с дружкой — егерем Мироном. У меня, сам знаешь, папаня на волков ходил. Мирон все еще собак держит, три гончака, у каждого грудь в медалях...

— Ну, размечтался, — нахмурился Еранцев. — На царскую охоту собрался.

— Скажешь, на царскую! — рассмеялся Игорь. — Со стариканами-то? Скорее всего, как в том анекдоте... Петух бежит за курицей и думает: "Не догоню, так хоть согреюсь". Застоялись, Миша, застоялись...

Мотор "Волги" дрогнул, машина развернулась, так что Еранцева сперва вдавило в заднюю стенку, потом в боковую дверцу. Игорь, глядя вперед исподлобья, напористо погнал машину по тряскому проселку. Дорога дыбилась, сопротивлялась, но Игорь был упорен, нет, не дрогнет, все сделает по-своему...

Выехав на шоссе, он навалился на руль, пускался наперегонки, едва впереди показывалась попутно идущая машина. Пожуркивали внизу колеса, гулом наполнялся кузов, а Игорь все нажимал. Он, азартно блестя глазами, поминутно заглядывал в лицо Еранцева, безучастного, казалось, ко всему.

На самом деле Еранцев внутренне живо откликался на эту отчаянную езду. Он теперь не знал, всерьез или в шутку сказал Игорь о своей беде, невозможно было совместить этого, безбоязненно устремленного, хваткого Игоря с другим — беспомощным и отрешенным, каким делает человека беда.

Стало быть, разыграл. Взял и решил проверить, каков он друг, Еранцев. Таких, как Игорь, беда берет редко, а если и берет слепо, скоро отстает.

Машина все летела. Местами, чудилось, она даже не касается асфальта, а скользит брюхом по упругому воздуху, как взлетающий самолет. С одной и другой стороны, не переставая, гудел ветер, и вдруг Еранцев с удивлением отметил, что ему становится зябко. Отвыкший от такого бодрящего прохладного ветра, он, пожившись, засмеялся.

За какие-то минуты отмахали километров сорок, не меньше. Игорь начал неохотно, будто совершая над собой насилие, сбавлять скорость. Он кого-то или что-то стал высматривать впереди. Увидев поворот, подступившие к самой кромке дороги кусты, Игорь поехал совсем тихо, повернул сразу увядшее лицо к Еранцеву.

— Вот, Миша, все началось отсюда... — осевшим не то от ветра, не то от волнения голосом сказал он. — В жизни все так: не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

— Ты чего это, как дед, заговорил, мудро, — посмотрел на него Еранцев. — Не скрипи. Говорят, трудно прожить только первые сто лет...

— Лука-утешитель, — досадливо сказал Игорь. — Я говорю серьезно. — Он вышел из машины и сразу как-

то переменялся, вяло ткнул пальцем в кювет. — Здесь, согласно протоколу, она лежала. Без сознания, со сложным переломом бедра.

— Кто? — вопросительно уставился на Игоря Еранцев.

— Студентка одна. Упала с велосипеда, а когда встала, ее и повело. А тут, откуда ни возмись, машина... Видишь, какое место. Отсюда передний обзор ограничен. Раннее утро, на дороге никого... А если сказать, что еще солнце прямо встает, лезет в глаза, совсем понятно, езда рискованная...

— Игорь, это все с тобой случилось? — спросил Еранцев. — Ты так рассказываешь...

— Погоди, не перебивай, — сказал Игорь, но, увидев, как насторожился Еранцев, успокаивая его, помотал головой. — Нет... Я проехал мимо спустя полчаса...

— Не заметил?

— Нет, заметил. Хотя... Это не совсем правда. Я, возможно, что-то заметил в кювете, однако меня это не обеспокоило. Просто какой-то непорядок в кювете, пестрое пятно... Я ехал, как бешеный. Интересно то, что было дальше...

— Скажи, она жива? — опять прервал его Еранцев.

— Жива, — ответил Игорь, возбужденным, беглым взглядом окинув Еранцева. — Спортсменка, должно быть, крепкая... Но и удар, наверно, был не из слабых. Она уже там, в отделении реанимации, долго пролежала в шоковом состоянии.

Еранцев, медленно передвигая ноги, подошел ближе к кювету и принялся смотреть в него, но, как ни старался, ничего особенного обнаружить не смог.

— Что же дальше было?

— Да, да... — вздрогнул Игорь, оказывается, взявшийся протирать тряпкой ветровое стекло машины. — Что дальше? Я ведь никуда не ехал, катался, чтобы встряхнуться. Километров семьдесят накрутил на спидометр и вдруг чувствую, мне становится не по себе. Подсознание, значит, выдает оценку побочной информации. Я развернулся, поехал назад.

— Ее уже подобрали?

— Да, — кивнул Игорь. — Меня, когда я возвращался домой, гаишник засек. Из будки. Через три дня мне звонит лейтенантик. Ему, понимаешь, поручили расследовать этот случай... Тогда-то я почувствовал мандраж. Надо было что-то сделать с машиной, чтобы она не мозолила никому глаза. И надо было, если даже меня начнут серьезно подозревать, тянуть как можно дольше.

Одним словом, до защиты. А там трава не расти. Понятно, почему я поторопился отправить тебя на шабашку?

— Понятно, — кивнул Еранцев. — Дальше положишь, ближе возьмешь.

— Ты это к чему?

— Да так. Народная поговорка... Почему же ты меня не предупредил?

— Не знаю. В голове началось какое-то торможение. Что-то вроде затмения...

— А того, кто сбил, не нашли?

— Если бы... — нервно передернулся Игорь и нетерпеливо скосил глаза на машину, стоящую не далее как в пяти шагах от него. — Если бы да кабы...

Еранцев перехватил его взгляд, соглашаясь, первым шагнул к машине, пора ехать. Он уже в пути — Игорь, нагнув над рулем тяжелую голову, снова погнался — решительно спросил:

— А если участковый за меня возьмется? Припрет?

Игорь промолчал. Он не хотел, чтобы разговор принял такой оборот, и, не скрывая неудовольствия, поморщился. Ну, зачем задавать такой неуместный вопрос, неужели не видно, что он и без того исстрадался. Понятно, рано или поздно вопрос возник бы и пришлось бы на него ответить, но обидно, что вот он поставлен ребром. Прямой ответ был чересчур грубым, и потому Арцименев смолчал, иначе могла выйти промашка. Ответ был приготовлен, не раз мысленно произнесен и все же требовал оттяжки.

Игорь должен был сказать: возьми пока, до моей защиты, все на себя. Слова эти, недавно казавшиеся беспощадными, сейчас, когда Еранцев болезненно, но с достоинством воспринял суть события, не так сильно, как, например, два дня назад, страшили Арцименева, теперь они мучили его другим — своей обыденностью.

Он опять ехал, надавив до отказа ногой на педаль акселератора, будто гнался за чем-то, очень нужным ему, постоянно ускользающим от него. Быстрая езда, отметил он, уже не освобождала его от необходимости думать об одном и том же сотый, а может быть, двухсотый раз, а только придавала мыслям тяжеловесность.

Он опять — тоже в сотый или двухсотый раз — принялся успокаивать себя. Ну, чего волноваться? А было ли оно вообще, то раннее утро? Слишком раннее и пустынное, а потому не совсем настоящее, похожее на мягкий безмолвный сон, который не оставляет в памяти никакого следа. Но, сколько ни внушал себе Арциме-



нев, что видел сон, дальше шла явь, такая отчетливая — с ветром, с яркими пятнами солнца на дороге, с тугой, надежной твердью асфальта, — что все усилия забыть ее были напрасны, все оживало в нем. Никуда не денешься, правда, обо что-то он ударился правым крылом, когда его вынесло к повороту. В то мгновение, услышав глухой звук удара, он не успел испугаться — был целиком занят управлением, потому что машина, полегчавшая на ровном подъеме, плохо слушалась его, норовила лететь напрямик и, не будь удачливым Ар-

цименев, могла перемахнуть через кювет и врезаться в густой осинник.

Он и сейчас, когда память, казалось, была в состоянии выдать даже самое что ни на есть глубоко припрятанное, не припомнил, каким образом удалось ему выровнять машину, вышедшую из повиновения. Но он вспомнил, что первой мыслью его было остановиться, и ее-то, возникшую километрах в десяти от поворота, он испугался. Он понял, что там, позади, произошло что-то, о чем немедленно, не откладывая, узнавать он не должен.

Он стал успокаивать себя, как успокаивал бы мальчика, которому пустячную свою вину хочется раздуть до неимоверной величины, чтобы выплакать все накопившиеся до этого обиды. Он ехал прочь от того места, где ему что-то померещилось, он сказал себе: это шалят нервы. Потом он свернул на лесную дорогу. По ней, должно быть, давным-давно перестали ездить, и уж недолго осталось ждать, когда она совсем исчезнет. Она вся поросла кустарником, а поверху, засты от нее небо, тянулся почти непроглядный навес из спутанных ветвей и листьев. Он долго вел по ней машину, начиная приходить в себя, различая, как едет она — не едет, а плывет, раскачиваясь передком влево-вправо по сырому мху. Впереди показалась рябина, которая, видать, дряхлея из года в год, помаленьку сгибалась под собственной тяжестью и теперь кроной, плотно облепленной красными ягодами, загораживала дорогу. Раздумывать, ехать дальше или нет, Арцименев не стал. Зажмурился и дал полный газ. Машина подмяла часть кроны, другую часть, что была повыше, хлестко отбросила капотом в сторону. Он обрадовался: ему почудилось, что ударенная машиной рябина в какую-то долю секунды издала точно такой звук, какой он слышал там, на повороте. Такой же тупой, приглушенный. Только в этом звуке было меньше тяжести.

За рябиной, на ясной поляне Арцименев выбрался из машины, поставил лицо нагревшемуся солнцу. Он осмотрелся, понял, что здесь его не скоро найдут, если даже примутся искать. Прежней уже боязни в нем не было; он ухватился за спасительную мысль, что и там, на повороте, сшибся с повалившимся деревом.

Он вылез из машины и сразу весь сжался, почему-то страхась глухой заброшенности этого места, обостренно и болезненно чувствуя даже пустячное столкновение с деревом, о чем напоминал забрызганный рябиновым соком капот. Да, он поддался страху. На какое-

то мгновение им овладело безразличие ко всему, что давало ощущение полноты жизни, и почудилось, не рябиновый сок пузырится на белой эмали капота, а кровь. Он осмотрелся, провел подушечкой указательного пальца по гладкому. Засмеялся — сначала тихо, тонким, сдержанным голоском, а следом, окончательно убедившись, что машина вымазалась рябиновым соком, захохотал громко.

Он ехал назад, на шоссе, по нему к повороту, поминутно давясь смехом, не мешая рукам и ногам выжимать все из машины. Остановив ее поблизости от зеленой кручи, которая когда-то заставила строителей дороги отклониться от прямой визирной линии, Арцименев решительно пересек проезжую часть, зашагал вдоль кювета, вдоль кустов, тщательно вглядываясь в них. Он, двигаясь по обочине, шагах в пяти увидел то, что не могло ему помочь обмануть себя. Он больше не искал ни дерева, ни чего-нибудь другого, чтобы отгородиться от случившегося хотя бы слабенькой надеждой, прямо посмотрел на недавно натоптанный пятачок на асфальте и на обочине, перевел взгляд на раздавленные цветы курослепа в кювете, и вдруг его замутило от пресного бередящего запаха крови.

Ощущение тошноты и зябкости, пережитое тогда Арцименевым, сейчас с воспоминаниями вернулось, и сжало его всего. Он, опасаясь, как бы чего не вышло, сбросил скорость...

День, начав гаснуть, вопреки всем правилам неожиданно попросторнел, горизонт отодвинулся, и там, где надлежало быть краю земли, обозначилось не сильнее, как всегда, а ровно выбеленное небо.

Арцименев, первым обратив внимание на такое странное поведение природы, принялся гадать, к чему бы это — не к перемене ли погоды? Он хотел расшевелить Еранцева, тот сидел, задумчиво следя за дорогой.

Арцименев не решился беспокоить его. Он догадался, что, отмолчавшись, когда Еранцев спрашивал насчет того, как ему вести себя, если участковый всерьез займется им, он словно бы намекнул, что Еранцеву надо самому делать выбор. Он только сейчас понял, как трудно подталкивать человека к решению, которое для самого Арцименева было равнозначно решению покончить с собой. Что значила бы для него явка с повинной? Нет, нет, у него даже от одной лишь мысли об этом сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот лопнет от натуги. Он цепенел, будто уже в душу заползал холод тюремной одиночки, и небо, то самое небо,

только что увиденное в радостной раскованности, сужалось в глазах, темнея краями. Неспроста, видать, говорят, что оно покажется с овчину. Надо еще раз, с новой силой заставить себя поверить, что все это случилось не с ним. И не с Еранцевым, а с кем-то третьим, неизвестным, одним словом, твердить и твердить то, что уже сегодня сказано Еранцеву. Так лучше будет. Когда Еранцев, поймет, что единственный способ спасти общее дело — самооговор, он будет в ловушке, поэтому Арцименев готов пролить слезу уже сейчас, загодя: ему и вправду жалко Еранцева.

Верно, Еранцев привык жить, обходясь самым малым, и к возможности лишиться даже этой малости отнесется спокойно, не убиваясь заранее, или, если не выдержат нервы, придурится и станет ждать развязки с беспечностью гусара, такое за ним водилось еще в школьные годы.

Этого на первых порах, пока "комиссар Мегрэ" разберется, что к чему, будет достаточно. Дай ему, Арцименеву, защититься, он сразу начнет вытаскивать из беды Еранцева — за другого постоять опять же легче. Люди нужные, слава богу, есть.

Арцименев окончательно уверил себя, что Еранцев дошел до всего своим умом, совсем успокоился, сказал как бы ненароком:

— Электронный блок получили к твоей установке. Я передал наладчику, приедешь, можешь приступать к стыковке.

Он, еще даже не слыша и не видя Еранцева, почувствовал, как тот оттаял, посветлел. Арцименев едва поборол искушение повернуться к нему, чтобы получить, как в награду, если не благодарность, то хоть улыбку. Он сам умилился сделанному им доброму делу.

— А я, знаешь, толкать свою установку в серийное производство, наверное, не буду. Покажу, продемонстрирую, и хватит. Только бы защититься...

— Защитишься, — наконец сказал Еранцев. — Обязательно. Слушай, Игорь, вот все хочу спросить и все духу не хватает. Ты с Надей как обошелся?

— С какой Надей? — округлил глаза Игорь.

— Ну, с той лаборанткой, молоденькой... — Еранцев сконфузился и оборвал себя на полуслове.

— С той-то? — облегченно проговорил Игорь и тут же обиженно спросил: — За кого ты меня принимаешь? Никаких административных мер я не принял. По-моему, она и не догадывается, что мне стало известно о ваших проделках. — Игорь вдруг встрепенулся, будто

обрадовавшись удачной мысли, добавил: — А если чистоту, я знал обо всем с самого начала. Как только ты занялся монтажом, а потом этой своей... Надюшей. Вербовал или кадрился, точно не знаю, наверное, и то, и другое было вместе. Вот такая, старик, у меня информация. Агентура, как видишь, не дремлет...

— А что же ты молчал? — радостно удивляясь, сказал Еранцев. Он пристально, с волнением присмотрелся к виску Игоря, произнес с грустной усмешкой: — А ведь уже седеешь.

— Не по дням, а по часам, как в сказке, — утвердительно кивнул Игорь. — А сказать, конечно, тебе бы мог. На ковер вызвать, выговор вклеить. Или, наоборот, помещение предложить, условия создать: мол, давай, дерзай! А я решил все оставить так, как есть. Думаю, пусть хоронится, пусть не дышит, пусть таится, как вор. Так творили и работали гении. Когда весь мир против них...

— Что ж, — Еранцев заслушался словами Игоря, вроде бы сказанными от чистого сердца. — Хорошо говоришь. Только масштабы преувеличиваешь.

Игорь помолчал, с какой-то внезапной отрешенностью стал глядеть на лес — где-то здесь, судя по показаниям спидометра, должна быть дорога в Прудичи. Поворот, проскок через лес, по ухабам, поле...

Вот гений доморощенный! Ему, видите ли, похвала не идет впрок. Начиная так рассуждать, Игорь незаметно разозлился, но вовремя остановил себя. Надо было держаться: не вздыхать, не морщиться, не болтать лишнего, покуда с Еранцевым еще не все ясно. Он, что-то вспомнив, порывлся в кармане, вытащил листки.

— Это твои, — протянул он Еранцеву. — Там, на установке, оставил. Интересно, фторорганические соединения... Если ты этим займешься... Это, конечно, перспективно. Да, если синтезировать на основе эмульсий фторорганических соединений кровезаменитель...

— А почему бы нет, — Еранцев метнул короткий, тревожно загоревшийся взгляд, и по нему Арцименев узнал в нем давнего норовистого Мишку, то и дело прибегавшего в школу с какой-нибудь несусветной идеей. — Я знаю, этой проблемой уже занимаются... Но мне нужен многофункциональный заменитель, а не просто переносчик кислорода. Короче, комплексный. Понижаешь? Вот если бы у хирурга было шесть — восемь групп кровезаменителей. Пускать в ход при операциях легче, чем донорскую кровь. Все стало бы проще. И, конечно, надежнее... Скажем, подобрали с вертолета,

видят, не дотянет до стационара, начинают оперировать.

— Верно, все очень даже верно, — соглашаясь, сказал Игорь. — Знаю, есть заменители гемодинамического действия. Очень помогают при кровопотере, при ожоговых и травматических шоках. Но ты пойдешь дальше. — Он грустно усмехнулся. — Если вовремя не остановят. Одному тут работы невпроворот...

— А я не дурак, чтобы на одного себя надеяться...

— Вот-вот... Можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку.

Оба враз замолчали. Может, способствовал какой-то особенный в поле свет, давящий глаза, застывший, чуть процеженный дымом, он словно существовал сам по себе, отдельно от солнца, чтобы и потом, после заката, малость ослабев, стоять до самого утра. Странное все-таки лето: пожары, дым, сушь.

Игорь остановил машину, вышел и огляделся. Виднелись на косогоре размытые дымом Прудичи — отсюда добрых три километра. Дальше, за двумя прудами, которые, сочно зеленея краями, подолгу удерживали на себе взгляд, пепельно-бледно проступали Каменки. Остальной простор измучен жарой и безводьем. И все же в небе, если сравнить его со вчерашним или позавчерашним, произошла едва уловимая перемена.

Игорь присмотрелся к Еранцеву.

— Как у тебя с деньгами? — спросил он.

— Нашел, когда интересоваться, — не то с упреком, не то с насмешкой проговорил Еранцев. — Через пару дней я буду богат, как Рокфеллер. Да, когда тебе машину вернуть?

— Да ты же на ней как следует не покатался, Миша, — рассмеялся Игорь. — Я не тороплю... А ты возьми да махни на ней в Крым... Ну, сам придумай, куда: Ялта, Геленджик, Коктебель... Денежки загребешь, отпуск за свой счет, Надюше — очередной, она как раз заявление принесла. Море, вино, любовь!.. Твою черную меланхолию как рукой снимет... — Игорь, все больше распаляя себя, так играл глазами, что и Еранцев засмеялся. — При этом, старик, не забудь детективную сторону... Этот... Как его... Пивоваров с опергруппой преследует тебя по пятам... Ты меняешь места ночевки, Наденька заинтригована, она начинает думать, что ты супершпион... Наконец... Встреча на заводе массандровских вин. Дегустационный зал. Входит Пивоваров, переодетый в штатское... Говорит: "Здорово, Миша! Я давно хотел попросить у тебя извинения!.." Вы пьете на брудершафт! Ну, как?..

— Браво! — захолопал в ладоши Еранцев. — Красиво! Публика плачет и рыдает...

10

Шематухин и Степка Парфенов искали пропавшего барана. Для начала они выпустили стадо из овчарни на выгон, теперь загоняли обратно. Шематухин, стоявший посреди входа, осматривал каждую овцу, а баранов хватал и проверял даже на ощупь. Бараны, все до единого черной масти, почти ничем не отличались друг от друга. Все они, сколько их пропустил через руки Шематухин, как назло напоминали пропавшего.

Степка Парфенов, громко отдуваясь, щелкал кнутом, гнал к Шематухину немногих оставшихся овец, и ему постепенно делалось не по себе: Степка уже понял, что дело не в баране, но, в чем именно, пока догадаться не мог.

— Все, — устало выдохнул Степка, пнув сапогом последнюю овцу. — Нема больше...

— Степка, — блеснул зубами Шематухин, глаза его горели. — Уж не ты ли меня проклял? Из-за этой, из-за бабы своей. Да разве можно из-за какой-то дуры на мужика беду накликать?

— Что ты мелешь, Гриша, — испуганно сказал Степка, делаясь меньше ростом. — Что я, дьявол какой? Поискал бы там, где запропастился... К дереву, говоришь, привязывал. Может, он попить захотел, травки пощипать.

— Нет, Степка... — яростно сощурился на луг Шематухин. — Нет там барана. Там, видишь, пусто. Провалиться он не мог. Одна ему была дорога, когда он отвязался, куда... Смотри, я не последний день живу.

Он, по правде сказать, придирался к Степке Парфенову, чтобы маленько встрясти из того дурь. Он не любил людей, которые, зная про его прошлое, боялись его. И — какое выдержит сердце! — из боязни лезли на рожон. Привыкли где-то у себя брать других криком — тому, кто не научен горьким опытом, кажется, что самый верный способ поднять человека, которого боишься, хотя и не признаешься в этом даже себе, первым накричать на него. И, стоило Шематухину появиться среди людей, кто-нибудь из того сорта выискивался. Сперва, если такой по пьянке или от нечего делать капал на душу черным, чтобы обезопасить себя наперед, Шематухин придуривался, но при первом же удобном случае любого молодца "воспитывал" жестоко: запомни, не на того напоролся.

— Знаешь, что?.. — нервно сказал Степка. — Сто лет мне он не нужен. Хошь, я тебе второго дам, только отвали по-хорошему.

— Если ты, Степка, свинью мне подложил из-за бабы, то зря, — не отступал Шематухин. — Пойми, из-за такого товара, как баба, мужикам друг дружке нервы портить нельзя. Мужик — самое торжественное создание природы. Возьмем хоть тебя. Ты, Степка, хоть дурак дураком, но, как начинается мутация, в голове, смотришь, извилина появляется. Баба думает, ты такой же, как она, на-ка вот, выкуси. Не смей себя приравнять к мужику. У них у самих дело безнадежное, их мутация не берет. Этих... извилин у них, Степка, нету. У них отсутствует перспективное мышление по этой причине. Что, нравится тебе моя бодяга?

— С чего ты взял? — Степка не мог смекнуть, к чему клонит Шематухин. Он громко высморкался и ярким встревоженным глазом повел на село: кто бы появился, тогда он, Степка, разговаривал бы с Гришей посмелее. Нерешительно буркнул: — С учеными поживешь, рехнешься...

— Это я-то рехнулся? — с усмешкой спросил Шематухин.

— Не-е... Я вообще.

— Знаешь, анекдот есть. Очень даже к слову. — Шематухин оглянулся вокруг, придвинулся ближе к Степке. — Это, значит, едут в автобусе двое: мужик и баба. Он это самое... с получки лыка не вяжет... Ну, бабе это не нравится, она и говорит: "Ты пьяный..." А он спрашивает: "Ну и что?" Она, вражина, опять: "Ты пьяный..." Он еще раз: "Ну и что? А у тебя ноги кривые..." Тут она на его манер спрашивает: "Ну и что?" Тогда он ей отвечает: "А завтра я просплюсь..."

Он затрясся от смеха, потом, с трудом остановив себя, посмотрел на Степку: понравился ли ему анекдот?

— Ну, ты понял, понял? — заглядывал он Степке в глаза. — Он, значит, протрезвится, а у ней все останется, как было, ноги-то не выпрямишь...

— Понял, Гриша, — напряженно улыбнулся Степка.

— Ладно, Степка, — дав тому успокоиться, сказал Шематухин. — За норов тебя уважать начинаю. Не видел, значит, моего барана...

— Пошел ты, знаешь... — сказал Степка. — На кой он мне, баран твой, нужен? Их у меня вон скоко!

— Ладно, — усиленно соображал Шематухин, потеряв интерес к Степке. — Иди, вылови еще одного... Четвертную дам.

— Не надо, не... — замахал обеими руками Степка. — Забирай даром... Для хорошего человека... не жалко.

Он торопливо исчез в полумраке овчарни, и скоро оттуда донеслись топот, чих и кашель ворохнувшегося стада. Оставшись один, Шематухин простонал от боли в голове, зная по опыту, что боль можно размягчить, для этого достаточно выпить полстакана. Но от одной мысли о выпивке ему сделалось еще хуже. Странно, едва он, забегаая вперед, думал о том, что будет через час-другой, когда он вернется на шабашку, сердце холодело. Шематухин осмотрелся в поисках какого-нибудь подходящего тенежка — посидеть, а то полежать бы минут десять — и неожиданно увидел мотоцикл с коляской.

— Мотоцикл чей? Фонина? — спросил он Степку. Надсаженно кряхтя, багровея лицом, Степка выволакивал барана. — Что молчишь?..

— Его, Фонина.

— Слушай, Степан, дай отвезу... — ласково понизил голос Шематухин, видя, что порядком надоел тому. — Сразу пригоню назад. А то и этот сбежит.

— Ты у него спроси, — сказал Степка. — Ключ-то у него.

— Та-ак... — Шематухин, бодро ширнув носом, направился в глубь овчарни, нащупал впотьмах дверь клетушки, удостоверился, что "молодой специалист" спит, что называется, без задних ног, и все же осторожно ощупал его карманы. Найдя ключи, радостно зажмурился, вышел к Степке.

— Та-ак, — посмотрел на Степку снизу вверх. — Да-вишь ты меня ростом. Сделать бы тебя на голову короче, а? Ну, я смеюсь, смеюсь, дурень...

Он, не таясь, показал Степке ключ от мотоцикла.

— А ты у него спросился?

— Ладно, не дури, Степка, — сказал Шематухин. — Со мной, брат, беда, так что будь заодно. Добром, знаешь, отплачу...

Вдруг он, поживившись, с тревожным прищуром взглянул на солнце, чудилось, будто оно светит не с того боку. Потом успокоенно вздохнул, сориентировался — солнце висело там, где положено, — и ворчливо проговорил:

— Тебе, Степка, при твоей должности собаку надо иметь. И не одну.

— Собака есть, — насмешливо сказал Степка. — Если по правде, не собака, одно название.

— А черт с ней, — загораясь надеждой, сказал Шематухин. — Не на выставку. След барана учует, нет?

— А хрен знает, — усомнился Степка. Он догадался, что надумал Шематухин, и участливо зашевелился, видать, не давала ему покоя неразгаданная тайна — что с ним, пропавшим бараном, связано? На нем свет клином, что ли, сошелся? — Давай попробуем с собакой, коли так, — дипломатично сказал Степка, привязав вытащенного барана к изгороди, пошел за собакой в сарайчик, сколоченный из свежих досок за выгоном.

Тем временем Шематухин выкатил из тенечка мотоцикл и, чтобы не разбудить Фонина, толкал его до овражка. Когда увидел Степку с собакой — пес, беспородный, не по времени линяющий, шел измученно и виновато, как на расправу: ни для чего уж негож, — хотел было отказаться от затеи, но не поддался отчаянию.

— Рано еще, брат, помирать, — сказал он псу и завел мотоцикл.

Степка, втискивая себя в коляску, видно было, клял судьбу — езда по кочковатому лугу не обещала ему ничего хорошего. Шематухину показалось, Степка недоволен им.

— Ты, Степка, дай тебе волю, меня, точно, повешишь, а? — крикнул он, выехав на луг. Посмотрел, в этот раз сверху вниз, на Степку, сидевшего в люльке с собакой на коленях. — А зря ты на меня сердце держишь. Только Нюрку да себя срамишь. Если у Нюрки был кто до тебя, не имеешь ты права ее в этом винить. Наоборот, гордиться должен. Теперь мода такая. Если ее до законного жениха никто не трогал, тут, Степка, есть над чем призадуматься. Еще подумать надо, кого ты взял — бабу или не бабу. Если, так сказать, никто на нее до этого не позарился...

— Зануда же ты, Гриша, — усмехнулся Степка. — Тебе бы артистом...

Шематухин направил мотоцикл к запруде, нацелился на дерево, увидев, что вокруг пусто, с ожесточением прибавил газ.

Он, прыгнув на землю, понял, что искать нечего, и все же заставил себя терпеливо ждать, когда Степка пустит собаку на след. А ждал, оказывается, напрасно. Собака на землю сходить не желала. Степка, злясь, спихнул ее, она тотчас ошетибилась остатками шерсти и зарычала.

— Кого это она учуяла? — ошалело заглядывал под кусты Шематухин. — Эй, кого там носит?

— Ково-ково? — с ехидцей хмыкнул Степка. — Волка она учуяла, вот ково...

— Волка?! — моментально очутившись у мотоцикла, спросил Шематухин. Повел носом, пришел в себя, хмуро уставился на Степку. — Ты не дури! Это все сказки...

— Ёй-богу, волк, — подтвердил Степка, отыскав метрах в пяти от дерева пятнышко крови. Пройдя дальше, осмотрел обрывающийся берег, присвистнул — земляной выступ пониже густо пестрел следами. — Иди, смотри. Точно, волк...

Посмотрев туда, куда указывал Степка, Шематухин с угрюмым изумлением, как бы переживая неожиданную и незаслуженную обиду, повернулся в сторону леса.

— Ну, гад! — взвился он.

— Чего уж теперь... Теперь не взыщешь, — поддразнил его Степка.

— Еще как взыщу! — крикнул Шематухин. — Душу выну, едрена твою растуды!..

Степка, стараясь разглядеть на береговой траве волчьи следы, по которым можно было бы определить, в каком направлении бежал зверь, долго шел вдоль реки. Шематухин догонял его. Деревья остались позади, за молодыми побегами ольхи и лозняка стоял непролазный камыш, и тут, на боковине картофельного поля, Степка обнаружил еще несколько четких отпечатков крупных лап. Волк, должно быть, ушел в заболоченные широкие, с километр, камышовые заросли. По ту сторону, плотно синев в дымном воздухе, тянулась круча, а над ней слабо, как летучий пепел — надеяться не на что, — виднелся лес.

— Дальше ходу нет, — сказал Степка.

Шематухин, будто не расслышав его, сунулся в камыш, ожесточенно разгребал его руками, но в пяти-шести шагах, слышно было, оступился. Хлюпала вода, чавкало болото, всхраписто часто дышал Шематухин. Степка невольно напрягся, дожидаясь крика о помощи, однако Шематухин, чертыхаясь, боролся с болотом один. Наконец он выбрался назад — с одним сапогом в руке, другого не было.

— Хитрый, видать, — выдохнул Шематухин. — Не мог он здесь пройти. Заметал, гад, следы...

— Верно, — поддакнул Степка.

Он с пытливым пристальностью глянул на Шематухина, швырнувшего спасенный сапог — какая в нем, единственном, надобность! — в гущину камыша. Степ-

ка никак не мог понять, что кроется за этой шематухинской возней — не для того же человек который час без передыху ищет барана, чтобы только убить время. Прямо кино!

— Собаку надо, — не замечая Степкиной заинтересованности происходящим, сказал Шематухин. — Степка, скажи, кто собаку хорошую держит?

— Таких у нас, в Каменках, нет, — ответил Степка. — Вот в Прудышах, кажись, есть у этого... — он поперхнулся и, отвернувшись, прокашлялся. — Ну, сидел он за лосей... Вот, вспомнил, Хошунаев. Мордастый такой, лосей, говорю, жаканом бил, накрыли его.

— Хватит, — отрезал Шематухин. — Я не прокурор. Я насчет собаки спрашивал.

— Годочка два назад видел у него собаку. Борзую...

— Та-ак. То, что надо...

Они вернулись к мотоциклу. Шематухин, сняв брюки, выполоскал перепачканные на болоте штанины, вымыл ноги, плеснул водой на жаркое лицо, отдышался.

— Поехали, — живо предложил Степке.

— Не-е, — благодушно улыбнулся тот. — Мы с ней, — он показал на собаку, та, поджав хвост, таращила глаза из-под мотоцикла. — Мы с ней своим ходом...

Шематухин сел на мотоцикл, мучительно искал слова, которыми можно было бы закончить разговор.

— Ты, Степка, не сердчай... О том, что сегодня про-меж нас было, никому ни слова. — И так, ничего не по-снисв, замялся, без злости добавил: — Услышу где треп, пощады не жди!..

На то, чтобы повалить барана в люльку, привязать его, Шематухину хватило пяти минут. Он торопливо — день катился вниз — вырулил на дорогу, которую жители Каменок называли верхней, реже — новой. Дорога эта, очень тряская из-за обилия на ней крупной речной гальки, раздражала Шематухина. Когда, свернув на проселок, напрямик сбегающий к Прудышам, Шематухин обогнал девушку, он даже не взглянул на нее. Потом — что-то подсказало, нездешняя — он затормозил. Девушка, как ни в чем не бывало, прошла мимо, была она одета в белую обтягивающую безрукавку, в длинную синюю, чуть ли не до земли юбку. Понизу, под срезом юбки, энергично взмелькивали босые ступни.

Шематухин скользнул по девушке раз-другой глазами, прихлопал пятерней волосы и, дивясь самому себе — надо же, впору ему выть и убиваться, а он, вишь, петушится — отпустил у мотоцикла тормоза.

— Садись, что ли, — грубовато пригласил Шематухин. — А то, часом, ноги сточишь...

— А я, дяденька, уже пробовала с одним ехать, — важно повернув голову, сказала девушка. — Не вышло.

— Это почему же? — обрадованно спросил Шематухин: вон какая, не отмахнулась от разбойной его рожки. — Не в твоём, че ли, вкусе?

— Макси у меня, дяденька.

— Кто-кто?

— Макси, — засмеялась она. — Юбка такая, не видите?

Желания побалагурить, а если девка не из строптивых, договориться о встрече у Шематухина хватало, но он внезапно почувствовал, что его познабливает. Он про себя в шутку подумал, что, может, при виде красивой девушки — по его определению, точная копия какой-то артистки — у него поднялась температура, и все же вынужден был признаться, что живот ему скрутило не на шутку. Он горько усмехнулся и спросил ослабевшим голосом:

— Далеко ли топаешь?

— Вон в ту, кажется, деревню, — ткнула она тонким длинным пальцем в Прудищи. — Вы, может быть, знаете, где там шабашники живут?

— Шабашники... — Шематухин попытался произнести слово так, как получилось у нее, будто она сказала "космонавты".

— Должны знать, если здесь живете, — продолжала она. — Бригадир у них такой...

— Какой такой? — забыв о боли в животе, насторожился Шематухин.

— Дурак с замашками Калигулы...

— Это кто же о нем так неуважительно?.. — оскорбленно спросил Шематухин.

— А что это вы так реагируете? — миролюбиво улыбнулась она. Потом, видно догадавшись, приставила палец ко рту. — Я, знаете ли, пошутила...

— Ладно, ладно, — процедил Шематухин. — Ты лучше скажи, кто такая, к кому приехала...

— Зовут меня Надя, а приехала... — она скосила на Шематухина крупные, хитро заблестевшие глаза — говорить или нет? Внезапно озабочась, спросила: — А вы не заболели? Вид у вас бледный...

— Еще чего! Покедова! — вдруг ожесточился Шематухин.

Резко крутанул рукоятку газа, мотоцикл взревел, понес его, черного от обиды, в закатную даль.

Она, конечно, могла подумать: что за придурок, хотя, если не криводушничать, на большее Шематухин и не рассчитывал. И смех, и грех — с дальним прицелом заговаривать с девушкой, когда сам себе противен: оборван, нечесан, спиртным за версту разит. Сильно разболелось у Шематухина, теперь боль поднялась выше, под самое сердце. От внезапной, совершенно нелепой мысли — понравилась, отрав! — Шематухин дернулся, как от тока. Сбросив газ, он обернулся, увидел ее, высоконькую, на горушке. Опять пустил машину на всю мощь — протрезвись, образумься, мужик. Прикинь: тебе тридцать шесть с лишним, ну, пускай, для круглого счета, тридцать пять, а ей, поди, нет двадцати...

Шематухин, омрачаясь, окинул взглядом приближавшуюся стройплощадку. Сначала разглядел белую "Волгу", какое-то время вопрошающе сверлил ее взглядом: откуда, чья? На коробке здания шевелились три фигуры, работал подъемник, значит, кто-то скумекал насчет "аварии". Если, не дай бог, Чалымов — во, жук, выкидывает фокусы, после йоговской спячки он мог припомнить, куда направлялся утром Шематухин, а уж связать одно с другим проще простого, — быть драке.

Он лихо подлетел к навесу, резко пшикнул двигателем, ужинавшие, кроме Еранцева и Стрижнева, шабашники молча переглянулись. Шематухин догадался: чрезвычайных происшествий не было. Он широко улыбнулся: надо уметь смеяться как раз тогда, когда хочется плакать.

— Наталья, подкорми его, — сказал он, развязывая барана. — Водички дай... Завтра мы его... — он провел ребром ладони поперек горла, заметил, шабашники встрепенулись. — Деньги, братва, в понедельник, не раньше... Я уж и так, и сяк подходил к Сергею Филиппу, который мне, знаете, седьмая вода на киселе... Нет, говорит, денег в банке...

За столом приуныли. Надо было, пока кто-нибудь не сорвался, драпать. Шематухин, стараясь казаться спокойным и невозмутимым, привязал барана к столбу, сел на мотоцикл. У него и на самом деле был повод уехать — собрался к Хошунаеву. Чтобы поставить все точки над "и", Шематухин решил, не откладывая, выяснить, к кому — взглянул на дорогу: идет, заноза — пожаловала Надя.

— Кто ждет девку в гости? Звать Надей. Городская...
Под навесом промолчали.

Шематухин подъехал к стройке напротив подъемника, притормозил, свистнул.

— Эй, пассажиры!

На фоне загустевшего неба темно обозначились две головы — Еранцева и Стрижнева, спустя немного показалась третья, незнакомая.

— Чего? — с легкой насмешливостью спросил Стрижнев, уверенный, что Шематухин, по обыкновению, чего-нибудь отмочит.

— К кому из вас Надя должна приехать? — крикнул Шематухин. — Надя!

— Надежда? — ошеломленно откликнулся Еранцев. — Где?

— Вон по дороге топает... — сказал Шематухин.

Еранцев словно бы сорвался вниз, пролетев мимо Шематухина, влез в "Жигули".

— На "Волге", на "Волге" встречай! — кричал ему вслед оставшийся со Стрижневым мужик.

Но Еранцев уже отъезжал.

— Слушай, Стрижнев, — строго выгнув брови, кашлянул Шематухин. — Случайно, не знаешь, кто такой Халигула?

Стрижнев задумчиво сморщил лоб, ничего не найдя в памяти, предположил:

— Танец, может, какой...

— Нет, — помотал головой Шематухин. — Человек какой-то с замашками...

— Может, Калигула? — вмешался незнакомец, судя по тому, как кочевряжится, начальник.

— Годится! — с волнением сказал Шематухин.

— Если Калигула, — задрав голову, пояснил Аркаша, — это, по-моему, древнеримский император. Отличался крайней жестокостью.

Шематухин, сделав вид, что довольнехонек, подмигнул Аркаше, погнал мотоцикл по тропе. И вправду ему полегчало, будто тяжелый камень свалился с души: надо же, как люди стали теперь обзывать. Да обзываются ли? Шематухин повеселел, будто от похвалы: как-никак сравнили его с императором.

Он протарахтел вдоль деревни, спросив у гревшейся на вечернем солнце старухи, где живет Хошунаев, поехал к дому, на который она показала, к третьему с краю.

Дверь была закрыта изнутри, на настойчивый стук долго никто не отзывался. Шематухин, начиная тревожиться и пухнуть лицом — тут, у чужого порога, обостренно припомнились все немилости дня, — хотел уже

кинуться к окну, чтобы трахнуть кулаком по раме, но в сенях кто-то свирепо, со стоном закашлялся. Лязгнул запор, дверь отворилась. Перед Шематухиным стоял немолодой мужик, глаза у которого, и без того узкие, от алого солнечного света превратились в щелочки.

— Как живем? — поинтересовался Шематухин.

— Лучше всех, парниша, — приветливо сказал Хошунаев. — Заходи, гостем будешь.

Следом за ним Шематухин прошел в избу и первым делом, пока глаза не свыклись с сумраком, потянул носом воздух: пахнет ли псиной?

Хошунаев молча выставил на середину избы — так, видно, у него велось — табуретку, накрытую сверху заячьей шкуркой. Зажег спичку, раскурив длинную трубку, неподвижно застыл, ожидая, что скажет гость.

— Собака, сказали, у тебя есть, — проговорил Шематухин и затаился.

— Была, человек хороший, — со сдержанным поклоном ответил Хошунаев. — Скоро год, как похоронил... С собакой теперь у меня проруха. Если новую заведу, так уж для души, чтоб одному не помирать.

Шематухин поглядел на его смуглое плоское, как стесанное бревно, лицо, подумал: хитер — не знает, кого принесло, на всякий случай давит на жалость.

— Где сидел-то? — тихо спросил Шематухин.

— Где сидел, там меня уже нету, — сухо усмехнулся Хошунаев. — Выкладывай, зачем пришел.

— Я же сказал: собака нужна.

— Сказано, умерла собака...

— Та-ак... — Шематухин поджал ноги, сел удобнее. — Мне, падлой буду, плевать, за что ты срок отбывал. Сам три срока от звонка до звонка отбыл, так что должен иметь понятие, не мальчик. И если ты хоть вот столечко, — показал верх мизинца, — из нашего сословия, обязан помочь, как братан братану...

— Говори, что надо, — смягчился Хошунаев.

— Наведи, братан, на волка... — глухо проронил Шематухин. — На того... красного...

Хошунаев не удивился, как знал, что Шематухин придет с такой просьбой. На мгновение Шематухину почудилось, что Хошунаеву все известно, он попытался заглянуть хозяину в глаза, но из этого ничего не вышло — непроницаемый взгляд был устремлен вдаль.

— Не красный он, — тихо, будто наглухо закрыв себя для пришельца, сказал Хошунаев. — Седой... Только подшерстка красная... Убить хочешь?

— Не знаю, — выдавил из пересохшего рта Шематухин. — Не спрашивай. Скажи прямо, сможешь?

— Как я тебе помогу, мил-человек, — отвел глаза в сторону Хошунаев. — В лес не хожу. Ты сам-то охотник?

— Слушай, братан... — взмолился Шематухин. — Ни о чем не спрашивай. Я к нему вовсе по другому делу.

Он, не сказав того, что хотел, надолго замолчал. Сомнение, не давшее ему напрямик выложить, в чем дело, было не пустячное. Сказать про деньги или нет?

— Если упущу его, хана мне, — с трудом выговорил Шематухин. — Почему да как, никому не надо знать.

— Слушай сюда, парниша, — вздохнул Хошунаев. — В лес не пойду. С тем волком у меня старые счеты, он запах мой за три версты чует... Я в него картечь всадил, другой бы кто от такого выстрела на месте подох. А этот выжил. Будь он человеком, как-нибудь расквитался бы со мной. Тебе-то чем он насолил?

— Сказал же, не спрашивай! — не выдержал Шематухин. — Я же не исповедоваться пришел. Ну, ладно, — он встал, не скрывая горести, добавил: — Ты хоть место, где он гнездется, нарисуй... И ружье мне продай... Святоша!.. Ты так всех байками потчуешь?

— Погоди, чай поставлю, — окончательно потеплел Хошунаев, видно, поверил Шематухину. — Я тебе карту дам. Если он не менял логово, знаю, где старое. Вабить умеешь?

— Чего, чего? — вскинулся Шематухин.

— Подвывать, спрашиваю, умеешь?

— Волком, что ли, выть? — наконец понял Шематухин. — Разок пробовал.

— Мало, — сказал Хошунаев. — Баба, парниша, большое искусство. Этот даже на хорошую вабу голоса не подаст — умный. Ты на волчицу рассчитывай. Она, как и всякая баба, с ветерком в башке... А ружье... — он со значением посмотрел на Шематухина. — Без ружья лучше.

— Так он, говорят, бешеный, — растерялся Шематухин. — Задерет, как пить дать.

— Он не бешеный, — сказал Хошунаев. Он вслушался в эти свои слова, словно проверил, сколько в них правды, и уверенно подтвердил: — Не бешеный... Это один человек сболтнул. Я знаю.

— Все равно сердце не на месте, — сказал Шематухин.

— Ой, парниша. Ты меня под монастырь подводишь...

— Могила, — заверил Шематухин.

— Хорошие ружья конфискованы, — расстроился Хошунаев. — Прямо со списком пришли. У меня три было. Про тулку и забыли.

— Сколько просишь?

— Сколько не жалко. А вообще-то... две сотни, как отдать.

— Ладно, харя бесстыжая, — рассердился Шематухин. — Бери сотнягу, вторую занесу через пару дней. Вот еще что. Научи этому самому искусству...

— Бабе?

Хошунаев достал из запечья что-то тяжелое, завернутое в тряпье, осторожно сдувая пыль со свертка, развернул — в полумраке маслянисто блеснула вороненая сталь. Пока Хошунаев собирал ружье, заглядывал в стволы, щелкал курками, Шематухин положил на стол сто рублей и молча выжидал. Хошунаев оживился, вынул откуда-то старый, в ржавых пятнах патронташ, коротким, пожелтевшим от табака пальцем провел по донышкам патронов.

— Запомни, слева с заячьей дробью, — показал Шематухину. — На правом боку заряжены картечью. Не бойся, что патронташ дохлый. Это мой первый, чистый. Остальные выбросил, чтобы совесть не заела.

— Далась тебе эта совесть, — проворчал Шематухин. — Не тяни резину, давай вабить.

— Можно, — согласился Хошунаев.

В избе быстро темнело, и, когда Хошунаев, застыв напротив окна, приготовился выть, Шематухин поднял на него глаза и опешил. Хошунаева словно подменили. В этом крепком, вроде бы даже ставшем на голову выше человеке, на лице которого сейчас проступило вдохновение, не сразу можно было бы узнать прежнего, осторожного, в самого себя ушедшего Хошунаева.

Вот он, поднеся тяжелую, как из темного камня, ладонь ко рту, держа голову набок, ударился в голос:

— Оу-уы...

Шематухин вслушивался-вслушивался, приоткрыв рот от напряжения, глядел на Хошунаева — теперь уже не оторвать было взгляда от зловеще вдохновенных, выпученных его глаз. Голова Хошунаева тряслась, он был с придыханиями и, что больше всего поразило Шематухина, сопровождал низкий вой залиvistым подголоском, от него-то и накатывала на душу тоска.

Закончив, Хошунаев вроде бы даже уменьшился. Он заново раскурил трубку, выжидательно, как откликнется Шематухин, отодвинулся в совсем темный угол.

— Кха-х... — прокашлялся Шематухин. — У тебя здорово получается.

Для того чтобы быть правдиво, Шематухин расшевелил воображение, пытаясь представить себя среди волчиной ночи: далеко окрест одна тьма, звезд видимо-невидимо, он, стало быть, волк, один-единешенек. Надо быть, авось кто-нибудь из своих услышит.

— Оу-ью-о-о...

Почувствовав фальшь — помешали стены, никак не раздвинутся, — он оборвал вой, уставился на Хошунаева: что тот скажет?

— Душу вложи, душу... — наставительно сказал Хошунаев. — Со слезой давай... не горлом, а брюхом пой...

— Что ж, брюхом так брюхом. Эх! — возбуждаясь, крикнул Шематухин. — Раз пошла такая пьянка...

Он завыл. В этот раз выл хорошо, сквозь слезы, будто оплакивал что-то утерянное, не поддающееся возврату. На удивление скоро освоив волчью песню, Шематухин пришел в сильное возбуждение — она, целиком захватив его, рождала необъяснимую тоску, от которой он помимо воли утробно взрыдывал. Наконец устал и в наступившей тишине ощутил присутствие уже не различного в темени Хошунаева, тот дышал прерывисто, шумно, должно быть, вой понравился ему.

— Не перестарался? — спросил Шематухин.

— Чуть-чуть... — отозвался Хошунаев.

Он включил свет, снова запустил руку в запечье, там что-то зашебуршило. Можно подумать, там целый клад. Хошунаев сдул пыль со свернутой в трубочку бумаги, сорвал с нее нитку, наклонился, позвав Шематухина:

— Запоминай, как искать.

И он, сосредоточенно сморщив лоб, близоруко ткнулся в карту.

В сумерках, когда почти в каждой избе горела лампочка, Шематухин, взбудораженный надеждами на завтрашний день, поехал к себе на шабашку. Над селом стояло намученное дневной жарой небо, и звезды, приглашенные дымком, мерцали нечисто, с дремной ленцией.

Ближе к шабашке Шематухин заглушил мотоцикл, нырнул в густой малинник, царапаясь о колючие кусты, торопливо сунул в траву сверток с ружьем и боеприпасом. Задержав дыхание — нет ли кого рядом, —

выскочил снова на тропу, на всю катушку погнал мотоцикл к чернеющему возле пруда дому.

11

— Ты давай толком, толком, — говорил сверху, со сцены Лялюшкин, обращаясь к Тырину, что-то делавшему в углу. — Разве так новости выкладывают. А то не поймешь, кто на кого напал. Валяй, батя!

На Шематухина, вошедшего вопреки прежней шумной привычке тихо, как мышь, сначала никто не обратил внимания. Все, за исключением Аркаши Стрижнева, сидели на сцене, там же были оба приезжих — оживленный, раскрасневшийся мужчина и та самая девушка, Надя.

Подойдя к Тырину, Шематухин заглянул в большую кастрюлю, не требуя объяснений, чем тот занимается, уважительно оглядел его: настоящий мужик. Тырин мял пальцами картофельные очистки, промывал их — решил, должно быть, покормить барана.

— Чего заливаешь? — поинтересовался Шематухин. Помявшись, переменял тон: — О чем плачешь, Егор Митрофаных?

— Ну, так как там было? — приставал к Тырину Лялюшкин.

— Точно не знаю, как было... — не поднимая головы, сказал Тырин. — За что купил, за то продаю. От старухи слышал... Ну, значит, докричались прудищинские. Караул на всю губернию. Прислали вертолет, с него-то стреляли волков. У старухи внук в егерях состоит, он, значит, с товарищами обход после совершал. Кажинному волку, рассказывает, головушку разрывной пулей разнесло...

— Скажи-ка... — с волнением потянулся к нему Шематухин. — Красного волка тоже того... ухлопали?

Он не сводил глаз с Тырина, ждал. Щеки горели, как от солнечного ожога: Шематухин сейчас сердцем переживал проклятую волчью судьбу.

— Скажу, — волнуясь, проговорил старик. — Это из-за него весь сыр-бор загорелся. Как не узнать, узнавал. Ушел он. Увел остальных волков...

Шематухин молча двинулся вдоль зала, с роздыхами одолел четыре ступеньки, ведущие на сцену. Уже в заваленной чем попало комнате, от толстых стен которой веяло вековой прохладой, старательно привел себя в порядок. Надел чистую рубаху, обдал себя из флакончика одеколоном, посидел на кровати, напустил начальственный вид и все же перед тем, как выйти на

люди — решил поглядеть на Надю, только на нее одну, и от мысли о ней сердце у него зачастило, — он дал себе слово не выпячиваться. Надо было скоротать время, потому что теперь, лежи не лежи, сна не будет.

Когда Тырин сказал, что красный волк ушел, с души свалился еще один камень, хотя, если разобраться, это просто чушь — Шематухину все равно, жив или мертв волк, или, так будет вернее, пусть живет, пока есть время, пока никому в голову не пришло, что у него в лесу не логово, а сберкасса. Тревога, очередной раз ворохнувшись, принялась точить его. Сидеть в одиночестве стало не вмоготу.

Шематухин вышел на сцену.

На видном месте, расположившись в плетеном кресле, сидела Надя, и все смотрели на нее. Ей, кажется, было не по себе. При появлении Шематухина она скользнула по нему рассеянным счастливым взглядом и не узнала его.

Шематухин не обиделся, наоборот, успокоенно вздохнул: он сразу, как только очутился в направленном на сцену свете фонарей, начал досадовать на свою новую рубашу — зачем, дурак, надевал? Шематухин еще раз оглядел сидевших полукругом — ну, точь-в-точь как перед телевизором — ребят и догадался, что те тоже собрались, чтобы пялиться на Надю. Но они, есть же на свете фраера, изображали из себя черт знает кого, только не мужиков, которые до этого, считай, месяц близко не видели бабы, кроме Натальи... Что и говорить, Надя — девка смазливая и нежная, видать, долго держали ее взаперти, а пришел час, выпустили, потому что в эту пору, когда родительское слово уже не закон — обуза, от запретов ей может стать хуже, как передержанной в клетке птице. Шематухин, совсем не слушая, о чем говорят остальные, исподтишка поглядывал на Надю, и вдруг обругал себя за грубые мысли о ней.

Нет, хоть с виду и сомнительна эта Надя — скрытная, несмотря на юный возраст, — не чета она тем женщинам, после которых у Шематухина появлялось желание поставить крест на так называемой любви.

Странно, один только Еранцев, сидевший рядом с Надей, не проявлял к ней никакого интереса. Бледный, он, видно было, думал о чем-то постороннем, не имеющем ничего общего с обстановкой. Иногда он косился на Надю, невесело улыбался, как бы теряя себя в назойливой, изнуряющей думе.

Больше всех, между прочим, говорил приезжий.

— ...Итак, после длительных переговоров правительства заключают соглашение, берут на себя обязательство выполнить все условия транспортировки и хранения портрета Моны Лизы. Условия, надо сказать, архистрогие, за нарушение каждого, даже малейшего, невероятный штраф. Специальный самолет доставляет в столицу этого государства саркофаг из особо прочного материала.

— Одно слово, Леонардо да Винчи, — восторженно вставил Лялюшкин.

— И вот представьте себе картину... — продолжал Арцименев. — Самолет, естественно, пустой, с одним этим саркофагом на борту, приземляется на самую удаленную от зданий аэропорта посадочную полосу. К нему из-под навесов мгновенно устремляются агенты на мотоциклах. Агенты в черных кожанках, кобуры с револьверами расстегнуты. Небо патрулирует вертолет. С великой осторожностью — не дай бог, не с теми градусами наклона, — переносят саркофаг в бронированную машину. Сразу, разумеется, не везут. Составляется акт, фиксируются замеры температуры, относительной влажности воздуха в саркофаге. Данные тут же вводятся в ЭВМ для сравнения с данными, которые приняты за эталон. Едут, разумеется, по секретному маршруту, все начеку, нервы на пределе, пальцы на спусковых крючках. Ни императоров, ни королей никогда не сопровождало столько агентов, детективов, полицейских, а вот Мону Лизу — в сущности, кусочек старого холста с тонким слоем краски, — представьте, везли так. А сколько специалистов тряслись в помещении музея — появившись на этом полотне новая, незаактированная трещина, в нее, как в пропасть, ушли бы миллионы долларов в виде штрафа...

— Дак ить не в картинке цена, — донеслось из зала. — В древности...

Сказав это, Тырин досадливо улыбнулся, должно быть, вырвалось нечаянно. Возле ног его, играя хвостом от удовольствия, хрустел картофельными очистками баран.

— Ты чего это, батя, животное сюда впустил? — пристыдил его Лялюшкин. — Публику не уважаешь. Здесь, между прочим, имеется дама.

— Извините, барышня, — сказал Тырин. — Имейте сочувствие. Ему жить-то осталось...

Нужненко потянул носом воздух, скривился.

— А ты, дед, оказывается, гуманист, — сказал он. — Может, постель ему свежую заправишь?

— Ну хватит, хватит, — вдруг сердито отмахнулся от наседавших Тырин. Переведя взгляд на свежих людей, как-то по-детски восхищенно повторил: — А ить правда, та картинка за древность ценится... У нас вот в соседнем селе, в Еланском, тоже случай был...

— Аналогичный случай, — смеясь, перебил его Лялюшкин. — Как в том анекдоте...

— Пошто это ты слово мне сказать не даешь? — сверкнул глазами Тырин. — Одно дело, шутки шутить...

— На самом деле, — сказал Шематухин. — Он вам кто, таракан запечный?! Он ветеран, доброволец... Прошу внимания!

Чуть опешивший от такого решительного заступничества, Тырин кашлянул в кулак и вдруг вдохновенно-торжественным голосом продолжил:

— Дак вот в Еланском у бабки Лукерьи один московский постоялец проживал. Писал что-то. В сарай он как-то зашел, глядит, в углу старинная икона прислонена. В два роста. Сзади уж трухлявится, а спереди краска еще держится, правда, уж темная, не разберешь, осталось ли што. Но этот, московский, видать, толк в них знал. Прибежал к Лукерье, аж трясется весь, спрашивает: откуда икона? Она отвечает: из церкви. До-прежь икона в церкви висела, а как стали храм разорять, покойный ее муж и притащил ту икону. Штоб, значит, ею погреб закрывать... Ну, ясное дело, тоже разные спецы понаехали, все в один голос заявили: сотворена икона этим... Рублевым.

— Ого! — воскликнула девушка.

— А Лукерье за то, что сберегла такое сокровище, уйму денег отвалили, — засмеялся Тырин. — Избу себе новую срубила, баньку еще... Лукерья радехонька, всем теперь рассказывает, как усердствовала, хранила икону...

— Так, — решил подытожить посиделки Шематухин. — Приезжие с ночевкой пожаловали или собираются уехать?

— Я остаюсь, — сказал Арцименев.

— А я об этом как-то не подумала, — замялась Надя.

— Оставайтесь, — сказал Чалымов. — Я вам уступлю свои покои. С музыкой. Вы, Игорь Николаевич, в машине будете спать?

— За неимением лучшего варианта.

— Занимай мою жилплощадь, — моментально, чему немало удивился сам, предложил Шематухин.

— Вот это по-царски! — воскликнул Лялюшкин. — Истинный Калигула.

Шематухин, не дожидаясь ответа Арцименева — малый лощеный, еще откажется, — гордо произнес:

— В общем, мое дело предложить... Гостей полагается встречать. Ставлю в известность, имеется три комплекта чистого белья.

— По рублю? — с ухмылкой спросил Лялюшкин.

— Чего по рублю? — не понял его Шематухин.

— По рублю, спрашиваю, за постель? Как в плацкартном вагоне?

— Иди, знаешь...

Добавлять, куда именно, не стал, пожалел Еранцева. Как-никак жених с невестой. Еранцев и без того подавленно молчал, не смотрел на Надю. Вот молодчина, так, видно, устроена — не придала никакого значения перепалке, будто даже не слышала.

Шематухин сказал:

— Сабантуй ребята завтра. Придумываю, чем угощать...

— А ты себя особенно не утруждай, — выпятился Лялюшкин. — Нам с тобой что главное? Водка. Основной продукт...

— Это ты себя в мужики записываешь? — срезал его Шематухин. — От двух рюмок сваливаешься. Скажи-ка лучше, что это за фраер? — спросил он, посмотрев вслед приезжему мужчине, который, кажется, уговорил Надю подышать воздухом. — Ученый или так себе?

— Сын ученого, — многозначительно подмигнул Лялюшкин.

Все ушли. Наступила тишина. Шематухин, оставшись один, закручинился.

Как все-таки бесприютно, когда нет никакой защиты от тоски и некому довериться, не зря же люди жалуются — не с кем поговорить, не с кем выпить, словом, излить душу. С кем бы час-другой посидеть, поведывать, посоветоваться: как быть дальше? Пока рано, рано, говорил себе Шематухин, нюни распустил. В первую очередь надо постараться заснуть.

Шематухин отправился к себе, лег на кровать и чуть было не забылся. Что-то, прервав дрему, толкнуло в бок, напомнив о том, что кровать предстоит уступить гостю. Он вскочил, нашарил под ворохом кумача и сатина футляр из-под баяна, вынул из него давно затолканное белье, а из-под отошедшего от корпуса дермати́на двести рублей заначки. Всякое тряпье, которое могло послужить постелью, Шематухин сложил в углу.

Подвальная сырость постепенно остуживала голову, она прояснялась. За окном, тоже успокаивая, ровно

светилась белая ночь, над прудом, что было в новинку, плыли прозрачные клочья тумана. Увидев Тырина, зашедшего по колено в воду, чтобы дать попить барану, Шематухин припомнил, что надо сделать еще одно доброе дело.

Он вышел к старику, и тот поспешил к берегу.

— Слушай сюда, Егор Митрофаныч, — сказал он. — Мне раненько утром отлучиться придется, за меня останешься. К обеду должен вернуться. Ты с утра за барана примись, а разделаешься, слетай с Еранцевым в магазин, сообразите на хороший стол.

Тырин принял протянутые деньги и, чуть таясь, будто пряча подозрение, спросил:

— А не многовато ли? Далеко ль, ежели не секрет, собрался?

— Насчет расходов, Егор Митрофаныч, не вмешивайся. Пока свои трачу...

— Что-то чуден стал в последние-то дни, — сказал старик. — На себя непохож...

— Ладно, не лезь в душу, — устало проговорил Шематухин.

Он, прощаясь, посмотрел на барана, который, резко вскидывая смоляной черноты голову, лениво отгонял какое-то насекомое. Хорошо ему, не ведает того, что у Тырина нож наточен — хоть брейся. Утречком, когда вся живность пообгтряхнется, пообглядывается, нацелится на целый день жизни, баран будет лежать с перерезанным горлом, с глазами, в которых застыло недоумение: а зачем родился?

Шематухина зазнобило, он быстро укрылся в комнате, лег и закрыл глаза. Ждать сна пришлось долго, и от чрезмерного старания у него в уголках глаз набухла слеза.

Когда наконец в сыром тепле водянисто затяжелело тело, донеслись шаги, сдержанный говор — пришел с прогулки остальной люд. Шематухин, сколько ни силился, не смог полностью погрузить себя в сон. Он запоздало догадался, что, должно быть, не спится потому, что забыл поужинать и теперь в животе зарождалась боль. Это еще в нем вино творило расправу: не кончай, мол, пить прежде положенного часа. А он все равно что сапогом на собственное горло наступил, хотя, правда, другие люди этим даже гордятся, называют это силой воли. Воля не воля, а Шематухин сегодня после того, как его обокрали среди бела дня, закаялся пить, неизвестно только, надолго ли. Погибельная это все-таки штука — вино. Пока пьешь, все нипочем, никто не

страшен, все милые, со всеми в обнимку. Но в похмелье, как вот сейчас, никто не помощник. Каждый мучается в одиночку, клянет себя и каждого, кто подбивал выпить. А если сам, сам первым начал?..

В животе все урчало, и Шематухин, озлясь, приподнялся на локтях, ничего не разглядев в темноте, наострил уши в сторону кровати: все ли ладно там, не мешает ли гостю? Все было в порядке, Арцименев спал.

Шематухин чуть успокоился, но желанного облегчения не почувствовал, теперь он точно знал, что спать ему не дает и не даст что-то другое. Гадать, что это, чем обернется через час или позже, не хотелось, да и лежать, чтобы дожидаться какого-то просветления, не было смысла. Он опять зашевелился, и новая постель, хоть и навалил он под себя уйму тряпья, казалась твердой, как камень. Отпустив себе еще минуту-вторую на раздумье, он притих, услышал далекий, донесшийся откуда-то из-за пруда крик птицы и вдруг обильно, жарко вспотел: на него опять нашел страх, о котором он, казалось, уже успел забыть.

Нет, лежать ему нельзя. Надо что-то делать, иначе потом будет поздно. Он представил, как проснулся в овчарне зоотехник Фонин, как, с первого раза не вспомнив, с кем пил, спросил у Степки Парфенова, были ли с ним какой провожатый. И как тот, в том можно было не сомневаться, расписал в картинках, что было и чего не было; а уж когда речь зашла о мотоцикле — обещался пригнать, не пригнал, — Фонин, конечно, взъярился, может, даже напустился на Степку. Фонин — единственный свидетель, видевший Шематухина с деньгами. В том ничего страшного нет, но мог он растрепаться перед Степкой, и тогда этому увязать пропажу барана с деньгами — сущий пустяк. Почему-то, все больше ужимаясь, рассуждал Шематухин, не спохватился Фонин искать мотоцикл. Может быть, они того... сговорились и вдвоем кинулись по следу волка? От этого предположения Шематухин онемел телом. Попробуй докажи потом, что у него, трижды судимого, волк стащил деньги, а того бедолагу выследили Фонин со Степкой. Скажут, сумасшедший. Словом, куда ни кинь, везде клин. Все идет к тому, что его, Шематухина, вольные денечки на исходе. Не из-за денег — не станут эти интеллигенты заявлять в милицию, со своей стороны милиция не станет связываться с шабашниками, — а из-за чего-нибудь негаданного, что уже случалось, когда Шематухин переставал владеть собой. Нет уж, нет... Если возвращаться на круги своя, так с музыкой. Ше-

матухина даже подкинуло на самодельной постели. Он испугался самого себя: еще, оказывается, на сцене он не просто так уступил Арцименеву место; мысль, сейчас овладевшая им, оказывается, пришла к нему раньше, только он прятал ее даже от самого себя.

Мысль эта была: бежать!.. Бежать на "Волге" Арцименева, до рассвета успеть добраться до одного надежного кореша — отсюда километров триста, — и все дела. Пятнадцать тысяч рублей кореш даст не моргнув глазом. В этот раз все должно получиться гладко. Прежде Шематухин норовил обойтись без посредников и потому — век живи, век учись — попадался. Посреднику тоже хочется жить, и, ох, как жалко ему упущенную долю. Нет, в этот раз Шематухин дразнить гусей не будет. Чтобы никто не был в обиде. Пускай посредник перекрашивает машину, перепродает за двадцать тысяч. И этих пауков надо озолотить, чтобы в полный рост ходить. У них везде руки.

Итак, решено: в бега! Не важно, на какой срок — на три дня или на три года, — лишь бы сберечь волюшку-волю! Даже для того, чтобы проверить на деле свою систему, согласно которой он уже наверняка бы добился власти над урками, не желал Шематухин тюремной решетки. Верно, задирался, прихвастывал, что тюрьма для него — дом родной, а от мысли о тамошней баланде, о бесконечных байках корешей, описывающих один другого краше вольную, фартовую жизнь — одному богу известно, есть ли в тех рассказах хоть полстолечка правды, — замерло, захолонуло сердце.

Теперь за дело. Он обшарил себя, все ли на месте. Поднялся, постоял в своем углу, прислушиваясь к тишине спящего дома. От напряжения ломило виски, дыхание у Шематухина, как всегда перед угоном машины, переменялось, четкими, спокойными сделались движения: страх в таком деле — не помощник. Не очень таясь, делая вид, что идет по нужде, легонько задел боком висевшую на спинке кровати одежду Арцименева. Ночная тьма заметно рассеялась, и без труда можно было определить, глубок ли сон Арцименева. Наконец сухие чуткие пальцы Шематухина заскользили по швам чужих карманов, нащупали холодный металл. Переждав неприятное мгновение — Арцименев, потревоженный комаром, перелег с боку на бок, — Шематухин на мгновение устыдился того, что сейчас проделывал, и неуверенно потянулся к брюкам, постоял, страхась следующего действия: возьмет да вложит обратно ключи. Вспотев от волнения, он представил, что будет тво-

риться потом... Почему-то в первую очередь он подумал о Еранцеве, и какая-то неусохшая, живая струнка щемливо натянулась в груди. Хотя Еранцеву, можно сказать, повезло: не оказался тут арцименевской "Волги", пришлось бы угнать еранцевского "Жигуленка".

Шематухин вышел на сцену, разглядел темнеющие в сумраке койки, и сердце ему опять сдавило. Нет, не было уже той прежней легкой беспечности, с какой Шематухин угонял машины, мчался в даль, зовущую красивой жизнью.

И сейчас он заставил себя идти. Опять больно царапнуло сердце — вспомнилась Наталья. Сколько ночей он, днем обычно растрепанно ершистый, колючий, с мальчишеской нежностью думал о Наталье, с которой бы он, доведись с ней сойтись, косил бы на лугах сено. Ничто другое, а именно сенокос от зари до голубой в свете луны ночи виделся ему, когда он начинал думать о страшно далеком и все же, казалось, возможном счастье.

Ну, а теперь все мечты прочь!

Никто не шевельнулся, когда Шематухин проходил по залу. За дверью, где он принялся обмозговывать дальнейшие действия, медленно рассветало. За лесом, правее потерявшего всегдашнюю плотность дыма, накопился другой, новый, но этот ни цветом, ни очертаниями не был похож на прежние дымы. Шематухин, удивляясь еще, всматривался в даль, помяв кулаками глаза. То, что он принял за дым, на самом деле было облаком. Он встрепенулся: быть, значит, дождю или, того и гляди — назлектризовалось за три месяца небо, — навалится на землю гроза.

Почему-то радостно стало. Шематухин закурил "Памир", разжав кулак, выбрал наугад один из четырех ключей.

Он, легко пружиня ногами, пошел к опрятной "Волге", поставленной рядом с "Жигулями". Мягко щелкнул замок, дверь отворилась, в нос ударил теплый, пропитанный духом чистой кожи, пластмассы и ковра воздух — запах дорогого автомобиля, греющий бесшабашную в такие минуты цыганскую душу. Руки задрожали, просились скорее к рулю, дразнящему красивой пятнистой оплеткой. Шематухин, рассчитывая ехать на малых оборотах до леса, повел глазами вдоль дороги и отчего-то внезапно прижался к машине. У дальнего окоема пруда, черно вписываясь в синюю гладь воды, торчала чья-то фигура. Видно, того, кто там стоял в такую рань, ничто не интересовало, во всяком

случае, Шематухину в той фигуре почуялась какая-то обреченность. Кто это был, различить было трудно, и Шематухин, повернув обратно ключ, задумался. Ему никак не улыбалась обстановка, когда сразу вслед за ним тут поднимут шум. Хотя бы пару часов он должен был ехать, не думая, что об угоне сообщили милиции, а там уж ищи его, свищи.

Он направился вдоль пруда, приблизившись, в стоявшем возле воды человеке узнал Еранцева. Что-то недоброе было в его спокойствии.

— Че не спишь, Еранцев? — спросил Шематухин, немного не дойдя. Хотел было сказать, чтобы шел караулить невесту, не решился. — Вот не думал, что ты полуночник...

Еранцев, очнувшись, круто посмотрел на него, так раньше он не смотрел. Так норовисто, с не успевшей рассосаться болью в глазах посмотрел, что Шематухину перехватило горло. Будто убили кого из близких. Шематухин почувствовал раскаяние, но как-то намекнуть Еранцеву — дескать, казнит себя за прошлые проделки и сердца на него не держит — не хватило духу.

— Чуешь, погода меняется, — сказал Шематухин.

— Вижу... Стрижнев пропал. Ушел в лес и не вернулся. Жду вот... — отозвался Еранцев. — Сам-то почему не спишь?

— Сразу, братан, не скажешь, — горько усмехнулся Шематухин. — В лес надумал сходить, дружка одного проведать.

— Лесника или егеря?

— Не-ет, — вздохнул Шематухин. — Волка красного...

— Красного волка?! — уставился на него Еранцев. — Кто он тебе, не родня ли?

— Хошь, верь, хошь, нет, — сказал Шематухин, вытащил из кармана ключи от "Волги". — Часом, не твой кореш посеял?

— Верно, ключи от "Волги".

— Пусть рот не разевает, — протянул ключи Еранцеву. — Не ровен час, без машины останется. Вот, к примеру, твоего б "Жигуленка" угнали, чего бы ты стал делать?

— Не знаю, — спокойно посмотрел на Шематухина. — В голову такая мысль не приходила... Должно, потому, что машина не моя...

— Не твоя?! — смешавшись, проговорил Шематухин. — Ну, братан, дал ты мне под дых!

— Я на ней по доверенности езжу... — в голосе Еранцева угадывалось откровение. — Такие, дружочек, дела...

Он не жаловался, а сказал, как бы желая выпустить из себя застоявшееся. Непонятно было, испытал ли он после этого облегчение или нет.

Но Шематухина этим не удовлетворишь, человек всяко может прикинуться. И все же Еранцев душу ему разбередил, да и по глазам видно, парень не выкобенивается и жалости не ищет. Удружил кто-то — подсунул машину замаранную, вот и целится в него Пивоваров.

— Не этот ли фраер свинью подложил? — пробормотал Шематухин, еще не веря внезапно пришедшей догадке. — Не нравится он мне. Худо тебе, вот что я скажу...

— Молчи, молчи, — прервал его Еранцев.

— Молчу. Мне тоже худо, Еранцев... — придвинулся Шематухин. — Ну, да ладно. Потом...

Он стремительно, откуда что взялось, кинулся к малиннику, через минуту-другую вернулся, низко держа в правой руке двустволку.

— Пошел я, — со значением, почти торжественно сказал Шематухин. — А худого в голове не держи. Живи полегче...

Он постоял перед Еранцевым, напряженно вглядываясь в него, вспомнил участкового — тот подцепывался, значит, не зря.

— Вот что я тебе скажу... Сам в петлю не лезь! Не будь овцой. Ладно, вернусь, потолкуем.

— Это ты куда с ружьем собрался? — изумился Еранцев. — Что затеял?

— Это моя забота... — отмахнулся Шематухин, направляясь к лесу. — Вернусь, расскажу.

— Нет, погоди! — решительно двинулся следом за ним Еранцев. — Мне тоже до леса надо дойти. Покричать хоть. Может, услышит Аркаша.

— Черта с два, — рассмеялся Шематухин. — Ходит небось от поляны до поляны, балдеет. Они все такие, художники. Пейзаж подбирает.

— У него, по-моему, тоже душа заболела. Только чем, не знаю...

— Сам-то ты чем болеешь? — спросил Шематухин.

— А что, заметно?

— Как тебе сказать... Вроде думки тебя точат. Шарики за ролики заходят. Так тебя, сонного, куда хошь заманят.

— Ерунда, — нерешительно возразил Еранцев.

— А ты не лезь в бутылку! — повысил голос Шематухин. — Я постарше тебя, не таких видел. Поскитался по тюрягам, с урками крупного калибра якшался да

таких шмар перебрал, тебе не приснится. Словом, пожил — дай бог каждому... Ты вот чем занимаешься, Еранцев? Я ведь думал, ты того, ненормальный... Вчера только дошло, не за ту птицу тебя принял...

— У тебя, Шематухин, такая незаурядная жизненная школа, но ведь и тебе плохо...

— Ну, знаешь!.. — вскинул заблестевшие глаза Шематухин.

— Не надо, не ерепенься! — в свою очередь, строго сказал Еранцев. — Конечно, легче, если умеешь зло на людях срывать. Подумаешь, герой — тюремную баланду хлебал, с блатными кралями переспал!

— Ну, завелся... Ишь, сердиться умеешь. Раскричался, — приостыв, уважительно сказал Шематухин. — Ладно, слушай! — встрепенулся он от какой-то мысли. — Что у тебя с Натальей? Было что-нибудь промеж вас?

— Не было, — тихо сказал Еранцев. — Не до того мне, Шематухин, можешь ты это понять?

— Эх, мама, роди меня обратно... — тревожно-весело вздохнул Шематухин. — Между прочим, я так и думал.

Оба замолчали, громадным кругляком взошло солнце, посылало сквозь пелену дыма натужный малиновый свет. До настороженно притихшего леса было уже недалеко.

— Ей-бо, дождь будет. А то и ливень, — шутливо перекрестился Шематухин. — Мне бы успеть этого красного дьявола застукать.

— Рехнулся? Зачем он тебе нужен? — нахмурясь, спросил Еранцев. — Можно подумать, что его голову в миллион оценили.

— Якорь ему в глотку! — резко ускоряя шаги, сказал Шематухин. — Мильон не мильон, а свои денежки вернуть я должен... Учудил он тут. Деньги упер. Если у него где-нибудь тайная трапезная есть, прогорел я. Хана мне, братан. Прибьете вы меня как миленького... Деньги я, Еранцев, получил. Случайно вышло, — рассказывал Шематухин, торопливо закуривая. — Родственник, бухгалтер, спешил на тещины похороны, ну, и всучил мне деньги, какие мы заработали... Если без индивидуальных расценок, по кругу — полтора с лишним куска на рыло! В общем, сумма! Барана мне — помнишь, говорил, что председатель пообещался, — барана, значит, выписали, я его на веревочке лужком повел, а до этого, сам понимаешь, выпили. Исккупаться, падла, захотел. Привязал, стало быть, барана, на нем сумка, деньги в сумку запиханы. Это, значит, я по пьяному де-

лу художественную часть устроил... Полез купаться, чую, что-то там, на берегу, неладно. Вылезаю, вокруг никого. И баран с деньгами, братан, как сквозь землю провалился. Хошь, верь, хошь, нет... Только ты не спеши с выводами, я его изловлю. Давеча, правда, на меня мандраж напал, думаю, конец. Лучше, думаю, деру дать, заодно машину прихватить. Наука для меня не новая. А увидел тебя, вот тут... — Шематухин бухнул кулаком в грудь. — Тут колесом, братан, завертелось...

— Ну и ну! — вымолвил Еранцев. — Невероятно!..

— Думаешь, неправду говорю? — заволновался Шематухин. — Не веришь?

— А почему ты думаешь, что именно красный волк утащил барана? Ты его видел?

— Нет, не видел. Просто скумекал: другие волки в одиночку не бродят. Те стаей, да и средь бела дня из леса носа не высовывают, понял?

— Наугад пойдешь или знаешь, где искать его?

— Карта есть, — невольно перейдя на шепот, сказал Шематухин. — Эх, мне бы еще собаку с нюхом!..

— Что ж, основательно подготовился, — с печальной задумчивостью произнес Еранцев. — Стрелять ты, видел, мастак.

— Да мне крови его не надо, — вдруг запальчиво проговорил Шематухин. — А ты хотел, чтобы я к нему без ружья шел, к бешеному... Тут, братан, надо уши держать насторо!

— Ты случайно Аркашу не пристрели... Может, покричать, а? Вдруг услышит...

Они вошли в лес, зашагали по сламывающимся с сухим треском стеблям мятника меж деревьев с вялой, понурой листвой.

— Слушай, ты не кричи, ладно, — остановился Шематухин. — Аркаша — не дурак, дорогу найдет. А будешь орать, волка спугнешь. Он барана с логова на другое место может перетащить... И вообще про всю эту бодягу пока молчок. Если даже не найду этих денег, выкарабкаюсь. Только еще пару дней, до понедельника, придется загорать. Чуешь?

— Суду все ясно, — улыбнулся Еранцев.

— Ну вот, спасибочки! — неумело поблагодарил Шематухин. — Вернусь — потолкуем...

Он хотел еще что-то сказать, но в голове все перепуталось. Он чувствовал то, что словами выразить сразу трудно: будто начинал он свою жизнь заново, а та, прожитая, казалась ему бесполезно потраченной. Ни-

какой враждебности к другим в нем сейчас не было. Ни капельки.

— Не пали зря, — проникаясь сочувствием к Шематухину, сказал Еранцев. — Волк никакой не бешеный. Я его видел.

— Да ну?! — удивился тот. — Правду говоришь или ты хитрее, чем я думаю?

— Вот как тебя видел. Я ведь маленько физиолог. Так что не бойся...

— Здоров, говоришь, — нахмутив брови, сказал Шематухин. — Вчера один пассажир то же самое мне сказал. Глухарь! Сам-то небось и наговорил, земля слухом полнится. Дюже, видать, обозлился на людей, заваруху устроил... Ладно. Дело на безделье не меняют. Потопал я, — отшагав немного, он обернулся: — Ты. Еранцев, на меня плохо действуешь, с курса сбиваешь. Я тоже, черт, начал думать. Вот когда не думал, лучше было...

Шематухин направился в глубь леса, а Еранцев долго прислушивался к его удаляющимся шагам, потом к лесной тишине. Начиная томиться одиночеством, он заторопился на открытое, пошел вдоль опушки, приблизился к овражку, на дне которого светлой ниточкой блеснула вода.

Еранцев спустился вниз, черпнул ладонями ключевую воду, и внезапно в нем возникло сиротское чувство. Еранцев не обрадовался ему — с тем чувством пришли к нему еще горечь и боль.

Он вспомнил, где и когда видел ручей, похожий на этот, только с той разницей, что у того, сбегającego с крутика, русло было из сплошного гладкого камня. И там, правда, приходилось, чтобы набрать котелок, останавливать бегучую струю одной ладошкой, другой черпать, а еще стоять при этом на коленях, как можно дольше выдерживая боль. Теперь-то, оказись Еранцев возле того ключа, он бы подстелил что-нибудь под колени, а тогда откуда было взяться уму?

Он приехал из города, где вода в квартире текла из крана и никто это не считал за благо.

Лет пять спустя после войны он один, без матери, добрался до дальней — ехал сперва поездом, потом плыл пароходом — деревни, чем удивил и напугал Лизу, пришедшуюся ему двоюродной сестрой. Звал он ее, как все в деревне, Лизаткой. Муж Лизатки, Григорий, был налоговым агентом, носил на ремне сморщенную кобуру с наганом, а сама Лизатка сиднем сидела дома, считая последние дни беременности.

Жилось ему после города, как в сказке, все было в новинку: река, заливные луга, по краям, ближе к лесу, окаймленные склонами с густой россыпью белых, как кости, камней.

Однажды Лизатка после долгого сидения в избе не стерпела, собралась на сенокос. Легко ей было, пока они поутру, по холодку, шли вдоль берега реки к маленькой делянке, где дядя Григорий, урвав час-другой, косил сено. До сих пор помнит Еранцев, бодро и радостно нес он пахнущие свежей древесиной, недавно настиганные грабли. Смотрел на Лизатку в белом сарафане, в повязанном шалашиком платке, дивился: она, несмотря на выпученный живот, была, как в сказке, красивая. Работа у него не получалась, хоть и старался он помочь Лизатке, дорвавшейся до дела, от травяного настоя закружилась голова, он ослаб. Зато, забавляясь, соорудил шалашик, не подозревая, для какой заботы он пригодится потом.

Со склонов, от нагретых камней, словно от печи, потянуло зноем, с лугов снялась утренняя дымка, Лизатка, уморившись, залезла в шалаш и попросила принести воды из ручья. В какой-то раз довелось пить студеную прозрачную, как хрусталь, воду, упруго бьющую из крепкой прожилистой скалы, он пил, задыхаясь, чувствуя, как немеет горло.

Он набрал воду в солдатский котелок, принес Лизатке, а она выставила завтрак: хлеб, соль, яйца и лук. Ему показалось, не было в его жизни вкуснее еды. Лизатка — она лишь отщипнула хлеб и запила двумя-тремя глотками молока — посмотрела на него как-то странно, будто хотела пожаловаться, но почему-то не посмела. Она опять легла, а он отправился к реке, увязая ногами в илистом дне, вошел по пояс в воду, перемыл миски. Пустил одну миску, заставив ее вращаться, против течения, а когда та воротилась, пустил вторую, следом за ней первую.

Он до того загорелся игрой, что, должно быть, не с первого раза услышал Лизаткин стон. Лизатка стонала и кричала так, словно кто напал на нее и она решила отбиться без посторонней помощи. Он прижал миски к груди, медленно, не переставая слушать, начал высвобождать из засасывающей жижи ногу, и тут воздух над ним прорезал страшный Лизаткин крик. Он, мгновенно задрожав всем телом, забарахтался в воде, сжал миски — никакое это, конечно, не оружие, а все-таки не пустые руки, — и, плохо помня себя, маленьким зверем метнулся к шалашу.

— Миша-а-а! — неслоь навстречу. — Спасай, братец!.. Спасай!..

Он на бегу огляделся, подлетел к лазу, разглядел белеющее в полутьме платье Лизатки, ее обезумевшие неизвестно отчего глаза и на какое-то мгновение застыл в оцепенении: от кого спастись, от чего?

— Миша, миленький, не смотри сюда, — наконец сказала Лизатка, перелегла с бока на спину. — Беги в деревню. Кого увидишь, зови... Если найдешь фельдшера, кликни!..

Он, забыв оставить миски, так с ними и побежал в деревню. Вслед ему, теперь уже приглушенно, как будто из-под земли, протянулся крик, подстегнул.

Деревня, как всегда в таких случаях, когда до зарезу требуется хоть какой человек, была пуста.

Он добежал до крыльца фельдшерского пункта, еще издали видя, что бежит напрасно — на двери висел замок. Кинулся к одним воротам, к другим — никого. Уже потом, оглянувшись, заметил стоявшую внизу, возле реки, кузницу, услышал тонкий переливчатый звон наковальни.

Кузнец, хромой латыш, о котором Еранцев знал, что он приехал сюда с семьей в начале войны, долго не мог разобраться, о чем ему говорят. С кузнецом он был знаком: приходил по поручению Лизатки расплатиться за какую-то работу. Латыш деньги не брал, предпочитал харчишки, и он принес ему в старой кепке Григория два десятка яиц. Увидев свежего человека, кузнец пристально сквозь сильные очки пригляделся к нему, улыбнулся и снял с головы картуз. Еранцев, высоко держа кепку, стал высыпать в картуз яйца, как если бы сроду не знал, что они бьются, вот до чего растерялся. Но все, слава богу, обошлось благополучно — ни одно яйцо не разбилось. Тогда они — кузнец и он — одновременно засмеялись.

Так и не сумев объяснить, зачем прибежал, Еранцев там, в кузнице, расплакался и потянул латыша за рукав. Тот подчинился. Быстро, насколько позволяла деревяшка, зашагал за мальчиком. Если бы уже тогда Еранцев обладал теперешним разумением, он все равно позвал бы на помощь кузнеца, умевшего делать все: ловить рыбу там, где другим она на крючок не попадалась, играть на губной гармошке, переплетать старинные книги...

Они торопились, кузнец, забыв об изувеченной ноге, расторопно продвигался по луговой дороге к темнеющему впереди шалашику. Еранцев, несчастный

мальчонка, все еще не догадывался, что делается с Лизаткой, напрягся слухом: подает ли она еще голос?

Но в той стороне, куда они шли, все затаилось. Ни крика, ни стопа. Не зная, к чему бы это — к лучшему или худшему, Еранцев оглядывался на кузнеца, из-под картуза которого крупными каплями выкатывался пот. Когда до шалашика осталось шагов двадцать, Еранцев побежал. Какая-то особая тишина сковывала движения, и он, желая нарушить ее, крикнул:

— Лизатка-а!

Бежал-бежал, не дождавшись ответа, в страхе замер. Перед ним, вытянув голову из лаза на солнце, неподвижно лежала Лизатка, и глаза ее остановились в направлении деревни. Она, Лизатка, ждала его с подмогой.

Подоспевший кузнец при виде Лизатки перевел дыхание, снял с головы картуз, потом, подобрав котелок, послал Еранцева за водой.

Котелок колотился краем о камень, вода не попадала в него, а если чуточку попадала, выливалась обратно. Но вот он услышал... Нет, он ни сперва, ни после долго еще не догадывался, чей это крик — тоненький, со слабым хрипом. Он с надеждой, что с Лизаткой ничего не случилось, обрел уверенность, наполнил котелок до краев, двинулся к шалашу. Нет, Лизатка не шевелилась. Она уже и не смотрела никуда, глаза ее были закрыты. Кузнец, сняв рубаху с себя, возился внутри шалашика, обтирая орущего человечка.

Удивительно, Еранцев, тогда совсем мальчишка, без подкаски кузнеца, который с молчаливой медлительностью занимался то Лизаткой, то новорожденным, понял, что произошло. Кузнец деловито, тихо, с застывшим на лице детским выражением бережно согнул белые Лизаткины руки в локтях, сложил у нее на груди, потом, подсев к младенцу, почмокал губами, одинаково внимательный к ней, закончившей свою жизнь, и к новому человеку, только начавшему жить. Еще трудно было поверить, что Лизатки больше нет, что скоро ее опустят в землю и зароят и она не увидит, кого она родила.

Он понял, что живые с живыми держатся вместе, а умирают порознь. Но он впервые узнал, и не с чужих слов, что женщина, мать, умирая, может дать жизнь другому.

Сейчас Еранцев сильнее, чем тогда, в детстве, почувствовал сиротскую тоску, овладевшую им при виде Лизаткиной смерти и повторившуюся теперь, спустя

много лет. Воспоминания наконец отступили от него, и он опять увидел ручей — не тот, явившийся из далеких луговин, а вот этот, реальный, протекающий возле, вызывающий сочувствие попыткой сберечь себя до первого дождя. Никакого сходства между тем, давним ручьем и этим, отметил Еранцев, освободившийся от наваждения, не было, просто память, чтобы оживить самое себя, выбрала его, как заправку.

Еранцев поднялся и взялся растирать колени — они болели. Оказывается, сам того не замечая, он опустил-ся на колени и эти полчаса выстоял на них.

12

По сравнению со вчерашним новый день уже в этот ранний час бодрит обещанием перемен. Воздух, по-прежнему недвижимый, заметно помягчел. С росой потемнела и жирно заблестела земля, видно было, как она, отощавшая от долгой суши, всеми трещинками, всеми порами жадно впитывает скудную влагу.

А за лесом, суля щедрое питье, продолжало набухать белизной в золотых окоемах долгожданное облако. Каждое дерево, каждая травинка радовались ему, там и там слышался нетерпеливый писк, мыши-полевки торопливо рыли запасные, на случай дождя, норы.

В шесть утра на крыльце клуба показался Чалымов, сбежал на лужайку, был он, как всегда, в алых, с белыми полосками вдоль бедер трусах. Держался в этот раз вопреки прежнему своему обычаю беспокойно, не отходя далеко, напряженными глазами караулил дверь. На крыльцо вышла Надя, простоволосая, в легком длинном халате.

Следом за ней, заспанно шурясь, появился Арцименев в голубой "олимпийке". Он на ходу покрутил колесико на транзисторном приемнике, поймав веселенькую музыку, стал догонять ушедших вперед Чалымова и Надю.

Чалымов повел их к заводу, именуемой Средней, к ней сбегала крутенькая тропка, а внизу на дубовых свайках чисто желтели сколоченные из досок мосточки — специально для ныряния.

Меж тем из-за облака выглянуло красное, в дымном ореоле, солнце, желтые лучи его враз высветили верхушки лип, и, хотя сам пруд еще оставался в прохладной тени, кругом все заиграло.

Тишину, только что чистую, полную, разбил короткий хрустальный всплеск — кинулся в воду Чалымов.

Плыл он быстро, сильными гребками, перечеркивая оловянно-холодную гладь пруда белым пузырящимся следом.

Арцименев не торопился лезть в воду, он внимательно, весь уйдя в созерцание, следил за перемещающимся солнечным пятном. Свет, казалось, завораживал его, и он, белея округлым изнеженным телом, застыл на берегу.

Надя тоже не спешила. Подстелив под себя халатик, она руками обхватила колени, оглядывалась на тропку: не появится ли Еранцев. Потом она на какое-то время засмотрелась на Чалымова — мощно, красиво плавал.

На Чалымова поглядывал и Арцименев. Он не знал, что встретит Чалымова здесь, и сперва малость обалдел: трудно было представить этого всегда чистенького, с подчеркнуто изысканными манерами мастера спорта занятым черной работой. Давно — лет пять прошло — Арцименев брал у него уроки плавания. Теперь Арцименев дожидался, когда этот тип устанет и выберется на берег, тогда можно и самому искупаться. Арцименев все больше досадовал, что вчера повел себя с Чалымовым слишком дружески и дал повод тренеру обращаться к нему запанибрата.

Он почувствовал, как Надя скользнула по нему насмешливым взглядом, и, сердясь на себя — чего из-за мелочей расстраиваться! — круто прыгнул в воду.

Привлеченная шумом, Надя совсем перестала глядеть на тропку. Нечего тревожиться о Еранцеве: не маленький, сам найдет. Перед ней в воде, словно соревнуясь между собой, резвились Чалымов и Арцименев: ныряли, отфыркивались, смахивая с глаз прилипшую зеленую тину, принимались плавать наперегонки. Чалымов был ловчей, сноровистее и, чего утаивать от самой себя, просто красавец. Видно было, так хотел понравиться Наде, так завлекательно смеялся, что ей становилось неловко. Арцименев — дипломат, не лез откровенно, как Чалымов, он, держась замкнуто, вниманием своим не досаждал.

Солнечный луч прободнулся в прореху в густой еще липовой листве, лег небольшим пятном на воду, и в него, чтобы пригреться, устремились мужчины. Весело и приятно было им при Наде, и она, вдруг почувствовав непривычное волнение, отвернулась.

Этот важный момент, когда Надя с усилием заставила себя отвлечься от мужчин, Чалымов не упустил. Он выбрался из воды, деликатно, будто извиняясь за

навязчивость и в то же время не очень стеснясь — разве он виноват, что она, Надя, такая хорошенькая, — сказал:

— Вы, кажется, ворожить умеете... Вам восемнадцать, верно?

— Девятнадцать, — недружелюбно уточнила Надя. — Что вы на меня так смотрите?

Тон ее подействовал на Чалымова обнадеживающе. Он давно и охотно, будучи тренером женской сборной города по плаванию, возился с девчонками, среди которых попадались куда норовистее Нади, и опытное сердце его забилося щемливо, будто перед тем, как тянуть жребий.

Солнечное пятно, продвигаясь по воде, достигло берега и постепенно сантиметр за сантиметром наполнило на Надю. Сначала ступням, потом коленям, груди и наконец плечам стало тепло; от ощущения солнца, от парного дыхания пруда, от сознания, что любой из мужчин готов для нее сделать что угодно, Надю охватило ликование. Она поднялась, постояла у воды, помня, что на нее засматриваются, напряглась и со слабым вскриком вошла в воду.

Обвыкалась она долго, погружала себя в воду осторожно, с придыханиями, шарахаясь от листьев, которыми пестрел весь окомое пруда.

Чалымову показалось, что Надя и на самом деле боится повредить тело в этом чужом для нее месте. Он, ласково глядя на нее, разволновался, мысленно похвалил девушку: хорошо, хорошо, при такой красоте умишко должен быть осторожный, недоверчивый.

Сам он, сколько себя помнил, тоже оберегал тело. Он не давал пристать к себе грязи или какой болячке, но, если она, даже пустячная, все-таки обнаруживалась, бежал к врачам.

Еще в детстве, когда пацаны-одногодки ходили в ссадинах да в синяках, он сторонился их. Те дрались, лазили по садам, рискуя распороть животы о гвоздь или получить в зад горсть крупной соли из ружья, а он, раздобыв книгу о культуризме, накачивал мускулы, хотя фигура у него и без того была — заглядение. Девчонкам он нравился. Правду сказать, выбрать, чем заняться в жизни, ему помогли девчонки, дивясь красоте его тела.

В девятом классе Чалымов стал чемпионом района по плаванию на дистанцию двести метров, а в десятом — кандидатом в мастера спорта. В сборной института добился результата мастера. На этом он остановился, но

не потому, что надоело подниматься на пьедестал почета. Раньше кого-либо из товарищей по команде он уяснил для себя простую, хоть и жестокую истину: век спортсмена высокого класса, идущего бить рекорды, короток. Иногда мгновенен.

Он пожалел свое сердце. Оно, по его убеждению, не для того хорошо и надежно раскачалось в момент рождения, чтобы надсадить его ради чести. Он не хотел подгонять себя, пожелать всего на малый срок, хоть бы и сулящий золотые медали и кубки.

С той поры его вполне устраивала тренерская работа. Для хорошего настроения ему было достаточно ощущения силы и согласия в теле; о том, что он здоров на сто процентов, он часто судил по той влюбленности, какую внушал окружающим женщинам. Для полного счастья, верно, этого было маловато. Поэтому, чтобы быть в любой среде на уровне, Чалымов умел понемногу все. Где нужна музыка — играл, где стихи — читал, где разговор о живописи — спорил.

Вольность и легкость в обращении с людьми — он умел поднравливать любой компании — со временем стерли с лица его те особенные, богом данные оттенки выражения, когда-то самобытно отличавшие его от других. Говорили, что он похож на кого-то — обычно называли имя известного артиста, — и это была правда. Не только в лице, но и в фигуре его появилось что-то среднеартистическое, изменчивое, готовое перемениться в соответствии с обстановкой.

Сейчас он еще точно не знал, как ему вести себя с Надей, хотя опыт подсказывал, что поначалу, чтобы не спугнуть девушку, надо быть добродушнее и все достоинства свои разом не выставлять.

То, что обнаружилось для него в Наде, нельзя было назвать женским обаянием. Чалымов видывал немало хорошеньких девушек, среди них, чего скрывать, попадались не просто хорошенькие, а рано созревшие, бойкие красавицы, но бойкость эта, несмотря ни на какую внешнюю красоту, огорчала и обезволивала его. Бывало, встречались ему девчонки иные — с прирожденной женственностью, уютные и нежные, только таких в уйме угловатых девиц было мало, как пальцев на руке.

От Надежды веяло какой-то беспризорностью, неуверенностью в себе — неперенное состояние подростка, долго и ревниво опекаемого родителями.

Чалымов поглядывал на Надю, заломившую белые, не тронутые загаром руки за голову, но вдруг подумал

о Еранцеве, подумав, усмехнулся: парень гнет березку не по себе. Да если деваха, поддавшись первому чувству, тянулась к нему — вчера вечером с обоих глаз не сводил, — каким-то непонятным поведением Еранцев охладил ее.

Теперь, помимо прочего, Чалымова разжигало еще одно обстоятельство: Арцименев, хоть и старался не показывать виду, тоже попусту время не тратил. Нет, не зря Арцименев все еще крутится-вертится в сторонке, конечно, таким манером подбивает Надю к мысли о себе: вот, дескать, отрешен, одинок.

Арцименев, держась на плаву в середине пруда, тоже следил за Чалымовым и удивлялся: вот и Чалымов, с виду уравновешенный, суетливо стал искать расположения Нади.

Арцименеву Надя нравилась. Она, по его мнению, переживала ту пору юности, когда девушка, зная, что она красивая, тем не менее ежедневно, ежечасно нуждается в подтверждении этого. Эти настырные атлеты, вроде Чалымова, молчуны с лицами пророков — он имел в виду Еранцева — не годились ей в пару, потому что для нее не было ничего слаще слова, сказанного в похвалу.

После разговора с Еранцевым у Арцименева на душе было легче, гораздо легче, чем вчера, когда он в ожидании встречи — вдруг Михаил заартачится! — ничему не мог радоваться. Теперь будто очнулся, только что протер глаза и с глубоким внутренним изумлением находил для себя все новые и новые радости.

Наде, видать, наскучило стоять на мелком, она, надув щеки, собралась плыть. Волосы ее, выбеленные, солоमисто свисавшие на плечи, на макушке темнели естественным цветом, а возле уха вздрагивала золотистая завитушка.

Почему она должна быть с Еранцевым, думал Арцименев, скосив на нее глаза, вот возьму да уведу ее, и останется он внакладе из-за своей беспечности. Продолжая тайком наблюдать за девушкой, загадал: если она не замочит завитушку, улыбнется ему греховная удача.

— Ты, Чалымов, чем купаться да разгуливать, droвишечек бы нарубил, — послышался с крутика молодой женский голос. — Согрелся бы маленько...

— Мне и так не холодно, — отозвался Чалымов. — Тебе Тырина мало? Отстань. Не видишь, гости у нас.

— Ой, народу сколько понаехало! — словно только

сейчас заметив Надю с Арцименевым, воскликнула Наталья. — Никак, молодожены...

Арцименев довольно подмигнул Наде, потом пристальнее всмотрелся в Наталью. Та стояла, вытирая о передник быстрые ловкие руки, улыбалась тугими румяными щеками, выдавали ее лишь тревожно-любопытные глаза: пришла не за Чалымовым.

— Милости просим, — все разглядывая Надю, проговорила Наталья. Вдруг задрожала, торопясь смехом перешибить какую-то неожиданную нервозность, засмеялась и спрятала глаза.

Наталье тоже надоело строить из себя дурочку. Стоп, сказала она себе, хватит. Отсмеявшись, она тут же загрустила: приехавшая к Еранцеву деваха очень уж пригожа собой, нежная да белая, будто птичьим молоком вскормленная. Как же Наталье, грубятине, с этой городской сравниться?

Надо же было ей напороться на Мишу Еранцева, загореться к нему лютой любовью, реветь ночи напролет, уткнувшись в подушку. А теперь вот совсем худо. Приперлась под занавес эта кисонька, а ведь тоже, хоть и сопливая, считай, баба: с ходу почуяла, что она, Наталья, не зря на нее тарасила зенки. И все же сейчас Наталья, встретившись с девически ясными, доверчивыми глазами Нади, вдруг смутилась, повернулась и пошла прочь.

Увидела в кустах шиповника директора прудищинской лесопилки Тумарева и Еранцева. Уже не чаяла Наталья увидеть Еранцева одного, без Нади, и вдруг на тебе; проклятое сердце само собой, помимо ее воли, обнадеженное чем-то, застучало сильно и радостно.

Утро, не то что вчерашнее, было с легким воздухом, хотя повсюду, далеко и близко, еще синел дым и пахло гарью. Солнце, оторвавшись от облака, казалось, быстрее обычного поднималось на положенную ему высоту, словно боялось, что облако, немного увеличившееся с той поры, как обнаружили его с рассветом, разрастается не на шутку. Дым над лесным обводьем курился теперь слабо и прозрачно, мало отличаясь цветом от остального неба, — пожар, стало быть, потушили.

Тумарев, дымя папиросой, шел рядом с Еранцевым.

— Слушай, милок, — говорил Тумарев. — В вашей артели охотники имеются? Настоящие, с билетами?

— Не знаю, — растерялся Еранцев. — Надо спросить.

— Ну, пошли... — поторопил его Тумарев. — У нас в селе есть охотник, дак он сиднем сидит. Судили за браконьерство, прав охотничьих лишили.

— А зачем охотники понадобились? — спросил Еранцев, хотя, правду сказать, уже догадался зачем.

— Облаву, говорят, надо на остальных волков устроить. Приказано мигом собрать стрелков. Срочно! Своих, говорят, сможем только через пару деньков собрать. Учудил этот красный дьявол.

— Зачем горячку пороть? — возразил Еранцев.

— Зачем? Чтоб, значит, от эпидемии животных мир спасти. Так я понял. А это, милок, серьезно!

— А если он здоров, не болен, если кто-нибудь слух пустил?

— Ну, милок, это уж второй вопрос. Базарить у нас не принято. Дали на все это дело сутки. Вертолет дорого стоит. Каждый час полета, считай, триста рубликов.

— Сутки... — задумался Еранцев.

Они подошли к пруду, Еранцев помахал рукой купающимся, стал дожидаться, когда начнут выходить на берег.

Первым вылез Чалымов.

— Ребята, кто пойдет на волков? — крикнул Тумарев.

— А что! — мощно выдохнул Чалымов. — Прекрасное развлечение. Ружья будут? Стрельба всегда бодрит...

Он на ходу растирал тело жестким полотенцем, и руки-ноги его багрово горели, во всей фигуре угадывался избыток силы, накапливающейся в долгой здоровой работе.

Но почему-то фигура Чалымова, отметил Еранцев, ладная, изумительно правильная, фигура эта здесь поражала своей ненужностью.

Арцименев и Надя еще купались. Надя плыла, быстро-быстро взмелькивали над водой ее белые руки. Игорь, держась от нее чуть в сторонке, что-то говорил Наде, кажется, подбадривал.

— В охотниках не состоишь? — глядя на Чалымова, спросил Тумарев.

— Не имею счастья, — словоохотливо отозвался Чалымов. — Разряд по стрельбе есть.

— Да мне велено с билетами собрать, — смешался Тумарев.

— А для вас что важнее — охоту организовать или волков перебить? — хитро сощурился Чалымов.

— В том-то и дело, истребить надо. Эпидемии опасаются.

— Я, между прочим, тоже иногда в "десятку" попадал, — вдруг сказал Еранцев. — Документов, правда, тоже нет.

— Что ж, — закурив, сказал Тумарев. — Быть тому, чего не миновать. Кто умеет стрелять, того на номера поставим...

— Сами поведете? — поинтересовался Чалымов.

— Не-е... Я тут покомандую, а в лесу егерь — хозяин. Обещали прислать егеря...

— По какому случаю митингуете? — громко спросил Арцименев, вылезший из воды.

Еранцев впервые с удивлением отметил поразительное сходство его с отцом, до чего же он похож на своего отца, Николая Зиновьевича. Не хватало только седой, коротко стриженной бородки. И лицом, и движениями — походкой, жестами — походил Игорь на отца. И основательностью, дающей человеку, рано получившему власть над другими людьми. Таких беда обходит стороной. Он неуязвим, имеет все, чего хочет, добивается того, что другим и не снится, это написано у него на роду. Из такой породы — везучей. И все же ну его. Еранцев еще раз удивился, вспомнил вчерашнего Игоря, когда тот вел себя так, будто потерял все и жизнь его кончилась. Правда, Игорь сейчас был снова спокоен, даже, откуда что и взялось, счастлив.

Еранцев дожидался Игоря, по-альпинистски неторопливо одолевавшего крутизну, поймал его взгляд, тот, должно быть, угадал, что Еранцев думает о нем, пригасил зеленоватый блеск в глазах. Нет, этот не пожалеет.

Мысль эта была не страшной, была хуже — горькой и дикой. Она никак не вязалась с прежним представлением Еранцева об Игоре; для того чтобы понять все до конца, нужно было подробнее, день за днем ворошить прошлое — те два школьных года. Но заниматься сейчас этим Еранцев не мог, да и не хотел.

Вдруг он вздрогнул. На него глядела снизу Надя, она как-то обиженно, через силу улыбнулась ему, выбираясь из воды на травянистый бугорок с красноталом. Потом, уже из-за кустиков, молча, одними глазами упрекнула: "Что же ты меня бросил?"

Еранцев без слов, глазами же ответил: "Виноват..."

Арцименев, взобравшись наверх, задышливо поздоровался с Тумаревым:

— Привет аборигену!

— Чего, чего? — не понял Тумарев.

— Привет, говорю, аборигену, то есть, в переводе на русский язык, местному жителю...

— А-а...

Тумарев, откашливаясь после папирсы, скользнул

по Арцименеву оценивающим взглядом: вправду ли охотник? Игорь посмотрел на Тумарева, на обвислые, в репьях штаны, спросил с веселым смешком:

— Что, не нравлюсь? Не гожусь? На охоту, слышал, собираетесь?

— Никого неволить не буду, а просьба такая: в основной охоте поучаствовать надо.

— В охоте? — переспросил Игорь. — На волков? Все встречные-поперечные за мной!

— В жизни, мил-человек, всяко бывает, — обиженно проговорил Тумарев. — Если б просто пугануть, мы бы сами справились. А тут бить надо, правила строго соблюдать...

— Да, понимаю, — надумав что-то, сказал Арцименев. — Правила элементарные. Но, чтобы было по высшей категории, авторитет нужен! Слушай, Миша, давай позвоним старику? Может, согласится. И егеря Мирон с ним. У него выжлец и две выжловки.

Повернулся к Тумареву, сказал:

— Спасибо вам! Может, охота приличная получится.

— Да что я... — ответно вдохновился Тумарев. — Были бы свои охотники, своих бы наслал. А покамест вам спасибо! Только вот красного волка жалко. Мне, мил-человек, если начистоту, его, ой, как жалко. Он у нас под боком который годик живет. Он волков, которые стаей рыщут, отпугивал. За сколько лет ни теленка, ни козленка не пропало... А теперь-то, говорят, заболел, опасен стал... Как какой ребенок убежит на околицу, так и захолонет сердце...

— А нам все равно... — на бегу напевая, появился на тропе Лялюшкин. — Меня, папаша, тоже записывайте. Добровольцем! Наслушался всего про волков, аж ночью снятся...

— Поехал я старику звонить, — сказал Арцименев. — Пусть побалуется. Больше, может, не доведется ему...

Облако, заставившее все живое томиться и гадать, что с собой оно несет — дождь ли, град ли, или попусту маячит над горизонтом, — к полудню стало двигаться расторопнее. В середине оно набухло, сделалось фиолетово-чугунным, по краям залохматилось, пустив по небу проворненькие, легкие, как дым, облачка. Небо постепенно посерело, и впервые за два с лишним месяца на землю пала густая ровная тень.

В лесу, где перемешались дым и темень, только вблизи можно было отличить дерево от дерева. Ветра

еще не было, он шел где-то высоко, только начиная входить в силу, пока не доставая до леса. Оттого кругом стояла такая неестественная тишина, что казалось: вся жизнь вымерла.

Шематухин, пробежавший, если примерно прикинуть, километров восемь—десять, уже давно потерял направление, в каком углубился в лес. Компаса у него не было, и он, покуда светило солнце, держался по нему, теперь же его окружала жутковатая с непривычки—с каких пор не был в лесу — предгрозовая тьма. Шематухин шагал наугад, может быть, сам того не замечая, уже шагал в обратном направлении.

Справа сильно запахло гарью, под ногами угадывался скат серого песчаного увала, и Шематухин всерьез перекрестился, пошел напрямки, не сворачивая. Он боялся упасть и потому, видать, упал, оступился и тяжело скатился вниз, в спутанный засохший камыш.

Перед Шематухиным лежало ровное, там и там поросшее камышом место. Забыв о боли, он ходко разбежался и вдруг похолодел: под ним, как живая, прогибалась и мягко, вкрадчиво дышала болотина. Медленно, считая шаги, Шематухин попятился, почувствовав ступнями твердь, глубоко задышал.

Достав самодельную хошунаевскую карту, развернул ее и чуть не закричал от радости. На ней знаками было помечено болото. По ту сторону его — на карте обозначено красным крестиком — находилось волчье логово.

Прежде чем искать тропу к нему, Шематухин решил: сначала надо вабить. Он сел у подножия увала, приставил ладони рупором ко рту и, несмотря на усталость, вытянул довольно мощный и правдоподобный вой.

У изгиба реки, в теплом и темном в этот час угоре, где намытарившаяся стая устроила дневную лежку, за версту от своего логова Матерый услышал ослабленный расстоянием вой. Он поднялся на ноги, наострил уши и дожидался повторного голоса. Позади, слева и справа от него зашебурились сухими листьями, просыпались волки. Две волчицы, спеша к Матерому, спросонок столкнулись друг с дружкой и зло, с ненавистью сцепились — клацали клыки, летела клочьями шерсть. Ярость их — каждая дралась, чтобы получить право быть первой под боком Матерого, — накалила переярков, и вскоре вокруг кипел настоящий бой. Из-за всхрипов, рычания не было слышно, издает чужак голос или нет.

Матерый понял, придется лезть в драку. Силенок у него было маловато, и, начини он раскидывать дерущихся, его хватило бы ненадолго. Он оглядел развороченный когтистыми лапами пятачок, на краю заметил уцелевшего вчера волка, который был гораздо моложе и сильнее его. Глаза молодого горели. Он выжидал удобного момента, чтобы расправиться с Матерым — за ночь посвежел и, понятно, не захотел быть вторым в стае, когда можно стать первым.

Но проучить молодого, дерзнувшего бросить вызов, заодно поставить на место драчунов было положено ему, нынешнему вожаку стаи. Он не стал открыто выцеливать молодого, а только скользнул по нему нестрогим, полусонным взглядом и, когда тот, растерявшись, начал зыркать по сторонам, точно примерился, нащупал ногами сухой крепкий пенек — хорошую опору. Он оттолкнулся, пролетев между дерущимися, сомкнул железные челюсти на загривке соперника, с силой швырнул его наземь. Молодой с рыком шмякнулся на землю.

Все, и стар, и млад, прекратив драку, в недоумении и страхе глядели на поверженного волка, потом, не желая себе такой же участи, притихли.

В этой тишине, еще сильнее тревожа Матерого, настораживая остальных, долетал длинный печальный вой.

Матерый, пробежав какое-то расстояние в направлении логова, замер, крутнулся назад. Не издав ни единого звука, одними глазами приказал стае: ни с места! Отойдя еще, он потерял волков и волчат из виду, прислушался. Было тихо.

Дорога показалась Матерому долгой. Должно быть, потому, что давила глаза непривычная среди бела дня тягучая темень. Неоднократно повторенный вой, пока Матерый бежал, становился все более внятным и какой-то, еще не до конца распознанной неладностью раздражал Матерого. Когда чужак вытянул очередной вой, Матерый остановился. Был он на болотной тропе, как раз в сердцевине болота: слева чужой голос, справа, на утонувшей в кромешных сумерках горушке, логово.

— У-у-о-о-о... — завел плачущим голосом чужак, и Матерый, следя за оттенками воя, вдруг уловил в нем совсем не звериное, не волчье дребезжание. Обман это был, чистый обман. Матерый, попетляв, отыскивал ведущую к сосняку тропинку, ударился по ней ближе к голосу.

Матерый чуть не наскочил на того, кто явился сюда

неведомо зачем и, имея человеческое обличье, был волком. Матерый тут же сошел с тропы, неслышно прыгая с кочки на кочку, совершил обходный маневр. Теперь у него было преимущество — он подступал к человеку со спины. До этого человека, прижавшегося внизу, на увале, к толстому сосновому стволу, оставалось совсем немного. Матерый видел, как тот воровато — в кулаке — подносит ко рту огонек, выпускает из ноздрей легкий белый дым.

Внезапно Матерый напряжился. До него дошел знакомый запах ружья. Сердце Матерого сильно заколотилось, ноги подломились, когда память, перебирая известные ей запахи, споткнулась на одном, давнишнем: из этого ружья его ранили.

Человек завыл еще. Голос его, надсаженный, хриплый, летел над болотом, терялся вдалеке слабыми отзвуками.

Неожиданно оттуда, с горушки, где было логово — Матерый не мог ошибиться, — встречу человеческому вою прилетел другой, истинно волчий. Матерый осел на задрожавшие задние лапы — не выдержала волчица!

Человек вскочил, двинулся вдоль болота, зачавкала под ним грязь.

Матерый не растерялся. Была у него запасная, редко используемая тропа чуть в стороне от этой, натоптанной. Мчался он по ней во весь дух. Жарче, чем когда-либо, кинулся в гору, на ходу коснулся лежавшей у вывороченного корня волчицы, очутившись на логове, турнул из него сморенных сном прибылых. Неотрывно карауля слухом болото, Матерый растолкал волчицу, показал глазами на верхнюю, сбегаящую к реке тропку. Она с трудом поднялась, пошатываясь, заковыляла. Волчата — недаром ели баранину — довольно бойко завозились у его ног.

Шествие — медлительное, с томительными остановками — началось. Небо, по счастью, хмурнело, тьма становилась непрогляднее. И, как только Матерый привел волчицу и прибылых в стаю, тишина над лесом раскололась.

Первая сухая молния с треском впечаталась где-то за рекой, следом за ней прогремел раскатистый, в несколько колен гром. Потом опять стихло, и в зловещей мертвой тишине стало слышно, как вздрагивают и шелестят листья. Немного погодя на вершины деревьев навалился тугой свежий ветер. Дышать было хорошо, легко, Матерый встретил дождь полусидя; окатный ливень, быстро пробив негустую листву, обрушился на

землю, на волков, лежавших вповалку. Жмурясь от удовольствия, Матерый поворачивал голову налево-направо, чтобы быть уверенным, что все в порядке. Он заметил, как из-за мокрого куста выполз молодой, побитый им волк, виновато зыркнув исподлобья, лег рядом с другими — одному, видать, страшно...

Во всем обширном пространстве — в длину полсотни и в ширину километров тридцать — затерялась еще одна живая душа; скоро сутки, как Аркаша Стрижнев неприкаянно бродил по лесу, а перед накатывавшей грозой он уже не шел — едва тащился.

Аркаша еще толком не разобрался, почему его потянуло в лес.

Последние два года все его не устраивало — работа, друзья, все валилось из рук, все катилось куда-то вниз, в пропасть. Его мало интересовало, какие у него получались вещи, истинные или ложные, лишь бы по-трафить тем, от кого зависела судьба картины. Ну, а с халтурой то же самое — не подмажешь, не поедешь. Не о такой, однако, жизни мечтал Аркаша, попервости было у него желание протоптать свою, стрижевскую дорожку. Да, поначалу высоко держался — не достать; потом мало-помалу его затянуло, засосало.

Аркаша решился — ушел от всего того, что сулило ему благополучное существование, исключаящее какие-либо муки. И чем дальше он отдалялся от прежнего, тем упорнее становилась мысль о возврате. Вот уже два года, как мыкался Аркаша, а то, ради чего он порвал с прошлым, никак не наступало. То и дело возникало в Аркаше предчувствие перемены, которое не давало сделать шаг назад.

Сейчас лес, окружавший художника, затягивался сумраком; Аркаша давно понял, что заблудился и, пока гроза не отшумит и не очистится небо, ему не угадать, где какая сторона света.

И все же дождь, которого Аркаша не ждал, начавшись, не испугал его. Лес, только что черный, придавленный тишиной, внезапно высветился, в нем развиднелось много-много деревьев в чистой девственной наготе, в белых струях дождя.

Аркаша сидел под могучей сосной и вовсе не хоронился от теплых потоков воды — от них замокревшему телу было щекотно, и не более того. С отвагой Аркаша смотрел в небо, хотя то, что он видел, нельзя было назвать небом — сверху падал белый плотный поток

воды; струи ливня, должно быть, сшибались еще в выси, и тут, над землей, молочная белизна их и мощь заставляли Аркашу ахать от изумления. Свет молний, казалось, пронизывал Аркашу насквозь, и какая-то часть небесной энергии будто задерживалась в теле, возбуждая и без того сильное, диковатое в эти минуты ощущение бытия.

Точно описано, вспомнил Аркаша, это жутковатое великолепие: "И разверзлись хляби небесные..." Дождь по-прежнему колюче и густо обрушивался на Аркашу, на землю — на землю, которая жадно впитывала долгожданную влагу и враз забродила, распространяя хмельные запахи и травяной дух.

Одежда, затяжелев, давила плечи, грудь, огрузнели даже колени, блестевшие в белом паре, поднимавшемся с земли. Озноб охватил Аркашу, но тепло еще оставалось в спине, прижатой к дереву. Над головой в молочной гущине рывками метался верховой ветер, потрясал сосну, и Аркаша радовался ее упругим живым толчкам. Но вот напор дождя ослабел и Аркаша, даже не подняв головы, почуял над собой высоту. В потоке дождя, кипящего низа тучи, проглянули темные умытые вершины сосен, над ними — выше — забрезжили синие прорехи.

Давно бы так! Эхе-хе-хей!.. Ради того, чтобы испытать это ни с чем не сравнимое чувство родства с природой, можно бродить по лесу, по оврагам и болотам не одну, а две, три, четыре ночи. Всю жизнь! И если природа, приютившая тебя в часы душевного смятения, посылает благодать, как награду за то, что ты решил честно нести свой крест, разве этот момент обновления, когда каждый нерв оживает и ликует, не назовешь иначе как счастьем? Чудно все устроено! Как знать, может, это даже знак свыше, но, что бы там ни было, перелом в душе свершился: все для Аркаши Стрижнева было внове.

Будто позади нет ничего, чем он еще недавно тяготился, чем попрекал себя. Тот, который оставил на потом свое искусство, занялся халтурой, расписывал с дружками рестораны и кафе, это, простите, не он. Того Аркашу, слышите, приняла и захоронила ночь, отмыло небо. А теперь другой Аркаша Стрижнев — с другими глазами, с другой душой — будет маяться и страдать перед мольбертом и покажет людям то, что выпало увидеть, узнать только ему. И деньги свои, трудом добытые, этот Аркаша не станет швырять не глядя, как раньше.

Сильное волнение подняло Стрижнева на ноги, он радостно, озаренно огляделся. Дождь прекратился, и лишь сосны, раскачиваясь, роняли с крон мелкие капельки. Снизу деревья одевались белым туманом, и под ногами не было видно ни земли, ни травы.

Внезапно где-то совсем близко, не дальше, чем в километре отсюда, бабахнул выстрел и как рукой снял с души благодать. Уточнив, откуда донесся звук выстрела, Аркаша решил идти в том направлении — носит там с ружьем, должно быть, кого-нибудь из местных.

Аркаша шел осторожно, чтобы не поскользнуться, передвигался от сосны до сосны, протянув руки вперед, точно слепой. Шаги получались неверные, его повело сначала в одну, потом в другую сторону, и он испугался: вдруг опять, как рано утром, начнет кружить? Он, задрав голову, увидел синее солнечное небо, попытался определить по теням, где солнце и куда он сам держит путь — на юг или на север, — но в висках зашумело, в глазах все перепуталось. Но стоять, чувствуя свою беспомощность, было еще хуже. Аркаша побрел дальше. Он ждал, напрягаясь слухом, повторного выстрела — в этот раз он бы безошибочно установил, верно ли движется. Однако кругом было тихо. Величавое безмолвие, свет солнца, заигравший в парном куреве между деревьями, все это, совсем недавно навевавшее на Аркашу восторженные мысли, сейчас ушло на второй план, осталось одно желание: скорее увидеть человека...

Человеком, к которому с такой бездумной тоской торопился Аркаша Стрижнев, был Шематухин. С полча-са назад, набредя на волчье логово, он обыскал его, побегал вокруг, делая одну петлю за другой, отдаляясь от него с каждым кругом, и все напрасно — сумки с деньгами нигде не было. Огонь, горевший в груди с того мгновения, когда Шематухин услышал ответный вой, утих, а его место заняла жуткая, тягостная пустота. О том, что будет с ним, Шематухин больше думать не хотел. Нет, он еще не давал горю окончательно скрутить его, и время от времени помутившийся рассудок его прояснялся, и он бранил себя: "Скис, падла!"

Он еще раз, не помня, был на логове или не был, полез внутрь, в душную тесноту, вслепую обшарил каждую пядь ее, ничего не найдя, выбрался наружу. Разглядел валявшуюся в глинистой яме баранью голову, шелковисто-черную после дождя, два-три обглоданных мослака рядом с ней и от отчаяния схватил

ружье, наугад выстрелил. Никого — ни людей, ни волков, — все мертво.

„По какому такому праву я беду в четвертый раз схлопотал? — думал Шематухин. — Как же это после трех-то раз? Значит, бог на самом деле есть и шельму метит... Хана тебе, братан, хана... Кто о тебе будет плакать, братан? Никто...”

И он, уже не стыдясь позорной когда-то, а теперь даже обрадовавшей его мыслишки, вынул из патронташа патрон с картечинами. Выковырнул отстрелянную гильзу, вставил новую. Удивляясь спокойствию, с каким приготовил для себя гибель, подул на доньшки обеих, красновато и холодно посверкивающих гильз. Кроме заботы о том, как сделать, чтобы ружье для верности выстрелило дуплетом, его ничто больше не интересовало. Он осмотрелся, запомнил то последнее, что доводится ему видеть перед смертью, слабо и безразлично подумал, скоро ли его найдут, а если не хватятся, станут ли его растаскивать волки. Он стянул с правой ноги сапог, пошевелил затекшими, набухшими от мокра пальцами, проверяя, смогут ли они послушно нажать на спусковые крючки. Уверился — смогут.

Все, что было в прошлом, как отрубил. Он равнодушно, ни о ком не вспоминая, никого не трогая напоследок, вздохнул: вот прожил жизнь — пару прощальных слов некому написать.

Он заторопился, сунул ружейные дула в рот и, ни секунды не колеблясь, стал доставать ногой до скобы. Место невеселое, думал он, вращая глазами, уже нагнув пальцем холодные, как ледышки, спусковые крючки. И вдруг опешил: из-за сосны вышел Аркаша Стрижнев. Нога окаменела, никак не нажать пальцами на распроклятые крючки. Нет, не мерещится ему Аркаша, и Шематухин отбросил в сторону ружье.

Аркаша догадался, видать, Шематухин затеял недоброе, бросился к нему бегом.

— Эй, братан! — на шематухинский манер крикнул он.

Шематухин отозваться не смог — судорогой свело рот. И в голове было еще темно, глухо.

Подлетевший к нему Аркаша перевел дух, смотрел на Шематухина злыми, добела раскаленными глазами, молчал.

А ведь настоящий братан, начиная оживать, подумал о нем Шематухин, в такой момент молчать умеет. Стараясь казаться невозмутимым, он натянул на ногу сапог. Наконец скривил в улыбке рот.

— Называется, поохотился... А ты как тут оказался? Ну и видик у тебя!

— У тебя не лучше, — с дрожью в голосе сказал Аркаша. — Ты хоть знаешь, как отсюда выбраться?

— Карта есть, — задыхливо, будто давясь слезами, проговорил Шематухин. — Тебя-то за каким хреном носило? Жрать небось хошь? На вот.

Он долго рылся в кармане брезентовой куртки, выгреб ладонью хлебную кашу с розовеющим в ней ломтиком колбасы.

— Как раз то, что надо, — нервно засмеялся Аркаша. — Сил нет жевать.

Шематухин поднялся, долго смотрел на белый, окутанный паром лес, потом на Аркашу. Правда, а он-то что ходит по лесу, как неприкаянный? Внезапно он обалдело уставился на полоску неба над дальним лесом, просвеченную ярким солнцем. По этой полоске пять или шесть теней растянулись в цепочку, как бы тайком поплыли друг за дружкой в другой край неба.

— Погляди-ка, Аркаша, — шепнул Шематухин. — Журавли, что ли, полетели?

Аркаша взглянул туда, куда показывал Шематухин. Тени, чуть размытые, украдчиво, но упрямо двигались по прозрачному туману.

— Это мираж, — сказал наконец Аркаша. — Волки идут.

— В жисть бы не поверил, если б самому не довелось увидеть... Точно, волки. Красиво идут, гады! А ведь им тяжелее. Жить-то...

Накинув ремень ружья на плечо, он стал спускаться к болоту и тут рванул на себе рубаху, дыша открытым ртом, обернулся на Аркашу. Сам бог, что ли, его подослал — ведь спас, выручил. Пришедшее к нему потрясение было так сильно, что он опять жарко задохнулся. Жить-то, оказывается, страшно хочется.

— Откуда ты, братан, взялся? — опять оглянулся он. — Или выслеживал?

— Заблудился, не знал, куда идти, — объяснил Аркаша. — Услышал выстрел...

— Надо же, — сказал Шематухин, остановился и уставился в дымное разводе в облаках — волки еще шли — и вдруг клятвенно, с дрожью в голосе проговорил: — Все заново начну. Все-таки жить, братан, надо дружно. Иначе што получится, если на земле люди друг дружку перебьют? Волки и те без нас в смертной тоске рыскать будут, с нами они от скуки не умирают...

Аркаша Стрижнев, соглашаясь, кивнул и двинулся

дальше. Пройдя мимо бригадира, застывшего с выражением провидца на лице, он подумал, что к человеку, как бы долго ни оставался тот свободным от мыслей об устройстве мира, рано или поздно приходит очищающее душу желание утверждать на этом свете согласие и мир между людьми.

— Да-а... — вздохнул Шематухин.

Проводив глазами тень последнего, замыкавшего цепь волка — стая, должно быть, переходила широкую просеку или поляну, — он неожиданно уразумел: может, вовсе не красный волк, а другой собрат его дрвался до "золотого" барана. Не беда, что денег на логове не оказалось. Стало быть, обнадеживал себя Шематухин, лежат в другом месте.

Небо там, где только что видна была живая картина, снова сделалось чистым и белым. Тени волков исчезли с такой же бесшумностью, с какой появились; если бы не было рядом Аркаши, пораженного увиденным не меньше, чем Шематухин, можно было подумать: нездоров, почудилось.

13

Ни Еранцев, ни Арцименев, выехавшие на двух машинах в город — за Николаем Зиновьевичем, егерем и собаками, — не знали, каким будет конец этого дня. Смутно, несмотря на то, что рано утром загадали идти на облаву, виделся и следующий день. Чтобы быть уверенным в нем, надо было разведать ночную лежку стаи и, не дав ей очухаться, запереть окладом.

Еранцева, едущего на "Жигуленке" следом за "Волгой", тянуло в сон, он часто вздрагивал, отгоняя дрему. В зевоту его кидало не только потому, что этой ночью почти не спал — каждый божий день в это время, пополудни, на него накатывала слабость, и он ничем не мог взбодрить себя, сколько ни старался. Винить было некого, сам виноват. Пожадничал, испытывая на себе "коктейли", что и сказывается даже сейчас, полтора месяца спустя.

До города доехали быстро. Еранцев прикинул, что предстоит сделать, прежде чем катить обратно: направить машину, заехать в общагу.

Но это было не все. В нем боролись два желания. Одно подсказывало: зайди в больницу и, сказавшись кем-нибудь, ну, скажем, травматологом, занимающимся исследованием автомобильно-дорожных происшеств-

вий, среди прочих пострадавших найди девушку, на которую был совершен наезд в то утро.

И было другое желание — ничего не касаться, положиться на волю судьбы. Что уж теперь, думал он, травлять себя, надо было сразу после разговора с Игорем пораскинуть умом, попытаться самому отгадать, что тот утаивает. Что теперь?.. Только и остается кричать на всех перекрестках, что он задавил человека. Иначе, видать, нельзя. Иначе будут раздавлены оба — Игорь и он. А все же, спрашивается, за что валятся на его голову шишки? Добро бы кому-нибудь напакостил, кого подсиживал, сживал со свету. Не было такого, не будет. За что?..

Но сильнее всяких желаний было наваждение, власть которого Еранцев чувствовал каждый раз, когда начинал сомневаться, пойти на риск или отступить. В таких случаях — прежде это было во время опасного эксперимента — жизнь приказывала ему: побереги себя! В ответ наваждение взбудораживало и дразнило искушением: испей чашу до дна! Перебори страх, испей — познаешь!

Вот и теперь Еранцев, внутренне холодея от мысли, чем все может кончиться, тем не менее больше не противился готовности нести крест до конца. Совесть его была чиста. Он меньше всего хотел, чтобы Игорь сделался для него объектом исследования — на что способен, черт побери, человек? — это сам Игорь выставил себя напоказ, пробудив в Еранцеве непреодолимое, не поддающееся здравому рассудку состояние, когда ученый ради конечного результата идет на все.

Так что — вообще не в его характере было отбиваться — решил Еранцев помаленьку поддаваться Игорю.

С этими думами он въезжал в город. Из-за легких, с осенней желтизной деревьев уныло и темно — тут тоже прошел дождь — гляделся город. Перед шлагбаумом Еранцев поравнялся с Игорем и на вопрос, сколько времени понадобится на все дела, ответил: час. Уговорились, что встретятся тут, у шлагбаума.

Итак, сначала в общежитие. Он подъехал, взял у дежурной ключ от комнаты, отпер дверь и по застоялому запаху догадался, что с того дня, как уехал, никто не убирал.

На все — стрижку бороды, душ, переодевание — ушло полчаса. Он надел светлый, студенческой поры, пиджак, запасные, выстиранные в канун выезда джинсы. Напоследок разглядел себя в зеркальце, удовлетворенно подмигнул себе, порозовевшему и причищенному.

Не понравились только глаза: глубоко в зрачках, как нарастающая ледышка, держалась тревога. Теперь надо принять решение: либо сейчас же ехать в больницу, либо уже навсегда выбросить эту мысль из головы.

Как лучше: ехать в больницу, побыть там, по пути заправиться, или наоборот? Нет, заупрямился он, сперва в больницу. Она неподалеку от заправочной станции, оттуда проще выехать из города.

Дальше все пошло на удивление гладко. Дежурный врач, между прочим, тоже бородач, даже не заглянул в пропуск Еранцева, охотно и участливо выслушав его, повел в глубь коридора.

— Одна слева лежит, очень плоха, — задержался он перед дверью палаты. — Мужа позавчера похоронили, ее только сегодня из реанимационного отделения перевели сюда. Столкновение на перекрестке. Со второй можете поговорить. Только недолго.

— Спасибо, — сказал Еранцев, накинул на плечи халат. — Нельзя ли узнать, когда вторая поступила в приемный покой?

Врач назвал дату, и Еранцев отметил: совпадало. Он упредив движение врача — тот направился было к двери палаты, — коснулся его рукава, хотел сказать, что раздумал идти. Ему показалось, за дверью давно ждут люди, которые схватят и уведут его сразу, как только он войдет. Он пересилил желание уйти — нет, не уйти, побегать, — первым постучался в дверь.

Вошли в небольшую палату.

Еранцев, сберегая силы для разговора, лишь взглянул влево, где под системой расчалок и подвесок лежало что-то похожее на белоснежный шелковичный кокон, и поторопился вправо — в сумеречном углу при их появлении чуть скрипнула кровать.

Еранцев сел на табуретку. С подушки на него смотрела, резко выделяясь желтовато-темным лицом, молодая девушка. Еранцев растерялся: девушка смотрела на него, будто узнавала, и в том еще не было ничего страшного — мало ли где могла видеть, город-то невелик. Странно было другое — ее глаза, остановленные на Еранцеве, горели каким-то глуповатым детским восторгом и доверчивостью.

Что это я, неприязненно подумал о себе Еранцев, что я буду говорить ей и что у нее спрашивать? С ней не потолкуешь ни всерьез, ни в шутку. И все же он спросил:

— Где это тебя так?

— А ты кого-нибудь убил, да? — не ответив, спросила она, шевеля сизоватыми губами. — Рассказывай как.

— Ты бы узнала того, кто тебя сбил? — не сразу подаваясь отчаянию, спросил Еранцев.

— Он красивый, — шепнула она. — На самолете...

В глазу ее задрожала слеза, губы затряслись.

— Идемте, — сказал врач, дотронувшись до плеча Еранцева. — Жалко девчонку, — сказал врач уже в коридоре. — Со временем, конечно, может пройти. Да что болтать об этом. Настоящей жизни у нее впереди нет. Ничего нельзя — бегать нельзя, рожать нельзя... И то если все хорошо пойдет.

— До свидания, — сказал Еранцев. — Я еще наведаюсь.

— Если интересно, пожалуйста...

Еранцев, уходя, твердил про себя имя девушки — Светлана. Год рождения — хорошо, что попросил в самом начале историю болезни — тоже запомнил и, уже садясь в машину, подумал о Наде: надо будет спросить, знает ли она Светлану, как-никак одноклассники, может, учились в одной школе.

У шлагбаума дожидалась "Волга". Еранцев еще издали заметил, как проезжающие мимо "Волги" с любопытством поворачивают к ней голову, а иные даже сбавляют скорость. На заднем сиденье "Волги", теснясь, сидели три здоровенных пса.

— Что так долго? Загорал, что ли? — буркнул Игорь, ведя на поводках двух собак. Усадил их, сам сел с краю. — Езжай первым. Только не гони очень. Батя уже от руля отвык...

— А ты от руля своей машины не отвык? — спросил Еранцев.

— Ну уж слово молвить нельзя! — мягче сказал Игорь. — Свяжешься с этими стариками, вот и рвешь на себе волосы! Это не так, другое не так. Не зря о них молодые говорят — ископаемые...

— Я еще на заправке не был.

— Ладно, жми.

Поехали. Тугой ком в груди Еранцева рассасывался, он дышал свободнее. Да и ехать с собаками было веселее. С обеих сторон завидев их, люди начинали улыбаться, кто-то даже приподнял шляпу и церемонно поклонился. Ничего не скажешь, псы и на самом деле сидели с важным видом, ни на кого не обращая внимания, смотрели вперед.

— Зачем собак-то взяли? — спросил Еранцев.

— Тебе не нравится?

— Дождь прошел, — сказал Еранцев. — След они не возьмут.

Он убавил газ. Впереди поворот — вчерашний, только вчера это место не тревожило, не колдовало так, как сегодня. Совсем иначе, чем вчера и давеча, когда ехал в город, смотрел Еранцев на сильно поредевший после ветреной грозы куст. Возле него так живо — оказывается, не до конца — откровенничал Игорь.

— Так ни разу не сходил к той девчонке? — спросил он Игоря. — Коли уж слухи ходят...

— Ты серьезно об этом?

— Да...

— Вот уж не думал, — покосился на Еранцева Игорь. — Я не враг самому себе. Дрессировщик и тот зря не сует башку в пасть льва.

— Так у тебя же везде рука.

— Я не знаю никакой девчонки. И знать не хочу. Пойдешь, начнут трепаться: нет дыма без огня! Нет уж... Пойми, я чист перед ней...

— Мне все ясно, — устало откликнулся Еранцев. — Верно, свята душа — свят и сам.

— Ну, как поп заговорил...

Усовещевать, тем более пытаться докопаться до правды, понял Еранцев, бесполезно. Все у него шито-крыто. Поди докажи, что он наехал на Светлану, не помнящую даже себя.

Игорь невесело притих.

Что ни говори, неприятно, когда человек, еще вчера казавшийся своим в доску, выходит из повиновения. Не знаешь, что ожидать от него, одно ясно — хорошего уже не жди... Может, попробовать его разговорить? Нет уж, не стоит, опасно, неизвестно, что сболтнешь, так что сиди, стиснув зубы!..

Свернули с большака на лесную дорогу, блестящую лужами в размытых полях, а вскоре катили проселком. Снова, в этот раз чисто и заманчиво, завиднелись прудищинские избы, потом вниз, на ярко-зеленой поляне, бело полыхнула стройка.

День здесь был иной, чем в городе. В городе он — будто верховой ветер, высоко над домами, над суетливым людом, вытесненный снизу шумом и гамом улиц. Здесь, над безмолвными далями, и день был спокойней. После ливня, побившего дым, окрестность просторнела и за дальними лесами стали видны другие селения, вернее, маковки церквей.

Солнце, высушив взгорки, косыми лучами тянулось под кусты, в золотой стерне неожиданно весело вспыхивали поздние ромашки.

Еранцев, приближаясь к шабашке, увидел всех в

сборе; стояли полукругом перед каким-то незнакомым человеком в зеленой брезентухе, подъехали ближе, увидели: местный егерь произносит речь.

— ...Окладом я их, ясное дело, обрежу. Только скажу по совести: оклад об эту пору — чистое баловство. Так, одна красота. Флажки, однако, в кое-каких направлениях будет далеко видно. С дождем много листа повыпало. Лес, ребята, оголился... Вопросы есть?

— Что дальше будем делать?

— Ружья разберем. Проверим на бой, на кучность. Сперва конфискованный боеприпас сожжем. Утром каждому стрелку на номере выдам боеприпас из казенного фонда. Четыре заряда согласованной картечью, двадцать восемь, стало быть, картечин в каждом патроне. По два патрона с жаканами...

Еранцев выбрался из машины, открыл заднюю дверцу, выпуская собак. Первым прыгнул на землю черно-пегий, в румянах выжлец, и Еранцев невольно залюбовался им. До того хорош — подвижен, сух и мускулист. Костяк широкий, хвост саблей, в плотном прикусе угадывается мощь. Разминаясь, выжлец пробежал вдоль пруда, приблизился к ружьям, сваленным у ног егеря, брезгливо обнюхал их, двинулся к хозяину.

Из "Волги" медленно, с начальственной отрешенностью вылезал Николай Зиновьевич Арцименев. Был он в теплой куртке, в тирольской шапочке. Ничего не скажешь, стар, внушительен.

Егерь Мирон — тоже стар, но еще крепок — ахнул.

— Здорово, Кудинов! — крикнул он. — Как живем?

— Здравия желаю! — ответил Кудинов. — Живем лучше всех. Хорошо, что приехал, Мирон! А то на охоту, называется, собрались. Срамота...

— Да вот меня, вишь, с печного кирпича стащили, — вздохнул Мирон. — Откель у тебя этот утиль? — Поднял лежавшее сверху ружье, перехватывая его только двумя пальцами, большим и указательным, насупленно пошевелил бровями. — Что это за цевье — мыши, что ли, грызли?.. А пяткой приклада гвозди забивали или камни дробили?..

Он протянул ружье Кудинову, попросил:

— Переломи-ка.

Кудинов ловко сдвинул верхний ключ, обнажил патронник, вернул ружье Мирону. Тот, подняв двустволку на свет, сощурил правый глаз, заглянул по очереди в оба ствола и сплюнул.

— У бабы какой одолжили? — повел глазами в сторону Тумарева.

— У мужика...

— Ну и мужик ноне пошел... — сказал Мирон. — До-прежь его б, как сукина сына, этим прикладом по спине молотили. Держи ружье в чистоте и исправности, коли завел! Та-ак. Надо почистить и смазать. Шешна-дцатый калибр, получок...

Кудинов повеселел — с таким наставником, как Мирон, не пропадешь! — проворно подсунул тому дру-гое ружье, приготовленное для осмотра.

— Ох, нехорошо! Нехорошо-то как, господи, — чуть ли не плакал Мирон, целясь глазом внутрь ствола. — Левый ствол раздут, ржа...

А вот последующее ружье его умилило. Похлопал по шейке приклада, подбросил, легко поймал ладонью.

— Вишь, какая старушка... Вот что значит фирма! Ну, она-то уж не подведет... Чок, двадцатый калибр...

Нужненко, внимательно следивший за бывалым егерем, оказался расторопнее остальных — пока те хлопали глазами, подлетел и завладел ружьем.

Меж тем по лужайке разносился запах баранины. Наталья и Надя, уживаясь у костра за приготовления-ми, о чем-то переговаривались. Надя поддерживала костер, то и дело вытаскивала из вороха дров дощечку или хворостинку, подбрасывала в огонь.

— Это вас колхоз так балует? — спросил Николай Зиновьевич, беря под локоть Еранцева. — И частенько?

— По случаю завершения, — сказал Еранцев.

— Следовательно, нам повезло. Как у вас, дружок, дела? Как программа-максимум?

— Хвастаться нечем, Николай Зиновьевич, — сказал Еранцев. — Даже минимум не тяну.

— Ленишься, наверно. Или жениться надумал.

— Все гораздо проще. Ничего пока не идет. Пробук-совка, Николай Зиновьевич.

— А так, дружок, должно быть, — авторитетно ска-зал Арцименев-старший. — Ты по складу характера уче-ный-одиночка. Ты, как маг, обязан биться над идеей, пока дышишь. Только не торопись и, пожа-туйста, без особого трагизма, хотя, слышал я, трагизм сам по себе не враг, наоборот, стимулирующий фактор... Ну, я пойду вздремну. — Уходя к машине, он окликнул еге-ря: — Мирон! Лицензии привезли?

— Нет, — ворчливо ответил Мирон. — Какие уж тут лицензии! Будем бить, как на выбраковке. Потом заак-тируем, и делу конец.

— Фу, гадость, — отвернулся Николай Зиновьевич. — А я-то, старый хрен, думал, на охоту еду...

Он, кряхтя, влез в машину, поудобнее устроился на заднем сиденье, прикрыл ноги пледом и по-стариковски легко впал в забытие.

Тем временем Кудинов, раздав всем ружья, стал показывать, как чистить стволы и вхолостую проверять курки. Стрелки, в их числе и Еранцев, которому досталось изношенное — заметна была качка стволов — и все же довольно сносное ружьишко, приготовились к проверочной стрельбе. Кудинов вбил колышки в землю, обозначил линию огневого рубежа, отмерил пятьдесят шагов, к лежавшей на бугре липе прищелпал пристрелочные мишени. Потом, расхаживая перед строем, сдерживая его строгим взглядом — всем не терпелось скорее стрелять, — объяснил, как с помощью расчерченных на сто долей мишеней определить резкость и кучность боя и, наконец, осып дробью.

Еранцев слушал и проделывал все упражнения как во сне. К нему, будто нарочно выбрав этот момент, пришла непонятная озабоченность. Жалко — что ни делаешь, все не в радость.

Шематухин удивлялся: почему это Еранцев, зная, что он в лесу искал деньги, не поинтересуется, чем все кончилось. Решил подойти к нему сам, надвинул на глаза кепочку, глядя на Еранцева из-под козырька, как бы нечаянно толкнул его в бок.

— Что опять невеселый?

— А, Шематухин, — встрепенулся Еранцев. Он, должно быть, вспомнив про деньги, заговорщицки подставил ухо. — Говори, с чем пожаловал.

— Я, братан, пока пустой, — сказал, перейдя на шепот, Шематухин. — До утра потерпеть придется. Ежели охота ничего не даст, до понедельника тут будем зимовать. Кореша дожидаться. Будь здоров, помалкивай. Дыши, братан, глубже!

До стрельбы было еще далеко. Кудинов, видать, найдя в шабашниках понятливую, хорошо поддающуюся учению публику, загорелся еще пуще. Щеки его играли жаром, взгляд метался с фланга на фланг. Упражнения состояли из вскидки ружья к плечу с одновременной поводкой слева направо, справа налево.

Со стороны казалось, тренируются новобранцы.

У Тырина, появившегося на лужайке с вязанкой дров, даже послабело в коленях — вспомнился он сам себе остриженным наголо, в изодранном ватнике, но с винтовкой. Война уже шла, формировалась новая диви-

зия, и он, Егор Тырин, с рекрутским усердием прокалывал штыком соломенные чучела.

Егор Митрофанович, в начале войны рядовой солдат, потом уже, после форсирования Вислы, сержант с давящим грудь набором орденов и медалей, сейчас с тоской глядел на взбугрившиеся спины ребят, старательно выцеливающих мишени. Это ничего, пускай стреляют, потянув носом пороховой запах, думал Егор Митрофанович. Не воевали они, слава богу, и, дай бог, не доведется им того пережить. Он, наполовину уйдя думами в прошлое, продолжал следить, кто как держит ружье, кто ловок, кто неумел. Вот Нужненко вскинул ружье и не бугаем, как Шематухин, спокойно, легко подался вперед и, не промедлив, бабахнул. Чалымов тоже был хорош видом, и Егор Митрофанович ревниво дожидался, когда тот жажнет из второго ствола.

И все же, подумал Егор Митрофанович, он бы с ними, если к ним подойти со старой солдатской меркой, в разведку бы не пошел...

Лялюшкин, тот и здесь, в стрельбе, норовил делать все по-чужому, вертел головой туда-сюда, подглядывал, кто как стреляет. Еранцев и Стрижнев, стоя почти бок о бок, видно было, подшучивали друг над другом, и Еранцев обращался с ружьем куда сноровистее товарища-приятеля.

Шематухин — одно слово, кино! — и тут, на огневом рубеже, не мог без потехи. Ружье мелькало в его руках так быстро, будто он, как циркач, имел дело с безобидной игрушкой.

— Гриша! — крикнул, выждав затишье, Тырин. — Да нешто ты в цирке! Смотри, добалуисся!

— Усек, Митрофаныч! — отозвался Шематухин. — Героем хочется стать. Как сказал поэт: "О поколение судят по героям..."

— Рано тебе, Гриша, роптать, — сказал Тырин. — Молод еще. И героем станешь, коли захочешь...

— Твоими бы устами мед пить...

На душе у Егора Митрофановича с утра непонятно отчего держалась светлая печаль. Он устало, умиротворенно подытожил прожитый здесь срок, из всего, что довелось пережить, выделил только хорошее и сейчас на всех, с кем свела его одна-единственная, первая и, дай бог, последняя в жизни шабашка, смотрел с отеческим прощением. Всяко было, пока трудились, и хорошо бы всем так справиться дело — вон стоит коробка клуба, любо-дорого глядеть!

— Видали, — подойдя к нему, сверкнула белыми зубами Наталья. — Каковы вояки! Охотнички, завтра трактором не поднимешь. После вечеринки-то.

— И то верно, — согласился Тынрин. — Припрятать надо...

Там, где стояли стрелки, оглушительно, почти слитно бабахнули выстрелы. Поднятые грохотом ласточки, испуганно посвистывая, шарахнулись прочь, в луга.

— Пойдем поглядим, — не стерпела Наталья, сорвала с себя платок и передник. — Посмотрим, кто мужик, а кто так себе...

Надежда тоже загорелась идти. Ей почему-то хотелось во всем походить на Наталью, рвать и метать, как сказал про молодую красивую кухарку Тынрин. Чтобы земля гулом пошла; живи так, будто живешь последний день. Все это, ранее слышанное, но не принятое к действию, сегодня сладко волновало Надежду. Они, две женщины, румяно налитые жаром костра, двинулись к стрелкам.

Игорь Арцименев, завидев их — не принимал участия в перестрелке, — пошел за ружьем и патронташем.

Еще раз хлестко ударил по воздуху залп, и стрелки торопливо кинулись к мишеням. Пока они гомонили, выясняя, кто попал, кто промазал, у кого лучше дробь, кому какой заряд нужен, чтобы палить наверняка, с учетом пороков ружья и боеприпаса, подоспел к огневому рубежу Арцименев. Он расчехлил, собрал ружье на виду у всех, а поглядеть было на что: старый бельгийский двойник — бюксфлинт, мягко посвечивая серебряной отделкой, прямо-таки завораживал.

На какое-то время у остальных испортилось настроение. Первым справился с собой Шематухин, и, когда прозвучала команда занять места и приготовиться к стрельбе, он стал выцеливать мишень, держа ружье правой рукой, — вспомнил, как обалдели тогда мужики от его выстрела.

— Не балуй! — хмуро одернул Кудинов Шематухина. — Не в балагане... И вообще довожу до сведения всех граждан. Если слаб по этой части — егерь выразительно щелкнул по кадыкастой шее. — Если, говорю, кто любит это дело и не может утром без опохмелки обойтись, пускай нонче же сдаст ружье. На охоту не допущу...

— Ладно... — протянул Шематухин. — Валяй командуй, пень с глазами. Лесовик чертов!

От раскатистого залпа заложило в ушах; дробь ударила в липу так плотно и резко, что она, брызнув ободранной корой, мочалисто залохматилась.

Стрелки вновь бросились к мишеням, и только Игорь Арцименев остался на месте, крикнул Еранцеву вдогон:

— Взгляни на мою, Еранцев!

Перезаряжая ружье, Арцименев косился на Надю, делавшую вид, что она его не замечает. Но даже в этой неумелой игре, как и в вызывающе неподступной позе, угадывалась взрослая женщина. И все же с Надей, отметил про себя Арцименев, он осторожничал. Однажды женившись неудачно, он со всеми женщинами был настороже.

Еранцев, увидев Надю, сказал:

— Стрельнуть, наверно, хочешь.

— Хочу, — отозвалась Надя, но при виде протянутого Еранцевым ружья зябко поежилась.

— Советую из моего, — протянул великолепный буюксфлинт Арцименев. — Пулечкой. Под яблочко. Никакой отдачи, сто процентов безопасности.

Надя нерешительно взяла ружье, прижала приклад к плечу, принялась целиться.

— Да отвернитесь вы! — сердито сказала егерю.

И верно, Кудинов, насупленно пересиливая желание пресечь бабье баловство, боясь за свой авторитет — обругает еще этот Арцименев принародно, — смотрел на Надю и от окрика побагровел.

— Не буду... — капризно вернула Надя ружье.

Наталя, заметив, каким зверем усталился на егеря Арцименев, истолковала обстановку по-своему: мужики цапаются не иначе как с голоду.

— Эй, ребята! — широко крикнула она. — Где стол накрывать? На улице или в клубе?

— На сцене, Наталя! — распорядился Шематухин. — Сыро на улице. Вишь, солнце еще не зашло, а уж роса пала. У меня там, в углу, скатерть лежит. Красная.

До застолья, пока в свете низенького солнца еще видны были мишени, успели сделать несколько выстрелов, потом, сойдясь в круг, замитинговали. Когда Наталя заколотила ковшом по пустому ведру, приглашая за стол, страсти еще кипели: шло распределение по номерам.

Кудинов называл, кому выпадет закрывать волчьи лазы, во время охоты стрелять "в штык", иначе говоря, палить встречу поднятым загонщиками волкам.

— Хоть в основном молодняк будем брать, смотреть надо в оба, — заключил Кудинов. — Должен сказать, и материки имеются. Уж не дай бог, который из них подранок. Бить надобно наповал... А то схлопочет

неверную пулю и айда на стрелка. Вы, ребята, не смейтесь, дело нешуточное...

Стол был запашистый, с соленьями и приправами — видать, натаскала Наталья, — с щедрыми едой-питьем. Еще до того, как сесть, всем миром было решено: праздника не устраивать, слова никому не давать. Выпили — мужчины водки, женщины шампанского, навалились на дымящуюся, обжигаяще огненную банину.

Не выпили только Николай Зиновьевич и Тырин.

— Вы что это, дружок? — поинтересовался Николай Зиновьевич, посмотрев на пустой стакан Тырина.

— Отпился, извините за выражение, — растерянно сказал Тырин и от неожиданного внимания, проявленного стариком Арцименевым — наслышан был, — даже прослезился.

— В ваши годы я еще, бывало, рюмашку-вторую пропускал, — оживляясь, сказал Николай Зиновьевич.

— Я-то на войне надорвался, — сказал Тырин.

— Чрезвычайно интересно, — придвинулся к Тырину Николай Зиновьевич. — Мне-то не пришлось воевать.

— По броне?

— Угадали...

Лялюшкин, заметно побледнев от водки — выпил-то всего полстакана! — озирался по сторонам, как бы досадуя, что застолье, не успев как следует разгореться, вроде бы уже затихло. Ему не хотелось отставать от Нужненко — тот, крепко выпив и хорошо закусив, спокойно переживал затишье. Лялюшкин отчаянно поднес стакан ко рту — имеет он право после всех трудов напиться? — но водка не пошла.

Шематухин, восседавший во главе стола, по-свойски подмигнул Еранцеву и, бессловесно сообщая что-то, повел захмелевшими глазами в сторону Игоря Арцименева. Еранцев, тоже ощущая во всем теле хмельной жар, мельком глянул на Надю и Игоря.

Арцименев, раскрасневшийся, бодрый, косил веселый глаз на Надю. Еранцев не почувствовал никакого движения внутри себя, вопрошающе повернулся к Шематухину и тотчас наткнулся на его тяжелый, требовательный взгляд.

Увидев, что Еранцев глядит на него непонимающе, Шематухин поскущел — ну, что поделаешь, если парнишка никак не возьмет в толк, что деваху на глазах у него отбивают.

— Так за что же пьем-то, братцы-кролики? — широко

ко, по-хозяйски оглядев компанию, громко спросил Шематухин. — Хоть бы тост кто сказал...

На него не обратили внимания, и он обиженно передернул плечами.

Меж тем Кудинов задвигал стулом, собрался идти. Он с видимым неудовольствием — посидеть бы еще, но ничего не поделаешь, служба — встал и, как у себя в лесу, неумеренным басом перекрыл застольный шум:

— Не засиживаться, товарищи стрелки! Зоревать должны в лесу. До деляны — на грузовике, далее километра три — пехом. Я мальчонку пришлю, покажет...

Встали из-за стола и профессор Арцименев с Тыриным. После ухода стариков и угнетавшего своей служебной строгостью Кудинова застолье вопреки ожиданиям не оживилось. Все, кроме Лялюшкина, весело болтавшего что-то про себя, затяжелели. Сказывалась усталость.

— Музыку! — прорвало вдруг Лялюшкина. — Не забывайте, у нас есть дамы... Потанцуем.

— Нас-то больше — сказал Шематухин.

— О-о, проблема решается очень даже просто, — улыбнулся Лялюшкин, высоко, как дирижерскую палочку, подняв столовую ложку. — Мы этих дам разыграем...

Надя, смущаясь, посмотрела на Наталью, выжидательно — что еще скажет этот очкастый? — замерла.

— Отойди-подвинься, — рассмеялась Наталья. — Пей да ешь, а насчет того, чтобы дамы тебя на плечах тащили, не рассчитывай.

— Ладно, смени пластинку! — ворчливо проговорил Нужненко.

— Знаешь, хватит! — вдруг взвился Лялюшкин. — Хватит мне в твою дуду петь!..

— Цыц! — прикрикнул Шематухин и, миролюбиво улыбаясь, жестом призвал ссорящихся к согласию.

Он опять смешно тарачился на Еранцева, молча уговаривая его пересесть к Наде. Накалять обстановку он, видимо, не собирался и теперь с неожиданной преданностью заботился о Еранцеве, казалось, ушедшем куда-то далеко.

Шематухин ошибался, Еранцев все видел и слышал, правда, вполголоса и вполуха. Он думал о себе и Наде.

Что ж, не ему ее учить, как вести себя, и уж совсем не обязательно, чтобы она не отходила от него. В то же время Еранцев чувствовал, что в нем появляется что-то новое, более радостное, более будоражащее его, чем мысль о Наде. Если разобраться, те силы его, которыми

Надя, где бы ни была — далеко ли, близко ли, — безраздельно владела, сейчас возвратились к нему. Он отметил: чем откровеннее Надя отвечает на все эти ухаживания, тем холоднее и спокойнее становится сердце. Да, сердце его билось все ровнее и отчужденнее, нежная плотская боль стихала, а любовь и страдания оставались, только они переиначивались — выходило, что сердце по ошибке направило свои силы не туда, куда надо, и теперь исправляется. Оно не обманулось, нет, но заблудилось, пошло не в том направлении, не тем увлеклось. Даже в хмельном тумане мысль эта звонко, пугающе выделилась в сознании. Еранцев понял, что все его существо без остатка — не по частям, а едино — торопится вернуть себя к тому, чем он жил и дышал до Нади.

Застолье после того, как Лялюшкин, обессилив, вздремнул сидя, рассыпалось, и шумели, и разговаривали теперь вразнобой.

Выпив шампанского, Надя "расслабила пружины", как она про себя определила состояние, когда все кажется приятным. Единственный человек, которому хотелось досадить чем-нибудь, был Еранцев. Обида точила ее — она сама, по своей воле приехала сюда, и не к кому-нибудь, а к нему. То, что Наталья, бегая вокруг стола, нет-нет да останавливала на Еранцеве встревоженно-жалостливый взгляд, лишний раз раздраживало Надю. От бабьей жалости до любви — один шаг, вспоминала она бабушкины слова и с новой силой начинала поощрять Арцименева. И все же, как ни льстило ей теперешнее положение, Надя злилась. Она, незаметно оглядывая мужчин, сравнивала каждого с Еранцевым, и каждый раз результат получался не в его пользу. Ведь любой, начинала нервничать Надя, любой из них, только пожелай она, носил бы ее на руках. А он хоть бы попытался перемолвиться словом, еще лучше, приревновал бы, учинил из-за нее скандал. Нет, сидит блаженненький.

Наде было бы легче, если бы она не знала, что она красивая. К несчастью, она знала об этом, вернее, до нее знали другие — папа, мама, дяди и тети, — и она узнала от них, что родилась красивой и не дай бог, кто ее сглазит. Так было в детстве, потом, когда она подросла, было то же самое, и до окончания школы она чувствовала себя под охраной, а в иные недели-месяцы под зоркой, опротивевшей стражей. Она и теперь-то сама себе не хозяйка, но вот взяла и бросила родителей, и на тебе — в награду получила, можно сказать,

оплеуху. Хотя бы он, Еранцев, Миша, захмелел и заснул за столом, и то не обидно. Нет, сидит, изображает отягощенного неземными заботами человека, и, как ни пыталась она, Надя, отвлечь его, он ноль внимания. Хотя сквозь землю провалиться, словно она такая дурнушка, что, кроме него, за ней некому больше ухаживать.

Злясь, Надя перевела взгляд на Чалымова; вот кто, не таясь, караулит каждое ее движение, говорит глазами то, что не выразишь словами. Надя, привыкшая обходиться с подобными всезнающими, опытными мужчинами холодно, вдруг подняла свой стакан, с вызовом посмотрела на Чалымова: выпьем! Она, растравляя обиду на Еранцева, совершенно не думая о том, каким боком выйдет ей сегодняшнее заигрывание с другими, поощряла влюбленно глядевшего на нее Чалымова.

— Эй! — вдруг вмешался Лялюшкин, заметивший, как Чалымов подмигивает Наде. — Я два приема каратэ знаю. Я тебя, йогa, заставлю лбом орехи колоть!

— Не возникай, Лялюшкин, — миролюбиво сказал Чалымов. Знал, горлом Лялюшкина не возьмешь.

— А ты не бойся, выходи, — раскачался Лялюшкин. — А ты куда смотришь, Еранцев? Это черт знает что!..

— Это я предложила выпить, — с запоздалым рассказом сказала Надя. — Что тут плохого?.. Неприлично же одной пить...

За пустячным переполохом никто не обратил внимания на Шематухина, который встал из-за стола и, сильно озабочась, ушел куда-то.

Спусти какое-то время со двора донесся стукоток мотоциклетного двигателя, потом все утихло.

Постепенно утихало и застолье. Только Лялюшкин, спешно озираясь, искал, с кем бы чокнуться стаканами.

— Еранцев, давай за тебя, — сказал он. — Ты мне нравишься. Я тебя в обиду не дам.

Еранцев отмолчался, чтобы успокоить донимавшего его Лялюшкина, поднял стакан.

Пить уже не хотелось, и он обрадованно повернулся к незнакомому мужчине — тот нерешительно замер у двери.

— Иди сюда, не бойся! — позвал его Лялюшкин. — Иди, друг, держи по случаю завершения...

Человек подошел и, переведя дух, спросил:

— Не знаете, куда Шематухин, бригадир ваш, поехал?

— Понятия не имею, — сказал Лялюшкин.

Еранцев спохватился гадать, куда и зачем мог

отправиться Шематухин, из этого ничего не получилось.

— Подождите, вернется скоро, — сказал он.

— Ты что, трезвенник, что ли? — не отступался Лялюшкин.

Человек наконец смущенно взял протянутый стакан.

— Ну, коли так... Будем знакомы. Фонин, зоотехник... Обмываете, значит, а я боялся, что Шематухин деньги не довезет. Мы с ним здорово дербалызували.

— Какие деньги? — меж тем уловил Лялюшкин.

— Обыкновенные. Ваши, коллективные, — улыбаясь, сказал Фонин. — У нас так быстро. Сделал дело — получай...

— Давайте лучше выпьем за знакомство! — торопливо предложил Еранцев.

— Нет уж, нет уж! — возразил Лялюшкин. — Давайте сначала разберемся!.. Деньги, говорите, получил?

— Да, — по-прежнему радостно подтвердил Фонин. — При мне... Целую сумку!

— Олухи мы с вами, ребята! — одичало огляделся Лялюшкин. — Денежки Шематухин получил, а нам ни шиша!.. Кумекаете?

— Просто задержал, — сказал Еранцев. — Компанию хотел сберечь. Ведь иначе разбежались бы!

— Чего это вы за всех заступаетесь, Еранцев? — побелев, крикнул Лялюшкин. — Какого черта!

— Э-э, тут мне делать нечего, — проговорил Фонин, успевший выпить и схватить соленый огурец. — Может, плакали ваши денежки? Три судимости... и мотоцикл мой, наверное, угнал.

Он быстро попрощался, вышел из клуба.

— Мне это очень даже не нравится, — не мог оправиться Лялюшкин. — Неужели опять без копейки домой вернусь?..

— Давайте без паники, — строго сказал Нужненко. — Вы в состоянии управлять машиной, Еранцев? Шематухина надо найти!..

Егор Митрофанович, войдя в клуб вслед за Арцименевым, ахнул.

— Опять, ей-богу, какая-то каша заваривается! Вы уж извините, — по-домашнему запереживал старик. — Не уймутся никак... Нет-нет да напакостят друг дружке. Хотя грех себя над ними возвеличивать, молодые были, чего только не творили!

— Верно, — поддакнул Николай Зиновьевич.

Егор Митрофанович успокаивающе — увидел, как встал и приготовился говорить Еранцев, — шепнул:

— Ну, этот тихий. Теперь тянуть будет, не дожدهшься, когда словечко молвит. Самый канительный у нас Шематухин, бригадир. Чегой-то нет его тут.

— Не рано ли розыск объявлять? — оглядев взбужденных шабашников, сказал Еранцев. — Я никуда не поеду. Уверен, Шематухин вернется...

— На самом деле, что это вы за него горой стоите?! — придвинулся Чалымов. — Слышали, три судимости...

— Это чушь! — не сдавался Еранцев. Помолчал упрямо, с вызовом. — Посмотрите, граждане, на меня! Похож я на преступника?.. Похож, спрашиваю, на человека, который наехал на девушку и даже не подобрал ее?! Оставил там, где сбил?!

Оглянулся вокруг с плотно сжатыми губами. Кругом стояла жуткая тишина.

— Миша! — вдруг крикнула Надя. — Ты пьян, Миша!..

— Не похож, значит! Так вот... — усмешливо отрезал Еранцев. — Я, к вашему сведению, без пяти минут арестант...

Из-за кулис донесся всхлип — там была Наталья, — и Еранцев, передернув плечами, как бы сразу отрезавшись от всех присутствующих, спустился со сцены вниз.

— Послушайте, Миша! — попытался остановить его Николай Зиновьевич.

Еранцев, кажется, не расслышал его, невидяще шел к двери.

— Игорь, подойди ко мне, — попросил Николай Зиновьевич.

Спокойное, усталое лицо его посерело, он с вымученной улыбкой посмотрел на Тырина, участливо взявшего его руку.

Игорь подошел к отцу.

— Оставьте нас.. — сказал Егору Митрофановичу.

Николай Зиновьевич напряженно всмотрелся в сына и, слыша, как высоко бухает сердце, перенесшее два инфаркта, негромко сказал:

— Объясни, что тут произошло...

Игорь уставился на него недоуменно, как бы не понимая, о чем идет речь.

Николай Зиновьевич, запоздало сожалея, что откладывал прямой разговор с сыном, сейчас опять не решился ребром поставить вопрос.

— Папа, помни, что ты — генерал без войска, — не сразу ответил Игорь. — Притом из другого века... Мы тут сами разберемся, что к чему... Вот думай и пиши про свой век. Кстати, не разбрасывайся мамиными письмами...

Николай Зиновьевич от слов сына — тот, сказав свое, ушел — заметно согнулся, потерянно побрел к сцене с единственным желанием где-нибудь прилечь. Егор Митрофанович помог ему взобраться на сцену...

Игорь Арцименев выбежал в сырую темень ночи, расстегнул рубашу, с трудом разглядел идущего вдоль пруда Еранцева. Раздумал сразу догонять. Направился к светлой заводи, умылся. Но, пока собирался идти к Еранцеву, в той стороне вспыхнул огонек и, словно привлеченная трепетно-живым светом, мимо пробежала Надя.

Пережив легкую досаду, Арцименев вздохнул, зашагал в направлении деревни. Всего минут десять назад ему казалось, что его начнут одолевать угрызения совести, а теперь шел и удивлялся: внутри пусто, холодно. Хотя чему удивляться, все понятно, за последнее время столько пришлось вынести. От такого не только сердце — душа окаменеет.

Он шагал и шагал вдоль пруда, увидел на горбатой темной опушке плетневые изгороди, черневшие на фоне светлого неба горбинки трех-четырёх изб, над ними похожие на распятия телевизионные антенны.

Слева, с луговин, тянуло пресным запахом высыхающей после дождя земли.

Но что это? Арцименев убавил шаг. То ли почудилось ему, то ли на самом деле в белесом тумане блеснули зеленые огоньки чьих-то глаз, не поймешь, но ощущение было такое, будто ослепили прожектором. Повернув обратно, Арцименев быстро двинулся по тропе, оглядываясь, обо что-то споткнулся, невольно вскрикнул. Торопясь к проступившему в ночной мгле клубу, он еще и еще оборачивался назад, и его не покидала уверенность, что оттуда, из тумана, за ним следит большеглазое зубастое существо. Уже возле клуба он перевел дыхание, но и тут — чего бы уж бояться — успокоиться не мог.

Он поднялся на крыльцо, воровато посмотрел туда, где Еранцев разжег костерик, огонек еще мерцал. Арцименев вздохнул, нащупал дверь, приосанился...

Надя молча смотрела на весело пляшущие языки пламени, не зная, о чем говорить здесь, среди сковывающей уплотненной светом ночной темноты. Еранцев

не стоял на месте: отходил от костра, возвращался с ворохом веток и стеблей бурьяна, опускался на корточки, подновлял костерик, отсыревшее топливо начинало с шипением куриться голубым дымом. Надя отступала, отмахивалась ладошкой, наблюдала за Еранцевым, который тут, у костра, был совсем не похож на себя недавнего, в каком-то непонятном одиночестве сидевшего за шумным столом, хотя здесь он тоже выглядел одиноким, правда, в его отрешенности сейчас было что-то притягательное. Надя с интересом глядела на то, как Еранцев, поворачиваясь к огню то одним, то другим боком, сушит мокрые штанины. Ботинки его тоже дымились паром.

— Что ты со мной не разговариваешь? — не выдержала Надя. — Может, что подумал?.. Я ведь к тебе ехала. Ночевать осталась, еще вот одной ночи дождалась, меня дома отец с мамой убьют. Милицию, наверно, подняли, а то и весь гарнизон, — она нервно засмеялась. — Ну вот, примчалась, называется, к ненаглядному, наслушалась пьяного бреда...

— Никакой это не пьяный бред, — глухо сказал Еранцев. — Так на самом деле и было...

— Ты врешь, — напряглась Надя. — Я знаю, чего ты хочешь... Хочешь, чтоб я испугалась. Я знаю, в таких случаях вы, если не можете сами любить, отбиваетесь. Я больной, я несчастный, я совершил уголовное преступление. Ой, мама, как все примитивно! — Надя, уткнувшись лицом в ладони, расплакалась. — А обо мне ты подумал хоть капельку?.. Что мне делать? Я же тебя люблю-у...

Еранцев насторожился. Плотно сжаты губы, нервы натянуты, не человек — камень. То, что в коленях послабело, не в счет, это от вина. Но Надя продолжала втихомолку плакать, и Еранцев неожиданно, как маленький ребенок, потянулся к округлому вздрагивающему плечу девушки.

— Не надо, Надя... — радостно-смятенно проговорил он. — Я, честное слово, не нарочно... Мне не хочется, чтобы все это коснулось тебя. Я о тебе много думал. Вспоминал каждую минуту... Ты мне даже снилась.

— Правда?.. — Надя припала к нему, прижалась пылающей щекой к локтю. — Я тоже сон видела. Проснулась, а на душе тревога, будто мне стало страшно. С тобой должно случиться что-то нехорошее. Ты такой доверчивый.

— Прости меня, Надь... — прошептал Еранцев. — Я запутался. Меня куда-то несет...

— Но ведь то, что ты сказал про себя, неправда?... Неправда, верно?..

— Так надо, Надя, пойми...

— Ах, вот как!.. Если бы ты думал обо мне, не решился бы на такое! Ради чего? Ради кого?

— Так надо.

— Мало ли... — вдруг стиснула она его руку. Потом, опять тревожась, сказала: — Давай убежим, а? У меня тетушка на Кавказе, в Ленкорани. У нее сад, виноградник, далеко кругом горы! Нас там никто не найдет. Миша!.. Еранцев, ты меня слышишь?

На мгновение Еранцев потерял связь с тем, что сейчас происходило, будто явь отступила перед сном, он, почти не веря тому, что это Надя, нагретая костром, опалает ему грудь, поддался грезам; и верно — кругом горы, сияющие снежные вершины, зеленые лозы винограда, и среди солнечной благодати он и она.

— Ну, что у тебя на уме? — прошептала Надя.

— Не знаю... Что же нам делать?... — очнулся он.

Надя не ответила, она только нагнула голову, и он почувствовал гулкую работу ее сердца. Глотнув воздуха, он поднял на руках жаркое девичье тело, ослепленный светом ярко полыхнувшего костра, зашагал в темень, очутился под невнятным небом с россыпью звезд, приглашенных дымом.

Впервые за долгое лето ночью приостыло и отовсюду — с полей, из оврагов — потянули осенние холодные запахи. Среди них выделялся, напоминая о недавних пожарах, запах дыма, но и он тоже сделался иным, осенним. В нем ощущалась легкая, присмирившая горчинка.

Наталя, провозившись со столом допоздна, не решилась бежать даже до Прудищ, к родственнице, раскатала в углу зала запасную постель. Но сон не шел. Столько ей довелось увидеть и услышать за сегодняшний вечер. Но бог с ними со всеми, она думала сейчас об одном только Еранцеве — сходила по нему с ума. Видать, приревновал он эту кисоньку к Арцименеву, напился до чертиков, наговорил на себя несусветное.

А эта — что значит городская, бесстыжая — не постеснялась после того, как крутила шуры-амуры то с Арцименевым, то с Чалымовым, бежать за ним, за Мишей. Что же теперь будет? Помирились или нет, время уже за полночь, а их нету.

В окнах начинала проступать синева, и Наталя затаивалась от каждого шороха за дверью: не идет ли

кто? От мысли, что Еранцев с Надей где-то бродят вместе, у Натальи люто загорелись щеки.

Потом Наталья, чтобы отвлечься, прислушалась к притихшему дому. В эту пору, догадывалась она, в доме не спал еще старик Арцименев. Еще вечером лег, лежит. Вот послышалось, будто простонал. Давеча, когда Наталья спросила, где болит, рукой показал на сердце. Наталья поднялась, повинувшись извечной бабьей жалости, вдоль стены направилась проведать старика. Подойдя к двери, заглянула в комнату. Арцименев лежал, высоко задрав бороду, и грудь его едва заметно подымалась. Наталья вернулась к постели, накрылась одеялом, сжалась от холодной сырости. Потом от мысли, что она осталась ночевать здесь, чтобы сберечь Еранцева, на которого, как на малое дитя, сыплются все шишки, почувствовала тепло. Что же теперь будет с ней, когда он уедет? А возьмет да приедет в город, найдет себе подходящую работу, а через год-другой, глядишь, сама станет не хуже городских. Она же совсем еще молодая, только, может, толстовата, но в городских заботах, в тамошней беготне она быстро выладнится, и тогда-то...

Ночь тихо, ничем не выдавая движения, шла своим ходом. Потом темнота, подступившая прямо к глазам, отодвинулась и в ней бледно обозначились проемы окон.

Лежала, так и не смыкая глаз, Наталья.

Кроме Натальи, в доме не спал в эту ночь Николай Зиновьевич. Каким-то чудом удержавшись на грани жизни и смерти — он, когда очнулся, понял, что это инфаркт, — теперь старик и не спал, и не бодрствовал, а только следил за болью, от которой немела грудь. Сил ему хватало лишь на небольшое усилие: правую руку подносил ко рту — просовывал под язык нитроглицерин.

Хорошо, что кто-то догадался оставить свет. Сквозь смеженные веки в зрачки Николая Зиновьевича сочился розоватый свет, а это уже не темень — достаточно того, что темнота то и дело норовила задавить сознание.

Инфаркт был тяжкий, третий по счету. Николай Зиновьевич вначале, как только пришел в себя и увидел, что лежит на железной кровати среди заваленной разной рухлядью и тряпьем комнаты, не сразу уяснил: жив или не жив? Или все, что проплывает перед глазами, первое из тех потусторонних видений, которые, по свидетельству людей, перенесших клиническую смерть, приходят к умершему? Уже потом он осознал: жив.

Первый инфаркт хватил его лет пять назад, и тогда

получилось довольно удачно — его довели до клинического отделения института, и готово: лежи, не шевелись, выздоравливай. Второй удар он скрыл от всех, даже от сына. Он доверился только Ивану Кирилловичу, бывшему армейскому врачу, отставному полковнику. Лежал Николай Зиновьевич на даче, в кабинете, куда "полковник" — так он обращался к врачу — приносил все необходимое для процедур.

В том, что он утаил тот приступ, не было ни удалства, ни мальчишества. Его в тот год и сверху, и снизу трясло — те и другие чересчур настойчиво заботились о его здоровье, и в этих заботах Николай Зиновьевич не без основания усмотрел попытку отправить его на пенсию. А на пенсию, надо признаться, не хотелось. Помимо честолюбивого упорства было другое, что заставило Николая Зиновьевича всеми способами держаться на директорской должности: он сам себе дал слово устроить будущее сына, а потом уж уйти. Он с полгода терпеливо сносил обходительные намеки на уход, и не напрасно — от него надолго отстали.

Но, оказывается, радость иногда, как и не радость, идет сердцу поперек. Выдержав то, что Николай Зиновьевич называл борьбой, сердце сплеховало. И, хотя он еще тянул почти год, дальше стало неважно. Николай Зиновьевич послушался полковника и сам — правда, прежде он уверился, что у Игоря выходит все так, как он думал, — по доброй воле принялся хлопотать об уходе с работы. Проводили его как надо — со всякими почестями, подарками, с похвальным словом.

Какое-то время Николай Зиновьевич ходил сам не свой, в конце концов смирился с новым положением, даже рассердился: чего это он так? Чего унывать, поживи, батенька, для себя.

Для спокойной жизни, казалось, у него было все. Он, по его мнению, сделал немало, чтобы быть довольным собой. Своя жизнь виделась ему достойной того, чтобы она была описана, и Николай Зиновьевич, предварительно договорившись с издательскими работниками, сел за книгу воспоминаний. Сначала книга не шла, и не только потому, что не доставало литературного навыка, а по гораздо более серьезной причине.

В ряду событий, которые полно или частично должны были войти в воспоминания, попадались явно не подлежащие оглашению. И тогда Николай Зиновьевич лишний раз удивился изворотливости ума человеческого, в данном случае собственного, научившегося управлять памятью так, что многое из того, чем Николай

Зиновьевич мог остаться недовольным, не выходило наружу, продолжало лежать в глубоких тайниках.

Только одно никак не шло из ума: пора размовки и расставания с Еленой. Смутная пора. Елена была его женой, и, хотя Николай Зиновьевич состоял после в браке с другой женщиной, он, так и не привыкнув к ней, в воспоминаниях своих обходил последнюю женитьбу. Вот и получалось: о том нельзя, об этом тоже... Николай Зиновьевич любил Елену, она любила его и — грех в такой час говорить неправду — ни за что не ушла бы от него, не отрекись он от того, что составляло смысл его жизни. Николай Зиновьевич сейчас ясно понимал, где была его собственная вина, где чужая. Вину, оказывается, только до поры до времени можно свалить на другого, потом она, выждав срок, все равно найдет человека, спасу от нее нет. Ведь в ту пору, когда науку, едва начавшую свой путь, объявили лженаукой, Николай Зиновьевич очутился среди тех, кто недолго сопротивлялся этому, даже с готовностью согласился с этим. Чего скрывать, он поддался страху, когда началось поголовное отречение от "лженауки", и без особого нажима, а лишь желая скорее переключиться на что-нибудь другое, что сулило ему успех — коротка все-таки жизнь, — отказался от исследования, которое вел в соавторстве с другом. Хотя нет, не так было. Как все же неправда живучее правды — мягко стелет, подкупаяще нежно пеленает. Если по совести, тогдашний нажим сделался общественным мотивом его отступничества, подспудная же идея нового выбора состояла в другом. Чего скрывать, не в его натуре было прозябание, и от одной только мысли о безвестности и мученичестве он внутренне содрогался, как если бы ему выпало быть заживо погребенным. Да, это уже природа, попробуй переставь за одну человеческую жизнь те знаки, порядок которых устанавливался тысячелетиями. Тайные знаки те, переселяясь из одного живого в другого, из отца в сына, сотворяют характер и нрав. Яблоко от яблони...

Нет, не с его, Николая Зиновьевича, характером можно было держаться в тени. Друг его — Николай Зиновьевич не называл его по имени даже про себя — устоял, но сразу пропал из виду и существовал, конечно, долгие годы в сто раз хуже его, Николая Зиновьевича. Тогда-то они и поссорились с Еленой, и она ушла, ничего не взяв с собой, кроме маленького Игоря. Так на десять с лишним лет судьба разлучила его с сыном, с женой — навсегда. После ее неожиданной кончины

Николай Зиновьевич с согласия родителей Елены забрал Игоря к себе. Что и говорить, на долю Николая Зиновьевича тоже выпадали немилости... Но то было давно...

В последнее время только и делал, что заботился, чтобы хоть у Игоря все шло гладко. Он хотел сыну добра, посоветовав пригласить Еранцева к себе, устроить и обнадежить, иначе тот мог стать серьезной помехой на пути Игоря.

А между тем сын, оказывается, носил за пазухой камень, чтобы кинуть им в отца с такой расчетливостью, на какую способен только очень близкий человек, хорошо знающий, куда целиться. Да, напомнив о письмах, сын попал в него до того верно, что у Николая Зиновьевича не было на него даже обиды, был только бередящий страх: неужели он сам виноват в бессердечии сына? Ну, были письма... От них, преисполненных либо безрассудного негодования, либо беспощадного смеха — Елена, вспоминая молодость, когда они сошлись и поклялись друг другу в любви до гроба, издевалась над ним и собой. — Николая Зиновьевича, бог свидетель, самого не раз мучила совесть. И все-таки мало ли что пишут в письмах и что можно было ждать от женщины, которая в каждый свой шаг вкладывала столько гордости и своеволия, что их Николаю Зиновьевичу хватило бы на годы!

Однако хватит. Николай Зиновьевич, поймав себя на мысли, что начинает в горячке ворошить прошлое, приостановил раздумья. Значит, не все, далеко не все, что сделано, можно измерить обычной человеческой мерой и надо, отбросив совесть, исходить не из того малого или большого, справедливого или несправедливого, что сделано для трех-четырех близких людей, а для блага всех. В этом случае он прав, тысячу раз прав и напрасно винит себя во всех грехах, ему следует думать о том хорошем и добром, что он посеял. Ему есть чем гордиться.

На счету у него разных лекарственных препаратов было много. С полсотни названий. Им лично и с соавторами разработанные и внедренные в медицинскую практику, лекарства те спасли немало народа. Он и на себе испытывал кое-что новое, правда, в ту самую пору, когда только-только занялся фармакологией.

Так что чист он и упрекать его не в чем...

Вот так-то! Вокруг стало светлее. Дыхание выровнялось, и он успокоенно отметил, что ночь уже на исходе, скоро начнет светать. Надо ли бояться того, что

принесет с собой белый день? Теперь главное — выдержать до утра, чтобы можно было предстать перед людьми. На миру, как говорится, и смерть красна.

Но успокоение было недолгим. От новой мысли о том, что будет с Игорем, он опять встревожился. Он понял: все, что он бережно прятал даже от самого себя, все, связанное с тем временем, полезет наружу и до последнего дыхания будет властвовать над ним.

То, что прежде давало надежду на искупление — больше добра, меньше зла, — теперь, в час исповеди, никуда не годилось. Кто знал, что казавшийся очевидным в суете жизни перевес этот — большой груз перетягивает меньший — окажется обманом?

Несправедливо и жутко чувствовать, что ты бессилен изменить прошлое, которое уже исчерпано до днышка, а времени впереди, чтобы начать жить по-новому, нет. Откуда у человека эта надежда на чудо, когда он до последнего мгновения, пока не помрачнеет сознание, не верит, что пришел его конец?

Ну, а если бы тогда ему, еще молодому, довелось понять, что он смертен, что перед концом придет желание очиститься, интересно, как бы пошла тогда его жизнь?

Почему, по чьей воле попали на глаза Игорю письма? Ведь, кроме них, если не брать людской молвы, а она, известно, со временем стареет и умирает, как и люди, кроме этих писем, нет других доказательств того, как он поступил тогда, кем был, с какой целью делал то или другое. Игорь нашел их, прочитал. Давно? Недавно? Он молчал. Одно это уже страшно. Значит, отчуждение началось еще раньше, и словесные напоминания Николая Зиновьевича о кровной связи между ними, отцом и сыном, отдаляли от него Игоря все больше и больше. Хотя и не было скандальных размолвок, уже ничто не связывало сына с отцом. Все тихо, с виду благопристойно. Но один грех Николай Зиновьевич за собой признал — обделил он лаской сына, еще и по этой причине чувствовал себя перед ним должником. Платил — тоже грех! — не отцовской любовью, а деньгами, не спрашивая зачем. Он не позволял себе мелочиться в отношениях с единственным сыном. Уйдя на пенсию, не сразу отвык от прежнего, но, несмотря на то, что средства были уже не те, давал сыну столько, сколько тот просил.

Выходит, зря старался. Для сына, выходит, он был всегда лишь дойной коровой, не более. Он и раньше догадывался об этом, но его утешала другая догадка: не у

него одного такой сын. Но, когда месяца полтора назад Игорь попросил три тысячи рублей, он испугался. Он попытался узнать, зачем Игорю деньги. Сыновний ответ был — ни о чем не спрашивать. Он, Николай Зиновьевич, ничего не видел, не слышал. Так надо, сказал Игорь. Дрогнул тогда Николай Зиновьевич — понял, что сына он не уберег, мало того, потерял. Помимо всего, была еще одна, можно сказать, не самая последняя забота: близилась защита Игоря. О себе, о своих делах Николай Зиновьевич уже не думал. Он со стыдом отметил, что начал внутренне опускаться — от него прежнего, отягощенного важными заботами, остался один только внешний вид. Но мечта вернуться в свое привычное русло — дайте только срок и пусть только устроится Игорь — в нем еще жила.

Оставалось ждать. Он надеялся, тянул до последнего. И вот дождался.

Николай Зиновьевич уставился на засиневший проем окна, на черную раму, на верхний угол ее, затянутый серебряно игравшей в свете лампы паутиной.

Мысль, опять расстроившая его, касалась Еранцева — живо припомнилась вчерашняя сцена, когда Михаил, видно было, притворился пьяным в доску и, проходя мимо, всего на одно мгновение показал глаза. От его напускного хмельного куража Николай Зиновьевич тоскливо сжался. Он знал одного Еранцева, тот заходил к ним смиренным школьником с запавшими, бескровными щеками. Затем, спустя много лет, — подчиненным сына, благодарным Николаю Зиновьевичу и Игорю за доброе участие. Вчерашний Еранцев его поразил: не было в нем прежней робости, в нем, хотя играл он старательно, сквозила прямо-таки осязаемая воля, на которой держится иной экспериментатор. Этого удивительного, не так уж часто овладевающего человеком состояния Николай Зиновьевич не заметить не мог.

И у него, хоть он, по его же собственному мнению, не хватал с неба звезд, бывали минуты, часы вдохновения, когда будничная цепь мыслей, привычек, желаний обрывается, приходит раскованность, безоглядная дерзость и в возбужденной, по-детски неосторожной, зато чистой и посветлевшей голове будто само собой рождается единственно верное решение, иногда до того простое и кажущееся не своим, что можно подумать, нашептал кто-то со стороны, если не "сверху".

И вот то, до чего Николай Зиновьевич не дошел долгим встревоженным умом, раскрылось вчера в ка-

кие-то доли секунды, когда Еранцев после неожиданного, похожего на бред саморазоблачения "сбил человека" добавил мимоходом: "Так надо..." Не было, кажется, такого черного озарения в жизни Николая Зиновьевича, лучше бы он был глух, слеп и ни о чем не догадался. Впервые озарение, молнией высветив все хитросплетения полуторамесячной Игоревой тайны, не дало душе ничего, кроме тоски и страха. Не Михаил Еранцев, а Игорь Арцименев, сын его, совершил преступление.

При этом воспоминании голову ему опять стиснуло, и он, перебарывая сердцебиение, стал искать в памяти что-нибудь такое, чем можно отманить тягостные мысли.

И тут, как на подмогу, долетел откуда-то первый отчетливый звук. За домом загудело, блеснула листовой близко стоявшая к окну липа. Должно быть, прикатил грузовик.

Дом быстро пробуждался ото сна. Захлопала дверь, кто-то, должно быть, направляясь за водой, громко звякал ведром. Другой заполошно крикнул: "Подъем!" — и тяжело, со вздохами заходил старый пол.

Дверь отворилась, показался заспанный Мирон, долго разглядывал комнату, кровать. Он уже понял, что стряслось с Николаем Зиновьевичем, но сделал вид, будто не заметил. Крепился и Николай Зиновьевич. Он только жестом дал знать Миرونу: дела неважны, иди охотиться без меня.

Мирон ушел.

Прислушиваясь к стуку и гомону, Николай Зиновьевич пытался угадать, поднялся ли Игорь, а если поднялся, не идет ли к нему. Он, напрягая шею, поворачивал, подставлял людскому шуму то одно ухо, то другое и так промучился неизвестно сколько времени, пока все не затихло. Покуда он изводил себя напрасным ожиданием, окно совсем посветлело, слышались птичьи голоса. До солнца было еще далеко, по прозрачному куску неба, которое проглядывало сквозь листовую, можно было судить, что день наступит погожий.

После долгого затишья где-то близко раздались шаги, и Николай Зиновьевич внимательно прислушался к ним. Незнакомые. Шаги твердые, но мелковатые, должно быть, женские, остановились за дверью. Николай Зиновьевич поправил на себе одеяло, провел ладонью — хоть так освежиться — по осунувшемуся, помятому лицу.

— Войдите, — отозвался он на осторожный стук.

Вошла Наталья.

— Может, чего надо?

— Воды, пожалуйста, — сказал Николай Зиновьевич. — Ребята ... уехали?

Наталья держалась скованно, и Николай Зиновьевич догадался, что, видно, смотрит на нее сурово, улыбнулся. Едва Наталья отправилась за водой, появилась Надя, тоже спросила, не нужно ли чего.

За окном светлело, желтые липовые листья потемнели, словно наливались кровью.

Николай Зиновьевич опять, теперь уже в одиночку, заулыбался, слушал, смотрел, и постепенно к нему пришла уверенность, что он перетерпит это самое суматошное время утра — сердцу, помнил он, особенно трудно приноровиться к этому промежутку между ночью и днем, — а уж дальше, когда выстоится день, сам бог велел справлять жизнь. Он даже отказался от прежнего желания вызвать врача. Если пойдет так, потихоньку сам утвердится на ногах, сядет в машину и медленно, как улитка, двинется домой.

Наталья принесла воду. Он пригляделся к ней, за простоватой, здоровой красотой ее угадывалась терпеливая, с малолетства привыкшая ко всякому труду деревенская женщина. И удивительно, что она, несмотря на кажущуюся неотесанность, сейчас ни взглядом, ни жестом не выказала жалости или снисходительности, все делала так, как если бы давно присматривала за больным стариком. Дав Николаю Зиновьевичу попить, Наталья поправила подушку, одеяло, посмотрела вопрошающе — чем еще могу быть полезна? — и после того, как он сказал глазами "Благодарю!", вышла из комнаты.

Николай Зиновьевич недолго оставался один. Постучавшись, вошла Надя. Эта тоже спросила, не нужно ли чего, но ее сравнить с Натальей было невозможно. Новая помощница, чувствовалось, едва справлялась с каким-то непонятным счастьем — оно, видно, свалилось на девчонку недавно, — и сострадание, проступавшее сквозь это ее ликующее чувство, было по-детски недолговечное, готовое от первого одобрительного знака исчезнуть. Николай Зиновьевич улыбнулся.

Ничего, ничего, подбодрил себя Николай Зиновьевич и радостно глядел на стоявшую у изголовья Наденьку.

— Вот, на охоту приехал, — как бы оправдываясь, сказал Николай Зиновьевич. — Не рассчитал силы, старый олух.

— Вам теперь лучше? — все еще робея, спросила Надя.

Он кивнул.

— Вот ключ от машины, — сказал Николай Зиновьевич. — Отопри, принеси блокнот и авторучку...

Надо было что-то предпринять. Помочь Игорю и Еранцеву.

Мысль написать давнему приятелю воодушевила его. И, хотя он уже давал зарок не злоупотреблять высокими знакомствами, сейчас был убежден, что поступает правильно. Одно тревожило и огорчало: не ровен час, сгорит сердце...

День еще только нарождался, на востоке светало, пока бескровно очищалось от сумерек небо. В лугах белесо покоились туманы, там, за прудами, на болотах нутужно скрипел коростель. Где-то за Прудыщами слабо шелкал пастуший кнут, а еще дальше, должно быть, в Должищинском лесу хлестко ударил выстрел.

Наталья, не зная, чем заняться, то принималась причесываться, то начинала ломать оставшийся от вчерашнего сушняк. Она села на скамейку под навесом, исподволь смотрела на появившуюся Надю. Тоненькая, длинноволосая, Надя неспешно, важничая, отперла дверцу машины, взяв что-то, снова скрылась в клубе.

От подступившей к горлу обиды Наталья решила тихонько поплакать. Не успела проронить слезу, из-за клуба вышел, бодро бухая сапогами, Шематухин.

— Ой, Гриша! — охнула Наталья, сразу забыв о своих горестях. — Чтой-то теперь будет?

— А что? — подходя, спросил Шематухин. — Ромка, племянник мой, вчера не отпустил. Мотоцикл отогнал в Каменки, зашел поглядеть, как в доме Сергея Филипповича. Ромка-то и уцепился: мне, говорит, страшно одному. Заночевал. А эти, пассажиры, уехали? На охоту?

— На охоту, — подтвердила Наталья. — Ой, Гриша, тут после тебя Фонин был. Про деньги сказал.

— Ну и шут с ним, — удовлетворился Шематухин. — Деньги, Наталья, найдем. Слушай, ты говорила, будто мать хату продала. Даст она мне взаймы, а? Я, сама знаешь, отработаю... Костями лягу, отдам. Хоть ты мне от ворот поворот, замолви словечко. На колени не стану, не в моей натуре...

— Знаю, Гриш, отдашь, коли так говоришь... Никуда не денешься, — почему-то глядя мимо него, на лес, сказала Наталья. — Я скажу матушке, она еще не старая, подождет.

— Ей-бо, Наталья, я еще мильон отхвачу...

— Да наплевать на деньги!.. Не в деньгах счастье! — отчаянно выкрикнула Наталья. — Ты давай в лес беги! Присмотри за этим... Ну, знаешь!

— Эх, Наталья! — Шематухин кинул на Наталью изумленно-жалостный взгляд. — А ты стала покрасивше! Что с человеком любовь делает, а! Было бы у меня ума побольше... Я бы с тобой!.. "Не везет мне в смерти, повезет в любви..." Несправедливая песня... И-эх!..

Уже под навесом, глотая холодный чай, Шематухин настроился на тревожно-веселый лад.

— Не дам в обиду твою Еранцева! Цел будет... Если чего, собой загорожу! — сорвав пуговицу, висевшую на одной нитке, он воровским бежком бросился к малиннику, потом показался с ружьем, сизо отливающим на солнце воронеными стволами. Крикнул: — Не печалься, Наталка! Суду все ясно!

— Тише ты, дьявол!.. — Наталья смотрела вслед Шематухину, который все быстрее и быстрее поднимался на взгорье, удалялся в сторону леса, где разрасталась, малиново густела заря.

Лес, близкий и дальний, цепенеющий в дреме, все явственнее проступал из рассветного недолговечного тумана. С появлением в небе розовой оживляющей краски листья, еще цеплявшиеся за дерево, становились все ярче, их полупрозрачный цвет был радостен и свеж, как, впрочем, цвет всей умытой, дышащей покоем и сытостью земли. За ближним угорьем в свете все более и более кровенеющей зари темнели лоскутья борового леса, желтые острова березняков, а дальше угадывались поляны, за которыми, казалось, все обрывалось и был край света — лес и небо, сходясь, тонули в набухшем за ночь речном тумане.

Еще зябко и немо было в лесу, нахожена пестрая тропа, по которой накануне прошла в ночную лежку волчья стая и, теперь отрезанная от остального мира трехкилометровым окладом, спала в каких-нибудь четырехстах шагах от расположения стрелков.

Оклад был хорош — шнур с флажками тянулся вдоль просеки, потом, так же видно держась на крепях, поворачивал на тропу, вдоль которой на расстоянии выстрела друг от друга стояли на сосновых лазах стрелки. На том отрезке линии, куда, по мнению егеря Кудинова, пошедшего в сопровождении двух прудищинских мужиков-загонщиков поднимать и тропить волков,

должны были выйти первые два-три хищника, занял номер Игорь Арцименев. Его соседом слева был Мирон со своими собаками, которые на удивление молчаливо и сонно взирали на все вокруг, справа маячил Еранцев. Чувствуя вес бьюксфлонта, свыкаясь с ним, Арцименев прикидывал возможные направления выстрелов, еще раз поглядел на Мирона, наставлявшего выжлеца, и вдруг испытал к себе неожиданную неприязнь: за столько лет не узнал, как звать Мирона по отчеству.

Еранцев, хоронясь за толстой сосной, тоже нервничал, нетерпеливо ждал, когда загонщики поднимут стаю. На растрепанные его волосы сверху сыпалась какая-то шелуха, и он, запрокинув голову, разглядел на ветке невзрачную пичугу, выклевывавшую семечки из сосновой шишки. От бодрого, жизнерадостного вида пичуги, занятой ранним завтраком, Еранцеву стало лучше.

Помня красного волка, он напряженно вглядывался в глубь леса, и ему тут и там стало мерещиться рыжее пятно. В ожидании стаи он снова и снова вспоминал тех давних волков, которые неспешно бежали высоким берегом, когда он, мальчонка, шел по речному льду в соседнее село в школу.

Загораясь чувством стыда, будто провинился перед волками, Еранцев повесил ружье на сук, боком двинулся к шнуру с флажками. Надо, решил он, пока не начали тропить волков — еще не слышен стук палок, — сорвать какую-то часть шнура и спрятать. Стараясь разгадать, каким путем попытается вырваться из оклада стая, Еранцев крутил головой из стороны в сторону, потом остановил взгляд на поросшем кустарниками и остробокой осокой овражке — если положить на предчувствие, не иначе как по нему должен двинуться красный волк.

Егерь Мирон тоже ждал, но был спокоен, можно сказать, грустен. Глаза его из-под полусмеженных век смотрели в глубь леса с тихой скорбью. Мирон давно не охотился и низачтошеньки не согласился бы ехать сюда, не появившись с просьбой о помощи профессор Арцименев.

Шагах в шестидесяти левее Мирона стоял Нужненко. Боль тугим обручем стягивала ему голову, и на ум ничего не шло, кроме желания отлежаться в каком-нибудь укромном месте. Хотя Нужненко был из числа тех, кто свою норму водки знает и твердо блюдет ее, вчера в охотку выпил нормы полторы. Отсюда похмельная муть. Мысль о возможной стрельбе по вол-



кам — было маловероятно, что стоя выйдет под его выстрелы, — не тяготила его, он был невозмутим, он знал: марку выдержит. Он стоял неподвижно, не рискуя запрокинуть или повернуть голову, и только слегка сгибал и разгибал левую руку, будто взвешивая зажатые в ладони успокаивающе тяжелые патроны с картечью.

А вот Чалымобу, стоявшему следующим номером после Нужненко, больше всего хотелось поменяться с кем-нибудь местами: ему стало казаться, что основная

сила волчьей стаи поперет на него. Он страшился ружья — а ну как разнесет стволы от усиленного заряда! — страшился любой мелочи, которая в обстановке этой распроклятой самодеятельной охоты может стоить жизни. Неожиданно вспотев, Чалымов скинул с себя брезентуху и тут по особой, пронзительно напряженной тишине догадался, что скоро все начнется и он уже не успеет ничего предпринять: ни поменяться местами, к примеру, с Лялюшкиным, ни даже уйти отсюда прочь.

Лялюшкин, очутившийся, по его мысленному определению, где-то у черта на куличках, был в обиде — загнали же его, на самом деле посчитав ни на какое серьезное дело не способным. Что ж, пускай будет так, как они думают, он не тронет волков, как бы близко те ни подошли.

Зарядил оба ствола патронами с утиной дробью, ему достаточно при появлении волков пальнуть в воздух. Однако долго он не выдержал, на душе стало мучительно: зачем выставять себя на потеху? Наоборот, надо срезать пару волков, иначе окончательно засмеют, и Лялюшкин, начиная с волнением прислушиваться к звукам растревоженных чащоб, выгреб из кармана патроны с картечью.

Меж тем с накрытого туманом поля в лес один за другим вбежали двое: Шематухин и Аркаша Стрижнев. Оба шли до этого, ничего не видя перед собой, держась автомобильного следа, затем, когда он кончился на опушке, — здесь машина развернулась и покатила, должно быть, в Каменки, — пробивались наугад.

В лесу Шематухин побежал резвее, сильно шлепая успевшими отсыреть сапогами.

Аркаша Стрижнев, утром отказавшийся ехать на охоту, тоже побежал. Теперь и он, намаявшийся на разжиженном поле, неся не помня себя. А торопиться было с чем. Когда час назад Аркаша с опущенной, словно бы повинной головой вошел в сельсовет, чтобы попробовать дозвониться в город, — хотел сказать несколько добрых слов матери, — там была только уборщица, принимавшая из райцентра телефонограмму, смысл которой мог бы распалить даже закаменелую душу.

Депеша гласила: у отстрелянных вчера волков, согласно результату лабораторного анализа, возбудителей бешенства не обнаружено. Ввиду такого очевидного факта облаву на хищников, оставшихся в живых, отменить до особого распоряжения.

Аркаша, внутренне ликуя, продирался сквозь кусты. Обутка, казалось, горит, голова вот-вот отвалится, но малюсенький клочок бумаги с неразборчивыми каракулями — приказ, записанный старушкой уборщицей, — утраивал силы. К горлу подкатывало удушливое отчаяние — вдруг опоздает? — и Аркаша перебарывал его, но что делать с ногами, будто каждая в огненной ступе, хоть садись и плачь!..

Лес впереди был сквозной, с мелким чистым подлеском. С земли, ровно покрытой хвойной подстилкой и палыми листьями, все заметнее снимался остаток тумана, и то сосна, то береза, одинаково темные, сочащиеся сыростью, упрямо и гордо упирались верхушками в посветлевшее небо с той лишь разницей, что сосна и вверху была тонка и густа, а белоствольная береза грустно шевелила пустыми ветками, будто стыдилась своей наготы.

Пока лес молчал. От загонщиков, ушедших с Кудиновым, ни слуху ни духу. Впереди, за гнилыми колодинами, мерещились тени. Уж не крадется ли волк?

Нет, это пугливо и немо глядятся из глубины оклада лесные сумерки. Парной ветер, настоящий на лесной мешанине, треплет флажки; все остальное застыло, в небе, казавшемся безмерно глубоким, играла, все больше уплотняясь, позолота...

По-солдатски зорко следил за всем Егор Митрофанович Тырин. Номер его, следующий после еранцевского, был подобен снайперской точке — с него, расположенного над крутиком, лес проглядывался хорошо. Егор Митрофанович, ворчавший всю дорогу до леса — что за божье наказание, какой из него охотник? — все же удовлетворился осмотром своего места; он сразу смекнул, что волки не такие дураки, чтобы лезть на крутизну, откуда получить пулю в лоб проще простого.

Но чем больше тянулось время, тем сильнее им овладевала тревога, какую Егор Митрофанович, младший сержант, испытывал в давние фронтовые годы, когда рота его готовилась к отражению вражеской атаки. И когда вот так, как сейчас, оттягивалось начало схватки, Егор Митрофанович медленно озирался по сторонам, чтобы видеть лица соседних бойцов. И сейчас он, вспомнив ту незабытую привычку, посмотрел в сторону Еранцева и вдруг обмер — того на прежнем месте не было!

Егор Митрофанович, будь он молодым, как тогда, в окопах, присвистнул бы — человека на месте нету, — но сейчас изо рта его вышел шепелявый, похожий на

всхлип звук. Потом уже там, за овражком, шевельнулось что-то темное, подкрадывалось к линии флажков. Что такое? Что надумал в момент, когда вот-вот все поднимется, добрый человек Еранцев? Дело ли — высовываться, не предупредив никого?

Пока Егор Митрофанович строил догадки, в лесу возникло движение, немного погодя раздались выстрелы. Егор Митрофанович ахнул, быстро скатился по песчаному обрыву вниз — убьют Еранцева! — потом, бросив мешавшую ему берданку, пополз меж сосен. В чащобе грохотало не переставая. Наконец он увидел Еранцева, яростно выдергивавшего одну крепь за другой, и разбежался из последних сил. Когда Еранцев запоздало обернулся на топот ног, с ходу сшиб и накрыл его телом.

— Тихо, сынок! Это я... — выдохнул Егор Митрофанович, почти теряя сознание.

Средь оклада, в овражке, стояла глухоманная тишина, нарушаемая лишь осторожным даже во сне волчьим дыханием.

Матерый, плохо спавший ночь, давно уже почувал, что поблизости в лесу объявились люди, но бить тревогу и сниматься с лежки у него не хватило духу. Он лежал рядом с волчицей, до того исхудавшей, что она покоилась теперь почти вровень с землей. Волчица умерла на исходе ночи. Не найдя силенок пошевелиться, она поскребла лапой листья и, когда Матерый придвинулся к ней, ткнулась ему в шею и затихла. Теперь тело ее остыло, к остекленевшим глазам липли какие-то зеленые, неприятно подвижные мушки, а высоко над головой, тоже привлеченные поживой, нетерпеливо посвистывали какие-то пичуги.

Вдруг со стороны реки ветер принес резкий запах человека. Матерый ворчанием поднял остальных на ноги, пристальнее принялся к воздуху, сомнений не осталось — к лежке подкрадывались люди. Наконец в подтверждение этой догадки донесся глухой стук, следом за ним второй, третий...

Несколько волков и волчиц, взъерошив загривки, выжидательно смотрели на Матерого, который, казалось, вовсе не собирался покидать это место, потом, не выдержав, первыми метнулись прочь от звуков, раздававшихся совсем близко. Прибылые, не зная, что делать — мчаться тем вслед или положиться на вожак, — вертелись вокруг Матерого. Растерянно поозиравшись, за первыми убежавшими кинулся волчонок.

Матерый напружинился — пора. Прощально оглядев

волчицу, неторопливо направился на угор, убедился, что два перярка и остальные прибылые увязались за ним, выбрался на ровное.

Удары палки о дерево — шли загонщики — звучали все чаще, возбуждали страх, но надо было удержаться от безрассудного бегства.

Выстрелы грянули против ожидания не спереди, а сбоку, за широкой ровной чистинкой. Сухой ружейный перестук, словно завязнув в тесноте, не распространился далее влево, и потому Матерый мгновенно смекнул, что там есть какая-то отдушина.

Он свернул с тропы и, высматривая, где погуще подлесок, где потолще дерево, стал забирать левее. От дерева к дереву. Уже близко линия флажков, вкрапленных, как ягоды брусники, в отвесную полосу света, повторявшая все изгибы тропы, по которой можно будет лететь до темных, непроходимых чащоб. Чем ближе становилось до линии оклада, тем тяжелее делалось тело Матерого, но, чтобы до конца вести за собой молодняк, который заметался при виде флажков, надо было ускорять и ускорять бег. Матерого, напряженного до звона в голове, отделяли какие-то пятьдесят шагов от тропы. Когда он почувствовал запах людей, менять направление бега было уже поздно и ни к чему — он заметил, что какую-то часть леса люди забыли офлажить. Он разогнался, за ним по пятам, ничего не соображая, а только слепо доверяя Матерому, неслись перярки и волченята.

ГОД НЕСПОКОЙНОГО СОЛНЦА

1

Мы медленно спускались вниз, пересекая ослепительно четкую границу света и тени тремя ступеньками ниже входа в тамбур. Пока начальник смены при свете фонарика осматривал пломбу на бронированной двери, спина остыла, отдав тепло бетону близких стен. Быстрота, с которой произошла эта смена света и полумрака, тепла и холода, на этот раз ошеломила меня — появилось и не исчезало странное, животное предчувствие опасности. Не потому ли, что в эту ночь много читал, не выспался и от этого шалят нервы? Прислушиваясь к звуку стальных клиньев открываемой двери, я внезапно подумал о вероятности побега из такого места, как наше. Если сказать об этом вслух, ребята приняли бы меня за психа, но ведь они не знают того, что знаю я.

...Преступник бежал поздней ночью, пользуясь суматохой, вызванной приездом в колонию строгого режима высокой комиссии. Охрана обнаружила побег полчаса спустя, когда беглец успел углубиться в тайгу. Погоню возглавил лейтенант, которому было приказано уничтожить преступника в случае, если тот будет сопротивляться. После шестичасового преследования лейтенант с сержантом и стрелком вернулись назад и составили рапорт, где коротко описали подробности перестрелки с беглецом и место захоронения трупа...

Но мне уже некогда — дверь неслышно подавалась, запахло резиной, спиртом, и мы ввалились в чистую зону. Эксперимент был назначен на девять ноль-ноль, и мы торопливо разобрали комбинезоны со своими инициалами, оделись и пошли в пультовую. Там было ровное, мягкое освещение, акустика глухого подземелья, заглушающая шаги и голоса. Мы работали в

пультовой легко, без суетоки, повинаясь ритму, который захватывал нас перед пуском реактора. Не напрягая слуха, мы улавливали привычные шумы, и сам пятигранник помещения с черными и белыми пятнами отделки, строгие геометрические формы пульта упрощали наше мышление, требуя лишь четкого повторения знакомых действий.

И мы сделали все, что надо, за полчаса и ждали, когда начальник смены включит дозатор, чтобы послать в реактор остаток азотнокислого урана, недостающего для критической массы. Но он затянул с расчетами, карандаш ломался, и он раздраженно чинил его маленьким финским ножом. Мы понимали, что он не в форме после вчерашних именин, и молча наблюдали, как красное крошево карандашного стержня сыплется на белый, сверкающий пол. Славка Курылев сидел к нему ближе всех и участливо, почти страдальчески заглядывал на разостланную перед шефом бумагу. Славка был в опале и не иначе как искал способа загладить вину: накануне Первомая взял в кладовке дюжину резиновых перчаток, наполнил гелием, и они на глазах хозяйственников улетели в дальние края. Грузоподъемность их, видимо, была достаточно велика — на второй день после запуска шеф не нашел свои калоши и два рулона туалетной бумаги, забытые в раздевалке. Славку лишили прогрессивки за месяц.

Кстати, начальника смены мы называем вовсе не шефом, а Капитаном. Почему? На это никто бы не ответил, Капитан — и баста. Иногда он стоял в некотором отдалении от пульта, широко расставив ноги, с поднятым воротником комбинезона, следя из-под ладони за всеми приборами сразу, и напоминал капитана контрабандистской шхуны, везущей запретный груз. Но это лишь предположение, что его могли так называть за подобную позу. А вообще капитан — производное от итальянского слова "голова".

Наконец Капитан неуклюже встал и, подняв воротник комбинезона, шагнул к пулту. За метровой бетонной стеной коротко прогудели насосы дозатора. Раньше, когда я только пришел сюда, момент пуска вызывал у меня иллюзию соприкосновения с чудом, и она сопровождалась недолгим пьянящим затмением в голове, обостренным чувством своей уязвимости; но потом все проходило, и только горели уши и шумело в висках. Лучшее успокоительное — расчет: толщина бетонной защиты в пределах нормы, сигнализация надежна. И потом, какой идиот мог бы пообещать мне,

что я буду абсолютно невредим, работая сотрудником лаборатории ядерной безопасности?

Так я думал теперь, иначе никак не избавиться от мысли, что где-то неладно. Свет и тень у входа в тамбур — резкие, словно при вспышке автогена, когда невольно поднимаешь руку, чтобы защитить глаза, черный пульт и белый, сияющий пол — и я теряюсь, как человек, застигнутый среди дня ночью, наступившей внезапно, минуя привычные сумерки. Надо было бы пройтись, сделать несколько шагов, но я лишь обернулся и увидел в углу, возле аквариума с рыбками, Славу Курылева. Он сидел на краешке стула, почему-то лицом к стене, и в его позе было больше страдальческого, чем до этого, когда он подлизывался к Капитану.

Тогда я толкнул соседа, и мы уставились на Славку, как если бы он снова нашкодничал, но еще скрывает это. Он заметил, что мы глазеем на него, покосился и сказал измученным голосом:

— Заткнитесь! Клеопатра рожает...

Так он сказал, хотя мы не произнесли ни слова.

Более сенсационного сообщения не могло быть. Мы сразу сделались крестинами и остолбенело смотрели на подсвеченный сзади столитровый аквариум.

— Когда начались схватки? — рассеянно спросил Капитан.

— А кто знает, — сказал Славка, совсем сбитый с толку.

— Взгляни, может, того... конец? — сказал я, вставая и направляясь к аквариуму.

Клеопатру невозможно было спутать с другими самками, и я узнал ее, как только она выплыла из крохотного подводного грота, расслабленно двигая оранжевым хвостом. В стекло, кроме моего, уперлись еще чьи-то носы, но Клеопатра и не собиралась прятаться, а под ее брюшком плыли почти прозрачные, новорожденные мальки.

Мне хотелось посмотреть на нее и сверху, но я отшатнулся назад — черный пульт отразился на боковом стекле, чего-то не хватало в этом отражении, и я, оставив ребят, пошел к приборам.

— Кружку пива — кто скажет, мальчик или девочка, — слышалось позади.

А я видел на экране телеприемника мутное, водянистое пятно вместо изображения реакторного отсека.

— Какая из тебя повивальная бабка! Отвернулся. А если бы потребовалось кесарево сечение...

— Я давно заметил, что ты часто заказываешь рыбные блюда... Думаю, от недостатка фосфора — без него мозг функционирует слабо...

Я понял, что реактор пошел в разгон. Перо самописца, нарисовав на ленте острую, как сосулька, кривую, вышло за шкалу и коснулось чеки подъема аварийных стержней. Тогда почему не сработала сигнализация? И я на всякий случай включил дублирующий рубильник на щитке питания колоколов громкого боя.

Бежал я последним. Я видел впереди белые пятна спин, взмахи рук в белых рукавах и не отставал от них. Мышцы ног работали как бы сами по себе, и если было что-то объединяющее тело и мозг — это кровь, бурлящая и ищущая выхода наружу. Грохот колоколов, красный размеренный свет сигнальных ламп и пустота — хриплый крик, летящий вслед, мигающие, воспаленные глаза.

И я бегу к настезь распахнутой двери чистой зоны, за ней тамбур, круто уходящий вверх. Он кажется длинным, и в самом конце, в прямоугольном сечении, пылает маленькое солнце, низвергая на ступеньки жаркие лучи. Только почему тамбур пугающе пуст?

Я стою у порога, и шум, бьющий мне в спину, не громче ехидного смеха, который вырывается из беззубого, пустого рта. Закрыв дверь, я поворачиваю рукоятку, и стальные клинья запоров неслышно входят в пазы. Шаги мои ровны и четки, я иду в пультовую и выключаю вентиляторы.

Берусь за рубильник сигнализации — замолкают колокола, гаснут красные лампы. И тихо в пятиграннике пультовой, по-прежнему наполненной мягким светом, сияет черно-белая отделка. Ни дыма, ни пламени, ни посторонних запахов — все, как было. Но что-то изменилось, и меня словно пронизывает бесцветный, неяркий зной.

И снова кровь клокочет в артериях, норовя затопить мозг, и, пока мне повинует тело, я иду к двери реакторного отсека и отдраиваю ее. Там прохладно, тихо, и только у ламп, заключенных в металлические сетки, плавает желтый, грязноватый пар. Я иду по узкой эстакаде, спускаюсь вниз, в шахту между днищем атомного котла и бетонной площадкой. Вижу смутно посвечивающие аварийные стержни — гидравлика не сработала, и они оказались в исходном положении. Тогда я кручу маховики насосов руками, следя, как медленно уходят внутрь котла стержни. Когда они

скрываются совсем, я залезаю под них и подпираю плиту отражателя согнутой спиной. Постояв так с минуту, я засмеялся грубым, как кашель, смехом. Потом помутневшими от слез глазами я глянул на железный трап — он вел наверх, где можно найти себе замену. Я подогнул колени, и плита со стержнями чуточку отошла от днища. Я боялся, что едва отойду — стержни упадут, и реактор в несколько миллисекунд снова выйдет на мощность, выбросив сильный пучок нейтронов. И все-таки осторожно выскользнул из-под плиты и взбежал на трап. Но тут же вернулся и закрыл маховики насосов, чтобы плита сомкнулась с днищем.

Спокойнее, братишка. Полчаса назад в качестве успокаивающего аргумента проводил расчет. На то, чтобы добраться до пульта и вернуться, у тебя есть четверть минуты. Итак, на старт!

Я пересек палубу реакторного отсека по идеальной прямой. Слева от двери стоял "голливудский" стул, я схватил его с обезьяньей цепкостью, не перешагивая порога. И метнул его в направлении реактора. Он заскользил по гладким плитам, сворачивая с курса, но я догнал его и толкнул в шахту.

Стержни выпали наполовину, и я опять загнал их внутрь. Стул на винтовой стойке раскрутил и подпер им плиту отражателя.

Теперь, когда все было сделано, я почувствовал слабость и апатию. От реактора уходил неровными шагами, словно был пьян.

Уже в пультовой, бредя мимо аквариума, остановился, припал губами к теплой, слабо пахнущей рыбьей чешуей воде и стал пить. Сначала я втягивал воду, закрыв глаза, но, по мере того как тяжелел желудок, начал открывать их и увидел среди колышающихся водорослей Клеопатру.

Я запустил руку в воду, но она уплыла. Только что я плелся из последних сил, а тут взял аквариум за бока и наклонил его так, что вода плеснулась на пол.

Я увеличил угол наклона, и вода полилась на меня, промокшие штанины прилипли к ногам и захлюпало в ботинках. И задрожал — не от рыбацкого азарта, значит, не спятил, — а потому, что аквариум был тяжел и край стекла вдавливался в живот. И еще я боялся, что захваченные потоком слабые рыбы упадут на пол и разобьются, как елочные. Так я думал, следя, как в дикой сумятице носятся красные и черные меченосцы, обычно уравновешенные и артистичные.

Наконец аквариум опустел, обнажив коричневое, песчаное дно, усыпанное рыбами.

Я собрал их в свой белый чепец.

Идя к выходу, я взглянул на контрольный прибор: мощность реактора упала.

В тамбуре было совсем темно — наверху, у выхода, стояли люди, закрыв собой солнце. Как бы не споткнуться и не упасть, тогда рыбы пропали.

Близко у входа, зажав в волосатом кулаке мокрый носовой платок, стоял начальник здания. Лица я его не видел, потому что солнце светило ему в затылок.

— Что ты там застрял, Тураев? — выпалил он.

— Рыбок ловил... — сказал я. — Там ничего страшного...

Он ничего больше не сказал. Два санитара подхватили меня и повели к автомашине.

Отойдя шагов десять, я услышал его резкий голос:

— Опечатать вход!.. Котлован — в спячку!.. Дозиметристов ко мне!..

Меня втолкнули в "Скорую".

2

"...Пуля попала ему в затылок, но не сразила наповал, а только ослепила. Он обернулся на оставшуюся позади густую чащу и ничего не увидел, кроме быстро сгущающейся черноты. И глухо, тяжело упал на сырую, омытую осенними дождями землю.

Подбежали трое с карабинами, склонились над раненым и долго смотрели на него и молчали, как бы пораженные неприятным открытием. Потом один из них положил оружие на траву, вынул бумажник, в котором лежала фотография, и сказал:

— Это не он...

— Какого же черта он бежал?

— Может, чего испугался...

— Он не выживет?

— Я целился в ноги, товарищ лейтенант...

— А попали в голову..."

Не может, чтобы угол отклонения пули при прицельном огне был так велик. Если предположить, что стрелок не умел обращаться с оружием, то почему пуля не ушла влево или вправо? Или он умышленно использовал силу отдачи? Но как бы то ни было, Дед это

написал, и я могу либо возражать, либо соглашаться. Раньше я бы пропустил это место, не найдя ничего сомнительного, но сейчас прослеживаю свистящие траектории пуль — они летят не по прямой, а повторяют кривизну Земли. Сплюснутые пули плюхаются в лужу около подножия кирпичной стены, за мишенью. Это солдаты учатся стрелять, и от тупых ударов подрагивает слабая майская почва, живой тканью колеблется красная от кирпичной пыли вода.

Я сижу у открытого окна и словно вижу все это, хотя до стрельбища — морская миля. Пулемет крупнокалиберный и работает неторопливо, выпуская пули с ровными интервалами.

Вчера мы ехали мимо самого стрельбища, и звуки массированного огня оглушили нас. Машина вздрагивала и визжала на поворотах, как от частых попаданий. И все-таки мы пробились к профилакторию. Нас выволакивали из машин, как хулиганов из "черного ворона". В приемном покое суетился целый взвод медсестер, они растерзали нас. Раз — нет комбинезона, два — нет рубахи, три, четыре — нет штанов и трусов. Все это летело в пузатый бак с пожелтевшей бумажной наклейкой: "Осторожно — радиоактивность!"

— Знаешь, что такое охота? — спросил меня Славка Курылев, но его повалили и сунули в рот резиновый зонд.

Макаронова куда несъедобнее наших столовских — этот зонд. Глотал его и я. Бледная сестричка принесла в обыкновенном ширпотребовском ведре дистиллированную воду и лила ее в меня.

Где-то на берегу лазурного моря шел симпозиум факиров-профессионалов, и, по мере того как ведро пустело, я думал о них — как-никак они пропускали над распростертыми телами пятитонные грузовики, а йоги — те ложились живыми в могилу. Я думал о родовых муках Клеопатры — она теперь затихла в ведре с водопроводной водой.

Когда поднесли второе ведро, избыточное давление в животе вытеснило из меня все мысли, и я замотал головой.

— А вы поднатужьтесь... — сказала сестричка, еще больше бледнея.

Тогда я отвернулся и пустил струю.

По десять ведер через зонд и клизму — из процедурной нас выводили под руки.

Славка Курылев уже перед входом в палату сказал мне вслед:

— Охота — та же самая пьянка, только в резиновых сапогах...

Одиноко тумкает пулемет, будит во мне охотника — хочется спрыгнуть с подоконника и бежать к солдатам, чтобы дали пострелять. Вчера до самых сумерек солдат ждали мальчишки. Те прошли поздно, повзводно гудя сапогами, а отойдя шагов триста, запели усталыми, голодными голосами. Видно, с мальчишками у них уговор — эти вернулись с картузами, полными золотистых гильз. Делили поштучно, сидя в травах, кому-то расквасили нос — оказался из пятого "Б", который уже выполнил план сбора цветного металлолома.

Постучали в дверь. Вошла медсестра Зина.

— Тураев, в процедурную, — сказала она, держась в тени, чтобы не видно было веснушек. — Кровь на анализ...

И ушла.

Я достал рукопись Деда — дочитал страничку.

"Лейтенант сидел, рассеянно наблюдая, как старшина шарит по карманам умирающего. В его молодом и неопытном уме одно за другим возникали разные решения, но он откладывал их, надеясь найти самое верное.

Он вспоминал выражение лица своего начальника, его голос, который командовал и в то же время просил: сделать все, что надо, гладко, бесшумно. А получилось так нелепо и жутко — преступник убежал, а вместо него умирает другой. Того уже не догнать, даже если бы была служебная собака, а объявлять розыск — значит, все всплывет и станет известно при бывшей комиссии.

— Товарищ лейтенант, документов не обнаружено, — доложил сержант, закончив свое дело. — Вот только моток лески и блесна, полагаю, на щуку...

— И все-таки мы его настигли и убили в перестрелке, — как бы раздумывая вслух, сказал лейтенант.

Сержант понял его.

— Так точно, товарищ лейтенант..."

Я сижу, забравшись на тумбочку посреди маленькой палаты, и смотрю, как ровно наливается чернотой проем окна. Это наступает ночь. Она обманывает сво-

им неслышным, скрытным движением, тишиной. В самом деле она звенит на тысячи ладов, но человеческие возможности ограничены, и я ничего не слышу. Или просто я не хочу ничего слышать, как моторист, который находит тишину, лежа на грохочущем дизеле?

Может, тишина — разновидность милосердия, в которой я больше нуждаюсь, нежели в той, какой окружили меня врачи и сестрички? Но я слышу сейчас удары моего сердца — оно гонит по артериям кровь безымянного донора. Но, как и тишина этой ночи, милосердие обманчиво — я же знаю, чем все кончится. Только два дня продлится латентный скрытый период острой лучевой болезни.

Внизу, у реки, загорается костер, отняв трепещущий, светлый клочок у темноты. Неровные всплески пламени борются с громадной, на полпланеты, ночью — рыбаку тепло, леши идут на свет. Немудреная обстановка далекого пращура, который твердо знал, что ему нужно: пищу и тепло.

В шесть лет я тоже хорошо знал, что мне нужно. Мне хотелось, чтобы на свете росло как можно больше съедобных трав. С Наськой, соседской девчонкой, мы убегали в далекие луга рвать траву. Сладкие, кислые, горькие стебли таяли в наших голодных ртах, но их было мало, и мы начинали пробовать все, что попадалось. В стороне, где вечерами закатывалось большое дрожащее солнце, шла война, но в нашей зеленой долине пели птицы, дули теплые, ласковые ветры, текли прозрачные, спокойные воды.

Если от сельсовета шли плачущие жены погибших солдат, мы тоже плакали, пугаясь чужих слез и рыданий. Наутро мы забывали все, едва прибежав к душистому лугу, там еще оставались вкусные травы.

Мы смеялись, пьянея от медового настоя и недолгой обманчивой сытости, и Наська вдруг поворачивала к реке, к старой водяной мельнице с гниющими сваями. Мельница давно не работала, и на берегу лежали жернова, раскаленные так, что большие листья лопухов, которые мы бросали на них, сворачивались в комочки.

Наська, скинув платице, кидалась с низкого обрыва и уходила к песчаному дну, рассекая воду тонким, рыбьим телом.

Мы ложились на горячий белый песок, ветер сушил наши волосы, пятки омывала вода.

Блаженство дикарей, но те поклонялись солнцу, и воде, и ветру, у нас же было одно божество — еда. Култ еды, когда ее нет, потому что далеко-далеко от нас идет война, и там нужно много хлеба и картошки. В синие зимние вечера мы с Наськой встречались редко и, по-взрослому, степенно шагая среди сугробов, тосковали по нашему лугу. И это была тоска потребителей, которых холода и зима лишили возможности набить животы лакомыми травами. Однажды лето наступило быстро, буйно взошли травы, косяки медлительных красноперок носились среди водорослей, не боясь нашего присутствия. Мы не бежали на луг, а шли и, минуя бревенчатые дома, слышали запах свежеевыпеченного хлеба. Битый час мы бродили по лугу и не нашли ни одной съедобной травинки. В солнечных лучах сияли ромашки, и Наська, смахнув слеза мокрые после купания волосы, спросила:

— А почему ромашки несъедобные?

— Не знаю, — сказал я.

— А как быстро наелись бы, — вздохнула Наська. — Почему тогда они растут?

— Наверное, для красоты...

— Красоты! — Наська сморщила облуленный нос, жмурясь, оглядела ромашки и хрипло засмеялась. Потом замолкла и уставилась на меня с таким забавным видом, будто я ей рассказал конец недослушанной сказки. Мы стояли близко, и я видел ее уже намеченные припухлые груди. И на левой, чуть пониже коричневого соска, синее пятно — след вчерашней драки.

Наська протянула руку и накрыла мне глаза пахнущей земляникой ладонью.

— Дурачок, — сказала она.

И, сверкая голыми ногами, побежала к реке, к нашей одежде. А я бросился ей вдогонку — делить хлеб, завернутый матерью в чистый ситцевый платок...

Воспаленным языком лижет темноту костер — одинокая, немощная звезда в крошечной пустыне заснувшей половины земли. Чернота скрадывает неровности ландшафта, и кажется, что бывший барский особняк, в котором временно разместился профилакторий, лепится на самом краю планеты, дальше — бесконечность. Чувство пространства, привитое с детских лет ограниченными размерами жилья, двора,

видимой линией горизонта, делает меня бессильным, когда я пытаюсь представить бесконечность. Как бы ни отодвигал я границы окружающей меня пустоты, в ней поместились бы только маленькие модели тысяч галактик, а за ними воображение невольно предполагает новые границы. Они, как тихие окрики караула, охраняющего запретную зону.

Пугающе бесконечной казалась мне земля, когда отец вернулся с войны. Подметки на сапогах были прикручены проволокой. От него пахло дорожной пылью, ружейным маслом и дешевыми конфетами. Два года прошло после окончания войны, и я думал тогда, что все эти два года он шел пешком с далекого фронта.

Пока топилась баня, он мылся в сарайчике, а я лил на него воду из ушата. Сначала он был раздет по пояс, потом разошелся и скинул свои зеленые штаны. А я залез на верстак и лил оттуда, чтобы вода окатывала его с головы до пят. Ушат был тяжелый, и я еле держал его в руках. Но на отцовом теле синели большие рубцы, и я боялся, что, заметив мою слабость, он рассердится, и швы разойдутся. Губную гармошку, которую он привез мне с войны, я обменял на пять лепешек из лебеды. Цветные карандаши хранил, как мать хранила немецкое платье из тонкой, полупрозрачной материи. Она никогда не носила его — просвечивало насквозь, показывая заштопанную нижнюю рубашку...

Тишина, только под гнилым полом попискивают мыши — ночь плетет заговор. Сердце бьется толчками, в кончиках пальцев, скапливаясь, стынет чужая кровь. И вдруг синяя молния раскалывает черноту пополам, стучатся в оконное стекло липкие листья тополя.

Владельцы радиоприемников сейчас заземляют антенны. Старухи закрывают форточки, боясь шаровых молний.

У меня была самодельная коротковолновая радиостанция и свой позывной — И24 АИ4. Вечерами я выходил в эфир, и мой позывной летел из чуланчика со скоростью света. Он отражался на ионосфере и частым зигзагом рыскал по земле, чтобы попасть в наушники моих корреспондентов.

Однажды новый незнакомец поймал его и настроился на мою волну.

"Кто ты?" — спросил я.

"Кинг оф Непал", — ответил он. — "Король Непала".

Шаткая табуретка качнулась подо мной, но я ее выровнял и вспомнил уроки английского, по которому у меня были одни тройки.

"Какая у вас погода?"

"Жарко, очень жарко, слоны стоят в тени".

"У нас ночь, и собирается холодная дождевая туча".

"Пройдут двадцать четыре часа, и у тебя будет день... Земля круглая и вращается..."

"Ты на той стороне Земли?"

"Да, ногами к тебе..."

"Значит, мы с тобой, как на игральных картах: только ты — король, а я просто человек..."

Он засмеялся: "Я тоже человек".

"Нет, ты тиран".

Он снова засмеялся:

"Ты доверчиво учишь историю".

"А ты готовишь войну против других народов?"

"У меня армия маленькая, вся на слонах..."

"Но слоны боятся мышей".

Он засмеялся в третий раз:

"Вот ты приедешь в мою страну и увидишь, как мы живем. У меня есть три велосипеда, и мы покатаемся вместе..."

"А сколько тебе лет?"

"Семнадцать".

"И ты уже король?!"

Атмосферные помехи прервали связь. Дождь лил всю ночь, а утром к нам пришли двое в штатском. Они забрали мою радиостанцию, заодно перерыли весь чулан и, уходя, сказали, что я нарушил правила пользования любительскими передатчиками. С постели встала больная мать и шла за ними до ворот, приговаривая: "Несмышлен еще, образумится. Вот горе-то на мою голову, вы уж не так строго, глаз с него не спущу..."

Звонко бьют в стекло первые капли дождя. Я высываюсь из окна и смотрю туда, где разложен костер: он потускнел. Хлынет ливень, погасит огонь, и все кругом погрузится в первобытный мрак.

Я стаскиваю с кровати верблюжье одеяло и прыгаю на подоконник. Внизу трава холодна, сыра, моло-

дая крапива обжигает открытые щиколотки. Я вслепую бреду к забору, натыкаюсь на него и припадаю к щели: костер еще горит. Капли падают все чаще, доски мокрые, и не за что зацепиться ногами. Подтягиваюсь на руках, держа зубами край одеяла, делаю рывок и переваливаюсь через острья досок. Первая волна ливня обрушивается на меня на краю луга, я сгибаюсь под тяжестью струй и бегу к реке, ощущая, как пятки вдавливаются в податливую землю. Если рыбак ушел от костра, там не осталось уже ни одного тлеющего уголька. Почему бы мне не повернуть назад и, сняв пижаму, не улечься в постель? Какой смысл ползать на четвереньках под проливным дождем, чтобы нащупать сырые головешки? Вспышка молнии длится несколько десятков миллисекунд, но глаза мои сейчас подобны светочувствительной пленке: ровный луг, плавная излучина реки и маленький комок, прижавшийся к берегу, сияют и плоско тают в зрительных нервах.

Все-таки я ненормальный, и человек, переживающий там дождь, прогонит меня, приняв за сумасшедшего. Но я кричу:

— Эге-гей!

И почти под ногами вспыхивает огонек, я падаю и ползу к нему. Из-под брезента смотрят на меня чуть удивленные, насмешливые глаза. Руки человека поддерживают низкий навес, и я не слышу, а вижу по движению губ, как он зовет:

— Скорей, чужак!..

Я лезу под брезент, прижимаюсь к плечу рыбака и говорю:

— Вот... одеяло...

— Пошарь за мной — там мешок, — говорит он, поправляя брезент. — Подбрось сухих дровишек... — И добавляет: — Эх вы, ребята...

Я достаю из мешка маленькие, аккуратные березовые поленца и кладу на жаркие угли.

— Переверни картошку, — говорит рыбак, и только тут мне в нос ударяет запах печеной картошки. Сверху картофелины обуглились, снизу корка еще почти не тронулась, розовая.

От свежих поленьев валит едкий, густой дым, заполняет наше тесное убежище, я плачу. Рыбак тоже помаргивает, но молчит и смотрит на подсвеченные костром нити косо падающих дождинок. Так мы сидим долго. На том берегу клинья молний вонзаются в землю, а в нашей пещере тепло и дымно, звериные

шкуры на мне дымятся. Мой нескладный, щетинистый брат ловким движением руки вытаскивает из глубины пещеры кусок мяса, оно шипит на огне, и в широкие ноздри льется запах грубой пищи. Еще одно движение — в его ладони лежит небольшой тесаный камень с клинописью, но я не успеваю прочесть, что на нем высечено...

— Вот и пронесло, — говорит рыбак, пряча в мешок книгу, отбрасывает назад брезент и встает во весь рост. Несколько запоздалых капель плюхается в костер и испаряется. Туча прошла, ее трубный рокот становится все глуше.

— Сними-ка свою полосатую, — говорит рыбак, кивая на мою пижаму, прилипшую к телу, и стаскивает с себя стеганку. Оставшись в водолазном свитере, он уходит в темноту, возится в кустах. Я переодеваюсь и слежу за куском баранины. Рыбак скоро возвращается, неся несколько прутьев краснотала. Он втыкает их возле костра и вешает пижаму.

— А теперь для сугреву...

По мокрой траве, поблескивая боками, катится бутылка водки.

Можно мне пить или нет?

Вот и кончился сон. Это неожиданное "можно или нет" выдало меня с головой. Мне казалось, что я материалист до мозга костей. Я не особенно жаловал радиационную медицину, но все же знал, какова участь человека, получившего критическую дозу нейтронного облучения. Разрушение и гибель клеток, необратимые изменения в спинном мозге. Смерть наступает через 13 — 14 дней. Положительного эффекта от медицинского вмешательства почти не было. И вдруг я подумал, что, выпив, могу помешать курсу лечения, тогда как не сомневался в его бесполезности. Я надеялся на чудо! Животный инстинкт самосохранения и мистика — наследство предков из каменного века.

Наполненная до краев кружка дрожит в руке — меня бьет озноб. Я большими глотками выпиваю водку и отдаю кружку рыбаку. Мне он нравится. Здесь, среди трав, под открытым небом, он чувствует себя как в жилище, в котором прожил годы.

— Вы здесь как дома... — говорю я.

— Пришлось воевать, — отвечает он. — Морская пехота. Штурмовой батальон... Война всему научит.

— И вот так вы смогли бы прожить до конца?..

— Наверно. Человеческий род начинался с этого... Трудно продвигаться вперед, а назад вернуться...

- А это может случиться?
- Месяц глобальной войны...
- Да...
- Вот так... Ешь, картошка стынет.

Я тащу из теплой золы картофелину. Ветер доносит издалека голоса, и я оборачиваюсь. Несколько окон профилактория ярко светятся. По темному лугу на некотором расстоянии друг от друга движутся огоньки, догадываюсь — карманные фонари.

— Меня ищут, — говорю я, роняя картофелину.

— Тяпни напоследок, возьми закуску и беги, — советует мне рыбак.

Я выпиваю еще полкружки водки, отщипываю кусочек баранины, беру хлеб и встаю.

— Не забудь куртку, — рыбак подает мне сухую пижаму. — Увидишь костер, значит, я здесь...

— Боюсь, что больше не получится... Мне скоро... — и я тычу пальцем в небо.

— Семь раз ранило — и ничего, — говорит он, протягивая руку.

Я молчу.

Голоса начинают раздаваться близко, и я, легкий, но неустойчивый от выпитого, бегу к ним навстречу.

3

Утром я достал из-под подушки рукопись Деда. "... Жизнь в колонии шла своим чередом. Наступила зима, завьюжили метели, часовым выдали тулупы. Лейтенант подолгу простаивал у окна, будто радовался белым снегам, заносившим далекие таежные поляны и ту, в трех часах быстрой ходьбы, опушку, где поздней осенью пуля сержанта сразила неизвестного.

Сержант давно отгулял свой десятидневный отпуск, предоставленный ему по ходатайству лейтенанта, другой стрелок пропил денежную премию.

Но лейтенант, которому тоже кинули десять суток, медлил с отпуском. Сослуживцы видели его иногда за странным занятием: стоя у свежего сугроба, он тонким прутиком рисовал на снегу линии. Над ним тихонько посмеивались, но не трогали.

В канун Нового года он несколько оживился, во взгляде появилась решимость.

Никто не знал, о чем он думал все эти месяцы, отчего отечным, серым стало его лицо. Он же, вставая с супружеской постели, запирался в кухне и, заку-

ривая одну папироску за другой, мысленно восстанавливал подробности осенней трагедии. Он видел застекленевшие глаза, в недоумении уставленные в небо, желтую траву с бурными пятнами свернувшейся крови, слышал торопливые удары кольев, которыми рыли могилу.

Они молча уходили обратно, лейтенант обернулся, пройдя шагов двадцать, но ничего не было заметно — ровная, освещенная низким, холодным солнцем, опушка.

На обратном пути они нагнали четвертого — тот пробирался к колонии, ведя за поводок служебную собаку Анчар. На рассвете, взяв след беглеца, она рвалась вперед, пока дерево, чудом державшееся на весу после бурелома, не придавило ей левую переднюю лапу.

Сейчас, жалобно скуля, Анчар смотрел на лейтенанта, и тот вдруг съежился, как если бы за воротник упал ком снега: в собачьих глазах светился укор. Словно свойственным собакам тонким чутьем она понимала, что и как произошло на опушке. Он приблизился к ней, хотел погладить, но собака зарычала, и он отступил...”

В коридоре слышатся шаги, и я прячу рукопись под подушку. Входит медсестра Зина — лицо у нее некрасивое, как у всех женщин после долгого плача. Это ей досталось из-за меня — не углядела ночью, и я примирительно улыбаюсь. Но она равнодушно подает мне телеграмму и уходит, обиженно стуча каблуками.

Телеграмма из Астрахани:

”Девчата собрались выехать Москвы спрашивают можно ли попасть район работ ответьте молнией главпочтамт востребования.

Стас”

Надо же, чтобы в такое время он прислал эту телеграмму. В этой мысли нет упрека, жалобы, просто сейчас я не знаю, как мне поступить.

Лучший выход — дожидаться Анатолия, сегодня суббота, он кончает в два.

Вчера его не пустили ко мне, и он полез через забор, собрав всю пыль. Спрыгнув, он, однако, не стал отряхиваться, только поправил галстук, большие роговые очки и прошагал к окну своей элегантной, красивой походкой. Пан Анатолий, так мы прозвали

его, принес мне шерстяные носки и рукопись Деда. Фраерская походка, так неотразимо действующая на нервы девочек с танцплощадки, в этот раз погубила Анатолия. Кастелянша тетя Маша чуть не огрела его грязным полотенцем, но пан Анатоль вовремя поднял руки и удалился под конвоем.

Полтора года назад на институтском новогоднем балу он отбил у меня девушку. Я не был знаком с ним и тогда, увидев его, впервые в жизни позавидовал танцующему мужчине. Уже в самом начале вечера я сложил оружие и, прислонившись к колонне, следил за ним. У него были длинные, стройные ноги и осанка молодого дипломата. Чарльстон выходил из моды, начали бредить твистом, а он был королем всех танцев.

И получилось у нас так, что Новый год встретили на квартире моей знакомой, прилично поддали и ушли оттуда в обнимку, забыв попрощаться с хозяйкой...

На подоконнике от пулеметной очереди тонко дзинькает стакан. Интервалы между очередями длинные — не иначе как за пулемет лег салага и долго целится, чтобы попасть наверняка. Еще не понимает, что промажет больше, чем бы самую малость водил дулом слева направо и снизу вверх.

Стучатся в дверь, но я отмалчиваюсь, слушаю пулемет — кому надо, зайдет. Так и есть — Зина, но за ее спиной, в полумраке, посвечивают очки пана Анатоля.

— Видите — не спит. Ждет меня, правда, Серж?

— Как божью милость, — отвечаю я.

Зина уходит.

— Тебе нравится эта пальба, Серж?

— Еще бы!

— Однажды я видел, как маманя полуторагодовалого шкета принесла в хату игрушечный автомат... Ну, что ты уставился — я кончаю. И эта малявка, представь себе, берет автоматик за шейку приклада правой рукой, а левой — ложу. Я спрашиваю у этой мамани: первый раз? Она кивает: ага! Прimitивный пример, любой оппонент разбил бы в пух и прах, но я уверен, что еще в зародышевом состоянии человек бывает солдатом... Наследственная информация, которая была в генах отца, передается ему, отец только что вернулся с войны, а дед его погиб в Швейцарских Альпах, прадед штурмовал крепость Корфу, прапрадед гнал печенегов... Люди, которым не нравится стрельба, — либо пацифисты, либо больные.

— Прекрасный монолог для эскулапа и гуманиста, — перебиваю я его. — Какой просветительский дар.

— Извини за треп, старик. Я не настаиваю на своем мнении, но что делать — я дико обожаю стрельбу. Во время службы в армии попал на "броник", там пулемет высший класс. Отрегулирован до микрона, угол рассеивания пуль такой...

— Чем ты занимался сегодня?

— Вырезал одному аппендикс...

— И как?

— Просто. Как с завязанными глазами... Ведь я могу и похоронить свои ошибки...

— А ошибки иного хоронят его самого...

— Серж, ты полагаешь, что ошибку допустил ты?

— Ошибся начальник смены. Неверно рассчитал критическую массу. Он был с похмелья...

— Его теперь в тюрьгу.

— О том, что и как получилось, не знает никто и ты тоже, пан Анатоль...

— Вот как! Ты покрываешь преступника?..

— Мы далеко зашли, старик. На вот, почитай-ка...

— Подожди...

— Читай!

"Девчата собрались выехать Москвы..." Подохнуть можно! Сумасшедшие!..

— Ответ молнией, прошло уже два часа.

Анатоль снял очки, присел на кровать. Лицо его, такое законченное и тонкое в очках, стало смешным и беспомощным. С полминуты он смотрел на меня близоруками и словно плачущими глазами. Потом нашел авторучку и на оборотной стороне бланка написал текст телеграммы в Астрахань:

"Приезд должен быть отложен срочно перебрасывают другой район.

Сергей Анатолий"

Подумав, он вписал еще одну строку:

"Сергей хватил дозу деньги на самолет высылаем телеграфом востребования".

— Деньги есть? — спросил я его.

— Найду... Слышишь: совсем тихо. Отстрелялись...

— Передышка. У них звон в ушах...

— Я поеду за Ленкой...

— Смотри, ты — медик, должен знать, сколько я протяну...

— Да нет, просто так — вы же давно не виделись...

— Месяца три...

— А об этом не думай... Должен прилететь Янковский...

— Откуда?

— Из Парижа... Там какой-то международный симпозиум. Он возьмется за тебя.

— С таким же оптимизмом, с которым ты успокаиваешь меня?

— Ну и что? Врач-то он хороший... Кстати, вот апельсины...

Он открыл портфель и высыпал на кровать с десятков оранжевых пахучих апельсинов.

— Мерси, — сказал я.

— Жуй, старик! Я сматываюсь на почту, оттуда — нах Москау, за Ленкой...

— Когда ждать?

— Утром, возьму отгул... Не скучай — вспомни "Березку"... Он вышел и тихонько закрыл за собой дверь.

4

Мы поехали в "Березку" в начале января, и устроил это пан Анатоль. Больничный лист он мне выписал на двадцать дней, диагноз: состояние, близкое к шизофрении, или что-то в этом роде. Потому-то, когда я напоследок забежал в деканат, на меня косились опасно и даже не напомнили о зимней сессии. Для пущей убедительности надо было поймать муху, но они давно подошли, и я ограничился тем, что в объявлении "Штаб народной дружины временно перенесен в электротехнический кабинет" первое слово поправил на "штап", рассеянно бормоча при этом: "Когда же переводятся неграмотные..."

И дешевую путевку в подмосковный дом отдыха "Березка" достал Анатоль, и мы с ним ехали на электричке с Курского вокзала в сторону юга ровно сорок две минуты. Погода стояла как на морском побережье, когда дуют пассаты: сырой воздух и два градуса выше нуля по Цельсию. Ненормальная зима, синоптики ходили как чокнутые, сами сбитые с толку бесснежьем и оттепелями.

Электричка прогремела дальше, и на перроне нас осталось трое. Третий — пижонистый малый в импортных мокалинах, коротеньком светлом пальто, голова босая. И на лицо он был не совсем южанин и не совсем русак, так себе, смесь кавказца с мотоциклом, как определил позднее Анатоль, когда мы втроем

сели в пустой домотдыховский автобус. Про босую голову тоже сказал Анатоль.

Заезд в дом отдыха начался три дня назад, мест в главном корпусе не хватало, и троих нас поместили в бревенчатый летний павильон. Ашот Иванов, так звали третьего, занял койку в углу, на соседнюю — а они стояли возле батареи отопления — кинул чемодан и, сообщив, что на ней скоро будет спать сам Стас, настроил транзисторный приемник на Буэнос-Айрес. Я не знал, как отнестись к его сообщению о загадочном Стасе, но пан Анатоль просто стряхнул чемодан этого нахала на пол. Ашот принял боевую стойку и правой рукой поискал на бедре воображаемый кинжал.

— Кацо, — сказал тогда Анатоль, изящным движением поправив очки, — ты любишь тепло, я люблю тепло... Бросаем жребий... Монета есть?.. Кидай!

Ашот подбросил монету.

— Орел, — сказал пан Анатоль.

— Решка, — сказал Ашот.

И Анатоль проиграл.

А ночью ударил сорокаградусный мороз, было слышно, как за окном постанывают сосны. Мы по очереди щупали ледяную батарею отопления.

Пан Анатоль шепотом рассказывал анекдоты, но поскольку на сокращение мышц при смехе уходила порядочная энергия, часть той, которая нужна для согревания, я оценивал их словами: "Ничего" или "Не очень".

Ашот молчал, и только к утру его стало слышно. В мужской компании не принято слышать даже громкие всхлипывания, но мы, стуча зубами, встали и навалили на южного человека все свободные шмотки.

Мороз свирепствовал, и фиолетовый рассвет мы встречали в просторном холле, заканчивая тридцать четвертый раунд любительского бокса.

В окно цедились сумерки, пивные бутылки исходили мутной слезой, а Стас все возился с дряхлой, отвергнутой всеми, настольной лампой. Он водил охотничьим ножом по старому медному проводу, скокабливая с него зеленый налет окиси.

Его возня начинала нас злить, было холодно, темно, ладно, если бы не висела шикарная люстра пуда на полтора, с сосульками из плексигласа. Стемнело, когда Стас выпрямился и дал свет. Он оказался роман-

тиком, этот Стас. Мы с минуту молча разглядывали звездный потолок, неожиданно ставший высоким и таинственным.

— Голубой фабричный поэт умирал здесь от скуки и исколол абажур, — предположил Анатоль.

После этого мы вчетвером уселись за широкий дубовый стол.

— Что-то стало холодать — не пора ли нам поддать...

Стас открыл чемодан и вынул из него большую связку вяленой рыбы.

Он приехал днем, прямо с рейсового самолета из теплой Астрахани. Мы слышали, как он прошел через пустой холл, счищал снег с ботинок. И вошел к нам в демисезонном пальто и шляпе, звонкий и прозрачный от стужи. Увидев клубы пара над нашими койками, он улыбнулся, и у него треснула губа. Тогда Ашот, в отчаянном порыве сбросив с себя ворох одеял, кинулся к платяному шкафу, где мы прятали бутылку "Зверобоя"... Теперь Анатоль открывал третью бутылку. Он налил по полстакана крепкого, добавил пива — со дна поднялись пузыри, и в животе заныло от одного вида такого "ерша".

Потом, чисто выбритые и слегка "под газом", как морские офицеры, все в черном, только галстуки разные, мы прошли в главный корпус — на танцы. Они еще не начинались, в круглом высоком зале сидело человек тридцать, а на эстраде с микрофоном возле тоненьких усиков вертелся культмассовик Жора. Он что-то заливал о временах расцвета Римской империи, о веселых римлянах, требовавших хлеба и зрелищ. Хлеб в доме отдыха не проблема, а вот обилие зрелищ зависит от нас самих, и Жора пригласил на сцену желающих участвовать в игре "Когда мамы нет дома".

— Такому блестящему знатоку всемирной истории непростительно забывать изречение Бисмарка: "Глупость — дар божий, но не следует им злоупотреблять..." — сказал Анатоль, и мы пошли допивать четвертую бутылку.

5

Морозы все крепчали, тепла в батарее хватало только ей самой, чтобы не заиндеветь. Ашот дважды собирал вещи, просил Стаса позвонить во Внуково и заказать ему билет в Астрахань. Каждый раз, когда Ашот, сложив вещи, запирал чемодан, Стас медленно раздевался и, оставаясь в одних трусах, выходил на про-

гулку вокруг павильона. Ашот дышал на стекло, и через мутное отверстие мы смотрели, как Стас блаженствует, умываясь снегом.

Но нам уже не хотелось ни зрелищ, ни хлеба — если бы не Стас, который таскал обед из главного корпуса, мы бы умерли с голоду.

Вечерами мы лежали, глядя на звездный потолок, Ашот слабым голосом сообщал, что видит Большую Медведицу, но куда-то исчезло созвездие Гончих Псов, и мы сочувственно стонали.

На третий день утром в нашу берлогу вбежал замдиректора дома отдыха, у него был кающийся вид.

— Почему вы сразу не пришли, не сказали, — обратился он к Анатолю, вернее, к его носу и очкам, торчащим из-под одеяла. — Я бы освободил для вас любую комнату в главном корпусе...

— Вы узнали обо всем из неофициальных источников, Павел Спиридонович, — сказал на это Анатоль. — Если бы я к вам зашел, это было бы нарушением некоторых... сами понимаете.

— Разумеется, понимаю... Через полчаса комнату приберут, а вы пока собирайтесь.

— А есть ли смысл? — приподнялся Анатоль. — Для нас более удобного места, чем эта комната, не придумать... Изолирована, никто не мешает вести свои разговоры...

— Понимаю, понимаю...

— Только нужно тепло...

— Ну, что ж, сейчас кинем все силы, — замдиректора окинул нас почтительным взглядом, переглянулся с Анатолем и многозначительно улыбнулся.

Потом прибежали из котельной два молокососа, застучали ключами, и к потолку брызнула струя горячей воды.

— Что это все значит? — спросил я Анатоля, имея в виду не плотный белый пар, наполнивший комнату, а то, что стояло за всей этой суетой.

— Сказка, — ответил он и засопел.

Часа два наша батарея звенела, булькала, сипела, и по комнате разлилось тепло, с подоконников потекли ручьи — мы пережили ледниковый период. Мы зашевелились, заговорили, бросились искать утюг: погладить черные пары, в которых спали.

И обедать отправились все вместе, чин чинном, только слегка скованные и дикие после анабиозного состояния. Поэтому мимо девушек, стоявших в вестибюле и рассматривавших нас чересчур откровенно, мы

прошли как бесчувственные остолопы, один Анатолий сиял и раскланивался.

Едва мы усадились за стол, приплыла пухленькая дежурная по столовой.

— Если что-нибудь не нравится, говорите прямо мне, — проворковала она. — Я предупредила поваров, они постараются...

Кажется, на этот раз был несколько растерян и Анатолий, но он быстро пришел в себя и сказал:

— Они не очень избалованы хорошей кухней, но в случае надобности...

— Да, да. Обязательно! Приятного аппетита! — дежурная ушла, а мы остались сидеть, ощущая на спинах изучающие взгляды.

— С меня хватит! — сказал я, глядя в упор на Анатолия. — Не подозревал, что ты еще обладаешь талантом комедийного режиссера...

— Этот мороз, — сказал пан Анатолий, хлебая суп с осетриной. — И этот Жора...

— Я понял, что мы — это не просто мы, — сказал Стас.

— Умница, — похвалил его Анатолий. — Кто захочет меня бить, пусть делает это в берлоге... А сейчас вы все трое — атомники. Где-то в пункте А или в пункте Б (это не имеет значения) вы рвете атомные бомбы... Ты что?! Нехорошо бить ногой, Серега!.. Вы совершенствуете могучее оружие современности, все получили приличную дозу гамма-лучей, скоро, лет через пять — хана... У вас был выбор: Гагра, Карловы Вары, Золотые Пески... А предпочли скромное Подмосковье — березки, сугробы, морозы... И малютки, которых вы видели в коридоре, об этом знают...

— Все остальное — сарафанное радио, — заключил Ашот.

— Умница, — сказал Анатолий.

— Мне что-то расхотелось жрать! — сказал я и отодвинул жареную курицу.

— Не смей! — скомандовал Анатолий. — Я ваш личный врач и веду за вами круглосуточное наблюдение...

— Круглосуточное?! — переспросил Ашот, его густые черные брови сошлись у переносицы.

— По вопросам любви будет дан дополнительный инструктаж, — отрезал пан Анатолий.

После этого и Ашот отодвинул курицу.

Дед появился нежданно-негаданно. Ашот, пробовавший транзистором поймать сигналы искусственного спутника, убавил громкость и крикнул нам из холла:

— Эй, артисты, к нам Дед-Мороз стучится!..

Когда я вошел, Дед уже стоял в холле, стряхивая с шапки снег. Я подумал, что он шапку все время держал в руке и потому голова тоже белая. Такой он был седой. Он был высок, но я поднял его и закружил.

— Ой-ой-ой, рассыплюсь, — тихо засмеялся он. — Ты бы сначала спросил, как я тебя разыскал, скитальца этакого...

Дышал он с хрипом, как старый курильщик.

Пора было на ужин, и мы потащили Деда с собой в столовую. И там сразу зашушукались — Дед тянул внешностью по крайней мере на доктора физико-математических наук. Дежурная по столовой так и сияла, глядя, как он ест сырники, запивая их чаем. В бильярдной он выиграл четыре партии подряд, и мы чинно покинули главный корпус.

— Сережка, — сказал Дед, когда вернулись в нашу берлогу, — где бы мне прилечь, а то сердце уже того — не очень. И мне надо с тобой потолковать... Утром я поеду...

Я показал ему свою койку.

С Дедом мы подружились в Мензелинске.

Поехал туда после похорон матери. Отец умер годом раньше, и могила заросла травой, а рядом выкопали новую. Я взрыхлил землю на ней, посеял семена мака, посидел с полчаса и поехал.

И до института пожил у тетушки, а Дед приходился ей двоюродным братом.

Дед был писателем. Он написал две книги, но очень давно, я не читал их, да и Дед не настаивал, просто показал и спрятал. В тридцать седьмом году его завербовали на лесозаготовки, и там, в Сибири, он не смог написать ни одной строчки до самого возвращения домой, а это произошло в пятьдесят третьем году.

После он написал еще две книги, я узнал об этом из его же письма, но ни у нас, ни в Москве не нашел их, сколько ни искал.

Ребята пошли в холл налаживать лыжи, Дед улегся и подозвал меня.

— Друзья? — спросил он.

Я кивнул, прислушиваясь к шагам в холле.

— Если хорошие, держись с ними до конца. Одному трудно жить и выживать...

— Выживать?

— Для сильного и выживание — борьба, Сережка, хотя и бессмысленная, когда насилие совершают вроде бы свои...

— Это вы о старом...

— Да, о своем... Ну, не стучи каблуками, больше не буду...

Он лежал, сложив руки на груди, и смотрел на потолок.

— А это вы здорово придумали, — сказал Дед, разглядывая звезды.

— Кто-то до нас, — сказал я.

— Завтра я поеду, — сказал Дед.

— Надо?

— Надо.

— Я провожу...

— Не люблю, когда провожают.

— Тогда не буду.

— Есть одна просьба, Сережка... Давал рукопись в журнал, вернули, не нравится конец...

— Плохой конец?

— Переделывать не хотел, вот и забрал...

— А теперь как с ней?

— Оставлю ее у тебя... Тебе легче выбраться в Москву, чем мне, путешественник из меня теперь никудышный. Натишу несколько адресов, куда нести... Машинку найди — перепечатай первую страницу, поставь свои имя и фамилию вместо моих!.

— Даже так?

— Тебе не нравится?

— Выходит, я не просто буду приносить и уходить...

— Так вот слушай. Прочитай внимательно, пойми суть... Если захотят побеседовать, не бойся, иди. Скажешь, что в основу взял рассказ одного знакомого... И что пишешь ты год-два, никому ничего до этого не показывал, принес им первую, большую вещь... Понимаешь?

— Да. Но если из этого журнала, где уже читали, кто пронюхает?

— Здесь все в норме. Читали два моих старых приятеля, они-то в курсе дела, что пойдет и что не пойдет. А после я им сказал, что они ничего не видели и не читали... По рукам?

— По рукам, Дед...

— Ну, ступай к своим...

— Спокойной ночи, Дед!

Утром, когда мы проснулись, его уже не было. Он, видимо, встал очень рано и уехал первым автобусом.

На аккуратно расправленной койке лежал клочок бумаги, на ней были адреса и одна строчка:

”Немножко юмора, и тебе самому будет интересно. Дед”.

А я уже испугался, что он забыл оставить рукопись, но она лежала в тумбочке, в зеленой папке.

Поскольку речь шла о концовке, я полистал последние страницы.

”...Все навязчивее, сильнее и мучительнее становилась мысль, что сам он, лейтенант, явился соучастником убийства и сокрытия его. С каждым днем обвинение это против самого себя делалось четче, и вот уже лейтенант из соучастника превратился в главного убийцу. Сержант и стрелок отпали, как незначительные лица, чьими действиями косвенно или прямо управлял лейтенант.

То, что вначале казалось ему блестящим выходом из положения, наполнилось теперь страшным смыслом. Он понял, что все это сделал угнетенный, подавленный животным страхом. Страх. Для лейтенанта страх был тюрьмой, и, как бы ни уверял он себя, что со временем ее стены рухнут, она становилась все удушливее.

Он молил бога, чтобы беглец вдруг не взялся за старое дело или внезапно умер от болезни — и при этом лейтенант думал не столько о нем, сколько о себе. Если тот попадется или умрет и личность его будет установлена? И потому лейтенант так горячо желал, чтобы тот переменялся в лучшую сторону, жил незаметно, тихо. Он невесело усмехался, замечая, как на рыхлой, унавоженной страхом за личную безопасность почве взращивает в себе идеалиста.

Перед Новым годом его еще несколько раз видели стоящего перед сугробом и рисующего линии. Потом он с неожиданной настойчивостью попросился в отпуск и добился разрешения иметь при себе огнестрельное оружие...”

7

- Ты знал кого-нибудь из их брата?
- Не приходилось...
- Как же теперь дальше?
- Не знаю...

Стас и Анатолий лежали на койках после лыжной вылазки, мокрые. Ашот брился в умывальной комнате, и я видел, как лезвие со скрежетом ходило по его жесткой щеке. Когда пан Анатолий сказал "не знаю", Ашот порезался и повернул разгневанное лицо в нашу сторону.

— Я приехал сюда развлечься! — крикнул он в комнату. — И не хочу изображать никого!..

— Развлекайся, — сказал ему Анатолий спокойно. — Кто тебя держит...

— Эти твои идиотские штучки...

— Могу ли я обижаться на лягнувшего меня осла!

Ашот выбежал из умывалки, открыл платяной шкаф. Его костюм, пальто и сорочки висели там, он их кинул на койку.

— Я пойду к директору! Скажу, что все это — блеф. И не хочу жить в одной комнате с психами!

— Заказать билет в Астрахань? — спросил его Стас.

— Тебе тоже надо показаться врачу! — Ашот впихнул шмотки в чемодан, надел пальто.

— У меня есть личный врач, — сказал Стас.

— Вот и сходи с ума вместе с ним.

Он шагнул через порог, и тогда я крикнул ему вслед:

— Если по пути увидишь зеркало — загляни!

Ашот словно споткнулся.

Он завернул в умывалку и застыл перед зеркалом: левая щека его была чисто выбрита, правая осталась нетронутой, и на ней еще висели хлопья мыльной пены. Он с минуту потоптался возле зеркала, затем швырнул чемодан на койку, снял пальто.

— С вами сам станешь психом... — сказал он.

Кто-то хлопнул входной дверью, в холле раздались торопливые шаги.

Анатолий и Стас повскакали с коек. Было восемь часов вечера, и мы никого не ждали.

А это пришла Лена. В кофточке и юбочке, черные туфли облеплены снегом. Рожица смешно вытянулась, глаза видят только Анатолия, как будто нас вовсе нет.

— Там Светка... — сказала она. — У нее с сердцем...

И мы поняли, что это очень серьезно.

Поэтому все уставились на Анатолия. И он на наших глазах превращался во врача, получившего срочный вызов к больному. Обычно прямой, элегантный Анатолий сейчас чуточку сгорбился. Открыв свой чемодан, он привычно засучил рукава и достал со дна дорожную аптечку.

— Здесь где-то обитает медсестра... — сказал он.

— Уехала в Большой театр, — сказала Лена и всхлипнула.

— А это еще что? — прикрикнул на нее Анатолий, направляясь к двери. — А вы что уставились? — это уже нам, через плечо. — Найдите ей что-нибудь потеплее!..

Необходимое, рабочее ворчание, и мы гурьбой пошли за ним, на ходу хватая пальтишки, очутились на морозном воздухе, завернули Ленку и понесли со Стасом по заснеженной аллее к главному корпусу...

8

Такая длинная ночь.

Как будто наступила навсегда, и мир будет пребывать в непроницаемом, тихом мраке. Внизу, в глубине черной пропасти, снова горит костер, я ощущаю его слабое тепло. Рыбак сидит на берегу, ловит лещей и, возможно, вспомнил меня. Мне нельзя к нему — температура тридцать восемь и четыре десятых... Пораженный организм теряет сопротивляемость к простудным и заразным заболеваниям.

Завтра повезут в экспериментальный корпус клиники. После обследования в лаборатории общей радиоактивности человека электронно-вычислительная машина обработает данные. И потом картину заболевания моего организма воспроизведут в "фантоме".

Фантом — натуральная модель человеческого тела, мой двойник.

У него полиэтиленовые, наполненные средой, равной по плотности живой ткани, голова, грудь, руки и ноги. Он не встанет и не побежит, не оглушит никого криком или смехом, пока в него будут вводить порции радиоактивных изотопов, поражая его в одинаковой со мной степени.

Затем кто-то начнет искать вариант лечения. Или сразу скажет, что не следует попусту тратить время — никаких шансов.

Сегодня "фантом" лежит, разобранный, в упаковке. Завтра его перенесут на лабораторный стол. "Фантом" в переводе на русский — призрак.

Такая длинная ночь.

Длиннее той, когда у Светы было плохо с сердцем, и мы не спали до утра.

И целая вечность по сравнению с той, когда мы собрались в нашей берлоге, пили коньяк и ели огромного сазана. Сазан весил около пуда, мы ездили за ним в гостиницу "Южная", где он лежал в камере хранения.

Тяжелого и мерзлого сазана мы пустили в ванну с горячей водой, он оттаивал часа два.

Стол мы внесли в холл, там пили, закусывали, но веселья в полном смысле у нас не получалось. Если Ашоту удавалось поймать музыку, Анатолий приглашал одну из девушек и танцевал, потом наступала пауза, и каждый думал о своем. Похоже, что все ожидали развязки, но занавес был опущен, и антракт затянулся.

Лена сидела от меня близко, иногда я наблюдал за ней. Мягко очерченные губы ее складывались в полуулыбку, если она замечала, что чье-то внимание обращено к ней. Она недолго выдерживала взгляд, и светло-серые глаза на чуточку удлинённом лице ее темнели, словно на них набегала тень. И она опускала голову. Светлую прядь, часто падавшую на лоб, она смахивала резким движением руки, как отгоняла бы муху.

Света облокотилась на шахматный столик, была бледна и скованна, глаза ее, под которыми разлилась болезненная синь, словно искали место для уединения.

Надя — та без конца крутила головкой, без конца натягивала коротенькую юбку на круглые колени, а когда Анатолий удачно острил и было смешно, она сначала смотрела либо на Свету, либо на Лену и, видя, что они смеются, тоже смеялась, но уже последней. Зато Рая начинала заливаться, едва Анатолий открывал рот. Компанейская девушка, ничего не скажешь. Она была полновата для твиста, но, танцуя, забывала обо всем. От резковатых движений тесный подол платья поднимался высоко, тогда слышался голос Нади: "Райка, следи за собой", а Рае — хоть потоп, и мужчины, кроме Ашота, принимались разглядывать свои ноги.

И Рая, компанейская девушка, сделала так, что мы приступили ко второму действию вечеринки.

— Мальчики, пью за вашу бомбу! — сказала она и поднесла стакан с коньяком на донышке к пылающим губам.

Все ошалело посмотрели на нее, а она выбросила вверх руку, в которой была зажата книга А. Кларка "Рождение бомбы". На белой обложке ярко-красный шар — книгу мы купили со Стасом в Москве, и она валялась на подоконнике.

Я тоже выпил за бомбу, отпила из своего стакана и Лена, потом она подалась ко мне и шепнула, что ей хочется подышать воздухом.

Тихо и тепло было на улице, падали редкие снежинки, сквозь неплотные, низкие облака просвечивало расплывчатое пятно луны.

Мы долго шли по аллее вниз, надо было о чем-то говорить, но я не знал, о чем, и от злости пнул по большому снежному кому — он разлетелся, обдал нас колючими, холодными осколками.

— Медвежье баловство, — сказал я, осуждая себя, и взялся отряхивать Лену. — Вы живете в Москве, Лена?..

Неужели я не мог без этих идиотских вопросов о местожительстве?

— Да, мы с девчонками закончили десятилетку, в институт не пошли, от нечего делать устроились кто куда... Дружили в школе, теперь что ни делаем — вместе... И вы тоже?

— Не совсем, — сказал я.

— Но ведь вы делаете одно дело, а это еще больше сближает...

Я промолчал.

— У вас был выбор или...

Она теперь не отстанет. Любопытство делает прямолинейной даже самую умную женщину.

— В таких случаях я говорю о призвании, — сказал я.

— И вы знали, что вас ждет...

— Достаточно знать, чего от тебя ждут.

— Но рано или поздно вы должны были задуматься.

Ах, Анатолий, чтоб твой вялый язык занял место в музее госбезопасности в разделе "Болтун — находка для врага!"

— Это неминуемо рано или поздно... — сказал я небрежно.

— А я промочила ноги, — сказала вдруг Лена, остановилась. — И вспомнила, как вы меня несли...

Давно бы так. Я поднял ее на руки и медленно зашагал к освещенному одиноким фонарем крыльцу.

Белый, неплотный снег — в нем утопали лыжи, он неслышно сыпался с елок, задетых плечом, от его блеска слезились глаза. Снег был кругом, он обманывал, и я выбирался из ям и брел дальше, к синей каемке леса. Над округлыми холмами, деревьями, над маленьким домиком лесного сторожа распростерлись необъятные, по-зимнему блеклые небеса.

Усадьба дома отдыха осталась позади. Я здесь ходил на лыжах и раньше, но вместе со всеми, а теперь выбрался один.

Все здесь было как вчера и позавчера, ничто не

сдвинулось с места — полное безмолвие и неподвижность.

Это постоянство, рождающее иллюзию вечного покоя, навевало чувство, смутное, как тени облаков на холмах, как полусон, — чувство времени. Тут, где казалось, что время остановилось передохнуть, я мог вернуть минуту, когда в заснеженном селе мы бродили с Наськой, сморкались в рукава, нюхали дым, идущий из труб, разглядывали кусочек синего неба в колодце. И знойные дни, когда, оставив луг, мы добирались до заброшенной водяной мельницы, вдыхали запах мокрых свай за плотиной, смотрели на ленивых рыб в тени старой вербы. Вернуть чувство, что пылающее солнце, прохлада реки, запах свай, сверканье рыбьих боков будут всегда, до самой зимы, а после снова, и так до бесконечности. И Наська будет визжать, окунаясь в теплую, чистую воду, и я буду бежать за ней, целясь крапивой в ее коричневую, узкую спину, и потом ждать, когда она спрыгнет с большого раскаленного жернова.

Но однажды Наська заплакала от боли, стоя на жернове.

— Если не будешь гнаться за мной, я скажу секрет, — сказала она, и я согласился.

— Только никому-никому, — прошептала она. — Сережка, у тебя отец не родной...

Я отвернулся и пошел к плотине. Все осталось так, как было минуту назад, — верба не склонилась ниже, не закрутились жернова, не прорвалась старая плотина и не пролил дождь, но что-то изменилось во всем. Ничего не убавилось и не прибавилось, и в то же время что-то ушло безвозвратно и появилось новое...

Я брел по снегу, встречные деревья, холмы, домик лесника стояли на прежних местах — вехи застывшего времени, видимая ровность снега, скрадывающая ямы.

Обрыв, к которому я вышел, был невысок, но крут, внизу лежала плавная излучина реки. Через запыленный снегом лед пробиралась на мою сторону группа лыжников, и железные наконечники палок выбивали звонкую дробь.

Увидев меня, толпа остановилась, стала ждать, но я медлил — очень круто, а снег неплотный. И тогда раздалась нетерпеливые голоса: "Давай, давай!"

Внимание и крики всегда взбудораживают, и я оттолкнулся, полетел вниз. Ветер свистел в ушах, одобряющие женские вопли неслись навстречу и, облаканный заранее, я забылся, не заметил дерева перед

собой и свернул слишком резко. И падение было заурядным — я понял это, увидев после длинную глубокую борозду, пропаханную задом.

Когда я отряхнулся и отыскал палки, толпа лыжников ушла, и только где-то за поворотом слышался смех.

Ушибленные колени, плечо болели, и на обратном пути я был осторожен. Хотя на глаз и снег был ровным, и деревья стояли на прежних местах...

Впрочем, падал не я. Если только эти рассмотрели меня. Так неумело катаются атомники, чудаки, не от мира сего. И эти поспешно скрылись, чтобы облегчить ему мучения от собственной неловкости.

Идеальное предположение.

Оправдание, которое пришло бы в голову артисту, когда он забывает роль и проваливает спектакль.

В девятом классе мы ставили пьесу, и я играл белогвардейца. В том месте, где меня арестовывали, страсти зала накалялись и начинали раздаваться выкрики: "Хватай его! Бей!" Эрка Агафонов, красноармеец, подталкивая винтовочным прикладом, уводил меня за кулисы. Один раз Эрка играл просто здорово, и битком набитый семиклассниками спортзал так и ревел, когда он поймал меня, белогвардейца. Мне же с самого начала было стыдно, что я изображаю "беляка", злился на Эрку, злился на кричащих шлоппаев, на весь белый свет. А Эрка распалился вовсю, заорал на меня: "Иди, белогвардейская сволочь!" — это была отсебятина, и он так грохнул меня по затылку прикладом, что в глазах потемнело. Не ожидавший сопротивления, он искоса наблюдал за первыми рядами — какова реакция? — а я вспотевшим кулаком ударил его по носу. Фальшивые усы, слабо державшиеся на мучном клейстере, слетели, зал улюлюкал от восторга, и наша драка закончилась уже при закрытом занавесе...

Показалась усадьба дома отдыха, подул ветерок, ненадолго сверкнуло солнце, небо пришло в движение: облака ворочались и уплывали к горизонту.

Можно вернуть неясные, как сон, исчезнувшие минуты и дни, но что-то утеряно и унесено временем.

Для чего я это вспоминаю?..

Чайник закипел, Стас бросил на стол связку маленьких кренделей, кротко взглянул на меня и Анатоля. День мы провели образцово-показательно, не

сказав ни слова о водке или женщинах. Не потому, что мы так задумали, а просто началось безденежье — почва, на которой распускаются чахлые цветы воздержанности.

В половине двенадцатого ночи, когда мы молча тянули чаек и жевали крендели, пришел Ашот. В распахнутом пальто, в шляпе, надвинутой на длинный лиловый нос, он шумно протолкался к своей койке, лег в чем был и уткнулся в подушку. Мы переглянулись и продолжали ритмично работать челюстями.

Тогда Ашот поднялся, подошел к столу.

— Проклятые монахи... — горячо сказал он и поставил на стол початую бутылку коньяку.

Надкушенные крендели повисли в воздухе.

— Извинись, срамник! — наставительно проворчал Анатолий.

— Такой был момент... — вздохнул Ашот и повалился на Стасову койку.

— Не оскверняй мое ложе, — сказал на это Стас. — Рассказывай, где шляется...

— В доме лесника, — отозвался Ашот голосом тихим, как эхо.

Стас налил себе коньяк прямо в недопитый чай. После него за бутылкой потянулся я.

— Чаю! — простонал Ашот.

— Много выпил? — спросил Стас.

— Бутылку на двоих, потом еще бутылку на двоих...

— Получается бутылка на рыло, — подытожил Анатолий. — Надо думать, Рая была в порядке?

— Еще бы!

— А лесник?

— Хряпнул и пошел в обход...

— Повезло, значит, — сказал Анатолий.

— У-у-у...

— Что, Ашот?

Ашот встал, скинул пальто и, не донеся до вешалки, выронил его на пол.

— Это тебе везет, понял? — сказал он, глядя на Анатолия. — Кулаки мои чешутся, но не слушаются!..

Он сел к столу и начал большими глотками пить чай.

— Валяй дальше, — проговорил Стас.

— Дрова в печке горят, тепло, хорошо, выпивка есть, девушка рядом есть, и больше никого нет... Что ты на это скажешь?

— Молчу, — сказал Стас.

— А что ты будешь делать?
— Молчать и смотреть, как горят дрова...
— Она вся в огне и говорит, что здесь, как в Швейцарии...

— А она там была?

— Я на это говорю, что бомба с эквивалентом в десять миллионов тонн тринитротолуола... превратила бы в пустыню пол-Швейцарии.

Мы скорбно опустили головы.

— Говорит, ей нравится Жан Марэ, а я так похож на него... А?

— Опасный момент...

— Нагородил ей всякой чепухи, — Ашот слегка оттаял от чая, засмеялся. — Смешно, а?

— Подохнуть можно...

— Таинственный человек, бомбы, вспышки, он смотрит на все с печальной улыбкой — умереть можно... — Ашот обвел нас пьяными глазами. — А она вся в огне...

— Ангел...

— На том свете зачтется...

Потом мы все замолкли, и стало слышно, как за стенами завывает ветер и хлопья снега несильно бьют по стеклу. Ночь, и мы четверо у огня, в чашках дымится и стынет чай с коньяком. А где-то далеко-далеко, на пустынной равнине или на затерянном в штормовой мгле острове аukaются часовые. Ночь велика, ночь дана, чтобы спать, и на белых простынях, в жаркой комнате ворочаются, страдая бессонницей, люди. Похож ли кто из них на меня или Ашота? Улыбаются ли они, как оружейники, пробующие острие булатного меча, или бывают непроницаемыми, как философы, когда ранним утром пылает, горит неземным огнем небосвод? И шутят ли, приняв за жаркое обугленную птицу, неосмотрительно залетевшую близко к эпицентру взрыва?

Ночь, горький чай обжигает глотку, все вещи на местах, ничто не изменилось, но что-то изменилось в нас самих.

Мы тушим свет, лезем в постели, в темноте смутно белеют простыни, вздыхают, ворочаются ребята.

Мне жарко — скомканная простыня летит в угол, мне тесно — и я руками сдерживаю сходящиеся стены. Но комната раскалена, как саркофаг, забытый в схва-

ченной пожаром пирамиде. Нескончаемая ночь, и я наедине с ней, не слышно мышей, они спят, им жара ни почем. Одиноко, душно, темно, из желудка горячим, удушливым ртутным столбом подбирается к горлу тошнота.

Где антибиотики? Вот они, я нашарил их на жаркой, липкой от моих ладоней тумбочке. Несколько таблеток, глоток воды. Мне надо сохранить ясность мышления.

В тот вечер я долго искал Стаса — в столовой, в бильярдной, на закрытой площадке для бадминтона — и потом только отправился в танцевальный зал, где играл молодежный оркестр.

Ашот и Анатолий танцевали, Лена сидела в углу одна и, увидев меня, поднялась, пошла навстречу.

— Вот и ты пришел, — сказала она.

— Да, — сказал я рассеянно и ждал, когда танец кончится и Ашот подойдет к нам.

— Потанцуем, — предложила Лена.

— Нет. Мне надо уходить... — сказал я.

— Почему?

— Не знаю почему, но мне надо идти...

— Мне так хотелось, чтобы ты был здесь.

— Это пройдет.

Лена, кажется, обиделась и ушла в свой угол, а я пробрался между танцующими и взял Ашота за локоть.

— Где Стас? — спросил я его.

— Понятия не имею, — сказал он, недовольный, что я остановил его и Раю во время танца. — Он был какой-то чокнутый с утра. У него бывают заскоки, потанцуй, старик... Может, вздумал волчью ночь устроить...

"Волчья ночь" — хорошо сказано и сказано, насколько помню, Джеком Лондоном. Такой у него есть рассказ.

И на улице, куда я вышел, начиналась эта волчья ночь — ветер завывал, как в аэродинамической трубе, над сугробами развевались белые лохматые султаны. Я побежал вдоль аллеи к нашей берлоге, и по обеим сторонам постанывали, ухали деревья. Я открыл дверь холла, вошел и включил свет — лыж не было, Стас ушел.

Стас мне ничего не говорил о волчьих ночах. Но

он что-то сказал однажды, только я плохо понял, потому что слушал рассеянно, поглощенный своим...

Кажется, что-то об идолопоклонстве. Да, человек склонен придумывать для кого-то достоинства, которыми он сам не обладает и исключает возможность, что они у него могут быть. Потому что они из области сверхчеловеческого.

И когда такое начинается, Стас бросает перчатку языческим божествам: ветру, воде... Один раз его целую ночь носило на перевернутой лодке по штормовому Каспию... Другой раз он два часа просидел в трясине, выбрался, используя ружье, как опору... А теперь происходило то самое, о чем он говорил: мы придумывали людей, о которых ничего не знали, но должны были обладать их качествами. Где-то жили эти загадочные прототипы. И вдруг возникает мысль, что они недостижимы, как боги. И это вызывает чувство собственной неполноценности.

Лыжный костюм и ботинки я натянул за несколько минут, но показалось, что этого мало — надел сверху свитер Анатоля. Ветер словно не хотел выпускать меня, шквально обрушиваясь на дверь. Я толкнул ее с разбегу плечом, вылетел на крыльцо и прокатился по склизким ступенькам. По аллее вниз, до калитки, а дальше стезжа через поле вела к реке. Если он ушел этим путем, я пойду следом и где-нибудь набреду на его костер.

Лыжи катились хорошо, я добрался до калитки быстро. Она была сорвана с петель ветром и лежала, наполовину занесенная снегом. Здесь я постоял, теперь надо было идти в крошечную пустоту, откуда кто-то злобно швырял в меня холодными ошметьями. Но я сбился с тропинки сразу же, как отошел от забора. Никаких ориентиров — темень, снег слепил глаза, ресницы заledenели. У человека нет кошачьей интуиции, попав в стихию, он начинает думать, а это плохо. Нужно просто работать и следить, чтобы левая, немного искривленная лыжа постепенно не уводила в сторону.

Мне бы прежде всего выйти к реке. Когда я стоял у калитки, ветер дул со стороны реки. Попытка представить свое пространственное расположение вызывает геометрические абстракции. Если взять отрезок реки и тропинку за катеты, мне лучше всего двигаться по гипотенузе — тогда ветер будет с правой стороны.

Главное — сохранить согласованность движений. Они должны быть ровными, без резких перепадов.

Сейчас все зависит от меня самого. Человек перестает быть высокоорганизованным существом, если у него сбивается ритм, тогда он — мечущийся, затравленный, беспомощный зверек, винтик, действия которого программирует более самостоятельное устройство...

Вот и берег — занесенная вперед палка повисает в пустоте.

— Ого-го-гей! — кричу я, но крик застывает, едва вырвавшись из рта.

Остается идти вдоль линии берега, чутье подсказывает мне, что Стас ушел не очень далеко.

Я сделал несколько шагов и вдруг почувствовал, как осел подо мной снег, лыжи перекошились. Раздался всплеск, лицо обдало ледяными брызгами, я погрузился в воду. Полынья! Я подавил крик, подкативший к горлу тугим, горячим комом. Первым делом зацепиться за кромку льда и освободиться от лыж. Они — как лопасти парового винта. Правая сломана пополам, но держится на креплении и норовит вернуть ступню. Если попробовать поднырнуть и отцепить стопор крепления? Затянет под лед, и тогда поминай как звали. А что, если повисну на льду и сильно дерну правой ногой? Ага, получилось... Обломки соскочили и поплыли, царапая низ льда. С левой ничего не удастся, нога занемела и не слушается. Холод сковывает меня всего. А вдруг это конец? Тогда к черту идиотское самообладание.

И я кричу.

Молча подышать в полынье? Я карабкаюсь на лед, но руки соскальзывают, а лыжа по-прежнему тащит вниз.

Осталось немного, и начнутся судороги.

И я снова кричу. К черту самообладание. Даже волки засвидетельствуют, что я держался молодцом и расчетливо боролся за существование. Кажется, теперь стынет мозг.

Сердце — единственный теплый кусочек ткани — бешено бьется. Интересно, сколько оно будет биться, когда надо мной сомкнется вода?..

Последний рывок, последний сдавленный крик, и чей-то близкий голос уже лишен смысла...

На небосклоне дрожит, пылает огненный шар. Его свет пронизывает насквозь мельничные жернова, и я машу рукой, показывая Наське воздушные очертания плотины: как она сдерживает толщу воды, не рушится?

Рыбы мечутся за ней, как за стеклом аквариума, среди них Клеопатра, королева в ярко-красном шелковом одеянии. Пахнет мокрыми сваями, раскаленными камушками, я купаюсь в горячем воздухе, черный и легкий, как мумия... Когда от зноя начинают трескаться губы и раскалывается череп, я навожу на огненный шар осколок темного стекла и отдыхаю в его тени. Осколок круглый, точь-в-точь ложится на пылающий шар, и тогда я вижу багровые, клубящиеся хвосты протуберанцев.

Потом меня везут на арбе по пустыне, и там тоже жарко, но я фараон, и никто не верит, что мне жарко и хочется пить. Я, маленький, измученный жаждой, смотрю на упирающуюся в небо каменную глыбу, из которой высекают меня. Тысячи резчиков по камню лежат у ее подножия с судорожно раскрытыми ртами, но я уже утолил жажду зрелищем собственного величия и велю рубить головы этим притворщикам.

Восходит огненный шар. Разгораются морозные рисунки на стеклах. Желтым пламенем охвачен потолок. Восходит солнце.

Чья-то ладонь крепко прижата ко лбу. Это Лена.

— А где Стас? — спрашиваю я.

— Пошли добывать антибиотики, — отвечает Лена и внезапно кладет голову на мою грудь. Волосы ее прохладной струей льются на мои открытые плечи.

И я вспоминаю волчью ночь, геометрические расчеты, пригоршни снега, летящие из пустоты, леденящий черный зев полыни, последнюю вспышку сознания, близкий голос... Знает ли Лена, что это — всего-навсего от нервного потрясения и простуды? Или ей ничего не известно, и она думает о той, не моей болезни?

— Хочешь, я буду всегда с тобой? — спрашивает она, не поднимая головы.

Я не успеваю ответить.

Дверь распахивается, и в комнату входят ребята. Лена встает и выбегает в холл.

Мы со Стасом смотрим друг на друга.

Как много можно сказать, не промолвив ни слова...

И снова пахнет мокрыми сваями, но сваи уже не деревянные, а из бетона. Мы спускаемся по ступенькам в подземелье, в лабораторию, открываем тяжелую дверь реакторного зала, а там, посередине, сверкает, лучится медный самовар, и Капитан с улыбкой

на похмельном, зеленом лице раздувает его сапогом. Мне хочется уйти, бежать наверх, к солнцу, к жерновам, в душистые, вкусные травы луга, к тихой заводи, где плавает Наська, рассекая прозрачную воду тонким рыбьим телом. Но мне не оторвать взгляда от гудящего самовара, в который Капитан все бросает и бросает черные, как антрацит, куски урана. Он пьяно смеется, забыв о критической массе, и поток нейтронов, призрачно светясь, движется на меня. Где-то в кармане лежит бутылочный осколок, я ищу его, чтобы убежать от этого сияния.

Рыбы мечутся, дико суетятся в аквариуме, тычутся головками в стекло.

Сияют стены, сияет окно, и в стекло мягко стучатся тополиные листья.

Восходит майское солнце.

Прошла такая длинная ночь.

— ...Спал мало, беспокойно... — вполголоса говорит кто-то в коридоре.

— Сделайте укол, несите завтрак... Через час повезем в экспериментальный корпус...

— Дарья Петровна, на одну минутку, а? — голос Славки Курылева.

— Нельзя!

— Дарья Петровна!

— Я уже сказала...

— Пустите его! — кричу я, приподнимаясь на руках. — Славка!

В синей застиранной пижаме Славка входит в комнату, садится возле меня.

— Здорово, брательник! — он делается тусклым, мнется, как будто хочет спросить, но не решается.

— Клизму ставят? — спрашиваю я его.

— Сидеть уже на твердом невозможно...

— Так-то.

— Да... Создана комиссия по расследованию причин аварии.

— А котлован?

— Опечатан. В спячку месяца на три, а то и на полгода.

— Как же они установят причины?

— Спрашивать будут... нас, всех, тебя.

— Вы уже придумали, что рассказать?

— А что рассказывать — услышали сигнализацию, побежали... Вот и все. Это ты...

— Как Капитан?

— Не знаю. Не показывается из палаты. Мы уже по городу гуляли, а он даже домой не захотел. Молчит как рыба. Говорят, его приказом перевели в другое здание.

— В кладовой хранится две тонны уранового раствора.

— Ничего с ним не случилось.

— В герметических канистрах.

— Мы же вместе там работали, знаю...

Мимо профилактория, стуча сапогами, проходят солдаты. Идут на стрельбище, поют. В коридоре позванивает посуда — мне несут завтрак. Славка смотрит сквозь меня, что-то соображает.

— Да, — говорит. — Да-а...

— Ты ничего не знаешь, — говорю я. — Я жду, когда он придет сюда сам.

— Капиташка — парень вроде был ничего... Писал диссертацию, чуждые детишки...

Он встает, пропускает у двери медсестру Зину с подносом, оборачивается:

— Я еще загляну, старик!

12

В лабораторию ядерной безопасности я устраивался около двух месяцев. Славка Курылев уже работал там и звал меня к себе всякий раз, когда мы встречались в институте.

И после возвращения из дома отдыха и зимней сессии я написал ректору заявление с просьбой перевести меня на вечернее отделение.

Два месяца, предшествовавшие зачислению лаборантом-химиком, — не такой большой срок, если учесть, что каждое оформление на работу доставляет отделу кадров массу хлопот.

Все это прошло, и первый раз я спустился по узкому тамбуру, первый раз отметил, как надежна система запоров наружной двери. Пультовая — она была похожа своей чистотой и продуманностью оснастки на фармацевтический цех. И большинство исследований, проводимых у нас, было направлено на то, чтобы установить пределы безопасности в обращении с урановыми соединениями на атомных электростанциях. Вот и все, что я могу сказать о нашей лаборатории.

Стояли апрельские дни, и небо окрашивалось в теплые голубые тона. Незаметные зимой, березы засверкали белыми стволами. Звенели ручьи.

В светлом, словно умытом вестибюле общежития, где у меня была маленькая комната, ждало письмо из Астрахани, мокрое — не иначе, как почтальон упал и выронил содержимое своей сумки.

”Серега, поросенок ты эдакий!

Ты мне первым обещал написать, что и как, а тут уже с моря потянуло теплом — от тебя никаких вестей. Мне бы надо смолить лодку, чистить ружье, а я пишу тебе, такому поросенку, письмо. Я дважды звонил тебе по межгороду, твой деканатский телефон у меня записан, но каждый раз отвечали, что тебя нет и, возможно, не будет. Что это значит, старина?

Девчата прислали три письма, и на все я отвечал от нашей четверки. Спрашивают, как и что, а я вру, что вы в командировке, я же задержался по причинам, о которых нельзя ничего писать.

Так что игра продолжается.

Самое любопытное, старина, в том, что она продолжается во мне, где-то внутри, как остаточная реакция, которая, может быть, никогда не погаснет. Она как бы стала частью моей сознательной жизни. Получается какая-то слитность лично моих поступков, качеств с поступками и качествами тех, кого мы придумали. Ты понимаешь меня, старина?

То есть я — это не только я, а еще кто-то другой, наверно, лучше и сильнее меня, и все это во мне одном. А?

Я не стал об этом говорить Ашоту — он бы подох от смеха или посмотрел бы сочувствующе. Он теперь профсоюзный босс, с портфелем, всегда чисто выбритый и при шляпе. Ему обещают квартиру с условием, что он женится. И он меняет по три кадра в неделю — отбор у него железный. А я целыми днями гоняю импульс в новой установке, через месяц стыковка, начинается запарка — будни инженера-электроника. Как все-таки у тебя? Что замышляет пан? Напиши хоть пару строк.

Твой Стас.

Р. С. Девчата, я о них напишу потом подробнее, с последним письмом прислали вырезку из ”Огонька”.

На обложке — Баталов в "Девять дней одного года" и приписка: "Какое сходство характеров, духа". Говорят, фильм ничего, но у нас еще не шел. Если посмотришь — напиши.

Райка все допытывается насчет Ашота. И я уже решил, что в ответном письме с прискорбием сообщу им, что он умер в пункте А или в пункте Б во время испытаний. Будут ли какие-нибудь дополнения?"

Я торопливо взбежал по лестнице. Теперь мне было что написать Стасу. И раньше я мог бы черкануть ему, но я все время думал, что напишу о более значительном.

Когда я открыл дверь своей комнатухи, из дверной ручки выскользнул и шлепнулся на пол серый конверт. Я поднял его — это было письмо из журнала О. На фирменном листочке — ровный машинописный текст:

"Уважаемый товарищ Тураев!

Мы внимательно ознакомились с Вашим произведением. Отдел художественной прозы решил рекомендовать его редакционной коллегии журнала. Но прежде хотелось бы, если Вы сможете в ближайшее время приехать к нам, побеседовать по поводу некоторых разногласий, возникших при чтении Вашей вещи.

С приветом литературный консультант отдела художественной прозы".

Длинная сосулька сорвалась с карниза и разбилась внизу с веселым стеклянным звоном. В лучах апрельского солнца сияла потемневшая березовая роща.

"...Лейтенант третий день снимал номер в гостинице. Голландская, пожелтевшая печка была жарко натоплена и, несмотря на то, что форточка оставалась открытой, лейтенанта разморило, заснул. Спал недолго, встал, вынул из-под подушки тяжелую кобуру. Умываться не стал, только протер вялое, сонное лицо жестким полотенцем, подошел к окну. Отсюда, со второго этажа, он видел дощатый тротуар, людей, снующих взад-вперед; кто-то пронес воздушные шары, они были покрыты инеем, и не разобрать, какого цвета; черная старушка семенила, неся на плече облезлую елку, и лейтенант усмехнулся: кругом тайга. Вспомнил: сегодня последний день старого года.

Он надел белый полушубок, надвинул шапку на лоб и, заперев номер, спустился вниз.

Городок был небольшой, поселкового типа, и лей-

тенант уже знал каждую улицу, знал, сколько примерно людей проживает в нем и сколько собак. И сейчас, гуляя перед универмагом, он узнавал лица, виденные в кинотеатре, где смотрел один фильм три раза подряд, в чайной — там было неплохое бочковое пиво, в столовой — тут лейтенант поморщился: готовили плохо, спустя час после обеда желудок ворчал, требуя еды.

Он знал и не знал, почему ищет его здесь.

Еще в колонии он прикидывал, в каком направлении он мог уйти. Зима, бездорожье и три населенных пункта, отдаленных от места заключения почти одинаково. Три расходящиеся линии — это он рисовал тогда на снегу тонким прутиком, доведенный до состояния, когда уже не замечал, что его могут застать за таким занятием.

Порой он ставил себя на место беглеца, и тогда неизменно получалось, что тот должен был выбрать только этот город. Остальные два пути привели бы его на прииски, а там каждый старатель на виду, и появление незнакомца не остается незамеченным.

Поэтому лейтенант приехал сюда, и вот уже третий день толкался в самых значных местах, чувствуя, однако, что он плохо знаком с работой сыщика. Он терял всякую надежду, но временами чутье отчаявшейся ищейки подсказывало ему, что не все потеряно.

Из деревянных домов, крытых черепицей, тянуло пахучим дымом, наступали сумерки, улицы становились все пустынее, и стояла пугливая тишина — предвестница скорого застолья.

Ноги понесли лейтенанта на пустырь, начинающийся за городом, там была хорошая, утоптанная тропа — к реке.

Несколько тепло одетых горожан повстречались ему, пока он шел к берегу. В руках они держали сколоченные из некрашеной фанеры ящики, за спинами — брезентовые мешки. Рыболовы.

Лейтенант зашагал по шершавому льду, изредка останавливаясь возле лунок, нашел свежую, еще не затянутую прозрачной коркой, лег плашмя и дотянулся губами до студеной воды.

Там и сям еще чернели спины рыболовов.

Лейтенант проходил мимо них, как бы интересуясь уловом, шел дальше.

У предпоследнего были две лунки и вокруг одной валялся десяток мерзлых ершей. Лейтенант хотел уже пройти к последнему, как вдруг остановился, будто

услышал сзади тихий окрик. Он повернул ослабевшее, непослушное тело назад и увидел немигающие, спокойные глаза.

— Какими судьбами, гражданин лейтенант? — голос был приглушенный, будто из-под льда.

Лейтенант не сразу нашелся. Машинально коснувшись сквозь карман полушубка теплой тверди оружия, он подошел ближе и опустился на корточки.

— Ловится? — спросил он, постепенно успокаиваясь.

— Кому как... — неопределенно сказал рыболов. — Рыбка и та не без ума, гражданин лейтенант... На крючок не враз идет..."

Все это я знал наизусть, прочитав рукопись четыре раза, и теперь, побродив по коридору редакции, готов был вести разговор. Но я еще прогулялся до машинописного бюро, откуда негромко доносился частый стрекот, заглянул в ватерклозет и только после этого постучался в отдел.

Солнечные лучи, пересекающие небольшую комнату, были синими от табачного дыма. Двое сидевших на диване, увидев, что я вошел, торопливо собрали с колен листы, попрощались и ушли; я только и успел заметить, что у обоих уши были красные.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Добрый день! Присаживайтесь... — сказал третий, он стоял возле стола, завязывая тесемки толстой красной папки. — Вы что-нибудь принесли или оставляли?..

— Да, — ответил я и назвал заглавие дедовской рукописи.

— А-а... Вы были у нас как-то, я помню...

— Месяца полтора назад.

— Помню, помню. Присаживайтесь.

Я сел на диван.

— Рукопись мы прочли — в целом она сделана на определенном уровне. До этого где-нибудь публиковались... как вас... Сергей?..

— Просто Серега, — сказал я. — К тому, что я делал, отношение у меня довольно скептическое.

— Хм-м, — сотрудник журнала закурил и посмотрел на меня с хорошей улыбкой. — Работаете, учитесь?

— Совмещаю то и другое.

— Ну ладно... Давайте, как говорится, ближе к делу. Насколько я помню, эту вещь вы написали, взяв за основу...

— Рассказы одного моего приятеля.

— Он следовательно?

— Он был эком.

— Понятно. Возможно, поэтому некоторые места, с профессиональной точки зрения, получились не совсем убедительными.

— Вы имеете в виду следовательно точку зрения?

— Хотя бы... Взять эпизод преследования и гибели неизвестного. Вы уверены, что в таких случаях труп передается земле? А не доставляется в колонию для опознания другими лицами?

— Этого я не знаю...

— И если лейтенант решил замести следы, лицо убитого должно быть обезображено, а об этом ничего не сказано...

— Да. Но вы учитываете, что случай был не типичный? В колонию нагрянула комиссия, и начальство во избежание скандала могло не потребовать всех формальностей.

— Допустим... С этим можно согласиться, правда, с натяжкой. Но вот вся эта история подходит к концу. Лейтенант в Н-ске, он разыскал беглеца. Сумерки, пустынная речка, они спокойно разговаривают, все это неплохо, но потом лейтенант решает убить его. Рассчитанно, возле проруби. После выстрела в сердце он бросает убитого под лед. И это после того, как вы пишете, что он, лейтенант, не видел в нем потенциального преступника. Он пришел к выводу, что тот завязал окончательно и бесповоротно...

— Он убил его из-за страха. Что бы он ни делал после драмы на опушке, им руководил страх.

— Хорошо. Он уезжает на попутной, у него больше нет причин бояться разоблачения. И все-таки он на полпути, в полночь, когда ему чудится бой курантов, сходит с машины, углубляется в лес и больше не появляется.

— Да, в вашем пересказе получается детектив с дикими противоречиями...

— Кажется, я читал внимательно, я бы сказал, запоем...

— Но то, что вы говорите, только материя...

— Ну-ка, ну-ка!

— Когда настоящий бильярдист берет кий в руки, он не замечает, из какого материала сделаны шары, чем обито поле.

— Я вас понял, — сотрудник прикурил погасшую сигарету, забарабанил пальцами по столу.

— Может быть, вы не обратили внимания на то, что

он думал в самом конце этого рассказа? — сказал я, мне нечего было терять, и мне казалось, что сотрудник умышленно разбирает рукопись так прямолинейно.

Но он не ответил мне. Дверь открылась, и пожилой человек усталым, хриплым голосом сказал сотруднику:

— Зайдите на минутку.

В отделе я остался один.

“...Теплый, с густым бензиновым перегаром воздух мягко обволакивал лейтенанта, старый грузовик плавно переваливался через снежные заносы. Подташнивало. Лейтенант рассчитывал, что выпитая с шофером бутылка водки, а пили-то без закуски, разморит, потянет в сон, однако ошибся. Внутреннее напряжение усиливалось, и мысли пронизывали мозг, как молнии непроглядную тьму, боль колотилась в висках, от нее невольно сжимались зубы и прерывалось дыхание

Он убил его в течение одной минуты, и все это запечатлелось в памяти смутно, и когда лейтенант силился вспомнить, перед глазами носились лишь расплывчатые, неясные видения. Покорно идущий впереди человек, судорожный жест левой руки, которой он схватился за лоб, хотя выстрел был произведен в упор, в сердце. Остальное он не помнил совсем, очнувшись, когда рядом затормозила машина, лязгнула дверца и шофер крикнул:

— Ты бы еще из-под колеса голосовал, чудак!”

Сотрудник вернулся, распахнул окно, и с улицы ворвался шум автомобилей, голоса, потянуло запахом сырого мела и газolina.

— Лейтенант подумал, что весь мир катится к пропасти, — сказал он, сощутив глаза в хитрой улыбке.

— Нет, он думал о собственном несовершенстве. Дух его колебался, когда на опушке произошла ошибка. Случайную ошибку он превратил в преступление. После пережитого он ударился в мистику. Ему казалось, что над людьми витает некое всеобщее зло — из-за несовершенства он стал его орудием. Он начал думать, что двоих умертвил физически, а в сержанте и стрелке убил что-то бестелесное, когда сделал их сообщниками, и не сомневался, что они поступят, если придется, так же малодушно и подло, как он на опушке...

— А как вы думаете насчет какой-нибудь другой концовки? Я понимаю, это трудно, но что-то менее подавляющее читателя.

— Вы мне верните рукопись, я еще подумаю, — сказал я.

— Да, обязательно что-нибудь придумайте... И приносите.

Я вышел из редакции и постоял на просохшем асфальте, соображая, как попась в журнал М. Может, отложить на некоторое время, а сейчас из ближайшего автомата позвонить Ленке в Третьяковку? Но она заканчивала работу поздно. А что, если с этим тоже подождать? Не мог же я прилететь в Москву с трешкой в кармане...

13

Экспериментальный корпус похож на строгую, застигнутую мысль. Архитектор вложил в него столько оптимизма, так реальны и четки его линии, так широк и наивен взгляд его окон на нежную дымчатую зелень березовой рощи, что только мрачный сатирик мог бы увидеть в нем преддверие в иной мир.

И камера, куда меня вводят, изнутри цвета слоновой кости, сверкает никелем и пластмассой. Я ложусь на жесткую, обитую клеенкой площадку. Чернявый, усатенький лаборант раскручивает надо мной набалдашники раструбов. Их три, три пушечных жерла, нацеленных на грудь, живот и ноги.

Лаборант уходит, сказав, что оставляет меня примерно на час, и я, если охота, могу поспать.

Закрываются тяжелые, в крупных заклепках двери, и наступает тишина сурдокамеры, бытующей у космонавтов для проверки психической устойчивости в условиях неземного одиночества.

Жерла раструбов дышат холодом, и я поеживаюсь, будто раздет догола, и знаю, что огромная толпа зевак разглядывает меня через черные отверстия.

— Уважаемые коллеги, — будто слышу я дребезжащий голос бородатого старика. — Этот индивидуум представляет собой совокупность всех качеств человеческого рода, выработанных за все время его существования... Он явился жертвой небывалого технического прогресса и несовершенства человеческого духа одновременно...

Оставьте меня в покое, борода!

Здесь должно быть тихо и одиноко. Не хватает

только звезд на потолке — как полтора года назад в нашей берлоге, когда я лежал в ожидании ребят на койке и думал о своем. Я смотрел на неподвижный рисунок Большой Медведицы левее бронзово-сосулистой люстры, дышал неровно, как великий артист. Сейчас это немного смешно, но тогда я чувствовал, как близок момент перевоплощения — ты остаешься самим собой, но что-то чужое становится твоим, вопреки воле изменяя образ мыслей, представление о вещах. Но нет условности театра и вместе с этим насильственного вхождения в образ.

И я еще почему-то думал, что никогда не помнил моего настоящего отца, он был загадкой для меня, исчезнувшим божеством. И всего несколько земных предметов, говоривших о его давнем существовании, — желтая картонная фотография и старый бритвенный прибор да верстак, на котором он строгал. Этого было так мало, как верующему икон с Христом, пока чтением религиозных книг и воображением он не внушит себе веру в то, что наместник бога на земле жил, страдал.

Я не обвинял мать в притворстве, когда она просила меня звать отчима отцом, но, сколько возможно, избегал этого. Было начало осени, когда она позвала меня с улицы и сказала, что умирает. Две бабки вышли в сени, и тогда она, зарывшись лицом в мою пропахшую рыбой рубашку, заплакала.

— Он у тебя в моряхах был, — сказала она. — Добрый был, сильный... Война, сынок... Остальное... Хотела, чтобы тебе было лучше... Не судьба, значит...

Как мало было всего, чтобы я думал об отце вещественно, зримо, и о том, чего во мне больше — наследственного или добытого в игре жизни.

Тишина. За стенами камеры, в пяти шагах от меня, возле электронного пульта, сидят люди, исследуют пораженное тело. И мне кажется, что я слышу дыхание огромной толпы, собравшейся у пульта. И потрескивание костров — их много, они тянутся по холмам и лощинам далеко к горизонту, их целое созвездие. Мой приемник настроен на волну короля Непала, и сквозь грозовые разряды, взбудораженный, дико свистящий эфир, обрывками долетает сюда его хриплый голос.

— Ай кинг оф Непал... Что у вас делается?

— Темно, только костры, — отвечаю я, сам еще не зная, почему темно и разложены костры.

— И у нас ночь, всюду горят костры, — говорит он. — Но где же солнце?

— Его не будет, пока люди не выяснят, свалил ли я дурака, заглушив реакцию в атомном котле, — отвечаю я и улыбаюсь этой внезапной догадке.

— Но как ты сам считаешь?

— Я еще не разобрался во всем этом...

— Люди соседнего государства воруют у моего народа дрова для костров...

— И ты выдвинул войско.

— Да, военного конфликта не избежать...

Скрежещет, беснуется эфир. Белая молния вспарывает темноту. Двери камеры открыты, входит лаборант, заслонив спиной яркий узкий пучок солнечного света.

— Сеанс кончился, — с улыбкой говорит лаборант, берясь за набалдашники раструбов. — Что-нибудь пришло?

— Ничего особенного, — отвечаю я и вытираю платком потный лоб.

”Та-та-та... Та-та-та...”

Шум работающего двигателя не слышен и, по мере того как мы приближаемся к стрельбищу, остаются одни только звуки выстрелов. Потом стрельба обрывается — тихо, очень тихо, и в этой тишине медленно идет мимо ”фантом”. Я наблюдаю за ним и нахожу, что он чем-то похож на меня, красивый, окруженный красноватым, дрожащим сиянием. ”Фантому” надоело лежать, и он вышел на прогулку, и солнце просвечивает его насквозь. Это мой двойник и призрак, но почему он бросился бежать, вскидывая негибающиеся ноги?

Ко мне возвратился слух — улавливаю звонкий топот. ”Фантом” приближается ко мне, узнал, но в это время вдали звучит одинокий выстрел, и пуля пробивает голову призрака насквозь. Он не падает, продолжает бежать ко мне, и я напрягаюсь, чтобы подхватить его.

Позади него, на краю поля, стоит Капитан, испуганно рассматривает ствол дробовика, из которого вылетает синий пороховой дым.

А ”фантом” бежит, и почему-то к груди его прижат круглый земной шар. Последний, звонкий шаг, и ”фантом” валится у моих ног, разлетаясь на составные части. И я хватаю выпавший глобус, но он горя-

чий, как пушечное ядро, которое вот-вот взорвется. И я отдергиваю руки и, зажмурив глаза, жду взрыва...

— Успокойся, дорогой, мы уже приехали, — ласково дотрагиваясь до меня, говорит пожилой санитар.

Стрельба отдалилась, машина останавливается. Выбираюсь и стою на дорожке, посыпанной крупным чистым гравием. Войлочные подошвы тапочек быстро нагреваются, щекочат пятки. В водянистой синеве неба рокошет невидимый самолет, запах цветущей черемухи, пчелиная звень.

— Серега! Смотрите, Серега!

Я вздрагиваю.

Со второго этажа из открытого окна уставились на меня гаврики по лаборатории.

— Привет, — говорю я. — Загораете?

— Ждем клизму, — отвечает Славка Курылев. — К тебе там гость...

И я вижу, как от приемного покоя мелкими, осторожными шагами направляется в мою сторону Капитан. На солнце матово светится его узкая лысина. Он ставит скрипучий старый портфель на гравий, но тот падает, и Капитан вынужден его снова взять в руку.

— Здравствуй, Сережа! — говорит он приятным, мягким голосом. — Сегодня домашних навестил, карету пригнал. — И показывает на свой "Москвич", сверкающий на солнцепеке.

— Извините, что заставил вас ждать, — говорю я. — Только что из экспериментального корпуса...

— Да, мне говорили. Сегодня из Парижа вылетает Янковский...

И он растерянно смотрит на санитаря, который подходит к нам. Мне надо в палату. Я развожу руками.

— Пойдемте в мою палату, — говорю я Капитану.

— Да, разумеется, — поспешно отвечает он и идет следом за мной.

Ему протягивают белый халат.

— Пожалуйста, недолго. — Дежурный врач провожает нас недовольным взглядом.

Пока глаза привыкают к полумраку комнаты, мы сидим молча. Потом он расстегивает портфель и вынимает оттуда баночку, покрытую миллиметровой и перевязанную черной блестящей тесемкой.

— Вот... жена осенью варила... Малиновое...

И, поставив баночку на столик, ищет обеими руками воротник, который он всегда поднимал перед тем, как начать эксперимент.

Но воротник пиджака подвернулся, руки повисают в воздухе. Я отвожу взгляд, чтобы не видеть все это.

Тогда он заплакал.

Я услышал, как из его легких вырвалось рыдание, и с такой силой сжал спинку кровати, что пальцы затрещали в суставах. Я знал, что он придет, потому что это должно было случиться. И мне казалось: много думал о нем и размышлял, но не о нем самом, а через что-то косвенное, похожее. Мы должны были встретиться, и должен был состояться какой-то разговор, но вот, против ожидаемого, ничего не получилось, только сорокатрехлетний мужчина, укрывшись локтями, плачет, плачет. Мне бы поискать слова или движения, чтобы быть участливым, но внутри произошел опустошительный сдвиг, поворот, когда все, что слышишь и видишь, теряет прежний смысл. Кажется, меня выпотрошили, вывернули наизнанку и просушили — ни кровинки в жилах.

И, может, потому, что я сижу как истукан, он перестает плакать и сморкаться в платок. Не поднимая головы, он вялой, непослушной рукой берет с пола портфель, встает и быстро выходит из комнаты.

Шаги его в коридоре учащаются, видимо, бежит вниз, и когда совсем стихают, я разжимаю затекшие пальцы. Я подхожу к окну. За забором взвизгивает стартер, резко хлопает дверца. И вот белый "Москвич" на большой скорости катится от профилактория к городу. И что-то нехорошее есть в рыжей пыли, стелющейся позади.

Я иду к двери, но в это время она открывается, и вижу Анатоля с Леной.

— Лена, — говорю я почти шепотом. — Ах, Ленка...

Комната плывет, раскачивается, и я, широко расставив ноги, ловлю ускользящую Лену протянутыми руками. Вот ее голова у моей груди, волосы пахнут зноем. Ее руки, такие легкие и горячие, ощупывают спину, будто не верят.

— Сергей...

Я целую ее в сухие губы.

Пахнет раскаленными жерновами, мокрыми сваями, близкой теплой водой — почему? И это внезапно вернувшееся ощущение бесконечного пространства, наполненного сиянием. И густые, шелковистые травы, и тяжелые, медлительные пчелы, обутое в оранжевые сапожки из цветочной пыльцы.

— Серж, там бунтует главврачиха, — говорит Ана-

толь. — Пока мы съездим в город, я покажу Лене твою комнату.

— Да, — говорю я. — Да. Я буду ждать.

— Ты что-нибудь пожуй, — Анатолий тычет пальцем в грудку пакетов и коробок, которые он выложил из саквояжа. — И ложись-ка, сын мой, ты скверно выглядишь.

В коридоре уже шумят, и Анатолий берет Лену за локоть. Лена свободной рукой откидывает светлую прядь, будто отгоняет муху.

— Сергей, — говорит Лена, продолжая смотреть на меня, губы ее вздрагивают, и она похожа на маленькую обиженную девочку. — Этот англичанин оставил нам письмо... Я думала, что ты скоро приедешь, и не отослала в Астрахань...

И она вынимает из сумочки глянцеви́тый белый конверт.

— Дайте мне прочесть письмо, — прошу я медсестру Зину, но она не на шутку рассержена, и сквозь пудру ярко проступают веснушки.

— Из-за вас меня выгонят с работы, — говорит она и, взяв меня за рукав, тащит к двери. — И вообще вы такой недисциплинированный...

И мне ничего не остается, как покорно плестись за ней в процедурную.

Письмо от англичанина. Мне казалось, что я про него совсем забыл, но теперь отчетливо, без особых усилий вспомнил этого странного человека.

Тогда я ездил узнавать судьбу рукописи, был июль. Накануне была получка, я купил себе белую синтетическую рубашу, приличные ботинки и такой нарядный приехал в Москву. В этот раз я непременно должен был повидаться с Леной.

В журнале седенький очкастый дядя вежливо вернул мне рукопись. У него был откровенно доброжелательный тон и манера смотреть через собеседника, как будто в отделе присутствовал кто-то третий, к которому он обращался. Он говорил, что есть весьма удачные места, но его огорчила незрелость произведения в целом и неверность трактовки некоторых вопросов. В частности, почему лейтенант, о котором вначале автор пишет, явно симпатизируя ему, вдруг оказался такой низменной натурой? Почему он, воспитанный в духе гуманистического отношения даже к закоренелым преступникам, знающий опыты Макаренко, не пожелал вернуть беглеца в колонию? Боялся кары? Но ведь он в конце сам осудил себя, когда могло бы

обойтись лишением свободы на несколько лет за совершенную им ошибку и обман высшестоящих лиц.

Я не возражал и не защищался. Я думал тогда больше о Лене или хотел думать о ней, чтобы не совсем пасть духом, слушая откровенно доброжелательный голос. И обрадовался, когда рукопись легла на край стола и мне была протянута мягкая рука. Было сказано напутствие и теплое пожелание. И когда я выходил из отдела, последовало заверение, что редакция будет только благодарна, если автор принесет нужную вещь.

Потом я позвонил Лене. Она не узнала моего голоса. Я соврал, что прилетел из Астрахани и утром должен отбыть.

— Сергей, так это ты? — спросила она, наконец узнав, кто с ней разговаривает. — Звонишь откуда? Я сейчас девочек собираю!

— Пожалуйста, не надо, — сказал я. — В этот раз я инкогнито...

— Ой!

— Да, Лена. И жду тебя на Тверском бульваре.

— Хорошо, я быстро.

Через полчаса она пришла. Я еще издали, устроившись в тени клена, наблюдал, как она шла, вглядываясь в лица прохожих. Потом приостановилась, откинула прядь волос, снова пошла, теперь уже неторопливо. И тогда я зашагал ей навстречу. Я тоже старался идти солидно, прямо, но тянуло разбежаться, поймать ее и закружить. Такая она была легкая и уютная в своем летнем платье теплых густо-золотистых тонов.

И все-таки я не побежал, только чуть прибавил шагу и остановился, подойдя к ней вплотную. Надо было что-то сказать, но я, кажется, испугался принятого "Здравствуй!", она тоже промолчала, и только глаза ее, блестевшие под слегка выгоревшими ресницами, как бы вздохнули, делаясь темнее. Затем она поправила на мне сбившийся галстук, а я задержал ее руку, и так мы стояли с минуту.

— Пошли, — сказал я.

— Куда?

— Да так... Куда-нибудь.

— Ты где остановился?

— Нигде, Лена. Я сделал все, что надо, билет в кармане...

— Я провожу тебя утром.

— Извини, не люблю, когда провожают, — сказал я,



вспомнив Деда. — Ты мне расскажешь, как вы тут живете?

— Скучно, — сказала Лена и, что-то вспомнив, поджала губы. — Иногда встречаемся, треплемся... У Райки роман со знаменитым боксером. Сначала тосковала, когда узнала об Ашоте... Как это произошло, Сережа?

Она долгим, тревожным взглядом посмотрела на меня, но я отвернулся, делая вид, что рассматриваю тусклые, запыленные кроны деревьев.

— Это было несколько неожиданно, — сказал я. — Хотя мы и догадывались, что он продержится недолго...

— Ничто не могло его спасти?

— Медицинское вмешательство было бессмысленным.

И потом до Арбата мы шли молча. Тонкая, горячая ладонь Лены лежала в моей руке. Казалось, что в эти минуты на свете не происходит ничего более значительного, чем наша встреча и это наше молчаливое шествие по мягкому асфальту. Я почувствовал, что если мы еще так будем брести в безмолвии, держась за руки и уединившись среди звона и гула огромного города, мне не выдержать. Я возьму и скажу, что все не так, как думает Лена, была сказка и все мы — жалкие лгунишки.

Поэтому я сказал:

— Зайдем в "Прагу"?

И там, в "Праге", мы увидели англичанина. Вернее, он увидел Лену и подошел к нашему столику, оставив компанию соотечественников, чинно сидящих в углу. Высокий, с длинным болезненным лицом, он поклонился и попросил разрешения присесть. Не то от неловкости, не то от выпитого вина у него были розовые уши.

— Вам нравится в России, мистер Беркли? — спросила Лена, познакомив нас.

— Да, я с сожалением думаю, что скоро покину вашу страну, — сказал он. — Но я непременно хотел бы еще раз посетить вашу замечательную картинную галерею... Надеюсь, вы не откажете мне в любезности, ведь вы работаете там.

Он говорил по-русски свободно, но медленно. Заговорив о галерее, он как бы подчеркнул, что каждое посещение для него имеет больший смысл, чем мы могли подумать.

— Простите за нетактичный вопрос: сколько вам лет, Сергей? — спросил он и ждал ответа, глядя на меня тоскливыми и, как показалось, виноватыми глазами.

— Двадцать один, сэр, — сказал я.

— Ваш отец, видимо, участвовал во второй мировой войне?

— Да. Он погиб.

— Он был в сухопутных частях?

Англичанин не сводил с меня взгляда. Он даже не заметил, как подошел официант.

— Еще одну рюмку! — сказал я, уверенный, что англичанин выпьет с нами.

А он и не слышал того, что я сказал официанту, он ждал ответа. Казалось, что он сейчас потеряет самообладание и повторит вопрос, но я сказал:

— Мать говорила мне, что он был мобилизован во флот.

— Подводный?

Он выговорил это, как будто всхлипнул. Я коротко переглянулся с Леной — она сидела растерянная, сбитая с толку поведением англичанина. Он заметил наше недоумение, выпрямился в кресле, достал пачку сигарет.

— Боюсь, что вы неправильно истолковали мой интерес, — сказал он закуривая. — У меня дрожат руки, и мне не скрыть этого... Все это отголоски одного драматического события, которое круто изменило мою жизнь...

Я не могу сказать, что он был подводником, я не знаю.

— Но как его звали?

— Николай Тураев.

— Николай... — произнес он вполголоса, прислушиваясь к звучанию этого имени. — Ни-ко-лай... Видите ли, эта история... — продолжал он, все сильнее беспокоясь. — Эта история...

Внезапно он встал.

— Я вижу, что вы заинтригованы, тем не менее я должен оставить вас. Обещаю, что вы все узнаете. Я увижу в галерее Элен. Всего доброго. Извините.

И он ушел, нетвердо переставляя длинные ноги, а позы следящих за ним товарищей выражали сдержанное неодобрение.

А теперь вот это письмо. Пока я был в процедурной, оно лежало за пазухой, теплое. Я ложусь на кровать и вынимаю из конверта три сложенных вчетверо листка с машинописным текстом. Письмо начинается без обращения к кому-либо, с красной строки:

"Тогда я был лейтенантом королевского военно-морского флота по особым поручениям. Осенью сорок третьего года одна подводная лодка небольшого водоизмещения, на борту которой находился и я, с секретным грузом отшвартовалась от пирса одной из гаваней Северного военно-морского флота. Штормо-

вая погода затрудняла поход. Она же, по моему мнению, делала наш путь менее опасным, потому что в штормовых условиях силы противолодочной обороны противника действовали малоэффективно.

Однако на рассвете, когда мы шли на перископной глубине вдоль норвежского побережья, слышался отдаленный шум винтов. Я лежал в кормовом отсеке, борясь с приступами морской болезни, когда близко от корпуса лодки взорвались глубинные бомбы. В отсеке погасло освещение. После второй серии взрывов лодка с большим дифферентом на нос начала погружаться, и за стальной переборкой, отделяющей наш отсек от остальных, зашумела вода. Это произошло очень быстро, и только некоторое время спустя, когда все затихло, я понял, что лодка погибла. Эта страшная мысль сковала мои мышцы, оцепенила мозг. Но скоро наступило возбуждение, и я, карабкаясь, лихорадочно начал искать выхода из темноты. Когда я добрался до переборочной двери и нашел рукоятку замка, кто-то с силой оттолкнул меня назад.

— Спокойно!

Внутренность узкого отсека осветилась слабым лучом аварийного фонаря. Моряк, который держал его в руках, прикинув ухом к бронированной двери, слушал, что происходит за ней. Но там стояла мертвая тишина. Потом он сорвал с аварийного щитка молоток и несколько раз ударил им по сферической поверхности двери. Это был условный стук, и на него никто не откликнулся.

В отсеке нас оказалось трое.

Третий подводник, белокурый молодой человек с разбитым при падении лицом, сообщил:

— В трюм поступает вода.

— Сколько времени мы сможем продержаться? — спросил я, — это были мои первые слова, сказанные после катастрофы.

— Какое это имеет значение, — раздраженно ответил мне первый подводник. — Они спускают водолаза.

Шум винтов наверху прекратился, но были слышны далекие звуки производимой работы.

— Приготовь лебедку! — приказал первый подводник своему товарищу. — А вы, лейтенант, отдрайте заднюю крышку правого торпедного аппарата.

Я охотно согласился исполнить это приказание — было похоже, что они начинают приготовление к выходу на поверхность. Мы провозились полчаса, пока

зацепляли стальные лебедочные тросы за стабилизаторы торпеды, покоящейся в аппарате.

Вода заполнила трюм и поднялась выше палубы на несколько дюймов. Напор воды создавал заметное давление в воздушной подушке. Воздух густел, и я начал дышать ртом.

Прошло еще полчаса, теперь торпеда лежала на стеллажах, и второй подводник, вооружившись специальным ключом, совершал непонятные мне манипуляции.

— Готово! — доложил он первому подводнику.

Ледяная вода подобралась к коленям. Я лег на подвесную койку. Первый подводник вынул из кармана плитку шоколада, разломил его на три части и угостил нас.

— По сто граммов бы, — сказал он с улыбкой, которая показалась мне искусственной в этой трагической ситуации.

— Хорошо бы — для храбрости, — в тон ему отозвался второй подводник.

А я уже был несколько пьян — начинался азотный наркоз.

— Антоновка сейчас самый смак, — сказал первый подводник, потушив фонарь. — Мы с батей как раз перед войной посадили двухлеток. Не пришлось попровобовать.

— А у меня сын родился после того, как началась война. Пишут, что похож на меня, — подхватил второй.

— Вы считаете положение безвыходным? — спросил я, заметив, что в их голосах зазвучали прощальные нотки. — Что мы ждем?

— Осталось еще немного воздуха, — сказал первый. — А там включим дистанционный взрыватель... Они ничего не получают.

В это время снаружи послышался металлический скрежет, и мы замолчали.

— Если они спускают водолаза, надо полагать, им было кое-что известно, — протянул первый подводник.

— Разумеется, это дело рук германской разведки, — сказал я.

— Или предательство союзной разведки, — предположил первый подводник.

— Это обстоятельство исключено, — возразил я не очень настойчиво, потому что начал задыхаться от нехватки воздуха.

— Включи-ка свет, свет! — потребовал вдруг первый.

Зажегся фонарь.

За бортом что-то скреблось.

Первый подводник вынул из кобуры револьвер и стал пускать пулю за пулей в то место, откуда доносилась возня, но там только сыпалась пробка, которой обиты были промежутки между шпангоутами. Расстреляв обойму, подводник выронил оружие, оно с бульканьем упало в воду и стукнулось о палубу.

— Извините, — пробурчал он сквозь зубы. — Так хочется схватиться врукопашную.

— Успокойся, — сказал ему второй подводник. Он снял с борта кислородный прибор и протянул его товарищу.

— Подыши.

— Мы выберемся когда-нибудь отсюда? — невольно прокричал я, возбужденный только что минувшей сценой ярости.

— Лейтенант, мы останемся здесь, — сказал первый подводник. — Я думал, что вы это поняли...

— Быть заживо погребенным, когда есть возможность спастись? — Я собрал все свои силы, когда говорил это. — Я не думаю, чтобы немцы убили нас. Это противоречило бы законам морской традиции и гуманизму...

— Хорошо, лейтенант Беркли, — сказал первый, почему-то грустно усмехнувшись. — За вашей спиной висит кислородный прибор... Но сначала надевайте водолазный костюм... Левый торпедный аппарат скрылся под водой, мы отдраим обе крышки и соединимся с морем. Вам потребуется десять минут, чтобы выбраться на поверхность.

В те минуты я не обладал способностью колебаться в своем решении. Моими действиями руководил инстинкт самосохранения. Я покорно исполнял советы подводников: они сводились к тому, как правильно пользоваться кислородным аппаратом, находясь под водой, и остаться в живых.

Все оказалось верно: через десять минут после того, как в водолажном снаряжении я полез в узкую горловину торпедного аппарата, я был выброшен на поверхность океана и увидел бесконечное, унылое небо.

Один из противолодочных кораблей, дрейфовавший над затонувшей лодкой, на малом ходу приблизился ко мне, и я был поднят на борт. С меня сняли маску. Бородатый морской офицер приветствовал меня на плохом русском языке. Он похвастался тем,

что они так блестяще накрыли подводную цель. И добавил, что я правильно сделал, покинув борт корабля, и понадобится при разборе груза, который будет доставлен со дна. Меня чуть не стошнило от его самодовольства. И тогда я прокричал, что, к сожалению, я не русский моряк, иначе остался бы вместе со всем экипажем корабля. Он, кажется, растерялся. Да, сказал я, перед вами — британский офицер. Немец тут же приказал сигнальщику доложить об этом командиру отряда.

Однако сигнальщик успел сделать всего несколько взмахов флажками. Взрыв сотряс воздух, и корабль содрогнулся. Я видел, как судно, на котором производились водолазные работы, переломилось пополам и стало тонуть. Нас накрыло огромной волной...

После бесчисленных допросов я был отправлен в Берлин, оттуда — в концентрационный лагерь. Союзные войска освободили нас, когда я лежал в лазарете в бредовом состоянии.

Воспоминания и размышления обо всем этом превращаются для меня в мучительные акты самоистязания. Они длятся иногда целые дни и ночи.

При посещении Третьяковской галереи я увидел картины, изображавшие морские баталии времен второй мировой войны. Подводные лодки и лица моряков, исполненные в реалистической манере, оживили мои воспоминания. Я явственно видел две фигуры в сумрачной глубине маленького, умирающего отсека, их глаза, плохо различимые из-за скудного освещения, но горящие нескрываемой жалостью и презрением к человеку, который покидает их.

До того, как встретиться с русскими, и после я читал и слышал об их фанатизме. Но я понял, что он не похож на фанатизм японца, кончающего с собой, прибегая к харакири. И совсем не похож на фанатизм дикаря, подвергающего себя самосожжению в религиозном экстазе.

То, что сделали двое оставшихся в лодке, было результатом их духовного превосходства.

Сопоставляя с ними себя, я пытаюсь вспомнить чьи-то мысли о человеке, как об удивительном создании природы. И что от самого человека зависит, стать ему богом или низменнейшим существом.

Ваш А. Беркли”.

Я подхожу к окну. Легкая ситцевая занавеска развевается на уровне глаз, как белый флаг. Откуда взялся ветер и откуда ощущение какой-то перемены, пока я был занят чтением письма? Не оттого ли, что пулеметы, стрелявшие вначале, теперь замолкли, и солнце катилось по наклонной, ушло за пределы видимости?

Четкая тень от забора сгустилась, стала длинней. И желтая бабочка, пересекая границу тени и света, то вспыхивает, то меркнет. Она летит зигзагом: вправо — тень, влево — ярко. Так передвигаются надводные корабли, обнаружив поблизости вражеский перископ, — противолодочным зигзагом. Лево на борт, право на борт, жизнь — смерть, жизнь — смерть... Жизнь!

За забором молодая трава зеленеет ярко, волнуется под слабыми порывами ветра, и серебристые косяки медленно уплывают в темнеющую глубину луга. Сразу за сверкающей излучиной реки к окраске полей примешивается лазурь, ровная и дымчатая, переходя у смягченной линии горизонта в колеблющуюся синеву. Узкая каемка далекого леса и очертания церкви за ним — тоже синие, воздушные. Водянисто-прозрачное, суженное у смыкания с землей небо ближе к зениту подергивается смесью бирюзы и золотистой охры. Два легких облака скрадывают головокружительную бездну небес, подчеркивают перспективу лежащей впереди дали, пронизанной красноватым сиянием.

Из синей рощицы, одиноко притулившейся на левобережье, не спеша выходит белый конь. Чуть отстав, следуют за ним две вороние кобылы, и вся эта троица спускается к водопою. Дойдя до излучины, они останавливаются, как бы в раздумье, поперек отраженного рекой света, и нет больше белого коня — три черных, неподвижных силуэта.

Тем временем тень забора все удлиняется, в небе — розовые и фиолетовые полутона, и черные крупы лошадей, зашедших в воду, окружены красным ореолом.

Запоздало стрекочет на стрельбище пулемет. И, теснясь друг к другу, скачут в свою рощу лошади, роняя красные брызги с копыт, — снова две вороние кобылы и белый конь.

Всего одна короткая очередь — впечатление покоя, вечности, созданное тихой сменой красок, игрой света

и тени, оказалось иллюзорным, исчезло. Но человек забывчив, и я скоро забуду о выстрелах, отвлекусь, а потом снова начну наивно и доверчиво смотреть на успокаивающую картину заката. До моего появления ею любовались миллиарды, и сейчас, кроме меня, видят сотни миллионов землян. Одни, глядя на все это, внезапно умиротворяются, им хочется обрести неподвижность дерева и стать частицей этого покоя и гармонии. Другие, особой категории, в своих желаниях противоположны первым: они уподобились бы солнечным лучам, чтобы лететь со скоростью 300 тысяч километров в секунду и покрывать расстояния между галактиками. Почему их так сильно тянет к скорости? Молекулы воды при нагревании отделяются друг от друга, когда скорость их движения достигает уровня, при котором первичное состояние воды нарушается и образуется пар. Является ли тяга людей к скорости подсознательным стремлением бежать из привычного уклада, из плена повседневности?

Так или иначе, человек живет в ожидании чуда, один — пассивно, как растение, другой — одержимый идеей приближения этого чуда. Одержимый создает огромные силы для осуществления своей идеи, иногда не думая об ответственности за использование этих сил. В один прекрасный день он вспоминает, что три четверти времени, сознательно прожитого человечеством, ушло на войны. И всеобщего согласия, символизирующего чудо, опять не получилось, земля не устроена.

Расщепление атома, этот великий шаг к столу благоденствия, в большой степени разнообразил арсенал насилия на будущих театрах военных действий...

От самого человека зависит, стать ему богом или...

Капитан уехал вон той оранжевой дорогой, выжимая из мотора полные обороты. Но как мала скорость его автомашины, чтобы вырваться из реальности. Ее достаточно лишь для столкновения с дорожным столбом или встречной машиной. Эта жестокая мысль не принадлежит мне, просто конец предполагаемого поведения Капитана навязан мне чем-то прочитанным.

Или он ничего не сделает и ничего не сможет, как при нашей встрече, ему будут недоступны мысли о собственном несовершенстве, потому что инстинкт самосохранения превратил его в напуганное и тупое существо...

Излучица реки начинает затухать, подергиваясь синеватым медленным туманом. Скрылись облака.

Солнце зашло, но земля еще хранит его тепло, и в воздухе сильнее обозначились запахи остывающих трав.

Я протягиваю руку, чтобы сорвать тополиный листочек, но тут же отдергиваю ее, увидев около локтя темное круглое пятно. Такое пятно есть и на правом предплечье. На животе, в паху. Это ожоговые пятна. Они появляются в тех местах, где поверхностные ткани облучились особенно сильно.

Как давно это было — сверкающая пластмассовой отделкой пультовая, колокола громкого боя, мигающие красные лампы, желтый, грязноватый пар у потолка реакторного отсека и Клеопатра с мальками, забившаяся в стеклянный угол аквариума. И та уравновешенность, с которой я работал, подчиняясь странному внутреннему ритму.

Я ощущал зной, палящий голову, обжигающий подошвы ног, и в горле было так сухо, что я не мог даже шевельнуть языком. Я сумел бы просто убежать от реактора к выходной двери, которую собственноручно запер изнутри. Может быть, я не раз, пока возился с аварийными стержнями, был близок к тому, чтобы сорваться со всех ног, но что-то сдерживающее, противоборствующее страху заставляло меня спокойно действовать. Вот это и было вроде внутреннего ритма.

Я увидел контрольный прибор, показывавший нарастание мощности реактора — информация, подтверждающая, что наше бегство оправдано. Но ее было достаточно, чтобы вспомнить о тоннах расщепляющегося сырья за метровой бетонной стеной. Или я преувеличил опасность, когда подумал об этом? Тогда следует упрекать самого себя в излишней игре воображения. Своял дурака. Для меня опасности почти не существовало: я убегал и знал, куда спрятаться, чтобы не пострадать от взрыва, если бы он произошел. Но мысль об опасности, пусть даже мнимой, возникла, и я должен был либо пренебречь ею, либо принять решение вернуться. И я выбрал последнее. Сказать, что это было безрассудство? Однако действия мои были под-сказаны здравым смыслом — в первую очередь я выключил вентиляцию, соединявшую зараженное помещение котлована с наружным пространством...

Подул ветерок, неся из сумеречного простора запах свежеевыпеченного хлеба и жженого пороха. В той стороне, откуда налетел ветер, небо озарено неярким сиянием: город зажег огни. Слышен отдаленный топот множества ног, голоса мальчишек. Потом, перекрывая все звуки, взлетает над темной рощицей за-

звонное конское ржание. И мягко вспыхивают вершины деревьев, горбясь, лениво выкатывается луна, и от ее русалочьего света потерявшее глубину из-за фиолетовых сумерек пространство снова обретает трехмерность.

Мы с Леной вдвоем — я лежу в постели, она устроилась на подоконнике. Анатолий ушел вниз, дежурит с медсестрой Зиной, а мне хочется, чтобы он сейчас был с нами.

Я плохо знаю женщин, но вот сидит Лена, и от всей ее напряженной позы исходит волнение, передается мне — что будет, если она решится сделать то, о чем думает?

Я не ошибся — Лена идет к двери и запирает ее. Гасит свет.

— Так лучше, правда? — говорит она испуганным голосом.

Еще минуту назад я смог бы ответить Лене и даже предотвратить этот момент, но теперь, остолбенев, слежу за ней.

Ей Анатолий ничего не сказал.

— Хочешь я немного полежу с тобой?

Движения у Ленки неловкие и торопливые, когда она снимает кофточку. Юбка падает на пол, но Ленка не поднимает ее, а перешагивает и приближается ко мне. Она ступает на пол босыми ногами неслышно, словно плывет в лунном свете.

Все упущено, нет сил возражать, и Ленка укладывается рядом со мной и лежит тихо, как мышь, коснувшись теплым коленом моих ног. Так мы лежим, прислушиваясь друг к другу.

Она не дышит, чтобы услышать мое дыхание. Я тоже не дышу и слушаю ее, и мы лежим в тишине, пока не начинаем задыхаться. Потом почти одновременный вздох, шумный, во всю грудь, словно только что вынырнули из воды.

— Ленка, — говорю я, отдышавшись. — Тебе нравился какой-нибудь мальчик?

И мне показалось, что она вздрогнула, когда я сказал это.

— Почему ты спрашиваешь об этом сейчас? — обиженно проговорила она.

— Так, — сказал я. — Интересно...

— Правился...

— Ну и как?

— Ничего. Он мне очень нравился. А когда человек так нравится, он — божество.

— Он в самом деле был таким?

— Мы опоздали на электричку за городом и остались ночью одни... Он на меня кинулся, как варвар... Чуть руки не поломал мне... Я убежала и до утра просидела под деревом.

Я протягиваю к ней руку, и пальцы погружаются в волосы Ленки. Она вздрагивает, прячет голову, тычется горячим лицом в шею.

Она ничего не знает.

Во мне нет того, что бывало раньше, когда я прикасался к ней, ощущал ее тепло, запах.

Сейчас только цветная мысль в голове, как при ударе в затылок, что все осталось по-прежнему, и только во мне что-то изменилось, и у меня немое, стерилизованное тело.

— Ленка, — говорю я. — Ленка, ты ничего не знаешь...

Ее руки крепко прижаты к моей спине, под упругой, горячей грудью сильными толчками бьется сердце. Она дышит мне в шею, и это начинает меня раздражать. Я чувствую, что еще немного, и я оттолкну ее от себя, наговорю грубых слов. Могла бы выбросить романтику из головы, не лезть в добровольные жертвы.

Но Лена приподнялась и посмотрела на меня. В затененных глазных впадинах — две дрожащие светлые точки. Одеяло сползло с ее мягко светящихся плеч, и она осталась сидеть с согнутыми коленями. Ветер колыхнул занавески окна, стало светлее, и Лена прикрылась.

— Приснилось однажды, будто мы спали вместе, — сказала Ленка. — Просто лежали и все... Можно, я еще полежу Сергей?..

Теперь было все равно. Пусть лежит себе хоть до утра. Никто слова не скажет, все знают, что из этого ничего не получится. Женская и мужская особи в одной постели делают вид, что им хорошо. Ей девятнадцать, ему двадцать один.

И вдруг я почувствовал, что плачу.

И не только я один, Ленка тоже плачет.

Койку я придвинул к самому окну и лежу на раскрытой белой постели, разбросав в стороны руки и ноги, глядя на луну, подернутую серебристой кисеей

перистых облаков... Я так долго не свожу глаз с нее, что постепенно ощущение замкнутости в четырех стенах пропадает, и я пускаюсь в свободное медленное парение. Четкий круг луны холодного белого накала увеличивается и звезд больше, одна ярче другой. Ни запахов кругом, ни холода, ни тепла, ни ветра и ни звука — эфемерная среда, где мне оставлены одни лишь глаза.

Эффект вознесения так правдоподобен, что я чувствую отрешенность и одиночество. Я обращаюсь к земным образам, ворошу память, вылавливая прежние впечатления. Преодолеть земное тяготение еще не значит вырваться из плена земного бытия.

Я вспоминаю тихую московскую квартиру, белые крыши домов, смутно обозначенных в продолговатом проеме окна, лампу на столе и бутылку вина, возле которой лежат бананы.

И лицо Ленки, освещенное снизу, отчего нос казался вздернутым и коротким, глазные яблоки настолько прозрачными, что я мог рассмотреть золотистые волокна сетчатки. Мы пировали тогда вдвоем, проводив ее родителей за город с ночевкой. Я был во фланелевой расстегнутой рубаше, Ленка — в домашнем халате. Халат был староват и тесен, и пуговицы возле колен расстегивались так часто, что мне надоело отворачиваться, и я перехватил Ленкину руку, когда она принялась их застегивать бог знает который раз. Кажется, что она ошалела от этого и испуганно глянула туда же, куда смотрел я, — на свои колени.

Потом я измерил взглядом расстояние до тахты и потянул Ленку за руку. Она ничего не сказала и не отдернула руку, только зрачки расширились, согнав золотые волокна.

Я уже потянулся к лампе, чтобы потушить ее, но что-то остановило меня, и я опустил голову и глупо рассмеялся.

Все было близко к тому, что случалось прежде, когда я оставался наедине с женщиной. Так было дважды, и оба раза в веселой компании, где связь с окружающей действительностью упрощалась, приближаясь к первобытному уровню. Были стаканы, предназначенные для питья, стулья для сидения, крыша над головой, чтобы сверху не капало.

Вещи в их прямом назначении, женщины и мужчины, занятые лишь тем, чтобы сбросить легкий груз условностей и предрассудков.

Полусвет, затухающий разговор, перехваченные

взгляды, колени, сходящиеся полукружьями, — внешние факторы раздражения, и мозг затуманивается, лишаясь посторонних мыслей...

И я рассмеялся тогда, отпустил руку Лены, еще не зная сам, почему это сделал.

Или я недостаточно много выпил, или мной руководили только что усваиваемые нормы миропорядка, предписывающие сначала бракосочетание, а потом близость с женщиной. Или не то и не другое, а внезапно пришедшее в голову сравнение того, что было у меня со случайными женщинами, с тем, что могло случиться?

Взаимное удовлетворение и все.

Возраст, когда все кажется зыбким, преходящим, непостоянным, когда все открываешь, сравниваешь, утверждаешь и отвергаешь.

И меня испугало то, что на этом все кончится, и мы лишь изредка будем вспоминать полусвет, бананы, и эта темная потом комната, где мы были вдвоем, с ее теплом и шорохами улетит, подхваченная временем, в туман.

Если это меня напугало, значит, Ленка нужна была мне не только как женщина...

Я лечу в голубоватом пространстве, распластавшись, как пловец, отдыхающий на морской волне, лунна уплывает от меня вправо.

Вижу Землю — она многолика, и в разрывах окутавших ее облаков мелькают то глубокие морщины мудрого старца, то пылающее лицо воина-печенега, то глаза юной красавицы.

Много ли я знаю о Земле, чтобы судить о ней? Мой далекий праотец оставил своим внукам камень с клинописью. Все, что я прочитал, увидел и услышал в каменном эквиваленте, составило бы Арарат. С чем тогда сравнить то, что знали и оставили Эйнштейн, Бор, Курчатов, — с великим Уральским хребтом, Кордильерами? Я бы мог приобщиться к этим кладовым знания, всматриваясь в узкие щели, но я видел потные следы чужих лбов и уступал место другим. Технический прогресс опережает информацию о нем, а данные о некоторых передовых отраслях поступают лишь в несгораемые шкафы стратегов. А мне захотелось пробовать самому, находиться в непосредственном соприкосновении.

Чья же вина в том, что мой бумажный кораблик, спущенный на голубые потоки зеленой долины, где

мы с Наськой искали лишь вкусные травы, плыл так долго, не находя пристанища?

Взрослые, занятые своим, только изредка замечали его и, толкнув к быстрине, торопились дальше. Сложенный из чистой бумаги, в конце плавания он оказался испещренным истинами, вопросами и кляксами. Я поднял его — это было в те дни, когда мы входили в навязанные нам роли атомников, и прочитал каракули истин и вопросов своими и чужими глазами. Сопоставление — метод познания самого себя и окружающего, и я жил несколькими жизнями, многократно. Я придумывал достоинства тому, кого играл, присваивая их, когда забава превратилась в серьезное.

Серьезное — это было нечто вроде сравнительного анализа и отбора определенных качеств. Сначала условность игры развлекала, и мы барахтались в массе смешанных, положительных и отрицательных качеств. Потом как будто игра кончилась, но она стала частью нашего бытия и сознания, только не каждого. Отбор качеств продолжался, но уже по ранее заданной программе — наследственной.

Конечно, маловероятно, что англичанин находился именно на борту подводной лодки, на которой мог служить отец. Литератор вряд ли использовал бы вообще всю эту историю с англичанином в качестве детали сюжета. Он бы подумал о критиках. Я читал о двух сценаристах, которые не ввели в фильм некоторые подробности из жизни разведчика: правда жизни в воспроизведении оказалась почти фантастической.

Видимо, потому, что существует критерий правдоподобия.

Так или иначе, я готов верить, что один из двоих, оставшихся в аварийной лодке, был моим отцом. Я просто хочу, чтобы это было так.

Я опускаюсь к земле, покидаю лунное безбрежье — вон мерцают огни, островками, которые обжиты людьми. Я старик, прожил много лет, но не до конца понял людей. А что, если бы люди достигли полного понимания всего и не осталось ни одного вопроса? Остановка? Дальше некуда? Кто-то повернул бы назад...

И все — я лежу на койке и ощущаю жесткость матраца. Стены сомкнулись за мной, вижу оконную раму и темные ветки тополей, шевелящихся листьями. Рядом тумбочка, я достаю из нее рукопись Деда.

В одном журнале констатировали три смерти — для небольшого произведения многовато, в другом

усмотрели несоответствие взглядам, основанным на вере в преступника. В третьем... Есть журналы А, Б, В... "Аз, Буки, Веди", — как я произносил, изучая морзянку. А есть еще журналы Л, М... И у меня уже нет времени развозить по ним рукопись.

А начальник смены, наш Капитан, никому ничего не сказал, даже мне. И мне почему-то хорошо и легко оттого, что он так поступил. Наверно потому, что молчаливое раскаяние избавляет человека от объяснений, а того, кто видит это, — от словесного прощения.

Только как долго он будет носить в себе раскаяние, равносильное казни? Или это была вспышка, которая сменится самоуспокоением?

Я взял авторучку. Я пишу.

"...Лейтенант обошел всех рыбаков с их скудными уловами и, почувствовав разочарование и усталость, повернул обратно, к городу. Сугробы, круто обрывающиеся у тропинки, будто излучали синеватое сияние, и оттого, что лейтенант долго смотрел на них, морозно защипало в глазах, он заморгал, чувствуя, как слипаются ресницы.

Остановился он, когда впереди, шагах в трех, показалась темная калитка — дорожка к ней была недавно расчищена и подметена.

Он удивился, подумав, что по пути к реке калитки он не видел, как не видел и домов поблизости. Вышло, что пошел он другой тропинкой, не разобрав в сумерках. Но — что за наваждение? — его толкало открыть калитку и войти в этот бревенчатый, на треть занесенный снегом дом. Он против своей воли, внезапно и болезненно вспотев, отворил калитку и приблизился к крыльцу.

Узкая, до блеска натертая полоска бычьей кожи свисала из неширокого отверстия в двери — лейтенант дернул за нее и услышал стук щеколды.

Дверь подалась, и он очутился в темных сенях. Все больше теряясь, но не в силах сопротивляться внутренней подсказке, он постучал по железной ручке двери избы. Дверь была обита войлоком и прохудившейся клеенкой, и лейтенант не слышал шагов. И когда дверь приоткрылась, он чуть отпрянул и запустил правую руку в карман, снял пистолет с предохранителя.

Женщина лет сорока, закутанная в черную шаль, что-то говорила ему, но он видел лишь, как медленно шевелятся в полутьме ее узкие, бескровные губы. По-

том женщина отпустила дверь и ушла, а лейтенант переступил высокий порог и замер в передней. До него донесся слабый мужской голос, затем женский шепот. Наконец женщина снова показалась, немного постояла, безучастно рассматривая лейтенанта.

— Проходи, мил-человек, — пригласил лейтенанта мужской голос из-за дощатой перегородки.

Лейтенант стукнул сапогом о сапог, направился вперед. За перегородкой, в углу, освещенном неяркой керосиновой лампой и крохотным, чадающим пламенем лампадки, на кровати лежал человек, в котором лейтенант с трудом угадал беглеца.

С бритыми неумелой рукой впавшими щеками, выпуклым белым лбом, он, казалось, сошел с древнерусской фрески.

— А-а, гражданин лейтенант, — сказал он, и глаза его потеплели. — А я ведь про вас думал как раз, будто чувствовал, что вы где-то около...

Чистое наваждение, но лейтенант, пересилив беспокойство, улыбнулся лежащему в постели человеку.

— Вот с тех пор и занемог, — продолжал беглец, следя за лейтенантом измученным взглядом, и добавил, поглядев в сторону печи, где возилась женщина: — При ней все можно — совсем туга стала на ухо... Муж ее, шурин мой, дожидался тогда в лесу, когда я деру дал, гражданин лейтенант... Увидел я: вы — без овчарки, ну и подсунул шурина своего, чтобы время выиграть... Шпокнули вы его, а мне будто по сердцу картечью полоснуло, да не так шибко, чтобы сразу туда...

И он ненадолго перевел свой горящий взор на потолок.

— ...Беды большой нет, что он пулю из-за меня схлопотал, — снова заговорил он. — Мужик невидный был, неслышный, но честный работяга... А я надломился... От душевной казни слег, гражданин лейтенант... Это вам, должно быть, самым понятно... Столько зла натворил, что бог не принимает душу...

Для лейтенанта было мучительно сознание общности их страданий, он сидел, низко опустив голову, вспоминая белые снега, занесшие поляну, свою квартиру, где не было сна и уюта. Но он выпрямился, осторожно дотронулся до темной руки умирающего...

Через два дня лейтенант прямо с безлюдного кладбища свернул на большак и сел на попутную машину.

Он ехал, и ему хотелось поторопить осторожного шофера, хотелось лететь сквозь сумрак бурана, чтобы

скорее попасть в колонию. Он ехал в колонию, как в чистилище, предвкушая ощущение легкого опьянения и пустоты, когда он, окруженный потрясенными сослуживцами, во всеуслышание сделает признание. Только иногда наступало короткое затмение, и лейтенант боязливо думал, как бы это чистое сияние, которым он был озарен, не рассыпалось, не улетучилось. Скорей, скорей!..”

Вот и все. В рукописи Деда я ничего не тронул, не вычеркнул ни абзаца. Я только нарисовал маленькую галочку на чистом поле страницы в том месте, где должна оборваться прежняя концовка. И прикалываю свою мистификацию, написав, сверху: ”Второй вариант”. То, что я сделал, называется подделкой, но ведь усердно подделанные документы не менее правдоподобны, чем настоящие...

К утру меня стошнило. Я сполз с койки и, стоя на четвереньках, старался попасть в плевательницу. Руки и ноги тряслись от напряжения и слабости. Я задыхался от приступов рвоты, а глаза заволокло плотной красной пленкой. Когда все прошло, я снова забрался на койку. И поразился внезапному желтому рассвету за окном. Лучи солнца, еще остававшегося за горизонтом, преломлялись в мельчайших частицах тумана. И было впечатление холодного, неподвижного зноя, которое создают в театре осветители и декораторы.

Солнце восходило, медленно пробиваясь сквозь желтизну собственного сияния. Его четкий круг напоминал сечение раскаленного стержня. Я смотрел на него в упор, ощущая, как теплеют и увлажняются глаза. И солнце стало колебаться, оплывать, желтые, дрожащие волокна, отделяясь, летели во все стороны от эпицентра. Когда я, устав и наплакавшись от света, перевел взгляд на землю, все было до неузнаваемости плоско и негативно. Черно-белое мерцание длилось с минуту, потом проступили прежние краски, радостно, как внезапное открытие, что все кругом постоянно и долговечно. Я слышал: где-то за стенами бранились, мыли полы, смеялись, рвали бумагу, и уже совсем отчетливо прозвучал kloкочущий унитазный гром.

За забором мелькнуло белое, я приподнялся и увидел пару: девушка лет восемнадцати несла охапку зацветшей черемухи, на плечи наброшен черный муж-

ской пиджак, рядом вразвалку шагает он в расстегнутой на груди красной рубашке.

День начался и суетливо набирал скорость: хлопнули двери, возле дырявой бочки под водосточной трубой дрались воробьи, дымился мокрый от росы забор. Я слушал и смотрел, и, по мере того, как убыстрялся ритм нового дня, во мне скапливалось, росло ожидание. Оно угнетало и обнадеживало, время от времени напоминая о себе колючими вспышками в груди.

Я даже забыл поздороваться с Зинкой, без стука влетевшей ко мне, только улыбнулся и тут же забыл, что она здесь и убирает комнату. Забравшись на подоконник и насвистывая, я глядел на розовую дорогу из города. Что-то должно было появиться на ней, но я пока видел лишь автобус, сверкнувший ветровым стеклом на повороте. Он прокатился, подняв розовую пыль.

Взявшись за раму, я высунулся наружу и зажмурился — окна профилактория пылали, отражая солнце. Столько солнца всюду — оно даже в тополиных листочках, на острых кончиках заборных досок, в серых перышках воробьев.

Кто и что может противоборствовать солнцу, его могуществу, непостижимой и таинственной власти? Один ученый полжизни занимался только тем, что исследовал влияние солнца на ход земных событий, на поведение людей и животных. И вышло так, что почти все войны совпадали с периодами беспокойного состояния светила.

Если это действительно так, если число автомобильных аварий, самоубийств, эпидемий имеет прямую зависимость от солнца, сотрясаемого взрывами, то легко объяснить природу человеческих ошибок и заблуждений, выпавших на долю нынешнего года. И то обстоятельство, что идет год беспокойного солнца, может быть принято как смягчающее вину того или иного лица перед другими — поднять руки, кто со мной не согласен!..

Подняв голову, я увидел две руки за забором. Одна была тоненькая, слабая, с плавно очерченными линиями локтя и кисти, другая медной чеканки, тяжелая и медленная.

— Ленка! — закричал я. — Стас!

— Нас не пускают! — протянула в ответ Ленка.

Я уже спрыгнул с подоконника, чтобы бежать вниз, но услышал голос Стаса:

— Старик, лови!

Что-то неярко блеснуло в его руке и, пролетев над палисадником, упало у самой двери. Я нагнулся и поднял большую связку вяленой рыбы. Одну я оторвал сразу и принялся чистить — обнажилась янтарная спина, запахло солнцепеком, смолеными канатами и близким морем. Остальные я отнес на подоконник и, прежде чем снова крикнуть Ленке и Стасу, заметил свернутый в трубочку лист бумаги — он был привязан к рыбьему хвосту. Я развязал нитку.

”Старина, приехал я поздней электричкой и шел пешком до тебя. Но было уже за полночь, когда я добрался сюда, и мне ничего не оставалось, как спуститься к реке, разжечь костер и просидеть у огня до рассвета. Хотя все это ничем не напоминало прежние волчьи ночи, я вспомнил их, но больше думал о той, зимней, когда ты отправился следом за мной. Даже не зная приблизительной схемы того, что произошло здесь, я подумал, что случилось похожее — ты кого-то вырубал.

Теперь знаю, что все было именно так или близко к этому — я всегда прямолинеен в оценках, — но мне меньше всего хочется стать исследователем в данной ситуации. Кто-то из молодых пишущих сказал, что дороже, если будут последователи.

Буду ждать тебя, старина, и, дожидаясь, все делать и за себя и за тебя, если даже ждать придется долго”...

Когда я дочитывал записку, солнце слегка померкло, и, словно из самой его раскаленной сердцевины, выплыл в мою сторону черный вертолет. Рокот приближался, стал отчетливо виден нимб вращающихся лопастей винта. В собравшейся возле забора толпе я поискал своих, но все лица были обращены к вертолету, который сбавил скорость и снижался под углом. Я ослабевшими руками оперся о горячий подоконник — настала кульминация ожидания — и тоже смотрел на теперь уже голубую, с белыми продольными полосками, машину. Она коснулась колесами травы, длинные лопасти, сгибаясь, повисли, открылся люк, и по сброшенному трапу спустились вниз люди.

Достав рукопись Деда, я вывел его имя и фамилию над своими. Я торопился и не смог бы даже объяснить, что меня толкнуло поступить так, но вот все сделано, подхожу к окну.

— Стас! — кричу я. — Стас!

Он услышал меня, встал на чью-то согнутую спину и ждал, что я скажу.

— Ты немного знаешь эту историю, — прокричал я ему. — Тут написаны адреса...

И с размаху кинул перевязанную суровой ниткой рукопись в Стаса. Он поймал ее на лету и скрылся за забором.

Врачи и сестры двинулись к профилакторию, сходясь в белый треугольник выгнутого ветром паруса. Как быстро теряет свои формы этот белый парус надежды.

Три руки, возвышаясь над забором, машут мне — там Ленка, Стас и Анатолий. Я тоже машу им, но высокое солнце так печет и стреляет огненными волокнами во все стороны, что слезятся глаза. В коридоре слышны шаги, голоса. Сюда идет доктор Янковский.

Я смотрю на бесцветное, знойное небо, дымчатые островки рощ, на волокнистые, треснувшие доски забора и три руки, все еще поднятые над ним.

Пылает солнце.

Сквозь зной и марево долетает и тупо ударяет в виски первая пулеметная очередь.

Стучатся в дверь.



ПОЧТОВЫЙ ДИЛИЖАНС

В поселковой милицейской дежурке разбиралось свежее происшествие. После двухчасового оживления все враз замолчали, и еще до того, как лейтенант, сидевший за деревянным барьерчиком, закончил протокол, догадались, что виновником признан заезжий гражданин Егор Конкин.

Напротив лейтенанта, теснясь на короткой скамейке, в нетерпеливом ожидании замерли трое: слева сидел Конкин, справа потерпевший Лузгин, а между ними, остерегающе поглядывая то на одного, то на другого, — сержант с круглым веснушчатым лицом, должно быть, недавно надевший милицейскую форму. Держался он настороже — с обоих враждующих, видно было, еще не сошла горячка.

Конкин с виду казался спокойным; его, крупного, в дорогом, но дурно сшитом костюме с новенькой медалью "За доблестный труд", выдавали лишь руки, невероятно широкие, темные от въевшейся угольной пыли, которыми он нервно мял парусиновый картуз. Досадовал он, кажется, от неуместности картузика, потому как на коленях Лузгина вызывающе лежала с поднос величиной кепка "аэродром".

Лузгин, возбужденный и все же сидевший тихо, с кротким невинным выражением на лице ел глазами лейтенанта.

Лейтенант отложил шариковую авторучку, достал портсигар, закулив, сквозь дым сощурился на протокол. Посмотрел перед собой, убедившись, что все вострят уши в его сторону, принялся читать:

— Сего числа Конкин Егор Иванович, образование семь классов, по профессии шахтер, находящийся в Полотняном Заводе в отпуске, совершил неспровоцированное нападение на гражданина Лузгина Петра Искандеровича, бригадира каменщиков, занятого восстановлением главного дома усадьбы Гончаровых. Упомяну-



тый дом — важный объект, получивший историческое значение благодаря женитьбе великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на Гончаровой Наталье Николаевне...

Лейтенант, ненадолго прервав чтение, со значением посмотрел на сидящих напротив и высоко, почти торжественно продолжил:

— ...Как известно, вышестоящие органы, идя на встречу пожеланиям трудящихся, выделили на восстановление главного дома-усадьбы большие средства.

По свидетельству отдельных рабочих и бригадира Лузгина П. И., гражданин Конкин Е. И. неоднократно препятствовал проведению работ по освоению выделенных средств. Приставал с вопросами: "Почему устраиваются долгие перекуры?", "Почему раствор плохой?" и т. п.

Дело дошло до того, что сего числа гражданин Конкин Е. И., выбежав из столовой, расположенной недалеко от строительства, бросился к бригадиру Лузгину П. И., необоснованно обозвал его вором и мошенником. Когда Лузгин вежливо посоветовал не мешать ему работать, Конкин хотел его ударить, но подоспевшие рабочие не дали ему совершить избиение...

— Да его убить мало, — дернулся Конкин.

Лейтенант нахмурился, строго оглядел нескладную сильную фигуру Конкина, ничего не сказав, снова поднял лист бумаги.

— ...На предварительном допросе Конкин причину оскорбления объяснить отказался. Учитывая то обстоятельство, что более тяжкие последствия нападения были пресечены, а потерпевший вошел с ходатайством о прекращении дела, решено ограничиться взысканием с гражданина Конкина штрафа в размере 15 рублей.

Кончив читать, лейтенант откинулся на спинку стула, скользнул по Конкину пытливо-вопрошающим взглядом. Конкин давно догадался, что форма протокола лейтенантом нарушена и смягчена в угоду историческому прошлому, и просто, без заискивания проговорил:

— Хорошо пишете. У вас, надо сказать, литературные данные имеются...

— Давайте, гражданин Конкин, по существу вопроса, — сказал лейтенант, хотя, судя по заблестевшим глазам, похвала пришлась ему по душе.

— Если по существу... — Конкин почему-то надел картузик, будто собрался уходить. — Штраф платить не стану.

— Тогда по-другому разговаривать будем, — твердо произнес лейтенант. — Вам же хуже...

— Зря вы меня страшаете, — опять запротивился Конкин. — Я ведь по-хорошему, по-человечески, так сказать, хотел... Ведь ежели по-умному рассудить, человек на человека понапрасну кидаться не станет.

— А кто вас знает? — с интересом слушая Конкина, сказал лейтенант.

— Нервы у меня в норме, — неожиданно улыбнулся Конкин, выпрямил плечи, печально, но без укора посмотрел на лейтенанта. — Девятнадцать лет в шахте.

— Ладно, ладно, — пытаюсь казаться суровым и все же невольно проникаясь симпатией к Конкину, проговорил лейтенант. — Документы у вас в порядке.

— Не в них дело, — с какой-то душевной горечью протянул Конкин. — Дело в совести... — покосился на Лузгина, начавшего комкать "аэродром". — На совесть ихнюю надеялся. А вину-то он утаил. Что правда, то не совру...

— Что на это скажете, Лузгин?

Лузгин на мгновение растерялся, простер вперед руку, как бы решившись на что-то важное, но вдруг побагровел, односложно выдавил:

— Я все сказал.

— Вот шельма! — удивился Конкин. — Вот ты и заплати штраф. Из тех денег...

— Из каких? — резко вставая, спросил Лузгин. — Да ты знаешь, с кем имеешь дело? Я заслуженный строитель!

— Полсотенная у тебя в кармане, в левом, — спокойно сказал Конкин. — Так что заслуг твоих не признаю...

Лузгин пошевелил жесткими усиками, не удостоив вниманием последнего слова Конкина, сильно скрипнул скамейкой.

— Машина к нему пришла порожняя, — устало пояснил Конкин. — Ушла с кирпичом... Среди бела дня.

— Та-ак, — в жестком лице лейтенанта проглянуло изумление. — Сбагрил, значит? А вы, Конкин, следили, что ли?

— Бинокль у меня морской, — стыдливо признался Конкин. — Думал, видами полюбуюсь. Ну вот... нагледся.

— Та-ак, — опять протянул лейтенант. — Состоите, верно, членом Общества по охране памятников?

— Нет, — сказал Конкин. — Пушкина люблю. Сызмальства...

Лейтенант озадаченно помолчал и осторожно, сбоку пригляделся к Конкину, все еще разбойному на вид, а вот, поди же, отягощенному столь высокими заботами. Лузгин недоверчиво хмыкнул, но тут же осекся, поймав суровый взгляд лейтенанта.

— Что скажешь, Лузгин? — взъерился вдруг лейтенант.

— Ну, отпустил кирпич, — сказал Лузгин. — Колхозничка жалко, погорельца... А деньги на инструмент пушу...

— Врешь, сукин сын, — встрепенулся Конкин. — Гараж тот мужик строит...

Лейтенант взгромоздил на голову казенную фуражку, прошелся взад-вперед. Видать, расхотелось ему вести разговор с Лузгиным, и он, успокаиваясь, понизил голос, сказал сержанту:

— Возьми подлиску о невыезде, отпусти. Потом разберемся...

Очередь дошла до Конкина. Какое-то время, пока лейтенант, видно было, решал, как поступить с ним, Конкин сидел с отсутствующим выражением, не показывая ни радушия, ни беспокойства, чтобы не действовать на нервы лейтенанта ни хорошо, ни плохо, — пускай судит-рядит по справедливости. Однако тот придумать ничего не успел.

В дежурку шумно влетел перепачканный дорожной грязью сержант, на ходу осмотревшись, шепнул что-то лейтенанту на ухо. В самый напряженный момент лейтенант, казалось, начисто забыл о Конкине, заторопился неизвестно куда. Перебарывая сильное желание кашлянуть, тем самым напомнить о себе, Конкин заерзал на скамейке, и лейтенант уже с порога оглянулся на него, примолкшего, сказал участливым голосом:

— Подождите меня... На повороте две машины друг об дружку помялись...

Конкин облегченно вздохнул, сел поудобнее. На Лузгина, мешком навалившегося на стол, — тот писал под диктовку сержанта, — он старался не смотреть, и все-таки поглядывал, теперь уже без злобы, но и без сочувствия. Так уж устроен мир, что и вправду шила в мешке не утаишь. Тот же Лузгин, видать, мужик бойкий, лихой, все равно рано или поздно поймался бы за нехорошим делом. Лузгин, может быть, еще бы долго ходил в числе заслуженных, занимайся он своими махинациями на другом каком месте да не нарвись на Конкина, хотя, сказать по правде, Конкин распознал в нем человечешку, привыкшего корыстоваться где и на чем попало, сразу — по непутевым глазам.

А эти места дать в обиду Конкин не мог уже по той причине, что за них сердце его болело давно. С той поры, когда он, будучи мальчишкой, нашел на пожарище, где сверстники его искали какое-нибудь добро из сгоревшего магазина, сырую, головешкой пахнущую книгу, раскрыл ее, увидел столбики стихов, рисунок набережной неведомого города с памятником могучему, куда-то безудержно устремленному всаднику. Тогда сердце, пронзенное болью неосознанного восторга, за-

стучало высоко и звонко: книга о Пушкине! Еще с детства это имя, слышанное от бабушки, светло и отдаленно, словно звезда в небесной выси, держалось в памяти. Конкин, читая книгу, не до всего дошел умом, но накотившую на него тревогу чувствовал сердцем. С того момента, когда Пушкин познакомился с Наталией и полюбил ее, Конкин, еще не знавший, чем обернется поэту любовь, тайну и смысл которой постигнуть в том мальчишеском возрасте было невозможно, тем не менее был охвачен жутковатым предчувствием беды. Еще тогда, незрелым сердцем страдая о судьбе поэта, он навсегда запомнил имя Наталии, как дурное, недостойное имени того, кто жил не только заботами своего века, а тревожился будущим.

Много лет спустя Конкин, работавший на шахтах Шпицбергена, длительные свои отпуска тратил на поездки по пушкинским местам, известным каждому. Сюда, на усадьбу Гончаровых, он наведалься в последнюю очередь. Он полнился ожиданием встречи с родиней Наталии, хотя верно знал, что главный дом, поврежденный в войну прямым попаданием фугаски, обречен на медленное разрушение. Но, как ни тщательно приготавливал он себя к неожиданностям, вид главного дома подействовал на него удручающе. Конкин набрел на дом в сумерках, и долго, пока совсем не стемнело, не отводил от него глаз: громадный, двухэтажный, тот проглядывался насквозь, порос лебедой. Ничего не сумев вызнать у старика, к которому попросился на постой, Конкин на другой день пристальнее изучил дом, лазил по нему, в кровль изодрал руки и ноги, а после, удостоверившись, что коробка здания еще прочна, отправился в поселковый Совет узнавать: не собираются ли делать ремонт. Со слов канцелярских девчат, разговоры о восстановлении велись, но впустую: не было средств. Потерянно бродивший по поселку Конкин опять наткнулся на дом, теперь уже со стороны прудов. И опять безнадежно, немо глядел дом с высокого пустыря, так печалил душу, что у Конкина занудили руки — будь его воля, самолично стал бы ремонтировать. Отогнав эту никчемную мысль, он ухватился за другую: а если предложить тысячу, скопленную на непредвиденные расходы? Он переоделся, взял деньги, сделавшись серьезным, даже насупленным, чтобы девчата не отмахнулись от него, как от шутника, принялся осуществлять свой план. Перед тем как положить деньги на стол, он строго объяснил, что хочет вложить сумму, заработанную честным трудом, в дело

большой важности. На эти деньги, понятно, дом не восстановишь и музей не оборудуешь, и все же, как говорится, с миру по нитке... Когда ему сказали, что деньги ни по какой статье заприходовать нельзя, он не сразу отступил, и его едва-едва утихомирили.

Вышло, зря старался, напрасно тех напудренных девчат пытался растревожить чтением "Памятника". И все-таки потом, получив от деда письмо с сообщением, что "на гончаровский дом властями отпущен миллион рублей", он с удовлетворением вспомнил свои хлопоты: не зря досаждал людям.

Душа запросилась на места событий. До очередного отпуска было далеко, и Конкин взял месяц за свой счет...

Лузгин стоял у порога, должно быть, хотел встретиться глазами с Конкиным. Стоял он вроде бы осмелевший, показывая всем видом, что ничего не боится, но этой куражливостью Конкину уже досадить не мог. Конкин, наполовину уйдя в воспоминания, отрешенно смотрел на него, как на мелкого воришку. Лузгина, видать, такое снисходительное отношение к нему разозлило, и все же он заставил себя ухмыльнуться, уходя, козырнул сержанту.

— Иди, иди, — некрепким баском сказал сержант. — К пустой голове руку не прикладывают.

Конкин сбоку, незаметно, чтобы не смутить парня, оставшегося за хозяина, всмотрелся в него. Ему видна была вся его фигура, коротковатая, крепкая, еще видны были глаза — добрые, по-мужицки смышленные.

— Разгоним мы их скоро, — горячо сказал сержант, — не нашенские они, со стороны... На период уборки нанялись...

— Дак ведь должны понимать, за какое дело взялись. — Конкин подлил масла в огонь. — Все, что касается Пушкина, святая святых...

— Бестолковые они, черт их дери! — озлился сержант. Повернулся к Конкину, радуясь какой-то удачной мысли, по-деревенски широко улыбнулся. — А что если с лекцией перед ними выступить? Потянул бы?

Ошарашил-таки Конкина. Сроду Конкин лекций не читал, и лекторов, особенно занудливых, выступавших по бумажке, терпеть не мог. Но сейчас он быстро справился с собой и на предложение сержанта ответил:

— Потянул бы!

— Ах, черт меня дери! — нахмурился сержант. — Нельзя! Особое разрешение надо получить... Подождем лейтенанта, мужик он хороший, грамотный, все уладит...

Он уважительно — надо же, человек с начальным образованием, шахтер, а согласился читать лекцию, — посмотрел на Конкина, и все же как бы засомневался.

Промелькнувшее в хитроватом взгляде сержанта недоверие задело Конкина. В ответ на вызов он напрягся памятью. Обычно с этого начиналось странное состояние полубытья, когда все, что было в яви, все видимое и слышимое теряло четкость, уступая место картинам жуткой давности, которых Конкин по той причине, что родился на сто с лишним лет позже, видеть не мог, но мог вообразить.

Сейчас Конкин, помня, где он, стряхнул с себя нависший сон, хотя сном это назвать было невозможно. В те минуты, когда из оснований прочитанного, услышанного он воссоздавал минувшее, в нем трепетала каждая жилка.

Сперва в поле его зрения всякий раз призрачно проступал булыжный тракт, свежая пахота по обе его стороны, потом возникал не слышный, а лишь осязаемый, улавливаемый нервами стук колес, следом — не сразу — конский топот. Затем, чутко оберегая уже пришедшие звуки, Конкин легким зрительным усилием вызывал видение почтового дилижанса, катившего по тракту. Он прослеживал путь дилижанса — это слово помогало Конкину на удивление ярко видеть карету, запряженную четверкой лошадей, везущую вместе с прочим почтовым грузом письмо Пушкина из Петербурга в Полотняный Завод. Конкин мысленно охватывал это пространство и, обладая, несомненно, даром в уме прокручивать несуществующую киноленту, выделял из нее самые важные части. Дилижанс его ехал, немного постояв в Москве, на Калужской заставе, к Малоярославцу. Через Малоярославец, мимо Казанского собора, двигался дальше в западном направлении — к Медьни. Здесь дилижанс брал южнее, катил уже медленнее — до Полотняного Завода рукой подать.

В этом месте Конкин переводил дыхание, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Он волновался особенно на первых порах, когда решительно сопротивлялся женитьбе поэта на Наталии. Таким образом Конкин пытался отдалить губительный для Пушкина час, и с благородным умыслом, своей волей останавливал дилижанс на подходе к Полотняному Заводу у водопоя, где с письмом что-нибудь приключалось. Дилижанс то скачивался в реку, то горел, а то, бывало, на него нападали разбойники, и письмо поэта к Наталье Ивановне Гончаровой, матери Наталии, пропадало навеки. И толь-

ко Конкин, только он один, знал, что в нем написано: "Когда я увидел ее в первый раз... я полюбил ее, голова у меня закружилась..."

В эти мгновения нервы у Конкина были на пределе. Казалось ему, что он переживает наравне с поэтом и охвачен той высокой светлой страстью, которая водила рукою Пушкина, писавшего о своей любви. После каждого такого наваждения Конкин с испугом спрашивал себя, в уме ли он. И только утешившись мыслью, что это — игра воображения, овладевшая всем его существом, — Конкин испытывал затаенную гордость.

Между тем сержант, должно быть, заметивший, что Конкин наслаждался каким-то непонятным одиночеством, стал позевывать в ладошку. Тогда Конкин, весь подобрравшись, словно норовя запеть, вытянул шею и слегка дребезжащим голосом сказал:

— А все же, скажу я вам, Пушкин не зря ее полюбил...

— Кого? — вздрогнув от неожиданности, уставился на него сержант.

— Наталию Гончарову, — тихо ответил Конкин. — Она ведь совсем девчонкой была, так сказать, свежим букетом полевых цветов. А он на светских напомаженных кукол уже глядеть не мог. От них у него душа засохла. Да еще кругом разные сплетни, шпионы от Бенкендорфа. Завистники... Бежал он в Москву... И вот, — Конкин сощурился на противоположную стену, как бы увидев за ней что-то сверкающее, хрупкое, неопишимо загадочное, — и вот среди шумного бала... в Москве, на Тверской, в доме танцмейстера Йогеля... — Конкин, отыскав глазами какую-то точку, глядел на нее с такой неподдельной живостью, что сержант невольно повернулся к стене и тоже стал смотреть на нее. — Там стояла Наташа шестнадцати лет от роду с матушкой Натальей Ивановной. Пушкина представили им, и тут, так сказать, голова у него закружилась. А ничего не поделаешь, брат, — судьба! Любовь его скрутила, страдание жуткое, сам понимаешь, да еще Наталья Ивановна вздумала поломаться, — незаметно для себя Конкин разгорячился, уже не следил за словами. — На первое письмо — от ворот поворот. Пушкин пишет второе: "Ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию... Какая-то неопределенная тоска гнала меня из Москвы"... Потом... В том же апреле тысяча восемьсот тридцатого года: "Я чувствовал, что сыграл довольно смешную роль: я впервые в своей жизни оказался за-

стенчивым, а застенчивость в человеке моих лет, конечно, не может понравиться молодой девице в возрасте вашей дочери... Если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия. Но сохранит ли она это спокойствие среди окружающего ее удивления, поклонения, искушений?..” — Конкин декламировал и говорил без единой запинки. — Каково было ему, а? Время неумолимо двигалось. Пушкин начал сомневаться, верно ли выбрал... Тут еще заботы о приданом, о деньгах вообще. Какая все-таки непонятная это натура, брат! Вот слушай, что он пишет: ”Участь моя решена — я женюсь... Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которою встреча казалась мне блаженством. — Боже мой, она почти моя! Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей... В эту минуту подали мне записочку — ответ на мое письмо. Отец невесты ласково звал меня к себе. Бросаюсь в карету, скачу, — вот их дом, — вхожу в переднюю, и уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених... Нас благословили. Итак, это уже не тайна двух сердец. Сегодня эта новость домашняя, завтра — площадьная... Так поэма, обдуманная в уединении в летние ночи, при свете луны, печатается в сальной типографии, продается потом в книжной лавке и разбирается в журналах дураками...”

Конкин, резко оборвав себя, ткнулся жарким лицом в прутья решетки, передохнул, снова надел на голову парусиновый картуз.

— Ты иди, милый, иди, — стараясь скрыть дрожь в голосе, сказал он сержанту. — Может, дела у тебя или томиться начал. Запри и иди!..

— Не-е... — простодушно оттаял лицом сержант. — Ни чуточки! Дюже интересно. А ведь кажется, будто ничё в них сложного — в стихах... ”У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...” — он сконфузился и помолчал. — Ну, эти-то и мне известны. А вы, наверное, сами пишете стихи.

— Баловался. — Конкин опять снял картузик, сложив пополам, сунул в карман пиджака. — Ночи просиживал. Мученье это большое. Особенно когда хорошо хочется написать.

— Бросили, значит...

— И он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума.

— Тоже Пушкин?

— Он, — оживился Конкин, — поэт должен страдать.

А я, сколько себя помню, без горя жил. Ну, бывало, в детстве бедствовал, недоедал, но разве это горе? Это, брат, всего-навсего лишения. Потом все было: добро нажил, деньжата завелись, еда-питье навалом, а все-таки проснулся я однажды сам не свой, чувствую, в груди что-то закипает. Думаю, неужто я только для того и родился, чтобы, значит, за барахлом гоняться да животу своему угождать? Так что глупого счастья у меня враз и убавилось...

— Видать, счастье в стихах нашел, — отчаянно осмелев, предположил сержант.

— Свои, сказано, не получились, — без досады произнес Конкин. — Незадача вышла... Тут, брат, надо вовремя понять, что богом талант не задан. Иной ведь всю жизнь бьется как рыба об лед, — пишет, бумагу переводит, аж смотреть жалко. А я что придумал... Взял да сравнил свои стихи, прости господи, с пушкинскими. Получается, слова-то одни и те же — что у него, что у меня. Примерно одни и те же. Но у него-то, если фигурально сказать, глина запела, душу обрела, а у меня глина глиной осталась. Вот где тайна...

— Да-а, — сержанту, видно было, очень хотелось поддержать умный разговор.

— Ну, ничего, — успокоил его Конкин. — Я не в обиде. Теперь главное для меня — чтобы дом Гончаровых как следует восстановили.

— Дежурство установим, — пообещал сержант. — Дружинников поставим...

— А стихи, брат, не пустячное дело, как некоторые думают. Я вот людей, можно сказать, с того света стихами вытащил... Опять же пушкинскими...

В который раз удивившись Конкину, сержант подошел к нему близко, не подвергая сомнению ни единого его слова, приготовился слушать.

Однако внимание обоих привлек шум машины, подкатившей к крыльцу. За окном, в крепком закатном свете, мелькнула тень, и оба догадались, что приехал лейтенант.

— Как же, как? — поторопил сержант Конкина. — Правда, что ли?

— Ей-богу, — сказал Конкин. — Троих наших в забое завалило. Дышать нечем, питье кончилось. А меня на связь с ними поставили, ну, я и так, и эдак, мол, ребята, держите хвост пистолетом, спасательная команда вот-вот доберется до вас... А они... — Конкин заметил появившегося на пороге лейтенанта, но обрывать себя не стал. — С нами, мол, все ясно, позаботьтесь о семьях

и так далее. Тут я снял телефонную трубку и начал Пушкина читать. Не помню уж, с какого стихотворения разгон взял. Читал три с лишним часа, а они по очереди слушали. Откопали их, вытащили. Их в "скорую" несут, а они, хоть и посинели, все меня благодарят: за стихи.

Конкин вздохнул, хотел было приветливо, уже по-свойски улыбнуться лейтенанту, но, приглядевшись к нему, раздумал. Прежнего настроения и любопытства лейтенант, чем-то сильно расстроенный, сейчас не выказал. Хмурясь, прошагал за барьерчик, вынул из кармана мятый промасленный лист бумаги, вывел на нем размашистую, должно быть сердитую, подпись.

Конкин тихо сел на скамейку и замер, как прежде, в терпеливой неподвижности, ожидая, что скажет лейтенант.

— Вот что, гражданин Конкин, — проговорил лейтенант. — Протокол будем считать недействительным. За помощь в разоблачении расхитителей общественного добра спасибо. Но если еще раз полезете в драку, ссылка на Пушкина не спасет от наказания и не думайте, пожалуйста, что кроме вас некому защищать Пушкина. Вы свободны!

Конкин поднялся со скамейки, поискал картуз... Вспомнив, что сунул его в карман, виновато взглянул на сержанта, видно, стушевавшегося при грозном начальнике.

— Ну, коли так... — пробормотал Конкин, направляясь к выходу. — До свидания!

Конкин вышел к прудам, давно потерявшим свой стародавний вид, прошел деревянным мосточком на горушку и там оглянулся, увидел баб, которые, зайдя по колено в темную, заросшую ряской воду, полоскали белье. Дальше, за вербами, тянулись вдоль шоссе, в красноватой пыльной мгле, дома Полотняного Завода. Конкин постоял, свыкаясь с волей, взошел на горушку, к главному дому Гончаровых, обходя его стороной, напрягся слухом: работают ли каменщики? За забором было тихо.

Конкин припал к щели, не разглядел никого, но беспорядок заметить успел: повсюду разбросан битый кирпич, а раствор, сваленный прямо на землю, весь как есть затвердел, растрескался. Конкин с тяжелым сердцем зашагал дальше, углубился в тенистый заулочек, где был остановлен двумя мужиками, один из которых нес большую хозяйственную сумку.

— Че, кореш, выпустили? — поинтересовался один,

что был постарше. — Искандерчика тоже ослобонили, знаешь, наверное. Ты на нас всех-то уж бочку не кати. Мы, конечно, труженики не ахти какие, но народишко честный. Мы сами того... офонарели, когда узнали, что Лузгин у Пушкина добро стырил...

— Ты с ним не связывайся, — сказал другой. — Пошли лучше с нами.

— Премного благодарен! — церемонно поклонился Конкин. — Извините, не по пути.

Почувствовав грусть, Конкин свернул к Пушкинской аллее и отчего-то долго злился, топая по раскороченной автомобильными колесами дороге, и только ближе к реке ему сделалось легче.

Наплывали сумерки, от реки, скрытой темным сосновым бором, тянуло остужающей прохладой. Высоко над вершинами сосен недвижно застыли подрумяненные, барашковой кучерявости облака. А больше, насколько хватало взгляда, не видно было на небе ни единого пятнышка.

Конкин миновал пионерлагерь, расположенный в глубине парка, прислушался к гомону детворы, звукам аккордеона, не поглядев, что там происходит, заторопился к Пушкинской беседке, черным грибом обозначившейся внизу.

Мягко ступая, вошел под шатровую крышу, притиснулся плечом к деревянному столбу, еще хранившему дневное тепло. Кругом не было ни одной живой души, стояла тишина, плыл с заречных луговин духовитый запах сена.

Ниже, метрах в пятнадцати, на вытоптанном пятачке, серебристо блеснул памятник Пушкину. Первые мгновения Конкин, как всегда, смотрел на него с досадным прищуром, замечая неладности исполнения, затем перестал обращать на них внимание — виделся ему памятник таким, каким хотелось его видеть.

Поэт, изображенный сидящим на скамейке, казалось, в раздумье вслушивался в невнятные шорохи дерезьев, в редкие вкрадчивые всплески реки.

В прежние вечера Конкин, насидевшись в беседке, спускался к памятнику, прилаживался к краешку бетонного подножия, тихонько гремел цепью, по всей видимости якорной, снятой с какого-нибудь списанного судна. Ему представлялось, как с этого места смотрел на Суходрев — так называлась река — Пушкин, вовсе не похожий на этого, вылепленного из гипса, с наивно-вдохновенным кукольным лицом. Был он чуть огруженный, уставший от мирской суеты.

Но сегодня, после неожиданных мытарств, привычка посидеть у памятника не пришлась к настроению. И желание искупаться, взбодрить себя речной водой быстро прошло.

Смотреть на реку, в которой медленно потухали розовые разводья, наскучило, и Конкин собрался идти, но тут возникла из ночной тьмы чья-то фигура. Шагах в тридцати взмелькивало что-то белое, сторожко стучали каблуки, и скоро Конкин разглядел двигавшуюся к нему женщину.

— Добрый вечер! — сказала она, взойдя в беседку. — Вы случайно не Конкин Егор Иванович?

— Он самый, — ответил Конкин и осекся, заметив, что женщина молода и, должно быть, красавица.

— Мне позвонили, что вы сюда прошли, — сказала она. — Один знакомый звонил.

— Из милиции, — догадался Конкин. — Лейтенант или сержант?

— Ага, Петька... Вы ведь лектор, да?

— Ну, знаете, — вздрогнул Конкин.

— Я пионервожатая, — торопливо проговорила девушка. — Нашим ребятам ужас как понравится ваше выступление...

— Надо же, удумал такое ваш Петька... — продолжал ворчать Конкин.

— Вы не волнуйтесь, — уговаривала его девушка. — Все будут вести себя хорошо, перебивать не будут...

— Ладно, — вздохнул Конкин. — Утро вечера мудренее. Пойдемте.

Луна будто выждала момент, когда Конкин ступит на землю — ярким белым кругом взошла над соснами. Все знакомое сделалось в ее процеженном свете до того новым, что Конкин изумленно осмотрелся, не решаясь уходить. Размыто проступили луговые дали, обозначилась тихая речная гладь, и над всем этим чутким покоем возвышался думающий неземные думы Поэт.

— *Exegi monumentum*, — невольно, без надобности прошептал Конкин.

— Что вы сказали?

Конкин и сам не сразу вспомнил, что сказал, но тут же, близко разглядев девушку с галстуком, повязанным поверх отложного белого воротника, спохватился:

— Я памятник воздвиг, — пояснил он. — Помните эпиграф к "Памятнику"? "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал..."

Она быстро подхватила, и два голоса — мужской и девичий — слились в один:

— "...Что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал..."

— Одна тысяча восемьсот тридцать шестой год, — ознобно, как бы страшась давности времени, когда был написан "Памятник", произнес Конкин. — Ровно сто лет спустя в октябре месяце родился я...

— Вот с этого и начните, — посоветовала девушка.

Она светло улыбнулась, сняв с Конкина остатки напряжения.

— Ждем завтра в полдень, — сказала она, дойдя с Конкиным до лагеря. Протянула ему сухую теплую ладонь, добавила: — Будете прятаться, все равно отыщем...

Пока Конкин шел к поселку, луна поднялась высоко, на землю пала роса, и тонко, чуть слышно поскрипывала под ногами умытая трава. Временами тянуло из низин овражной сыростью, и Конкин с зябким придыханием кутался в пиджак.

Пройдя одной улочкой, потом другой, Конкин набрел на знакомую калитку, отодвинул брызнувшую росой ветку сирени и очутился в темном дворе. Крадучись, чтобы не разбудить старика, и без того страдавшего бессонницей, добрался до крыльца, удивленно хмыкнул. На ступеньке белела краями придавленная багровым в лунном свете кирпичом бумага. Отложив кирпич в сторону, Конкин поднес к глазам тетрадный лист.

"Вопрос: можно ли побриться кирпичом? Ответ: можно, если лицо этого очень желает. Из кавказского юмора".

Конкин не испугался, но и смешного в записке ничего не нашел. Просто ему сделалось грустно.

Он толкнул дверь, долго стоял у порога, прикидывая верное направление к постели. При его появлении старик, лежавший на топчане возле окна, не шевельнулся, и только редкая борода его, задранная кверху, слегка дрогнула. Старик, видно, ждал Конкина, а теперь лежал то ли в дремном забытии, то ли притворяясь, что спит.

Конкин проскользнул мимо, нащупал впотьмах жесткое одеяло, не раздеваясь, лег. Он сразу, едва коснувшись затылком прохладной подушки, понял, что легкого сна не будет. В голову натекла горячая тяжесть — может, от мыслей об оплошном дне.

Часу во втором, порядком намучившись, Конкин вроде бы заснул. И снилось ему, будто стоит он среди булыжного тракта, утонувшего в мутной дождевой во-

де, и в глухой завесе дождя тащится, приближаясь к нему, почтовый дилижанс, тревожно озираются мокрые усталые лошади. И вот уже мечутся вокруг дилижанса, мятежно требуя чего-то от кучера, черные всадники. Конкин поспешно вынимает из-под сюртука пару пистолетов, тщательно целится в одного, кажется, недавно виденного злодея. Сухой грохот выстрела сливается с громом, и перепуганный всадник скачет прочь, обронив письмо. Конкин подбегает к упавшему в грязь конверту, с радостью узнает беглый почерк, прячет письмо на груди и вдруг видит наведенное на него дуло пистолета. Он заворуженно, не зная, что делать, смотрит на черную, дышащую холодом дыру. Выстрела еще нет, но он скоро грянет, и Конкин со сдавленным вскриком хватается за грудь, где спрятано письмо...

— Егор!

Конкин разглядел сначала потолок, затем, повернув голову, увидел старика, свесившего с топчана худые ноги в белых кальсонах.

— Разделся бы, Егор, — сказал старик. — Выпимши, что ли?

— Нет, батя, — откликнулся Конкин. — Устал малость, сны снятся...

— Письмо вон тебе.

— Письмо? — вскопчил Конкин. — Какое письмо?

— Кажись, от Варьки...

Конкин зажег свет, взял со стола авиаконверт, торопливо надорвал его.

”Дорогой Егор Иванович, милый наш папа!

Вторую неделю ждем от тебя весточки, страшно по тебе соскучились. Дома у нас все в порядке, только кошка Муся сорвалась с балкона, третий день хромает и ничего не ест, так что решили показать ее ветеринару.

Ты возвращайся, но если очень занят, оставайся, мы потерпим. По дороге постарайся достать для Аленки простые х/б колготки, говорят, что их не только у нас, даже в Москве нет. И еще, если не трудно, привези кг 3 молодой картошки. Аленка нашла в чулане тетрадь со стихами, выучила кое-какие наизусть и прочла на утреннике у себя в саду. Аленкой все были довольны, а кухарка тетя Дуня даже заплакала. Не беспокойся, деньги у нас есть, живем хорошо.

Варя”.

— Поел бы ты, милай, — негромко сказал старик. — Цельный день голодный шастаешь, разве дело это... Вынь из печки чугунок-то.

Конкин вложил письмо в конверт, послушно двинулся к печке. Из чугунка, когда Конкин снял крышку, шибанул в нос духовитый пар.

— Люди вон о себе не забывают, — приговаривал старик, радостно наблюдая за Конкиным, нарезавшим хлеб большими кусками. — А ты ешь где попало и что попало... Откуда сила возьмется?

Конкин, соглашаясь, кивал головой, хрумкая зеленым огурцом, поглядывал в окно.

— Что притих-то? — спросил старик.

— Думаю. — Конкин отодвинул чугунок и закурил. — А были они у нас, почтовые дилижансы?

— В Расее-то?

— Ну. Во времена Пушкина.

— А шут их знает, — усомнился старик. — Дили... Это не по-нашенски. Тебе лучше знать. Ты почитатель таланта.

Переломившаяся ночь шла на убыль, в окна хлынула призрачная синева. Вдалеке, над Шаровой горой, растворив утреннюю мглу, обозначился красный клоч заре.

АНТОН, СЕЛЬСКИЙ ФОТОГРАФ

Как раз этим летом ему перевалило за тридцать. Круглая дата прошла без торжества и грусти — Антон позабыл даже самый день рождения отметить. Уже спустя неделю спохватился — стало быть, он, по его выражению, тридцатилетний огурчик, до того счастливым, что не ведет счет даже годам.

И тогда же, примерно в середине июня, ранним розовым утром толкнула ему в грудь, стеснила дыхание острая тревога. Потом она сменилась долгим, тягучим волнением, которое погнало Антона, босого и растерянного, на простор.

С этого все началось...

Будто вино бродит в нем с той поры, хмелит голову, а глаза ясные, не замутненные, и видят они далеко. Вроде ничего не изменилось вокруг, но ощущение такое, будто узнает он все уже знакомое первый раз.

Вот и ходят они с Кавалером, старой дворняжкой, к тихой, скромной речушке Верде.

Глядят с косогора, как раздольно встает над землей день, на величавый простор смотрят, на высокие, еще не успевшие осесть стога сена, на дальний, стушеванный дымкой лес. Постепенно солнце стряхивает с себя ут-

ренную вялость, загорается ярко и радостно. Быстро снимается с травы ночная сырость: слетаются с обнаженных лугов, жмутся к кустам птицы.

В эти минуты что-то творилось с Антоном, а что — сам не знал. Светло, чисто делалось на душе, кружилась голова. Замечал он: птицы поют звонче, сильнее обозначаются запахи трав. И возникало смутное ощущение родства со всем, что есть кругом: с деревьями, камнями, водой...

Потом они возвращались домой. Антон готовил завтрак — рвал зеленый лук с грядок, тугие шершавые огурцы, варил вкрутую пару яиц. Кормил Кавалера размоченным хлебом, остатками вчерашних щей, и скоро они едва угадываемой в густой траве тропинкой шли к фотоателье. Стояло оно мутной, с водянистыми буквами вывеской на сельсовет, в центре села. Утром плотная тень скрывала крыльцо, берегла капли росы. Антон скрипел дверью, входил в прохладный, со стоялым фиксажным духом коридорчик. Приготовив громоздкую пластиночную камеру к съемке, он выбирался, сажился на ступеньку.

Сидел он подолгу, не шевелясь, не замечая, как солнце заворачивает на крыльцо, как вянут, опадают листья лопухов. Замирал, будто сморенный сном, но не спал Антон. Глаза его, сощуренные, смотрели на пыльную тропинку — странные, зрящие вглубь. По выгоревшим ресницам, чуть подрагивавшим, по изменчивому движению губ можно было догадаться — Антон думает или вспоминает.

Или видится ему вот эта покойная, дремотная сейчас улица иной, когда в базарные дни катили по ней подводы и машины, когда бойко и весело жила она. Сколько тогда перебывало в ателье баб и мужиков, девчат и парней — уйма!

Районный центр был тогда в Завидном. Антону, заваленному работой, — ни подумать, ни посидеть. Шли сюда и в одиночку, и семьями; косяками школьники шли, делегаты после совещаний.

Привык Антон к работе, хорошим, по выражению заведующего ателье Пилюгина, спецом сделался. Умел даже с заезжими городскими товарищами обходиться.

Потом... Тяжело вспоминать... Укрупняли районы — центр перенесли в Желтухино, отсюда двадцать километров. С неделю суета стояла. Грузили канцелярский и домашний скarb, уезжали.

Антон тоже грузил. Егор Пилюгин держал в руке бумагу с перечнем вещей, подлежащих отправке на

новое место, выкрикивал: "Шесть пачек сульфита!", "Десять банок красной кровяной соли!.." И Антон выносил, выносил... Он уже знал, что Пилюгин не возьмет его в Желтухино. И все-таки, пока не услышал вполголоса, совестливо сказанное: "Двадцать три бутылки из-под "Московской" и трогаем!" — Антон ждал: Пилюгин передумает. Пилюгин уже из кабины протянул ему руку, распорядился:

— Остаешься тут, Антоха. Чтоб через неделю "точка" действовала! Выручку перечисляй на счет районного комбината бытового обслуживания! Действуй, Антоха! Зарплата сохраняется...

И укатил. Медленно опадала вниз пыль, поднятая колесами грузовика, и долго в ней слышался, отдаваясь, обиженный лай Кавалера. Вернулся Кавалер тихой, шатающейся походкой, будто успокаивая, прижался к Антону, лизнул горячим языком щеку. Не совладев с собой, Антон тоже прижался к собаке, уткнулся лицом в пыльную шерсть.

Антон расшевелился, как бы страхнул с себя воспоминания — хватит. От безделья они лезут в голову, а прежняя настоящая грусть уже перекипела. Так что хватит. Вон даже Кавалер, будто распознав, какие думы думает Антон, неодобрительно стучит хвостом по ступеньке.

Внезапно с неба свалилась духота. Антон высмотрел в просвете улицы, за сизым леском, дождевую тучу. Она кругло взбухла, поднималась, как на дрожжах. Тень от нее уже легла на землю, и все кругом потускнело, притихло. Исчезли мухи, вялыми комками замерли в лопухах куры.

На чернильном фоне тучи что-то сверкнуло и потухло. Нет, не молния. Антон встал. И не разглядел, а угадал: идет к нему Прошка Черданцев, матрос заграничного плавания. Быстро шагает, торопит какую-то девушку. Это так ярко блеснули его золотые нашивки. Антон рассмотрел лакированный козырек фуражки, устрашающе туго растянутой на проволоке, надраенные ботинки. Рядом с Прошкой трудно вышагивала, словно жалела ноги, нездешняя девушка.

— Салют, амиго! — сказал Прошка.

Антон поискал в памяти красное слово, но не нашел, будто споткнулся на мысли: вместе вороньи гнезда разоряли, семилетнюю школу закончили.

— Здорово!.. — проговорил Антон. — Вы ко мне, что ли?

Со стороны тучи, успевшей затянуть полнеба, нале-

тел сырой ветер, налег на лопухи, спугнул кур. Ни леса, ни поля уже не видно было, и вот задымились крыши крайних изб, и ветер, все усиливаясь, погнал светлую дождевую завесу вдоль улицы.

— Полундра, спасайся, кто может! — весело крикнул Прошка, легонько толкнул подругу в коридор ателье, проскользнул туда сам.

Антон вошел следом, включил свет. Прошка уже сидел на стуле напротив камеры, обнимался.

— Испорти пару кадров, Антоха! — сказал он.

Как ни старался Антон скрыть радость, улыбка промелькнула на его лице. Нашлась все-таки работа. Он принес из лаборатории кассеты, полез в черный мешок, навел на резкость. Изображение было перевернутым — в верхней части кадрового окна двигались, искали позу две пары ног. Две белые, округлые, подымались из темной глубины юбки, рядом колыхались Прошкины — в клешах.

Одну за другой шесть кассет сменил Антон. Увлечся, не замечал, как от ударов грома вздрагивает, оседает ветхий аппарат. Снимал, пока не запахло паленым — перегрелись лампы, мощностью по триста свечей каждая.

— Тут зачет на тропического кочегара запросто сдать можно, — сказал взмокший, слегка потрепанный Прошка.

Антон не знал, хорошо или плохо это — тропический кочегар. Виногато улыбнулся, сказал:

— Зайди через два часа...

— Ух ты! — задохнулся от неожиданности Прошка. — Да ты король объектива, Антоха!

Фотограф проводил их до крыльца. Дождь уже кончился — мутные ручьи бежали по колеям, журчали, несли гусиный пух, шелуху. Глядя вслед удалявшейся паре, на почерневшие, грустные крыши домов, Антон вдруг почувствовал уже не раз изведанное волнение. Потянуло на улицу, на мокрую траву. Но Антон осторожно, будто держал в руке переполненную чашу, прошагал в лабораторию. Проявлял пластинки, шаманствовал.

Потом тонкой иглой водил по нежной пахучей эмульсии, убирая едва заметные черточки морщинок вокруг Прошкиного рта. Темный негативный лоб Прошки наискосок пересекал узкий шрам. Антон поднял на свет пластинку, представил: в мрачном заграничном кабаке, среди матросов, затеявших поножовщину, лихо носится Прошка, котсрому милее дере-

венский кулачный бой. Где-то читал Антон про отчаянные матросские драки. И про трещину Карлион, лежащую поперек Атлантической впадины, как шрам на лбу Прошки...

В дверь постучались; самое время — снимки, накапанные на стекло, весело постреливали, сыпались на пол. Прошка скользнул взглядом по отпечаткам, выловил из широких карманов сразу две бутылки вина.

— Сколько с меня, амиго? — спросил он, покосился на бутылки, добавил: — Это не в счет. Это тоже...

С журналом, сверкающим глянцевой обложкой, вразвалку приблизился к Антону; развернул журнал, хитровато сощурился на Антона, спросил:

— А так бы смог сфотографировать?

На гладком листе проступали, будто сквозь мглу, очертания нагого девичьего тела. Хотя и не было в том изображении ничего непристойного, Антон смутился, уклончиво проговорил:

— Баловство это. Не по моей части...

— Темнота, — сказал Прошка. — Искусство это, брат. Я ж тебе не похабщину подсовываю. Уж я-то разбираюсь, нагляделся. Тут статейка есть, прочти, интересная...

Он кинул журнал на стол, и словно подменили его — слетела с него важность, озорно заблестели глаза.

Он запустил руки в карманы, вытащил — на ладонях захрустели деньги. Иностранные.

— Доллар, — сказал Прошка. — А вот фунт стерлингов... Какими прикажете расплатиться, сэр?

Антон приподнял за уголок фунт стерлингов, как бы взвесил, опустил обратно, решительно сказал:

— У меня их банк не примет... Давай нашими, русскими!

— Браво! — сказал Прошка. — И будем пить рашен вино!

Антон понял, что выпивки не избежать — расчистил стол.

От Махачкалы до Баку,
Луны плавают на боку... эх!

Не в полный голос, а тихо, с хрипотцой запел Прошка, шагнул с крыльца на разжиженную дорогу. Подружка отстала, сбоку по траве шла, искоса поглядывая на окна, смущенно улыбаясь. Антон махнул ей вслед рукой: мол, ничего, бывает, и провожал взглядом Прошку, пока тот не скрылся в своем дворе.

Антон еще постоял, глядя на ясное предвечерье, пытаясь понять, чем это его разбередил Прошка. Зря о нем, о Прошке, говорят, будто он человек не основательный, бродит по свету, а потом, навещая родные места, сорит фартовыми деньгами. Такой он вот, Прошка, — не поймешь какой.

Антон до нынешнего лета тоже тянуло неизвестно куда, видно, потому, что не стало прежней повседневной занятости. Теперь ему не хочется никуда, и никакая тоска не накатывает на него в такое вот предвечерье. Земля эта, хорошо знакомая ему, видится иной, чем она была прежде.

Пока Антон стоял на крыльце, пока размышлял, уставясь на лужицу, — небо сделалось синим, и в нем слабо прорезались две-три звезды.

Антон вернулся к столу, растолкал Кавалера — пора домой. Заметил журнал, придвинул ближе — был он на русском языке, и все, что изображено на фотографиях, вроде знакомо; равнина, подернутая зыбким утренним туманом, жиденький перелесок, река. Успокаивали, приманивали эти снимки — вот одиноко стоит белая лошадь, а стога вокруг нее черны, строги; старый, уже никому не нужный ветряк на ромашковом лугу. Снова леса, холмы...

И девушка, проступающая сквозь ровную негустую тень, с мягко очерченными линиями обнаженных рук и ног уже не отпугнула Антона. Уловил он какую-то неназойливую связь между нежной округлостью холмов на соседнем снимке и смутными очертаниями девичьего тела...

Оторвав взгляд от журнала, Антон оглядел витрину с образцами фотографий, — то было своего рода руководство для Антона, и ни разу ему в голову не пришла мысль переступить его. Снимки групповые, портреты — анфас и в профиль... Тут и виньеточка — с парочкой голубей на уголке, с надписью: "Помни меня, как я тебя".

Антон делал такие снимки, не спрашивая, хороши ли они, — людям и себе в радость. Правда, иной отпускник из города, зайдя сюда, ухмылялся, кривил рот, но такого клиента с претензиями Антон даже на стул не сажал, объявлял перерыв.

"Темнота"... Не обидел, а только позабавил его Прошка этим словом. Антон и раньше видел удивительные фотографии в разных журналах, смотрел на них спокойно, без зависти. Что толку завидовать, мучить себя, если у него, Антона, нет соответствующей

техники для съемок? И кому нужны его снимки, когда фотографов, отменно владеющих своим ремеслом, развелось великое множество?

И все-таки сам себе признался Антон — капелька горечи появилась вот тут, под сердцем. Он один на все село фотограф, и не протирать бы ему штаны на крыльце, дожидаясь случайного заказчика, а самому расшевелиться, пусть даже не ради пополнения кассы. Кто же, если не он, возьмется снимать тех же односельчан, вроде бы неинтересных и надоевших в неразлучной жизни, но добрых по натуре, работающих?

Вздыхнув, Антон еще и еще раз полистал журнал, в самом конце нашел статейку, о которой говорил Прошка. Называлась она: "Приглашение к сотрудничеству". Написал ее польский фотограф, и в ней, между прочим, призывал своих собратьев "показать единство мира, в котором живем. Природа живая и неживая — едины".

Антон даже вздрогнул, до того тревожно и радостно сделалось, что вспотели руки. Ведь это он доискивался до этой истины, нутром ее постиг, и вдруг она открылась вся в совсем простых словах. Вот после этого верь, что судьбы нет, не она подослала, как на подмогу, Прошку Черданцева!

Но вдруг, умиряя преждевременную радость, пришла грусть: чем снимать-то? Был у него старенький ФЭД, два объектива к нему с разными фокусными расстояниями — длинным и коротким. Года два назад в комиссионке на свои деньги купил, по горячке — ни разу еще не понадобились они Антону. Ими только гвозди забивать, а не в конкурсах участвовать.

Смиранный вышел Антон из ателье, запер дверь, тихо позвал Кавалера. По тропинке, еще с весны протоптанной, двинулись домой.

Вечер был свеж и ясен. В свете луны тускло блестели крыши, сверкала не успевшая просохнуть картофельная ботва. Тишина и покой, казалось, уже усыпили село, хотя свет горел в окнах, слышались отдаленные голоса, а со стороны Дома культуры долетали звуки гармонии.

Антон успокаивался, вышагивал ровно, улыбаясь, опять вспоминая Прошку: надо было ему, холере, разбередить понапрасну человека. Но сердце уже унялось, не прыгало больше в груди, как птичка в клетке, спокойно радовалось привычному — прозрачному, неподвижному небу, запаху дождя, земли. Так хорошо ему стало, что захотелось петь или упасть на траву и лежать на спине, глядя на звезды, на луну.

Он не сразу заметил, как тропинка кончилась, очнулся, когда занесло на середину улицы, где лишь трактору можно проехать. Увязнув крепко, Антон на мгновение растерялся, пристыженно замер. Кто-то шел вдоль улицы, прижимаясь к палисадникам; попало в полоску света, промелькнуло белое платье, послышался испуганный вскрик, — Кавалер загородил дорогу, — и Антон угадал: Надя идет, соседка.

— Не бойся, Надя, — сказал Антон, пытаюсь высвободить застрявший в грязи ботинок. — Своих не узнаешь?

— Ничего не вижу, на концерт лечу, — откликнулась Надя. — Филармония приехала.

— А я вот залетел...

— Я в ботиках, давайте помогу.

Что-то помешало Антону возразить; он смотрел, как Надя, хрупкая пичужка, окончившая в прошлом году десятилетку, торопится к нему, всплескивает руками.

— Это ты зря, Надюша, — проговорил Антон. — Я бы сам выкарабкался. Это я, можно сказать, замечтался...

Несильно ухватившись за протянутую Надину руку, он дернул ногой, почувствовал, как она выскользнула из ботинка; зашагал скорее, чтобы Надя не заметила, чем кончилась совместная борьба с грязью.

Удивила его Надя. Терпеливо и бережно вела за руку до самой травы. Грусть появилась — будто в самом деле совсем уже немощный он, без силенок. Надя одернула платье, нашарила под плетнем сверток, — видеть, туфли завернула в газету — собралась идти; но не сразу ушла, стояла, как охваченная внезапным стыдом, напряженная, глядя на Антона. И сам Антон, еще не зная почему, оцепенело смотрел на нее, боясь дыханием отпугнуть девушку. Тень от избы лежала позади нее; на глубокой, неподвижной черноте отчетливо выделялась девическая фигура. До того хрупкая и нежная, что боязно слово вымолвить — может обломиться, рассыпаться в пыль. Тяжести в той фигуре будто никакой, одна оболочка, пронизанная светом и воздухом, и неизвестно, что станет с ее красотой, если коснуться рукой.

Антон осторожно шевельнулся, кашлянул.

— Анфиса Ивановна, наверно, ждет, — тихо проговорила Надя.

Антону досадно стало, что Надя поняла его восторг по-своему, намекнула: жена, мол, Анфиска, у тебя есть, не забывайся.

— Спасибо, выручила, — сказал он. — Это я вспомнил... Мысль одну ты во мне пробудила... — Он осекся, быстро пояснил: — Да ничего худого, ты не думай, Надя.

— Я и не думаю, — успокоила его Надя. — Просто интересно.

— Да ну, — сказал Антон, не решаясь. — Видел я тебя... Купалась ты. На Пьяной Луке. Не подглядывал, набрел случайно... Я тебя за камень принял.

Выговорившись, он облегченно вздохнул, чем помог и Наде освободиться от смущения.

— Загорала, наверно, — сказала она. — Нам сейчас план прибавили, некогда загорать. Искупаемся в обед, и назад, к чернобуркам.

Прошлой весной, как только закончились выпускные экзамены, двенадцать девушек из Надиного класса пошли на звероферму работать. Об этой молодежной бригаде слух пошел по всему району, потом напечатала статью областная газета. Теперь, знал Антон, от прежних двенадцати остались восемь — две замуж вышли за нездешних, еще две в город махнули. Бригадирствовала у них жена Антона Анфиса, она рассказывала.

— Уехать не собираешься? — спросил Антон.

— Нет, — ответила Надя. — В техникум подам заявление, на заочный.

— Заходи как-нибудь к нам, сфотографирую по всем правилам...

— Вы только обещаете.

— Слово даю... А теперь беги, опоздаешь.

Сам он не сдвинулся с места, помня, что на правой ноге нет ботинка, подождал, пока стихнут Надины шаги. Что же такое творилось в голове его, когда он увидел девушку в призрачном сиянии луны, когда она, до этого подавшая горячую руку, показалась ему легкой, пустотелой скульптурой, без единой капельки живой крови в ней? И почему он, не уверенный, что именно ее видел на Пьяной Луке, наговорил на нее — тоже не понятно.

Но хорошо он помнил видение, словно бы открывшее в нем глубоко припрятанное око; то самое, что в сонной дреме смежило веки, не допуская до себя света, выжидая своего часа.

Антон неторопливо побрел к дому. Так же медленно, слушая собственные тихие шаги, он брел по берегу тогда, в теплое июньское утро. Слышал еще: выпархивают из близких кустов птицы, кидаются вниз, к воде. Оттуда, снизу, доносятся их вскрики, и оттуда подни-

мается, процеживается в ноздри запах отогревшихся камней. Много их там, одни неизвестно как держатся на крутом откосе, на обнаженном срезе, другие, уставшие от постоянного напряжения, сорвались, лежат у воды, придавливая и тесня друг друга. Давно уже между ними идет невидимая глазу борьба. Многие уже вышли из этой борьбы, застыли наполовину или по самую макушку в воде, обкатанные, обточенные.

Среди них вот и сидела девушка. И никак не распознал бы Антон живого существа в ней, если бы не зашевелилась она. Неподвижная, она с виду камнем была — с округлой, точеной спиной, поджаренной на солнце.

Антон хлопнул калиткой, очнулся от стука. Кавалер раньше него влетел в сени, радостно заскулил, заскреб лапами дверь. Анфиса открыла, застряв в дверном проеме, всмотрелась в Антона.

— Где же тебя носит-то? — сильным голосом спросила она. — Капусту не полил, куры голодные...

— Подожди, подожди, — поднимая к виску руку, не в силах остановить думу, проговорил Антон. — Ну виноват, исправлюсь.

Прошел мимо озадаченной Анфисы, сел на диван, закрыл глаза.

— Выпивший, что ли? — еще больше изумилась Анфиса. — С кем это ты?

— Проща заходил. Да что там... По стакану яблочного. Выветрилось уже. Тут другое, не мешай мне, прошу...

Подобным обращением он окончательно разжалобил Анфису.

— План, может, горит, — сочувственно поинтересовалась она.

Антон не отозвался. Анфиса больше не трогала его, занялась хозяйством, изредка оглядываясь на Антона, пытаясь угадать, что с ним.

Антон все думал. Заметив, как притихла, участливо смирилась Анфиса, проникся к ней давно забытой нежностью. Надо сказать, последнее время не ладили они между собой, хотя и делали вид, что у них все как у добрых людей. Этой весной разлад начался. Норовистая, суровая Анфиса привыкла командовать у себя там, на звероферме, и под властью своей держала Антона, не скрывая этого даже при людях. До какой-то поры Антон не задумывался, хорошо или плохо обходится она с ним, казалось ему, что так и должно быть, если ей нравится видеть его покорным и безответным.

До весны это тянулось. Почувствовал Антон пере-

мену в себе, будто проснулся, протер глаза, по-иному взглянул на все вокруг, в том числе на Анфису. Ей не хватило чутья заподозрить перемену, которая все дальше уводила Антона от привычного семейного уклада. И странно: не защищался Антон, возражая Анфисе, будто выгораживал дитя, о рождении которого Анфиса не догадывается и повредить ему может.

С каждым разом все упорнее противился ей Антон, и пошла прежняя жизнь кувырком. Постепенно оба устали, поостыли, но Анфиса не расставалась с желанием вернуть в дом былые порядки...

— Может, приглянулась какая молоденькая? — бросив возиться, оторопело спросила Анфиса. Смерила взглядом Антона, обессиленного от затаенной, источающей думы, сказала себе: — Быть этого не может...

Она сама молодая, здоровая, кровь с молоком, даже не рожала, береглась, как городская ее подруга Раиса, которая, приехав сюда, писаной красавицей разгуливает, ухмылочку прячет, когда встретится ей нарожавшая детей, заботами отягощенная ровесница.

— Пойду отдохну, — сказал Антон, поднимаясь с дивана. — Ты Кавалера накорми...

Он долго лежал на сеновале, уставясь на чуть заметную прореху в крыше сарая. Просачивался сквозь нее ясный свет неба, угадывалась вышина, где перемигивались звезды.

Сон не шел. Опять и опять вспоминал Антон статью в журнале; просто в ней сказано: "живое и неживое — едино..." От младенчества до старости, до конца дней человек чувствует связь между ним и всем животворным миром, но не каждый может постигнуть ее разумом без чужой подсказки. Читать больше надо, любознательность развивать.

Помнил Антон, как поразили его в прошлом году гоночные автомобили; гостил у двоюродного брата, мастера спорта, в областном городе, попал на автотрек. Сидел на трибунах, смотрел: разгоняются одна за другой машины, несутся по кругу. Приплюснутые, пестрые, скользят по дорожке, и чудовищная сила постепенно заносит их на крутизну. Глаза едва схватывают быстрые, ускользающие тела машин, и внезапно промелькивает в голове сравнение — будто пасхальные яйца вихрем гонит по кругу. А ведь был человек, отметил сейчас Антон, первым догадавшийся придать машине сходство с яйцом, которое природа одарила завидной обтекаемостью...

Встревоженно забилося сердце, разогнало истому.

Антон слез с сеновала, вошел в избу. Анфиса стелила себе постель; недавнего смятения уже не видно было в ней.

— На концерт не захотела, — проговорил Антон, хотя были припасены другие слова.

— С чего это ты обо мне стал заботиться? — со скукой сказала Анфиса.

— Да так... Помоги мне в одном деле. Не знаю, как объяснить-то. Деликатность тут требуется, понимаешь?

— Говори, может, пойму, — обиженно отозвалась Анфиса.

— В конкурсе хочу участие принять, — сказал Антон. — Фотографию послать в журнал.

— Портрет, что ли?

— Нет. Сложную задачу надо решить. — Антон усиленно размышлял. — За что вот люди природу любят? Ты, например, за что ее любишь?

— Нравится смотреть.

— А что ты чувствуешь при этом?

— Ну, хорошо мне становится, приятно.

— В общем, тянется душа к ней...

— Тянется. К чему ты клонишь-то?

— Да к тому, что природа — мать всему. Что земля, что ты — одно и то же.

— С навозом бы еще меня сравнил, ненормальный...

— Просто земля живет сама по себе, без разуме-ния... А человеку голова дана, душа. В этом вся разница. А тело из того же материала, из которого камень состоит.

— Понятно, — сказала Анфиса, хотя в голосе слышалось сомнение. — При чем тут я-то?

— Мне вас, девчат, сфотографировать надо. На Пьяной Луке, меж камней.

— Снимай, что особенного-то... — повеселев, проговорила Анфиса. — Нашел из-за чего страдать.

— Лучше утром... Приведи их купаться, назад не то-ропи.

— Все равно разбегутся, когда увидят тебя.

— А я с противоположного берега буду снимать. Все уже придумано.

— Подглядывать, значит, будешь?

— Настоящие художники, когда замыслы свои прев-творяют, натурщицу нанимают. Видела "Спящую Венеру"? С кого он ее рисовал?.. У меня условий таких нет. И задача у меня другая...

Подняв затяжелевшую голову, Антон коротко взглянул на Анфису. По сощуренным, насмешливым

глазам, по игривой улыбке ее догадался — не так поняла. Подавил досаду, смиренно улыбнулся.

— Сделай одолжение, — сказал он, поднимаясь. — Блажь, конечно. Верно говорят, каждый по-своему с ума сходит.

— Ладно, приходи, — мягко, жалостливо сказала Анфиса.

Среди ночи сон пропал совсем. Антон раза два принимался усыплять себя, считая до ста, но из этого ничего не вышло. Когда в прорехе над головой развиднелась предутренняя серость, Антон соскользнул по лесенке вниз, Кавалер будто ждал его, радостно вилял хвостом, метнулся к нему.

Вышли на тропинку. Розовый свет зари пробивался сквозь туман, густо затянувший край земли. Теплый, прозрачный вблизи пар медленно поднимался вверх, смешивался с мглой.

Предчувствие такого утра, когда накануне дождем напитанная земля будет млеть и дышать под лучами солнца, не давало Антону заснуть.

Придя в фотоателье, Антон быстро приготовил все необходимое для съемки. Легко, без вчерашней грусти собрал свою нехитрую технику. Не в ней, в технике, главное... Протер объективы, проверил, припав ухом к задней крышке ФЭДа, убедился: пленка идет хорошо, не застревает, не царапается.

Вышел на улицу. Заря уже отвоевала себе широкий, красный клочок, и свет от нее распространился по небу, отразился в окнах, в мокрой траве. Стараясь перекрычать друг друга, будили село петухи.

Пока Антон шел к реке, луга засветились вовсю, а в кустах начали перепархивать, посвистывать птицы. Все вокруг пробуждалось ото сна. Солнце еще медленно показаться, словно дожидалось момента, когда каждая травинка, каждая букашка, стряхнув дрему, начекаются в его сторону, откуда брызнет первый желтый луч.

Оглядывая чуть подернутые дымком, но уже далеко распахнувшиеся дали, Антон заметил на дороге, темной ниточкой обозначенной на косогоре за селом, одну фигуру, вторую. Двигались они к синему бору, там звероферма.

Антон постоял на берегу, замороженный гладью воды, разделся, не чувствуя озноба, поплыл. Одежду и фотоаппарат держал в поднятой над водой руке, другой греб.

Вынесло его к галечному плесу, и сам не зная, чему

радуется, Антон благодарно ткнулся лицом в гальку; прохладные камушки расступились, ударил в нос острый ракучешный запах.

Вылез из воды Кавалер, отряхнулся, удивленно разглядывал хозяина, у которого, казалось, не было сил встать. Собрался уже помочь...

Антон поднялся. Неторопливо оделся, зашагал вдоль берега. Видел, как спокойно, величественно выплывает из зыбкого тумана солнце. Разом озаряются стога, кусты, камни...

Вот она, Пьяная Лука. Названа так потому, что река здесь всю свою невеликую мощь бросает на высоченный каменистый выступ, не одолеет его никак, круто сворачивает. Не один год, а долгие века долбит и точит вода каменную преграду. Летом, осенью, зимой она крупинку за крупинкой вымывает из основания выступа; весной же, войдя в силу, яростно дыбит-ся река, довершает втихомолку проведенную ранее работу. И отваливаются тогда глыбы, падают в кипящую пучину. Потом, как только отшумит половодье, обнажаются раны великана, и смотрит он с высоты на свои поверженные осколки.

Не раз видел Антон: как слезы, струятся по выступу тоненькие, светлые ключи, будто оплакивает одряхлевшая махина давнюю свою первозданность. Сейчас с виду мирно живут они, река и скала, простив друг другу обиды.

Кругами ходит темная вода, омывает округлые камни. Покойно, дремотно застыл выступ, но каждая прожилка на срезе его напряжена, как нерв... И вдруг словно изнутри камня выдавился, взвился в небо живой девичий смех...

В этот день никто не видел Антона. Кое-кто удивился, не найдя на крыльце фотоателье знакомой, ссутулившейся фигуры, рядом с которой дремлет калачиком свернувшаяся собака.

Из всех людей, кого можно было спросить, куда запропастился фотограф, одна Анфиса знала: там он, в своем фотоателье. Ничего, сказала бы она, переберется, выйдет.

Между тем Антон заканчивал работу.

Первый отпечаток — тридцать на сорок — долго плескался в проявителе. Затем бледно проступили валуны — овальные, округлые, как спины упавших в земном поклоне женщин, и слегка размытые туманом

обнаженные женские тела — живое, теплокровное повторение округлых камней.

Часов и реле времени у Антона не было. Проявляя снимок, он вел счет времени по старинке — по ударам собственного сердца. Сорок шесть ударов он насчитал, пока на его глазах возникал мир — от младенчества до зрелости. Этот мир купался сейчас в маленькой кюветке с раствором — твердые камни и уязвимая плоть слились в нем, сроднились.

БЕГА

В канун весеннего сезона, пропустив вперед имениных конников, записал на приз жеребца по кличке Черныш некий Теймураз Бекешин.

Лошадь и наездник — были они от какого-то безвестного завода из Оренбуржья — не вызвали особого любопытства в ипподромной конюшне. Да и сам Бекешин, видать, не чувствовал себя уязвленным, и на людей, и на лошадей, в том числе на фаворита, глядел с добродушным прищуром.

Жеребец его — с хорошей, впрочем, резвостью — в кругу частенько проскакивал, но наездника, казалось, это мало трогало.

И даже когда кто-то вспомнил, что Черныш прошлой осенью, под конец сезона, взял два приза, в конюшне к Бекешину с его конем утвердилось плевое отношение.

Был месяц май.

Из конца в конец ипподрома носились летучие запахи краски, горячего асфальта и стружек. Ипподром спешно наряжали и подновляли, и Теймуразу, выросшему в волжском городке, напоминал он огромный пароход, готовящийся к весенней навигации.

Но все тут — трибуны, флагштоки, свежевыкрашенные кассы тотализатора, даже поле, из которого густо вытянулись зелененькие иглы травы, — навевало на Теймураза скуку. Думки точили его, особенно в праздничные дни, когда люди разъехались по домам, и на ипподроме стало одиноко и тоскливо так, что наездник третью ночь лежал без сна.

Почему-то не в тех местах, где, по мнению Теймураза, он мог нажать врагов, а здесь — на благословенном Кавказе — просыпался он от одуряющей тревоги. Он не знал, в чем причина — в нем самом или в затяжной весне с холодными туманами. Весну, только дру-

кую — с плотным осязаемым теплом, с золотыми столбами парного курева в ущельях и провалах, с птичьим гомоном и тугими наскоками ветра на цветущие каштаны, Теймураз ждал трепетно и сильно.

Да, он чего-то ждал, хотя ожидание его не было связано с бегам. Теймуразу, казалось, все равно, победит он или проиграет, — сердце томилось другим, пока не разгаданным, хотя, если по совести, повод был обыкновенным, даже смешным.

Прошлой весной, почти в эту пору, на моздокском торжке цыганка нагадала ему беду от красивой женщины.

Поверить в это — значит обходить красивых, а был Теймураз Бекешин в том возрасте, когда каждая женщина кажется красавицей, в худшем случае — пригожей. И на самом деле смешно бы было, если бы он, послушав гадалку, вострил глаза в одних только убогих.

Красота и дсбро богом даются, считал Теймураз, и даются они поровну, — можно ли ждать от красивой женщины чего-нибудь худого?

И сам он был красив той особой суровой красотой, какой наделяют мужчину широкие первобытные степи. И вот получилось, несмотря на правильные думки, смешно: здоровый, сильный парень лежал в постели, не снимая вышитой по вороту полотняной рубахи, мучился бессонницей.

Только к утру тяжелая дрема охватила его, и опять, как прежние ночи, началась какая-то чертовщина. Первым было ощущение полета на коне, знакомое сызмальства, пронизывающее колкой свежестью простора. Он куда-то скакал очертя голову, может быть, — точно не помнил, — к манящей особенным светом звезде, потом... Ему показалось, что кончился сон, пришла явь, — да, чьи-то руки коснулись его рук, и в этом прикосновении было что-то волнующее и подстрекательски-недоброе. Верно, это было что-то прекрасное — вот оно наклонилось над ним безликой тенью, из глубины которой будто просочился голос: "Ты добрый, сильный джигит. Иди первым, приходи вторым..."

Теймураз разомкнул веки, и голос оборвался. Но еще долго держался в нем восторг, рожденный небывалой близостью прекрасного, — только непонятно, приснилось это или было наяву.

Если явь — замучила бессонница, мог и не проснуться, а только чувствовать, не с шуточным делом явилась ночная гостья. Однажды, в Одессе было, приставали

к нему и уговаривали "стемнить" в кругу. Игроки в тотализатор. А тут — женский голос.

Чтобы отвлечься и скоротать время, он взял со стола томик Лермонтова, и вдруг его охватила такая тоска по любви — была у него до этого неудачная любовь, — что тихий и чистый гостиничный номер показался монашеской кельей...

Утром, направляясь к деннику Черныша, за поворотом коридора Теймураз услышал голос, вздрогнул.

— А чё твой хозяин в Нальчике делал?

— Лошадь ковал, — ответил конюх Герасим.

— Хорошо ковал?

— А ты у коня спроси, Ушанги. Чё прилип?

— Не охromeет твой Черныш, Гераська?

Завидев Теймураза, идущего по коридору с недоброй угрюмостью, Ушанги, что называется, дал ходу. Этот молодой наглый черкес не первый раз подначивал Герасима, наверное, неспроста. Ушанги был мальчиком на побегушках у Рустама Отия, наездника Карата, нынешнего фаворита.

— А ты что не спишь? — спросил Теймураз.

— Весна... — заговорщицки шепнул Герасим.

— Слушай, — тоже перешел на шепот Теймураз. — Я в городе поживу...

Он, словно боясь опоздать на свидание, торопливо закинул в кофр одежду, крикнул Герасиму, смазывавшему качалку:

— Этого жука — в шею! Устроюсь — позвоню...

Теймуразу дали просторный роскошный "люкс", и он, рассчитывавший на что-нибудь поскромнее, с непривычки растерялся.

Подавляла холодная заносчивость номера, и, только вспоминая рассказы деда, знаменитого казанского циркового наездника, как тот, будучи за границей, занимал по шесть комнат в отеле, чуточку успокоился.

Хорошо, что он надумал приехать в город. Тут, в Пятигорске, была совсем другая жизнь, даже климат иной. В коридорах, в вестибюле гостиницы, в буфете табунами шастали иностранные туристы, с отчужденно-праздным выражением на лицах.

С неба сходила благодать: чистый, ароматный воздух, гомон и топот наполняли Теймураза Бекешина полным ощущением жизни, и все было внове. Давно надо было ринуться сюда, хоть на время забыть о лошадях, качалках, ногавках и прочих ипподромных реалиях, отвыкнуть от финской бани, куда Теймураз ходил с диким упрямством не потому, что у него завелся

лишек — он, слава аллаху, не жокей! — а от жуткой скуки. Баня, она до добра не доведет — сошел же с ума, выпаривая лишние граммы, английский жокей Фрэд Арчер. Мало того — застрелился.

Ну, а от царской палаты — Теймураз чуть ли не враждебно оглядел кровать, холодильник, телевизор и телефон, пальмовидные кусты и тяжелые ковры — на душе не легче.

И он решительно зашагал по яркой коридорной дорожке, на кривоватых ногах, в раскорячку, точно краб. Он немного стыдился своей сломанной, наезднической походки, быстрее сворачивал в толпу, но и в ней, как собака на следу, часто опускал голову, помня зарок не заглядываться на хорошеньких девушек. А иногда, поймав себя на трусости, он даже выискивал в людском потоке красавицу, уверенную в своей неотразимой власти над мужчинами, и делался ядовито-насмешлив, высокомерен, и взгляд его голубых глаз выдержать было трудно.

Был полдень, сухой и теплый.

Теймураз сощурил глаза на полыхавшую красным клумбу с тюльпанами, кумекал заодно, куда бы сходить, надумал: перво-наперво в домик Лермонтова. Хотя и был в нем в прошлый раз, все равно интересно: может, появилось что-нибудь новенькое.

Полчасика потолкался среди посетителей, рассматривавших экспонаты и сам домишко с преувеличенной грустной задумчивостью. В музеях Теймураз задумывался о людях, живших давно: думая о них, он невольно заглядывал в лица других, часто непроницаемые, скорбно-уважительные, но у него не хватало духу у кого-нибудь спросить, как тот относится к такому факту, что вещи — медные, деревянные, бумажные — существуют, а человека, который ими пользовался, нет.

И в этот раз философский интерес его быстро угас, зато пришло неожиданное — сознание родства с поэтом. Родство это, пусть никому не ведомое, основывалось на любви Лермонтова и его, Теймураза Бекешина, к лошади. Нет, у Теймураза не было кошунственного желания равнять себя с поэтом, но ведь одна из страстей Михаила Лермонтова — кони — была понятна и близка. Может, потому только он, Теймураз, проникся этой мыслью, что пятилетним ребенком впервые сел на лошадь в манеже бывшей петербургской школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Это там его, как когда-то Лермонтова, по воле деда учили джигитовке и вольтижировке.

Люди шли и шли, замирали глубокомысленно перед вещами, надолго пережившими великого хозяина, и нельзя было угадать, о чем они думают — о славе ли, о бренности ли человеческого существования. Или все это дань паломнической моде, необходимой для того, чтобы в нужный момент поддержать интеллигентный треп?

Теймураз, однако, отверг это предположение. Почему его самого, не искушенного в поэзии, тянуло сюда, — не потому ли, что он был одним из тех, у кого душа пребывает в тайном сочувствии ко всем насильственно погубленным талантам.

Может, вот этот, жалкий в своем замешательстве, с виду экономист или инспектор, живший незаметно и покорно, носит в сердце святую любовь к Лермонтову за то, что тот жил дерзко, вольно, презрев опалу...

Теймураз отвлекся от мыслей, когда его, как щепу, занесло людским потоком под зелененький навес шашлычной. Он молча отбился от жарких тел, от громкого джаза, особенно, как от чего-то обидного, от парочки, с беспечным удовольствием срывавшей с шампуров поджаренную баранину. Оба — он и она — красивы и, наверное, счастливы. Он, не переставая жевать мясо, целовал маленькое в золотых завитушках ухо девушки, пил из фужера белое вино, и по горлу его, точно шатун, ходило адамово яблоко.

Теймуразу тоже захотелось поесть, только не здесь, — чего же завидовать чужому счастью и этой безоглядной вольной трапезе. Чего завидовать, когда сам в полной силе и волен поступать как заблагорассудится.

С этим настроением он беспрепятственно дошел до ближайшего ресторана, а перед входом внезапно посерьезнел, заметил, что злачное место в том же здании, в котором он остановился. "Машук", — написано было над дубовой дверью гостиницы.

Люкс удивительным образом преобразился в красном свете предвечерья: в обстановке появилась степенность и величавость.

Теймураз сел в мягкое кресло, не желая противиться усталости, откинулся на спинку. Сон быстро надвигался, в приятной истоме проступили виденные днем лица, фигуры, потом все заслонила добрая глазастая голова Черныша. Наездник улыбнулся в дреме, потом затаился, как бы карауля момент, когда невеста откуда берется страх. Черныш медленно удалялся, и Теймуразу чудилось, будто лошадь и впрямь смотрит на него и взгляд ее проникает в душу.

Он проснулся от необыкновенно знакомого запаха горной лаванды, увидел зеленый полумрак и каким-то особым чутьем угадал присутствие женщины в номере. Он не удивился, поразило только, что это самая настоящая явь. Теймураз слегка сдвинул кресло и тотчас заметил, как женщина, застрявшая в светлом проеме полуоткрытой двери, смело шагнула в номер.

— Извините, — сдавленно сказала она. — Я стучала — никакого ответа. А ключ снаружи.

— Кто вы? — тихо спросил Теймураз.

— Юлия... — в замешательстве откликнулась она. — Ну, помните Коктебель, "Элладу". Это я пела...

Она уже стояла в комнате, в мерцающем зеленом свете неоновой вывески, и оттого ли, что в струе воздуха колыбалась легкая занавеска, фигура ее казалась зыбкой тенью, и Теймураз не сразу смог найти кнопку настольной лампы. Оба — Теймураз и Юлия — сощурились на свет, и все же он первым разглядел ее, очень красивую, с тонким лицом, со смолисто-черными, коротко стриженными волосами.

Уже одно обстоятельство — визит красивой незнакомки — заставило Теймураза испытать чувство горечи: не к добру.

— Извините, — произнесла она обескураженно. — Я, наверно, не туда попала... Я вас не знаю.

— Ну, зачем так... — сказал Теймураз. — Вы приходите не в первый раз. Вы меня ищете, я знаю зачем... Только, поймите, я играю честно.

— Да что вы говорите! — вдруг напряглась Юлия. — Я вас впервые вижу. Я пришла к Розанову, администратору филармонии...

— Значит, вы попали не туда...

— Но он сказал, что живет в этом номере. — Юлия сбивалась. — Когда вы поселились?

— Сегодня утром.

— Он уехал, — сникнув, сказала Юлия. — Я сама виновата. Это я копуша...

Она, закрыв лицо ладонями, коротко всплакнула, но быстро спохватилась:

— Извините, я пойду. Так мне и надо, дуре...

В ее голосе не было ни озлобленности, ни горя. Слова: "Он уехал..." — она выдавила с таким надрывом, с таким всеохватывающим упреком, что и Теймураз, еще не понявший, чем провинился администратор филармонии перед этой женщиной, почувствовал себя его сообщником.

— Да не все же такие... — не совсем уверенно сказал он.

— Я вас ни в чем не виню, — сердито сказала Юлия. — Это у вас ко мне есть претензии, — она звонко рассмеялась сквозь слезы и совсем похожа стала на маленькую девочку. — У вас случайно — не мания преследования?

— Может быть, — грустно проронил Теймураз. — Не знаю. Боюсь врачей...

— А смерти не боитесь?

— Смерти?.. Нет.

— А я вот смерти боюсь, — просто сказала Юлия. — Ну, я пошла...

— Подождите, — засуетился Теймураз. — Нельзя же так. Может, он появится скоро, администратор. Ну, ведь он — живой человек, вспомнит, если обещал...

— В том-то и дело — обещал. Я бы опять поехала на целый месяц.

— В Коктебель?

— Не обязательно. Не все ли равно куда. Я пою там, где люди тоскуют.

— Ах, какой подлец, — сказал Теймураз, радуясь ее легкомысленным словам. — Он вам всю малину испортил. Какой он из себя — с усами, с бородкой, в очках?

— Вам-то зачем его знать? Или вы тоже по этой части — из филармонии?

— Я наездник, — серьезно сказал Теймураз. — Я подумал, что вы...

Юлия уже у двери энергично повернула к нему голову, и от нее повеяло волнующей притягательной силой. Ясные и смелые глаза остановились на нем выжидательно.

— Ну!.. — подбадривающе кивнула она точеным подбородком. — Что дальше?

— Ничего... — оробел Теймураз. — Я ошибся.

— Не-ет, не пойдет, господин наездник, — спокойно сказала Юлия, подчеркнуто оценивая взглядом убранство люкса. — Вижу, вы меня не за ту принимаете.

Теймураз, глядя на ее окаменевшее прекрасное лицо, опять струсил, но тут же улыбнулся тихо.

— Что же получается, дорогая Юлия, — медленно, с нарочным кавказским акцентом сказал он. — Вы попали не туда, а я вас принял не за ту. Знаете, шутки шутками. Я никого сюда не звал, а если бы позвал — приготовил бы ужин. Вы же певица. А русская пого-

ворка гласит: "соловья баснями не кормят..." Коль у вас такая невезуха, разрешите хоть как-нибудь скрасить ваше горе...

Теймураз, одетый в красную ямскую рубаху, ввел Юлию в шумный зал ресторана. Несмотря на безлюдье, играл оркестр, перед микрофоном плавно извивался, похожий в одежде с металлическим блеском на инопланетянина, молодой грузин.

Юлия уселась за стол и, совсем не замечая Теймураза, подозвавшего официанта, смотрела на эстраду. Она неузнаваемо повзрослела и без всякой радости и волнения, с деловитой заинтересованностью глядела на сверкающего, как елочная мишура, певца.

— Мне нельзя засиживаться, — отрешенно сказала Юлия, было похоже, погружалась в какую-то долгую думу.

— Из-за артиста этого? — ревниво запереживал Теймураз.

— Нет, нет! — всплеснула она руками. — Не надо о нем больше. Я попросила одну подругу, чтобы посредницей была. У меня ребенок лежал в больнице, я не могла его бросить. Ну, а подружка... Может, он ей не понравился. Может, она ему.

— Ничего не понимаю, — сказал Теймураз.

— А зачем все это тебе? — просто, как если бы была сестрой Теймураза, сказала Юлия. — Не бери в голову... И не заказывай ничего особенного. Мне что-нибудь сладенькое, и все.

— Он тебя охмурял? — мрачно спросил Теймураз.

— Я с ним в Коктебеле познакомилась. Он сидел в "Элладе", ему понравилось, как я пою. Ну, и...

— Что?

— Прислал мне три бутылки шампанского...

— И все?

— Теймураз!..

Он приуныл, закусив нижнюю губу, нетерпеливым жестом позвал официанта. Тот не обратил внимания, и тогда Теймураз стукнул ладонью по столу, и вышло это по-детски капризно, смешно, но Юлия удержалась.

Она сбоку заглянула ему в лицо, и ей стало покойно при нем, располагающем к себе значительностью. Оттого еще больше покоряли его наивность и ревнивое отношение к тому, что касалось только ее. Юлия, чувствуя себя виноватой, потянула за руку Теймураза.

Между тем на эстраду откуда-то выплыла высокая,

даже величественная певица. В черном кружевном платье, в пестрой ярмарочной шали, с цыганскими серьгами в ушах — можно подумать, прямо с моздокского базара. Теймураз, что-то вспомнив, взволновался и напряженно следил за крашеным ртом певицы, выдавливавшим неразборчивую песню.

Юлия слушала со скорбным вниманием, горько жмурилась, когда певица явно перевирала мелодию, и внезапно украдкой всплакнула.

— Не надо, — сказал Теймураз, взяв ее маленькую ладонь в свою. — Ты же умница.

— Я еще хуже пою, — призналась Юлия, смахнув платочком слезы.

— Давай выпьем за здоровье твоего ребенка! — предложил Теймураз, когда наконец официант принес заказ.

— У меня их трое, — улыбнулась Юлия. — Если за каждого по глотку — я упаду.

— Я рад, что познакомился с тобой, — сказал Теймураз. Он уже выпил свою рюмку. — Только не понимаю, зачем поешь, когда сама знаешь — плохо поешь.

— Се ля ви, — отмахнулась Юлия. — Что ты ловишь меня на слове? Другая бы низачтошеньки не призналась, а я вот... дуреха!

— У тебя муж...

— А, брось, — отрезала она. — Пока я выхаживала свою команду, он в своей Армении счастье нашел. Проворовался, попал под следствие, приехал, подал на развод. Нам остается пустая квартира, вся мебель и барахло — ему, — ласково, как на несмышленища, посмотрела на Теймураза. — Не хочешь — запоешь. А петь я все же умею.

— Тебе деньги нужны, — задумчиво сказал Теймураз.

— Я хотела откупиться. Дать, что называется, ему на лапу — и пусть катится. Да вот неудача...

— Ты хотела петь в ресторане?

— Ну да, в каком-нибудь кабачке.

Теймураз заметил, что Юлия смотрит на певицу по-детски восхищенным взглядом, казалось, с завистью. Теймураз оторопел. Стало быть, она лишь пококетничала со своей бедой, а на самом деле ей льстит положение ресторанной певицы. Неужели и она, Юлия, так вот, как эта холодно-надменная деваха, водит задом влево-вправо и с такой наигранной страстью шепчет в микрофон, будто выплевывает шелуху от семечек, слова еще одной неразборчивой песни?

Но Юлия, внезапно поморщив лоб, отвернулась от эстрады.

— Слышишь, как мальчишки лабают, — и, смешавшись от пытливого взгляда Теймураза, добавила: — Беденькая... Не могу больше. Пойдем отсюда...

На улице было тепло и тихо. Шел мелкий дождик. Из сырого сумрака один за другим проступали каштаны.

— Каштаны цветут... — сказала Юлия.

Вдруг оторвалась от Теймураза, звонко колотя каблуками по асфальту, побежала вперед. Теймураз ничего не видел, кроме ее быстро мелькающих ног, а когда очнулся, она уже стояла шагах в тридцати с сорванной веткой каштана.

Теймураз запоздало бросился в погоню, догнал ее, опять кинувшуюся бежать, и обрадовался, когда поймал и стиснул ее.

Потом испугался, разжал руки и отстранился, не веря, что все происходящее — явь.

— А как тебя по отчеству? — спросила Юлия.

— Не выговоришь, — шепотом сказал Теймураз. — И вообще я — засекреченный.

— Ой!..

— Ты баловалась когда-нибудь тотализатором?

— Нет. Только слышала. Это вроде спортлото, да?

— Глупая, — ужасаясь, прошептал Теймураз.

А Юлия, словно забыв о нем, глядела в небо, в направлении Машука, плотно черневшего в разломах туч. Она порывисто замерла в ожидании чего-то.

Теймураз Бекешин смотрел на нее изумленно и уважительно. От нее исходила каким-то чудом сбереженная женская сила, и не верилось, что она, девически сдержанная, непрадеподобно красивая, родила троих детей.

— Юлия... — сказал Теймураз, все еще страшись того, что хотел сказать. — Юлия, я тебе могу помочь...

— О чем это ты? — вдруг повернула к нему бледное лицо Юлия. — Лучше расскажи, о чем думаешь.

— О лошадях, — сказал Теймураз.

Радуюсь близости Юлии, касавшейся его теплым круглым плечом, Теймураз рассказывал о лошадях и — с какой-то нетерпеливой тревогой — о тотализаторе. Он с удовольствием отметил, что глаза у Юлии загораются, она шагает все беспорядочнее. Он с особой резкостью в голосе рассказал и о коварстве Рустама, его дружка-приятеля Ушанги, поймав надменный и презрительный взгляд Юлии, понял, что она прониклась к нему участием. Он вспомнил и о женщине, являющей-

ся в полночь с ворожкой, про другую гадалку — с моз-
дэжского торжка — нарочно запомнил.

Юлия захохотала.

— Ох, страсти!..

— Ну, как тотализатор?..

— Нравится.

— Будешь?

— Буду... Ну, везет мне... Что ни случай — умора!
Знаешь, как я певицей стала? Слушай... Я телефонист-
кой в межгороде сижу... Кто-то набрал ноль семь, а я
веселая была, мурлыкала под нос песенку, да так и
подключилась... Слышу — тишина, только я пою. Я то-
же замолчала, а потом слышу: "Спойте еще!" Такой,
знаешь, властный голос. Я испугалась, думаю, конец:
на начальника нарвалась. А он басом: "Ну, чего резину
тянете? Сказано, спойте..." А я уж и ног не чувю. Ну,
спела что-то, не помню. А он: "Не ваш репертуар! И ме-
лодию скверно чувствуете..." Вот так...

Она, замолчав, посмотрела на Теймураза снизу за-
думчиво.

— Это был Карлсон, — сказал Теймураз.

— Да, очень добрый старикашка, директор... Он ме-
ня в хор зазвал. В концертную бригаду послал... Вот я и
пришла.

Она сошла с асфальта на темную дорогу в синих
дождевых лужах.

— Когда мы встретимся? Мне надо тебе все объяс-
нить...

— А это не треп?

— Ну, что ты! — вспыхнул Теймураз. — Как ты мог-
ла подумать...

— Извини... — со вздохом сказала Юлия.

Теймураз шел в гостиницу в тишине опустевшей
аллеи, шарил мечтательными глазами по клочковатой
темноте гор, ничего не видя под ногами, забредал в
дождевые лужи.

Эту ночь он спал глубоко и сладко, как ребенок,
а утром поспешно сдал люкс и уехал на ипподром.

В день бегов, как по заказу, чисто и ясно вспыхнуло
над ипподромом небо. И после смиренной великопост-
ной тиши все принялось радостно шуметь и гомонить.

Теймураз, вернувшись из ранней проминки, жгуче-
свирепым взглядом отбил от наблюдавших за ним
наездников. Грудь его, отягощенная ожиданием празд-
ника, враз освободилась и будто со звоном дышала
колким ароматом воздуха.

Он передал Черныша Герасиму и даже крикнул, поглядев на жеребца со стороны. С сухой головой, длинноплечий, с великолепными скакательными суставами, Черныш смело глядел на Теймураза.

Пока Герасим, молодой и крутощекий, снимал бинты и ногавки с Черныша, Теймураз испытывал глазами лошадь и уверенно — не подведет! — пошел под солнце. Увидел выезжавшего по второму разу в круг Карата, восхищенно остановился — жеребец, давно не знавший поражений, смотрел зло и презрительно. Рустам, с квадратной непроницаемой спиной, улыбнулся заросшим ртом вызывающе. Карат понесся, по-змеиному тонко прошипели дутые шины качалки.

— Зря я сегодня выпустил Черныша в резвую... — запоздало подумал Теймураз.

И в подтверждение этой мысли появился, с усмешкой на разбойной роже, модно одетый Ушанги. Теймураз напряженно застыл: "Ко мне?", но Ушанги, скользя по нему наглыми глазами, тоненьким тенорком сказал:

— С добреньким утречком, Мураз-ага!..

Ушанги, по прозвищу Волосатик, исчез, породив тенорком своим смутную тревогу. Теймураз отмахнулся, но когда в другом конце ипподрома увидел Мадину — столовская официантка, в ярком желтом платье, с румянцем на щеках, темноглазая, ровно бы ненароком оказалась на пути, — тревога не на шутку захлестнула. По слухам, Мадина, тихоня и молчунья, как, впрочем, большинство восточных девушек, состояла в какой-то сомнительной связи с Ушанги.

Она, обычно укрادчивая, с виду даже несчастная, сейчас поразила Теймураза броской женственностью. Как свет оттеняет черноту бархата, так платье подчеркивало шелковистую смуглость ее кожи. Томясь от избытка молодости, она поджидала Теймураза, следя за ним из-под длинных вздрагивающих ресниц.

— Что скажешь, девочка? — сказал Теймураз.

Мадина пропустила его мимо себя и, когда старый платан загородил его от посторонних взглядов, сказала:

— День везучий...

— Разве ты играешь? Я думал, только болеешь.

— Я живой человек, — потупилась Мадина.

— Что ты хочешь сказать? — тоже потупясь, спросил Теймураз.

— Ты послушайся голоса, — сказала она прямо, и можно было испугаться ее огромных глаз, бле-

стевших темной колдующей страстью. — Ты ведь добрый, ласковый...

— Мадина!.. — вырвалось у Теймураза, он шагнул к ней, стиснул тонкие горячие руки. — Это была ты...

— Ты не ладишь с людьми, — сказала она. — Если не послушаешься, не будет удачи.

— С людьми? С подонком Ушанги?

— Он дурак. А ты великий наездник, Теймураз... Но ты знаешь Рустама. Не будет тебе удачи!

Теймуразу стало легко и отрадно. Он посмотрел на раскрасневшуюся смущенную девушку — прямо абрикос! — и, не удержавшись, обнял и поцеловал. Она, выпутывая руки, слабо вскрикнула.

— Не видать тебе приза! — свирепо прошептала Мадина.

— Сегодня мой день, Мадина! — отпустив ее, сказал Теймураз. — Следи за моим хлыстом! Ставь на меня, не проиграешь!

Он уже на ходу обернулся, махнул рукой растерянной девушке. С этим настроением он готовился к бегам, иногда показываясь уже начинавшему собираться народу. Он скользил по пустым еще трибунам нетерпеливыми глазами, запрокидывал голову и обрадованно отмечал, что дождя не будет: на отвердевшем чистом небе висело ясное и большое, как медный поднос, солнце.

Когда густо повалил народ и трибуны стали напоминать потревоженный улей, когда гомон, шелест программ, топот ног слились в невыразимо волнуемую музыку ипподромного праздника, Теймураз надел голубой камзол, кепку и опробовал хлыст.

Сердце у Теймураза билось тугими толчками. Все предшествовавшие дни Теймураз, боясь первого срыва, давал сердцу укорот, а теперь пустил его в предвкушении острой борьбы.

Великолепный в беговом наряде, Черныш медленно водил строгой интеллигентной головой, казалось, одобрял хозяина. Их заезд — третий — подошел незаметно, и Теймураз, приняв лошадь от спокойного, с полнокровным лицом Герасима, сел в качалку, завладел вожжами.

Уже под разбуженным и почти накаленным небом, ожидая сигнала стартера, Теймураз повел глазами по трибунам, не найдя никого, посидел неподвижно.

Потом все звуки и краски — флаги над трибунами, потрескивание репродуктора, шелест листвы — враз ушли из сознания. Слух уловил звук — удар колокола.

Давно выработанным инстинктом Теймураз перенесся в другой мир — в узкую бешено несущуюся под копыта лошади полосу беговой дорожки. Уставясь на маячащую впереди квадратную спину в желтом камзоле, Теймураз постепенно соизмерил работу своего тела с работой лошади.

Черныш шел свободно, и уже в первом кругу наездник почувствовал, что его надо придерживать, иначе он вытянется в слишком долгом броске и под конец выдохнется и потеряет темп.

Черныш, быстро съев расстояние до Карата, после поворота боковой попросился в резвость, но Теймураз устоял. Выйдя на прямую, кони опять полетели, и Теймураз, умиряя Черныша и внутренне ликуя — большое сердце у коня! — на мгновение похолодел.

В один миг все расчеты полетели прочь — коротко дрогнула натянутая струной левая вожжа. В следующий миг Теймураз разглядел трещинку на вожже, и сразу, замутняя ум, сдвинулось в нем что-то горькое, душное. Все прежние кошмары, шушуканье подворотни, задышливая беготня шпаны, затевающей сделку, и в этой мешанине, почти убившей волю, неожиданно ярко возникло терпеливое, неправдоподобно красивое лицо Юлии.

Теймураз убедился, что вожжа еще не лопнула совсем. Он ослабил руки, и Черныш, почувствовав свободу, прибавил резвость. За поворотом легко обошел Карата. Уйдя вперед, Теймураз окончательно поверил в силу Черныша. Невыразимое чувство окрыленности охватило его.

Он приготовил хлыст, чтобы, поставив его торчмя, дать тайный знак Юлии: ставь на меня!

И тут сзади нагнал его плотным горячим вихрем Карат. Теймураз спружинился, следил за соперником боковым зрением, — и вот Карат в жестком рывке поравнялся с Чернышом.

И стало слышно, как затаились трибуны. Рустам вырвал еще четверть корпуса, заученно взмахнул хлыстом, будто надсек глыбу. От этого взмаха Черныш резко дернул головой и сбился.

— А-а-ах! — донеслось с трибуны. Быстро удалялась желтая хищная спина Рустама. Теймураз ужаснулся. Перед ним замелькали лица, и среди них выделялось три — с поджатым ртом, с угрюмой усмешкой лицо Рустама, с выпученными рачьими глазами, будто глядящими сквозь мох, — Ушанги и с лукаво-презрительной усмешкой — Мадина.

Неожиданно Теймураз, сам того не замечая, поднял торчмя хлыст. Сердце, казалось, наполнило собой всю грудь. И уже не от руки, а от разогревшегося и неужеримо разраставшегося сердца принял Черныш небывалый посыл. Полетел пулей, и летел с таким четким и молниеносным перебором ног, что трибуны, должно быть, уже примирившиеся с тем, как складываются бега, ответили на резвость Черныша перекатным гулом.

— Черны-ы-ош!..

Голос этот, выделившийся из общего гула, ожогом запечатлелся на душе Теймураза. Это был крик Юлии.

— А-а-а-х! — страстно, по-звериному простонал Теймураз, управляя лошастью только сердцем.

В повороте перед последней прямой Черныш коршуном уперся в спину Рустама. Еще секунда — и снова слились в одну стремительно скользящую тень две страшные в своем порыве к победному столбу лошади.

Последним Теймураз запомнил перекошенное бледное лицо, ударившую откуда-то сверху накаленную волну людского шума и свиста. Какая-то часть его словно переселилась в бегущую лошадь, а лошадь ощутимо проникла в него, и оба они в неразрывной слитности летели в светлую и пустую туманность.

КАЮР ТАНЬГИ

С роду не видывал я таких снегов. Вблизи белые, тронутые слабой синью, издали они сливались с небом в одно беспредельное мглистое пространство, обьятое сном, хоронящее звуки без единого отголоска. Вокруг не за что зацепиться глазами: ни кустика, ни камня, ни даже сугроба.

Первый раз в жизни я ехал по тундре.

С похрустыванием сламывался под оленьими копытами наст, шелестели полозья нарты, да каюр Таньги напевал один и тот же нескончаемый мотив. Четвертый час без передышки. Не смея громко выразить скуку, — сам напросился в эту поездку, — я все сильнее мечтал поскорее попасть в зверосовхоз, где меня ждал флотский дружок, начальник тамошнего радиоузла.

Но пока кругом простиралась тундра, похожая на оцепенелое гладкое море. Перегруженная нарта — каюр вез почту, граммпластинки, две кинокартины — "Кортик" и "Подвиг разведчика" — скользила плавно, быстро, и все же снежная пыль не успевала отставать от нее, докучливо опадала на лицо. И все бы ничего, если

бы не эта заунывная песенка Таньги; да, если бы не она, у меня, пожалуй, на душе подольше держалась благодать, с какой я проехал первые версты пути.

Однако Таньги пел и пел, иногда протяжно, хрипло покрикивал: "Хэс-с!", погонял оленей, дергался телом, доставал шестом до вожака. Тогда со спины его и шапки сыпался снег; сквозь плотно вьезшийся в шапку иней ненадолго проступал цвет меха. Я хорошо помнил шапку каюра, огненно-рыжую, из красной лисицы. Приметил ее еще на прошлогоднем празднике Севера, когда упряжка Таньги первой пришла к столбу.

Как и все, кто стоял у финиша, я поспешил к победителю, держал наготове фотоаппарат. Но так и не щелкнул затвором, угадав в фигуре каюра не радость, а непонятную в данную торжественную для него минуту угрюмую настороженность. На поздравления он отвечал суровым, отчужденным взглядом, недоверчиво оглядывал людей, будто посчитавши, что над ним смеются.

Вечером я увидел его в ресторане. И снова, как днем, в лице его сквозила отчужденность, и любому, кто не знал, что Таньги празднует победу, могло показаться: человек в одиночку справляется со свалившимся на него горем.

Я долго не решался подойти к нему. Не выдержал, подсел. Тот вечер и свел нас — каюра и корреспондента.

Таньги ошеломил меня не рассказом об оленьих бегах, а другим — о стране богов. Начал он не сразу; чуточку захмелел от выпитого вина, и все же веселости в нем не прибавилось. Наоборот, глаза его сделались томительно-тревожными, он напряжился. Что-то давно накопившееся рвалось из него наружу, он вопросительным взглядом испытывал меня: тот ли я собеседник, которому можно довериться? Простачком прикидываться я не стал, но симпатии к нему и любопытства не скрыл.

Таньги разговорился.

Те снежные боги, как я понял, обитают на полпути к его селению, меж двух сопок. В гибельное ненастье, когда ветер набирает такую силу, что снег, мох, сорванные с земли, поднимает до седьмого неба, человек слышит песню. Тоскливую, леденящую кровь песню богов. Следом за холодом приходит тепло, печаль ублаживает душу. Человек засыпает, уходит в вечность.

Примерно такую вот историю рассказал мне Таньги. Тогда мне, недавно отслужившему свой срок в под-

плаве, история с богами показалась досужей небылицей.

Ровно бежали олени по тундре, безобидно покойной, с мягким, не перехватывающим дыханием воздухом. И каюр вроде бы унялся, песенка его сделалась тише, крики слабее.

От долгой, ровной езды ноги мои налились приятной тяжестью, тулуп, надетый поверх канадской куртки, давил плечи, по спине растекалась сонная истома. Только ремень карабина, для пущей важности преподнесенного каюром перед дорогой, чуточку мешал свободно дышать. Сон шел ко мне, пеленал теплом... Уже в дреме, ощутив затежелевшим боком участливо подставленную спину Таньги, я еще раз подумал о нем.

Сегодня утром, пока мы в почтовом отделении дожидались груза, каюр словно бы не справился с неожиданно одолевшей его тоской. Вспомнил отца и мать, тихо сказал: их украдо море. Неделю искали их, ушедших охотиться на нерпу, не нашли. Однажды сиротку Таньги — он бродил вдоль берега — взял за руку старец, повел в далекую бухту. Этот высланный из поселка шаман, как потом узнал Таньги, поставил чум среди скал. День-деньской учил он Таньги своей колдовской науке. Поначалу Таньги понравилось бить в бубен, плясать вокруг костра. И как изгонять злых духов, нашептывать заклинания — тоже. Но раз ночью он вззошел на самую высокую вершину, увидел огни, много огней. Убежал, пришел к людям...

Потому и чудной он, Таньги. Видать, шаманские уроки обернулись для него душевным изъязном, который не так-то просто вытравить.

На этом думы мои о каюре, да и обо всем на свете отлетели прочь. Я заснул.

Проснулся я, не помня, сколько проспал. Мы стояли. Тишина насторожила меня. Все так же белы и безбрежны были снега, по-прежнему серым и низким было небо. Небо спадало на снежные равнины, а равнины подымались к небу, и нельзя было сразу отличить их друг от друга. Я понял, что в тундре наступает вечер, хотя его вечером назвать невозможно. Вся загадка в том, что вокруг вроде бы ничего не меняется. По густеющему призрачному мраку, по холоду, который в такую мягкую погоду не дойдет до каленой стыни, трудно гадать, близится ли вечер.

Немыслимое, щемящее беззвучие — главный признак его. Все безмолвствует: не слышно дыхания, не

звучит ничей голос, и даже сердце боязливо глушат в груди слабеющие толчки.

Подавленный гнетущей тишью, я какое-то время сидел, не шевелясь, не замечая тревожной перемены вокруг. Каюра за моей спиной не было.

Таньги стоял возле оленей. Постепенно размяв стомленное сном тело, я сошел на снег.

Вдалеке, будто на самом краю земли, угадывались две размытые дымком округлые сопки. Как раз в том месте, пронизывая тревогой остальные просторы, зрела холодная чернота.

— Это там... — шепотом обронил Таньги.

В голосе его слышалась торжественность, но в нем присутствовало и пугливо настороженное почтение.

Я взял у него бинокль. В окулярах сопки казались плоскими, оцепенелыми, как на картинке. Только за ними было движение: очертания тьмы, о значении которой я еще не догадывался, то плотнели, то размывались. Постепенно мертвенная голубизна сопок помутнела, а сами сопки начали растворяться, и скоро живая пелена мглы отделила их от равнины.

Пересиливая странную робость, я с улыбкой оглянулся на каюра.

— Может, пальнем разок из пушки?

— Тундра не любит злого гостя, — нахмурился Таньги. — Я знаю, ты добрый. К добрым беда пристаает...

Со стороны сопок все явственнее надвигалась темь. Она ложилась на равнину, оттого снежный покров казался до того чистым и ясным, что хотелось зажмурить глаза.

— Это норд, плохой ветер, — пояснил наконец Таньги. — Его никто не ждет, он сам ждет, когда в тундру придут люди... Надо ехать быстро.

Он направился к тревожно запереступавшим оленям, проверил упряжь. Олени, видно было, тоже почуяли опасность. Жались друг к дружке, ударами копыт раскидывали снег, подгибали колени, норовили лечь в ямку.

Тронулись они с места нехотя. Минут пять каюр бежал рядом с упряжкой, погонял ее, пока она не выправилась, не взяла ровный полный ход. Потом на бегу, по-звериному ловко прыгнул к нарте, цепко ухватился за передок.

Упряжка неслась к бледно-голубому раствору в том месте неба, где затмение как будто приостановилось. Темень катилась на нас справа, мы же торопились обойти ее слева. Но чернота двигалась быстрее, и вдруг с



жутковатой сумеречностью потекла и сбоку и сверху. Сделалось совсем темно, налетел первый порыв ветра. Следом за первым ударил второй, удушливо-плотный, со снегом. Вовсю пошла пурга. Такая неистовая и густая, что в ее непроглядности не угадать было шапку Таньги. И тут я почувствовал третье дыхание пурги, пронизывающее, холодное. Оно было тугим, леденящим, как железо, долго пролежавшее на морозе. Со всей цепенящей расчетливой силой холод добрался до каждого мускула. Иззябший, оглушенный, я больше

ни о чем не думал, следил только за тем, чтобы не сорваться с нарты. Теперь она скользила рывками, видимо, олени запинались.

Внезапно сквозь шум я услышал песню каюра. Ту самую, которой он досаждал мне. Сейчас я обрадованно ловил каждый обрывок его голоса.

Скоро каюра не стало слышно. Все живое онемело, наступило всевластие тьмы, холода и ветряного гула.

Не помню, сколько мы ехали так. Последнее, что помню — ощущение провальной пустоты подо мной, короткое падение, острая боль в горле. И все.

Я медленно пробуждался от тяжелого сна. Чудилось мне, что лежу я головой в жаркой печи, но почему-то не ее распарило, а спину, свинцово тяжелую, неподвижную. Боли нигде не было. И хотя глаза еще оставались закрытыми и я не совсем опамятовался, радость жизни возвращалась ко мне. Все, что недавно было явью, девалось неизвестно куда — ни тундры, ни пурги, ни каюра...

Долго длилось сонное полузабытье. Затем я уловил запах горящего тюленьего жира, слабое, невнятное бормотание. Размежив веки, разглядел над собой грузно осевшее палаточное полотно, на нем — беглые отблески пламени.

Сознание прояснилось, я понял: лежу в палатке. Я осмотрелся. Палатку, довольно просторную, сдавило со всех сторон — нас уже занесло снегом. Над головой каюра висел на кронштейне почерневший шлюпочный фонарь. Сам Таньги сидел, подмывая под себя ноги, глядел на огонь маленького очага. Лицо его сильно постарело от неведомого мне горя. Черные руки лежали на коленях безвольно, как не пригодные для дела. Голос, прежде звонкий, выдавливался через расслабленные губы хрипло, затяжно.

Он говорил. Говорил, не слыша себя, будто все время держа на уме один важный интерес — слышит ли его тот, для кого он говорит? Повторял он почти одни и те же слова, лишь меняя их звучание — от молитвенной напевности до накала страстного раскаяния.

"Зачем ты это сделал?" — вот примерный смысл их.

Я догадался: помимо того, что меня ушибло и лишило сознания, произошло другое, мне еще не известное.

Не знаю, только ли эта картина напомнила мне полузабытый случай. Виделся мне отец. В ночной избе, освещенной керосиновой лампой, он сидел за столом, кручинился. Перед ним бутылка водки и буханка хлеба,

но он не ест, не пьет, а только приговаривает с глубокой горечью: "Я ж тебе верил, верил..."

Никого в избе, кроме меня, нет. Отец не подозревает, что я лежу на печке, тайком наблюдаю за ним. И впервые в жизни испытываю страх оттого, что человек разговаривает с человеком или нечеловеком, которого рядом нет.

А между тем отец мой в ту пору был председателем колхоза. На гимнастерке его еще темнели следы от погонов капитана-артиллериста; помню, он хватался за ремень, когда я приносил двойки по арифметике или геометрии — не прощал мне нелюбовь к точным наукам...

И теперь, много лет спустя, в палатке, посреди разбушевавшейся тундры, я вспомнил, откуда было горе отца.

На речке Пуляйке ставили плотину. В ней отец, городской человек, ставший председателем колхоза, видел свою первую удачу. От нее мы, дети послевоенной голодухи, ждали неслыханного изобилия. Сам отец даже во сне вслух мечтал о том дне, когда с полей, напоенных водой из плотины, люди снимут первый урожай овощей.

Мне снились красные помидоры.

Каждую лопату земли, каждую хворостину, из которых воздвигалась плотина, я запомнил навсегда. В узкой обрывистой теснине вставала она, плотина, и ничего прочнее и красивее ее я в жизни до этого не видел.

В тот день, когда из-за леса выкатилась туча и тишину неба разорвало громом, на плотине было безлюдно. Неподалеку от нее купались только мы, три-четыре пацана. Радостна, желанна была эта июньская гроза: после нее вода должна была подняться по самый водосток. Ливень — быстрый, окатный — не отогнал нас от плотины. Мы приплясывали, глядя, как с косогоров, из распадов бегут желтые, вспененные потоки. Водоем быстро вспучило. Мы покрутили ворот, чтобы лишняя вода нашла себе выход.

Дождь уже кончился, а вода все прибывала, и деревянный желоб уже не вмещал излишек ее. Широкая волна захлестнула плотину, плеснулась через нее; накатившей следом второй волной ее накрыло всю. Мы разбежались — плотину смывало. Земля и хворост дыбились, со стоном рушились вниз. Потом плотину разом смяло, измельчило в жидкую кашу. Еще минут пять клокотала, кипела вода...

Вечером того дня я слышал слова отца, обращенные неизвестно к кому. Горечь и обиду таили в себе те слова, но не человеку, как мне кажется, пожаловался отец.

Открыв глаза, я смотрел на Таньги. Выражение покорности и жертвенности застыло на его совсем почерневшем лице. Казалось, он, сотворив последнюю молитву, с равной готовностью дожидался прощения или немилости.

Я невольно напрягся слухом, услышал, как резко усилился шум. Должно быть, пурга неслась по земле со всей своей разрушительной силой. Мягко хрустнуло, надо мной прогнулась продольная железная переключина палатки. Почудилось еще — палатку сдвинуло с места.

Таньги молчал. Столько томительного ожидания было в позе каюра, что я не решался больше смотреть на него. А подать голос, чтобы отвлечь его, было почему-то боязно.

Внезапно успокаиваясь, я отвел от него взгляд. В голову пришло успокоительное сравнение. Что-то похожее на ту всеохватывающую тоску, что сквозила в фигуре каюра, однажды овладело и мной. То было в море, на большой глубине. В те минуты, когда подводная лодка, шедшая над горной грядой, из-за неточности эхолота попала в каменную расселину, как в тиски. Лодка застряла. Вот тогда-то я словно бы помолился, не зная ни одной молитвы. Просто мне еще жить хотелось, и я к жизни взывал, принимая ее за чудо. И чудо услышало меня — я жив; живы мои товарищи, которые в минуту случайного невезения тоже ждали чуда, пряча в шутках источающее душу сомнение. С шуткой оно легче.

Опять вспомнил, где я. Готовый поострословить с Таньги — хватит сидеть истуканом! — я приподнялся. И вдруг будто споткнулось сердце, упало и затаилось, — далекое, проникшее сквозь гул стихии пение остановило меня.

Хорошо, что я не потревожил каюра. С тяжким вздохом он расслабился, поднял руки к лицу. Потушил еле живое пламя очага. В палатке сделалось сумрачнее, тише.

Песня, которую поначалу тянул один несильный, надсаженный голос, начинала обрастать тонкими подголосками. Не будь пурги, песня звучала бы звонко, чисто, но она и такая, приглушенная, будто ватой задушенная, поражала слух отчетливостью и мощью. Она

становилась то низкой, то высокой, то совсем замирала: тогда и пурга как бы умиралась ненадолго, чтобы не помешать песне возникнуть вновь. И вот опять ведущий голос набрал свою певучую силу, остальные же подхватили вразнобой, и только минуту спустя песня выправилась до ровного могучего звучания.

Одно удивляло меня, скованного не страхом, нет — колдовским оцепенением. В песне этой не было ни единого живого выражения — ни радости, ни печали не слышалось в ней. Но была она вольна, свободна, казалось, сама земля пела ее, чтобы услышать себя, уставшую от вечного безмолвия и немоты.

Утром мы откапывались.

Нестерпимо белый свет полоснул в глаза, на мгновение ослепил; потом все прояснилось, и я почувствовал, как сдавило сердце.

Прямо передо мной стояли сопки. Те, две.

По краям хмурое, небо над сопками было выбелено мягким глубоким сиянием.

Таньги молча орудовал деревянной лопатой, освобождая от снега оленей, нарту. Олени отряхивались, вздрагивая ноздрями, тыкались в грудь Таньги. Ни озноба, ни утомления не чувствовалось в их терпеливых телах. Только один не поднялся. Каюр долго, в тоскливой забывчивости, сгребал с него снег. Потом мне показалось, что я услышал всхлип, который, дойдя до мгновенного громкого рыдания, сразу оборвался.

Я подошел к оленю. Окоченелый вожак лежал, подетски поджав к животу неестественно вывернутые ноги. Уже после я разглядел запекшееся возле уха пулевое отверстие.

— Я пристрелил... — пояснил Таньги. — У него острый глаз был. Все равно в яму упал, мне шаман мстил. С того света мстил. У оленя, я слышал, ноги сломались, как палки...

— Помню, я тоже падал, — сказал я и отвернулся — глаза защипало от мокра. — Я не ушибся, Таньги, я от испуга без памяти был. Шок это называется.

— Ты хорошо падал, — подтвердил Таньги. — Я совсем не падал, я прыгнул, напугал оленей, пробежали мимо ямы...

Он выговорился. Снова принялся за работу. Я тоже взял лопату, стал откапывать палатку. Вдруг из нее повалил пар. Я на четвереньках спустился внутрь, снял с очага закипевший чайник. Обжег руку, подержал его, чтобы утишить боль, холодный ствол карабина. Наткнулся взглядом на ремень, срезанный почти у самого

ложа. Догадаться, как и чем он был срезан, было нетрудно: одним верным махом, острой, как бритва, финкой, какую я видел только у каюра. Значит, этим ремнем захлестнуло и душило меня.

Я вынес карабин наверх, нарочито громко покашливая, воткнул его прикладом в сугроб.

Мы встретились с Таньги глазами. Он смотрел наивно-доверчиво, будто никакого касательства к заинтересовавшему меня предмету не имел. Мне хотелось наговорить ему много-много хороших слов.

Я так бы и сделал, если бы не услышал песню.

Из-за сопков, из белой сияющей мглы тянулась она; была она невнятная, смутная, но лилась уже без напряжения, донося в своих звуках тепло, которого в ней не хватало ночью. Однако той гнетущей, колдующей власти, какою она, ночная, была наполнена до предела, сейчас не ощущалось. Зато она покоряла другим — очарованием живых голосов.

Вслушиваясь в нее, я стал постепенно отличать один голос от другого, но их было много, и слух с трудом и недолго ловил каждый в отдельности — снова слились они в одну раздольно-печальную песню. Я еще и еще раз напрягся, пытаюсь сравнить ее с той, ночью слышанной и на всю жизнь запавшей в душу, но напрасны были мои усилия найти между ними не только сходство, но хотя бы отдаленную связь.

Вся равнина впереди, склоны сопков, обращенные к нам, были нагими, и ничто не выдавало присутствия ни людей, ни каких-нибудь живых существ.

Желая проверить, не мерещится ли мне, может, пострадавшему от ночных нападений более серьезно, чем думалось, я оглянулся на каюра. По напряженной фигуре Таньги, по глазам, в которых поровну смешались испуг и недоумение, догадался — он тоже слышит песню. Я подбежал к нему, потряс за плечо. Сгреб с нарты широкие, обшитые тюленьей шкурой лыжи; пока каюр осознавал себя, схватил карабин, быстро двинулся к сопкам.

Когда взбирался на одну из них, на левую, за которой явственно рождалась песня, сзади долетел до меня протяжный крик. Я обернулся: Таньги разворачивал оленью упряжку, готовясь повести ее следом за мной.

С вершины я увидел белую равнину. Расположенный неподалеку от подножия сопки небольшой лагерь. Два тягача, самоходную буровую установку, времянку. Человек двадцать сидело вокруг костра. Пламя от

солярки было высокое, черными лохмотьями разлеталась от него копоть.

Не знаю уж почему, но я чуть не заплакал. Вскинув руку с карабином, нащупал спусковой крючок, вовремя одумался — нельзя мешать песне. И все-таки меня заметили. Песня потеряла стройность, стала распадаться на части и скоро совсем смолкла.

Досадуя на себя, я спустился вниз. Все еще ошеломленный, не сразу смог ответить на расспросы, кто я, зачем я. Как раз в этот момент, когда молодой, обожженный ветрами бородач рассказывал мне о здешних поющих пещерах, на сопку стремительно вынеслась оленья упряжка. Она замерла на хребте, и ветви рогов плотно сплелись в причудливом рисунке.

— Так вот, товарищ корреспондент, — будничным голосом продолжал бородастый метеоролог. — Мои приборы ночью регистрировали порывы ветра до десяти баллов. Уже при восьми баллах эти снежные пещеры начинают издавать звук... Ну, как пустые бутылки, если их расположить...

Больше я его не слушал.

Остаток пути мы с Танги ехали медленно. Олени бежали неровно; то один, то другой из них оглядывался назад, и мы видели захлестнутые скорбью глаза. Невольно оглядывались сами: будто мог он, вожак, воскреснуть, радостно трубя, пуститься за нами вдогонку. Я вспомнил, что среди прочих фотографий у меня хранится снимок победно мчащейся оленьей упряжки. От вожака, горделиво скинувшего тонкие рога, до финиша — рукой подать.

Я пообещал прислать этот снимок каюру. Он молча склонил голову, неуловимо коротко вздрогнул спиной.

Замедляла бег, словно разом спотыкалась белая от инея упряжка. И снова белую тундру давила тишина.

Я осторожно, обходительно, чтобы не сразу ошарашить Танги, заговорил о поющих снежных пещерах. Потом ждал, как он отзовется на эту неожиданную для нас обоих новость.

Каюр не обронил ни единого слова. Он опять затянул свою однообразную, нескончаемо длинную песню.

И только раз он пристально глянул на меня черными, непроницаемо черными глазами. По ним все-таки видно было, что Танги все понял.

Я тоже понял его — невыразимо тяжело и больно расставание со старой, губительно-прекрасной сказкой.

СДАЕТСЯ КОМНАТА

Уже битый час я томился у широкого вокзального окна, дожидаясь поезда, опаздывавшего неизвестно по какой причине. Этим скорым поездом я рассчитывал успеть в Москве на предпоследнюю электричку, чтобы наконец очутиться в домашнем удобстве после изнуряющей осенней командировки.

Здесь, в областном городе, я остановился по пути, повидался кое с кем из старых друзей, и во мне еще не унялось грустно щемящее чувство расставания. Несмотря на нелады с поездом, на душе было спокойно, и про себя я радовался, что не проехал рано утром мимо города, в котором прожил пять лет.

Когда отсеялся очередной мелкий дождишко, я вышел на перрон, и просто так, без всякого интереса стал читать объявления, припечатанные к фонарным столбам.

Последнее меня потревожило.

Листок, тщательно приклеенный к столбу, после дождя сморщился, надпись: "Здаеця комната" сочилась лиловыми потеками. Выведенный буквами поменьше адрес был смазан до неразборчивости.

От таких, не шибко грамотных, должно быть, сотворенных одинокими старухами объявлений у меня и раньше щемило сердце, но тут загадка моего волнения таилась в другом. Что-то знакомое было в этих жирных изломистых буквах, нарисованных твердой, сильной и все же, видать, дрожащей рукой. И когда оторопело шевельнулась память, я будто наяву увидел ту руку. Не осталось ни капли сомнения: объявление это писано Клавдьюхой.

В тумане, наплывавшем на землю, показались желтые сполохи огней, тихо и певуче зазвенели провода. Даже без голоса диктора можно было догадаться, что идет поезд.

Но мне вдруг ехать расхотелось.

Я торопливо, не оглядываясь на приближающийся поезд, боясь раздумать, зашагал на остановку троллейбуса, который подвезет меня к молочному рынку, откуда до Клавдьюхиного дома — четверть часа ходьбы.

Молочным рынком здесь именовался старый базар, и с него, чуть отшибленного от центра города, брала начало длинная избяная улица.

Пока троллейбус неходко катил вдоль новых кварталов, делая частые остановки, небо затянулось сумерками, опять начал накрапывать дождик. Сквозь запо-

тевшее стекло еще угадывались призрачные очертания домов, и я узнавал их, хотя после того, как уехал отсюда в другой город, прошло много лет.

Помня, где рынок, я высматривал его в густеющей темени. Я хорошо помнил его маленькие галантерейные и скобяные лавчонки, взметнувшиеся на крутой взлобок торговые ряды.

Я сошел на мокрый асфальт, постоял напротив рынка, и никаких построек его не увидел. В плотной мороси над торговой площадью брезжил только свет фонарей.

Здесь, на рынке, я впервые разглядел приклеенный к боковой стене небольшой пивнушки листок: "Здаецца комната", и впервые в жизни остро почувствовал свою бездомность.

В ту позднюю осень меня занесло сюда с далекого Севера, где я служил на флоте, а потом малость освоился с газетным делом. Сорвало меня с прежнего места письмо: здешние ребята сулили должность разъездного корреспондента — для того времени предел моих мечтаний.

Однако, видать, был я невезучим, особенно на "гражданке". Покуда с флотской дотошностью оформлял выездные документы, летел из Мурманска в Ленинград, оттуда ехал поездом в Москву, а там сел на электричку, — одним словом, пока я совершал длинное, еще непривычное небесное и земное путешествие, на обещанную мне должность взяли объявившегося здесь матерого газетчика из Астрахани. Я не догадывался об этом, когда с чемоданчиком, который вместил весь нажитый мной на флоте скарб, бодро толкнул дверь редакции. И только потом, приглядевшись к угрюмым лицам моих доброжелателей, понял, что случилось неладное. Положение поправил сам же астраханский малый, Сема Волокушин. Едва завидев меня, опечаленного, сощурил черные, со степной раскосинкой глаза на мою тельняшку, по-свойски сказал:

— Не дрейфь, старик! Оклад пополам. Садимся на полставку... Будем нажимать на гонорар...

С месяц я вкалывал денно и ночно. Жизнь пошла бродячая: ночевал я то в райцентровских гостиницах, то у приятелей, а то, бывало, прямо в редакции, если поздно возвращался из командировки. Когда же первый хмельной азарт работы немножко поутих, я задумался, что и как будет дальше.

Редактор, человек временный, метивший в большое начальство, ничего толком не сказал насчет жилья.

До этого не знавший заботы о крове, я не сразу скумекал, что надо у кого-то остановиться на постой.

В погожий день осени я первый раз отправился на молочный рынок в надежде подыскать дешевенький плащишко. Месячный гонорар — один смех, поскольку многое из того, что я писал, летело в корзину, — лежал в кармане бушлата.

День был базарный. С ветреного ясного неба сходила на торговую площадь бодрящая свежесть, и весь стекшийся сюда люд — и праздный, и озабоченный — бойко толкался возле прилавков, киосков и магазинчиков. Отовсюду неслись, смешивались в единый гулкий шум голоса, звуки гармонии, обрывки частушек.

Разжигаемый базарной сутолокой, я тоже двинулся вдоль длинных рядов — поглядеть, кто как торгует. Интересного было мало. Видать, за утренней торопкостью наступило затишье. Старухи, основательно одетые, — тесовые, побуревшие от долголетия навесы отбрасывали зябкую тень, — молчали, и только в полинялых глазах сквозил терпеливый вопрос: "купит — не купит". Торговали тут в основном яблоками, приправами и семечками. Два-три наезжих кавказца разложили перед собой оранжевые гранаты.

Рядом с закутанной плотной шалью бабкой я заметил девчонку лет десяти, худощавую, в красном потертом пальтишке, перехваченном голубой опояской. Округлив посинелые губы, она воровато, чтобы не привлечь внимание, дула на покрасневшие руки. На голове у нее была вязаная шапочка, какую надевают лыжники, из-под нее вывалилась пепельно-серая косичка. Я прошел мимо, потом вернулся и стал топтаться взад-вперед, пока девчонка не подняла на меня вопрошающе-смущенный взгляд.

Я тоже смутился, но отойти в сторонку или отправиться дальше не смог. Что-то не давало мне сразу оторваться от лица девчонки, от казавшейся седой ее косички, нахолодавших, будто совсем уже угасших глаз. В замешательстве она опять согнулась, пряча лицо, и вроде должна была бы зардеться, как любая другая девчонка на ее месте, но вместо этого на худых щеках проступила меловая бледность.

— Гляди, гляди ему в глаза-то, — не утерпела бабка, с веселым добродушием толкнула ее в бок. — Может, немой он...

Девчонка повернулась ко мне боком, изящными пальцами поймала кончик косички, загнула ее колечком, подсунула под шапку.

Я пошел дальше с мыслью вернуться назад и купить яблоки, но для этого прежде надо было найти хозяйственную сумку или хотя бы авоську. Растерянного, зазевавшегося, меня вынесло к оврагу, похожему на танковый ров. На дне его, разложив закуску на старом прогнившем бочажке, два мужика пили пиво. Один, чернявый, лупоглазый, увидев меня на краю оврага, засиял, поманил рукой.

— Эй, морячок, гребни сюда!.. Не бойся, свои...

Я невесело отмахнулся, зашагал вдоль дощатой стены пивной к галантерейному киоску напротив. Сбоку ярко промелькнул белый листок, заставил обернуться. Подошел ближе, замороженно уставился на листок и несколько раз подряд, смакуя каждую букву, прочитал два слова: "Здаеця комната".

Я нетерпеливо нажал на прикрепленную к глухим дубовым воротам кнопку звонка, минуты две спустя услышал тяжелые шаркающие шаги. В дырочке передо мной блеснул чей-то глаз, долго настороженно глядел из-под отекавшего века. Загребел железный запор, и не мужчина, как мне подумалось сначала, а женщина, грузная, со строгим недоверчиво-отчужденным выражением на лице, выпустила меня во двор.

Разгоревшийся от быстрой ходьбы, от тайной радости, что наконец-то у меня будет укромное, хоть и временное пристанище, я чуточку приостыл.

— Я насчет жилья... — пробормотал я. — По объявлению...

Но хозяйка молчала и не сдвинулась с места. Она спокойно, с каким-то бесчувственным любопытством оглядывала меня, и заодно, почудилось, считала, сколько пуговиц пришито к моему бушлату.

— Меня зовут Клавдия Ивановна, — проронила она, повернулась и пошла к крыльцу.

Половину двора, большого, чисто подметенного, занимал яблоневый сад.

В глубине его копошился человек в пропачканной одежонке, должно быть, хозяин; вялыми движениями рук он старался воткнуть в землю жердочку, чтобы, видимо, подкрепить ею огрузневшую, круто свисавшую ветку антоновки с неснятыми яблоками.

Дом был на удивление большим и прочным. Любовь к добротности, с какой его ставили стародавние мастера, угадывалась во всем.

Но когда хозяйка, войдя в просторную кухню, отперла дверь приготовленной для постояльца комнаты, я пережил нечто вроде смутения: уж до того она мала. Свежепобеленные стены да белая бумажейная занавеска делали ее похожей на крохотную больничную палату. Железная, по-солдатски тонко застеленная кровать оттеснила к окну тумбочку, видно, бывшую когда-то в казенном употреблении. И все — больше повернуться негде. И все же я, недавний житель подводной лодки, где, согласно поговорке, в тесноте да не в обиде, поддаваться первому испугу не стал.

— Подходящая каюта... — сказал я хозяйке.

— Поздно не приходи, — недружелюбно, как бы сдерживая силу голоса, произнесла она.

Потому-то я, захватив свои пожитки, вернулся еще засветло. Со мной был Сема Волокушин, у родственницы которого я оставлял чемоданчик. Мы разлили по кружкам портвейн, тихо справили новоселье и расстались.

Я лег на кровать; благодатная мысль, что я наконец никого не притесняю и в этом уголке теперь сам себе хозяин, быстро убаюкала меня.

Среди ночи я внезапно проснулся от грохота. Непонятно было — то ли почудился мне выстрел, то ли на самом деле неподалеку кто-то пальнул из ружья.

В доме было тихо, дремотно, и только за окном слышался шум усилившегося ветра. Разбудивший меня хлесткий звук не повторялся. И все-таки того легкого настроения, с каким я ложился спать, не было больше.

Из неопределенного состояния меня вывел скрип входной двери. Кто-то, осторожно ступая, прошел к столу, и в наступившей затем тишине до меня донесся слабый звон, какой издают отстрелянные гильзы, ударяясь друг о друга. Я успокоенно откинулся на подушку и вскоре забылся.

Проснулся я в серой полумгле. Полусвет стоял и за окном, небо, низкое и хмурое, едва не касалось яблонь.

В мою клеть из кухни процеживался аромат яблок. Там, за дверью, торопливо ходили, позвякивали ведрами. Среди гулких шагов я различал мелкие, запинаящиеся шажки, — надо думать, детские. Вдруг я услышал звук пощечины, вслед за ним — сдавленный тоненький хнык, который прекратился, как только в глубине кухни возник резкий, обжигающий слух шепот:

— Я те покажу, как вываливать, дармоедка... По одному выкладывай. Никакой школы тебе сегодня не видать...

Я уже давно догадался, чем заняты хозяева: поспешно снимали урожай с антоновок. До начала рабочего дня у меня было время помочь им. Я быстро, как по тревоге, оделся, небритый и неумытый, вышел под неприветливое волглое небо.

Навстречу мне шла девчонка. Вчерашняя, увиденная на рынке, — все в том же красном потертом пальтишке, с той же голубой опояской. Видно, косичку она не успела заплести, и волосы, казавшиеся в сереньком свете выцветшей соломой, свалились на лицо. Неся тяжелое ведро с яблоками, она глядела под ноги.

Чтобы не испугнуть ее своим неслышным появлением, я кашлянул.

И все же она вздрогнула, тряхнула головой, и мне стали видны ее горестно-испуганные, утонувшие в слезах глаза. Она узнала меня, но вроде бы еще не поверила, что перед ней — вчерашний, без толку топтавший-ся у прилавка чужак.

— Здравствуй, — сказал я, перехватив у нее ведро. — Как тебя зовут?

— Женя... — пролепетала она и украдкой огляделась. Позади никого не было.

— Евгения, значит, — проговорил я. — А по батюшке как?

Она промолчала, может быть, не поняла вопроса, а если поняла, то силилась припомнить — как? Мы вошли в кухню, присев на корточки, начали класть яблоки на широкую холстину. Женя изредка шмыгала носом, откидывала волосы, и тогда я ловил на себе ее короткий, чуть оживившийся взгляд. У порога показалась повязанная черным платком бабка, охнув, опустила на пол ведро — тоже с яблоками.

— Пропади она пропадом, — сказала бабка про кого-то и вздохнула. — Каждый год до белых мух держит, а стеречь-то Фролу... — передохнула, пообвыкаясь с полусумраком, заметила меня: — Господи, разболталась сослепу-то... Это ты ейный новый квартирант, что ли?

— Он самый, бабушка, — подтвердил я.

Стоявшее у порога ведро я перенес к холстине и опять принялся за работу.

— Ты, голубушка, ступай с пустым ведром, — сказала бабка притихшей Жене. — Пусть человек подсобляет, коли охота...

— Она меня чуть свет подняла, Клавдюха-то, — пожаловалась она. — А у меня ревматизм, лишний раз и не взойду на крыльцо... А ты, ежели приживешься, будь поласковой с Фролом Романычем, — с печальной напевностью продолжила она. — Брат он мой меньшей...

Так и остался не до конца понятным ее просительный взгляд — она не успела досказать, что хотела.

Шумно, с одышкой притопала Клавдюха.

Со старухой я встретился на другой день у ворот Клавдюхиного дома.

Несмотря на ненастье, — шел дождь пополам с мокрым, быстро тающим снегом, — у меня на душе было радостно и легко: в кармане лежали оттиски первого моего большого очерка. Я размахивал авоськой, в которой поблескивала новенькая кастрюля из нержавеющей стали, сверху придавленная картошкой.

Увидев бабуку, я встревоженно заторопился. Мне показалось странным, что она, выйдя из ворот, осенила себя крестным знамением.

— А-а, это ты, милоч, — пошевелила она губами. — Дак у тебя, гляжу, на голове картуза нету. Не справишь никак или для форсу?..

— Некогда, бабушка, — откликнулся я.

Не ускользнула от ее пристального взгляда и моя ноша. Старуха неожиданно всплеснула руками.

— Картошку-то, чай, магазинную купил. Ах, золотице ты мое. Мне бы самой догадаться, что ты по картошке соскучился. Откуда же ей быть в морях-окиянах... Заходи ко мне прямо хоть нонче. Женечка-малютка проводит — скажи ей: бабка Таисия велела. Я тебе целый мешок отвалю, ешь на здорovie...

С этими словами она проворненько, живо пошла по слякотной мостовой.

В кухне на табуретке, расслабленно привалившись к стене, сидел Фрол Романыч. В ответ на мое приветствие он едва заметно кивнул головой, как бы на мгновение переборол дремную забывчивость. Я долго не решался спросить его — можно ли позвать Женечку, чтобы она провела меня к бабке Таисии. Но Женечка обнаружилась без его участия. Она робко выглянула из комнатки, расположенной наискосок от моей, хотя этот узкий, без окон, чуланчик комнатой назвать было невозможно. В глубине его угадывался слабый свет настольной лампы, белели разложенные где попало тетрадки и книги, — видно, Женечка готовила уроки.

— Бабка Таисия пообещала мне картошку, — обра-

тился я к Фролу Романычу. — Она сказала, что Женечка меня проводит...

Словно бы дремавший с открытыми глазами Фрол Романыч и в этот раз не проронил ни слова, только кивнул, соглашаясь.

Пока Женечка одевалась, я пристальнее оглядел Фрола Романыча. Он все с той же усталой отрешенностью смотрел перед собой, рукава его вельветового пиджака, прямо свисавшие вниз, казались пустыми. Видно было, какая-то болезнь все время держит его в слабости, надолго обрекая на неподвижность. Когда-то он, наверно, был пригож собой и силен. Да и теперь необыкновенная худоба его не отталкивала, а привлекала, заставляя думать о неведомой мученической его судьбе.

Недвижный, будто окаменевший, Фрол Романыч не шевельнулся, когда мы уходили.

Улица тонула в сумерках, с угрюмого неба по-прежнему сеялся дождь. Я едва различал Женечку, шедшую в отдалении, сторонясь меня. В переулке, в мокрой тени, куда мы завернули, девочка все-таки приблизилась ко мне, доверчиво зашагала рядом.

Завидев нас, успевших изрядно промокнуть, бабка Таисия кинулась ставить самовар. Возле печки стояло приготовленное для меня добро: полмешка картошки, две банки с солеными огурцами и одна — с маслятами.

Мы с Женечкой попили чаю, отмякли. Перед тем как встать из-за стола, я достал оставшуюся у меня десятирублевую.

— Не возьму, — замахала руками бабка Таисия. — Бери так, опосля как-нибудь сочтемся. Шапку или шляпу себе купи...

— Как же?.. — растерялся я.

— Сказано, — отрезала бабка Таисия.

Прощаясь с Женечкой, старуха приобняла ее одной рукой, другой же с заученной украдчивостью вложила девочке в карман железный рубль.

— Меня бабушка Таисия к себе хотела взять, — сказала Женечка на улице. — А баба Клавдюха — ни в какую. Она не любит бабушку Таисию...

Дождь, кажется, ненадолго иссяк. Оттого мерцавший редкими огнями старый город по-деревенски темно, печально обнажился. Может, и от этого у меня сдавило сердце.

— А папку моего зовут Николаем, — говорила Женечка. — Он с мамой на Колыму уехал, зарабатывать

на "Волгу". Я их два года не видела... А сколько "Волга" стоит?

— Не знаю, — ответил я. — Дорогая она.

Нам долго не открывали ворота. Потом во дворе зажглась лампочка, к смотровой дырочке прильнула тень, и по слабому кряхтению можно было догадаться, что засов отодвигает Фрол Романыч.

— Приходи со мной картошку есть, — сказал я Женечке на крыльце.

— Не-е... — протянула она. — Мне от Клавдюхи попадет.

Клавдюха стояла в кухне, у старинной изразцовой печи. В синем шелковом халате, который она попыталась при моем появлении запахнуть на груди, Клавдюха выглядела торжественно-величавой.

Стараясь не шуметь, я опустил мешок с картошкой на пол, но доставать из него банки на виду у Клавдюхи мне почему-то не захотелось. Я взглянул на стол, уставленный всякой всячиной, понял, что помешал Фролу Романычу ужинать, и совсем уже тихо, сдерживая дыхание, разделся. Клавдюха искоса следила за мной, ловила каждое движение. Мне стало не по себе.

— Картошечку-то будешь чистить или так — в мундире? — вдруг спросила Клавдюха.

— Лучше бы почистить, — удивился я неожиданному ее вниманию.

— Ну, так чисти да ставь, — она показала на ведро возле раковины.

Я умел чистить картошку. Можно сказать, любил — уж до того редкостной едой она была на флоте, особенно в дальних плаваниях. Съедали ее в первые же дни, затем — и то лишь на суп — оставалась сушеная.

Но даже сейчас, когда ее было вдоволь, я с молитвенной почтительностью брал каждую картофелину, не скрывая удовольствия, глядел на выющую изпод ножа длинющую тонкую стружку.

Клавдюха стояла на прежнем месте. Она вроде бы не смотрела на меня, и все же я, раза два подняв голову, заметил, как под ее припухшими веками появляется живинка, — стало быть, чем-то заинтересовала Клавдюху моя работа.

Увидев в дверях Фрола Романыча, Клавдюха сняла со стола сковородку с мясом, поставила на газовую плиту — подогреть.

Пока варилась картошка, я читал газетные гранки со своим очерком. Прочитав его залпом, без придиорок к типографским опечаткам, стал перечитывать, теперь

уже медленно и углубленно. Увлечся, почувствовал жар на щеках и не сразу услышал голос Фрола Романыча.

— Кипит, — не первый раз, видимо, сказал он слабеньким, где-то в груди застревающим голосочком.

Кастрюля моя мелко стучала крышкой, из-под которой выбрызгивались дымящиеся капли. Одним махом я очутился возле плиты, убавил пламя.

Такую крупную, с крахмалистым блеском в разломах картошку я не ел давно. Горячая, несказанно вкусная вперемежку с твердыми маслятами, она поразительно быстро исчезла из кастрюли.

Вдруг рука с ложкой замерла. Я почувствовал на себе взгляд. Фрол Романыч, тоже сидевший за столом, глядел на меня, и в глубине его ввалившихся глаз я отчетливо увидел печальную, в это мгновение не упрямую зависть.

Я устыдился своей жадности, с какой ел картошку, и остатки ее старался доставать без прежней безоглядной торопливости.

Тягостно было смотреть на Фрола Романыча. Ему, я заметил, еда не шла. Перед ним стояло много вкусного, и почти все было не тронуту. Черную икру, обильно положенную в серебряное блюдо, — и ту Фрол Романыч лишь слегка поддел кончиком серебряного ножа, намазал на хлеб и мученически вздохнул, не имея, видать, желания съесть.

Я не разбирался, чего скрывать, в столовом серебре, но тут, на накрытом обыкновенной клеенкой кухонном столе, весь сервиз, тщательно начищенный до благородного мягкого блеска, показался мне незаурядным. В затейливых рисунках, тонкой чеканке, изящных формах блюдец, сахарницы, подстаканника угадывалось загадочно древнее происхождение.

Впору было подивиться, если бы не Фрол Романыч, безразличный к этому великолепию, державший тяжелую вилку так слабо, что казалось, выпадет она из его худой руки.

Мне стало невыносимо жалко его. Я перевел взгляд на гранки, хотя заниматься ими было уже бесполезно — мной овладело беспокойство. И все-таки я еще делал вид, что не собираюсь уходить, пока Фрол Романыч сидит за столом.

— Работа, наверно, интересная... — проговорил Фрол Романыч. — Пишете о чем?

— В этот раз повезло... — сказал я. — Случайно герой один нашелся. Солдатом воевал, в плену был, в конц-

лагере его победа застала. В расположении английских экспедиционных войск... Там и отличился.

Лицо Фрола Романыча было задумчиво, он слушал меня и одновременно как бы думал про себя.

— Да еще как отличился, — запальчиво продолжил я. — Самого Генриха Гиммлера поймал. Ну, знаете, Гиммлер был рейхсфюрером войск СС... Хотел бежать. Сбрил усы, надел офицерскую шинель. С ним были два его телохранителя.

— Один, что ли, справился с ним этот... герой-то?

— Двое их было. Второй — саратовский мужик. Но главное не в этом. Во всех исторических справочниках сказано, что Гиммлера поймали английские солдаты. Наши просто не знали, что схватили Гиммлера, сдали его английскому капралу. Одним словом, будет сенсация...

Пересказывая свой очерк, я не вдруг отметил, как морщинки у глаз Фрола Романыча делаются все горестнее, на лбу выступает испарина. Он внезапно уронил руки на острые коленки, уставился на меня с мольбой, словно бы упрашивая не говорить больше.

— Война... — тихо произнес он. — Чего она только не наделала...

Выпал первый снег, вслед за ним завьюжило, и снова стихло.

По утрам в окно гляделся оголенный, по-зимнему неприютный сад. С рассветом в нем появлялись красногрудые снегири, рассаживались на ветках ближней яблони и надолго замирали. Я их приманивал к своему окну, высовывая в форточку руку, сеял хлебное крошево. Птицы слетали с дерева, неторопливо, с достоинством клевали корм, и ни разу я не видел между ними драку.

Боялись они только одного человека — Клавдюху. Раньше, чем она, тяжело и властно ступая, выходила на крыльцо, снегири начинали метаться, хватать клювами хлебную крошку побольше, чтобы улететь с ней в глубину сада. Уж не знаю, чем они не нравились Клавдюхе, но всякий раз, заметив их даже в отдалении, она снимала с колышка ведро и гремела им, пока птицы не удирали. Раз Клавдюха, совсем озлившись, появилась во дворе с двустволкой и уже было прицелилась. Замерев в решительной воинственной позе, она дождалась, когда снегири усядутся на ветке покучнее.

Я нарочно громко хлопнул форточкой, и Клавдюха

обернулась и, что-то бормоча про себя, пошла к крыльцу.

Как-то в субботний день я проснулся поздно. В окно брезжила нагоняющая скуку серость. Снегирей, привыкших к частому угощению, на яблоне я не обнаружил. Обычно я сразу, с полусна, ловил глазами красные пятна, делавшие праздничной даже такую вот безрадостную холстину неба. Я подошел к окну. Во дворе, возле садовой калитки, стояла Клавдюха. Из-под шалашиком повязанной пуховой шали наблюдала за Фролом Романычем и Женечкой. Эти двое тащили на себе свернутый ковер, и он, длинный, тяжелый, загибался на плече девочки, так что изредка касался концом давно протоптанной грязноватой тропинки.

— Не волокни, сказано тебе — не волокни! — прикрикнула Клавдюха.

— Да подсоби ей, коли плохо несет... — робко заступился Фрол Романыч.

— Какая из меня подсобница! — резко перебила его Клавдюха. — Знаешь, животом сегодня маюсь.

Перебранка, хорошо слышная через открытую форточку, навела меня на уныние. Уже до этого я подумывал о бегстве, хотя деваться мне было некуда, — разве только поселиться в гостинице. Прошла неделя, как я перестал ужинать в кухне — повадился ходить в столовую. Встречи с Фролом Романычем, не говоря уже о Клавдюхе, я старался избегать, и все же нечаянно сталкивался с ним, и от его доброго печального взгляда душу захлестывала тоска.

Единственным утешением в этом доме для меня оставалась Женечка, сиротски обделенная детскими радостями. Но и эта ниточка должна была вот-вот оборваться, потому что Клавдюха запретила Женечке разговаривать со мной и чего-нибудь у меня брать, о чем тайком сообщила мне девочка. Ни пряников, ни конфет, которыми я с ней прежде делился.

Фрол Романыч с Женечкой донесли ковер до задней изгороди, где уже лежали четыре ковра, присыпанные снегом. Отряхнувшись, медленно вернулись назад, прошли мимо моей двери в жилую комнату, и скоро я услышал, как они, сбивчиво, не в ногу шагая, выносят оттуда, видимо, очередной ковер. Я тотчас выскочил из комнаты, молча взвалил скатанный ковер на плечо и понес, не обращая внимания на растерянно оброненные Фролом Романычем слова:

— Да зачем это вы... Мы уж сами...

Стараясь не замечать мрачной Клавдюхиной ухмыл-

ки, я углубился в сад, разложил ковер меж двумя яблонями. От ковра тянуло запахом нафталина и еще каким-то едва уловимым духом залежавшейся вещи. Зато орнаменты, узорчатые, по-восточному строгие и тонкие, были яркими и плотными, должно быть, сохранили свой первозданный цвет. Когда заторопился навстречу Фролу Романычу и Женечке, тащившим еще один ковер, Клавдюхи во дворе не было. Фрол Романыч задыхался. Женечка, обутая в большие подшитые валенки, чуть не плакала от изнеможения. Я подошел вовремя: Фрол Романыч, схватив широко открытым ртом морозный воздух, подавился кашлем. Я перехватил ковер, хотел мимоходом коснуться рукой до Женечкиного плеча, но девочка увернулась от ласки, громко плача, убежала в дом.

Я не считал, сколько ковров было вынесено в сад, однако не совру, если скажу: не меньше десятка.

Я собрался идти в город. Снова вышел во двор, окинул взглядом расцвеченный коврами сад, и вдруг недоброе предчувствие погнало меня туда. Возле толстого ствола яблони, намертво сжав рукой камышовый веник, лежал и корчился Фрол Романыч. Я наклонился над ним. Он силился приподнять голову, с которой, видать, при падении слетела шапка. Я помог ему сесть. Фрол Романыч посмотрел на меня застекленными, будто неживыми глазами. Узнав меня, стыдливо протянул руку к вмятине, оставленной его головой, припорошил снегом алое пятно крови.

Вечером того же дня у ворот меня дожидалась бабка Таисия. По-старушечьи слабо цепляясь за мой рукав, повела вдоль улицы.

— Ты, мил человек, погоди уходить-то... — горестно прошептала она. — Потерпи малость, потом у меня в дому будешь жить, я ведь агрономшу к себе пустила, курсы она проходит... А Фрол-от, брат меньшей, совсем занемог. Доктор сказал — обострение. Ты не бегай от него, компанею составь. Он-от поглядит-поглядит на тебя, молодого, до еды охочего, чего-нибудь да съест. Ему ить и доживать-то осталось скоко... — Бабка Таисия уголком шали провела по глазам. — Как войну объявили, Клавдюха его табачным настоем напоила. Признали его негодным к строевой службе, остался на складах. Мешки таскал, надорвался. А што из продуктов приносил, Клавдюха туточки на базар — на барахло, значит, менять. На людском горе-то и нажила добро... Ты уж, милоч, уважь меня, старую. При тебе и малютке лучше живется, бойчее

стала... Идем-ко, картошки тебе отсыплю, варенья малинового дам...

Я остался в Клавдюхином доме.

Отзвенели трескучие морозы, в свой черед пришла мягкая с сырыми оттепелями весна.

И в эту несуровую уже пору я схватил жестокую простуду, почувствовав изнуряющий жар, едва доплелся до своей комнатенки и надолго слег. Старухино малиновое варенье, простоявшее под кроватью без надобности, пригодилось.

В редакции о моей болезни узнали только на третий день, когда Женечка, ходившая в аптеку за лекарством, заодно занесла ребятам записку. Вечером на пороге появился Сема Волокушин, с ходу распечатал тогда еще дешевую недефицитную бутылку перцовки, пренебрежительно глянув на пилюли, сказал:

— Не тем лечишься. И вообще — хватит валяться. Будешь жить у моей сеструхи. Новый редактор обещает к лету выбить комнату для тебя. А я, старик, уезжаю.

От его слов я поперхнулся, поник. Мне подумалось, что уезжать он собрался неспроста — решил по доброте душевной уступить мне должность.

— Не угадал, — улыбнулся Сема.

И я поверил ему, одному из тех непоседливых газетчиков, которые не любят засиживаться на одном месте.

— Далеко? — спросил я.

— В Архангельск. Повкалываю пару месяцев в трал-флотовской газетенке, потом махну в загранку. Свет хочется повидать...

Через пару дней я почувствовал себя лучше. Собрал вещички, рассчитался с Клавдюхой. Пожалел, что не смогу попрощаться с Фролом Романычем — он вторую неделю лежал в больнице.

До прихода Женечки из школы времени было достаточно, чтобы сходить в магазин.

Весенний дух стекался отовсюду: с тяжелого неба, с отогревшихся тесовых и железных крыш, с тяжело осевшего в саду почерневшего снега. Напористыми, всеохватывающими лучами светило солнце, потрескавшийся за зиму асфальт весело сверкал лужами и ручьями.

Но мне почему-то было не радостно. Только кукла, купленная в "Детском мире", чуточку позабавила меня: умела она "ходить" и говорить "мама".

Женечкина фигурка мелькнула в окне, когда я ста-



рательно привязывал к кукле целлофановый кулек с конфетами. Девочка, как всегда запрокинув голову, свистнула тихонько, и я на четвереньках подкрался к подоконнику. Поставив на него куклу, я еще с минуту прятался, затем встал, и внезапно горло мне сдавило. Из глаз девочки, сиявших чистой васильковой синевой, катились крупные, будто прозрачные дробины, слезинки. Счастливо подпрыгнув, Женечка бросилась к крыльцу, шумно влетела в кухню и там ровно бы наткнулась на глухую стену — разом притихла. Я сразу по-

нял, почему. Последний раз оглядев комнатенку, я взял чемоданы и вышел.

В кухне, грузно подбоченясь, стояла Клавдюха. Я не знал, надо ли говорить ей прощальные слова, полагающиеся при таком случае, и потом решил, что не стоит. Видно было, Клавдюха сама поняла все, отчего вокруг рта ее тверже обозначились складки, в которых угадывалась странная нечеловеческая беспощадность.

Я молча протянул Женечке куклу. Девочка бережно прижала ее к груди, что-то хотела сказать и не смогла. Личико ее болезненно дернулось: только сейчас она догадалась, что я покидаю дом насовсем.

Тянуть с уходом становилось невмоготу.

— Ну, прощай! — пытаюсь казаться строгим, молвил я Женечке.

Во дворе я оглянулся, увидел сад, темные, сочащиеся влагой стволы яблонь, и внезапно застоявшийся в груди вздох перешиб мне дыхание. С ветки ближней яблони, напряженно вытянув шейку, смотрел мне вслед одинокий снегирь.

У ворот я еще раз оглянулся, но снегирия уже не было — видать, улетел к неизвестно где устроившейся стае.

Я уже открыл ворота, когда сзади долетел и полоснул по сердцу крик:

— Дяденька-а!..

Девочка подбежала ко мне, судорожно ухватила ручки за полу бушлата. Я хотел было нагнуться или присесть на корточки, но ни то, ни другое у меня не вышло — так сильно задрожали еще не совсем окрепшие после болезни ноги. Я закрыл глаза, чтобы не видеть, как подошедшая вразвалку Клавдюха оттаскивает девочку, — это все, что я смог сделать.

С коротким, сухим звуком захлопнулись за мной ворота. Трудно переставляя ноги, я двинулся дальше.

— Дяденьк!..

В этот раз крик резко оборвался, почудилось, застрял во рту, зажатом сильной хватистой ладонью.

Сколько уж времени прошло, а все же крик тот я отчетливо вспомнил, приближаясь к Клавдюхиному дому. Как и тогда, начали деревенеть ноги, в разгоряченной голове перепутались мысли, и мне стало совсем жутко при виде проступившего из ночного мрака громадного дома с темными окнами. Казался он всеми покинутым и омертвелым.

Мне захотелось уйти, никого не тревожа, раствориться во мгле осенней ночи, и все-таки я поборол робость и нащупал смутно белевшую кнопку звонка.

Я стоял и ждал. Ни огонька, ни звука. Я держался в сторонке от смотровой дырочки, хотя в темени вряд ли кто мог узнать меня. Я устал от долгого ожидания и почти уверился в безнадежности своей затеи, когда что-то с тихим звоном ударилось о ворота.

— Кто там? — спросил голос, который невозможно забыть.

— Здесь сдается комната? — деланным басом проговорил я.

— Здаеця, — ответила Клавдюха. — Ночью я не пушаю, днем заходите.

— А Фрол Романыч дома? — торопливо выпалил я.

С минуту длилось тягостное молчание.

Клавдюха, должно быть, сообразила, что пришел кто-то из бывших постояльцев. Она затаилась, дышала чуть слышно, и я понял, что она пытается угадать — кто? Потом она завозилась, там, за воротами, почудилось, приникла к ним ухом. Опять звякнуло железо, и мне припомнилось ружье, наведенное Клавдюхой на снегирей. Теперь я точно определил — то Клавдюха держит в руках ружье, и поежился от неприятного холодка.

— Кто ты такой? — не выдержала Клавдюха.

— Неважно кто, — сказал я. — Мне Фрола Романыча надо...

— Нету его, — глухо отозвалась Клавдюха, — уже три года, как помер.

— А Женечка?... Она-то где?

— Чего ж ты меня дурачишь, писатель, — ненавидающе протянула Клавдюха. — Не трогай меня, ступай Христа ради... А эта... Она, вражье семя, с гольем спуталась, в Сибирь укатила, какую-то ГЭС строить... Теперича одна я!..

Клавдюха произнесла "Теперича одна я!.." торжествующе, с победной растяжкой, словно бы желая хоть этим досадить мне. Даже сквозь плотные дубовые ворота достигла и обожгла меня ее злоба.

Я еще долго стоял в растерянности и задумчивости, слушая, как шуршит на темной крыше Клавдюхиного дома обложной дождь.

Голова прояснилась уже по пути к рынку, и я запоздало оглянулся, охваченный непонятной тревогой, зашагал быстрее. И хотя со мной ничего не случилось, пока я шел по сморенной сном улице, на душе стало

легче, когда светло замаячила остановка с двумя-тремя фигурами, замершими в ожидании троллейбуса. Только тогда я понял, что торопился к людям.

ДЖИНСЫ

На имя Вани Кибиткина, самого длинного в Нижнем Талалаеве парня — прозвище Полтора Ивана, — в первоапрельский день пришла бандероль из города Филадельфия.

Бандероль — аккуратный сверток, туго спеленутый прозрачным полиэтиленом, с ярко пропечатанными на боках заграничными штемпелями — заставила поволноваться служителей почты. Заокеанскую посылку с волнением ощупывали, силясь угадать, что в нее вложено.

И все же, сколько ни мяли бандероль, толком предположить, какая вещь в ней лежит, никому не удалось. Решено было с вручением подождать до выяснения обстоятельств: вдруг ошиблись адресом? Или — что ближе к истине — кто-то Ивана разыгрывает, как-никак первое апреля. Почитай, за сто с лишним лет — таков, по мнению сторожилов, был возраст Нижнего Талалаева, знакомств с чужестранцами никто не заводил. И уж меньше всего в подобном деле можно было заподозрить Ваню Кибиткина — увальня, копушу, самого тихого, несмотря на могучий рост, парня в селе.

Вечером, когда Иван заглушил под окном избы мотор "Беларуси", на скамейке в ожидании его громоздился участковый милиционер Мамичев, здоровенный, ростом чуть меньше Ивана.

— Привет, дядь Федь! — поздоровался Иван, неторопливо слезая с трактора. — Ты не меня ждешь?

— Тебя, товарищ Кибиткин, — сдержанно отозвался Мамичев.

Иван удивленно — вообще-то его трудно было прошибить — округлил глаза и насторожился.

Мамичеву, должно быть, понравилось, что своим строгим обращением он сбил с толку парня, он встал и начальственно приосанился.

— У тебя, Кибиткин, родственники проживают за границей? — спросил он.

— Не-е, дядь Федь, — уверенно-бесстрашно помотал головой Иван. — Сроду не было, не видел, не слышал...

— Погоди... — недовольно прервал его Мамичев. — Ишь завелся. Прошу сюда, товарищ Коренкова!..

Светка Коренкова, почтальонша, промелькнув в террасе красным платком, вышла на крыльцо и с недоверчивым изумлением уставилась на Ивана.

— Читай! — распорядился Мамичев.

Светка, неловко переминаясь, переворачивала с боку на бок вытащенную из дерматиновой сумки бандероль, затем стала читать мужским голосом, пропуская звуки через нос:

— Филательфия... Нижни-Тала-лаефо... Кифиткин Ифан...

— Видал, откудова, — не давая дочитать, торжествующе сказал Мамичев. — Давай, Кибиткин, вспомни... Может, запомнил, не придал значения, может, сдуру или по молодости лет поддался тлетворному влиянию.

— От кого, посмотри-ка, Свет, от кого... — попросил Иван.

Светка, важничая перед ним, нашла фамилию отправителя на бандероли.

— Кифиткин Базили...

— Да это же от дяди Васи! — радостно воскликнул Иван. — От того. Помните, три года назад на пасху приезжал. В моряцкой форме. Он все по заграницам...

— Ну-ка, иди сюда! — насупился Мамичев, подзывая Светку.

Светка, сникая на ходу, подошла к участковому, подала бандероль. Иван заметил, как оттаяло отчужденно-замкнутое лицо участкового, смело подтвердил:

— Точно, от него, от дяди Васи...

— Экие вы дурехи! — сердито посмотрел на Светку Мамичев. — Подняли хай на всю губернию. А ты, Ваня, разворачивай посылку. Поглядим, что за штука. Ежели, конечно, — участковый снова построжал лицом. — Ежели не того... не контрабанда.

Завладевший бандеролью Иван вытащил из кармана стеганки отвертку, остро наточенным ее концом ковырнул полиэтилен.

Мамичев и Светка Коренкова, наклоняясь над посылкой, нетерпеливыми взглядами следили за напористыми движениями отвертки, теперь разрывавшей бумажную упаковку. Наконец в образовавшейся прорехе проступила темно-синяя материя. Слегка переломив на колене продолговатую бандероль, Иван убедился, что в ней нет ничего такого, что может рассыпаться или разбиться, прижал к животу, с треском разорвал бумагу.

— Джинсы, Ваня! — крикнула Светка, едва Иван

принялся разворачивать скатанные пожарным шлангом штаны. — Американские.

— А ты откуда знаешь, зануда? — недовольно посмотрел на нее Мамичев. — Все небось по барахолке шлялся.

— Во, хиппово, Вань! — не обращая внимания на участкового, суетилась возле Ивана Светка. — Гляди, фирма какая... Ой, мамоньки!..

— Обнова как обнова, что вертится, шмокодявка! — проворчал Мамичев. — Давай, Ваня, померяй.

Иван расстегнул ремень брюк, но вовремя спохватился, поднялся в террасу.

Мамичев и Светка ждали. Участковый ходил взад-вперед, подбирая носками сапог подтаявшие днем, а сейчас, под вечер, снова заледеневшие комья придорожного снега. Время тянулось медленно, особенно тягуче бежало оно для Светки — не терпелось еще раз взглянуть на джинсы. Когда из террасы донеслось досадливое сопение, Светка, еще не зная, что там делается, тоскливо зажмурилась.

— Малы, что ли? — громко спросила Светка.

— Так и есть, — чертыхнулся Иван. — Не лезут.

— А ты их намыль, — усмехнулся Мамичев. — Без мыла, говорят, они не лезут.

— Бросьте, дядя Федя, — укоризненно подняла подрисованную бровь Светка. — Ему не до смеха.

— Я тут при чем, — сказал Мамичев, — его родственник осчастливил. Габариты не учел.

— Да он меня каким видел-то! — заступаясь за дядю Васю-моряка, показался на крыльце Иван. — Какой я был три года тому... Два мосла, чекушка крови...

— От что деревня с городскими делает, — горделиво подмигнул Светке Мамичев. — Не по европейским стандартам, гляди, вымахал...

Иван стоял, переводя смущенный взгляд с участкового на почтальоншу. Оба они, проникаясь участием к Ивану, оценивающе смотрели на парня, окончательно застеснявшегося от постороннего внимания. Джинсы вообще-то сидели на нем ладно, от них, по длине вполне подходящих, фигура у парня постройнела, и он не казался, как прежде, медведем. Но вот беда, ниже пояса начинались нелады: джинсы не застегивались, где положено. Ни о каком перекрое речи не могло идти — это Иван понял, даже не имея представления о тайнах кройки и шитья.

— Ну, не горюй, Вань, — сказал Мамичев, собираясь

уходить. — Не залежатся они у тебя. Только покажи — с руками оторвут. Сотни за полторы.

— За двести... — со знанием поправила Светка. — А то и больше...

— И чего в них такого? — передернул плечами Мамичев. — Матерьял, что ли, особый?

— А знаете, какие они ноские! — сказала Светка. — Ну, и мода, конечно. Это спекулянты цены набавили. Раньше они дешевле были.

— Ладно, Вань, утри им нос, спекулянтам-то, — уходя, сказал участковый. — Они небось ношенные, с чужого заду продают, а твои — новехонькие.

— Продать и дурак сможет, — понизив голос, сказала Светка, видно было, хотелось как-то утешить Ивана. — Ты, если на толкучку надумаешь ехать, обменять попробуй. Свой размер поищи...

Оставшись один, Иван попытался силой приспособить джинсы к нестандартному месту, напрягся бугаем, но не добился нужного результата. Стал снимать джинсы. В правом кармане зашелестела бумага. Иван вынул ее — это было письмо от дяди Васи.

Когда, окончив вечернюю дойку, вернулась тетя Пелагея, Иван по третьему разу читал дяди Васиные строки, писанные, судя по неразборчивому почерку, в большой спешке.

Дядя Вася, старпом танкера, зафрахтованного одной американской компанией, отправлялся в очередной рейс из Финляндии в Нагасаки с заходом в Кейптаун, Порт-Элизабет, Коломбо и Сингапур.

Иван, мечтательный с малолетства, силился представить те необозримые, продуваемые шквалистыми ветрами морские просторы, в которых затерялся дядя Вася на своем пятипалубном (помнил Иван рассказы дяди) танкере. То, что раньше было лишь плодом воображения — далекие заокеанские порты, пестрые толпы на улицах чужих городов, острова с пальмовыми рощами, — обрело реальную осязаемость благодаря джинсам, пересекшим океан и попавшим сюда, в Нижнее Талалаево, в избу, в окна которой глядятся российские сумерки.

Босой, в пиджаке, накинутом внапашку, Иван смотрел на горящие в печи березовые поленья, вдыхая дымливый смоляной запах, и по лицу его бродила невнятная улыбка.

Джинсы лежали рядом, на табуретке.

Иван как над чем-то забавным посмеивался над своей недавней горячностью, с какой взялся за примерку. И снова, как было до этого, джинсы ушли из сознания, и снова Иван думал о дяде Васе, который в эти минуты мог думать о своем племяннике Ване, находясь, должно быть, где-нибудь в Южной Атлантике. От этой мысли Ивану сделалось хорошо и счастливо.

В Малоярославец Иван поехал воскресным утром в начале седьмого. На первый автобус, ушедший без пятнадцати шесть, он опоздал из-за бабки Маруси, соседской одинокой старухи, надумавшей притащить к еще сонному, в распахнутой рубаше Ивану двух поросят в холщовом мешке.

Старуха, неизвестно как узнав о предстоящей поездке Ивана на рынок, видно было, едва дотерпела до утра и не сводила с парня умоляющего взгляда, пока тот не взмыкнул в знак согласия.

— Проси по сороковке, отдать можешь за тридцатку, — сказала бабка Маруся. — Продашь поганцев, пол-литру себе купи, за труды...

После ухода старухи Иван забыл о мешке — поросята, видать, заморились в тепле, притихли — и вдруг обернулся на подозрительную возню у порога и поперхнулся чаем. Из непонятным образом развязавшегося мешка, сверкая розовыми пятками, с любопытством выглядывали оба поросенка. Делая со сна неверные шаги, Иван двинулся к мешку, но поросята оказались смышленными: разом кинулись в разные углы. Иван долго, творя невероятный шум и беготню, ловил их, и когда вымотался, позвал на помощь тетю Пелагею. Вдвоем кое-как поймали и запихнули в мешок возбужденных, визжащих поросят.

Автобус был битком набит людьми, Ивану пришлось потеснить стоящих на задней площадке, а мешок с поросятами держать между ног.

На дороге, затянутой крепким утренним ледком, автобус дергался и подпрыгивал, поскрипывал старым щелястым кузовом. Ивана не подбрасывало, как других, кто был помельче, — его, что хуже всего, валяло, и каждый, кому приходилось выдерживать его вес, начинал молча трепыхаться. Только когда на крутом повороте Ивана повело вбок, откуда-то снизу возник тоненький, но бодрый голосок:

— Ей-бо, задавит, едрена-матрена! Откуль у тебя столько груза?..

Иван, нутужась и краснея от неловкости, замахал руками, чтобы выровнять тело, наконец схватился за выемку в потолке, выпрямился.

Щуплая бабка, древняя, почти восковая, высунув из-под локтя Ивана закутанную в черную шаль голову, востепенулась, блеснула жалостливыми глазами, будто посочувствовала Ивану: шутка ли, такой вымахал! Иван, недоумевая, что она осталась жива, виновато зашевелился, навалился спиной на молодых ребят, кольцом окружавших своего дружка с гитарой.

— Че на меня глядишь, глазун? — беззубо улыбнулась бабка. — Ты не меня, а поросят обороняй. Мои тоже на полу...

За окном автобуса начинало светлеть, поля очищались от сумерек, скоро совсем попросторнело, и оттого легче и веселее стало на душе. Иван смотрел на апрельский простор, на пестрые — в подтаявшем снегу местами чернела пашня — поля, от нечего делать отгадывая, чьи земли проезжает.

Иван, надо сказать, родом был из города, а сюда попал пятнадцатилетним замухрышкой. Его, бескровного, с потухшим, как у старика, взглядом — обнаружилась у него болезнь, но Иван забыл ее заковыристое название, — везли по этой дороге в Нижнее Талаево, и он ехал тогда, ничего не видя, ничем не интересуясь, словно его с этим миром уже ничто не связывало. Через полгода — правы оказались врачи, посоветовавшие жить в деревне, — Иван пошел в школу, здесь окончил десятилетку, потом — шестимесячные курсы механизаторов широкого профиля.

Одним словом, прижился на деревне, и на уговоры городской родни вернуться домой отвечал решительным отказом.

Чужепришельцем он себя не чувствовал, ничем таким особо городским, что могло бы вызвать недружелюбие, попрекнуть его было нельзя: свой в доску. Больше того, казалось ему, что родился он здесь, и так оно, пожалуй, было — именно на этих землях Иван после длительного болезненного безразличия ко всему заново открывал мир. Природа, правда, будто подшучивала над ним, найдя его удобным для своих причуд: то был доходягой, то стал задевать головой потолки.

Небо над полями поднялось высоко, засветилось чистой апрельской синевой. Автобус ходко побегал по стеклянно-гулкой дороге, не сбавляя скорости и на ухабах. Он въезжал на горушку, на которой

развиднелись старые ракиты, — скоро Среднее Талалаево.

Про это село рассказывали всякие забавные небывальщины, и верно, Среднее Талалаево уже своим развеселым видом подтверждало свою славу. Каждая изба, какую ни возьми, была обнесена невысоким забором — штакетником, каждая хвасталась наличниками с рисунком — резьбой, и все же самой парадной частью, проще сказать, лицом избы тут почему-то считалась крыша.

Иван с радостным возбуждением потянулся к окну, и сразу, одним взглядом, окинул половину села, хорошо видные с высоты крыши: зеленые, голубые, алые, красные. Они холодноватым, оледенелым в утреннюю стужу блеском притягивали взор.

На здешней остановке толпу, решившую взять и без того переполненный автобус штурмом, шофер осадил отчаянным криком, а утихомирил явным враньем: идет, дескать, следом дополнительный автобус.

Когда трогались, на заднюю площадку все же чудом втиснулся пассажир — крепенький дедок с алым носом, успевший поддать с утра. Едва освободившись, дедок замурлыкал какую-то песенку, а заметив ребят с гитарой, пристал к ним с требованием сыграть.

Парень с гитарой, поглядевший, сдернул с плеча атласную ленту, пробуя струны, нерешительно провел по ним пальцами.

— Айда, пострелы! — стукнул тяжелой обуткой дед. — Ну, воробы, давай...

Парень, перестав томиться робостью, вдруг мощно и туго ударил по струнам.

Хачу мужа,
Хачу мужа,
Ха-ачу мужа я...
Принца, герца, аль барона,
или короля-а...

На повороте автобус метнулся, и увлеченный зрелищем Иван ощутил, как мешок с поросятами уползает от его ног к другим. Пока он прикидывал, что следует предпринять, на мешок, должно быть, кто-то наступил — снизу поднялся перебивший гитару и голос певца поросятчий визг. Краснея от стыда, Иван приготовился опуститься на корточки, чтобы нашарить мешок, но все обошлось. После минутного галдежа и зубоскальства мешок с поросятами выпихнули к ногам Ивана.

Между тем впереди показалось Верхнее Талалаево, минут через двадцать, стало быть, будет рынок.

Когда Иван, неся на плече поминутно трепыхавшийся мешок, а под мышкой — завернутые в газету джинсы, втиснулся в маленькие задние ворота, было уже тесно. Иван вошел в маленькие воротца, с ходу очутился в толкотне и давке. Здесь, в этом углу, торговали коврами, обувью, а пожилые цыганки — ярко-красными шарфами.

Солнце, набирая апрельскую высоту, незатейливо, но ободряюще пригревало, и оттого, должно быть, так хорошо было людям, что-то продающим, что-то разглядывающим и покупающим, — в первые минуты Иван, ошалевший от базарной сутолоки, не заметил ни одного угрюмого лица. Все были довольны, все улыбались друг другу — и те, кто предлагал и разворачивал товар, и те, что топтались перед товаром, а уж о тех, кто примеривал и показывал обнову, и говорить нечего.

Сначала Ивану надо было пообсмотреться. Народ быстро менялся, и постепенно Иван стал отличать залетних, случайных посетителей от завсегдатаев. Первые, заметил он, бестолково кружились в людском водовороте, лезли то туда, то сюда, почти не застываясь, с разбегающимися и удивленными глазами. Завсегдатаи никуда не торопились — они неспешно, не бранясь даже на чересчур лихо продающегося нахала, переходили от одного места к другому, сосредоточенно изучали товар, видать, производя в уме сложные прикидки и расчеты.

Начиная ориентироваться, Иван протолкался в плотную толпу, состоявшую в основном из молодых парней и девчат. Он почувствовал благоговейный дух — тут двигались впритирку и разговаривали вполголоса — и стал присматриваться к товару.

Здесь продавали джинсы.

На какое-то время Иван растерялся. Вывел его из оцепенения рыжий парень в надвинутой на брови мажоранской, сморщенной шляпе. Молча подняв к лицу Ивана руки, на пятерне которой сверкал стальной браслет с часами, он таинственно сказал:

— "Сейко"...

— Чего? — напрягся Иван. — "Чайка"?

— "Сейко"... — бесстрастно повторил рыжий. — Японская фирма. На всю жизнь.

— Сколько просишь? — поинтересовался Иван.

— Три...

— Чего так? — удивился Иван. — За тройак, что ли?

— Триста, деревня, — рыжий разочарованно убрал из-под носа Ивана часы. — С луны свалился!

В ответ Иван округлил глаза, с запоздалым любопытством уставился на часы и, не найдя в них ничего особенного, согнал с лица озадаченное выражение.

— Триста! — проговорил он с веселым добродушием. — Золотые?

Рыжий, не удостоив ответом, исчез в толпе.

Иван двинулся дальше, но передвигался с трудом. Мешали ему полушубок и мешок, хотя поросята уже не копошились и не подавали больше голоса — умаялись либо почувствовали многолюдье.

Иван остановился. Кто-то удерживал его, ухватившись за мешок.

— Погоди, дорогой, — возник сбоку востроносый, продрогший до синевы на щеках грузин. — Шубу продашь? Снимай, дорогой, бери полторы сотни. По рукам?

Деловит и напорист, он не дал Ивану вымолвить слово, стал тормозить полушубок, отвернув полу, пощупал закоченевшей рукой шерсть.

— Двыстэ, — умоляюще и одновременно требовательно смотрел грузин на Ивана. — И магарыч.

— Сам-то в чем пойду? — растерялся Иван. — Одна она у меня...

Полушубок у него и на самом деле был хорош, и грузин еще не скоро отошел от него, все примеривался и прицокивал языком.

— Ай, какой нехороший, одну надел, вторую за был, — крутился он рядом, — хороший парень, продашь, быстро поедешь, вторую найдешь.

Немного очухавшись от первых наскоков, Иван набычился:

— Не могу, дяденька, не могу, понимаешь...

— Как не понять, понимаю... — обиженно сказал грузин. — Я подумал — спекулянт. Вижу, не спекулянт, а глупый. Деньги не берешь.

Оба остановились среди уймища народу, оба поняли, что купля-продажа не состоится, возбужденно стали расходиться в разных направлениях.

Иван разглядел чье-то отрешенно-ласковое лицо, еще чем-то неуловимым поразившее его, заторопился — тот прижимал к груди новенькие джинсы с яркой картонной бирочкой. Иван догнал парня, дотронулся до его локтя, спросил:

— Что за штаны?

— Штаны... — ласково смерил его взглядом па-

рень. — Это на тебе штаны! А у меня "асфальт-джинсы". Оригинал. Тройная крученая нитка, понял?

— Сколько просишь?

— Две тридцать... — обронил парень.

Иван, задумчиво цепenea, отстал от него, потом с интересом — может, кто будет брать? — кинулся догонять, не догнал — его оттеснили.

Успевший притомиться от непривычной толкотни, Иван принялся искать скотный ряд. Если опорожнить мешок, продав поросят, мелькало у него в голове, можно будет подольше потолкаться на пяточке и набрести на подходящие джинсы.

Он выбрался к скотному ряду и сразу увидел маленькую старушку, ехавшую вместе с ним в автобусе. Она торчала среди прочего люда в терпеливом ожидании покупателя.

Иван вернулся в толпу, отдавшую предпочтение изысканному и дорогому товару. Толпа рассосалась и даже разветвилась: в просвете между двумя киосками устроили что-то вроде примерочной.

Деловитая спозаранку базарная сутолока становилась все более праздной, все чаще раздавались смех и веселый говор. Даже те, кто с утра был озабочен, что-то соображал, словно начали участвовать в обязательном празднестве.

С прибытием очередной дальней электрички парней с фраерской внешностью прибавилось, появились и девчата-торговки. Джинсов попадалось много — поношенных и новых, стиранных до голубовато-молочной белизны и, казалось, совсем никудышных, с заплатками.

Иван наконец освоился с обстановкой, сорвал со своих джинсов газету, выставил фирменную нашивку напоказ.

К нему стали подходить, спрашивать, сколько просит; в ответ он виновато улыбался, говорил, что отдаст в обмен на другие джинсы, размер пятьдесят четвертый.

Затем Иван, увлекшись сценой купли-продажи, надолго застрял в одном месте.

Старушка в потертом драповом пальто и старенькой меховой шапке, стоя рядом с длинным, чуть ли не выше Ивана, юнцом, робко, со стыдливой неловкостью щупала джинсы. Джинсы были новенькие, длинные, с медными бляшками. Долговязый, бледнея от волнения, не спускал глаз со старушки, дотошно и недоверчиво мявшей то одну штанину, то другую. Про-

дающий, уже виденный Иваном ласковый парень, с приветливой улыбкой поглядывал на старушку и, подзадоривая долговязого, подмигивал ему. Тот наклонился над старушкой — ей, видно было, никак не удавалось перебороть сомнение, — требовательно повторял: "Бери!"

Наконец старушка перевела дыхание, полезла рукой в подкладку пальто.

— Че-то уж больно дорогие, — бормотала она, копаясь в подкладке. — И краска у их слабая. На три стирки не хватит. Еще и длинные...

— Ну, что ты болтаешь, бабушка, — сказал долговязый. — Ничего не смыслишь, а болтаешь. Они от стирки лучше становятся.

— Ладно уж, — смутилась старушка.

Пока она, вынув деньги, отсчитывала сто восемьдесят рублей красненькими десятками, парень и дружки его, посерьезнев, принялись наперебой советовать, как и чем стирать джинсы, что делать, если они начнут "садиться".

— Это ничего, что они длинные, бабушка, — сказал кто-то. — Внук-то еще в росте...

Шутка многим понравилась, вокруг старушки прокатился смех.

— Ишь брехло, — улыбнулась старушка, сосчитывая деньги по второму разу.

Внук раздраженно смотрел на ее негнущиеся пальцы, которыми она с трудом загибала уголок десятирублевки. Ему, видать, было неловко за свою медлительную, малосильную бабушку, и он поплевал на пальцы, будто приготовился забрать у нее деньги.

Иван придвинулся ближе к старушке, такой малюсенькой и усохшей, что окончательно проникся сочувствием к ней.

— Какой размер носишь? — побледнев от решимости, спросил он у долговязого.

— Пятьдесят второй, — буркнул тот. — А что?

— Померяй вот эти. Если подойдут...

— Не подойдут... — зашевелился ласковый парень. — Откуда ты взялся, нарушитель конвенции? Что же ты у людей хлеб отбиваешь?

— А что у него за подделка?

— Польские переделаны на штатовские.

Откуда взялись эти парни, ожесточившиеся против Ивана, объяснить трудно, — еще минуту назад их, кажется, тут не было. Они произносили оскорбления невразумительно, легко, будто щелкали семечки, и все же

Ивану сделалось обидно и за себя, и за дядю Васю, который, конечно же, не мог прислать из Филадельфии какие-нибудь никчемные джинсы, не говоря уже о подделке.

Но в плотном кольце злопыхателей все еще раздавались несправедливые слова, даже угрозы — сейчас, мол, отведем в милицию, там разберутся, — и посрамленный Иван бессильно молчал, не зная, каким образом осадить противников.

Старушка, подняв нахолодавшее лицо, укоризненно посмотрела на Ивана и взялась по третьему разу пересчитывать деньги.

Вдруг рядом с Иваном появился знакомый рыжий малый в надвинутой на брови шляпе, предлагавший японские часы. Держась авторитетно, он потрогал джинсы Ивана, поинтересовался, есть ли натерка.

— Какая еще натерка? — не понял Иван.

— Темнота, — бросил рыжий.

Вынув из кармана коробок спичек, он на виду у притихших парней как-то особенно сосредоточился, будто собирался показывать фокус. Иные, опытные, пообтертые, сразу догадались, что будет делать рыжий, другие, ничего не кумекая, тянули шеи и ждали. Рыжий зажал головку спички между пальцами, послюнявил белую тонкую древесину. Натирал аккуратно, туго натянув материю на подушечку указательного пальца левой руки.

Он поднял спичку к глазам, довольный — Иван не понял, чему он радуется, — показал ее придвинувшимся плотнее ребятам. Одна из граней спички — та, которой он водил по штанине, — сделалась небесного цвета.

— Фирма. Оригинал, — закончил рыжий. — За них два тридцать заламывают. Смотри, дурака не валяй.

Иван наморщил лоб, собрал джинсы в ком и, уже ни на кого не глядя, стал выбираться из тесного окружения.

Иван, огорчаясь, что старушка не поняла его, — продай он ей джинсы даже за сотню, были бы у нее деньги целее, а теперь небось переплачивает, — пробирался мимо разгоряченных лиц к выходу.

Солнце, поднявшееся достаточно высоко, здесь слепило чистым холодным блеском, и по тому сиянию, каким было пронизано все кругом, Иван представил, что сейчас делается в поле, особенно на реке, в ничем не запятнанных лозняках.

— Эй, кореш! — услышал он позади себя.

Иван обернулся, увидел ласкового парня.

— Чего? — неохотно возвращаясь к рыночным заботам, спросил Иван. — Продал?

— Не, — сказал ласковый. — Ты мне всю малину испортил. Бабка заартачилась... Да ладно уж. Ты чего джинсы уносишь? Джинсы у тебя клевые. Давай помогу толкнуть. С тебя, конечно, магарыч...

— Да я вообще-то не продавать привез... — признался Иван. — Обменять хотел. Мне они малы.

— Хех! — удивился парень. — Айн момент, все устроим. Пошли!

Он, подойдя к людскому скопищу, остановившись, поднятой над головой рукой сделал повелительный жест, и тотчас там, внутри толпы, показались несколько ответно машущих рук.

Один за другим к ним выходили ребята, и все, заметил Иван, бессловесные, с симпатичными, заветренными лицами.

— На какой размер меняться будешь? — спросил один.

— Пятьдесят четвертый...

— Найдутся...

Ласковый, по-свойски подмигнув Ивану, кивком головы показал направление, в каком надо идти, — к забору, к бреши. Молча двинулись — впереди двое, сзади двое, рядом ласковый. На пустыре, пахнущем соляркой и бензином, хоронясь за трактором, горланили подвыпившие мужики, поэтому отошли еще дальше от забора, к забурьяненному огороду.

— Тоже новые? — поинтересовался Иван.

— Разок стиранные, — был ответ, — не бойся, не прогадаешь!

— Ну, если разок — ничего, — улыбнулся Иван. — А то, понимаете, брат двоюродный маху дал. Три года, как видел меня. Думал, что у меня с ростом будет нормально.

— Давай, снимай штаны, — сказал ласковый. — Брат в загранке, что ли?

— Ну да.

— Повезло тебе.

Ласковый развернул газету, подстелил рядом с Иваном, снимавшим ботинки. Иван снял обувь, встал на газету, почувствовал, как быстро студенеют ноги, и, чтобы не тянуть, поспешно сдернул с себя брюки.

— Давай поддержку, — сказал ласковый, заметив, что Иван, наполовину раздетый, сконфуженно озирается, не найдя места, куда можно положить свои джинсы и брюки.

— Скинь шубу-то...

— Не-е, — возразил Иван. — И так уж срамota полная...

Парни стояли, с молчаливым вниманием пялились на Ивана, и ему стало неловко под этими любопытными глазами.

Внезапно один из ребят, все время настороженно поглядывавший на забор, отрывисто крикнул:

— Легавые...

Все разом кинулись бежать. Растерянно уставившись на них, бегущих вдоль забора, Иван подумал, что и ему надо бежать следом, но мгновение спустя в голову ему пришла догадка: обчистили. Он, никак не веря, что такое могло с ним случиться, тщательно осмотрелся и только тогда, сдерживаясь, крикнул:

— Стойте!..

Тем временем все пятеро шмыгнули в брешь, темневшую в дальнем конце забора.

— Чего, сынок? — высунулся из-за трактора мужик. — Чего караул кричишь?..

Иван пристыженно нагнул голову, обулся, поднял со слежалого снега мешок с поросятами. Жаловаться кому-то было бесполезно. Иван, запоздало понявший свою оплошность, обругал сам себя: так тебе и надо. И то хорошо — полушубок не уперли, хотя, если пораскинуть задним числом, все шло к тому.

Иван зашагал к забору, но ступить на территорию толкучки долго не решался. Потом, набредя под забором на метровый кусок обоев, разрисованных какими-то зелеными птахами, соорудил на бедрах что-то вроде юбки. Придерживая ее одной рукой, другой опять взвалил на спину мешок и, стараясь быть незамеченным, двинулся вдоль забора искать талалаевскую старуху — продала ли поросят?

Очутившись снова на людях, он торопливо шел мимо гомонивших рядов, чувствовал, как горячо, опаленно горит лицо.

Он обрадовался, увидев бабу, должно быть, только что продавшую поросят. Старуха разговаривала с другой бабушкой, с виду ровесницей, и когда Иван, громко шурша бумажной юбкой, остановился перед ней, испуганно вскинулась:

— Ай, никак, загулял? А это для смеха, что ли?

— Прогдала? — пытаюсь улыбнуться, спросил Иван.

— Вот она выручила, — показала она на старушку. — Просила сорок, отдала за тридцатку.

— Возьмите еще пару поросят, — заглядывая старухе в глаза, предложил Иван. — За двадцатку отдам.

— Куда их мне столько, — отмахнулась старуха. — Ферму, что ли, заводить. Да и что так дешево — уж не хворые ли оне?

— Здоровые, здоровые, — загораясь надеждой, заверил Иван.

— Чего ж на ярмарку привез, а просишь мало? Какой резон было тащиться? — не унималась старуха.

— Непредвиденный случай, — смущенно сказал Иван. — Потерпел аварию. Срочно брюки надо купить.

— То-то я гляжу, в гумагу завернулся, — сказала талалаевская. — Я-то думала, выпимши, потешить кого собрался...

— Не-е, — тоскливо посмотрел на обеих Иван. — Уперли. Прямо на глазах уперли.

— Здешние, нашенские, что ли? — забеспокоилась старуха.

— Кажется, приезжие...

— Как же так уперли? — сердито зашевелилась талалаевская. — Что ж ты, здоровенный дурила, дал себя обокрасть!

— Это не нашенские, наши бы не стали, — облегченно вздохнула старуха. — Ниче, следующий раз умнее будешь. Ну-ка, поросят своих покажь...

Иван развязал мешок, выудил одного за другим обоих, изрядно притомившихся поросят.

— Значит, по двадцатке, — сощурилась старуха, полюбовавшись на розовые тельца поросят.

— Ну, если не жалко, по четвертной, — робко проговорил Иван. — Не мои они, а соседки моей, бабушки Марьи. А то обидно за нее...

— Погоди, я скоронько, — сказала старуха.

Пока она сходила под дощатый навес, к торговавшему там цветочными семенами старику, Иван устало слушал монотонный, ни на секунду не смолкающий гул базара. Тихо брели, направляясь к выходу, натаптанные с утра люди, а навстречу тугими потоками торопились свежие.

Иван ехал домой, в Нижнее Талалаево, на том же автобусе, что вез его утром на рынок. Он почувствовал себя в нем уютно, как усталый птенец в теплом гнездышке, впадал в дрему, иногда, захлестнутый дорожным весельем — мужики, хорошие еще на рынке, по дороге добавляли, — сонно и безразлично озирался.

Он не сразу отозвался на слабенькие тычки сзади,

потом уже, когда кто-то упрямо повторил удары, обернулся и обнаружил знакомую талалаевскую старуху.

— Брюки-то, кажись, шелковые справил, — участливо поинтересовалась она.

— Сатиновые, — оживился Иван.

— Летом сгодятся, — сказала старуха. — А я-то еду и думаю, где тебя видела раньше. Вспомнила: на тракторе сидел, мимо хатки моей проехал. В Выселках был?

— Приезжал, — утвердительно кивнул Иван.

— Вот-вот... Узнала. У тебя к трактору телега така прицеплена. Удобная, видать.

— Удобная, — сказал Иван.

— Если будешь ехать мимо, заходи ко мне, — чуть слышно сказала старуха. — Евдокией Никитичной меня зовут. Я одна живу, сын Николай в Фергане, третий год носу не кажет, а сын Алексей похоронен под Киевом. Аккурат вроде тебя был. Здоровый, добрый, мухи не обидит. Писал, пушкой команду. Вот и говорю, заезжай: брюки, рубашки его, сапоги хромовые целехоньки. А ты мне дровец привезешь на тракторе-то. Я к начальству твоему схожу, уговорю...

— Не надо, — окончательно придя в себя, сказал Иван. — Я так приеду.

— Вот и хорошо, — успокоилась старуха. — Уж весна скоро... Приезжай хоть один, хоть с другом-приятелем...

— Приеду, — повторил Иван, выбираясь к выходу, — автобус приближался к Нижнему Талалаеву. — Обязательно...

— Весна уж скоро... — пробормотала старуха, подняв прощальный взгляд на Ивана. — У меня черемуха в палисаднике. В мае-то и зацветет...

”ТЫ ПО-СОБАЧЬИ ДЬЯВОЛЬСКИ КРАСИВ...”

В августе месяце верхнеталалаевское собачье поголовье — всего учтенных и бездомных, считай, десятка два — с гавом и визгом справляло вторые в году свадьбы.

В эту пору владельцы собак особо редкостных пород — были и такие в Верхнем Талалаеве — заперли своих четвероногих подопечных в избах или посадили на цепь, чтобы те не запятнали родословную, не устояв перед соблазном смешаться с разгульной собачьей шпаной.

Захар Кузьмич Дедков, не давая повады прежнему сердоболью, тоже посадил свою Дамку на цепь — еще в пору первых свадеб, в феврале. Что при этом было у Кузьмича на уме, по какой причине старик держал собаку на узде, узнать никому не удалось. Сама Дамка, терпеливо перегорев зимой и не поняв причину любовного запрета, теперь томила с удвоенной горячностью. Окончательно потеряв застенчивость, она громко просилась на улицу, где с хмельной удалью гуляла вольница.

Воскресным утром, в базарный день, Кузьмич, едва дотерпев до рассвета, отправился на рынок. С полчаса, не больше, послонялся по рядам, — и вдруг кинулся обратно домой. До взгорья, откуда был виден его двор, Кузьмич бежал резвым бежком, сильно стукотая яловыми сапогами по сухой твердой тропе. Остановился, заслонясь рукой от солнца, загнанно перевел дыхание, довольно улыбнулся. Дамка звякала цепью, тоненько скуля в ответ на похабный лай кобелей, осаждавших двор.

— А ну, проваливайте, барбосы безродные! — крикнул Кузьмич.

Услышав его, ошалелые от любви псы — один чуднее другого, — бросились кто куда: не раз изведали крутой нрав старика.

День разгорался, воздух наполнился медовым запахом трав.

Снизу, из поймы, где еще держалась дымка, поднимался терпкий дух осевших стогов, за дальним лугом ярко желтело, дугой огибая талалаевскую околицу, цветущее гречишное поле; дальше сизо проступали, хвастливо рисовались аккуратными шиферными крышами раскиданные вдоль реки Верды, стыдливо прячущейся в извилинах, талалаевские избы.

Все живое радовалось погожему дню. Кузьмич, молодея, твердо ступал на землю. Приближаясь к своей избе, строго оглядел ее, остался довольнехонек: от нее, еще крепкой, с новыми — чего только не выделял зимой ножовкой — наличниками, веяло основательностью и чистотой.

И все же Кузьмич, заметив в глазах заегозившей Дамки греховный умысел, согнал с лица умиленное выражение, сердито отмахнулся от собаки.

Видя непраздную озабоченность хозяина, Дамка помирнела, пристально вгляделась в Кузьмича, но собачьей проницательности не хватило, чтобы понять человеческие думы. И хотя думы эти касались Дамки,

она всей сложности затейного Кузьмичом постичь не смогла, и потому старик, со счастливой нежностью потрепав всплакнувшую от обиды собаку за уши, громко ширнул носом.

— Ну, не мучь голову, ежели сразу не дошло, — сочувственно сказал он. — Тебе уж поздно человеком становиться. Допрежь надобно было кумекать...

Дамка, перестав шевелить хвост, кренделем сложенный вокруг ног, совсем притихла. В глазах ее начисто исчезла прежняя нахалинка, теперь она, забыв о женихах, преданно пялилась в хозяина.

Кузьмич заторопился. Вошел в полумрак избы, сунулся в сундук, извлек из него пахнувший нафталином выходной пиджак. Обмакнув мокрую тряпицу в печную золу, Кузьмич начистил до яркого блеска медали, прицепленные к лацкану, тщательно побрился, плеснул в лицо тройным одеколоном.

Когда Кузьмич петухом выскочил на крыльцо, держа в руке плетеный, с медными бляшками, поводок, Дамка обрадованно заскулила. Она, видно было, не умом, а сердечной догадкой дошла до серьезности дела, задуманного Кузьмичом, и тоже приостановилась, даже попробовала поставить уши стрелками, хотя из этого ничего не вышло — родилась и прожила вислоухой. Дамка была породы неизвестной, и ни один собачий спец, по-научному кинолог, не взялся бы устанавливать, в каком колене, через чью кровь — прадедушкину или прапрабабушкину — сказались в ней благородство и живой ум.

Кузьмич гребенкой расчесал Дамке шерсть, тряпочкой, смоченной одеколоном, обтер ей мордочку — и вот перед ним не собака, а загляденье.

Скоро они чинно выбрались на улицу, не обращая внимания на сидевших в отдалении, с разбойным нетерпением ожидавших хоть малейшей побрякушки кобелей, зашагали в направлении железнодорожной станции.

Там, километрах в пяти, на краю деревянного городка Малоярославца, проживал каждое лето на старенькой даче профессор. По каким наукам тот был профессором, Кузьмич точно не знал, да и как человека знал его лишь понаслышке. Видеть видел — на рынке, с огромной, спокойной, должно быть, добродушного и надежного нрава собакой породы сенбернар.

Кузьмич любил все живое на свете, а к собакам, особенно сторожевых и служебных пород, относился с тайным уважением и восхищением. С каких-то пор, заметил он, на рынке наблюдался повышенный спрос

на потомство упомянутых полезных для человека пород, но его, как всякого дефицита, было совсем мало.

Зимой были дешевые щенята по трешке за голову — от родителей, незнамо где обитающих, каких-то, видно было по потомству, невообразимо смешанных кровей; мрачный, беспризорный мужик вытаскивал щенят из корзины одного за другим, и в замерзшей толпе обнаруживался сердобольный человек, платил за квелога щенка, торопливо запикивал его в шубу. Другой тип — очкастый, в бобровой шапке, продавал породистых; мать щенков, увешанная медалями, с паспортом и бумагами, в коих описана ее родословная, терпеливо топталась возле сумки на снегу, по-человечески страдая за детей и хозяина — чтобы тот не продешевил и не отдал щенят в плохие руки. Этот, в бобровой шапке, брал за каждого щенка полсотни.

Тогда-то Кузьмич запереживал. Тогда пришла ему в голову мысль свести профессорского сенбернара с Дамкой. За несколько длинных зимних ночей Кузьмич, лежа на печи, дотошно обдумал будущее новой породы, и вера в нее, как в преданного друга основательного хозяина, которому охота держать собаку при дворе, с каждым разом укреплялась.

Характер у Дамки нескрытый, уживчивый, и хоть она не совсем вышла телом, за счет вязки с сенбернаром — у того экстерьер что надо! — потомство обязательно выладнится. Можно, мечтал Кузьмич, с парой щенков понянчиться, дать обучение и натаску, а там, глядишь, — выставка, соответствующие медали... Когда наступил январь — время первых собачьих свадеб — Кузьмич с Дамкой, оба причищенные, отправились к профессору, но в тот раз им выпала незадача. Профессор, взяв с собой сенбернара, накануне уехал в город устраивать спешные дела.

Христофоровна, ходившая на дачу прибирать в комнатах, сперва терпеливо слушала Кузьмича, подробно и заковыристо объяснявшего цель прихода, но потом, устав от непонятных слов, поступила не совсем благородно.

— Угомонись ты, леший, — вдруг крикнула она. — Ишь че удумал. Приперся со своей страминой к доброму человеку.

Будто не она в молодую пору, в девках, заглядывалась на Кузьмича, взяла и отбрила его, как чужого. Не будь у Кузьмича затаенной надежды на милость профессора — мужик мужика в таких деликатных случаях

жизни понимают друг дружку лучше — Кузьмич не остался бы в долгу; не лез в карман за словом. А тут сделал вид, что стушевался. Робеть перед кем-либо Кузьмич давно отучился: сам за себя не боялся, жена умерла, а единственный сын в городе над другими начальник. Но после той встречи с Христофоровной, в девичестве Дуняшей, Кузьмич дал себе зарок не попадаться ей на глаза.

Пока зима трещала морозами, Кузьмич искурил полмешка табаку и, изредка сожалея, что в свое время, когда Христофоровна питала к нему страстную любовь, не нашел в себе для нее ответной ласки, дожидался весны, потом августа, когда собаки справляют вторые в году свадьбы.

Сейчас Кузьмич, вышагивая скошенным лугом, приготавливал себя к встрече с профессором, который раз — не счесть — повторял отдельные слова и фразы, чтобы ими внушить ученому человеку, что прежде, до сегодняшнего визита, захватившая душу Кузьмича идея была не единожды обмозгована. Иначе мог тот усомниться в его разумном поведении. Кузьмич был хорошего мнения о профессоре; жили и занимались чем-то бесполезным, по разумению Кузьмича, и липовые, самозванные профессора, но у этого даже имя, отчество, не говоря уже о фамилии, соответствовали его званию: Флегонт Маркелович Снигаевский. На лицо, помнил Кузьмич, тоже учен и мудр, бороду носит стриженую, в руке, как полагается, черная трость.

Он знал, что Христофоровны, вражины этой, на даче сейчас нет, — видел ее на рынке. Придет не скоро, пока не перешукает выставленное на продажу барахлишко — потому-то Кузьмич уверенно лихо толкнул калитку, только на крыльце затяжелел и не с ходу нажал кнопку звонка.

Он уже нацелился указательным пальцем в черный кружочек, но вдруг спохватился, согнал с крыльца Дамку, привязал поводок к скамейке под тесовым навесом, снова поднялся по ступенькам. Наконец Кузьмич осторожно дотронулся до кнопки звонка, и стал терпеливо ждать, когда ему откроют.

Чутко напрягаясь слухом — не идет ли профессор, — достал кисет, скрутил сигарку. Закурил и успел выпустить длинную струю дыма, когда в неслышно отворившейся двери появился профессор, одетый в старенькую овчинную безрукавку.

Кузьмич смутился, но смотрел на того с несоответствующей болезненно-сочувственной улыбкой — уж

очень странно, каким-то чудом держались на кончике профессорского носа очки в круглой железной оправе.

Профессор, заметив смущение Кузьмича, неизвестно как истолковал его и поторопился придать лицу приветливое выражение.

— Прошу... — попятился он, жестом приглашая Кузьмича. — Извините, не знаю, как вас по батюшке...

— Кузьмич я, — ответил Кузьмич. — Захар Кузьмичом величают...

Он, двумя пальцами взяв за козырек кепку с пуговкой, приподнял ее над макушкой, перешагнул низенький порог, очутился в передней. Дверь за ним захлопнулась сама, и Кузьмич, обвыкаясь с полумглой, наметанным взглядом окинул стылую печь, просторную чистую кухню с красными геранями в окне. Пока профессор шарил по стене, должно быть желая включить свет, Кузьмич уже осмотрелся по сторонам, и в глубине избы, возле заваленного книгами и бумагами стола, увидел наполовину скрытого старинным кожаным креслом сенбернара. Он почувствовал к профессору щемящее родственное расположение: тоже, как и Кузьмич, не один-одинешенек, хоть какая-то живая душа при нем тоже имеется.

— Кх-а-х!.. — кашлянул Кузьмич.

— Проходите, садитесь, — позвал его профессор уже из гостиной. — У меня, правда, такой беспорядок, что черт ногу сломит...

— Да че там, — порывисто махнул обрадованный вниманием Кузьмич. — У меня, моить, страшнее атомной войны. Одно слово — вдовцы.

Он сдернул с ног сапоги, мягко ступая белыми теплыми носками на половицу, на ходу сунул руку в запечье и озабоченно протянул:

— Истопить бы не мешало. Это ниче, что середина лета. Сруб старый, оттого сыро. Да болото рядом.

— Верно говорите, сыровато, — кивнул профессор. — А вы часом не печник?

— По печному делу не мастак, — отрицательно помотал головой Кузьмич. — А дровец, ежели согласие дадите, можно подкинуть. Березовых или ольховых.

— Сядьте, сядьте в кресло, — пригласил профессор. — Вы ко мне, надо полагать, с каким-нибудь делом...

— Кха-х, — Кузьмич снова подавился кашлем, хотя сигарку бросил еще с крыльца, вынул пахнущий одеколоном вчетверо сложенный платок и прикрыл им рот. Потом — ах, была не была! — смело проговорил: — Знамо, Флегонт Маркелович, с делом...

Объяснить немедленно, в чем дело, у Кузьмича не хватило духу, и он, ощущая, как его, вспотевшего по дороге сюда, начинает пробираться сырой холодок и еще что-то зябкое, перевел взгляд на обросшего плотной шерстью сенбернара. Видно было, пес незадолго до прихода Кузьмича набегался, сморился. Сенбернар спал, растянувшись на потертом, с залысинами, коврикe, голова его, грузная и лобастая, покоилась на войлочной подстилке.

— Ишь какой красавец, — прошептал Кузьмич. — Кажись, грузен, красавец. Прямо артист, едрена-матрена! Сторож-то хороший?

— Да не ахти, — улыбнулся профессор. — Сторожить-то ему тут нечего, кругом пусто.

— А труды ваши, — хитро сощурился на него Кузьмич. — Бумаги-то небось ценные, в муках рождены.

— Нового уж нет, — вздохнул профессор и пристально — чем-то заинтересовал его Кузьмич — посмотрел на неожиданного собеседника. — Все там, в молодости.

— Дак оно понятно, — согласился Кузьмич. — Только, слышал я, будто в вашем деле годы не помеха.

— Для всякого дела, Захар Кузьмич, сила нужна. Теперь, если правду сказать, уже не то... Как это в стихах сказано: "Кто сгорел, того не подожжешь..."

Кузьмич, все больше радуясь, что так легко разговаривал профессора, по-детски возбужденно возразил:

— А меня, Флегонт Маркелыч, извините за выражение, сомнение берет насчет ваших слов... Мы тоже, извините, кое-что кумекаем. Не в обиду будет сказано, сила ваша не в руках-ногах, а вот тут, — Кузьмич указательным пальцем постукал по голове. — Уж не думайте, что ежели мы без званий, дак и ни в зуб ногой.

— Да что вы, — уважительно сказал профессор. — Я и не думал... Хотите, кофейку поставлю.

— Не балуемся, — зябко передернул плечами Кузьмич.

— А это самое... — профессор, пытаясь оживить застывшее апостольское лицо, неумело подмигнул и щелкнул по горлу. — А то уж я и забыл, когда рюмку последний раз держал.

— Это вы небось из-за меня. Да я обойдусь, — слабо стал отнекиваться Кузьмич. — Хотя... рази только для сугреву.

Профессор вынул из шкафчика красного дерева бутылку коньяку, две рюмки. Поставив их на низенький столик, пододвинул его к Кузьмичу. Лицо его, пока он ходил в кухню за закуской, замет-

но оттаяло, округлилось, строгий служебный взгляд помягчел.

— Ну вот, — потирая руки, торжественно проговорил профессор. — Выпьем за знакомство. Иной раз, если по совести, хочется выпить, да не с кем.

— А Христофоровна завязала, что ли? — осмелев, поинтересовался Кузьмич.

— Христофоровна?! — удивился профессор. — Нет, батенька, не пьет. Истая трезвенница.

— То-то она прошлый раз изахалась, на меня гляючи, — вспомнил Кузьмич. — Это я от сына ехал из города. Новое назначение обмывали. В святые, стало быть, записалась.

— Знакомы с ней, с Христофоровной? — нетерпеливо поднимая рюмку, спросил профессор.

— Еще бы! — Кузьмич тоже взял рюмку за тонюсенькую талию и, совсем не ощущая ее тяжести, в нерешительности поставил. — Мне бы того... лучше стопочку, — виновато поднял он глаза на профессора. — Уж больно красивая посудинка. Не привык я...

— Минуточку, Захар Кузьмич.

Профессор прошлепал в кухню, вернулся с граненой стопочкой. Снова подняв свою рюмку, потянулся к Кузьмичу, чтобы чокнуться, Кузьмич осторожно коснулся своей стопкой края рюмки и, на мгновение отрешаясь, послушал праздничный звон стекла; потом, увидев, что профессор медленно выцеживает из рюмки коньяк, попытался пить так же, но с непривычки зазнобило пуце прежнего. Махом проглотив остаток, Кузьмич по примеру профессора зацепил маленькую дольку лимона и принялся его обсасывать.

В груди враз потеплело.

— А Христофоровну я от горшка знаю, — возвращаясь к прерванному ответу, сказал Кузьмич. — Когда подросла, бойкая была, без нее ни одно гулянье не обходилось. Это она мне, хоть я постарше ее годков на шесть был, первую стопку поднесла. Я трезвее ее жил, работал много — не до того было... Да и бога боялся. А теперь вот... В рот, значит, не берет. Ах, вражина...

— Наверно, поссорились с ней, — с любопытством уставился на Кузьмича профессор.

— Оно, конечно, смешно, — обиженно насупился Кузьмич. — Что, спрашивается, нам делить. Ну, не получилось в молодости... Теперь-то живем каждый сам по себе. А все ж, видать, зуб-то она на меня

имела. Зимой, когда я, как ноне говорят, с визитом явился, она меня чуть ли не помоями...

— Захар Кузьмич, милый, поверьте, я об этом ничего не знаю...

— А вас тади дома не было, — сказал Кузьмич, ободренный сочувствием профессора. — Я и тогда не один приходил. Тади уж придумка одна меня точила.

— Не один? А где же ваш товарищ? — вопрошающе-недоуменно задрал бороду профессор. — Догадываюсь, ждет вас на улице. Что же вы так, ай-яй, Захар Кузьмич.

— Верно, товарищ, — обрадованно подтвердил Кузьмич. — Как ноне говорят, друг человека. Собака моя. Дамкой кличут.

— Понятно, — озадаченно проговорил профессор, наливая стопку Кузьмича. — Очень, признаться, занятно.

— Нет, вы не подумайте... — замахал руками Кузьмич. — Собака, верно, без паспорта и по части родословной сведений точных нема. Но Дамка моя, говорю, особливых кровей, чистая, негулевая. Любой с нашей улицы свидетель. Вот бы, Флегонт Маркелыч, с ним бы, — Кузьмич конфузливо помолчал, глядя на спящего сенбернара. — Вот бы, говорю, свадебку...

— Да-а, — неожиданно посерьезнев, протянул профессор. — Давайте-ка выпьем!

От такой сдержанности Кузьмич поостыл и, чтобы заглушить расшевелившуюся в груди обиду, стопку свою выпил одним глотком, обтер губы рукавом и посидел молча.

Между тем профессор, видно было, уйдя мыслями в озадачившее его предложение, быстро-быстро двигал ртом, будто высчитывал что-то.

— А получится? — вдруг поднял он глаза на Кузьмича. — Я, признаться, представления не имею, как это устраивать...

— Хах! — воскликнул Кузьмич, хлопнув себя по коленям. — Че тут сложного, Маркелыч, дорогой ты наш... Свести их надо, — пусть пообнюхаются, приглядятся друг к дружке. Потом, глядишь, рода своо продолжения ради... Согласно закону природы. Силком, конечно, ниче не выйдет. У них ить как у людей, попервости любовь должна зародиться. Сперва у них тоже так шуры-муры...

Профессор слушал Кузьмича заинтересованно, одновременно что-то пытаясь вспомнить.

— Шуры-муры... — грустно усмехнулся он. — Ничего уже толком не помню. Куда и девалось...

— Э-э, Маркелыч, не приbedняйся, — шутливо угрозил пальцем Кузьмич — что значит пить коньяк без закуски. — Ты мужик вон какой знатный да здоровый. Это ты, ежели по правде, книжками себя заморил. Сам себя заездил. Дак это ж черт знает что такое... — возбужденно заерзал Кузьмич. — Это ты всю жизнь над трудами корпел, горб нажил, депутатом стал, а жисть только с одной стороны знаешь. А ить душа-то небось просит — и на справную бабу охота поглядеть, и рюмку-вторую пропустить, вобщем, бойчей землю топтать... — Кузьмич, умолкнув, смотрел на осевшего профессора с грустной озабоченностью и уже тихо, без прежней запальчивости, сказал: — Моить, не прав я, Маркелыч... Не принимай всерьез дурацкие речи...

Профессор молчал. Был он хмур и задумчив, перстнем, надетым на палец правой руки, чуть слышно постукивал по столу.

Их обоих — Кузьмича и профессора — вывел из неопределенного состояния донесшийся из-за двери скулеж. Тоненько, нараспев, будто затеяв петь печальную собачью песню, скулила Дамка.

Сенбернар на удивление быстро вскочил на ноги, мощно встряхнулся, но с места не сдвинулся, выжидающе поглядел на хозяина.

— Смотри-ка, учуял, — проговорил профессор.

— Не-е, Маркелыч, ошибаисся, — радостно улыбнулся Кузьмич. — Это она, моя Дамка, учуяла. Да и как не причуять такого мужика!

— Ну, если на то пошло, зовите сюда невестушку, — оживился профессор.

От неожиданной перемены в настроении профессора Кузьмич опешил, лицо его дрогнуло, он послушно кивнул и, не мешкая, направился к двери. Кузьмич, внутренне ликуя — сватовство пошло гладко, — вышел на крыльцо, отвязал завилявшую хвостом Дамку, весь проникнутый ответственностью момента, впустил собаку в переднюю. Дамка, нехотя переступив порог, остановилась, заробела и поджала хвост; в черных глазах ее взмелькивал тревожный блеск — это она разглядела стоявшего посреди гостиной сенбернара.

Поначалу пес смотрел на Дамку равнодушно, как на пустое место, затем, видать, счел появление посторонней собаки незаконным и разразился сердитым лаем. Лай был басовит, строг, но не резок.

— Фу, Цезарь, — проговорил профессор. — Как гостью встречаешь?

— Ну что вы, Маркелыч, — заступился за пса Кузьмич. — Это он, понимать надо, привечает... Верно, Сезарь. Чудно вы его зовете, Маркелыч.

— Это у меня профессиональное. Царей в древнем Риме так величали.

— Извините, первый раз слышу.

— Ничего, проходите...

Кузьмич попытался оторвать от своих ног дрожащую Дамку, но она, видать, по-своему уразумела царственный лай: каждый сверчок должен знать свой шесток.

— Ладно, пушай пообвыкнет, — недовольно сказал Кузьмич, оставляя Дамку у порога. — Им бы по волюшке промнуться, они б скоренько снюхались.

— У меня он по расписанию ходит, — сказал профессор. — Аккуратный — хоть часы сверяй.

— Конечно, культуре приучен, — согласился Кузьмич, страдая за Дамку, забившуюся в угол — только глаза ее взблескивают: зырк-зырк. — Дамка у меня тоже просится, если по нужде во двор надо. А по этой части, — заговорил Кузьмич сочувственно-уважительным тоном, — когда, значит, наши талалаевские собаки свадьбы по всей округе закатали, Дамка, сердешная, натерпелась, землю под собой всю цепью исколотила. А я ей: терпи! А ить собака собакой, а поняла: сидит, ждет... А Цезарь, он хорош — тьфу, тьфу, не сглазить бы. Древней породы.

— А и правда, — поддакнул профессор. — От скрепления пастушьих собак с догами...

— Добрый пес, — тянулся к сенбернару Кузьмич. Вспомнив вычитанное в книге еще зимой, повернулся к профессору. — Дюже, сказывают, сообразительные. В горах, которые Альпами зовутся, людей, снегом заваленных, отыскивают. Нюх такой развитой. И шерсть на нем подходящая, чтоб, значит, самому не замерзнуть...

Заметив, как смотрит профессор на своего сенбернара — с нежной восторженностью, будто видит впервые, — Кузьмич решил, что насчет пса хватит, пора набивать цену Дамке. Хотя, чего уж брехать, время бежит, — пора бы действовать. По солнцу — оно, судя по загустевшему свету, вот-вот должно заглянуть в окна, — определить, какой час, Кузьмич не смог и, помня о Христофоровне, торопливо сказал:

— Радиово не держите, Маркелыч... И то правильно. Один шум от нево. Телевизор — другое дело. Иная поет по радио — дак не знаешь, какая она из себя. А телевизор всю ее покажет и с задy и с фасаду... Эх!

Оно, конечно, я бы ее, Дамку, уже трижды огулял: ухажеров видных, с медалями, пруд пруди.

— А чего же мы ждем, Захар Кузьмич! — засмеялся профессор. — Давайте представим их друг другу. Они, может, на английский манер себя ведут: ах, нас не представили! Так что ведите даму! Цезарь, будь джентльменом!

Кузьмич взбодрился, двинулся к Дамке, которая, заслоняясь висевшей в углу полой длинной шубы, сверкала одним глазом.

— Иди, Дамка, иди, милая, — подзывал ее Кузьмич. — Давай смелее, не бойся. Давай морду повыше, хвостом живенько так, влево-направо... Ах ты, шельма, перепеклась, что ли, что там в углу маешься?..

Дамка, беспокоясь, часто-часто моргала глазами, не зная, чем ублажить рассерженного хозяина.

Кузьмич резко отвернул шубу, просунул корявые пальцы за взопревший ошейник. Стал подтаскивать упиравшуюся Дамку к двери гостиной.

— Вот шурану на крыльцо! — окончательно озлился Кузьмич, когда Дамка при виде громадного, с виду покойного сенбернара метнулась было назад.

— Ничего, ничего, — приговаривал профессор, мягко хлопая сенбернара по плотной спине. — Не все сразу. Терпение, говорят японцы, — дар божий.

— Дюже здорово сказано, — подхватил Кузьмич. — Терпение и труд все перетрут...

— Давайте оставим их тут, — предложил профессор. — А сами — в кухню переберемся. Мы ведь не гордые, верно, Захар Кузьмич.

— Чевой-то душа не на месте, — признался Кузьмич. — Вот мы их оставим, а они будут сидеть, друг на дружку пялиться.

— Что поделаешь, — сказал профессор, унося в кухню бутылку. — Любовь с первого взгляда, по-моему, только человеческому роду свойственна. На остальные случаи существует присказка: притерпится, слюбится.

Ободренный словами профессора, Кузьмич сменил недовольство на прежнюю беспечность, живо принялся помогать хозяину. И все же, видно было, покидать Дамку, сучившую от волнения и робости лапами, ему не хотелось, но он пересилил себя, закрывая застекленную дверь гостиной, подмигнул равнодушно застывшему сенбернару, затем Дамке, сказал сдавленно-заговорщицким голосом:

— В добрый час!

Тем временем профессор достал из кухонного

шкафчика разные рыбные консервы, зеленый горошек и какие-то южные, остро пахнущие приправы, и Кузьмич, проникаясь особой симпатией к нему, деликатно топтался у входа в кухню. Профессору, видать, сделалось жарко — он снял с себя безрукавку, надел поверх белой рубахи, воротник которой торчмя стоял возле ушей, черный свитер.

— Ты по-собачьи дьявольски красив... — продекларировал вдруг профессор, довольно сноровисто нарезая лук и обкладывая глянцевыми кружочками шпроты, выложенные в тарелку. — Чертовски недурно сказано, главное — точно...

— Есенин... — авторитетно проговорил Кузьмич. — Этот умел.

Профессор бросил на него слегка удивленный, но одобрительный взгляд, по-свойски широко показал на стул.

Кузьмич сел и при всем старании радости все же скрыть не смог. Надо же было профессору вспомнить стихотворение, которое Кузьмич, пока в долгие зимние дни отлеживал бока, выучил наизусть.

— Да, братья наши меньшие, — в раздумье сказал Кузьмич. — А ты вот, Маркелыч, все еще не догадываешься, какая придумка меня принудила аккурат твоего кобеля выбрать? Еще до зимы, когда я тебя с псом на рынке встренул, у меня в мозгах копошилась мысль. Она, брат, вовсе не по скуке затеялась меня изводить — забота, скажу тебе, общегосударственная. Ты только не насмехайся, слушай. Вот я лежал и думал: чего им, которые в город бегут, не хватает? Ну, ладно, указов разных насчет личных участков да домашней скотины было — ну, простой мужик, как ноне говорят, перевелся. Основательный мужик, иначе — хозяин. Вот и я пришел к такой мысли: домовитости не стало. Это теperеча только для отвода глаз, скажем, кошку в дом вперед пускают, когда новоселье. А ить раньше великая в этом суть была: домовитости ради пускали. Так, Маркелыч, с собакой. Настоящий хозяин должен собаку иметь. Не такую, про которую на калитках пишут: "Осторожно, злая собака!" В поле мужик хозяин, в избе — баба хозяйка, а во дворе — собака. Как член семейства. А то я поглядел-поглядел, а у многих во дворе токмо и живой души, что куры, на всяк манер чернилами или красками помеченные. Это чтоб не перепутать с соседскими. А собака безобразия такого не допустит, чтоб, значит, куры с ее двора на чужом на-сесте ночевали... Этаким макарон мысль и развивалась.

Займусь, думаю, породу выводить. Щенков по дешевке на базаре продавать. Дотерпелся до августа, больше немогогу — явился... Зимой-то приперся, тебя нет. Потом побаивался, думаю, опять напад на Христофоровну, опять — от ворот поворот. А тут, гляжу, бог милостив...

— Замечательная, Захар Кузьмич, задумка, — похвалил профессор. — Вы, Захар Кузьмич, молодчина. Вы коснулись очень важной проблемы, в прелюбопытном... э-э... в собачьем аспекте. За вашу удачу!

— За нашу, Маркелыч! — поправил Кузьмич.

В гостиной, за дверью, раздался грохот. Следом еще гахнуло, послышалась беспорядочная беготня, сопровождаемая рычанием и визгом. Профессор и Кузьмич, не ожидавшие такого результата, разом бросились в гостиную.

Кузьмич разгоряченными глазами обшарил комнату, увидев опрокинутый столик, цветочный горшок, упавший с подоконника и вдребезги разбитый, перестал дышать.

Дамка, заскочившая на диван, оскалила мордочку и взъерошилась, когда сенбернар, ободренный появлением хозяина, сделал в направлении к ней воинственный выпад.

— Фу, Цезарь! — скомандовал профессор.

— От незадача, — сокрушался Кузьмич. — Тут уж меня, Маркелыч, того... не обессудь. Незадача вышла. Чего это вы не поделили? — прикрикнул он, обращаясь к собакам. — Мы там, дураки, сидим, думаем, что у них тут полный ажур...

— А не торопим ли? — помял бороду профессор. — Пускай побудут наедине. Пусть отношения выясняют.

— Ой, горе мое, — запереживал Кузьмич. — Чего ж у них не ладится? Она у меня, говорю, справная, чем не подошла ему? Может, это самое, отрицательный резус.

Профессор, услышав, как легко выговорил Кузьмич заковыристое слово, улыбнулся, но спрашивать, что старик в данный момент подразумевает под резусом, не решился. Он еще, в этот раз отвернувшись, прикрыл рот кулаком, засмеялся, затем обернулся, увидел Кузьмича, уговаривавшего свою Дамку:

— Ты с ним поласковой, поласковой, милая. Кому ты понравишься такая: скалишься да дыбишься. Не людски получается, вот что. Ну, чего тебе стоит, девонька, глядишь, и тебе будет хорошо, и мне. Мы с профессором, глядишь, свояками станем, коли вы с задачей справитесь... А ты, голубчик, — Кузьмич повернулся к

сенбернару. — Ты тоже будь человеком. Нельзя так — гонять девку. Может, не нравится тебе она, да все равно, брат, — уважь. Ежели даже твои сродственники в древнем Риме жили, — не задирай носа. Может, в ее роду тоже старинные связи имеются — дак докопаться до них времечка нету. А то б мы к тебе с грамотой, с печатью пришли — смотришь, и разговор другой. Но ты поверь на слово, уважь...

Профессор, спиной ударившись о дверной косяк, — тихонько, чтобы не смущать Кузьмича, пятился в кухню, — прервал увещания.

— Идемте, идемте, — сказал профессор. — Теперь они, полагаю, должны помириться...

— Дай-то бог, — вздохнул Кузьмич.

Он и в кухне продолжал вздыхать, сидел на табуретке, съежившись, уйдя в себя; тем временем он забывчиво прихлебывал коньяк с таким бесчувственным выражением, как если бы пил остывший чай. И все дверь гостиной караулил: вострил в ее сторону то одно, то другое ухо.

— Может, он того, Маркелыч, пес-то... — тяжело зашевелился Кузьмич. — Может, по причине буржуазного происхождения не милует Дамку? В нас, так сказать, царские кровя текут, я вас в упор не вижу, а? — в голосе Кузьмича явственно слышалась обида. — Оттого, может, покушался гусар твой на мою...

— Ну, Кузьмич, что это вы заладили, откуда такая мнительность? — сказал профессор. — Сложная эта штука — любовь. Любовь зла — полюбишь и козла.

— Это верно, — смягчился Кузьмич. — Было у меня однажды. В Восточной Пруссии стояли. Меня тади по случаю ранения в хозвзвод перевели, так-то я артиллеристом был, всю войну наводчиком. Там старинный замок был, в ем он и засел, да так укрепился, так густо палит — аж головы ребятам не поднять. Тут я, хоть и раненный в бок, говорю: давайте прямой наводкой шурану! Вызваться-то вызвался, а в глазах у меня темно, цель вижу плохо, только чую, в левой угловой башне — то ли снайпер, то ли еще кто меткий сидит. Как пуля просвищет — я поправку делаю в том направлении. Он мне сумел за это время ухо поцарапать. Ну, а как махнул я — башню-то снарядом и снесло. Начисто срезало. Смотрят ostatние на такое дело — давай валить из замка на лужайку: кто с платком белым в руке, кто с простынкой. Сдаваться.

Из гостиной донесся неясный шум, и Кузьмич, при-

слушиваясь, встрепенулся. Не дождавшись повторного шума, продолжил с повышенным энтузиазмом.

— Дак вот, брат, вечером-то, когда я запрят Буланого да в пекарню ехать собрался, меня окликают: "Захар, тебя там какая-то баронесса спрашивает. Иди, говорят, поговори..." А сами, значит, в кулак прыскают. Ну, думаю, сукины сыны, разыграть решили. Какая баронесса, когда у меня в Талалаеве Аксинья ждет не дождется... А ить и вправду баронесса у КП дожидается: такая беленькая, пригоженькая, и вообще всем видом только тому самому замку ко двору. Увидела она меня, говорит тоненьким голосочком: "Зольдат, это ви стреляль в замок? Башню ви сломаль?" А я, дурная головушка, возьми да и скажи правду: я, мол, шуранул, фрау. А она как кинется на меня, как обхватит шею ручонками и — ох уж эти бабы — слезы в три ручья. "Карашо, зольдат, очень карашо", — и целует куда попало. А за воротами, слышу, в ладоши хлопают. Я уж стою и клянусь себя, что признался... С тех пор, пока не двинулись дальше, житья мне не стало. Придет, бывало, баронесса, вызовет, стоим мы друг против дружки, она лопочет: "Карашо, Захар, карашо!..." И то пирог в руку сунет, то сальца кусок. Оказывается, брат, я одним-единственным выстрелом вынудил фашистов сдаться, потому как на башне ихний главарь сидел, грозил каждого расстрелять, ежели кто вздумает сопротивление прекратить. А в замке-то родители ее, старики большие лежали, начини мы палить как попало — хана бы им была. Ей тоже. А старик, барон, значит, как и ты, по ученой части — профессор музыки... Вот так, брат, и полюбила меня баронесса, — стыдливо отвел взгляд Кузьмич. — Только как тади можно было любовью заниматься... И вообще — баронесса...

— Оробели, да? — по-детски изумился профессор.

— Уж не знаю, что было со мной... Приказ дали догонять передовые части, и тут у меня, — Кузьмич стукнул в грудь, — что-то заворочалось. Командир видит такое дело — на, говорит, тебе увольнительную, утром чтоб на месте был...

— Да вы герой, — довольно скрипнул табуреткой профессор. — А у меня, Захар Кузьмич, в жизни тоже был случай несоответствия. Тоже любовь наметилась, только в возрастах разница большая была. Она вот тоже, как вы давеча сказали, тоже светленькая была, вернее, просветленная, — говорил профессор, сбавляя голос до скорбного шепота. — Она студенткой была, а мне за пятьдесят перевалило, доцент, докторскую го-

товился защищать. На меня отовсюду неприятности катились, врачи обнаружили нервное истощение, наперебой дают советы подлечиться, съездить на курорт — куда там! Целые дни протираю штаны в читальном зале, отекал начал, и тут, милый Захар Кузьмич, самый раз вспомнить пушкинское: "Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты..." Я, правду сказать, и прежде отличал ее от подруг по курсу, но тут... Тут, знаете, совсем другое было. Она попросила меня проводить ее. Ну, вот, представьте, я иду рядом, снежок падает, тихо, а у меня — в распроклятой голове — эпоха Петра Великого. Приговоренный к смертной казни царевич для меня реальнее, чем эта самоотверженная девушка, которая, как выяснилось, любит меня — да, она призналась — любит! — с первого курса. Три года!

Кузьмич, ревниво слушая профессора, проникаясь чужой скорбью, догадался: история закончится печально — и запереживал так сильно, что сам себе налил стопку коньяку, одним махом опрокинул ее в широко открытый рот.

— ...Слова ее, знаете, мимо меня, как мимо пня. Ни холодно ни жарко. Вот, думаю, заполошная, у меня, думаю, дочь уже старше тебя.

— Дак это, брат, бывает. Тут самое главное — не обидеть, обнадежить...

— Вот, вот... — сник профессор. — А я — дурак дураком — принялся ее уверять, что она поддалась самообману. Какая, дескать, может быть между нами любовь. Потом у меня все наладилось, защитился, бодрость пришла, и вдруг обнаруживаю, что ее в аудитории нет. Давно нет. Спрашиваю, где? Подружки переглядываются — не понять, то ли осуждают, то ли сочувствуют. А во мне, помню, поет: "Я помню чудное мгновение..." Однако было уже поздно. Ушла из института, уехала куда-то в Сибирь, выскочила замуж...

— Обидел, — хлопнув по коленям, сказал Кузьмич. — Они такое не прощают, по опыту знаю. А то и назло что-нибудь нехорошее наделать могут...

Продолжая досадовать, что у профессора в свое время так вот нескладно получилось, — может, счастье человек упустил — Кузьмич напрягся слухом. Но оттуда, из гостиной, не слышалось ни единого шороха. Кузьмич встревожился, отодвинувшись с табуретом от стола, поглядел на солнце: базар, должно быть, начинается расходиться, времени в обрез.

Будь вместо профессора кто-нибудь попроще, Кузьмич попытался бы ускорить дело, несмотря на приве-

редливость сенбернара — недотрога выискался, но Флегонт Маркелович, только что доверительно открывший перед ним свою тайну, окончательно обезоружил его. Вот что значит душевный человек — он при всех своих званиях и регалиях все-таки человеком остается. Другой бы в его положении засомневался, впускать ли какого-то безвестного пенсионера, не говоря уже о коньяке и открытой, без всякой утайки беседе, будто сапог сапогу пара.

Теперь, чтоб не попасть в скверную историю, Кузьмич надумал попрощаться с профессором, забрать Дамку и уйти, пока не явилась Христофоровна. Не пороть горячку, а сказать напрямую, что придет завтра, в крайнем случае — послезавтра.

— Что вы пригорюнились? — озорно сверкнул глазами профессор. — Вижу, что-то надумали.

— Дак пора и честь знать, — невесело улыбнулся Кузьмич. — Уж больно неохота расставаться. День вам испортили.

— Напрасно вы так подумали, — огорченно проговорил профессор. — День велик.

— Может, тади на завтра, — осторожно кашлянул Кузьмич. — Может, за это время затоскуют друг по дружке, а там, глядишь...

Шум, раздавшийся в гостиной, заставил его умолкнуть. Что-то упало со звоном, с треском и дребезжаньем ударились об дверь. Потом все стихло.

Профессор и Кузьмич, напряженно прислушиваясь, непонятно почему крались к двери, и ни тот, ни другой не осмеливались первым открыть дверь — вдруг вылетит навстречу обалдевшая собака. Оба нерешительно застыли перед стеклом, пытаясь сквозь него, похожее на белый ледок, посмотреть, что происходит в гостиной.

Никто из них сначала не обратил внимания на приглушенный щелчок замка. Второй щелчок, сопровождаемый каким-то песочным скрипом, удивил лишь профессора: кажется, он забыл, что должна прийти Христофоровна.

Кузьмич, хоть и был начеку, при виде вошедшей в переднюю Христофоровны заметно сгорбился и почувствовал раздражение — не сумел вовремя смотаться.

— Гляди-ка, Христофоровна! — с притворным радушием воскликнул Кузьмич. — Все ноги небось оттоптала.

— Молчи уж, — неприязненно сказала Христофоровна. — Дорвался до коньяка-то.

— Надежда Христофоровна, — виновато склонив

голову, заговорил профессор. — Не волнуйтесь, не надо...

— Негоже, Флегонт Маркелович, всяким потакать. Они ведь так и на шею сядут.

— Да не гневи бога, Христофоровна, — обиженно протянул Кузьмич. — Когда ты видела, чтоб я наби-
вался.

Шум в гостиной, возобновившийся, насторожил Христофоровну, она тяжелой хозяйской сумкой толкнула дверь. Обе собаки — Дамка на подоконнике, Цезарь на диване — замерли в легавой стойке и гневно тарасились друг на друга. Дамка, жалуюсь, заскулила, а Цезарь переменял позу, отошел к своей подстилке и привычно растянулся.

Кузьмич, скосив глаза на Христофоровну, определил, что та, пораженная увиденным безобразием — одних только битых горшков валялось несколько, — скоро справится с собой. Тогда уж не жди пощады. Он бесом подскочил к Дамке, взяв ее в охапку, воротился, прошмыгнув мимо Христофоровны, которая, сцепив руки на животе, смотрела в глубь гостиной и не узнавала ее.

— Анчихрист! — крикнула Христофоровна, обретя наконец речь. — Приперся-таки, не постыдился, алкаш бесстыжий.

Кузьмич, услышав последние слова, побагровел, задержался у порога, сказал строгим голосом:

— Полегче, полегче, Христофоровна, на поворотах! Ишь какая грамотная да святая стала.

— Че наделал, че натворил! — выкрикивала Христофоровна. — В сапожищах, с крокодилой своей...

— Ах, какая неуважительная, — суетился Кузьмич в передней.

Профессор, не зная, как утихомирить Христофоровну, ходил по гостиной взад-вперед, потом остановился перед ней, робко сказал:

— Не надо, Христофоровна. Так уж получилось. Осечка с первого раза вышла — характерами не сошлись.

— Не смей носу больше казать! — шумела Христофоровна. Закрыв руками лицо, отошла в кухню. — Ну вас к лешему!..

— Ну, не сердчай шибко-то, — проговорил вслед Кузьмич. — Может, и я ишо тебе пригожусь. Думаешь, ежели у меня собака без особой породы, дак я уж и никто...

— Не надо, Кузьмич, — утешал его сердобольным взглядом профессор. — Заходите, буду рад.



Кузьмич попрощался с ним.

За калиткой, откуда начиналась белесая равнина луга, Кузьмич опустил Дамку на землю, переборов желание оглянуться, зашагал старой затравенной тропой. Кузьмич долго шел молча, недовольный собой, смотрел под ноги. Неподалеку от взгорья, перед пойменной низиной, откуда потянуло прохладой и застоявшимся болотным духом, он стряхнул с себя уныние и с радостной легкостью сказал:

— Ты, Дамка, не думай... Не думай, что день у нас

не сложился. И уж не испужался я ее, змеины-то. Ей-богу, не испужался. Коса на камень! Завтра мы с тобой с утра к профессору завалимся. А седня... Запишем в протокол, что помолвка была. Ближе к вечеру на станцию ходим, бутылку куплю. Пять звездочек. У меня в заглавничке две красенькие лежат, а через неделю пенсию принесут. Так что завтра опять гульнем. А ты уж давай его, охламона, охмуряй. Ишь как седня ты кочевряжилась!.. Эх, как же это я в молодости маху дал с Христофоровной. Ить — девка-то она была ничего. С Аксиньей покойной, конечно, не сравнить было. Вот и не уважил. Ежели говорить по-профессорски — не соответствовал. Да кто знал, что мы от нее зависеть будем, мать честная!.. Ну, ничего. Хотя и поздно, годы мои, милая, повышли, чего-нибудь придумаем. Главное, подход найти. Эх, кабы знал я тогда, в молодые-то годы!..

День сгорал, пойма обрела предзакатную глубину и загадочность. Где-то высоко в небе возникал восторженный орлиный клетот, а понизу, почти над головой, летели с медлительным усталым жуужанием пчелы.

Кузьмич порадовался тихому предвечерью, дымной голубизне талалаевских изб. Думалось и мечталось в этот час светло, очищенно, и Кузьмич, прикидывая, с чего начать завтрашний день, вдруг вспомнил шелковый отрез на платье, лежащий в сундуке с конца войны. Привез еще с фронта, подарил Аксинье, но отрез так и пролежал среди прочего тряпья, — не нашлось случая сшить из него платье. "Отнесу-ка я его завтра Христофоровне, — подумал Кузьмич. — Она ить тоже одна-одинешенька... Уж недолго теперь нам осталось по земле-то ходить..."

— Ты по-собачьи дьявольски красив... — весело замурлыкал Кузьмич.

Собака, увидев родной двор, обрадованно гавкнула. Кузьмич тоже широко, по-молодому, не сдерживая шага, спускался со взгорья. Кепка-восьмиклинка его была сбита на затылок, взгляд, устремленный вдаль, мягок и ясен.

Давно ли дали те были белым-белы, и казалось, что до августа, до этой отогревающей душу теплыни не дотянуть. Эх, хорошо все-таки ходить по земле в августе месяце!..

”ВЕРНИ МНЕ СЫНА...”

Григорий Мишулин сквозь дрему услышал название станции, где надо было сходить с электрички. Разомлевшим в вагонной духоте телом он ощутил твердый уголок прижатого к стене чемоданчика, тихо, воровато огляделся.

Места рядом с ним пустовали, а напротив, уткнувшись в раскрытую книгу, сидела девушка, должно быть, студентка.

Григорий облегченно хмыкнул: мог ведь по-настоящему выспаться и ничего бы не случилось. В чемоданчике его, кроме сменного белья и копченой рыбы, лежали двенадцать тысяч рублей — все теперешнее состояние Григория. С этими деньгами он ехал в неизвестный текстильный поселок к бывшей жене Катюхе, чтобы выкупить сына.

Этой весной, вернувшись из очередного рейса в Атлантику, где ловил ставриду, Григорий не обнаружил среди встречающих жену с годовалым сыном Димкой. В сильном расстройстве он помчался на такси домой, вошел в квартиру и обомлел, найдя ее пустой и разоренной. Письмом, оставленным на подоконнике, Катюха извещала о своем решении продать домашнее имущество и уехать поближе к родным местам, потому как здешний северный климат ей вреден. Однако соседка сказала насчет ее отъезда совсем другое. Недели две спустя после того, как Григорий ушел в море, у Катюхи появился знакомый, командированный мастер по холодильным установкам. Он-то и увез семью Григория.

В тралфлотовской бухгалтерии к прочим бумагам, имевшим отношение к личности Григория Мишулина, был уже приколот исполнительный лист. Григорий списал с него адрес поселка, куда надлежало посылать алименты.

Дней десять он пил горькую, шастал по ресторанам и страшно оброс; пил без друзей, в одиночку, засиживаясь за столом допоздна, скрипом зубов пугая официанток. Потом разом отрезвел, будто пробудился от угарного сна. Написал Катюхе первое письмо: ”..Живи, как хочешь, с кем хочешь, только будь человеком, верни мне сына”.

И так — словами ”...верни мне сына” — заканчивались все остальные письма Григория. За три месяца, заметно состаривших Григория, их ушло в дальний поселок десятка два.

Катюха же ответила одним-единственным: просила не считать ее душой и сына не домогаться, так как, дескать, знает, где собака зарыта. Слышать она не хочет об отцовской тоске по сыну, и нечего ему, Григорию, засорять ей мозги рассуждениями о сложностях переживаний, когда все объясняется просто: норовит человек уклониться от алиментов, хотя и получает бешеные деньги.

Упоминание о деньгах и навело Григория на мысль подсобрать как можно большую сумму, чтобы отдать Катюхе вперед, а сына потребовать.

Письма писать Григорий перестал.

В недолгий срок продал кооперативную квартиру, гараж для не купленной еще машины — тоже кооперативный. Снял со сберкнижки последние. Перед тем как купить билет на самолет, сходил в банк, обменял кучу денег на аккуратные нераспечатанные пачки с сотенными...

Электричка остановилась, скрипнула дверь вагона, выпустив Григория на перрон. Узнав у прохожего, что предстоит добираться дальше автобусом, он зашел в парикмахерскую, где его побрили и постригли. В станционном туалете Григорий переоделся в чистую белую рубашу — к сыну, хоть ему всего полтора годика, хотелось явиться в приличном обличье. С тем же умыслом, несмотря на жару, надел он поверх рубаша черную тужурку с нашивками матроса второго класса.

До отправки автобуса он еще постоял в очереди за квасом, выпил подряд две кружки и почувствовал себя совсем хорошо.

Скоро автобус выехал на прямую, синеватую в дымчатой знойной мгле асфальтовую дорогу.

Показалась первая в здешних местах деревенька, и Григорий с любопытством посмотрел в окно. Дремные, сморенные солнцем избы стояли, прижимаясь к молодому густому ельнику. В небольшом тесном прудике, сверкая голыми задами, барахталась детвора.

О такой деревне, только не возле шумной дороги, а где-нибудь в глухомани, мечтал иногда Григорий, наслушавшись Катюхиных рассказов про вольготную сельскую житуху. Возможно, потому она, Катюха, не устояла перед тем мужиком, что посулил он ей приволе и собственное хозяйство. И вправду, счастливой она в городе не была, а если учесть тот факт, что Григо-

рий пропадал в морях по шесть месяцев без вести, — понять ее и даже простить можно.

Григорий загодя утихомиривал себя, чтобы потом, оказавшись в чужом доме, не учинить скандала.

Успокаивала еще Григория земля. Простершаяся вокруг, она удивляла то загадочностью далекого ступешанного сизым дымком леса, то приманивающим блеском речушки. Манили Григория белоствольные березы на суходолах, разбегавшиеся по полям светлые тропинки.

И все же умиротворение его мгновенно отлетело прочь, когда автобус проехал мимо щита с названием поселка. Пологий холм оборвался, и взору открылись обступившие огромный пруд каменные и деревянные дома.

Автобус миновал сельмаг, чайную, остановился на пятачке перед новеньким автовокзалом.

Взбудораженный прибытием в поселок, уже полгода не дававший покоя ни днем, ни ночью, Григорий нетерпеливо сунулся в окошко билетной кассы.

— Как найти улицу Овражную, красавица? — спросил он.

— Здесь не справочное бюро, дяденька, — отрезала девушка.

Настроение окончательно испортилось. Григорий зашагал к мужикам, толпившимся у продуктового магазина, вспомнил вдруг, что в дорожной сумочке не успел купить сыну никакого гостинца. Привлекая внимание своей форменной тужуркой, протолкался в магазин, наткнулся на очередишку. Стояли, кажется, за сахарным песком. Григорий притиснулся к прилавку, обвыкаясь с полутьмой, долго смотрел, чего бы взять.

Неожиданно ощутил чье-то прикосновение. Повернув голову, Григорий на мгновение почувствовал, как мутнеет рассудок, а на глаза наплывает мгла. Возле него стояла готовая удариться в рев Катюха.

— Чего это ты, Гриш? — испуганно, плаксиво сказала она, сдерживая голос. — Чего надумал?

— Тихо, Катюша, тихо... — вымолвил Григорий. — Не бойся, я на сына поглядеть приехал, душа, понимаешь, засохла...

Григорий справился с собой, пристальнее посмотрел на Катюху, которая, недоверчиво сощурясь, замерла в ожидании чего-то.

— Очередь моя подходит, — стесняясь его взгляда,

проговорила Катюха. — Песок разбирают. Малинка поспела. Может, что купить зашел?

— Гостинцев хотел... В дороге-то знаешь как... Возьми-ка вот, — он достал деньги, протянул Катюхе. — Вон ту коробку. Видишь. "Мишки в соновом бору". Набор шоколадный. И бутылку коньяку.

— Чтой-то теперь будет? — съежилась Катюха. — Ты к нам хочешь идти?

— А чего мне таяться? Хотя... — Он опять вопрошающе пытливо поглядел на Катюху. — Гостиница у вас есть?

— Имеется. Правда, маленькая.

— Можешь тайком привести Димку, если коханого боишься... — сказал Григорий с нарочитой веселой улыбкой.

— Все равно узнает. Слух дойдет... Лучше уж в открытую.

— На улице подожду, — сказал Григорий.

Он направился в сельмаг, обрадованно подскочил к отделу игрушек, и с первого взгляда, не мешкая, облюбовал для Димки автомат, снабженный электрической трещоткой.

Катюха вышла из магазина, когда Григорий, повесив игрушку на плечо, докуривал сигарету. Здесь, при ясном свете, он опять с пытливой пристальностью уставился на нее, как бы изучал и желал отыскать в ней что-нибудь от прежней Катюхи. Она потупилась. Не давая разглядывать себя, повернулась одним боком, потом другим, суетливо перебирала кульки, и все равно Григорий заметил вспученный ее живот, и с холодной неприязнью сказал:

— Давай помогу...

Они двинулись по утоптанной тропинке к кособокому, взобравшись, постояли, чтобы отдышаться.

— Там я работаю, — сказала Катюха.

По ту сторону пруда, заросшего осокой по краям, жались друг к другу корпуса текстильного комбината. Оранжевым шаром висело солнце, тихо и дремло роняло послеполуденный жар на безлюдные улицы, на голубовато очерченный дальний лес.

— От моря отвыкла? — глухо спросил Григорий.

— Бывает, что и вспомню, — отозвалась Катюха и встрепенулась внезапно. — Ладно уж... Чего уж вспоминать!

— А этот... твой-то, не обижает Димку? — сдавленно произнес Григорий, шагая следом за Катюхой.

— Ну, чего ты пристал?! — раздраженно сказала Катюха. — Придешь, увидишь...

Григорий напряженно замолчал.

Нагнув голову, Катюха быстро зашагала вдоль палисадника, видно было, стыдилась и злилась, что Григорий увязался за ней. Резко толкнула калитку, нырнула во двор и, пока заробевший Григорий увальнем добирался до дома, очутилась на крыльце, исчезла. Григорий остановился посреди двора, смахнул со лба обильно выступивший пот и неожиданно совсем обмяк: изнутри дома долетел до него тоненький детский лепет. По нему Григорий сразу припомнил свое недавнее, счастливое время. Григорий топтался на месте, стараясь унять сильно заколотившееся сердце, которое, оказывается, до этой минуты притворялось спокойным. Сейчас в нем, охваченном беспокойной смутой, нестерпимо жглась давно накопившаяся, глубоко припрятанная месть.

Увидев громоздившуюся возле сарая горку березовых плах, Григорий освободил руки от ноши, снял тужурку. Нашел топор и принялся колоть дрова. Обозленный первыми неудачными ударами, отбросил топор, снова поднял и всадил секиру в плаху с таким остервенением, что поленья отлетели метров на десять. Работа постепенно наладилась. С каждым ударом Григорий обретал еще не совсем позабытую былую сноровку, с какой рубил и колол дрова для детдомовской кухни.

Он увлекся и не сразу услышал, как его окликают. На крыльце стояла Катюха.

— Соскучился по дровам, — пояснил Григорий.

Надел тужурку, отряхнулся. По разгоряченной его спине пробежал холодок, а когда у порожка появился неуклюжий карапуз — Димка! — Григорий кинулся туда, не рассчитав силу, рванул к себе слабенькое маленькое тело, сграбастал.

— Сыночек!.. — прошептал он и стал кружиться, чтобы успокоить заревевшего Димку. — Не узнаешь меня, сыночек?

Димка испуганно озираясь, искал и звал мать, но Катюха, отвернувшись, не глядела на них.

— Что же делается-то? — завздыхал Григорий, ставя сына на ноги. — Ох, жисть окаянная... — Он растерянно сбежал с крыльца, схватил валявшийся на траве автомат, вернулся к сыну. — На вот! Держи крепче. Пальчик — сюда... И давай коси их, всех коси!..

Автомат затрещал, замигал красной лампочкой,

вделанной в конец ствола. Заинтересовавшийся игрушкой Дима перестал плакать, робко улыбнулся.

— Так, так, родненький мой, — приговаривал Григорий, помогая сыну самостоятельно обращаться с автоматом. — Очередями стреляй, очередями...

— Пошли в избу, что ли... — хмуро напрягаясь, сказала Катюха.

Григорий, взяв сына за ручонку, последовал за ней. У накрытого стола ждал их хозяин. Вначале Григорий скользнул по нему взглядом, как по пню, и все же не выдержал, посмотрел на того, как бы желая понять, чем этот небольшого ростика чернявый малый завлек Катюху. Тот, уловивший пренебрежение Григория, напустил на себя строгий недоступный вид, что-то невнятно пробормотал и кивнул головой.

Сделавшись тоже строгим, даже начальственным, Григорий молча сел за стол, придвинул к себе шоколадный набор, открыл его и поманил сына.

— Давайте, что ли, по маленькой, — отчаянно проговорила Катюха, ставя рядом с бутылкой коньяка пол-литра.

— Для начала лучше коньяк, — сказал Григорий.

Катюха проворно распечатала бутылку, разлила по рюмкам, себе плеснула на доньшко.

— За встречу, за знакомство! — торопила Катюха, стараясь, видимо, поскорее снять напряженность.

Выпили. Мужики к закуске не притрунулись, и тогда Катюха, нарочно разжигая себя, сказала:

— Может, в стаканы? Чегой-то мы не по-нашему — из наперстков...

Она сбегала в кухню, принесла стаканы. Тем временем Григорий, чувствуя, как выпитый коньяк достал до жесткой, туго натянутой струнки в груди, смотрел в угол, куда сын уволок шоколадный набор.

— Ты из них домик построй, — сказал он сыну, видя, что он, раскидав вокруг себя разноцветные плитки, не знает, что с ними делать.

Выпив коньяк, в этот раз налитый забористой дозой, Григорий ткнул вилкой в салат из огурцов и помидоров.

— Никак, прямо с грядки? — удивился он, похрустев огурцом.

— Все свое, — оживилась Катюха.

— Я вот тоже подумал, — сказал Григорий, — в деревню податься.

— Тралфлот бросил? — изумленно округлила глаза Катюха.

— Баста! — подтвердил Григорий. — Все сызнава начну... Всю жисть рыбу шкерить, что ли?

— Та-ак, — протянула Катюха. — А сможешь?.. Привык на широкую ногу-то жить.

Григорий не ответил, осторожно искоса поглядел на хозяина — того малость развезло, и сидел он без прежней строгости, но с озабоченно замкнутым лицом. Впрочем, Григорий на подобное действие своих слов и рассчитывал, еще в дороге обдумывая, с чего начать разговор и чем кончить. Обходительно намекнув, что "бешеных" денег у него больше не будет, а стало быть, алименты пойдут не ахти какие, Григорий, однако, ликования не выказал, наоборот, — горестно вздохнул.

— Чинов да орденов на рыбе не заработаешь, а на фарт надеяться... — Григорий опечаленно махнул рукой. — Это, так сказать, пока молодой, с дурнинкой. Так что тягу дал я из тралфлота.

Он опять глянул на хозяина, отметив про себя, что тот уже не вникает в его рассуждения, отягощенный какой-то неприятной думой.

Разговор дальше не вязался, и Григорий, со скрипом сдвинув стул, загляделся на сына.

— Налить еще? — спросила Катюха.

— Налей, — сказал Григорий.

— Может, водочки теперь?

— Нет, мешать не буду.

— Ты как — останешься у нас или пойдешь куда?

— Да погоди ты с этим, — наконец шевельнулся Катюхин мужик. — Только сели...

— Если сели — пейте да ешьте. Я сейчас курицу принесу.

— А я, башка дырявая, рыбу забыл вытащить, — спохватился Григорий и пошарил вокруг ног. — Где же он, чемоданчик мой?

— Во дворе ты его оставил, — сказала Катюха.

— Мать честная! — вырвалось у Григория.

— Принесу сейчас...

— Не надо, я сам, — поднялся Григорий.

Выйдя на крыльцо, он разглядел стоявший на траве чемоданчик. Лохматая дворняга, присев на задние лапы, обнюхивала чемоданчик, должно быть, давно почуяла запах рыбы.

Григорий открыл чемодан, нащупал под мятой рубахой тугие, гладкие пачки. На радостях кинул отбежавшему в сторонку псу копченую зубатку.

— Ешь, мил человек, — проговорил он, сердобольно



следуя, как пес подкрадывается к рыбе на трех лапах, держа четвертую, перебитую, на весу.

С крыльца Григорий оглядел окрестности поселка, заметил, что в погоде происходит перелом. Несильно тянувший с юга ветер усилился, гнал к пруду белесые облака пыли. В сгустившейся голубизне пропал горизонт, и клонилось к нему остывающее, будто пеплом присыпанное солнце.

Григорий поспешил в избу. При его появлении Катюха оборвала себя на полуслове, возбужденная, рас-

красневшаяся, она села на свое место. Хозяин насупленно смотрел на стол, что-то туго соображая, потом взъерошил волосы пятерней и собрался говорить.

Григорий догадался, что Катюха с мужем, пока он сходил во двор, разговаривали о нем.

— За вас выпьем! — стараясь казаться пьянее, чем на самом деле, предложил Григорий.

Весело и широко бросил на середину стола десятка полтора зубаток.

— Не-е, — дурашливо пригрозил он пальцем Катюхе, налившей теперешнему мужу поменьше коньяку.

Дотянулся бутылкой до стакана хозяина, долил, чтобы у обоих было поровну.

— Во всем нужна справедливость, — усмехнулся Григорий.

Браво, одним глотком выпил коньяк, прослезился и приготовился запеть песню.

— Иди ко мне, Димуля, — позвал сына. — Песню тебе спою.

Неуютно, невесело было Григорию за этим столом. Никакая песня в голову ему не шла, а притворяться он не умел, и все его показное пьяное веселье, видно было, вызывало у Катюхи угрюмую настороженность.

Робко шаркая ножками, Дима приблизился к Григорию, но глядел он на черный, с блестящими заклепками чемоданчик. Лопоча по-своему, Дима опустил на короточки и стал рыться в нем.

— Герой! — похвалил сына Григорий. — Налей еще немножко, Катерина!

Наметанным глазом Григорий определил, что хозяин огрузнел — тот тяжело облокотился на стол.

Между тем Дима, сосредоточенно сопя, выволок из чемодана рубаху, носки, прочую мелочь. В тот момент, когда он, с трудом зацепив мягкими пальчиками тонкую, туго спрессованную пачку денег, сунул уголок ее в рот, Катюха заглянула под стол и оцепенела.

Григорий, почувствовав ее растерянность, глянул на сына и тихо изумился:

— Во, сынок! Клад нашел!.. Выгребай, выгребай!

Он нагнулся, легонько припал губами к просвечивающемуся сквозь реденькие, пушистые волосы розовому темечку сына.

— Молодец! — выдохнул он. — Кончен бал!.. — как бы решившись наконец на отчаянный поступок, добавил: — Собирай его, Катюха!.. В дорогу!

— Чегой-то? — обомлев, замерла та. — В какую дорогу?

— Забираю я сына своего! — отрезал Григорий.

Не глядя ни на Катюху, ни на хозяйина, попытавшегося расшевелиться, Григорий расчистил перед собой стол, поднял чемоданчик, высыпал деньги.

— Вот, — сказал он. — Двенадцать тыщ... Вернее, одиннадцать. Тысячонка нам с ним на первых порах пригодится. Ты б на него столько не получила, если б алиментами...

— Костя, чего же ты молчишь? — всхлипнула Катюха.

— А што я? — таращил глаза Костя. — Драться прикажешь?..

— Давайте по-хорошему, — криво улыбнулся Григорий. — Без рук обойдемся.

Он грозно выпрямился, положил на скатерть иссеченные старыми порезами — столько лет шкерил рыбу — широкие ладони.

— Чего ж ты срамишь-то нас? — давясь злыми слезами, говорила Катюха. — Торги устраиваешь!..

— Этакая ты, — сердито уставился на нее Григорий. — Ты сама повод дала — письмом своим. Вот и даю я положенное ка сына. И даже сверх того... Чтoб не в обиде были. Так что не тяни резину — собирай его, а иначе заберу без приданого. Положи в чемоданчик пару штанишек, рубашонку...

— Костя!.. — взъерошилась Катюха.

— Ну, чево?.. — дергая тяжелыми веками, Костя затравленно озирался.

— Да пойми ты, — тоскливо проговорил Григорий. — Ведь извелся я, пойми. У меня никого роднее его на свете нет. Я для себя запрет установил насчет баб и семейственных отношений. Хватит, испил горькую чашу по этой части. А ты вон... — Григорий деликатно помолчал, скользнув взглядом по Катюхиному животу. — Твоя воля — рожай хоть целую футбольную команду. Грамоту дадут, высокое звание матери-героини... А я вот зарекся...

Катюха, резко встав из-за стола, боком двинулась к двери.

— Костя, очнись, паршивый! — заорала она. — Я соседей кликну.

— Эх, дура! — не выдержал Григорий.

Сорвавшись со стула, одним махом очутился у порога.

— Не доводи до греха! — тихо, но твердо сказал он побледневшей Катюхе.

Когда Катюха попятилась, Григорий быстро подо-

шел к заревевшему сыну, торопливо, кое-как закинул разбросанные вещи в чемоданчик. Краснея от досады, он поднял сына, который кричал взахлеб и отбивался.

С порога оглядел скованную, потерянную Катюху, прощально кивнул Косте, продолжавшему сидеть недвижно и отрешенно.

— Смотри, не вздумай! — сказал напоследок Катюхе. — Коли шумнешь... В тюрьму сяду, но подлости больше не спущу... Фу, чуть не забыл. Дай-ка сюда свидетельство о рождении. Димкино.

Катюха сникла, послушно побрела к комоду, порывшись в ящике, достала бумагу.

— Держи, зверь проклятый!

До конца улицы, до косогора, Григорий шел, стараясь сохранить спокойный вид, хотя Димка кричал и дергался не переставая. Оглядываясь, Григорий видел возле дома малиновое пятно Катюхиного платья, — должно быть, не решилась она бежать к людям после соответствующих угроз Григория. Еще не остывший от последней горячей сцены, он не осуждал себя за то, что припугнул Катюху, — иначе не заполучил бы сына, и уткнулся в его маленькую, с хрипом дышавшую грудь и заплакал.

— Сынок мой, кровиночка моя родная, — по-бабьи затажно выл он. — Не бойся ты меня... Отец я твой...

От слез постепенно пришло облегчение. Вконец обессиленный, обсопливившийся Димка притих, часто судорожно хватал ртом воздух. Вынув из чемодана чистую майку, Григорий обтер ему личико. Когда на улице появились чьи-то фигуры, испуганно подхватил сына, украдчивым бежком поспешил вниз. Ощутил, как тепло увлажнилась рука, поддерживавшая сына, умиленно прошептал:

— Во герой!.. Давай, давай...

За поселком в сизую дымку погружалось солнце. Поутихший в закатный час ветер гнал по пруду мелкую красную рябь.

Обрадованный безлюдием, Григорий минутой позже помрачнел, не обнаружив ни одного автобуса. Кинулся к кассовому окошку, сказал было по привычке: "Скажите, краса..." — и запнулся, узнав в кассирше уже знакомую веснушчатую девушку. В этот раз она оказалась покладистой, улыбнулась, услышав вопрос.

— На чем бы до станции добраться?

— Через час пойдет автобус.

— Эх ты!

— Если торопитесь, подойдите вон к тому "Москвичу".

И верно, в загустевшей тени, отброшенной зданием автовокзала, поблескивала машина. Григорий подлетел к ней, открыл дверцу, полез на заднее сиденье.

— Извини, браток, — сказал он заспанному парню. — Когти рву, выручай. Оплата прогрессивно-премиальная.

— До станции?

— Ага.

Машина тронулась. Григорий со сладким ознобом откинулся на спину, поудобнее усадил и обнял сына. Когда машина миновала крайние поселковые дома, вытащил из чемоданчика шмутье, подстелил под Димку.

— Ах, Катюха! — вздохнул он, вспомнив, как она, заупрямившись, не дала в дорогу никакой сменной одежки для сына.

— Ничего, Димуля, — бережно прижимая к боку голову сына, заговорил он. — Мы с тобой в Москве в "Детский мир" зайдём. Белый картуз купим, матроску, сандалики с пряжками. Шорты ещё. Голубенькие, на ляпочках... Потом махнём для начала на юг. Там тепло. Море шумит. Камни, горячие, как в баньке. Съездим в Севастополь. Покажу тебе бухту, где стоит мой корабль. Морской охотник называется. Я на нём три года в моря ходил. После уже на Север подался. Там-то, на Севере, ты родился. Помнишь?..

Устало присмиревший Димка молчал, вяло задира голову, непонимающе уставившись на отца.

— Не пропадем мы с тобой, — заверил Григорий. — Я ведь матрос, Димуля. Стирать, готовить умею, даже кроить-шить могу. А как борщ по-флотски сварю, тебя за уши не оттащишь... Спать хочешь? Это тебя, брат, машина баюкает. Спи, спи...

Тем временем сумерки уплотнились, и машина катила по шоссе с включенными подфарниками. Шофер приоткрыл окошко, пустил в машину ветерок, настоящий на разнотравье.

В заднее стекло ударил яркий сноп света, и какая-то машина стала обгонять "Москвича".

Григорий невольно сжался, пригнул голову, а спящего Димку накрыл полый тужурки.

— Не милицейская? — хрипло спросил парня.

— Нет. А что?

— Да так... — смутился Григорий. — Жми, браток! Чего себя обгонять даешь? Машина-то у тебя новенькая.

— На казенной бы не дал, — спокойно отозвался парень. — Свою-то зачем гробить?

— Продавать будешь? На юг погонишь?

— А что?

— На "жигуленка" пересядешь.

— А что? Можно...

— Вот я и говорю — мастаки.

— А ты сам мало, что ли, загребаешь на Севере?

— Были думки купить "газик".

— Ого! Да я бы за "газик" два "Москвича" дал.

На ем куда хошь можно.

— Я тоже думал.

— Денег не собрал?

— Собрал. На "Волгу" б хватило. На новую.

— И что?

— Да ну ее к бесу! На свете есть кое-что подороже.

— Это уж философия, — хмыкнул парень. — Прощу извинить, не люблю.

— Правильно делаешь, — загрустил Григорий. — Дольше проживешь. А по утрам гимнастикой занимаешься? Трусой бегаешь?

— Не-е, — серьезно отозвался парень. — Все свободное время на нее уходит.

— А жена как?

— Нету ее. Бог миловал. На одну нарвался, чуть ноги унес. С ними одна морока.

— А говоришь, философию не любишь.

Впереди мелькнули красные, зеленые путевые огни, из тьмы, разбавленной светом фонарей, донесся стук маневрового локомотива.

— Станция? — очнулся Григорий.

— Она.

— Погоди, браток. Может, до Москвы?

— Далеко, — сказал парень. — Мне завтра на утреннюю смену.

— А если?..

— Тогда гони сороковку.

— Скажешь тоже. На тридцатке сойдемся.

— Не-е, — возразил парень. — На казенной бы довез, а так...

— В другой раз я б тоже не стал торговаться, — сказал Григорий. — Сам не люблю жмотов.

И он не стал больше уговаривать парня, уже подъехавшего к пустынной пристанционной площади. Поло-

жил на переднее сиденье смятую пятерку и, пока парень прятал ее в карман, осторожно, боясь разбудить сына, вылез из машины. И так, со спящим на руках Димкой, вошел в здание вокзала.

Постояв перед расписанием электричек, Григорий с запоздалой решимостью выскочил на улицу, но "Москвича" там уже не было. И всего-то минут на пять опоздал Григорий на последнюю электричку.

— Черт бы с ней, с десяткой, — вслух осудил он себя. — Теперь торчи до утра...

Димка вдруг проснулся и захныкал.

— Чего ты? — проговорил Григорий, целуя сына в горячий лоб. — Темноты боишься? Может, есть захотел? Пойдем-ка. Вон еще ресторан работает...

И хотя за дверным стеклом белела табличка: "Мест нет", Григорий настойчиво забарабанил кулаком.

— Открой, мать! — крикнул он, увидев подошедшую к двери старую женщину. — Отца с голодным ребенком пусти.

Женщина открыла, жалостливо глядя на уморившегося Димку, упрекнула Григория:

— Кто же с дитем малым по ресторанам ходит? Небось выпимший...

— Маленько, мать. Да уж все выветрилось.

— Какая же такая мать отпускает ребенка, на ночь глядя?

— Была мать да вся вышла. Отец-одиночка я, мать.

— Иди уж, коли так.

Григорий прошел в зал, выбрал место в углу. Посадив Димку на стул, отправился искать меню.

— Ну, заказывай, чего хочешь, — сказал он напуганному незнакомой обстановкой сыну.

— Поздно, гражданин, — утомленно подошла к ним молоденькая официантка. — Кухня закрывается. Буфет тоже...

— Сообрази чего-нибудь, — подмигнул Григорий. — Человек первый раз в ресторане. Может, космонавтом будет, когда вырастет. Фото с автографом подарит.

— Да я уж тогда старухой буду, — невесело улыбнулась официантка, но упрямить себя не заставила — быстро направилась к кухонной амбразуре.

— Ты не бойся, сынок, — говорил Григорий, поправляя на голове Димки жиденький чубчик. — Держись молодцом. Пить я не буду, теперь жизнь у меня пойдет трезвая.

— Только рыба отварная, — вернулась официантка.

— Хек, что ли? — упавшим голосом поинтересовался Григорий. — Ну, хоть его тащи.

— Ничего, мы с тобой на юге наедемся, Димуля. А рыбу живьем буду таскать, по этому делу я спец большой. Там сейчас все поспевает: виноград, дыни, яблоки... Отчим-то тебя, видно, не баловал. Слишком он какой-то, не ухватишься за него: ни то ни се... Уго-раздilo же Катюху...

Попросив официантку побыть с сыном, Григорий тщательно вымыл руки под краном, воротившись, принялся кормить Димку, отделяя рыблю мякоть от косточек. Димка наелся, сам потянулся к бутылке с крошеном.

— Порода мишулинская, — засиял Григорий.

И припомнился ему детдом, холодно-казенная столовая послевоенных лет со стоялым запахом кислых щей, которые разливали по мятым котелкам, пожертвованным соседней воинской частью. Вспомнил он себя большеголовым, с тонкими рахитичными ногами, Гришуткой, который, обжигая руки о стенки котелка, макал в щи кусок хлеба, обсасывал его и только потом принимался черпать уже остывшее хлебово.

"Буду жить, работать ради сына", — думал Григорий, с горечью вспомнив, как в недавнем невыносимом одиночестве ему не хотелось ни жить, ни заниматься чем-нибудь полезным.

Григорий расплатился, тихо сказал: "Благодарим!", дал официантке полтину на чай и вдруг смутился, когда она, бросив на него укоризненный взгляд, вернула монету.

— Не за что, — пояснила она и отвернулась.

Зал ожидания был населен сонным людом. Отыскав свободную скамейку, Григорий посмотрел на часы. Времени до первой электрички оставалось четыре часа с небольшим, поэтому он раздумал укладывать Димку на скамейке, положил на колени.

— Спи, сынок. — Он принялся укачивать сына. — Я тебе сказку расскажу.

Димка расслабился, глядел на отца открыто и безбоязненно. Покуда Григорий сочинял в уме сказку про непослушного дельфиненка, попавшего в рыбацкую сеть, у Димки отяжелели веки. Григорий наклонился над ним, уже спящим, долго рассматривал зарумянившееся в вокзальной духоте безмятежное личико. Затем медленно выпрямился, застыл, устремив вдаль просветленный, задумчиво-теплый взгляд. При этом в позе его появилось что-то остерегающе-недо-

ступное и среди прочих пассажиров он сразу выделился, — человек при исполнении отцовских обязанностей.

На Григория тоже накатывал сон. Где-то за полночь стомленная шея его не выдержала напряжения, голова откинулась назад, на жесткую спинку скамьи. Тревожный его сон часто прерывался, глаза приоткрывались, сонно, устало шарили по сумрачному залу. Он снова впадал в сон, и только руки его, обнявшие горячее тельце сына, бодрствовали, будто сами собой несли сторожевую службу.

Внезапно Григорий вздрогнул, судорожно напряглись его руки, из которых, почудилось, выхватили ребенка. Уже почувствовав, как на polegавшие колени пахнуло холодом, Григорий понял, что ему не померещилось. Он разорвал веки, увидел перед собой милиционера.

— Он? — коротко спросил милиционер у Катюхиного мужа, стоявшего поодаль.

В глубине зала мелькнуло малиновое платье убежавшей Катюхи. Из-под локтя ее свисали, болтались в воздухе ножонки Димы.

— Он самый, — подтвердил Костя, боязливо отступив на шаг.

Григорий и вправду был страшен. На покрасневшем до багровости лице бледно проступил вздрагивавший ноздрями нос.

Издав зубами скрип, он сорвался с места, но милиционер заученным движением заломил ему правую руку.

— Отпусти, отпусти же! — бешено крикнул Григорий.

— Тихо, моряк, тихо! — сказал ему подбежавший на подмогу сержант.

Григория повели в конец зала. В тесной, обкуреной комнатухе сидел, заполняя какую-то бумагу, лейтенант.

— Вроде не цыган, а детей ворует, — миролюбиво сказал он, присмотревшись к Григорию.

Глубоко, часто дыша, Григорий пытался усмирить расхолодившееся сердце, затравленно озирался.

— Сына кровного, товарищи, — выдавил наконец. — Все по закону... И алименты отдал вперед, одиннадцать тысяч выложил...

Не зная, как лучше убедить людей, Григорий сотворил крестное знамение.

Вокруг засмеялись.

— Успокойся, моряк, — сказал сержант. — Приди в норму.

— Ну-ка, приведи этого!.. — приказал лейтенант милиционеру. — Эту тоже!

Григорий яростно напрягся, стоял, оглаживая сильно болевшую правую руку.

— Не вздумай! — предупредил его лейтенант. — Загремишь по статье...

Первым у порога показался Костя, по-прежнему мешковатый, вареный, с отчужденно-замкнутым лицом. Невинно-страдальчески поморгав, уставился на лейтенанта. Потом появилась Катюха, где-то оставившая Димку. Она встала рядом с мужем, избегая взгляда Григория, изобразила обиженную сирую бабу.

— Говорит, деньги вам дал, — резко произнес лейтенант. — Было такое?

— Брешет он, — спокойно сказала Катюха. — Он, товарищ начальник, в злобе что хошь наговорит. Натюра такая...

— Чего не было, того не было, — пошевелил губами Катюхин муж. — Напраслину несет, понятное дело...

— Одиннадцать тыщ сотенными, — слабо и беспомощно напомнил Григорий.

— Приснились они тебе спьяну-тс, — с усмешкой отрезала Катюха.

От этой холодной усмешки, от голоса, теперь совсем чужого, у Григория в груди сделалось пусто. Тупая боль ударила в голову, и в ней разом угас прежний диковатый огонь.

— Ваша взяла, — тихо проговорил он, обратился к лейтенанту: — Кончайте эту волюнку...

Он устало опустил на табуретку, съежился, без всякого интереса отметив, как появляется в нем странное равнодушное неверие в то, что здесь произошло.

В комнате стало тихо, и в этой давящей душу тишине лейтенант вполголоса разговаривал с кем-то по телефону.

— Деньги точно дал? — спросил он, кладя трубку.

— Дал, — безразлично ответил Григорий.

— Вот паскуда! — выругался лейтенант. — И ты хорош! Ни разу в жизни не обманывали тебя? Расписку бы потребовал. А еще моряк? Куда теперь?

— В сторону моря, — вздохнул Григорий.

— Я тебя отпускаю, — сказал лейтенант. — Только смотри — больше не связывайся.

Над станционной площадью светилось серое преду-

греннее небо. Звезды уже поблекли, но Григорий легко, привычно отыскивал Большую Медведицу, скользнул по "ковшу" затуманенным взглядом, остановил его на точке, сиявшей ярче других. Это была его звезда — Полярная. На мгновение как бы проступил из сумеречной дали матросский кубрик с фигурой гармониста, и Григорий почти явственно услышал зовущий, веселый наигрыш.

Пустыми осиротевшими руками, которые еще помнили тяжесть сыновнего тела, Григорий обнял одинокий куст сирени, сунул голову в парную теплую листву.

Из-за поворота выбежала, наполняя тишину нежным звоном, утренняя электричка.

МЕЖДУ ДНЕМ И НОЧЬЮ

1

На закате спокойного дня к Никите Храмову неожиданно-негаданно приехала милиция. Первым рассмотрел желто-синюю машину, напропалую катившую по жнивью, сам Никита. В другой раз, может, она бы не так сильно лезла в глаза, но в эту пору осеннего запустения, когда хлеба давно убраны, пооблетевшие перелески проглядываются насквозь, все малое и большое, что движется от города в сторону села, как на ладони.

Пока машина во всю прыть ехала к задам, где блесст накатанный проселок, Никите думалось — свернет она, пробежит мимо, торопясь неизвестно куда. Но когда она, сторожа фарами окно, двинулась прямоком по огороду, спокойное любопытство у Никиты как отрубилось. По шибкой езде, по тревожно коротким вспышкам "мигалки" на крыше машины Никита понял: нагрянули неспроста.

Он сорвал с гвоздя темную гимнастерку, потянулся за брюками. Бестолково покружив по избе, напрягся слухом. Раздавались быстрые тяжелые шаги, нетерпеливо скулила собака.

Совсем растерявшись, Никита спохватился спрятать ведро с карасями, законно, на крючок пойманными, под детское корыто.

Потом разом успокоился. Даже улыбнуться смог, подпоясаться, смыть с рук рыбью чешую. Уже направился к двери, чтобы впустить неожиданных гостей, как щемяще отчетливо затикали до этого неслышные хо-

дики. Никита сразу сообразил, почему его привлек их звук: с минуты на минуту должна прийти Татьяна.

Татьяна еще с косогора, откуда видно все село в семнадцать домов, заметила милицейскую машину. Она долго глядела на нее, опрятную, хвастливо броскую даже среди ярких красок бабьего лета, приветливо кивнула: в добрый час. Никита для милиции, знала Татьяна, человек не чужой: восьмой год состоял стрелком военизированной охраны при торговой базе.

Медленно, осторожно спускалась Татьяна вниз. С каждым днем все труднее давался ей этот спуск. Шел пятый месяц, как она затяжелела четвертый раз. Татьяне, родившей трех дочерей, очередное бремя было привычно, только чаще, чем в прежние времена, кружилась голова. Особенно здесь, возле ключика, не видного глазу — замело его слетевшими со старых лип листьями. Мутила тут голову горькая прель.

Татьяна зажмурилась — сейчас начнется. Но прежде чем почувствовала слабость, она услышала тоненький голосок. Сквозь звон ткацкого цеха, еще не утихший в ушах, проник этот родимый голос, и Татьяна напряглась. Метнула прояснившийся взгляд в сторону своего дома. По-над забором светились, как подсолнухи, три выцветшие за лето головы — Маринкина, Катюшина и Аленкина. Аленка плакала. По огороду, переходя от одной кучи картофельной ботвы к другой, милиционер водил собаку-ищейку. На мгновение Татьяна онемела от недоброго предчувствия. Она поскользнулась на прелом листе, упала. Задышавшись от сырого грибного запаха, от сводящей судорогой боли, Татьяна на четвереньках добралась до ближайшей липы. Прислонилась к ее морщинистому боку, перевела дыхание. Светлый знойный туман заволакивал глаза. В живот натекла упругая, как на сносях, тяжесть.

Пересилив себя, Татьяна зашагала по откосу, перешла мост и уже с тропинки, ведущей к дому, окликнула детей.

— Мамоchка-а! — закричала Аленка, сползая с поленицы. — Мамоchка, папу забилиают...

Татьяна остановилась. Она не поверила лепету трехлетней дочки, иное поразило ее. Вместо того чтобы бежать ей навстречу, дети жались друг к другу там, у поленицы, ровно бы уже сиротки.

Татьяна опрометью бросилась во двор. Увидела

распахнутую настежь дверь, в проеме ее сутулую фигуру дяди Акима, соседа. Обернувшись на шаги, дядя Аким испуганно отодвинулся в сторонку.

— Извиняюсь, Татьяна... — быстро заговорил он, потупился. — Заставили. Понятой, значит. Обыск...

Татьяна притихла, внезапно завороженная чьим-то голосом, в котором слышалась гнетущая тихая скорбь.

— Между нами, девочками, говоря, зря вы, Храмов, отпираетесь... Только сами себе вредите:

Татьяна вошла в темную избу. Рассмотрев, где Никита, где следователь — она поняла, что идет допрос, — отчаянно произнесла:

— В чем дело? Может, я вам помогу... Я его жена.

— Я догадался, — не переменяв скорбного тона, сказал следователь. — Но вы пока подождите. Погуляйте.

Татьяне по глазам его было видно, как много он знает. Повинуясь ему, молодому, но словно бы придавленному непритворной старицовой скорбью, она попятилась к порогу. Уже оттуда бросила долгий взгляд на Никиту. Бледный, он давился папиросными затяжками, смотрел в окно. Появившийся на крыльце сержант, едва удерживая на поводке овчарку, попросил Татьяну посторониться.

Татьяна будто оглохла. Уставилась сперва на сержанта, потом на собаку, пытаясь угадать, нашли ли они, что искали. Что мог спрятать ее Никита, разве только рыбу, если этой ночью ставил перемет. Но вернулся он расстроенный с ведерком карасей, ничего не сказав, лег спать и не уснул: проснулась Аленка, пришла к нему — рассказывай сказку.

За воротами Татьяну дожидались дети. Она обняла всех троих, молча приласкалась к ним. С новой силой вернулась позабытая в горячке боль. Татьяна заметила, как перекашиваются лица дочерей, хотела прикрикнуть, но было уже поздно — заревели в три рта.

Вдруг из дома, перекрыв плач, донесся звон упавшей кастрюли. Татьяна пошла на звук.

Никита стоял, плотно прижавшись спиной к печке, дико таращил глаза, с кочергой в добела сжатой руке.

Следователь по-прежнему спокойно сидел на табуретке, и только сержант да еще лейтенант, видимо выскочивший из второй половины избы, окаменев, смотрели то на Никиту, то на собаку, собравшуюся в комок для прыжка.

— Никита! — крикнула Татьяна.

Видно было, как медленно становится осмыс-

ленным взгляд Никиты, как отливает с лица его кровь.

— Ладно, везите, — выдохнул он, швырнув кочергу за печь. — Только без наручников. Это я так... Первый раз в жизни...

Прощались на огороде. Никита одну за другой поцеловал дочерей, махнул рукой, чтобы ушли. Очередь дошла до Татьяны. Помня, что вся опергруппа глядит на них и слушает, Никита сурово отступил от жены, которая чуть было не кинулась ему на грудь. Оглядел ее с головы до ног, мягко, сдержанно улыбнулся.

Примелькавшаяся в неразлучной жизни, виделась сейчас она Никите совсем иной. Только в ту минуту он заметил, какое терпение сквозит в ее небольшой тонкой фигуре. Еще не потеряла девической бойкости грудь, выкормившая трех детей, еще крепки, стройны ноги, будто не знающие износа. Не обвис живот, хотя уже круглится, дышит стесненно. И лишь возле губ, редко целованных в мирской суете, выдавая утомление, пролегли две резкие морщинки.

Татьяна...

Она тоже пристально, точно последний раз, смотрела на мужа. На жесткие его щеки, на лоб с присохшей к нему рыбьей чешуйкой. В глаза его всматривалась Татьяна. И видела в них кроме прощальной тоски и обиду за посрамление. А когда Никита повел ими в сторону леса, Татьяна оглянулась. Лес как лес. Ярко догорает в нем, прощается с поздним осенним зноем листва. Восемь лет назад в нем Татьяна впервые встретила Никиту, тогда застенчивого солдата. В сотый или двухсотый раз — она уже сбилась со счета — волокла Татьяна вязанку хвороста. Никита отобрал, донес до дома...

Вроде горло Никите сдавило, он кашлянул. Скользнул взглядом по осевшей, обветшавшей избе, по окну, в котором мельтешили лица дочерей, нахмурился.

— Вот что, Татьяна, — тихо проговорил он, так тихо и мучительно, что стоявший неподалеку следователь насторожился. Никита покосился на того — мол, не беспокойся, ничего особенного не скажу, — продолжал: — Крупная кража на базе. Ловко подстроили, получается, что я. Крыть мне нечем. Не выпутаюсь, если счастливую спичку не вытяну. — Все сильнее хмурясь, смерил глазами живот Татьяны. — Ради живых детей, ради тебя самой прошу. Ни к чему ей, четвертой, появляться, на черный день глядя. Тяжко вам будет. Изведусь я...

Поначалу Татьяна, соглашаясь, кивала, но, едва поняла смысл последних слов Никиты, ее будто схватило ледящим морозом.

Не дожидаясь, когда Татьяна справится с собой, Никита шагнул к машине.

Запоздало очнувшейся Татьяне показалось, что из машины, которая уже катила по проселку, машет Никита. В ответ она подняла руку. Она стояла и махала, не зная, зачем машет — машина уже потерялась из виду, — пока горе не бросило ее наземь.

2

Четвертый раз Татьяна зачала, можно сказать, на радостях. С прилетом птиц, справлявших под липами старого парка шумные свадьбы, Татьяна почувствовала томительное ожидание. Она любила рожать, вынашивала своих дочерей легко, разрешалась без крика и слез, словно бы играючи. После второй девочки, Катюши, появилось у нее смутное чувство вины перед Никитой. Правда, ни одним словом он не попрекнул ее, но не ускользнуло от Татьяны: мечтал о сыне. Когда она принесла третью девочку, Никита пригорюнился. Недолго переживал, добрый нрав пересилил в нем обиду и досаду, и он сам придумал девочке имя — Аленка.

С той весной в дом пришла надежда. Никите прибавили зарплату, пообещали к осени ордер на трехкомнатную квартиру. Городскую, со всеми удобствами. На халупу, что досталась Татьяне в наследство от матери, нашелся покупатель, шахтер с Севера. Договорились, что сразу, как только Никита получит ордер, оформят куплю-продажу, оценив избу в полторы тысячи рублей. Никита с Татьяной обрадовались, — и на том спасибо. Хотя знали, что за здешние избы-развалюхи дают больше, покупая их с дальним прицелом — года через три село снесут и выселенцам дадут новую жилплощадь.

Все шло к тому, что осень грянет истинно золотая. И хотя на деревьях только начинали с горьким запахом лопаться почки, Татьяна жила предчувствием скорой осени. Еще шумела в короткие черные ночи вешняя вода, разгульная весна быстро истрачивала силы, и как раз в ту пору, когда она умирялась, чтобы выстояться до лета, Татьяна разыскала в сарае заброшенную зыбку. Спрятанную подальше от глаз Никиты, колыбель эту Татьяна выкрасила в зеленый цвет, подновила на-

рисованные по бокам голубые якоря. Когда-то Никита сам в шутку смастерил ее для первенца сына, а получилось, что Татьяна качала в ней трех дочерей.

Нарождалась свежая листва, из косогоров вытянулись желтые россыпи цветов мать-и-мачехи. По утрам сквозь туманы катились глухие выстрелы. Как любовный призыв сияла по утрам на потемневших от росы бревнах обновленная колыбель... Всевластна была весенняя надежда. Судьба же распорядилась по-своему.

Медленно прояснялось у Татьяны сознание. Она лежала на картофельной ботве, не помня уже, сколько времени лежит. Татьяна окончательно расшевелилась, услышав голос бабки Ульяны:

— Ты чего это, девка, пластаешься? Али брюхо застудить хочешь? Я корову пригоняла, а то бы ты у меня не лежала...

Татьяну знобило. Она потянулась к детям, привлекла их к себе, притиснула.

— Ступай в избу, нечего загодя убиваться, — говорила бабка Ульяна. — Ишь, разлеглась... Это, милая, проще простого — лежать. Ты бегай.

Она сухой, отдающей молоком рукой провела по лицу Татьяны, убедившись, что слез нет, успокоенно вздохнула.

— Романыча я встретила, учителя бывшего, — сказала она. — Никиту, говорит, по подозрению взяли, а доказать еще надо. Три дня, говорит, имеют право под замком держать...

В избе было неуютно, пусто.

Разглядев при свете Татьяну, бабка Ульяна при молкла, завозилась в углу.

— А если Никиту возьмут и упекут?..

— Сама ты, девка, что о нем думаешь? Мог он?..

Татьяна вскинула глаза на старуху, пугающе темную в углу, где она, слышно было, чистила картошку.

— Нет, — сказала Татьяна. — Но сам он сказал, что худо дело. Вроде того, что все пропало. Все на живот мой косился. На прощание намекнул, что, мол, хватит троих.

— Ишь ты, — тихо отозвалась бабка Ульяна. — От горя это он. Горе как припрет, так свет тьмой кажется. На его месте иного не скажешь. Тебе же маяться с дитем, ежели, не дай бог, его посадят, вот и пожалел...

— Может, лишнего рта испугался... — всхлипнула Татьяна.

— А это ты зря на него наговариваешь, — сурово отрезала бабка Ульяна. — Теперича, милая, никто с го-

лоду не помирает... Картохи у тебя полно, по декрету деньги пойдут. А я тебе, девка, покуда ноги меня носят, завсегда помощница... А коли он очумел от горя, опростаться тебе велел, виноватить его не смей. Ноне это вообще за грех не считается...

— Мне ведь уже поздно идти, если по всем правилам, — сказала Татьяна.

— Дак я уже не о тебе. Ходи себе, помалкивай. Даст бог, уладится, он тебе в ноги поклонится. Наскрозь я его вижу, Никиту. Не из тех он, кто ради сладкой жизни бабу посылает плод губить...

За окном сгустилась ночь. Откуда-то опять наплывал дым, процеживался в невидимые щели, стойко держался в избе. Три девочки — Марина, Катюша и Аленка — сидели в другой половине, делая вид, что заняты важной молчаливой игрой.

Чудно, не верится даже, что это они там сидят — ни возни, ни смеха.

Бабка Ульяна справилась с картошкой, проворно зажгла газовую плитку, поставив на огонь кастрюлю, двинулась к выходу.

— Я ить еще корову не подоила, — виновато проговорила она. — Молочка парного принесу.

Татьяна долго собиралась с силами, чтобы встать, двигаться. На полу валялись детское барахлишко, игрушки, фуражка Никиты. И здесь что-то искали, а что, никому невдомек.

За дверью слышались шаги, и Татьяна поднялась с табуретки, стыдясь за себя — не успела прибраться. Судя по деликатно сдержанному покашливанию, пришла Липатиха, жена бригадира здешней фермы. Татьяна сразу догадалась, зачем она явилась, и сразу, чтобы избавить Липатиху и себя от обходительного разговора, полезла в шкафчик за деньгами.

Полтора месяца назад Никита, на все руки мастер, помогал обивать кровлю нового липатинского дома железом. Задарма работал, а под конец, осмелев после распитой вдвоем бутылки, как сам рассказывал, попросил взаймы сто двадцать рублей. Маринку надо было собирать в школу. Бригадир дал, даже похвастал при этом, что денег у него навалом, согласился ждать, пока Никита не продаст избу.

— Вечер добрый! — весело протянула Липатиха, заметила беспорядок, но любопытство в глазах спрятала. — У меня сегодня тоже все кувырком. "Семнадцать мгновений весны" по телевизору показывают, не оторвешься. Никита спит, что ли?

Видела Татьяна, что Липатиха уже знает, где Никита, видела еще, не хочет она знать правды. Не за тем пришла.

— Про что же это — семнадцать мгновений? — спросила Татьяна.

Она уже достала из коробки с нитками сторублевую бумагу, которую вчера разглядывала на свет — первый раз попала ей в руки такая крупная, редкая деньга. Три дня пролежала здесь, как Никита получил отпускные.

— Про Штирлица, — ответила Липатиха, чуть недовольная тем, что Татьяна без намека поняла цель прихода. — Я даже не думала, Татьяна, что извещение придет. На ковер-палас записывалась...

— Чего уж, — улыбнулась Татьяна. — Долг платежом красен. Спасибо!

После ухода Липатихи Татьяна, чтобы хоть чем-нибудь занять себя, взялась мыть пол. С порога поймала устремленный на нее взгляд Марины. Бросив тряпку, отошла к печке за переборку.

Деньги те, взятые займы, разошлись по мелочам, обещанное Марине пальто купить не смогли. Одна надежда была — сходить за покупкой после того, как Никита получит отпускные. В своих планах Татьяна наметила обнову всем дочерям: Маринкино пальто, всего год ношенное, хотела перешить для Катюши, а Катюшино — для Аленки. Как в воду смотрел Никита, когда сказал насчет черного дня. Оставшихся денег едва хватит дотянуть до получки.

Всполошилась, забежала по избе Аленка. Не приставая к Татьяне, будто кто научил ее не трогать сейчас мать, украдкой заглядывала в углы, искала свой горшок. Не отыскав, босиком, без штанишек, заторопилась во двор. Уже на крыльце, сыром и холодном от росы, настигла ее Татьяна, нашлепала по голому задку. Нашлепала и заплакала — от жалости к дочке, от страха перед подступающим отчаянием...

Среди ночи ей опять стиснуло горло; боясь разбудить детей, Татьяна вжалась в подушку, учуяла еще не выветрившийся табачный дух. И опять разбередила себя горькой мыслью, что ее могут на годы разлучить с Никитой.

Вдруг дыхание у нее совсем остановилось. Широко раскрылись глаза, но она не увидела ничего, кроме темноты. Она разгоряченным, сдавленным животом уловила толчки. От них, сердитых и упрямых, по телу пробежала дрожь. Кто это был — мальчик или девоч-

ка, — Татьяна не знала. Она замерла, сторожа каждый его толчок, и казнилась перед ним за свои сегодняшние страхи. Такая уж она беспамятная, что забыла: все немилости, какие выпали ей за день, достались и ему. И сейчас, когда время спать, ему наконец пришлось напомнить: хватит всего, пора баюшки. Не смея его ослушаться, Татьяна стала тихонько укачивать себя. Она лежала, боясь шевельнуться в объятый тишиной ночи, пока не пришел тревожный чуткий сон.

3

Утро пришло белое, как молоко. Свет долго пробивался сквозь туман, пробился и остановился в избе, ненадежный, призрачный. До того ненадежный и неправдашный, что Татьяна не поверила ему, решила, это сон. Только тьма, помогавшая ей забыться, была настоящей, а все, что было до и после нее, сон.

Но вот она услышала заполошный петушиный крик, вслед за ним протяжный, будто вязнущий в тумане голос бабки Ульяны. Поняла, что старуха выгоняет корову, и все стало на свое место. Окончательно осознав себя, Татьяна даже смогла припомнить, какой сегодня день — пятница. Вспомнила, что вечером загадала пораньше встать, пойти в город: сходить к Наташе, которая доводилась ей троюродной сестрой, прямо на работу. С ней, культурной, образованной, надо было обмозговать случившееся.

Татьяна собиралась быстро. Из трех платьев она выбрала сиреневое, самое праздничное: знала, что там, в институте, где работает Наташа, люди сразу пристанут к ней глазами — не кто такая пришла, а как одета. Чтобы не подвести Наташу, Татьяна даже кофточку надела пуховую, подаренную Никитой еще до свадьбы. Поглядев в большой осколок зеркала, отметила еще одну выгоду от кофты — под ней меньше видно живот.

Татьяна выпила стакан холодного чая, вышла на крыльцо. Со стороны парка, не видного в тумане, тянуло прелым духом. Даже запах дыма не мог заглушить его.

Закружилась голова. Татьяну пошатнуло и словно бы ударило обо что-то мягкое животом. Она пошарила руками по пустоте и только тогда поняла, что удар был изнутри. "С добрым утром!" Вдруг оттуда, из живота, поднялся к горлу вздох. Будто не ее, не Татьяны, вздох.

— В отца раностав, — удивилась Татьяна, — физза-

рядкой занялся или с голоду пихаешься? Мы с тобой в городе в кафе зайдём...

Расслышав себя, Татьяна испуганно огляделась: окажись рядом посторонний, мог бы подумать — спятила.

Вдоль улицы протянулся звук автомобильного мотора. Подкатила к воротам вчерашняя милицмейская машина. В вышедшем из нее человеке Татьяна узнала следователя.

Вначале она не знала, куда деться от растерянности: муж в каталажке, а она вырядилась, как на праздник.

Но чем ближе подходил следователь, тем спокойнее делалось ей. Во всей его фигуре угадывалось утомление. Рассеяннo, устало смотрели на Татьяну его глаза, по-прежнему захлестнутые скорбью.

— Здравствуйте, — сказал он, как бы извиняясь, добавил: — Такая вот служба. Вчера мы с вами не успели поговорить. От мужа вам привет.

— Спасибо, — пролепетала Татьяна.

Ей показалось, что следователь приготовил для нее очень важный вопрос. Как только мысль коснулась Никиты — судьба его зависит от ответа, — Татьяна почувствовала, вот-вот расплачется. Чтобы помнить себя, в избе Татьяна села на самый краешек стула.

— Думаю, мужа своего вы хорошо знаете, Татьяна Игнатьевна, — проговорил следователь. — Знаете, с кем он дружил, с кем встречался...

— Его-то я знаю, — охотно отозвалась Татьяна. — А друзей особых не помню. Домосед он у нас, негулевой... Да стеснялся приводить сюда людей. Квартиру все ждали...

— Понимаю, понимаю, — нахмурился следователь, потом соскреб со стола рыбью чешую. — Карасей, значит, один ловил?

— Честно говоря, я не спрашивала, с кем ловит. Принесет — хорошо, а на нет суда нет. Я на жизнь не жаловалась, не хуже других живем, — удивляясь неизвестно откуда взявшейся бойкости, выпалила Татьяна. — Чего уж вы так, вокруг да около... Я же не полeно, должна же знать, в чем его подозревают.

— А вы не знаете? — ненароком спросил следователь.

— Знаю, кража на базе. А при чем тут Никита, ума не приложу.

— Где был ваш муж позавчера ночью?

— Встал чуть свет, пошел рыбу ловить.

— Вы сказали, чуть свет? В каком же часу это было?

— Ну, часу в пятом...

Следователь резко отвернулся к окну, достал папиросы, но закуривать не стал, стучал по коробку пальцами, молчал. Татьяне сделалось не по себе, и она уже приготовилась просить у него прощения за то, что сказала неправду. Она точно помнила, когда уходил на речку Никита — в полночь. Где-то у соседей громко играло радио, и Татьяна слышала, как под бой курантов спустился с крыльца Никита. Но сейчас, обостренным чутьем догадавшись, с какой целью следователь уточняет время его ухода, Татьяна солгала.

Она обрадовалась, увидев неслышно возникшую в дверном проеме бабушку Ульяну.

— Вот бабушка Ульяна не даст соврать, Никита чуть свет пошел на речку, — сказала Татьяна прежде, чем старуха успела раскрыть рот. — Она может подтвердить.

— Вправду, чуть свет побрел, — сразу поняв Татьяну, не моргнув глазом, кивнула бабушка Ульяна.

— Я приехал сюда, чтобы по долгу службы выяснить истину, — тоскливо проговорил следователь. Бросив недовольный взгляд на старуху, добавил: — А за дачу заведомо ложных показаний... За это, бабушка, привлекают к уголовной ответственности...

— А ты меня не пужай, сынок, — терпеливо сказала бабушка Ульяна. — Меня страх не берет, меня, вишь, к земле уже гнет. Страхи, они в молодости, а теперича диву даешься — были и нету... А Никитушку отымать у детей не смей. Своих небось еще не вырастил, дак не знаешь, каково им будет без отца.

— Это не от меня зависит, бабушка, — зябко поежился следователь. — Я только истину выясняю...

— Коли хочешь истину знать, слушай меня, старую, — храбро подступила к нему бабушка Ульяна. — Никита на чужое, на государственное не позарится. Сроду таким не был, а ить вижу...

Следователь, не выдержав, закурил. Пустив дым, помахал перед собой ладонью, отошел к двери, сказал:

— Вы поедете со мной, Татьяна Игнатьевна... на очную ставку с мужем.

— Поезжай, поезжай, дочка, раз надо, — напутствовала Татьяну бабушка Ульяна. — За детьми присмотрю, старшую в школу снаряжу. Не бойся, тверди свое...

По дороге в город клубился туман. Не видно было Татьяне, собирается ли ненастье, но чудилось ей, по земле катится чернота, а в небе гремит гром. Потом она поняла: шумит у нее в голове. Только что следователь рассказал ей, как обокрали на базе сейф со слож-

ным замком; видимо, давно заготовлены были ключи, давно изучена и умело выведена из строя система сигнализации. Стоимость похищенных ценностей — двадцать две тысячи рублей. Служебная собака напала на след, шла по нему до речки, до Черного омута, на дне которого баграми зацепили пару резиновых сапог. На самом сейфе при повторном осмотре обнаружили отпечатки пальцев. И это еще не все улики, подтверждающие, что преступник — Никита, муж Татьяны.

И в городе всюду лежал палый лист. Но здесь с особой щемящей печалью догорал он, черный, истерзанный колесами лист. Пересиливая головокружение, Татьяна пошла за следователем в высокий кирпичный дом; шла неровно, то отставая от следователя, то слепо натываясь на его спину на крутых лестницах.

Потом она осталась в строгом пустом кабинете одна. Прихорашиваясь, одернула кофту, прихлопывала ладонями по животу, словно от этого он мог убавиться.

Показался следователь, следом за ним Никита. Едва Никита остановился у порога, не смея идти дальше, сердце Татьяны зашлось в частом бое. Поздороваться с ним она не смогла, лишь кивнула ему, глядевшему удивленно и чуть задиристо. Стоял он в неподпоясанной мятой гимнастерке, в кирзовых сапогах. Как будто уже давно не тот незлобивый, намозоливший глаза домосед Никита, а заправский арестант.

— Здравствуй, Татьяна, — спокойно сказал Никита.

Хотя в первые мгновения захлестнула его жалость, Никита сдержался. Хмуро и отчужденно оглядел ее, хотя сразу понравилось ему, что Татьяна надела ту памятную для обоих пуховую кофту. Но знал уже Никита, что повидаются они не скоро. Если ничего не изменится самым неожиданным образом, до суда не увидятся. И сейчас думалось Никите, что, покажи он жалость, обернется она для Татьяны губительной силой, изведет ее. А еще потому он так вел себя, чтобы Татьяна — заметил, как она задерживает дыхание, прячет живот — не решила, что он вчерашние свои рассудительные слова берет обратно.

— Татьяна Игнатьевна, вы утверждаете, что ваш муж вышел из дома после трех часов ночи? — проговорил следователь.

Татьяна не расслышала вопроса, она все смотрела на Никиту; никак не оторвать было взгляда от его осунувшегося лица, от выпирающих крупных костлявых плеч. По внезапно потемневшим его глазам она догадалась, что Никита совсем разгневался.

— Мне такой адвокат не нужен, Татьяна, — сказал Никита. — Если ты такое заявила, значит, не веришь в меня как человека... Значит, сомневаешься, — постепенно возвысил голос, будто обращаясь к массе людей. — Я говорил и буду говорить, что ушел из дому ровно в полночь. Никто меня видеть не видел — ни на речке, ни на улице. Так что алиби у меня нет... Ступай, Татьяна, делай свое бабье дело. Что будет, то будет. Передачи мне не носи.

— Гордый уж больно... — тихонько всхлипнула Татьяна. — Ты ведь от гордости наговорить можешь на себя всякое.

Никита отвернулся. Татьяна прошла мимо него, хотела плечом или локтем коснуться его, но затяжевшие ноги привели ее прямо в коридор.

Она отмахнулась от следователя, предложившего подвезти на машине куда ей надо. Хотелось побыть одной. Отложив встречу с Наташей на вечер, Татьяна зашагала прочь от городского многолюдья и шума. Но даже на ровном поле желанное одиночество к ней не пришло. В животе, словно затянутом жесткой веревкой, возникла боль. Татьяна схватила поток воздуха, сложенного из поредевшего тумана и дыма. Когда свежесть дошла до сдавленного, затаившегося в животе комочка, Татьяна опять стала помнить, что их двое.

4

Природа избавила Татьяну от всего, что было бы противно самой радости и неизбежности деторождения. Она дала ей тонкую терпеливую статью, особую красоту, ту самую, которая в пору девичества тиха и неприметна, а при материнстве светла и нежна. Неистраченная в юности, как бы лежавшая под спудом, красота эта высвобождалась без буйства, кротко и уютно, потому что бережена была не для себя — для детей. И они — пусть мал мала меньше — чувствовали это. Может, чувствовали они и другое, при их возрасте не поддающееся пониманию: ни разу Татьяна не упрекнула себя в том, что детей своих народила по недоразумению и глупости.

Это правда, была только радость от них. И от тех, что уже выправились в росток, и от того — грядущего. Даже родовые муки свои Татьяна умела заглушать торжественной, всевластной думой, что приносит на землю еще одну жизнь. Она знала, жизнь эта в самом начале беспамятна; и пока человек, только раскрыв-



ший глаза, уразумет, где он, зачем он, пока он подрастет, чтобы осознать себя живого, — до этого мгновения, знала Татьяна, проходит много времени.

Татьяна брела по полевой тропке к селу. Не по той тропинке, которая привела бы ее в дом, а по другой, чтобы не растравить себя лишней встречей с детьми, неожиданно застигнутыми безотцовщиной. Пройдя вдоль старого обмелевшего пруда, очутилась среди лип. Медленно-медленно одолевала она один взгорок за другим, переводила дыхание, растягивала время —

ни к чему ей сегодня раньше времени являться на работу.

Погода менялась, небо делалось прозрачным и сухим, с полей коротко набегал ветер. Снова, как вчера и позавчера, как много дней подряд, на землю падали синие столбы света. Засоренный горелым хламом и почерневшей крапивой парк, будто вспомнив молодость, заиграл не совсем облетевшими вершинами лип.

Татьяна остановилась. Из-под ржавого, обросшего мхом корня неслышно выбегал ключик. Старательно прокладывая он себе путь к пруду, и все же маленькая его жизнь кончалась в ямке, наполненной огруженными листьями.

Татьяна вспомнила: из этого ключика весной пила Аленка. Спину ей напекло ярким солнцем, молодой горячей травой нащекотало ступни ножек. И таким полупьяным смехом заливалась она, что долго не могла поймать ртом водяную струйку. Внезапно притихла, смышленными глазами обвела деревья, пруд, размытую ярким светом даль и уже по-взрослому, как бы поняв наконец, кто она, благодаря кому видит и слышит, уставилась на Татьяну.

Татьяна улыбнулась воспоминанию, не боясь, что кто-нибудь может подглядеть, опустила на четвереньки, попила. При виде фабричной трубы у Татьяны появилась уверенность. Как-никак одиннадцатый год ходит сюда на работу Татьяна. За это время много случилось здесь ткачих, и, если бы не перепутала все негданная беда, настала бы очередь Татьяны уйти в город, как ушли другие. Но сейчас Татьяне стало легче, когда она увидела фабрику. Приросла все-таки душа к ней, к четырем станкам-полуавтоматам, с которыми Татьяна справлялась, можно сказать, не глядя. Слух да изредка руки трудились у нее, умевшей по звуку различать, где и что не так. У самых ворот Татьяна чуть не споткнулась. Промелькнуло за сваленными в кучу пустыми ящиками красное пальтишко. Маринка! Вместо того чтобы сидеть в классе, почему-то шастает тут. Заметила мать, не вышла, спряталась.

— С каких пор ты с уроков убежать стала?

И сразу примолкла, слабо оперлась на ящик. Маринка сидела на земле, прижав лицо к коленкам; мелко-мелко вздрагивали две косички над ее затылком, и слышен был плач, тонюсенький, как мышинный писк.

Начиная догадываться, почему плачет дочь, Татьяна растерялась, несколько мгновений смотрела на нее

безучастно и стыло. Не додумалась она вовремя: дочери тоже придется что-то вынести за отца.

— Кто это тебя? — сдвоенно спросила Татьяна. Достала из раскрытого портфеля облитый чернилами дневник, полистала. — Говори, кто?

— Не знаю... — протянула Маринка. — Кто-то на перемене. А Колька Хватов пересел от меня за другую парту-у...

В голову Татьяне ничего не шло. Она стояла, не находя для дочери слов утешения, и все, что она видела — Марина, ящики, трава, — все вдруг слилось в одно. Трудно, будто из колодца, достиг слуха Татьяны вопрос дочери:

— Мам, наш папка честный, правда?

— Честный, доченька, — одними губами, которые едва слушались, ответила Татьяна. — Он самый честный, самый хороший, самый смелый... А теперь ступай домой, сестренки небось заждались, по окнам сидят...

Она долго смотрела вслед Марине, на ее затяжелевшее, обросшее репьями пальтишко, поняла, что дочка тоже бродила, как она сама, по бурьянам и пустырям.

В цех Татьяна вошла в удачный момент — пускали станок за станком, здороваться, поглядывать друг на дружку некогда. С девушками из первой смены Татьяна, слава богу, разминулась.

Татьяна включила свои станки, послушав каждый в отдельности, стала следить за общим шумом. Снизу шум их поднялся к потолку, постоял там и воротился. На него сейчас у Татьяны была вся надежда — хоть оглушит, отшибет думы. Она даже ладони рупором приставила к ушам, чтобы поскорее насытиться грохотом. Казалось, все станки стараются для Татьяны, и сама земля, одетая в толстый бетон, гулом и дрожью отозвалась на ее желание. Казалось еще, никогда так быстро не вытягивалась из железного чрева станков полосатая матрацная материя под названием тик.

Однако, сколько ни слушала, ни глядела Татьяна, все осталось по-прежнему. Глубоко, прочно залегла в ней нерадость, ничем ее не достать. Делалось все тише и тише, и скоро в голове установилось звенящее беззвучие. Пришла непонятная скованность. Не сразу разобрав, отчего она, Татьяна упрямо расшевеливала себя. Но много раз повторенные, заученные движения, когда она связывала оборванные нити, требовали сейчас осторожного усилия. Потом она поняла: ей боязно. Почувствовала, как дергаются глаза, будто привязанные к острому челноку, которым стреляли друг в дру-

га два деревянных рычага. Мгновенны были удары рычагов, бьющих по челноку, похожему на черную молнию. Проступил, как бы приблизился к Татьяне весь станок, отчетливо видный до мельчайшей зубчатки.

Запоздалым сознанием Татьяна отметила, что мысль об опасности появилась раньше, только она втихомолку держалась в голове, чтобы не разом ошарашить. Потому и почудилось Татьяне, как словно бы посторонняя сила постепенно вяжет ей руки и ноги, оберегая ее от всего острого и бьющего. До этого дня и часа Татьяна такого не ощущала. Она медленно обошла станок сбоку; окончательно стало ясно, почему ей боязно. Татьяна примерилась к рычагу, чтобы убедиться, оправдан ли ее страх или просто сдают нервы. Да, удар пришелся бы по тому, кому не дано узнать, по своей или не по своей воле Татьяна коснулась рычага. Хватило бы одной лишь секунды забывчивости.

Татьяну бил озноб. Она потянулась к солнечному свету. Уверая себя, что все пройдет, как только тело согреется, она прижалась спиной к стеклу. Услышала, отключился станок. Следом за первым замолк второй. Потом по очереди остановились остальные два. Словно сговорились испытать Татьяну. Она не сдвинулась с места, хотя связать обрывы, подправить челноки и пустить станки было делом пустячным. Когда в проходе показалась Зинаида, мастер смены, Татьяна сперва напряжинилась, но затем посмотрела на нее, строгую крикливую девку, спокойно и отрешенно. Другое испугало Татьяну — ниоткуда к ней не шло тепло.

— Иди, Татьяна, — неожиданно мягко сказала Зинаида. — Присмотрю за твоими станками...

Татьяна-то было уже решила, что не имеет права на доброе отношение к себе. Пряча глаза от Зинаиды, она слепо, будто со сна, направилась не к той двери. Она плохо слышала по-мужски грубоватый голос Зинаиды, догнавшей ее:

— Сегодня ты пореви, пореви, легче станет. В понедельник поговорим. С совещания начальство приедет. А я, хоть и крокодила, что по деревне ходила, за тебя первое слово замолвлю. Насчет поддержки...

Уже далеко от ворот фабрики, дав глазам просохнуть, Татьяна оглянулась. Улыбнулась. Хоть и мала она, фабричонка — народу, считай, около сорока, в основном девчонки, — это все же сила. Да и сама Татьяна, слава богу, не отрезанный ломоть.

По пути в город Татьяна решила, что в первую очередь пойдет к следователю, добьется свидания с Никитой. Всего на минуту, на две. Ей хватит этого, чтобы дать Никите знать: она послушна ему, согласна с ним. Не зря же он вскипел утром, когда у Татьяны был такой вид, будто она ничего не помнит.

Она не притворялась, а просто забыла ему намекнуть, что сделает так, как он велел. Одно дело пообещать, чтобы он меньше тревожился, другое — поступить так, как ей вздумается.

Никита добрый, а беда любит приставать к добрым, потому что они ее не ждут. Беда захватила Никиту врасплох, но она, поиграв с ним, отступит от него. Татьяне остается одно: верить в это и ждать. Но жди не жди, а Никите нужно хотя бы маленькое облегчение. Татьяне на всю жизнь запомнилась прошлая долгая ночь. Какую же, должно быть, нескончаемо длинную ночь провел Никита в неволе.

Солнце шло на закат, над полем стояла та ясная чуткая тишина, которая приходит к исходу осеннего дня. Заколдованный лес тихо сорил листьями; ярко проступивший на нем румянец ближе к городу, где строители сводили деревья на гать, убавлялся, а уцелевшие между новыми домами рощицы облетели до полной наготы.

Татьяна завернула в магазин, долго осматривала витрины, морща в задумчивости лоб: что купить Никите? Хоть и сказал он нехорошее о передаче, Татьяна подумала, не откажется. Она взяла кусок сыру, банку сгущенного молока, три пачки "Севера". Неподалеку от здания милиции Татьяна остановилась, увидев вывеску с нарисованными на ней женскими головками — уж очень красивы прически. Робко вошла в салон, потопталась, не зная, какая из причесок ей лучше подойдет.

— Мне высокую не надо, — смутилась она, заметив выжидательный взгляд одной из девушек. — Мне что-нибудь попроще...

— Мне б кого-нибудь попроще, — переиначив ее слова в песенку, развеселила подружек девушка. Усаживая Татьяну в кресло, добавила: — Мне бы такие волосы... Я бы за парик не отдала семьдесят целковых. Я вам их вымою, чуть-чуть подкручу.

Повинуясь ее рукам, Татьяна пригнула голову над раковиной, почувствовала, как наконец ее бросает в долгожданный жар. Она застеснялась чужого внимания; сроду ей никто, кроме матери, не мыл голо-

ву, не водил вот так по темечку упругими пальцами.

В который раз за день Татьяне стиснуло горло, но это уже было от доброго расположения к людям. Она дала девушке вдоволь повозиться с ней, к тому же поняла, что сюда, в новый салон, мало кто идет, девчатам скучно. Точно угадала: они, затихшие вначале, в конце защебетали, как довольные птахи, окружили Татьяну и стали ее обсуждать:

— Ну прямо королева.

— Еще бы ей мини-юбку и "платформы".

— Жаль, живот распустила.

— Не живот это, понимать надо, дура.

Татьяна по голосам, по лицам судила — не издеваются. И сама она глядела в зеркало, пораженная тем, что сделала с ней девушка, плоская и продолговатая, как доска. Мастерница, видно было, немного огорчена, что хвалят не ее, а Татьяну.

— Это ей хвала, ей спасибо, — сказала Татьяна, показав на девушку.

Но на улице радость у Татьяны пропала; она недоуменно спросила себя: зачем? Надо не иметь никакого стыда, чтобы королевой являться к горемычному мужу.

Зайдя за угол дома, Татьяна раскосматила волосы, хотя сразу и пожалела. Можно было бы прикрыть платком, если бы он был.

Поднявшись по лестнице, Татьяна постучала в дверь знакомого кабинета. Обернулась на шаги в коридоре.

— Вам Мокшанцева? — спросил высокий плотный мужчина. — Выехал на место происхождения.

— Я жена Храмова. Ну, того самого... — Татьяна запнулась, заметив жесткий блеск в глазах мужчины. — Хотела на минутку повидаться с ним.

— Мне известно, что утром вас вызывали на очную ставку, — был ответ. И тут же вопрос: — Хотите сообщить что-нибудь новое по делу мужа?

— Нет. Просто я...

— Ничем не могу вам помочь. Свиданий до суда не положено...

Очнулась Татьяна на улице. Вспомнив о пакете, в котором лежала передача для Никиты, она повернула обратно, но на лестнице ноги ей отказали. Давая им отдых, Татьяна медленно обошла здание, подолгу глядела в каждое освещенное окно — не мелькнет ли Никита? В следующем круге она напряглась слухом, улав-

ливали малейшие шорохи и голоса, доносившиеся из-за стен здания. Отчаявшись, зашагала прочь. Теперь у нее здесь оставалось единственное утешение — Наташа.

5

Татьяна не с ходу нажала на кнопку звонка. Несколько мгновений молитвенно глядела на нее и только потом дотронулась до черной костяшки внезапно задрожавшим пальцем. Она почему-то всегда боялась Наташи. Бывала у нее от случая к случаю, не засиживалась.

Дверь открыла сама Наташа. Татьяна не разглядела ее в полутемной прихожей, сразу приласкалась к протянутой руке и всхлипнула.

— Наташенька, родненькая, Никиту забрали, наверно, судить будут, — сказала Татьяна, чтобы облегчить себя слезами. — Хотела с тобой...

— погоди ты, — отстранилась Наташа. — Люди ко мне приличные на минутку зашли. Иди на кухню пореви, потом расскажешь.

Татьяна притихла: все правильно, со своей так и надо разговаривать. Она прошла в кухню, села на табуретку.

— ...не волнуйтесь, никого там нет, — должно быть, гостям поясняла Наташа. — Это Таня из соседнего села. Как говорится, седьмая вода на киселе...

Голос был далекий, приглушенный, в другой раз Татьяна его не расслышала бы. А тут, как назло, слух ее был настороже. Прежде чем уйти, Татьяна зашла в ванную комнату, нашла гребенку. Она увидела себя в зеркале, невольно ахнула: казалось, горе пошло ей не во вред, а на пользу, сделав лицо краше. Бледность разлилась по лицу, выделив округлившиеся, словно дымкой затянутые глаза. И все же загадка преображения таилась в волосах. У Татьяны они и без особого ухода были хорошие, густые, с золотистым отливом. На них-то, раньше еще догадывалась Татьяна, в свое время поймался Никита. В том лесу, где Татьяна собирала хворост. До сих пор отчетливо помнила она, как шла по лесной дороге, распустив волосы, только-только вымытые в бане ключевой водой. Сушила их на ветру. Когда позади под чьими-то ногами сломалась сухая ветка, Татьяна обернулась. Увидела солдата, в глазах которого было столько радости и изумления, что все тяготы и заботы отлетели от Татьяны прочь...

За дверью, за стеной хохотала Наташа. Татьяну не

обидел ее хохот, наоборот, от красивого, беззаботного смеха троюродной сестры у Татьяны как бы пробудилась диковатая шалость. Она подтянулась, ужала живот, направилась туда, где было весело.

В большой комнате за столом сидели четверо — мужчины и женщины попарно. Пятой была Наташа.

Обувку свою стоптанную Татьяна сбросила в прихожей и появилась неслышно, как привидение, и все-таки, заметила она, все до единого разом повернулись к ней. Первой открыла рот Наташа.

— Ну, тихоня, — протянула она. — Розыгрыш устроила, прямо артистка.

Она приблизилась к Татьяне, обняла за талию. Татьяна отодвинулась, села в свободное кресло — дрожали ноги.

— Я вам говорила, это моя родственница, — представила Татьяну чуточку смущенная Наташа. — Она живет в селе, ну, знаете, где церквушка, парк, пруды, одним словом, древняя Русь... А это, Татьяна, к нам забежали прямо с работы мои друзья. Все занимаются высокими науками, а Виталик — художник...

Длинноволосый, степенно хмурый мужчина, подтверждая, кивнул: он самый.

— Соловья баснями не кормят, — сказал он, оправляясь от неожиданности, с какой вторглась в компанию Татьяна. — В вашей родственнице, Наташа, есть что-то от рафаэлевской мадонны с младенцем. Ей-богу...

Он налил в рюмку красного вина, жестом попросил соседку, хрупкую востроглазую женщину, поднести Татьяне наполненную посудину.

— Возьми да сам подай, — любезно улыбнулась она.

Зашевелился второй мужчина, в очках, с залысынами на лбу; приняв рюмку от художника, донес до Татьяны.

— Спасибо, — сказала Татьяна.

Видно было, она нравится обоим. Нравится — не то слово, чтобы им можно было выразить внезапное чувство, которое ошеломляет мужчин при виде женщины, нисколько не похожей на других и в данный момент недоступной. Наташа, обычно снисходительно равнодушная в присутствии Татьяны, заметно потускнела. Ей вроде бы неудобно стало в своем длинном, до пят, платье — отступила в угол, к серванту, уставленному сверху разными безделушками.

Молчать хором было уже невозможно.

Татьяна сознательно переглядывалась с мужчинами, тихо улыбалась им, растягивая для себя потеху.

— Пресвятая дева... Не подумаешь, что у нее трое детей, — не выдержала Наташа. — Как ты с ними справишься, Татьяна?

Однако слова ее возымели обратное действие. Мужчины оживились, художник, показав Татьяне, что пьет за нее, залпом осушил свою рюмку и разругался.

— Вот она, виновница демографического взрыва! — сказал очкастый, бросив на сидевшую рядом тоскливую женщину взгляд, в котором угадывался явный укор, значит, жена.

— В деревне всегда помногу рожают, — отозвалась та. — Ты сначала докторскую защити, потом намекай...

— Докторскую... — покачал головой очкастый. — Тогда уж поздно будет...

— Ничего, поднатужимся.

— Товарищи, товарищи! — остановила их Наташа. — Смените пластинку.

— Докторскую... — напоследок проворчал очкастый и тоже выпил — до дна.

Татьяна не поняла из разговора, есть у них ребенок или нет, только о Наташе знала — бездетная. Но странное было не в этом, а в другом — как она, Наташа, оправдывалась: муж, штурман атомной подводной лодки, наезжает раз в год.

Татьяне, хоть она и не все понимала по фразам, которыми запальчиво обменивались люди, сейчас как никогда хотелось, чтобы разговор этот — о родившихся или неродившихся детях — продолжался. Он был нужен ей, как вода при пожаре, для успокоения и еще для оправдания пока только наметившейся цели, с какой сюда явилась. Люди были веселы, их перебранка пустячна, у самой же Татьяны желание придать разговору важность вдруг сменилось растерянностью.

Нет, она не собиралась узнать, легко ли, трудно ли им живется, почему не заводят детей; вопрос, взволновавший ее, был гораздо горше: способны ли они страдать, если им случится потребовать друг от друга насильственной смерти еще невыправившейся жизни, которую они сотворили с общего согласия.

Но такого разговора не получилось.

— Как у вас там в селе? — спросила Наташа.

— Пришла бы хоть раз, посмотрела, — отозвалась Татьяна. — Тут ходьбы-то четверть часа.

— Я был там три раза, — проговорил художник. — Жаль, что вас не встретил... Я выставку готовлю.

— У нее муж стрелок, с револьвером ходит, — рас-
смехалась Наташа.

— Что же он, не человек, что ли? — сказала Татьяна.

— Вот, вот, — радостно подхватил художник. — Она
все понимает, не то что вы, тряпичницы.

— Но, но, Виталик! — погрозила Наташа. — Закосел.

— В самом деле хватит... Хватит, — оборвала
его худая соседка, стало быть, жена. — Пошли
домой.

— Да я трезв, как телеграфный столб, — ясным го-
лосом возразил художник. — Просто хорошо, что еще
на свете не перевелись истинные женщины.

— Там у вас когда-то граф жил, — потянулся в сто-
рону Татьяны очкастый. — К нему Вересаев приезжал,
верно?

— Не Вересаев, а Валерий Брюсов, — поправила
его жена художника. — И Верещагин...

— Он и сам писал книги, граф... — сказала Татья-
на. — Я читала одну его книгу.

— Что вы говорите! — даже подпрыгнула жена ху-
дожника. — Это же редкость. Я собираю книги...

— Собираешь, но не читаешь, — вставил художник.

— Замолчи ты, — отмахнулась от него жена. — До-
стать бы эту книгу... Я бы заплатила.

— Не получится, наверно, — задумалась Татьяна. —
Непродажная она. С надписью.

Жена художника посмотрела на нее жадно, с немym
ожиданием.

— Я вспомню, — кивнула Татьяна, помолчала. —
Вот... "Глубокопочтимому Савелию Евграфовичу за по-
нимание совершенства природы... — как бы силясь
припомнить, что там было дальше, обвела всех напря-
женным взглядом, — ...и несовершенства челове-
ческого рода". Все.

— Какое у вас, извините, образование? — поинтере-
совалась жена художника.

— Восемь классов...

— А что толку, что вы институты закончили? — ска-
зал художник.

— Отстань, Виталик...

— А кто он был, этот Савелий... как его...

— Савелий Евграфович главным садовником со-
стоял, — пояснила Татьяна. — Был дедом бабки
Ульяны...

Неожиданно к горлу Татьяны подкатил тугой ком.
Ясно, как в яви, виделась ей бабка Ульяна: сидит в об-
нимку с оставленными на нее детьми, ждет. Ровным

тихим голосом, в котором слышится усталость от жизни, рассказывает на сон грядущий сказку.

Татьяна медленно встала, ничего не сказав на прощание, заперлась в ванной комнате.

Минут через десять, проводив гостей, постучалась Наташа.

— Что с тобой, лапочка? — недовольно спросила она. — Была в таком ударе и вдруг...

— Я к тебе, Наташа, по серьезному делу пришла. Я тебе правду сказала насчет Никиты...

— Что же он натворил, твой Никита?

— Выходит, что он крупную кражу совершил на базе. Но это не он, не он, — торопливо заверила Татьяна. — А улики против него. Крыть ему нечем.

— Да, положеньице, — начиная нервничать, произнесла Наташа. — Чего ты от меня-то хочешь? Юристов у меня знакомых нет, да и вмешиваться в это дело некогда — у меня путевка в санаторий.

— Понятно... Кто знал, что все пойдет кувырком. Надеялись на лучшее, на радостях четвертого решили завести. Пять месяцев уже скоро...

Внимательно оглядев Татьяну, Наташа непритворно испугалась, скрестила руки на груди. И сразу сделала похожей на ту Наташу, которую Татьяна помнила студенткой, когда еще к ней можно было подойти запросто, пристать с глупым вопросом, она не отвернется. Но лишь на мгновение открылась в теперешней Наташе прежняя.

— Не понимаю я тебя, — зябко передернула плечами она. — Допустим, не было бы этой истории с Никитой... Все равно дикость какая-то... Ну, можно одного, двух. А твои-то годы тоже идут. Что ты хорошего видела с ними, с тремя, а? Я бы тебе пилюль импортных дала, японских. Сто процентов гарантии...

Осеклась, достала из шкафчика пузырек, считала капли, неслышно падавшие в стакан. Заметила она, как поднялись тяжело смежившиеся веки Татьяны, показав глаза, в которых видна была сдержанно суровая гордость.

— С тобой инфаркт схватишь, — сказала Наташа. Смешав капли с водой, выпила. — Мадонна...

— Ими, детьми, жили, — словно разговаривая сама с собой, сказала Татьяна. — Никита в них души не чаял. Только на прощание сказал против четвертого...

— Все понятно, лапочка, — оживилась Наташа. — Это я на себя беру. Все будет шито-крыто. Деньги у тебя есть?

— А сколько? — робко спросила Татьяна.

— Ну, минимум полсотни, — сказала Наташа так легко, словно речь шла о рубле. — Это тебе не воробьев из рогатки сшибать...

— Когда?

— Тянуть тебе невыгодно. На завтра попробую договориться. Утром позвони мне. Если все будет в ажуре, скажу, куда идти...

Домой Татьяна возвращалась поздно. Скорбно тащилась она под покровом светлой ночи, не разбирая тропинки, прямо по жнивью. Небо совсем очистилось от дыма и тумана, с него весело глядела на землю полная луна. Только лес был угрюм, ворожил неподвижными черными тенями.

Как бы продолжая слушать Наташу, Татьяна кивала на ходу, поддакивала: верно, растила все эти годы детей, в них единственных видела хорошее. Никогда раньше она не сомневалась, правильно ли делает, а вот сейчас насчет этого ясности не было; но больше всего мучила Татьяну другая неясность — утвердится ли она до утра в своем решении или раздумает.

И вдруг будто со всего широкого поля на нее подуло немыслимым в такую теплую ночь холодом; сковав ноги, живот, холод выбрал для себя самое уязвимое место — голову. Татьяна остановилась. Прижала ладони к вискам, пытаюсь ими, тоже остывшими, отогреть заледневшую голову, и только потом начала соображать, что на нее напал просто-напросто ужас. Жутко стало оттого, что Татьяна поняла: сколько бы она теперь ни думала о возможном спасении той маленькой, слабенькой жизни, которую питает своей кровью, ее воля, матери, уже была направлена против этой жизни. И что жизнь эта несмысленная, но уже наделенная наитием, приоткрывает себя к беде.

В другой раз Татьяна могла бы успокоить себя, это неправда. Это ее взбудораженный ум рождает нелепицы, и, Расскажи о них кому-нибудь, засмеют. Но сейчас, посреди поля, колдующего неуловимо призрачным светом и караулящей тишиной, свалившаяся на Татьяну догадка превратилась в веру.

Татьяна и раньше, правда, робко и как бы ненароком задумывалась над тем, что все мучения и страхи, одолевавшие мать, делают свои черные отметины на том малом росточке, с которым у нее такая напряженно чуткая связь.

Татьяна долго, до изнеможения долго стояла, вслушиваясь в себя. Но тот, к кому были обращены ее

мысли в эти минуты, ни единым движением не выдал своего присутствия, словно желая до конца дослушать материнскую думу. Перестав растравливать его и себя раздумьями, Татьяна медленно, неслышными шажками двинулась на огоньки села.

Приближаясь к задам, она уловила тоскливое коровье мычание. По направлению, откуда оно доносилось, угадала: жалуется корова бабки Ульяны.

Встревоженная Татьяна спохватилась бежать. Споткнулась уже в огороде, когда убавила бег до быстрой осторожной ходьбы. Ей, упавшей навзничь, перехватило дыхание. Она не потеряла сознания, не ощутила боли. Лишь в голове жглась мысль, острая и жуткая, как боль. Татьяне думалось: упала не случайно, уронило ее наземь потаенное желание изувечить того, кого целеньким предать смерти не хватает решимости. Татьяна немного полежала.

Тишина текла из ночи. В этом оцепенелом безмолвии возник один-единственный звук — стон Татьяны, дошедший до мгновенного слабого рыдания. Но и он быстро оборвался, не смея продолжиться, и никто его не услышал, кроме нее самой. Совсем обессилев, женщина вошла в избу, прислонилась к косяку. И здесь стояла тишина. Татьяна заглянула во вторую половину, позвала детей. Первой к ней кинулась Аленка, отняв кулек с едой, радостно завизжала.

— Ой, никак пришла, — донесся до Татьяны голос бабки Ульяны. — Притопала, слава богу...

Только после этого Татьяна поняла, почему Марина с Катюшей не идут ей навстречу. Девочки караулили старуху, лежавшую на диване.

— Ты меня, Татьяна, не торопись виноватить, — сказала бабка Ульяна. — Это я запарилась, без куфайки из дома в дом носилась. Ломит всю. Слушай меня... Перво-наперво ты корову мою подои, слышь, орет как оглашенная. Потом в сенцах травы пучок найдешь, зверобоя. Отвара попью, к утру оклемаюсь.

Татьяна отправилась исполнять старухино приказание. Окончательно решила: откладывать завтрашнее на другой день не будет.

Остаток ночи Татьяна провела без сна. В избу проник ясный умиротворяющий свет, который бывает при полнолунии. Из угла, где стояла кровать Татьяны, виден был широкий топчан. На нем спали, укрывшись

одним одеялом, дети. Все три головки уместились на одной подушке, слились, но Татьяна отличала одну от другой.

Она и раньше, особенно по утрам, любила смотреть на объятых сном дочерей. Больше того, она глядела на них, держа в уме загадку: кто кем вырастет?

Она начинала с Маринки, пошедшей в нее; у этой все было от Татьяны: ручки-ножки, лицо и голос. Все, что могла дать Татьяна своего, старшая впитала в себя до капельки. Несмотря на малый возраст, она задумывалась так, словно радовалась тому, что умеет думать. Этим она тоже походила на мать, потому что Татьяне самой в пору малолетства открылась особая радость в думах, даже если они рождались без всякой причины, сами по себе. Не знала еще Татьяна, чем обернется эта сторона для дочери. И все-таки, забегая наперед, Татьяна втайне определила для нее назначение хорошее — пусть будет учительницей.

Катюше в дальних мечтах матери доставалась доля более почетная, все в Катюше говорило за то, чтобы она стала ученой. Эта дочь, замечала Татьяна, никогда не убаюкивала себя думами, не дающими никакой пользы. В свои шесть неполных лет она решала за Маринку задачи по арифметике. От ее игр, если долго смотреть, даже у взрослых болела голова. Катюша была молчалива, как отец. Только вот Аленка пошла ни в кого, будто не Татьяна родила ее, а другая. Росла шалуньей и озорницей, дралась, смеялась и плакала больше всех. И хотя еще ходила под стол пешком, Татьяна видела в ее маленькой фигурке будто бы уже завершенную, легкую стройность. Потому Татьяна, заранее боясь, что дочка может растолстеть, тайком обделяла ее мучным и сладким. Хотела Татьяна, прожив в городе год-другой, отдать Аленку в балетный класс. Месяц назад заглянула в тот класс, где малюсеньки девчонки смешно, по-цыплячьи прыгали под музыку...

Дума о детях, сделав три остановки, двинулась дальше. Теперь она была робка, нерешительна, и Татьяна без особого усилия запретила ей коснуться того, кому не суждено ходить по земле. Гадать, кем бы он был, мальчиком или девочкой, кем бы стал потом, было уже поздно.

Ночь постепенно сходила на нет. К лунному свету примешалась далекая слабая синь, промывала глаза. За окном в белесоватой дымке медленно проступал край леса.

Причмокивала во сне губами, вторя детям, бабка

Ульяна. Татьяна вгляделась в нее, обрадовалась: старуха дышала глубоко, чисто, значит, хворь не посмела пристать к ней надолго. Редкий день Татьяна обходилась без старухи. Между ними не было родственных связей, а вот надо же, без нее не мыслила себе Татьяна теперешнюю свою жизнь.

Словно почуяв внимание Татьяны, старуха проснулась. Тихо, участливо обронила:

— Худо ночь напролет не спать. — Сощурилась на Татьяну, будто заподозрила, почему та не спала, к чему приготавливала себя, нарочито бодро продолжила: — Ты не пужайся, я еще крепкая. У нас в роду все были крепкие... Сыновья один в одного здоровыми да смышленными были, жисть бы в карты не проиграли. Войне пригодились. Она их как языком слизнула в первый же год. Четверых сразу. Я-то перемогла. А Тимофей мой покойный, когда уж с войны вернулся, убивался: мол, сыновей прибрала, его за них вековать оставила. Пил, вроде изжить себя хотел. Не брал его змий зеленый. Бывало, в праздник выпьет четыре-пять стаканов первача зараз, выйдет на завалинку поглядеть, как пьяные ходят... Помню, подскочет к дому, коня свечкой поставит — загляденье. А уже седьмой десяток шел. В пожар, в полымя смертное полез, когда конюшня горела. Оттаскивали его, не удержали. Крыша-то будто поджидала, мигом рухнула.

— Помню, помню, — кивнула Татьяна.

— А я ишо побегаю, не бойся...

Старуха вздохнула, неслышно пошевелила губами, словно сотворила молитву, показывая Татьяне, что не обманывает, легко снялась с дивана. Прошлепав в кухню, тихонько зазвенела посудой.

Татьяна смахнула короткие благодарные слезы и тоже поднялась. Стала собираться в город. Верно, крепкая у нее помощница, но верно и другое — не вечная. Не давая возникнуть сомнениям, Татьяна торопила себя на улицу. Знала она, сомнения бояться ясного дня.

В поле на Татьяну нашла новая напасть — стало казаться, что наступила весна. Будто все вокруг свежо, зелено. Будто обновилась земля, еще вчера охваченная предчувствием скорого сна. В золотистой стерне буйно взошел сорняк, повыше пестрели ярко налитые синевой васильки. В кустах на болотистом клочке повесенному шумно перепархивали птицы, радостно щебетали. С неба, несмотря на рань, сходил благодатный зной.

Татьяна почувствовала, сейчас хлынут воспомина-

ния о весне. Она уже оттаяла, замедлила шаги. Забрела в неглубокую канаву, задевая ногами шишечки клевера, совсем разомлела, остановилась.

Только лес, словно бы ненароком обойденный в этот раз, напоминал об осени. Не весна все-таки — осень. Татьяна повернулась к городу, приказала себе: иди!..

Заспанная Наташа долго таращила на нее глаза, припомнив, зачем явилась Татьяна, зевнула.

— Ты бы еще ночью приперлась. Из-за ерунды... Не волнуйся. Я уже договорилась. Ты у нее не залеживайся, лапочка.

После этого все пошло как по расписанию. Татьяна помылась в ванне, надела чистое белье, выпила предложенные Наташей успокоительные капли. Татьяна окончательно утешилась. Уже ни от чего не захватывало дух, когда Татьяна двигалась по улицам, отыскивая нужный дом. Всего раз перед дверью, за которой Татьяну ждало неизбежное, по спине прошел холодок.

Квартира была обыкновенная, хозяйка тоже. Чистенькая, аккуратная женщина. Постарше Татьяны лет на пять. Она внимательным, но неназойливым взглядом смерила Татьяну, усадила за стол, дала полистать журнал мод.

Потом спокойно, вроде бы даже без всякого интереса расспросила обо всем, что касалось предстоящего дела.

Посмотрев вслед хозяйке, уже одетой в белый халат, Татьяна закрыла глаза. И сразу увидела Никиту, сидящего в неприютно голой комнате; до того отчетливо виделся он Татьяне, что хоть оклихни его, одинокого, брошенного всеми. "Никитушка!" — беззвучно позвала его Татьяна, и почудилось ей: в ответ он коротко, сдавленно вскрикнул.

Запахло лекарством. В соседней комнате негромко стучали инструменты.

Татьяна осмотрелась. И ничего, что могло бы запомниться, не нашла. Все было магазинное: блестящая, без пятнышка мебель, телевизор, ковры. Одна лишь квелая герань на подоконнике — единственный свидетель.

Татьяна прислушалась. Из тишины соседней комнаты надвигалась на нее до зябкости ощутимая неотвратимость. Татьяна не дрогнула, ни о чем не подумала, она как бы находилась во власти чужой воли, которая, перестав мучить Татьяну, теперь только направляла ее.

Хозяйка вышла к ней, подала чай, конфеты. Татьяна не показала, что она приглянулась хозяйке, потому та одаривает ее еще и усыпляющей улыбкой.

— Поздновато, конечно, пришли, — сказала хозяйка. — Но ничего страшного, все сделаем как надо...

— Да я ведь не помышляла... — охотно отозвалась Татьяна. — Так получилось. Хотя у меня уже трое.

— Наверно, трудности в семье...

— Мужа моего забрали. Может, надолго... Как теперь без него...

— Забрали? — тихо спросила хозяйка.

— По подозрению в краже.

— Следствие ведется?

Татьяна, подтверждая, кивнула. Она сочла, что, если сама Наташа была здесь, хозяйке давно все известно. Только когда хозяйка села на стул в отдалении, Татьяна догадалась, — вышел промах. Видно было, как хозяйке тревогой исказило лицо. Она успела сбросить халат, мяла его в руках.

— В таком случае, простите, мы разойдемся по-хорошему, — сказала она. — Я вас хотела выручить, но без риска...

— Что вы... — приподнялась Татьяна.

— Нет, нет. — Хозяйка приложила к губам палец. — Разговор окончен. И Наташенька хороша!

Она уже не скрывала раздражения. Резко, сердито встала, давая Татьяне понять, что уговаривать ее нет смысла.

На улице в глаза Татьяне полоснул яркий свет. День выстоялся до звонкости, отовсюду слетались неприлично громкие городские шумы. Татьяну даже повело от них из стороны в сторону.

Она с трудом добралась до видного на углу автомата с газированной водой, долго не могла попасть монетой в узкую щель. Когда железная поилка с шумной утробной натугой выцедила из себя желтоватую струйку, Татьяна поднесла стакан к пересохшему рту, но попить не смогла — стакан прыгал в дрожащей руке.

Татьяна стыдливо поторопила себя дальше, еще не зная куда. Она устала. Но усталость эта была иной, чем та, которая наливает руки и ноги мягкой томящей болью. Она была внутри, горячая, сжигающая. Там же, глубоко в Татьяне, жглась обида: надо же, вот так глупо поймалась, тем самым обманула того, кто, может быть, сильнее, чем она, ждал уготованное ему, кого она, как теперь внушила себе Татьяна, несла не на худшее — на избавление от мук.

Татьяна, сама того не замечая, очутилась возле дома Наташи. Она не знала, радоваться или плакать ей, зато с горькой ясностью осознала другое: она пережила все страхи и сердце ее закалилось. И все-таки она низко опустила голову, входя в Наташину квартиру. Не осуждая, не жалея ее, Наташа убежала в комнату, где громко играла музыка. Татьяна застала ее среди беспорядка: на полу, на креслах валялась одежда. Видать, Наташа выбирала, чем бы набить чемодан, тут же стоявший. Сейчас она пила вино.

— Остальное трын-трава, — пропела она невпопад музыке. — Знаю, лапочка, проболталась. Это я, дура, не научила тебя язык за зубами держать. В общем-то, бабенка просто перестраховалась. Чит уголовный кодекс. Не вешай носа, Татьяна, я еще одно место знаю... За два дня, пока я собираюсь, все обтяпаем. Держи!

Она протянула Татьяне большую рюмку, полную вина. Повинуясь, Татьяна выпила, удивилась — вино показалось ей безвкусным...

Смеркалось, когда Татьяна возвращалась домой. Из-под ног ее то и дело уходила влево-вправо узкая бетонная дорога. Впервые за последнее время Татьяна шагала по ней, не укрываясь от людского глаза. Только никто не попадался навстречу.

Небо остывало, оно, синее-синее, опадало вниз сумерками, в которых еще видна была медленно парящая паутина...

Уловив гул нагоняющей машины, Татьяна на какое-то время оцепенела. Гул этот она вроде уже слышала раньше, надо было вспомнить, где и когда.

Она скользнула на обочину, успела почувствовать толкнувший в спину ветерок, но не успела разглядеть, знакомая ли ей желто-синяя машина пронеслась мимо.

Татьяна свернула к лесу. В глубине его раскатисто, торопливо гремели выстрелы. Как раз в том месте, где над лесом еще держалась заря. Света от нее охотникам было вдосталь, чтобы бить птицу, пока небо сплошь не застит тьма. Раньше в охотничью пору, выходя из дому спозаранку, Татьяна натывалась на птиц, подстреленных и не подобранных. Поднимая, взвешивая в руке иную птицу, изувеченную до неузнаваемости, со страхом спрашивала себя: сколько зарядов надо всадить в этот комочек, чтобы мяса в нем было меньше, чем дробь? И сейчас, прислушиваясь к ружейной пальбе, Татьяна догадалась: бьют в азарте, не помня себя.

Лес, в котором деревья были черны и угрюмы, обступил Татьяну. Только что видная заря угасла, кончина дня наступила так быстро, что Татьяна остановилась, не решаясь идти дальше. Вдруг сверху, сперва выбелив небо, сквозь поредевшие кроны заструился призрачный лунный свет. Лес будто сдвинулся. Каждая веточка, каждый лист оживали, отбрасывали куда попало мягкие тени.

Еще один запоздалый выстрел вспугнул тишину, и все — по земле растекся долгий ночной покой.

Татьяна выбралась на поляну, одолела заросший осокой овраг, боясь дыханием выдать свое присутствие, неслышными шагами забрела на маленькое, ничем не огороженное кладбище. Внезапно ее прорвало.

— Матушка-а! — припала Татьяна к немому стынущему холмику. — Матушка моя...

Не первой белой метелью заметало землю, когда Никиту Храмова освободили из-под стражи. Как назло, метелица заслонила от Никиты просторы, сившиеся ему в неволе.

В областном городе, куда его еще осенью перевели вместе с материалами предварительного следствия, Никита сел на электричку.

Всю дорогу в окна вагона с сухим треском бился густой снег. И все равно Никита смотрел через стекло, смотрел и держал в глазах долгую улыбку, будто видел ими далеко-далеко. Да и не успел еще справиться с радостью, нечаянно свалившейся на него. Хотя знал уже, что не кому-нибудь обязан, а случаю. Случайно попался на каком-то мелком темном делишке Кусков, начальник Никиты. Отсюда потянулась ниточка.

Но всего перебирать и ворошить Никите сейчас не хотелось. Ближе к своей станции он стал то и дело выскакивать в тамбур — садил одну папиросу за другой. Наконец радио объявило долгожданную остановку. Обалдевший от крепкого дыма, Никита с маху бросился в спящую пургу. Прижимая к боку мешочек с сухим сухим пайком, воровски миновал людную стоянку, откуда каждые полчаса отправлялся автобус, идущий в совхозный поселок через село. Встречи со знакомыми Никита не желал.

Быстро прошел вдоль промозглого города, очутился в поле. Нащупал ногами заледевшую бетонку. На краю села, чутьем угаданного в молоке бурана, Никиту погнала бегом неодолимая, по-звериному лютая тоска.

Прыгая по занесенной сугробами улице, Никита достиг своих ворот, протиснулся во двор. Изба стояла белым-бела. Так же, как всюду, крутилась здесь снежная муть, как везде, рыхлыми были сугробы, но будто невидимая преграда долго-долго не подпускала Никиту к крыльцу. Замело крыльцо высоким снегом, и показалось: давным-давно никого здесь не было. Потом взгляд Никиты привлек кусок обгорелой боковушки от колыбели. Местами еще голубел схваченный черной копотью якорек на ней. Значит, на растопку пустили ее, зыбку.

Никита плечом толкнул дверь, и она, не запертая, легко подалась. В нос ударило слабым угаром, запахом вареной картошки.

В первой комнате было пусто. Свыкаясь с белым сумраком, Никита шагнул дальше.

Медленно прояснялись в глубине избы на топчане фигуры. Никита считал: одна, две, три, четыре... И, только увидев крохотную, слившуюся с Татьяной фигурку, Никита беззвучно заплакал.

Все зашевелились, подняв головы, глядели на него, не узнавая. Никита приблизился.

При виде его младенец дернулся тельцем, выпростав руки и ноги из пеленок, спокойно замер, будто говорил: смотри, вот я. В глазах его, прежде времени осмысленных, сквозила пугающая насмешливо-печальная ясность. На лбу и вокруг сжатого рта, придавая лицу скорбное выражение, прорезались жесткие морщинки. Уже сейчас твердые среди младенческих складок, которые скоро избудутся, эти несколько морщин, понял Никита, станут с годами тверже железа. Прицельным, немигающим был взгляд нового человека, будто еще в материнском нутре на полжизни натрудившего свой ум. От этого исповедующего взгляда Никиту бросило на колени. Он сорвал с головы казенную шапку, потянулся к сыну, обжигая его ноги холодной стальной щетиной, принялся целовать.

— Здравствуй, милый!.. — сквозь рыдания вырвалось у него. — Прости меня, сын мой, прости-и-и...

И только хлынули из Никиты плач и стон, как их подхватили в пять ртов.

Завывала, кидалась в окна метель, словно бы отшибала от остального света, мгновенной тьмой накрывала избу.

Выплакивала долго копившуюся горечь семья.

Заунывно пела разбушевавшаяся стихия.

Потом все перепуталось.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ БАНЯ

Баня стояла на окраине города, окнами на редкий, истерзанный перелесок. Двухэтажная, из красного кирпича. Никогда не засыхающая, продолговатая лужа перед ней в пору осенних дождей набирала силу, и ветер гнал светлую рябь, яркие кленовые листья к самым ступенькам. Два ряда проложенных к входу сосновых досок смачно гнулись под ногами, грузно колыхалась, отплывала баня — отраженная в воде.

В обычные дни внутри было чисто и тихо. Только ветхие рамы, плохо державшие стекла, дробным дребезжаньем отзывались на гудки проходящих по ту сторону перелеска поездов. Плохо было с планом, утвержденным в горкомхозе, поскольку население мылось в новой бане — с красивым лепным фасадом, шикарной парикмахерской и лечебными душами.

Если бы не пятница... По пятницам, всегда ровно в два часа, в баню на зеленой "Волге" приезжал отставной генерал. И в пятницу в бане бывало людей чуть ли не больше, чем за всю неделю, — знающих толк в хорошем паре. Генерал любил париться.

Истопник Николай, медлительный, вечно заросший, начинал приготовления еще в среду. Отлаживал газовую горелку, проверял тягу, перекладывал в печи камни. Топил он в ночь на пятницу, утром долго, празднично брился и к двум часам выходил на улицу встречать генерала. Зеленая "Волга" вырुливала из-за станционных пакгаузов, не сбавляя скорости, врезалась бампером в лужу. Вода с сухим треском была по днищу машины, клокотала, окатывая борта. Не доезжая до ступенек, генерал глушил мотор, тормозил, и вода многократными полукружьями устремлялась вперед, захлестывала доски, шумела. Задержав дыхание — с похмелья, — истопник Николай открывал дверцу машины, принимал из рук генерала желтый кожаный саквояж, веники. И ждал, когда генерал отгонит машину в сторону, поможет выбраться из нее своему спутнику. Он еще ни разу не приезжал один, без этого немолодого, сухощавого спутника. Только так — вдвоем.

Оба они, пройдя мимо стоящего по струнке истопника, входили в баню.

На втором этаже, в предбаннике, старые стенные часы дважды издавали сырой, хриплый звук. Завсегда-тай, знавшие генерала, затихали. Дарья Ильинична,

смотрительница и уборщица предбанника, суетливо, проворно обмахивала полотенцем два пустующих возле окна места. Внезапная перемена настроения жила и тех, кто был впервой, — они замолкали, уставясь на облупленную, влажную дверь. Запахи распаренного березового листа, мыла и пота резче обозначались в эти минуты, тяжело разбухали ноги... Распахнулась дверь. Первым показался Павел Силыч — так звали спутника генерала. Чуть поотстав, шел сам генерал — широкий, с одутловатым, властным лицом, резковатым, точным шагом.

— Здравствуйте!.. Здравия желаем! — приветствовали их, а двое-трое и встали, втянув голые животы.

Павел Силыч сразу свернул к окну, на ходу кивнув обнаженной седой головой. Генерал же, негнувшийся, величественный, раскатисто, могуче произнес:

— Здорово, братцы! Как парок? Хорош?..

— Парок что надо!

— На верхотуру никто еще не лазил. Страшнее Африки!

— Ляшенко, — прогудел генерал. — Ты-то дрейфишь. А еще в танке воевал. Ну, братец.

Ляшенко, лет сорока пяти, телом плотный, цвета каленой меди, сложив ладони фиговым листком, весь подобрался, засиял.

— Вперед батьки... — начал было он, но генерал уже не слушал его, удалился к своему месту, снимая зеленую, без погон, форменную рубашу.

Истопник Николай, успевший растелешиться, вышел из подсобки, неся чистые шайки, войлочную шляпу и брезентовые рукавицы. И закурил — тайком, в кулак, опасливо поглядывая на генерала, выпуская дым в форточку.

— Павел Силыч, ну-ка — сколько мы прибавили? — сказал генерал.

— Стоит ли, Петр Васильевич. Так и пар упустить можно.

— У Николая пару — на дивизию! — коротко хохотнул генерал. — Верно, Николай?

— Так точно! — расплылся истопник. — Гвардейский пар.

Павел Силыч нехотя прошел к красным весам, померчал, слушая скрип колеблющейся под ногами железной плиты. Так было каждый раз — негромко щелкала передвигаемая гирька, генерал вдруг сутулится, щурился, разглядывая полустершиеся деления весов. И Павел Силыч стоял — прямой, неподвижный и

безучастный к этой затее. Стоял на весах, как на постаменте, с налетом нездоровой желтизны на всей легкой, иссушенной фигуре, бронзовой статуей в сумрачном, тихом предбаннике. И в глазах генерала, нет, не генерала — рыхлого, с одышкой, пожилого мужчины — недолго плескалась тревога. И все, кто сидел недалеко от них, видел все это, ощущали причастность к чужой, неведомой беде...

Генерал стукнул ладонью по рычагу стопора, выпрямился и, как бы возвращаясь к прерванной игре, нарочито весело, громко сказал:

— Порядок в танковых войсках!.. Так поется, орлы, а? Начинайте артподготовку!

Он открыл дверцу в моечную, быстро пошлепал по теплой, мыльной воде. Человек пять с Николаем впереди обогнали его, вошли в парную. Из нескольких кранов в пустые шайки разом ударила холодная вода. Полные, тяжелые шайки — из рук в руки, а там, на бетонном полу, выстраивались рядками. Пять... девять, дюжина. Спина Ляшенко взбурлилась, руки напряглись — р-раз! — и в дальний, темный угол полетела упругая струя. Мокро, гладко заблестела стена. Окатили полки, вода из последней шайки взметнулась к самому потолку. Истопник Николай наполнил медный, помятый ковш. Ляшенко ухватился руками за дверную ручку, уперся пятками в порог, подался назад.

— Поддай! — крикнул он.

Николай взмахнул ковшом, словно гранатой. "Ух-х", — дохнула жаром печь, уши заложило, дернулась, приоткрылась дверь. И еще дважды: "Ух-х!.. Ух-х!"

— Ах-х!..

Все сидели на корточках, обвыкали. Горячий пар обжигал легкие. Потихоньку вынули из шаяк с горячей водой распаренные веники. Началось великое восхождение "на верхотуру". Хлестались неистово, со стоном.

— Павел Силыч! — позвал генерал. — Господи, да вы ли это?

Павел Силыч слабо, боязливо бил себя по бокам — у самого подножия. Улыбнулся на зов генерала, поднялся на ступеньку выше. Глазами он так и хотел занять место генерала — тот лежал "на верхотуре" плашмя. Истопник Николай, посветлевший, неузнаваемый, в войлочной шляпе и рукавицах, потряс двумя вениками и ахнул ими по спине генерала.

— Ох-х!..

Нижние в приступе азарта, почти не помня себя, одолели еще ступеньку, яростнее замахали вениками. За ними — Павел Силыч, напряженный, ликующий. А истопник Николай все обрушивал и обрушивал на генерала раскаленные, жестокие веники...

Через полчаса расслабленно, устало выбрались в предбанник — отдышаться. Генерал весь горел. У длинной дощатой скамейки его сильно качнуло, не добравшись до своего места, сел. Павел Силыч, порозовевший, только белый лицом, взял кружку пива у Дарьи Ильиничны, отхлебнул и передал генералу. Тот выпил до дна — жадно, большими глотками.

— Молодец, Николай, — отдуваясь, прогудел он. — Угодил... Помните, — уже обращаясь к Павлу Силычу, продолжал он. — На польской границе баню соорудили за два часа. Вот банька была... Ряжевский узнал, на самоходке прикатил, мылся, мылся...

— Ряховский, — поправил его Павел Силыч. — Мешок воблы привез...

— Точно — Ряховский, — смутился генерал. — Что за человек был! Под Варшавой его — осколком навывлет.

— Да, левый фланг у нас слабоват был, — оживляясь, четко, раздельно сказал Павел Силыч. — Если бы не Ряховский...

Он медленно повернул голову к окну, наполовину покрашенному белилами, — оно желтело, неярко вспыхнуло под лучом солнца. Как-то особо повернул голову — властно, прочертив упрямым подбородком почти видимую в воздухе линию. И воинственно застыл, прислушиваясь к ровному голосу генерала.

— ...Противник занимал все господствующие высоты. Успел создать глубокую, эшелонированную оборону...

Дарья Ильинична тихонько подметала пол, подбирала обрывки газет. Как начнет генерал про войну — тоскливо ей делалось, хоть плачь. Вспоминала она, как муж уезжал на фронт, как плакала. Станция, теплушки, свисток паровоза. Сколько времени прошло, а все помнила этот свисток — с ним исчез ее Петр, навсегда... И этих ей жалко было, живых, — ущербные они были, на вид только бодрые, а оденутся в чистое — сидят тихие, задумчивые. Генерал рассказывает, как танки в атаку сквозь гарь и огонь, а Павел Силыч глядит в окно, растирает широкий, багровый шрам поперек груди. Сидит в нем хвороба, гнетет. Слушала генерала Дарья Ильинична, видела: идут, громяхают страшные танки по дороге. На мясорубки похожие — крутятся

зубчатые колеса, скрежещут. И Петра ее давят... И слабели у нее ноги, в глазах темнело — скорей бы табулетку. Села Дарья Ильинична, прижалась лопатками к стене, закрыла глаза и вдруг сквозь шум в голове услышала чей-то сиплый, плаксивый голос:

— Узнал я вас, товарищ генерал... Извиняюсь, это я — Пилюгин из полковой разведки... Старший сержант...

Павел Силыч то ли радостно, то ли насмешливо разглядывал неловкого, с длинными, темными руками мужчину, молчал.

— Неужели не припомните, товарищ генерал? На Днепре меня — под трибунал. Водобоязнь с детства... А вы спасли...

Истопник Николай, сидевший неподалеку с кружкой пива, нахмурился и уже присматривался, с какой стороны схватить этого Пилюгина. Не иначе, как пьян тот изрядно, все перепутал, пристал к Павлу Силычу. А Пилюгин все не отходил, пот так и лился по его лицу мутными, крупными каплями. И Павел Силыч, опустив голову, глухо под ноги сказал:

— Да... На Днепре...

— Век не забуду, — в горле у Пилюгина булькнуло, он отвернулся к перегородке, позвал: — Вань, дай-ка что там есть... — взял из рук перепуганного мальчика початую бутылку водки, тонко нарезанную колбасу. — Не побрезгуйте, товарищ генерал... Извините, немного выпивши. Меня ведь тогда, как сукина сына, — в расход бы... Вы приказали: в бой его, в самое пекло! И пошел я. Во весь рост шел — ни одной царапинки.

— Пей, голубчик, пей, — мягко отстранив протянутую кружку, сказал Павел Силыч.

И потеплевшим, грустным взглядом смотрел, как пьет Пилюгин, и нельзя было угадать, узнал он или нет присевшего перед ним человека.

— В долгу я, — сказал Пилюгин. — Часто вспоминаю... А вы здесь... Может, строительный материал нужен? Подброшу...

— Не надо, успокойся, дружок, — прервал его Павел Силыч.

Дарья Ильинична огляделась кругом: люди недоверчиво следили за происходящим, усмехались — мало ли что бывает, да еще спьяну, вот и Павел Силыча в генералы записали. А тот генерал, знай, настоящий, словно задремал, притих.

— Ну, хватит, сынок, не тревожь... — вступилась Дарья Ильинична. — Ступай, окатись холодной водичкой!

— Эх, родимая, — всхлипывая, протянул Пилюгин. — Да я жизни за него не пожалею... Да что там... — и, размазывая кулаками слезы, пошатываясь, побрел в моечную.

Прошла неделя. В пятницу с утра полил дождь. Как начал бить по крыше бани, по стеклам — грохот стоял и темно было везде, неуютно. Перед баней пузырилась, кипела вода. К двум часам истопник Николай, закутавшись в пиджачок, вышел на улицу. За дождевой завесой едва обозначался перелесок, но станционных пакгаузов, откуда выныривала зеленая "Волга", не различить. Постояв минут десять на ступеньках, Николай промок до нитки, вернулся. Выпил пива в буфете, покурил. Снова спустился вниз, под дождь. Люди пробегали мимо — в плащах, с зонтиками, — он же как был мокрый, так и стоял, все ждал.

С полчаса торчал, исхлестанный ливнем, продрог и, когда напала сухая, частая икота, поднялся наверх.

Выпил еще кружку пива, спросил у Дарьи Ильиничны:

— Ильинишна, не догадываешься, почему не приехали?

— Ливень-то какой, — сказала она. — Прямо потоп.

— В буран, в грозу приезжали, как штык.

— Может, машина спортилась. Железо все-таки.

— Эх!

Долго, до самых сумерек, маялся истопник Николай, места себе не находил. Наскреб на четвертинку, курил.

— А если домой к ним — узнать? — Подошел он к Дарье Ильиничне. — Где живут — не знаю.

— Приедут, Коля, приедут. На завтра, видать, отложили...

— Эх, беда!..

Десяток мужчин, знакомых генерала, ждавших его и Павла Силыча, осиротело сновали по предбаннику, ругались на дождь. Стемнело, когда они, наскоро помывшись, попрощались. И совсем одиноко стало Дарье Ильиничне, поняла она, что ей самой чего-то не хватало, потому устала, истомилась. Обозлилась вдруг, швырнула полотенце в угол, пошла к буфетнице Ане — может, от пива полегчает.

Истопник Николай домой не захотел, лег в подсобке спать. Где-то за полночь проснулся от ужасной головной боли, разбудил сторожа Макарыча.

— Чего, опять перебрал? — ворчливо поинтересовался сторож. — Ушицы, может, похлебаешь. Внук наловил ершей... Вот в кастрюльке — разогрей на плите, ступай.

— Пропаду я без них, Макарыч, — простонал Николай.

— Не пойму я тебя, ей-богу.

— А я сам не пойму себя, Макарыч. Не пойму — дурак я набитый или умный больно.

— Слабый ты человек, Николка.

— И то, может, верно. По этой причине, может, Клава ушла от меня. Пропаду я без генерала...

— А тебе он кто — родственник, помогает?

— Помогает, Макарыч...

Сторож вздохнул, прислушался: дождь с ветром налегли на крышу, захлопала железная кровля.

— Помогает, — повторил Николай. — Он мне нужен для душевного обмана, Макарыч. Вроде никакого перерыва в жизни после войны не было. Вроде молодой еще, не контуженный, служу большому человеку.

— Мудрено говоришь, Николка.

Сторож зевнул, подложил под голову еще один березовый веник, покосился на Николая.

— Побрился, никак, чистенький, — сказал он.

— Это я всегда — к их приезду. А сегодня вот. — Николай поднялся, закурил. — Ну, дрыхни, Макарыч. Мне скоро топить. Эх, дожить бы до пятницы...

Дождались пятницы. С утра не было Дарьи Ильиничны — пошла в город по делам, задержалась. Возвращалась уже часам к трем по прихваченной морозцем белой тропинке вдоль железнодорожного полотна. Перелесок стоял голый, томный, пахло осенней гнилью, шпалами. Близко, над головой, проносились с гулом поезда, протяжно свистели. И снова одиноко, тоскливо сделалось на душе. Последний грохотал особенно долго, товарняк, наверно, и Дарья Ильинична остановилась от слабости и сильного сердцебиения. Так и простояла, прижав к груди фанерный ящик — посылку с яблоками из Ташкента, от двоюродной сестры, — пока перестала дрожать земля.

Зеленую "Волгу" она заметила еще издалека, неуклюже побежала — мешало старое тяжелое пальто, — а открыть входную дверь уже не смогла. Ей кто-то подсобил, поднялась в предбанник и не увидела никого, только услышала:

— ...Миллионная группировка фельдмаршала Шер-

нера занимала центр Чехословакии. Готовилась к расправе с населением Праги. И вот мы выступили...

Все или почти все были здесь, попивали пиво, слушали, кивали, переглядывались. И сияющий танкист Ляшенко, и истопник Николай — побритый и постриженный, трезвый.

И не было Павла Силыча. Место его возле окна путовало, висело лишь большое, расшитое полотенце. Почему-то и париться никто не стал, телом белые или смуглые от загара. Генерал поздоровался с Дарьей Ильиничной — утомленно как-то, грустно, закончив рассказ, взялся за одежду.

— Парок пропал нынче, — сказал истопник Николай.

— Полно, братцы, — возразил генерал. — Вон сколько вас... Ну, марш — штурмовать парную! Ильинична доложит мне, кто сдрейфил.

Улыбаясь, посмотрел вслед уходящим в моечную. Потянулся за своим желтым саквояжем, но Николай опередил его, схватил, понес. Так и ушли они, а Дарья Ильинична растерялась, бестолково, без нужды берясь то подметать, то смахивать пыль.

— Милок, — кинулась потом к незнакомому парню. — Открой-ка посылку. Ломай прямо, не успею.

Тот ударом об угол скамьи размозжил посылку. Сок брызнул из нее. Дарья Ильинична набила карманы халата яблоками, бросилась вдогонку.

Генерал уже завел машину, медленно отъезжал. Дарья Ильинична замахала руками, подлетела к дверце.

— Вот... Ташкентские, свежие... — сказала она. — Вам и Павлу Силычу.

Генерал вдруг отвернулся от нее, словно увидел в той стороне что-то важное. С минуту сидел так, сказал:

— Иди в машину, Ильинична. Прокачу немножко.

Голос его поразил Дарью Ильиничну. Она обогнула переднюю часть машины, уселась рядом с генералом. Поехали. Дарья Ильинична высыпала яблоки на сиденье.

— Какие яблоки — красота! — сказал он.

— Ташкентские... — успокаиваясь, повторила Дарья Ильинична.

— А Павел Силыч, генерал наш, помер, — сказал он.

До сознания Дарьи Ильиничны не сразу дошли его слова. Мимо проплывали белые, высокие дома молодого квартала, красные, желтые, синие автомобили, парень с гитарой, женщина с разинутым в хохотом, — потом все слилось, размылось.

— Во вторник хоронили, — донеслось сбоку. — Троекратный залп, речи, венки... От самого министра обороны венки... Я у него поваром служил, в войну. Когда шофера убило, попросился возить. После войны у обоих никого — два бездетных вдовца.

Машина повернула на шоссе, катилась бесшумно, ровно. Шины внизу шуршали, да ветер посвистывал. Заплакала Дарья Ильинична.

— А мне париться противопоказано. Для него, генерала, все делал — чтоб вспомнил, прошлым жил... Холодно тебе, Ильинична? Я печку включу.

Навстречу неслась и неслась дорога, сужалась, тускнела впереди, терялась, а за низинами, едва намеченная, продолжалась вновь — бесконечная, непривычно прямая.

Баня стоит на окраине города, окнами на редкий, истерзанный перелесок. Двухэтажная, из красного кирпича. По пятницам, всегда ровно в два часа, на зеленой "Волге" в баню приезжает генерал.

В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ

Грешно спать в такую ясную и бодрую ночь. После осенних дождей, хмари, нагоняющих скуку, пришла первая сухая ночь — с луной и морозом. Тихими шорохами наполнилась изба, остывала, к окнам припадал легкий ветер, выводил на стеклах хорошо заметные в лунном свете узоры.

Федор Матвеевич "шмалил" одну папиросу за другой, глядел, как дым смешивается с паром, синью заволакивает окно. Ни вставать и топить печь, ни спать не хотелось. Еще часик ему скоротать, и в путь — на базар.

Принялся думать, почему не приехали Зина с мужем. Телеграмму отбили — чтобы ждал днем; до самого вечера томился Федор Матвеевич, извелся. Может, что случилось в дороге — не близкая она, с пересадками надо добираться. Если утром нагрянут, встречать их некому, потому что уедет он спозаранку на базар. Неделю назад уговорились с Егором, давним другом, съездить в райцентр — за сапогами и бензопилой.

В избе так было накурено, что начали слезиться глаза. Федор Матвеевич пачку "Севера" отбросил на пол подальше — теперь не дотянуться до нее. Но опять в голову пришли тревожные думы, и он не удержался,

слез с кровати, нашарил пачку, достал еще папиросу. Покурил сидя, неторопливо пристегнул деревяшку к отнятой выше колена левой ноге. Оделся, повесил на дверь замок, ключ сунул под камень: Зина найдет.

Пока Федор Матвеевич запрягал лошадь, выезжал за ворота, совсем забрезжило. Будто светлым дымом подернулось небо, отчего луна и звезды потускнели, и сделалось до жути холодно.

Оберегая тепло, Федор Матвеевич не шевелился, глядел на спину лошади; не заметил, как добрался до развилки, где нужно было решить, по какой из двух дорог ехать, хотя обе они вели в Судислово, в Егорово село. Лошадь сама взяла влево — в лесу меньше ветра.

Темно в нем. Слышно, как потрескивает первый ледок, поскрипывают вчера еще мокрые, врасплох застигнутые морозом деревья. Набежит сверху ветер, и с них стеклянное крошево сыплется, медленно опадает вниз.

Вдруг в чащобе, пахнувшей прелью, перемешались все лесные звуки, и возникла тихая, до боли знакомая мелодия. Федор Матвеевич сдвинул на затылок шапку, вспомнил слова, подхватил:

Ты меня ждешь...

В молодости, на фронте, пел он эту песню под гитару, до того похожий лицом и голосом на артиста, которого видел и слышал в кинокартине, что его чуть с передовой не сняли, чтобы отправить в полковую самодеятельность. Не успели — ранило его в бою.

Лес поредел, открылась белая, в инее, опушка. Вон уже село виднеется, кое-где с труб слетает дымок. В окнах Егоровой избы, третьей с краю, света нет.

Подъехав близко, в душе ругая Егора — ждать должен, — Федор Матвеевич громко позвал:

— Я-а-гор! А, Ягор!..

— Вижу, иду! — откликнулся из-за угла Егор. — Подмогни, Матвейч...

Матвейч недовольно вздохнул — не сообразил Егор подтащить мешок к воротам, — однако молча сошел с телеги, увязая деревяшкой в мерзлой грязи, двинулся помогать. У Егора тоже деревяшка, тоже цеплялась, и ковыляли они с мешком трудно. Поехали. Уже за селом отдышался Егор, спросил:

— Зятек-то не прибыл?

— Застряли чего-то. Дорога, видать, забита.

— Приедут, никуда не денутся, — заверил Егор. — Смотрю, ты всего один мешок набил...

— А куда два-то? Лошадь не потянет. На базаре еще с ними торчать, людям глаза мозолить.

— А что тут такого? — воскликнул Егор. — Своя же картошка! Хочу — продаю. Нам со старухой ее девать некуда. Пропадет она. Не корысти ради... Мне пенсии хватает. А на базар с пустыми руками... — Егор вдруг схватился за грудь, закашлялся. — Воздух-то нынче какой. Дых перешибает, голову кружит...

— А я, башка дырявая, настоечки бутылку забыл, — проговорил Матвейч. — Спробовать с тобой хотел. Вишневая...

— Лучше бы и не вспоминал... Хороша все-таки погода!

Небо уже очистилось от серой дымки, сделалось сизым, прозрачным; по обе стороны простерлись синие от изморози поля. Впереди виднелся густой лес — отсекал небо от земли.

Лошадь пошла быстрее. Егор повеселел, крутил головой, смотрел на серебристые стога соломы, на легкие, будто из дыма, березовые перелески.

— Гармонь бы сейчас! — вздохнул он.

— Ишь ты, молодой! — хмыкнул Матвейч.

Из-за леса поднялось непомерно большое солнце, озарило холодным светом оцепенелые просторы. Все вокруг засверкало, переменялось.

Веселые, чуть обожженные морозным ветерком, Матвейч и Егор въехали в городок. Звонко прогромыхали по асфальту, по бульжнику, и вот он, базар; гудят на нем одним забором отгороженные от глаз колхозный рынок и "толкучка". На рынке особой бойкости не чувствуется, зато рядом, над "толкучкой", даже воздух как бы накален, взбудоражен.

Видел Матвейч, как у Егора начинает подергиваться щека, губы складываются для разгульного свиста; он знал эту слабость Егора — привлечь к себе внимание хотя бы пустячным удалством, чем угодно потешить людей.

В новом полушубке, в лихо сидящей на голове лисялой кроличьей шапке, Егор высматривал место, где удобнее остановиться. Но Матвейч дернул его за рукав, показал на пустырь слева от ворот, и Егор понял, что дальше, на самый рынок, подвода не попадет. Быстро смирился, слез с телеги, отвел лошадь к забору.

Сволокли мешки.

Матвейч первым двинулся к рядам — к лысому мужику с мешком точно такой же, как и у них, картошки.

— Почему? — спросил Матвейч.
— Рубль ведро, — ответил тот, глядя мимо.
— А в мешке сколько будет?
— Шесть ведер...
— За всю сколько берешь?
— Считать, что ли, не можешь? — обиженно протянул мужик. — Прошу шесть, отдаю за пять...

— Понятно, — проговорил Матвейч.

Вернулся к Егору, который, приплясывая на одной ноге, зазывал прохожую женщину:

— Налетай — подешевело!..

— Там за пять отдают, — сказал Матвейч. — Давай за четыре сбагрим свою...

— Алкоголик небось, — предположил Егор. — Похмелиться небось торопится!

— Давай за четыре, — уговаривал Матвейч. — Чего стоять-то? Не привык я, ей-богу...

Егор укоризненно покосился на Матвейча, продолжал:

— Эй, дамочка нарядная, забирай даром!..

"Дамочка" в ответ лишь снисходительно улыбнулась. Зато шедшая следом пожилая женщина прибавила шаг, направляясь к ним.

— Картошка-то больно хорошая, — оценила она, взяв картофелину, подержала в широкой ладони.

— Яблока вкуснее! — похвалил Егор.

— Четыре рубля, — поспешно сказал Матвейч.

— Шутите, никак? — ласково улыбаясь, сказала женщина.

— Истинная правда, — проговорил Матвейч. — Стоять неохота...

— А довезете? Тут недалеко.

— За доставку полагается, — недовольно проворчал Егор, но осекся от тычка — Матвейч начал сердиться.

— Дам, дам, не обижу... — успокоила женщина.

Уложив мешки, молча ехали до тихого чистенького переулка; подкатили к дому с голубыми резными наличниками.

Через ворота, тоже резные, крашенные охрой, понесли мешок, высыпали картошку на пол в сенцах, сходили за вторым. Стояли потом посреди двора, не глядя друг на друга, безмолвно ждали, пока женщина принесет деньги.

Она вышла, подала по четыре рубля каждому, а рубль за доставку протянула Егору отдельно.

Егор взглянул на Матвейча, понял: не простит он

ему жадности; осторожно отвел от себя руку женщины, тихо проговорил:

— Не надо, пошутил я...

— Какие шутки... Картошка-то отборная, — оторопев, сказала женщина, пытаясь вложить рубль Егору в карман.

Егор увернулся, двинулся к подводе, обернулся у ворот: облегченно, радостно махнул рукой:

— До свиданья... Шутник я.

Влез в телегу, взял вожжи; заметив, что Матвеич сел спиной к нему, сник и всю дорогу до базара ехал с видом провинившегося пацана.

Перед въездом остановились, прислушались к людскому гомону, который, ни на минуту не стихая, перекатывался над рядами.

Матвеич зашевелился, достал папиросы, мягко ткнул пачкой в плечо Егора. Оба закурили, встретились глазами. Егор задохнулся дымом, откашлялся, сказал хрипло:

— Сапог, боюсь, нет...

— Да шут с ними, — успокоил его Матвеич, выпростал из сена сапог, добавил: — В этих проходим. Нечего суетиться...

По лицу его пробежала улыбка, он глядел на поседевший висок Егора, может, вспомнил, как двадцатилетней давности случай свел их в этом городе.

Матвеич тогда в магазине сапог примеривал и собирался уже деньги за полную пару платить. А тут Егор подошел, пристал к Матвеичу: дай правый померить! И надо же — ему тоже сорок третий размер нужен. Ударили по рукам, купили в складчину. Потом лет пять горя не знали — поменялись теми сапогами, которые вроде бы довесками при покупке считались, скопились у каждого. С этого, можно сказать, дружба началась. За сапогами вместе ездили...

Егор угадал воспоминания Матвеича, опять поперхнулся, выплюнул окуроч, озябшим кулаком протер глаза.

— Пошли, что ли, — предложил Матвеич. — Хоть согреемся...

Солнце уже высоко стояло, подтаивала земля, густо поднимался над базарными рядами пар.

Матвеич и Егор заковыляли мимо прилавков, мимо разложенной на сбитой, грязноватой траве всякой всячины. Порой стояли оглушенные, без нужды заглядываясь каким-нибудь товаром, шли дальше. Матвеич вдруг повернул к шумливому мужику: уж очень

складно и громко кричал тот. Сразу не понять, чем он торгует; из всего, что лежало перед ним как попало, различить удалось обрывок телефонного провода, алюминиевую ложку, до блеска натертую наждаком.

Матвейч вынул из кармана полушубка радиокатушку бракованную (помогал по старой памяти соседскому мальчику мастерить детекторные приемники), незаметно бросил в кучу. Сделал вид, будто заинтересовался товаром. Мужик сбавил голос, смерил взглядом Матвейча.

— Бери, бери, все сгодится! — сказал он. — У тебя, гляжу, ничего не завалывается, глаз-ватерпас!

Матвейч нагнулся, катушку ту самую, им подброшенную, поднял:

— Транзистор! — со значением произнес мужик. — Дефицит.

— Почему? — спросил Матвейч.

— Сколько не жалко! Дай два целковых — пусть мне в убыток будет...

— Глянь, что делается-то? — печально проговорил Матвейч, посмотрев на Егора. — Что делается...

— Брось, Матвейч, игру затевать, — потянул его за рукав Егор. — Пошли отсюда. Нет тут сапогов.

— Пошли!

Как бы в забывчивости постоял Матвейч, выронил радиокатушку, сильно скрипя ремнями протеза, отошел.

— Меня винишь, что я театр устраиваю, а сам... — сказал Егор. Не договорил, поймав во взгляде Матвейча такую грусть, какую никто не увидит, кроме него, Егора. — Весной пахнет... В раймаге найдем.

Народу в раймаге тоже не счесть, и звук под ногами такой, будто толкут стекло — пол песком посыпан. И ходить, и дышать тяжело. Матвейч с Егором протиснулись к обувному отделу.

— Есть, Матвейч! — радостно сообщил Егор. — Наши — сорок третий размер!.. Барышня, подай, любезная, сорок третий! — обратился он к молоденькой продавщице. — Ему левый подай... — показал на Матвейча, который, усевшись на низенькой скамейке, ждал. — А мне правый...

То ли замечталась она, то ли высматривала кого-то; после долгого молчания, так и не посмотрев на Егора, ответила:

— Сразу два не выдаем, если на примерку!

— А ты не давай, милая, — согласился Егор. Потом, догадываясь, почему не выдают сразу оба сапога, встре-

вожился: — Или, думаешь, убежим мы с ними? Или не догоните рысаков таких?..

— Ладно, Егор, — примирительно сказал Матвейч, боясь, как бы Егор не вступил в бесполезный спор. — Пусть один даст, какой там...

Продавщица сунула Матвейчу сапог. Матвейч увернулся от каблука, стащил с ноги старый сапог, затянул потуже портянку, надел. Встал, сказал Егору:

— Норма вроде.

Вернув сапог, он ждал, когда свой, правый, померяет Егор. Тот повозился с сапогом, потопал, постоял на здоровой ноге.

— Жмет, — виновато, досадуя, что подвел Матвейча, сказал он. — Может, размер не тот?

— Сорок третий, гражданин! — уточнила продавщица. — Я не слепая.

— Да ведь и мы не хромые родились... — начиная волноваться, негромко проговорил Егор. Увидев, как по лицу Матвейча заходили желваки, сдержался, закончил с нарочитым смехом: — Неужто нога растет, в сапог не лезет?

Он быстро отошел от прилавка, будто кто поманил его, направился в отдел культспорттоваров. По-детски удивленный, остановился на полпути, замороженно смотрел в угол магазина. И Матвейч устремил взгляд туда: бежал там по кругу, по блестящим рельсам, тащил за собой пяток зеленых вагонов паровозик. Пощелкивали, сами переводились стрелки; загорались зеленым огнем, пропускали состав семафоры. Егор приблизился, восторженный, забывший обо всем на свете, опустился на колено, следил за работой железной дороги. Паровоз все стучал красными колесиками, бойко катились вагоны...

— Ну прямо настоящая! — прошептал Егор, придвигаясь ближе. — Прямо сказка!..

Матвейч стоял рядом, то хмурясь, то улыбаясь.

— Знаешь, Матвейч! — дрогнувшим голосом сказал Егор, достал из кармана огрызок карандаша. — Знаешь, как мы в партизанах...

Матвейч не успел ни окликнуть, ни остановить Егорову руку. Ужимаясь, делаясь незаметным, Егор поднес огрызок к рельсам. Паровоз вынырнул из туннеля, наскочил на препятствие, со звоном опрокинулся.

— Ттама! — прошептал Егор.

Матвейч, не любивший скандалов, на мгновение как бы оглох — так не хотелось ему слышать жужжания упавшей игрушки. Знал он по опыту, раздадутся сей-

час голоса, начнется брань. И он сделал невольное движение к прилавку, пошел, глядя прямо на продавщицу, заслоняя от нее Егора. Она, услышав грохот, кинулась было на шум, но заметила Матвеича, шедшего к ней со странной решимостью.

Тем временем Егор опомнился, подобрал паровозик, зажал ладонью колесики, словно котенку рот, и тихо, замирая, опустил поезд на рельсы.

Прикрывая спиной Егора, Матвеич грузно оперся на мотоциклетную шину, попросил:

— Ружьецо шешнадцатый калибр, будьте добрые, покажите...

Все слушал, что делается позади, при этом подкидывая, взвешивая ружье. Пошлепывал ладонью по шейке приклада, трогал пальцами желтоватый налет смазки на стволах. Услышав лязг вновь покотившего по рельсам поезда, вернул ружье, обернулся.

Егор тяжело поднимался с пола, отряхивался, глядел на Матвеича: не сильно ли расстроил? Вроде не очень. Егор улыбнулся, забыв о происшествии. Чуть наклонив голову, слушал: по соседству играли на аккордеоне. Заманивая Матвеича, поспешил туда. Беспокойно, челноком заходил вдоль прилавка, заметил тальянку.

— Подай-ка, барышня!..

Минуту спустя заиграл страдания, застучал деревяшкой. Ну прямо молоденький он, совсем молоденький. Седой чуб выбился из-под шапки. Кружится у него голова, стосковался по веселью.

Матвеич, сам того не замечая, подергивал плечами.

Гармонь пела, туго рассыпала звуки, и до того был задирист, по-молодому диковат гармонист, что все оказавшиеся рядом затрясли головами. Кольцом окружили.

По спине Матвеича будто дробины посыпались, холодок пробежал. Как лет тридцать назад на деревенском пятачке — сейчас в пляс пустится. Стучала об пол его деревяшка.

— Потихе, гражданин, здесь не пляшут!

— Эх, сплясал бы я тебе, кабы... — сказал Матвеич.

Ехали они домой под вечер, в закатной тишине. Снова подмораживало: густела, шлепала под копытами лошади грязь. С остывающих синих полей тянуло болотной сыростью, запахом прелой соломы. В холодющем небе перекликались невидимые журавли.

Может, их и не было там, а только чудились едва слышные крики.

Тихо поскрипывала телега. То ли вздремнул, то ли задумался Егор. Матвеич вздыхал — никак не отставала от него досада.

— Нога чего-то мерзнет, — наконец глухо, из сена проговорил Егор. — Четунчик ба сейчас!..

— Отстань, — сказал Матвеич, будто мог бы четвертинку ту достать, но назло не станет. — Заслужил ты ее? Скоморошничал. Вася Теркин.

— Раз так получилось.

— С тобой всегда так.

— Скажешь: всегда!.. Выходит, я один виноват.

— Покуражился!.. Партизан... Кашу небось варил для партизан, а тут — игрушки под откос...

Трудно было Егору угадать, шутит Матвеич или говорит всерьез.

На всякий случай, чтобы не дать себя обидеть, сказал:

— Тоже мне герой нашелся!

— Мне хоть в атаке оторвало, на броне...

— А я что, сам, что ли, отпилил, дурень? На мину нарвался...

— В тылу-то вражьем — мины?

— А ты как думал? Или консервы они там закапывали?

— Разошелся! — проворчал Матвеич. — Судить, что ли, тебя собрался? Совесть тебе судья...

— Вона как ты... — поднимаясь, зябко кутаясь в воротник, сказал Егор. — Не веришь, значит. Может, бумагу тебе занести, носом ткнуть, бюрократ проклятый?

— Липу-то?..

— Ну, погоди! — заполошно крикнул Егор. Внезапно перевалился через задок, шмякнулся наземь. Добавил вслед: — Уж ты пожалеешь!..

Услыхав возню, следовавший за ней глухой стук, Матвеич обернулся. Отстав от подводы, Егор стоял посреди дороги, рукавом вытирая перемазанное лицо. Матвеич натянул вожжи, придержал лошадь. Стал дожидаться, что будет дальше.

— Катись, катись! — хрипло прокричал Егор. — Не дождешься, не сяду!..

— Пешком пойдешь? — от досады Матвеичу сдавило горло. — Какой быстрый!..

— Полечу на ТУ-104! — сердито отвернулся Егор.

Быстро темнело, сумерками затягивало поля, и лишь в небе задержалась еще ясная синь предвечерья.

В этом безмолвном, покойном просторе особенно тягостна была неожиданная ссора. Чувствуя давящую сердце вину, Матвейч подыскивал в уме такие слова, какими можно Егорову обиду снять и самого не уронить. Голова, однако, устала — ничего в ней подходящего не найти.

— Езжай, не задерживай! — крикнул ему Егор, не выдержал — пошел полем, минуя подводу.

Видно было, как трудно ковыляет он по размягшему за день жнивью, как размахивает руками, будто птица крыльями. Матвейч маялся, прикидывал, когда Егор выдохнется, свернет на дорогу.

— Черт хромой! — не то на себя, не то на Егора ругнулся Матвейч.

Тихонько пустил лошадь. Догнав Егора, уже шагавшего по дороге, сошел с телеги, и пошли они рядом.

Чуть различалась, блестела грязь, цепко пристава-ла к ногам. Долго шли, долго храбрились, частым дыханием выдавая усталость. Первым изумленно просто-нал Матвейч, увидел: лошадь ушла вперед. Крикнул в полумрак:

— Тпру-у, окаянная! Тпру-у!..

Телегу было слышно — месила она колесами грязь; все отдалялся ее шум. Матвейч и Егор разом подались вперед, изобразили нечто похожее на бег. Пробежав метров двадцать, Матвейч почувствовал, как обжигает спину и бедро ремень протеза. Потом стало нево-мogu...

— Погоди, Матвейч, погоди, — подставил ему плечо Егор. — Не надрывайся... Не денется она никуда, станет...

— Не серчай, Егор, прости... — прошептал Матвейч.

— Точно, стоит! — сдавленным голосом сообщил Егор. — Вот bestия!

Он помог Матвейчу залезть в телегу, уложил, на-крыл сеном. Взял вожжи, и снова внизу затренькало, захрустело. Морозный ветер обжег лицо... Далеко за лесом блеснул желтый месяц.

— С сапогами-то... вина моя... — признался Егор. — Склероз это называется, Матвейч. Забыл, что двое но-сок на ногу натянул, сверху — портянка... Эх!.. Можно сказать, такая вот ночь была... — продолжал он, тоскли-во уставясь на желтый серп луны. — Помню, теплынь. Правду сказать, без боев месяц жили: Крупные силы стянули, карателей ихних... Обложили, прямо, дышать нечем. Нас троих — за картошкой. Поверишь, они, сво-лочи, картошку заминировали. Мешок успели нарыть,

он-то, мешок, меня и спас... Очнулся — ноги нет — Егор помолчал, вздохнул раз-два, добавил: — А под откос пускал! Огня-то сколько, шума! В минном деле я шибко разбирался, на санях возили меня на диверсии-то...

— Ох! — простонал Матвеич.

— Неужто до крови? — забеспокоился Егор.

— Мокро чуток, — ответил Матвеич. — И стреляет...

— А то заночуй у меня, — предложил Егор.

— Зятек небось приехал — неудобно.

Впереди редкими огнями обозначилось Судислово, Егорово село.

— Доедешь? — спросил Егор, слезая с телеги.

— Тут ехать-то...

Матвеич сел, пожал руку Егору, поглядел ему вслед — на низкую сутулую фигуру в неярком свете окна. И поехал...

Ледок в лесу, кажется, был еще прежний, утренний. Кололся он нежно и младенческим своим звоном печалил душу. И снова запах веников, нетопленной бани — запах забвения, увядшей листвы, еще одного, незаметно пролетевшего лета.

Темная ночь,

Только пули свистят по степи...

Матвеич пел до самой деревни, пел у ворот, потом во дворе, не торопясь в избу, хотя знал уже, что дочь с зятем приехали — горит свет и топится печь. Он распряг лошадь, напоил ее, дал сена.

Вошел в избу. Сильно хромая, направился к зятю; сидел за покрытым новой клеенкой столом, читал газету молодой гладкий парень. Обнялись, поцеловались трижды, как полагается при такой редкостной встрече. Появилась Зинка. Не в меру располневшая, с быстрым цепким взглядом, какого раньше Матвеич не замечал. Она не скрыла, что недовольна, как одет Матвеич, как нескладно держится на ноге.

— Называется, родную дочь встречаем! — сказала Зина.

— На базар ездил, доченька, сапоги искал... А ждал вас вчера.

— Ладно, умойся, ужинать будем.

Зять, звали его Костей, уткнулся в газету, будто, поздоровавшись, исполнил обязанность — теперь не подходи! Матвеич пробрался за печку, налил в тазик теплой воды, сыпанул туда марганцовки, снял протез. Опустил в воду распухший обрубок, откинулся на бре-

венчатую стену. Хорошо стало, тепло... Дочь отодвинула ситцевый полог:

— Ждем...

Матвейч выбрался, по пути прихватил бутылку, которую хотел утром в дорогу взять. Поставил на стол — к колбасе, к розовым ломтям рыбы, лимонным долькам. Не сразу разглядел бутылку коньяку, маленькие, с наперсток, рюмки.

— Это еще что? — на лице дочери отразилось недовольство.

— Да маленько того — к приезду, — смущенно проговорил Матвейч.

— Убери пока, — сказала Зина.

Матвейч отнес бутылку в сенцы.

Зять сложил газету, спокойно, будто ничего не произошло, разлил по рюмкам коньяк.

— За наш отпуск! — подняла свою Зина.

Матвейч осторожно, боясь раздавить хрупкую, невидную в кулаке посуду, плеснул в рот.

— Колбасу ешь, отец!

Колбасу эту, нарезанную увесистыми кружочками, Зина пододвинула Матвейчу под руку, будто изголодался он по ней, век не видел.

— Мне лучше сала...

— Сало — это хорошо, — сказал зять, посасывая лимон. — Тем более — свое.

— А то чужое... — ощущая холодок, пробежавший между ним и зятем, проговорил Матвейч.

И посмотрел на того, вежливого, аккуратного до смертной скуки.

Помнил его другого: до отъезда в город, после техникума. Прыткого, живого, — бывало, протез поможет пристегнуть, навоз раскидает на огороде, наденет шубу на голое тело, побежит в магазин. Руки у него и сейчас были широкие, тяжелые, а вот — надо же — не тот. Будто внутри у него, чувствовал Матвейч, что-то запеклось, остыло, прямо камень. И лицо, и глаза поостыли, и не старайся выманить из них тепло.

Зинка же раньше была тихоня, глаза лишний раз не поднимет. С пятнадцати лет Матвейч растил ее один, без рано умершей Татьянушки. А дитем малым была — болела часто. Чуть дунет сквозняк — лежит вся в жару. От этого воспоминания даже как бы обожгло грудь. Как раз в том месте, куда дочь припадала маленькой, болезненно горячей головой. Ночи не спал, слушал, как она дышит — с присвистом, содрогаясь всем тельцем.

А он боялся дышать — держал девочку, словно свечу со слабым, гаснущим пламенем...

Матвейч еще раз пригляделся к зятю, к дочери, вздохнул.

Пока училась на швею-скоростницу, Матвейч видел ее часто: приезжала, отсыпалась, отъедалась. Потом улетела, вышла замуж. Знал Матвейч, что жива-здорова: денежные переводы не возвращаются — значит, получает. Потом приехали в отпуск. И вот сейчас приехали — через два года.

— Завгаражом теперь Костя, — поймав взгляд Матвейча, сказала Зина. — Больших людей обслуживает. На работу с портфелем ходит... Сапог-то купил?

— Нет, — вздохнул Матвейч.

— И не надо, — чему-то радуясь, вскочила Зина. — Мы тебе привезли.

Она вынесла из-за ширмы не сапог и не ботинок, а что-то похожее на то и другое, сверкающее пряжками, хромовое, с толстой подошвой. Матвейч принял подарок, пощелкал по блестящему тупому носу, по подошве.

— Спасибо! — сказал Матвейч. Озабоченно вскинул на Зину глаза, спросил: — А Егору?

— Какому еще Егору? — озлилась она. — Что он — родня, что ли?

— Ну, ты ведь знаешь, — сглотнув комок в горле, тихо произнес Матвейч. — Ты же знаешь...

— Это мы доставали в специальном магазине для инвалидов, — пояснила Зина. — Там парами не продают.

От второй рюмки Матвейч поперхнулся, встал, вышел во двор. Месяц стоял высоко в небе, звездная россыпь вокруг серпа тускнела, подергивалась светлым туманом. Холодные пятна света неподвижно лежали на льду узкого пруда за воротами, ветер гнал по нему пучки сена. Взвесив еще раз дареную обувь, Матвейч размахнулся ею, кинул. Где-то в середине пруда смачно хряснуло, булькнуло, темно разлилась вода. Матвейч, не тая сожаления, вздохнул, присел, чтобы лучше рассмотреть, утонула обувь или еще держится на плаву. Вернулся во двор, запряг лошадь.

— Савраску отведу, — приоткрыв дверь, протаскивая в щель полушубок, сказал он. — Может, заночую...

Бутылку ту самую взял, сел в телегу. На околице лошадь сама свернула в лес — теплее, главное, короче до Судислова...

ПОИСК ГАРМОНИИ

Сначала сказано: "...Если природа, приютившая тебя в часы душевного смятения, посылает благодать как награду за то, что ты решил честно нести свой крест, разве этот момент обновления, когда каждый нерв оживает и ликует, не назовешь иначе как счастье? Он еще жался к сосне, еще чувствовал ее тяжесть и упругость. Что-то непонятное творилось с ним, его пронизывало ощущение, будто и он — дерево. Может, тоже сосна. Только поменьше этой, корнями достигающей до сердцевины земли".

И через несколько строк: "Где-то близко, не дальше, чем в километре отсюда, бабахнул выстрел и как рукой снял с души благодать..."

Вот очевидное: некоторый излишек пафоса снят опытной писательской рукой. Последние по времени написания вещи И. Кашафутдинова сотворены куда мастероватее, чем первые, а повесть "Черная тропка", откуда позаимствованы цитаты, как раз из этих последних. Но процитированные строки (а на их месте могли оказаться и многие другие) отражают в какой-то мере и постоянную внутреннюю конфликтность кашафутдиновской прозы, и суть этой конфликтности.

Уже, казалось бы, в беспросветный тупик зашел литературный герой, нет выхода — не существованию, душе его, — и непременно забрезжит свет на его пути, свет надежды на иную жизнь.

Уже осуществились мечты и чаяния человека, он прямо-таки приподнят над самим собой, грешным, — и тут же прозвучит трезвый, влекущий к земле зов далеких от благости обстоятельств.

И все сначала: вера, надежда, чаяния, прорыв к светлой и доброй жизни...

Одна из первых повестей И. Кашафутдинова названа "Год беспокойного солнца". Она четко отразила черты нашей литературы 60-х годов, особенно той ее части, что получила название "молодежной прозы". Герои повести так остроумны и обаятельны, тратят так много сил на борьбу с громкой фразой, так скоры на суждения и поступки... Да и само название точно "прописано" во времени — есть в нем второй план, по всем статьям

мудро-иносказательный (вот он, признак истинно молодого взгляда на мир!), а о том, сколько раз вспыхивало солнце в журнальных и книжных заголовках два десятилетия назад, и говорить не приходится. Полуденное светило исправно горело в небесах, на ладонях, в душах, в сердцах, в рюкзаках и т. д. и т. п. Это — не хорошо и не плохо само по себе, это — было, и без прошлого не понять писательского самодвижения. В конечном счете важно, что стояло за яркими атрибутами романтического письма.

Выдавая себя в подмосковном доме отдыха за сверхсекретных, измученных работой физиков, герои повести просто резвятся от избытка жизненных сил. Когда один из тесной компании "погибает" при исполнении служебных обязанностей, чтобы положить конец необременительному отпускному знакомству, а другой, Сергей, действительно близок к смерти из-за аварии на атомном реакторе, — это уже горький парадокс жизни, слишком горький, чтобы не заметить, как тянется автор к спасительной силе "самоигрального" сюжета. В повести упоминается фильм "Девять дней одного года", знаменитый и памятный для целого поколения фильм. "Год беспокойного солнца" — в известном смысле вариации на схожую тему, когда о чувстве долга не принято говорить вслух, а именно оно определяет суть человеческого поведения, когда необременительный "треп" прикрывает святость и предельную самоотверженность мужской дружбы, братства единомышленников... Но не только вариации.

Повесть — о великом счастье жить. Ходить, дышать, слушать звуки окружающего мира — даже выстрелы на стрельбище есть знак какого-то действия, произведенного живыми людьми. До предела обостренное мировосприятие естественно для Сергея, поставленного на грань небытия. Не забудем к тому же, что написана повесть молодым литератором, журналистом, некоторая размашистость слова и интенсивность красок вполне объяснимы: "Свет и тень у входа в тамбур — резкие, словно при вспышке автогена, когда невольно поднимаешь руку, чтобы защитить глаза, черный пульт и белый, сияющий пол — и я теряюсь, как человек, застигнутый среди дня ночью, наступившей внезапно, минуя привычные сумерки..." Эрудиция и философичность — неперенменные признаки такой манеры письма: "Мой далекий праотец оставил своим внукам камень с клинописью. Все, что я прочитал, увидел и услышал, в каменном эквиваленте составило бы Арабат. С чем тогда сравнить то, что знали и оставили Эйнштейн, Бор, Курчатов, — с великим Уральским хребтом, Кордильерами?" И снова и снова — о великом чуде жизни: "Солнце восходило, медленно пробиваясь сквозь желтизну собственного сияния. Его четкий круг напоминал сечение раскаленного стержня. Я смотрел на него в упор, ощущая, как теплеют и увлажняются глаза".

Такой взгляд на действительность отличается чисто языческой непосредственностью. Впрочем, герой повести вовсе не склонен существовать подобно зеленому злаку под теплым солнцем. Он вполне сознательно жертвует собой во время аварии. Да и страстное желание Сергея, чтобы его погибший на войне отец оказался именно тем подводником, что когда-то ценой собственной жизни спас жизнь моряку-союзнику, — само это желание говорит о многом. Решительный и скорый поступок во имя благородной цели — таково кредо героя повести, героя, конечно же, романтического склада, человека, по-юношески бегущего всяческой суеты, склонного преклоняться перед благом жизни при заметном пренебрежении жизненными благами.

Жизнь — да, но не жизнь вообще, а нечто, достойное человека, — эта мысль часто возникает в "Годе беспокойного солнца", она, эта мысль, и "держит" повесть. Чувство долга, присутствующее главному герою, кажется данным раз и навсегда, зато проходящая на втором плане история заставляет задуматься, сколь много усилий требуется иногда человеку, чтобы стать равным самому себе. В руках у Сергея оказывается рукопись, принадлежащая его старшему другу, и персонаж неизвестного романа, некий лейтенант, мучительно переживает тот факт, что по его вине убит неизвестный вместо сбежавшего из заключения преступника. Повесть движется, стремясь следовать стройным законам высокой драмы, и как раз больная, разбуженная совесть никому не ведомого лейтенанта заставляет совсем иначе смотреть на все повествование, лишает его видимой стройности и завершенности. Так возникает один из ведущих мотивов кашафутдиновской прозы, мотив всегда, постоянно тревожный. Где-то вдаль, как идеал, — такая жизнь человека, когда он находится в глубоком и праведном согласии с собственной совестью, с окружающими его людьми, с окружающей его природой — со всем бесконечным миром. Достичь идеала трудно, нарушить любую из человеческих связей слишком легко и просто; эти разрывы чутко улавливаются писателем, который — в полном соответствии с традициями русской литературы — считает нормой ясность отношения и требовательность к своему герою.

Как, почему поселяется в нас беспокойство, заставляя строга, даже с болезненной остротой всматриваться в себя и в других?

Бывает просто так: попалось на глаза заурядное объявление о сдаче жилья, "оторопело шевельнулась память", и вот уже занятый и уставший в командировке человек мчится прочь от поезда, которого с таким нетерпением ожидал: "Я торопливо... боясь раздумать, зашагал на остановку троллейбуса, который подвезет меня к молочному рынку, откуда до Клавдюхиного дома — четверть часа ходьбы" (рассказ "Сдается комната")

Можно подумать, у того, кто рассказывает о себе всю эту историю, связаны с "Клавдюхиным домом" какие-то эгегические и прекрасные воспоминания. Ничего подобного! Когда-то в этом доме начинающий журналист обрел крышу над головой, временное и не особо теплое пристанище. Клавдюха, писавшая столь памятное объявление "сдаеця комната", оказалась особой малопривлекательной, если не сказать больше. И ее муж, Фрол Романьч, предельно больной человек, и внучка Женя, забитая и запуганная девочка, — все и вся в этом доме задавлено, лишено нормальной жизни властной хозяйкой. Дом отдан коврам и прочему добру, из-за него потерял здоровье симпатичный Фрол Романьч, из-за него брошена на унылое попечение бабки "сиротски обделенная детскими радостями" Женечка — родители ее уехали добывать деньги на "Волгу"... Так что же все-таки так сильно потянуло журналиста к жилищу, столь поспешно брошенному им несколько лет назад?

Да, он справляется о Женечке, узнает от мрачно удивленной Клавдюхи, что Женечка уехала куда-то на стройку, узнает, что хозяин дома давно умер, и впору переходить к хилой морали о богатстве, не способном принести счастье. Однако "Клавдюха произнесла: "Теперича я одна!" — торжествующе, с победной растяжкой, словно бы желая хоть этим досадить мне". С моралью тут получается не очень складно — хозяйка памятного дома не особенно склонна к раскаянию, осознанию и т. д. Герой наш уходит с облегчением, уходит "к людям", даже не стремясь объяснить причины и смысл своего странного путешествия.

А он в этом просто не нуждается. Он, как и другие персонажи И. Кашафутдинова, склонен к импульсивному и скорому действию, мотивы которого, при всей их кажущейся незатейливости, не всегда можно объяснить до конца. Так — порыв, стихия, напор...

Логика размышлений и поступков этого действующего лица легко может обернуться логикой наизнанку, навыворот.

Попробуйте спокойно воспринять такую информацию о моряке и рыбаке Григории Мишулине, в данный момент — пассажира электрички: "В чемоданчике его, кроме сменного белья и копченой рыбы, лежали двенадцать тысяч рублей — все теперешнее состояние Григория. С этими деньгами он ехал в неизвестный текстильный поселок к бывшей жене Катюхе, чтобы выкупить сына".

Идея забрать у Катюхи полуторагодовалого сына овладела Григорием сразу же, как только он убедился, что брошен спутницей своей рыбацкой жизни. Маленький Димка превратился в символ того нового будущего, куда устремился его отец — натура не особенно затейливая, но поистине страстная, с уже известной нам способностью подчиняться душевным импульсам. Григорий рассчитал все: он понял, что Катюха вовсе не беско-

рытна, и приготовил в обмен на Димку солидную сумму денег; он пришел к мысли, что для него, бывшего детдомовца, единственная родная душа станет и семьей, и всем на свете. Единственное, что Мишулин не взял в расчет, — что другие люди могут и не принять его точку зрения, такую естественную для него самого. Что он может, например, вступить в конфликт с законом, не предусматривающим покупку и продажу детей. Димка, взятый у Катюхи в обмен на пачки сотенных, в конце концов отобран у Григория работниками милиции — предугадать такой финал было нетрудно.

Вот только драму Мишулина никак не объяснишь юридическим казусом, и рассказ "Верни мне сына..." не свести к потресению, пережитому рыбаком, который увидел вдруг, что он лишился и сына, и денег, — Катюха с ее мужем факта получения многотысячной суммы просто не признают. Это все — финал, а важно то, что ему предшествует.

Главной в рассказе представляется сцена, где Григорий встречается с Димкой, Катюхой и ее новым мужем в их доме. Гнетущая нелепость встречи передана точно и зримо, и детали ее — то, как приходит в себя Димка, как отчаянно распивается принесенный Григорием коньяк, как растеряны Катюха и хозяин дома, — эти и многие другие чисто бытовые детали придают жутковатую реальность идущему диалогу. Григорий, конечно, простодушен и не понимает многих тонкостей, а его предложение насчет компенсации за Димку способно огорошить кого угодно, но душу его никак не обвинишь в темноте и дремучести. Он считает настолько справедливой свою идею устройства Димкиного будущего, настолько очевидной, что просто ослеплен ею и в этом чистосердечном ослеплении не видит никого и ничего вокруг себя. Ни поведения выбитого из колеи Димки, ни потерянности Катюхи, пытающейся устроить какое ни на есть застолье, ни угрюмой молчаливости Катюхиного мужа. Непонимание — взаимное непонимание — жестко разделяет участников странного разговора. И только потому, что Катюха с ее супругом повели себя столь злодейски, отодвинулся неизбежный вопрос: не в том ли проблема, что сложившуюся ситуацию нельзя решить так, чтоб всем было хорошо, всем досталось по справедливости? Что ради своих, пусть и не корыстных, интересов, ради святого чувства мести Григорий готов бестрепетно перекраивать чужую жизнь?

Наивный рыбак обманут и предан, читательское сочувствие ему обеспечено, и тем необходимее увидеть в рассказе, как трудны пути к пониманию даже между близкими когда-то людьми, как мало одного горячего человеческого желания немедленно устроить чье-то счастье. Григорий, на поверку, действует во многом подобно Катюхе, он вынужден к тому откровенной моральной нечистоплотностью бывшей жены. Потому особенно велика

ее вина во всем случившемся. Чудес не бывает — кто-то ведь первым нарушает согласие и лад в сложившихся отношениях. За первым разрушением следует много других...

“Пустыми осиротевшими руками, которые еще помнили тяжесть сыновнего тела, Григорий обнял одинокий куст сирени, сунул голову в парную теплую листву”. Писатель часто оставляет своих героев в момент больших душевных потрясений, и читатель может убедиться, сколь искренни в своих чувствах, как жаждут добра эти далеко не всегда презентабельные с виду люди. Удивляться здесь нечему: наделять людей простых возвышенной и чуткой душой — устойчивая литературная традиция. Следуя ей, И. Кашафутдинов нисколько не теряет своего взгляда на предмет изображения. Все ощутимее трезвость его суждений, при этом вовсе не забыты романтика и поэзия окружающего нас мира.

Качества взрывчатых натур, подобных Григорию Мишулину, кажутся существующими всегда, вечно, они могут неожиданно напомнить о себе в любую минуту. Но что значит — вечно? Были ведь во времена оно заложены в человека и тяга к светлым началам жизни, и стремление к совершенству.

Вся жизнь Егора Конкина круто изменилась в тот день, когда он, еще подростком, взял в руки полуобгоревшую книгу о Пушкине. “Еще с детства это имя, слышанное от бабушки, светло и отдаленно, словно звезда в небесной выси, держалось в памяти. Конкин, читая книгу, не до всего дошел умом, но накопившую на него тревогу чувствовал сердцем. С того момента, когда Пушкин познакомился с Натальей и полюбил ее, Конкин, еще не знавший, чем обернется поэту любовь, тайну и смысл которой постигнуть в том мальчишеском возрасте невозможно, тем не менее был охвачен жутковатым предчувствием беды”. Сказать, что на Руси стало больше одним поклонником Пушкина, пушкинистом и пушкиноведом, — не сказать ничего. Егор воспринял судьбу Поэта как нечто едва ли не напрямую относящееся к его собственной судьбе.

Герой рассказа “Почтовый дилижанс” на всю жизнь сохранил святую преданность гению. История отношений Пушкина с Натальей Гончаровой так потрясла Егора, так жаждал он другого, благоприятного для нашей литературы хода событий более чем столетней давности, что ему даже стали являться видения из прошлых времен, и двигался перед его мысленным взором почтовый дилижанс с роковым письмом Поэта к Наталье Ивановне, матери Натали. Сосредоточенным усилием воли Егор стремился предотвратить неумолимый ход событий, дилижанс попал в аварию, на него нападали разбойники, в общем, письмо исчезало. Навеки. “И только Конкин, только он один, знал, что в нем написано: “Когда я увидел ее в первый раз... я полюбил ее, голова у меня закружилась...”

Справедливости ради надо сказать, что Егор Конкин не осуждал Наталью Николаевну и к чувству великого поэта относился с полным пониманием. Он даже стал регулярно наезжать в бывшую усадьбу Гончаровых, и все перипетии, связанные с восстановлением разрушенного фашистами имения, принимал необычайно близко к сердцу...

Человек с талантливой душой, безвредный чудак, о котором написано с добродушной и понимающей улыбкой, — такова только одна ипостась неукротимого Егора Конкина. Оставаясь литературным характером, чья "чуждинка" помогает лучше увидеть несовершенства реального мира, Егор упорно борется с этими самыми несовершенствами.

Зрелище разрушенной усадьбы Гончаровых так потрясло его, что он отправился к местным властям с просьбой принять кровных тысячу рублей на восстановительные работы. Денег у него не приняли, хотя он и пытался прошибить девушек-служащих чтением "Памятника". Когда же началось восстановление усадьбы за государственный счет, Егор придирчиво следил за работой строителей и даже уличил прораба в махинациях. И начинается рассказ с того, что в милиции разбирается драка Егора с прорабом-махинатором. В чудачествах Конкина обнаруживается четкая система. Для него быть достойным гения и означает ни в чем не поступиться совестью, немедленно броситься туда, где замечено отклонение от справедливого и разумного порядка вещей.

Чем активнее и динамичнее в своем социальном поведении человек, тем закономернее интерес: во имя чего? Свою веру в торжество светлых жизненных начал Егор облакает в формы нетривиальные — суть ее от этого не меняется. Он верит в несокрушимую силу поэзии и магическое воздействие Поэта на наши души, и шахтерам, попавшим в аварию, надолго оставшимся под землей, читает для поддержания духа пушкинские стихи, читает несколько часов кряду, пока к товарищам не пробиваются спасатели. "Их в "скорую" несут, а они, хоть и посинели, все же благодарят за стихи..." Поэтичный рассказ напоминает, что распространение духовных богатств трудно регламентировать раз навсегда установленными правилами, но само оно непременно требует чьих-то усилий, усилий разума и сердца.

Рассматривая проблематику рассказов И. Кашафутдинова, не упустим из виду и характерную для них атмосферу действия, то, что остается за видимыми пределами конфликтов, проблем, сюжетных коллизий. Смутное беспокойство, нетерпеливое ожидание встречи с прошлым ("Сдается комната"), ощущение полного разлома, резкость диалогов ("Верни мне сына..."), тихий свет, брошенный на все происходящее, мягкость словесных полутонов ("Почтовый дилижанс") — все это имеет прямое отношение к тому, что говорит писатель в своих рассказах. "На Луз-

гина, мешком навалившегося на стол, — тот писал под диктовку сержанта, — он старался не смотреть и все-таки поглядывал, теперь уже без злобы, но и без сочувствия. Так уж устроен мир, что и вправду шила в мешке не утаишь”, — неторопливо размышляет Конкин, наблюдая за вороватым прорабом, и такого рода интонация — без злобы, но и без сочувствия — часто возникает при характеристике персонажей отрицательных: и Клавдюхи, и бывшей жены Григория Мишулина, и прочих им подобных. В самом деле, что дадут торопливо приклеенные ярлыки? И станут ли очевиднее подчеркнутые достоинства людей, подобных Егору Конкину?

Такая проза написана с искренним доверием к читателю.

Атмосфера, тон повествования — это иногда все, или почти все, особенно когда речь идет о “малых” прозаических формах. Наверное, интонация, выбранная для рассказа “Ты по-собачьи дьявольски красив...”, в большой вещи могла бы утомить, в небольших же повествовательных пределах она воспринимается легко и органично.

”В августе месяце верхнеталалаевское собачье поголовье — всего учтенных и бездомных, считай, десятка два — с гавом и визгом справляло вторые в году свадьбы.

В эту пору владельцы собак особо редкостных пород — были и такие в Верхнем Талалаеве — заперли своих четвероногих подопечных в избах или посадили на цепь, чтобы те не запятнали родословную, не устояв перед соблазном смешаться с разгульной собачьей шпаной”.

Это — зачин житейской истории, рассказанной весело и ярко. История о том, как верхнеталалаевский житель Захар Кузьмич водил на собачью свадьбу свою малопородную Дамку и что из этого вышло.

Если учесть, что в женихи своей Дамке Кузьмич наметил сенбернара, принадлежащего заезжему профессору, ситуация станет вполне ясной.

Действие развивается по трем направлениям: беседуют, обмениваясь мнениями о быстротекущей жизни, столичный профессор и Кузьмич; бушуют, не найдя контакта, сенбернар Цезарь и вислоухая Дамка; воюет с Кузьмичом Христофоровна, его знакомая с юных лет, безуспешно добивавшаяся когда-то благосклонности Кузьмича.

Автор любовно внимателен к деталям, подробностям. Вот Кузьмич — перед походом — извлекает из сундука выходной пиджак и чистит медали. Вот изрядно удивленный визитом Кузьмича профессор, желая быть гостеприимным, неумело щелкает пальцем по горлу, и начинается разговор о жизни вперемешку с коньяком. Вот...

”— Ты по-собачьи дьявольски красив... — продекламировал вдруг профессор, довольно сноровисто нарезая лук и обкладывая

вая глянцевитыми кружочками шпроты, выложенные в тарелку. — Чертовски недурно сказано, главное — точно...

— Есенин... — авторитетно проговорил Кузьмич. — Этот умел.

Профессор бросил на него слегка удивленный, но одобрителный взгляд, по-свойски широко показал на стул.

Кузьмич сел и при всем старании радости все же скрыть не мог. Надо же было профессору вспомнить стихотворение, которое Кузьмич, пока в долгие зимние дни отлеживал бока, выучил наизусть.

— Да, братья наши меньшие, — в раздумье сказал Кузьмич'.

Такие вот беседы. Все время нащупывают дорожку друг к другу собеседники, опасаясь случайно сказать что-то не то, невпопад, и здесь настороженная почтительность Кузьмича удачно соперничает с профессорским чувством такта. Курьезов хоть отбавляй — не в них дело. Встретились два давно уже немолодых человека, и они одаривают друг друга откровенностью, с какой говорят о своей жизни, и нет ничего особенно смешного в жарком сочувствии Кузьмича. Профессор просто-напросто одинок, ни поболтать, ни ту же рюмку выпить — не с кем...

Казалось бы, все кончается чистым конфузом — Дамка и сенбернар от свадьбы решительно отказались, перебив попутно немало цветочных горшков, Христофоровна быстренько изгоняет визитеров, а рассказ движется к финалу резко по восходящей, следуя за настроением Захара Кузьмича. Он-то нисколько не обескуражен происшедшим, планирует новый поход к сенбернару и его хозяину, решает подарить Христофоровне отрез на платье, привезенный когда-то с войны, да так и не пущенный в дело покойницей женой. "Кепка его была сбита на затылок, взгляд, устремленный вдаль, мягок и ясен.

Давно ли те дали были белым-белды, и казалось, что до августа, до этой отогревающей душу теплыни не дотянуть. Эх, хорошо все-таки ходить по земле в августе месяце!.."

Простая история озаряется высокой патетикой человеческого существования на земле.

Кузьмичом владеет довольно-таки рискованная идея — рожденных впоследствии Дамкой породистых щенят продавать по дешевке, чтобы во дворах звучали, как было принято исстари, голоса четвероногих хозяев. Его устремленность прекрасно понята профессором. Проблемы жизни как таковой — в любом аспекте — неизбежно касаются человека.

Профессор знает, как затруднено даже обычное общение между людьми разного уровня образования и жизненного опыта, и сознательно избегает в беседе с Кузьмичом непреодолимо высоких барьеров. Кузьмич куда более прямолинеен и нередко ставит себя, сам того не зная, в очень трудное положение. Но он — подлинный герой рассказа, потому что бросается на восстановление потерянных человеческих связей, стремится устано-

вить новые. Он по-своему воюет за полнокровную, целостную жизнь, в которой достигнуто согласие всех составных.

В рассказе "Каюр Таньги" писатель говорит о бесконечных загадках окружающего нас мира, о том, что вместе с ними может уйти что-то очень важное, насущно необходимое для людей. "Антон, сельский фотограф" — зарисовка неторопливо текущего быта, беглый портрет человека, способного видеть красоту рядом с собой. Рассказ "Генеральская баня" воспроизводит своеобразный ритуал: еженедельно баню торжественно посещает высокий военачальник в отставке. Поведана еще одна житейская история, оборвавшаяся резко и неумолимо: умер боевой когда-то генерал, и на месте человека — холодная, зияющая пустота... Все это очень напоминает вариации на постоянно волнующую писателя тему. Снова и снова предстает перед читателем всегда удивляющее нас чудо жизни.

Чудо прекрасной и гармоничной жизни, которое никогда не возникает само по себе, всегда нуждается в сбережении и защите.

Пожалуй, "Высокая кровь" — самая известная повесть Ильи Кашафутдинова.

В литературе, где признаны классикой "Холстомер" и "Каштанка", появление каждого нового произведения о животных сопряжено с известным риском. Нетрудно предугадать, что литературное житье-бытьё лошади или собаки интересно только в связи с человеческим житьем-бытьём. Смысловые параллели и прямые аллегории просто неизбежны. Это очень напоминает игру с четкими правилами и заранее известным результатом.

Можно, правда, посмотреть на ситуацию и так: читатель уже подготовлен к восприятию "анималистских" вещей, сам прием его вряд ли заинтересует, а вот сказанное по существу — вполне возможно.

Назидательный смысл повести "Высокая кровь" очевиден. Люди оказались гораздо хуже животного, погибшего по их вине призового жеребца — красавца Фаворита действительно жаль, за людей в самом деле стыдно... И здесь внешний сюжет с вытекающей из него моралью скажет далеко не все.

"То неслышно, как тень, то глыбисто, бухая копытами, неслась по кругу лошадь, так что конюх едва поспевал глазами за ее белым мельканием. Живо, трепетно дрожала между ним и лошадью натянутая корда.

И вот старик до сладкой и отрадной ясности осознал иную между ними связь — ту, что отогревает и возвышает душу".

Знакомый мотив, не правда ли?

Повесть написана спокойно, ясно и строго. Ничто не мешает присмотреться к тому, что свершается в ее восьмидесятистраничных пределах.

Повествовательный прием обнажен. Животное стойко переносит свалившиеся на него мучения, возвышаясь в наших глазах. Неуклонно опускаются люди, теряя человеческое лицо...

А может, и нет никакой обнаженности приема? И есть логически выверенное сцепление обстоятельств, проявляющих достоинство каждого из персонажей?

Из института на конезавод Фаворита везут двое: шофер Леха Шавров и научный сотрудник Грахов. Оба — вполне нормальные люди, работники не из худших. Оба ехать не хотят — каждый по своей причине.

"Нельзя его трясти. Конь призовой", — лениво предупреждает Грахов своего соседа по кабине... "Лошадь, значит, жалко, — окончательно расстроился Леха. — Вот меня бы кто пожалел!.." Нет, вовсе не злодеи сопровождают Фаворита, просто люди, мало предназначенные для этой, конкретной работы.

Одно цепляется за другое. Заболел жокей Толкунов, и Фаворит остался без хозяина, тонкого профессионала в своем деле. На телеграмму с конезавода, требующую вернуть жеребца, в институте отреагировали формально, "вообще" постаравшись побыстрее покончить со всей этой историей. Опять-таки — непрофессионально. Спецтранспорта в гараже не оказалось — зато под вернулся Леха Шавров со своим самосвалом. Цепочка весьма приблизительных решений, которые в каком-то другом случае, возможно, и не привели бы к тяжелым результатам. Но в каком-то другом, не таком уникальном, требующем особо выверенного делового подхода.

Так что до возникновения разного рода высоких проблем возникла в повести проблема пресловутого "авось". От нее — и все остальное.

Это — в известном смысле объективные причины случившегося. Сугубо субъективных тоже не станем сбрасывать со счетов. Обстоятельства обстоятельствами, но есть еще человеческий разум, человеческая воля, человеческая душа, наконец.

Способен ведь старый конюх на трепетное отношение к Фавориту! А как любовно и бережно обращается с жеребцом Макарыч, "последний коневод" в округе, случайно встреченный экипажем шавровского самосвала. Это он называет высокой кровью Фаворита. "Высокая, значит, по капельке, как нектар, отобранная. Чистая как слеза. По ней и лошадь судят". Это бывший конник укрывает жеребца своей попоной... Видится старикам редкое, уникальное явление природы, живое совершенство, требующее особого к себе отношения. Именно того, на которое оказались неспособны ни шофер самосвала, ни научный сотрудник института.

Если человек подходит ко всему окружающему с усредненной, не требующей особых раздумий меркой, иногда это может обернуться большой бедой.

С Лехой Шавровым все более-менее ясно. Ему абсолютно все равно — везти скотину на бойню или доставить к месту назначения уникального жеребца. А вот как быть с Василием Граховым, по всем данным, человеком интеллигентного труда?

И в других своих произведениях писатель утверждал, что духовные, внутренние качества человека не зависят напрямую от его образованности и умения вести себя в обществе. Этот тезис подтверждается в повести жестко и убедительно.

Научный сотрудник Грахов оказывается неспособным устоять перед мощным житейским напором наглого шофера. В такой ситуации всякие интеллигентные фразы теряют реальное содержание — научным сотрудником овладевает чисто шавровское отношение к вещам.

Бросить хамоватое словцо по адресу дочери старого конюха, коснуться больного места — для Лехи совершенно обычное дело. На его хамство с болью реагируют и старик, и Фаворит — в этой параллели нет ничего искусственного, потому что, подчеркивается в повести, все подлинно живое связано между собой, едино, и, покушаясь на его частицу, неизбежно задеваешь целое.

Четвероногий герой повести воспринимает действительность празднично и ярко, ощущая свою глубинную принадлежность к бесконечно обновляющейся жизни.

“Фаворит успокоился и ехал навстречу вольному простору, теплomu ветру. И снова мерещились ему, хмелили голову запахи трав, согретых солнцем.

Казалось, долго так будет катить машина и до конца дороги будет Фаворита обмывать упругий и светлый воздух. И будет он стоять, чутко напрягаясь ногами, стоять и обмирать сердцем от манящих далее раскованной земли, совсем не томясь тряской ездой, — когда ему еще выпадет ехать вот так, на виду у всего белого света? Фаворит уже позабыл недавние боли...”

Вот, для сравнения:

“Сели, поехали. Самосвал запрыгал по ухабам, сразу поднялась пыль — высоко, густо. Повалила по ветру, обогнала машину, и Леа поднажал — и так нечем дышать. До Починок, где жил кореш, еще с прошлой зимы задолжавший пятерку, порожняком полчаса езды. Учитывая груз, Леа накинул десять минут, потом ему показалось: много, хватит пяти. Как бы не закрыли — сев не кончился! — магазин”.

Шофер мучается с похмелья. Грахов торопится домой. До красот ли тут? Это поэзия жизни сталкивается с ее откровенной прозой, сталкивается на протяжении всей “анималистской” повести.

Следя за беседами и поступками людей, едущих в кабине самосвала, не раз вспомнишь формулу “без злобы, но и без сочувствия”. Шумный, разоблачительный пафос был бы малоуместен в повести, где все складывается так естественно и логично.

Выпестовавший Фаворита жокей Толкунов, старый конюх, "последний коневод" Макарыч — по всем признакам обычные, простые люди. Как и шофер Леха Шавров. Само понятие "простой человек" оказывается в повести предельно расплывчатым и смутным. Принадлежность к этой человеческой категории вовсе не гарантирует даже элементарных добродетелей. Леха умело пользуется самым своим положением, тем, что именно он — за рулем, он — полный хозяин положения. Демагогия, к которой он прибегает, элементарна, зато действует без промаха. Повторит шофер, что к людям нужно относиться лучше, чем к лошадям, — и Грахов не найдет, что ему ответить. Намекнет, что научный сотрудник не хочет вступать с ним в контакт по причине своей интеллигентности, — и тот бросится искать общий язык. Он ведь еще и психолог, Леха Шавров, и, быстро сообразив, что Грахову важнее всего пораньше вернуться домой, шофер, уже не стесняясь, мордует элитного жеребца...

Грахов уступает Лехе понемногу, как говорится, медленно, но верно. Сначала дает деньги на водку — чтоб не выглядеть скупердяем. Потом, давясь, эту водку пьет — чтоб оказать уважение спутнику. Потом, не умея пить, напивается в каком-то незнакомом доме — чтоб не обидеть хозяев, знакомых Лехи. Люди, подобные Грахову, на диво чувствительны к чужому мнению о себе, для них, на поверку, казаться важнее, чем быть, и эта нравственная бесхребетность неизбежно ведет к тяжелым компромиссам с собственной совестью.

Если, конечно, само слово "совесть" можно произнести здесь в полный голос.

Грахов не злой и не добрый, он, в сущности, никакой. Со своей диссертацией на необременительную тему, со своей тягой к душевному комфорту, с мыслями и чувствами вполне заурядного свойства. "Где красота, там не жизнь, а сплошная канитель. Пользы никакой. Говоришь вот: лошадка красивая и талант от природы, а какая нам польза?" Это рассуждает, как можно догадаться по тону, бравый шофер Леха. Рассуждения такие Грахову претят. Но сам он, к примеру, никак не может выбрать подругу жизни — одна его приятельница красива, но малопрактична, грядущее с ней представляется весьма неясным, другая же практична, но не удовлетворяет высоким эстетическим требованиям, — обсуждая свои личные проблемы с Лехой, Грахов проявляет унылый, под стать Лехиному, практицизм. Эта "запрограммированность" Грахова на облегченные варианты своего существования и делает его глиной, из которой можно лепить что угодно.

Куда проще варить уху из рыбы, добытой по-браконьерски предприимчивым Лехой, чем попытаться отвести Лехину руку от неблагоприятного дела, от покушения на живое. В таких случаях исчезают свидетели, появляются соучастники — ситуация в современной литературе не новая, и развитие ее предугадать

нетрудно, однако есть истины, всегда сохраняющие свою актуальность.

Вольная, нескованная и прекрасная природа — как жалок рядом с ней Василий Грахов, неспособный даже в чувстве явить силу и возвышенность натуры, мощь внутреннего импульса — все то, чем щедро наделен Фаворит, сумевший в минуты короткой встречи с вороной быть и чутким, и бережным, и деликатным, и благородным, естественным в самом высоком значении этого слова.

Элитный жеребец отделен от людей рядом с ним еще и потому, что все свалившиеся на него невзгоды переносит с поразительным достоинством. Над ним издеваются, его прекрасную стать ломают в самосвальном кузове — он не позволяет себе опуститься до злобы и ненависти. Попадая в различные передряги во время поездки, может впадать в агрессивную истерику Леха, проливать слезы Грахов — Фаворит сохраняет все то же достоинство.

Он выше людей рядом с ним, потому что выше причиняемых ему обид. Он спасает тонущего Грахова, пробуждая в нем сильное и искреннее чувство благодарности. Даже непробиваемого Леху начинает покорять редкое благородство необычного спутника и пассажира.

В повести есть момент, когда душу Грахова посещает подлинное просветление — он ссорится с Лехой, уводит за собой измученную лошадь. "Впервые за день он радостно и ошеломленно огляделся вокруг. От солнца струился, заливая поля, не жаркий, но сильный еще свет. Изнемогали под сонным теплом далекие одинокие деревья, малые холмы. Коротко набегая, слабый ветер вычесывал из ржи парные злаки.

...Фаворит давно почувствовал, как смягчилось сердце человека, и в нем тоже рассосалось жесткое напряжение...

...Так они и шли — человек и лошадь — по тихому полю. Поровну падал на них свет солнца, одинаково мягко, ласково обдувал ветер..."

Вот он — момент истины: тому, кто отказывается от суеты и мелких практических расчетов, поступает, повинувшись единственно голосу совести, незамутненному голосу природы, открываются во всей своей ошеломляющей красоте краски и звуки бесконечного мира.

Увы, порыв Грахова был недолговечен, и трагическая развязка стала неизбежной. Опрокинутый самосвал придавил Фаворита, и он встретил смерть с таким же благородным достоинством, как и жил. Уступить злу достаточно один раз, дальше все пойдет само собой...

Читатель "Черной тропы" без труда обнаружит сходство этой повести с повестью "Высокая кровь" И в том, и в другом случае

причудливое бытие животного мира, свободной, не скованной условиями природы помогает проследить за движением человеческого бытия. Но выводы, к которым подвигает нас повествование, совпадают только до вполне определенного предела.

В самой бригаде шабашников, строящих колхозный клуб, есть что-то вольное и дикое. Этих людей соединяет — и то ненадолго — одна необходимость. Ни устанавливать, ни тем более углублять отношения ни у кого особого желания нет. Всем управляет и заправляет бригадир, от него зависят заработки каждого — единственная цель "шабашки", отсюда и система беспрекословного подчинения.

Художник Аркаша Стрижнев, тренер по плаванию Чалымов, ученый Нужненко, крестьянин Тырин, сотрудник фармакологической лаборатории Миша Еранцев — все это люди очень разных жизненных ролей и запросов, как бы нивелированные временной общей ролью. О бригадире Грише Шематухине, недавно в очередной раз выпущенном из тюрьмы, можно заметить, что это довольно беспардонная, хваткая и злобная личность.

Неожиданная, из ученых, "шабашка" вызывает сенсацию в среде местных жителей. "Вдруг среди этого радостного изумления, как снег на голову, слух о красном волке. Вздурдаживший поголовно всех..."

Красный волк, Матерый, — одно из главных действующих лиц повести.

Пути людей и животных пересекаются самым затейливым образом. По чистой случайности Матерый уносит, забирает у Шематухина сумку со всем немалым заработком бригады, и это происшествие добавляет новые спирали к броскому и динамичному сюжету. В общем, из двух хищников один оказался проворнее...

Стихийность бригады шабашников, где так эфемерны связи и каждый сам по себе, заставляет если и не напрямую думать о лесной стае, то вспоминать ее наверняка. Поведение Матерого волей-неволей приходится сравнивать с поведением разбитного Гриши Шематухина. Такие параллели проведены опытной писательской рукой, они — в самом замысле повести.

Сравнения, о которых только что шла речь, редко оказываются в пользу человека.

"Он с нахалявкой, прямо посмотрел на Чалымова, отчего тот сразу нахмурился. Вот так-то соображать надо! Будешь знать, что с Шематухиным заигрывать невыгодно, лучше стоять навытяжку..."

— Эй, наука! — крикнул Шематухин. — Кончай халтурить! Штрафану, мать-перемать..."

Таков этот персонаж.

"Решительность Матерого обеспокоила молодого вожака,

стоявшего на тропе. Из глаз его брызнул свирепый огонь, и Матерый пристально, но без вызова смотрел на вожака.

Так они стояли друг против друга, два волка: молодой, сильный, великолепного дымчатого окраса, подчинявший себе стаю, готовую в слепой звериной страсти учинить мгновенную расправу над любым врагом вожака, и старый, отверженный, но еще не побежденный, не отказавшийся от борьбы за продолжение своего рода”.

Таков другой персонаж — даже стиль повествования о нем взмывает вверх, отталкиваясь от того, по-бытовому грубоватого, что так характерен для жизнеописания Гриши Шематухина. Матерый, которого преследует вся округа, который проявляет чудеса мужества и находчивости; стремясь спасти волчицу и своих потомков, выглядит куда более привлекательно рядом с Гришей, не озабоченным ничем, кроме собственных корыстных интересов.

К счастью, повесть, выстроив систему прямых и ясных назиданий, ею не ограничилась.

В повести “Высокая кровь” светлая поэтичность настроения и слога делала особенно горьким зрелище непрерывного человеческого падения. В “Черной тропе” много крутых конфликтов и неразрешенных драм, но эта повесть — о трудном движении человеческой души к свету и возрождению.

Именно такую способность обнаруживает в конце концов зачерствевшая душа Гриши Шематухина.

Эволюция его гораздо менее неожиданна, чем кажется на первый взгляд. После исчезновения коллективных денег он едва ли не впервые в жизни должен всерьез решать свою дальнейшую судьбу. Бегство стало бы полным концом всего, практичный Гриша прекрасно это понимает. Поиски сумки с деньгами, ведущиеся Гришей, интересны в первую очередь тем, что в ходе этой неистовой беготни и лазанья по лесу Шематухин словно бы забывает о деньгах как таковых, ему важнее, что о нем скажут и подумают. И на самоубийство он решается в результате резкой переоценки своих взаимоотношений с другими людьми, и, спасенный художником Аркадием Стрижневым, осознавший, как на самом деле “страшно хочется” жить, он, как великое откровение, произносит: “Все заново начну. Все-таки жить, братан, надо дружно. Иначе што получится, если на земле люди друг дружку перебьют? Волки и те без нас в смертной тоске рыскать будут, с нами они от скуки не умирают...”

Резкий поворот сюжета заставляет подумать: а там ли искал читатель поучительные параллели между человеческим и животным миром? Не была ли история с Гришей Шематухиным своего рода ложным следом?

В повести, особенно ближе к финалу, царят кутерьма и ажиотаж, вызванные массовой облавой на волков, охотой на Мате-

рого и его стаю. Во всем этом шуме и гаме не сразу проступает смысл притяжения и отталкивания двух персонажей — Миши Еранцева и его друга — начальника Игоря Арцименева. Смысл, очень важный для всей нравственной конструкции "Черной тропы"

Игорь — видная фигура в своем НИИ, ученый, обаятельный и элегантный человек. Без пяти минут доктор наук. И холодный, расчетливый эгоист, движущийся к поставленной цели кратчайшим путем.

Как раз в его хватке обнаруживается что-то от лесного хищника. Параллели, только в другой плоскости, продолжают, и не так трудно сравнить метания Матерого, обложенного со всех сторон, с метаниями Игоря, накануне защиты попавшего в неприятную дорожную историю за рулем своего автомобиля. Есть разумность жизни, стремящейся к самозащите, и действия волка с этой точки зрения вполне разумны и выверены. Арцименев тоже руководствуется соображениями разума, не желая ставить на карту всю свою карьеру, — вот он и предлагает Мише Еранцеву взять на себя вину за автомобильное происшествие, тем более что Миша на самом деле многим обязан своему старинному приятелю... Но если Матерый борется за жизнь, ее бесконечное продолжение, Игорь разрушает все живое, к чему прикасается, — дружбу, красоту чувства, покой близкого человека. Цинизм Игоря практически стоит жизни его старому и больному отцу — и словно во искупление своей вины перед людьми Арцименев-старший бросается на спасение Миши Еранцева, да и своего сына, чтобы уберечь его от дальнейшего разрушения собственной личности.

"Матерого, напряженного до звона в голове, отделяли какие-то пятьдесят шагов от тропы. Когда он почувствовал запах людей, менять направление было уже поздно и ни к чему — он заметил, что какую-то часть леса люди забыли офлажить. Он разогнался, за ним по пятам, ничего не соображая, а только слепо доверяя Матерому, неслись переярки и волченята".

Спасительный, могущественный инстинкт, извечная борьба за существование, торжество силы и воли... Закрывая последнюю страницу повести, думаешь все же о мятущейся душе Гриши Шематухина, о поступке старого Арцименева, о совестливом Мише Еранцеве, не желающем множить человеческие беды. Естественное в природе прекрасно всегда, в человеке же оно прекрасно только в соединении со светлым разумом и совестливой душой. Так и достигается необходимая гармония: человеку — человеческое. Проблема эта — из вечных, отдадим должное настойчивости, с которой углубляется в нее прозаик Илья Кашафутдинов.

А. РУДЕНКО-ДЕСНЯК.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Высокая кровь	5
Черная тропа	82
Год беспокойного солнца	286

РАССКАЗЫ

Почтовый дилижанс	361
Антон, сельский фотограф	377
Бега	391
Какяр Таньги	405
Сдается комната	416
Джинсы	433
"Ты по-собачьи дьявольски красив..."	448
"Верни мне сына..."	469
Между днем и ночью	486
Генеральская баня	519
В базарный день	527

ПОИСК ГАРМОНИИ. <i>Послесловие</i> А. Руденко-Десняка	540

Ильгиз Бариевич КАШАФУТДИНОВ

ГЛУБИНА

Приложение к журналу "Дружба народов"

Оформление "Библиотеки" Ю. Алексеевой

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **В. Волк**



ИБ № 867.

Сдано в набор 28.05.84. Подписано в печать 08.06.84. А 06077
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Набрано на машинах ИБМ "Ком-
позер". Гарнитура "Сенчури". Печать высокая с фотополимерных форм
Печ. л. 17,5. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 32,97
Тираж 268.000 экз. Зак. 2190.

Цена 2 руб. 40 коп.



Издательство "Известия Советов народных депутатов СССР"
103791 ГСП. Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография "Известий Советов
народных депутатов СССР" имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

**В 1984 году
издается 15 книг
библиотеки
"ДРУЖБЫ НАРОДОВ"**

В. Богомолов. Момент истины. Роман. Повести. Рассказы.

Г. Глазов. Расшифровано временем. Повести. Рассказы.

Д. Гусаров. За чертой милосердия. Цена человеку. Романы.

Ю. Давыдов. Две связки писем. Судьба Усольцева.

М. Заринь. Фальшивый Фауст. Романы. Перевод с л а т ы ш с к о г о.

М. Карим. Долгое-долгое детство. Повесть. Пьесы. Перевод с б а ш к и р с к о г о.

Т. Каипбергенов. Сказание о Маман-бии. Роман. Перевод с к а р а к а л п а к с к о г о.

И. Кашафутдинов. Глубина. Повести. Рассказы.

А. Коптелов. Точка опоры. Роман.

Г. Медынский. Ступени жизни.

Ю. Мушкетик. Позиция. Романы. Перевод с у к р а и н с к о г о.

В. Петросян. Одинокая орешина. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с а р м я н с к о г о.

Ю. Пеэгель. Свет в родном окне. Роман. Рассказы. Перевод с э с т о н с к о г о.

Ю. Семенов. Альтернатива. Романы.

Узбекские повести.

Кашафутдинов И. Б.

К 31 Глубина. — М.: Известия, 1984. 560 с. с илл.

Герои повестей и рассказов Ильи Кашафутдинова — сельские жители, горожане, моряки, физики-атомщики, живущие трудами и заботами наших дней. Характеры современников показаны в интересных жизненных ситуациях.

Эстетическое кредо писателя — утверждение подлинного товарищества, силы добра и красоты, отрицание потребительского отношения к духовным ценностям нашего общества.

К $\frac{4702010200-076}{074(02)-84}$ — 69 — 84 подписное

ББК 84 Р7
Р2

Scan Kreyder - 17.03.2018 - STERLITAMAK

